



Илья Эрэнбург

7

ИЛЬЯ  
ЭРЭНБУРГ

ТОМ СЕДЬМОЙ



Издательство  
«Художественная  
литература»  
Москва 1966

Собрание  
сочинений  
в девяти  
томах



Издательство  
«Художественная  
литература»  
Москва 1966

ТОМ СЕДЬМОЙ

# ЭРЕНБУРГ

Хроника  
наших дней  
Виза времени  
Испания  
Гражданская война  
в Австрии  
Статьи



**Р 2**  
**Э 76**

**Комментарии**  
**Ю. ФАЙНГОЛЬД**

**Художник**  
**Ф. ЗВАРСКИЙ**

7—3—2  
Подп. изд.

**Хроника  
наших дней**





## Рождение автомобиля

## 1. Филипп Лебон

Взволнованная свеча позволяет различить причудливую тень на стене, кипу чертежей, циркуль, крохотного котенка, который дремлет среди бутылок и бумаг, наконец, худое лицо, обесцвеченное бессонными ночами.

Вот где живет этот молодой мечтатель. Соседи давно поговаривают, что у него ум зашел за разум. Впрочем, это славный малый и, конечно же, патриот. Быть непатриотом в эти годы трудно, да и опасно: на дворе стоит год VIII единой и неделимой Республики. В комнате портрет бравого корсиканца, того самого, который беспощадно истребляет всех врагов революции: и тайных шуанов, и эмигрантов, и австрийцев.

Филипп Лебон, узнав от соседей о новой победе республиканских армий, радуется, всех их по очереди поздравляет, особенно жарко гражданина Маро, роялиста и агента Директории. Лебон строго соблюдает революционный календарь. Он ест курицу не в воскресенье, но в «декади». Голова его, однако, занята другим.

Когда революция началась, ему было двадцать лет. Быстро привык он и к братским клятвам, и к машине доктора Гийотена. Революция стала для него воздухом. Тогда он перестал замечать революцию. Удивленно усмехнулся он, узнав о 9-м термидора — снова?.. Этот день показался ему очередной склокой двух фракций. Прошло еще пять лет. Не все ли равно теперь, какие козны замышляет гражданин Сиез против гражданина Барраса? Революция победила — это ясно всем, даже Питту. И революция не удалась — это тоже все понимают: и якобинцы, и директоры, и генерал Бонапарт. О чем же тут спорить?.. Надо исправно выполнять свои гражданские обязанности и поменьше беседовать в кофейнях, где возле каждого столика юлят

полицейские агенты. Вот и все. На бессонницу у гражданина Лебона другие резоны.

Может быть, он влюблен? Ведь республиканцы умеют любить ничуть не хуже доброй памяти верноподданных Капета. Вот, говорят, Тальен сохнет в Египте без своей Терезы. А крепость этого корсиканца!.. Филиппу Лебону тридцать лет. Как раз впору.

Стучат. Уж не она ли?.. Но в комнату входит плотный гражданин с мясистым носом и с большой национальной кокардой. Это приятель Лебона, некто Франсуа Барре, прежде якобинец, оратор десяти клубов и гроза города Шомон, а теперь премирный чиновник, который проверяет на парижских базарах новые республиканские гири.

— Все работаешь?..

— Как видишь.

— Завидую я тебе. Ты занят своим делом и ничего не замечаешь. А здесь, можно сказать, гибнет революция!..

Лебон усмехается:

— Ну, это, брат, не ново! Она уже гибла раз пятьдесят, если не все сто. Очевидно, она или бессмертна, или давным-давно погибла.

— Ты все смеешься! Но посмотри только, что делается! Фуше снова арестовал сто двадцать патриотов из клуба «Манеж». Роялисты открыто интригуют. А знаешь, чем заняты патриоты? Пивом! Честное слово! На вывесках пишут «мартовское пиво», и вот эти ослы требуют, чтобы пиво переименовали в «жерминальское»! Снес что-то замышляет. Это старый крот. Баррас, как всегда, трусит. Теперь все зависит от генерала... Как, ты не знаешь? Но генерал Бонапарт уже высадился в Тулоне.

Лебон, который рассеянно слушал причитания Барре, приподнимает голову.

— Ага! Что же он думает делать, этот Бонапарт?

— Черт его поймет! Одни говорят, будто бы он решил разогнать Директорию и восстановить подлинную Республику, нашу, девяносто третьего... А другие, наоборот, уверяют, что он уже столкнулся с шуанами. Ты-то что думаешь, Филипп?

— Я? Я ничего не думаю. Я вообще не думаю об этом. Я очень занят.

— Но гражданские чувства?..



— Видишь ли, революция все равно кончена — с Бонапартом или без Бонапарта. То, что я теперь выполняю, это наши прежние мечты. Это то, о чем мы говорили десять лет тому назад. Ты мне не веришь?

— Нет. Ты занят праздными выкладками. Это — для развлечения аристократов. А мы мечтали совсем о другом, мы мечтали о всеобщем благоденствии.

— Правильно! И революция этого не осуществила. Она разорила одних, обогатила других. Карты перетасованы. Но в колоде остались и тузы, и короли, и простые двойки. Почему? Да потому, что над людьми тяготеет проклятие — труд. Здесь аббаты не врут. Не от Капетов надо освободить людей, но от труда. Ты видал на набережной Синь паровую мельницу? Верь мне, это куда важнее всех деклараций. Я долго трудился над одним: я решил создать самодвигающуюся коляску. Пусть машины возят людей. В этом подлинное благоденствие. В этом и братство народов. Как будет счастлив человек, когда, едва шевельнув пальцем, он сможет перенестись из Парижа в Рим или в Вену!

— Но ведь это только мечты...

— Да, это были только мечты. Прекрасные мечты! Вот я тебе прочту, послушай: «С помощью наук и искусств можно построить колесницу, передвигающуюся чудодейственно быстро без лошадей и без других упряжных животных...» Это написано Рожером Бэконом в тысяча шестьсот восемнадцатом году. Сто восемьдесят лет тому назад!.. А теперь?.. Теперь это не мечты. Может быть, твой корсиканец завтра будет разъезжать на такой колеснице. Знаешь что, Франсуа?..

Лебон встал. Глаза его теперь желты и взволнованны, как свеча. Он говорит тихо, то и дело теряя дыхание:

— Франсуа, я кончил работу. Завтра я сделаю заявление. Я получу патент. Я не могу тебе сейчас изложить все это в деталях. Скажу одно: людей будет перевозить воздух. Но обожди, не пар! Нет, газ. Этим газом можно также освещать улицы. Он будет приводить в действие машину. Смесь газа и воздуха сначала сжимают. Потом ее воспламеняют с помощью особых искр. Ее воспламеняют внутри самого двигателя. Это куда разумней пара. Такой мотор не занимает много места, и в нем огромная сила, превосходящая четверку лошадей. Он сможет вести обыкновенную почтовую карету, ничуть не беспокоя пассажиров. Теперь ответь мне — это ли не подлинное

благоденствие? Пройдет пятьдесят или сто лет, и у каждого гражданина будет самодвигающаяся коляска. Другие машины уничтожат нищету. Моя — победит вражду, косность, невежество. Для тела человеку нужны пища и одежда. Слов нет, люди вскорости изобретут машины, чтобы выделывать хлеб, не прибегая для этого к грубому труду землепашца. Но вот человек сыт. Его дух нуждается в совершенствовании. Он носится по всему свету. У него больше нет родины. Его родина повсюду. Он счастлив, как боги Олимпа. Эта кипа бумаги, Франсуа, залог подлинного благоденствия!..

Но у Барре трудный нрав. Поздравив приятеля и для приличия с минуту помолчав, он снова начинает спорить:

— Нет, не это заставляло биться наши сердца в девяносто третьем. Мы мечтали о прекрасной простоте нравов. Зачем людям куда-то мчаться? Погляди на твоего котенка — как безмятежно он дремлет! Древние греки не знали колесниц, но разве они не были счастливы? Машины несут людям новое угнетение. Они только разжигают зависть и соревнование. Куда милее мне осуждаемый тобою труд землепашца! Он ближе к истине и к братству!

Барре забыл, кажется, что он только мелкий чиновник Директории. Он возомнил себя снова в клубе города Шомон. Он витийствует:

— Мы, честные якобинцы, мы против этих машин! Филипп, я люблю тебя, но истина выше дружбы. Мы против твоего изобретения. Ты напрасно спешишь брать патент. Революция в опасности, но она еще не уничтожена. Если мы победим, мы разрушим эти машины. Вместо них мы насадим рощи Жан-Жака...

Тогда Лебон, весело улыбаясь, отвечает:

— Что же! Вы не понимаете — Бонапарт поймет. Или другой. Словом — будущее.

— Но революция?..

— Да это революция и всадила в меня жажду всеобщего благоденствия и новое беспокойство. Ее душа здесь — в чертежах.

Барре не стал больше спорить. Он любил Лебона и опасался ссоры. Вздохнув, он вошел в кофейную, чтобы там выпить кувшин вина и власть поговорить с завсегдатаями о злодейских происках гражданина Сиеса. На следующее утро он спокойно проверял свои гири. Он даже не вспомнил о каком-то хитроумном двигателе, начиненном газом.

А Филипп Лебон, торжественно сдунув пылинки со шляпы, направился в душную канцелярию, где уныло скрипели перья и где писцы вполголоса обсуждали приезд генерала Бонапарта. Он не слышал ни скрипа перьев, ни шушуканья. Грозный мотор гудел и свистел: это его машина рвалась в новый век. Филипп Лебон заявил о своем изобретении 6 вандемьера года VIII, или, по старому летоисчислению, 28 сентября 1799 года. Он изобрел газ, способный освещать и двигать машины. Так за девяносто лет до появления на парижских улицах новых, невиданных колясок в утробе человечества раздались первые робкие толчки.

## 2. Конец века

— Милочка, какие чудные духи!

— Не правда ли? Это новинка: «Конец века».

— Простите, госпожа Жильбер, фасон мне нравится, но вот эти буфы как будто чересчур экстравагантны...

— Что вы говорите, госпожа Друо! Разве вы не видали последнего выпуска «Модного журнала»?.. Теперь все делают такие буфы, даже графиня Монтельяр. Это — «Конец века»...

— Странные пошли теперь танцы. Не то вальс, не то га-лоп, не то, простите меня, вульгарный канкан.

— Нет, это новый танец «Конец века».

— Подумать только, до чего пало искусство! В салоне вместо живописи какая-то мазня сумасшедшего Сезанна. Ни приятного освещения, ни одухотворенности, ни хотя бы красивых красок. Мне противно говорить об этом. А поэзия!.. Разве вы не слышали о новом гении? Как же, извольте, — господин Стефан Малларме. Один прощельга заявил мне, что этот Малларме выше Сюлли-Прюдома! Почитайте, весьма интересно для психиатра. Так и называется: «Отступление от смысла». По моему, это конец искусства.

— Я не думаю. Просто мода — «конец века».

— Клемансо-то куда хватил! Анатоль Франс примкнул к дрейфусарам. Лабори готов выкрасть документы. Это уже не судебный процесс, это скандал на всю Европу. Миллионы людей помешались из-за какого-то офицера!

— Психоз... Поветрие... «Конец века»...

— Мильеран готовит нам новую Коммуну! Я видел вчера их демонстрацию. Эта песня бандита Потье! Эти толпы «керосинщиц»! Среди них один молоденький агитатор особенно опасен: некто Бриан. А правительство занимается дурацкой выставкой. Надо всем объединяться для борьбы с новыми гуннами.

— Друг мой, вы немного преувеличиваете. Это не разбойники, это, скорее, денди. Они перебесятся. Прежде была «болезнь века», ну а теперь «конец века», — легонькое головокружение — и только...

— А вы видели на Итальянском бульваре автомобиль?

— Четыре автомобиля!..

— Одиннадцать!..

— Выставка автомобилей!..

— Это положительно конец света!..

— Нет, это «конец века»!..

Париж насмешливо посматривает на цифры календаря. Еще одно столетие!.. Париж не может больше ни увлекаться, ни осуждать. Он видел царских казаков и красную рубашку Гарибальди, песочный цилиндр Мюссе, трупы коммунаров, он видел Бальзака и Мишеля Бакунина, Тьера и Раваполя, Александра Дюма, персидского шаха, слоновье мясо во время осады и слезы маленькой Мими. Он все видел. Что же может быть впереди, кроме скучных повторений?

Республике скоро тридцать лет. Она давно забыла о детских проказах. Она теперь обзаводится солидным хозяйством. Нам поможет бабушка царь. Да здравствует царь и хорошие проценты!..

Сколько говорили о царстве машин!.. Что же, машины не принесли людям ни счастья, ни гибели. Подешевели чулки и пушки, подешевела жизнь, стало немного легче разбогатеть и немного труднее управлять государством. Но в общем, «чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому».

Пусть волосатые отроки кричат о социальной революции. К сорока годам они станут если не министрами, то подагрическими адвокатами по гражданским делам, кляузниками и любителями страсбургских паштетов. Сегодня возмущенные зрители бросают тухлые яйца в картину молодого художника, завтра эту картину приобретет Люксембургский музей. Жизнь налажена и крепка.

В парке Монсо играют ребята. Они играют в войну. У них деревянные сабли, флаги и барабаны. Через пятнадцать лет им придется прятаться в подвалы и напяливать на лица диковинные противогазы. Но они не знают об этом. Они задорно бьют в барабаны. Девятнадцатый век мирно доживает свое. Его никто не торопит. Пусть перелистывает альбомы с семейными фотографиями и невпопад бормочет о своей бурной молодости.

Только вот самодвижущаяся коляска не хочет ждать. С малопочтительным грохотом она выскакивает на сонные бульвары. Старые клячи становятся на дыбы, и перепуганные дамы вытаскивают из ридикюлей пузырьки с нюхательной солью. Автомобиль движется нервически. Он прыгает как кенгуру. Оп то останавливается, то неожиданно срывается с места. Он заполняет улицы отвратительным смрадом. Он громче весенней грозы. Это обыкновенный фаэтон, но лошадей отпрягли, и, повинуясь каким-то таинственным взрывам, фаэтон зловеще мечется по оскорбленным проспектам Парижа.

Над автомобилями принято смеяться: до чего глупая выдумка!.. Все равно мотор испортится, и шоферу придется, рано ли, поздно ли, идти за лошадьми. Кроме того, фаэтон уродлив. Куда приятней и вернее хороший выезд!..

Над автомобилями смеются, но эти уродливые фаэтоны не дают людям покоя. О чем поют «этуали» всех кафешантанов?.. Да разумеется, об автомобиле: «Гастон умчался с ней в коляске без коней...» Танцмейстеры обучают малокровных барышень новым танцам: «Автомобильному галопу» г-на Симона и «Автомобильной польке» г-на Салабера. Молодой автор не знает, какой оригинальный конец достоин его героя. Франсуа Коппе подает совет: «Он может, наконец, погибнуть под колесами автомобиля!..» Магазин «Лувр» объявил конкурс: кто придумает новую форму автомобиля!.. Зачем фаэтон, если нет лошадей?.. Призы получили г-н Куртуа, предложивший высочайшую карету с буклическими украшениями в стиле Людовика XVI, и г-н Сельмергейм, который додумался до двухэтажной крепости, снабженной крохотными иллюминаторами и капитанским мостиком для управления. Г-н Милль, не удовлетворенный всем этим, построил «автомобиль-лебедь». Мотор помещается в желудке птицы. Лебедь тащит соломенную корзиночку, а в ней сидит человек и управляет машиной с помощью железных вожжей.

Господа Панар и Левассор открыли первый автомобильный завод. Они изготавливают моторы внутреннего сгорания по



модели, представленной немецким инженером Готлибом Демлером. На последних состязаниях автомобилю Панара удалось покрыть расстояние Париж — Марсель в шестьдесят семь часов. Он может развивать скорость до сорока километров в час, — разумеется, при благоприятных обстоятельствах. Газеты называют эти состязания «адскими скачками». Муниципалитеты чрезвычайно обеспокоены. Они выносят грозные постановления: «В городах так называемым «автомобилям» запрещается передвигаться быстрее, нежели три километра в час». Хорошо еще, что их немного!.. Завод гг. Панара и Левассора — это маленькая мастерская. Никто не купит автомобиля, чтобы разъезжать по делам. А кататься куда спокойней, когда впереди пара рысачков, а не какая-то вонючая машина. Автомобиль хранит суровый героизм юности. Он требует самопожертвования. К нему идут те, что случайно не уехали открывать Северный полюс или искать золото на Аляске.

Мечты о всеобщем благоденствии давно забыты, но в сердцах еще дремлет романтическая тоска. Для фантастов и сумасбродов гг. Панар и Левассор изготавливают громоздкие машины, полные таинственного грохота и содроганий.

Лошади становятся на дыбы, и хохочут фельетонисты: до чего глупая выдумка!.. Впрочем, сегодня автомобиль дождался признания: пренебрегая опасностью, г-н Эмиль Золя сел в фаэтон без лошадей. Фаэтон сводили судороги. Но г-н Золя доехал до Версаля. Председатель «Автомобильного клуба» справедливо назвал г-на Золя «просвещеннейшим современником».

У Золя седые волосы. Но он куда моложе своего века. Астматически задыхаясь, он тщится заглянуть в новое столетие. Его собратья по перу описывали гаремы Константинополя, любовь среди флорентинских древностей или похождения вралья Таргарена. Золя занят другим: с жадностью слушает он рев биржи, угрюмый гул забастовавших рудокопов, лязг машин. Поездка из Парижа в Версаль для него не героический пикник: это разведка в двадцатое столетие, — и, усмехаясь, он отвечает председателю клуба:

— Будущее принадлежит автомобилю. Я убежден в этом. Трудно сейчас измерить все значение подобного изобретения. Расстояния уменьшатся, следовательно, автомобиль — новый проводник цивилизации и мира. Наконец, он, безусловно, повысит благополучие.

Филипп Лебон в 1798 году мечтал о всеобщем благоденствии. Его мотор никогда не был построен. Теперь 1898 год. Эмиль Золя проехал из Парижа в Версаль. Эмиль Золя говорит о благополучии. Автомобиль скрежещет и смердит.

Господин Ге не Эмиль Золя. Это не знаменитый писатель и не герой дрейфусаров. Это посредственный адвокат. Он живет в Пуатье, в скучном чопорном Пуатье, где все ложится спать, как куры, — только-только стемнеет, где оперетка это скандал, а г-н Мильеран — анархист. Но г-н Ге передовой человек. Он побывал в Париже, там он увидел фаэтон без лошадей. С тех пор его преследует мечта — купить такую коляску. Автомобиль мчится, как дикий ветер. Правда, г-ну Ге спешить некуда, притом он знает, что на автомобиле далеко не уедешь. Друзья смеются: «Игрушка опасная!..» Но г-н Ге мечтает об автомобиле, как мечтают школьники о героической смерти «Ястребиного Когтя».

Самодвижущаяся коляска стоит дорого. Г-н Ге скопил кое-что про черный день. Он расстаётся со своими сбережениями. Зачем ждать?.. Черный день приходит сразу. Все богаделки из шестнадцати богаделен крестятся и прячутся в чуланы. Мэр издает срочное распоряжение. Друзья г-на Ге пробуют еще урезонить безумца:

— Возле Меген коровы напали на машину, и владелец чуть было не погиб. А в окрестностях Трейля бык кинулся на такой фаэтон, шофер прыгнул в канал... Хорошо еще, что его вытащили...

Господин Ге рассеянно слушает эти причитания. Ничто его уже не может удержать. В пригожий апрельский день он едет со своей женой за город. Автомобиль мчится во весь дух: может быть, тридцать километров в час! Мотор свистит и надрывается. Он нов, этот мотор, новы сверкающие колеса. Стара лишь, как мир, жестокая радость в сердце г-на Ге: он мчится навстречу смерти.

На первом же крутом спуске тормоз лопаются, и храбрецы летят под откос. Крестьяне смотрят издали на трупы: они боятся подойти поближе к столь ужасной машине.

Господину Ге никто не поставит памятника. Он ничего не избрал. Он только купил фаэтон без лошадей и поехал с женой

кататься за город. Золя прочел в газете о страшной катастрофе. Золя не стал, подобно журналистам, проклинать автомобиль. Нет, вывод ясен: надо изготавливать более крепкие тормоза. Через тридцать лет счастливые внуки будут с удивлением слушать об автомобильных катастрофах... Что касается благополучия, то оно обязательно возрастет.

### 3. Мистер Форд в молодости

Берней Ойлфилд пришел первым на автомобильных состязаниях. Он был прежде обыкновенным велосипедистом и управлять машиной научился за неделю до гонок. Выручило «авось». А может быть, и не авось, но неоспоримые достоинства нового автомобиля «900», построенного молодым инженером Генри Фордом. Об этой машине теперь пишут во всех газетах. Форд, впрочем, ищет не славы, но долларов. Он отнюдь не богат, а чтобы исполнились его мечты, ему нужно заполнить хоть небольшой капиталец. Завтра предстоит решительное объяснение с финансистами. Генри Форд гуляет по буковой аллее, речитируя диалоги. Он начинает с самого ехидного скептика, который не верит ни в мораль, ни в гений мистера Форда, ни в обыкновенный мотор.

— Не идете ли вы по ложному пути?.. Разве будущее принадлежит не электричеству? Может быть, и в автомобильном деле победит удобный электрический двигатель. Отчего же нельзя себе представить, хотя бы на главных артериях страны, резервуаров электрической энергии? Наконец, остаются маленькие расстояния, то есть в первую очередь таксомоторы...

Мистер Форд пренебрежительно поводит кончиком носа.

— Мотор должен быть самостоятелен. Маленькие расстояния — это маленькие дела. Америка не «Луна-парк», Америка — континент. Резервуары электрической энергии, простите меня, это только литература, а резервуары «Стандарт ойла» с хорошим бензином — это верное дело. Сейчас не девятностые годы, и речь идет не о новом изобретении. Мотор внутреннего сгорания признан всеми специалистами. Я назову вам самого выдающегося человека нашей эпохи, Томаса Эдисона. Кто же, если не он, призван защищать электричество?.. И вот Томас Эдисон сказал мне: «Потребности человечества сложны и разнообраз-

ны. Мотор внутреннего сгорания, легкий, независимый и в то же время мощный, бесспорно найдет себе место»...

Бизнесмены внимательно слушают. В их глазах и удовлетворение, и легкое беспокойство: сто тысяч долларов на дороге не валяются. Прежде чем выложить такие деньги, надобно все хорошенько взвесить...

Мистер Форд продолжает:

— Как вам известно, моя машина «900» пришла первой. Нам остается перейти к делу. Автомобиль может не только увлекать любознательные умы. Он может также приносить дивиденды.

Мистер Форд встал. Он говорит отчетливо и торжественно, как воскресный проповедник. У него высокий лоб и высокое призвание. О чем он вещает?.. Может быть, об ароматных рощах Ханаана?..

— В течение первого года мы выпустим две тысячи автомобилей. Это так называемая «модель А». Два цилиндра. Восемь лошадиных сил. Устройство машины упрощено, чтобы ею могли управлять неопытные люди, даже женщины и подростки. Цена также доступна: мы будем продавать наши машины по восемьсот пятьдесят долларов за штуку. Через четыре года мы доведем производство до десяти тысяч автомобилей. Подобная самоуверенность способна удивить вас, но я предвижу возможность в один день выпускать столько же машин, сколько теперь выпускают все американские заводы в течение целого года. Это вопрос разумной организации. Автомобильная промышленность неминуемо должна выдвинуться на первое место... Я лично люблю гулять пешком; больше всего на свете я люблю птичий гомон и запах сена. Но жизнь сложнее моих частных вкусов, и я считаюсь не с собой, а с жизнью... Разрешите прочесть вам проект нашего обращения к публике: «Пять минут потерянного времени равняются одному доллару, брошенному в воду...» Дальше: «Это отдых мозгов и очистка легких с помощью самого верного медикамента, то есть чистого воздуха...» Наконец: «Мы приспособили автомобиль для текущих потребностей коммерсанта, а также для семейной жизни. Разумная скорость. Разумное устройство. Разумная цена.»

— Что же позволит вам установить столь низкую цену?

— Во-первых, мы не фабриканты мороженого, и нам нечего опасаться дождливого лета. Мы теперь ограничиваем себя. Завтра мы получим за нашу скромность сторицей. Калькулировать

надо на много лет вперед. Разумней продавать машины в убыток или едва сводя концы с концами, чтобы завоевать рынок, нежели производить дорогие автомобили, приносящие изрядный барыш, но неспособные проникнуть в толщу покупателей. Вот-вторых, правильная постановка всего дела. Человека рождает женщина, то есть человек. Машину должны изготовлять машины. Что касается рабочих, то их надо видоизменить, приблизив к типу машин. Тогда они перестанут, работая, думать. Это не утопический роман, но единственно разумное разрешение рабочего вопроса. Человек, лишенный умственных отправления, куда практичнее для производства машин, нежели высококвалифицированный механик.

— Но как вы этого достигнете? Наши рабочие не негры. С ними не так-то легко справиться...

— Я исхожу из твердых законов бытия. Как я уже сказал вам, я люблю петь птиц, но сам я петь не могу: у меня, к сожалению, нет голоса. А вот у тенора Карузо необычайный голос, оцениваемый, насколько мне известно, в сотни тысяч долларов. Равенство не только опасно, — оно прежде всего противостоит естественности. Рабочие не могут, работая, рассуждать, как я не могу петь. Если они все же хотят проявлять свою оригинальность, им не место на заводе. Одни из них станут изобретателями, другие — нищими или преступниками. Мы сами пойдем навстречу рабочим: упрощением всех процессов мы их освободим от всякого напряжения, как физического, так и умственного. Большинство будет нам признательно, а чудачки существуют повсюду. Приставьте меня к машине, я через неделю сойду с ума: мне претит однообразие. Я убежден, что и в вас живо творческое начало. Но нас не так уж много, мы мозги Америки; а я говорю о ее мускулах. Я отнюдь не приравниваю рабочих к неграм Южных штатов. Напротив, я хочу разгрузить их от ломового оброка. Если они сумеют пригнать себя к образцовым машинам, заработная плата повысится, и недалеко то время, когда наши рабочие будут покупать у нас же автомобили...

Здесь бизнесмены переглядываются. Один даже фыркнул: этот Форд дельный парень, но он увлекается!..

— Я не понимаю вашего удивления. Я ведь не говорю вам, что рабочие будут петь, как Карузо, или управлять государством. Нет, подобные бредни мы можем предоставить европейским социалистам. Но покупать автомобили они смогут: это вопрос цены. Наверное, некоторые из вас еще помнят то время, когда



бутыль керосина стоила доллар. На ферме моего отца керосиновую лампу встретили как недопустимую роскошь... Если вы позволите мне небольшое отступление, я скажу вам, что Америка сейчас вступает на путь подлинного совершенствования. Она действительно избрана богом. Она сохранила светлый ум и христианские добродетели. Я отнюдь не сторонник кастового общества: я сам вышел из зажиточной, но простой семьи. Однако демократия так, как ее понимают различные фантазеры, это бессмыслица. Вместо гения — избирательная арифметика. Посмотрите на старый мир. Врач определил бы жизнь некоторых государств как паралич: ни руки, ни ноги больше не повинуются мозговому центру. Рантье держат золото в чулке, превращая само по себе ценное чувство бережливости в скупость. Кровообращение этим нарушается. Рабочие что ни день устраивают стачки. Биржа ищет легкой поживы. Подобная демократия не способна ни улучшить состояние дорог, ни построить новые университеты, ни создать музеи. Культура падает. Иначе и быть не может: в устах праздного мечтателя демократия — это сумма нулей...

Подлинная демократия — это автомобильные состязания: достойные побеждают. Если я достигну своего, я окажусь причастным к управлению государством, не занимаясь вовсе мелкой политикой. Я построю хорошие технические школы. Я постараюсь выжечь алкоголизм и проституцию. Я займусь переводом рабочего класса, который, благодаря притоку иммигрантов, страдает распушенностью и духовным сомнамбулизмом. Наконец, я поведу борьбу за простоту нравов, за гигиенический образ жизни, за общение человека с матерью-природой. Как видите, я не изменил моим пичугам!..

Мы сейчас собрались вокруг этого стола, чтобы положить начало «Автомобильной компании Форда». Каждый вправе рассчитывать на дивиденды. Я здесь только техник, чертежник, механик. Я вкладываю четверть основного капитала, проект «модели А» и мой труд. Я надеюсь, что вы не станете пенять на меня за то, что я отнял у каждого из вас несколько драгоценных минут. Ведь мы все американцы и добрые христиане. Господа, самые большие дивиденды получит человечество: автомобиль — это залог всеобщего преуспевания!..

Компаньоны мистера Форда молитвенно жмурятся, как они жмурятся в церкви, когда пастор докладывает им об ароматных

рощах Ханаана. Ведь все они американцы и добрые христиане. Они хорошо понимают торжественность минуты.

Впрочем, сейчас никаких компаньонов нет. Сейчас Генри Форд шагает по безлюдным аллеям парка, чуть шевеля губами. Вокруг него — птицы. Особенно он любит стрижей. Кстати, стриж летает со скоростью до ста восьмидесяти миль в час... Что же, мы обгоним и стрижей!.. Форд улыбается нежно и призрачно. Завтра соглашение будет подписано. Завтра в человеческие дни вкатится новое существо, громкое, скорое и непобедимое. Дорогу, господа, дорогу!..

Мистер Форд настаивает. Тогда стрижи, лирически чирикунув, улетают.

1929

## АВТОМОБИЛЬ

### 1. Что такое лента

Длинные шеренги рабочих. Одни прикладывают гайку, другие закрепляют винт, третьи считают крылья, четвертые закрашивают ободок, пятые штампуют оси. Человек поднимает руку, потом опускает ее. На этот штифтик ему дано ровно сорок секунд. Машина спешит. С ней не о чем разговаривать.

Рабочий не знает, что такое автомобиль. Он не знает, что такое мотор. Он берет болт и приставляет гайку. В поднятой руке соседя уже ждет закрепка. Если он потеряет десять секунд, машина уйдет дальше. Он останется с болтом и с вычетом. Десять секунд — это очень много и это очень мало. За десять секунд можно вспомнить всю жизнь и можно не успеть даже перевести дыхание. Он должен взять болт и приставить гайку. Вверх, вправо, полукруг, вниз. Он делает это сотни, тысячи раз. Он делает это восемь часов сряду. Он делает это всю свою жизнь. Он делает только это.

По длинной мастерской ползут шасси. Им пересекают дорогу колеса. Колеса вертятся в воздухе. Колеса спешат к шасси. Человек берет колесо, надевает его. Одно колесо. Другой — другое. Роль человека проста и торжественна: он надевает левое заднее колесо, всегда левое, всегда заднее. Он привык сгибать

свою правую ногу. Левая неподвижна. Он привык повертывать голову только вправо. Налево он никогда не смотрит. Он уже больше не человек. Он только колесо — левое заднее. А лента движется дальше.

На нижней ленте шасси, на верхней кузова. Кузов опускается в люк с мучительной точностью. Это называется «свадьбой». Но никогда человек не может так точно пригнать себя к другому человеку. «Свадьба» длится ровно полторы минуты. Человек нагибается: гайка, штифтик. Лента движется.

Она не из шелка, это даже не лента. Это цепь. Это чудо техники, это победа разума, это рост дивидендов, и это обыкновенная железная цепь, ею здесь скованы двадцать пять тысяч колесников.

Пьер Шарден работает в сборочной. Он прикрепляет задние рессоры. В его руке железная серьга. Шасси движутся. У Пьера Шардена 1 минута 12 секунд. Он нацепляет серьгу. Он работает исправно: у него ведь трое детей. Он получает 4 франка 75 сантимов в час. Он хочет получать больше. Он хочет купить новую кровать. Он мечтает даже о светлой квартире: его окна выходят на глухой двор, и его младшая дочка, которой уже четыре года, еще не начала ходить. Он о многом мечтает. Он старается нацеплять серьги скорее, он хочет выиграть десять или двадцать секунд.

Чтобы нацепить серьгу, достаточно 55 секунд. Это учтено. Теперь в час мимо Пьера проходит 70 шасси. Он получает все те же 4 франка 75. Он не купил кровати. Его дочка так и не начала ходить. Он приходит домой унылый и молчаливый. Он, кажется, разучился говорить. Он знает одно: нацепить серьгу, в 55 секунд. Он умрет на пять лет раньше. Зато каждый автомобиль теперь обходится на 6 сантимов дешевле.

Жан Лебак работает в Сюрени. Он изготавливает шарниры. У него старуха мать и двое ребят. Как и Пьер, он о многом мечтает. За 100 шарниров ему платят 4 франка. Он забывает о жизни. Он входит в раж. Это больше не Жан Лебак, который играл в кости или подтрунивал над товарищами, — нет, это американская машина. Вместо 120 шарниров в час он изготавливает 220. Вот-то порадует он своих!.. Но нет — автомобиль должен стоить дешево. Если Жан Лебак делает шарниры быстрее, надо переменить расценку. Вместо 4 франков он теперь получает за

100 штук всего 2 ффранка 80. Он пробует работать еще скорее. 230. Но нет, он все-таки не американская машина. Он валится без сил. Врач говорит, что это грипп. Он знает, что это — отчаяние. Как бы он ни работал, больше положенного ему не выработать. Надеяться не на что. Он должен просто спешить, спешить ради спешки.

Торопятся рабочие. Торопятся инженеры. Торопится и г-н Ситроен.

В просторной конторе стучат машинистки. Люси Невиль. Номер 318. Скорее! Вложить листы — 44 секунды. Письмо — 3 минуты 19 секунд. Перечесать — 50 секунд. Положить копию в ящик — 4 секунды.

Хронометрщик носится от станка к станку. У него часы и доска. Он ведет счет секундам. Он смотрит на руку и на стрелку. Он записывает. Это не смертные приговоры, это только удешевленные автомобили.

Торопятся инженеры. Они выдумывают новый тип машины. Повысить скорость. Увеличить удобства. Уменьшить стоимость. Мотор должен поглощать как можно меньше горючего. «Форду» на 100 километров нужно 11 литров. Что же, у американцев и нефть и доллары. «Ситроен» должен довольствоваться малым. 7 литров. Покупатель сноб, он требует 6 цилиндров. Покупатель нервен, он требует бесшумный мотор. Покупатель бережлив, он не хочет платить дорого. Нужно все продумать: фильтр для масла и форму для приставных стульев. Вот он, этот неведомый покупатель, он стоит у витрины магазина. Он смотрит на машины различных марок. Инженер едет домой в вагоне метро. У него нет автомобиля. Но неведомый покупатель уже остановился у витрины. Инженер торопится: новая модель должна быть выпущена к очередному «Салону». Через несколько месяцев эта модель станет устаревшей. Инженеры тогда будут выдумывать новую. Живыми они отсюда не уйдут. Это ведь лента, — та, что движется.

Господин Андре Ситроен хмурится. У него немало забот. Пежо расширяет производство. Пежо выпускает машину на кардонной передаче. Старик Форд снова открыл заводы. У Форда тоже инженеры. Они тоже сидят и думают. Надо найти новые рынки! Надо усилить рекламу!

Господин Ситроен работает с утра до ночи. Помнит ли он о жизни?.. Перед ним автомобили Форда, Фиата, Пежо,

Рено. Миллионы. Орды. А земля так мала! Так легко ее объехать!..

Японцы не ездят в автомобилях. Они ездят на людях. Какие варвары! Человек — это восемь километров в час. «Ситроен» — это восемьдесят. Разве можно медлить? Тебя обгонит другой японец! Но японцы упрямы. Форду хорошо: там у рабочих свои машины, а рабочие Ситроена мечтают о велосипеде. Что же, если г-н Ситроен повысит производство до трех тысяч в день, его рабочие, пожалуй, начнут мечтать об автомобиле. Вот оно, счастье, их и его! Следовательно, надо повысить производство. Но для этого надо повысить спрос. Хорошо бы рекламировать воздух: кто не ездит в воскресенье за город, тот укорачивает свою жизнь на одну треть. Хорошо бы рекламировать жизнь: она одна, другой нет.

Хрипят «форды» и «пежо», «рено» и «фиаты». Они хрипят корректно: они ведь почти бесшумны. У них тоже фильтры для масла. А земля так мала! В России революция. Китайцы режут друг друга. Негры, те просто лазят по деревьям.

Все знают, что г-н Андре Ситроен — игрок. Он обожает баккара. У него четверка или пятерка. Остается одно — прикупить: ведь кто знает, может быть, у Форда девять? Долго длится эта игра. Г-н Ситроен то срывает банк, то проигрывает. Он удешевляет тарифы. Он выпускает новые модели. Он рискует всем. Только бы поскорей!..

Заводы Ситроена прекрасно оборудованы. В них не только привозные машины, в них центральное отопление, мощные вентиляторы, стеклянные крыши. Г-н Андре Ситроен просвещеннейший фабрикант. Разве он виноват, что люди выдумали автомобиль, что они торопятся жить, что существуют на свете химия и нищета, что покупатель с каждым днем становится все требовательней? Г-н Ситроен повинуется своему времени.

На заводах Ситроена двадцать пять тысяч рабочих. Когда-то они говорили на разных языках. Теперь они молчат. Приглядываясь к лицам, можно увидеть, что эти люди пришли сюда из разных стран. Здесь парижане и арабы, русские и бретонцы, провансальцы и китайцы, испанцы и поляки, негры и аннамиты. Поляк когда-то пахал землю, итальянец пас баранов, а донской казак верой-правдой служил государю. Теперь они все у одной ленты. Они не разговаривают друг с другом. Постепенно они

забывают человеческие слова, слова теплые и шершавые, как овечий мех или как комья свежеспаханного поля.

Они слушают голоса машин. Каждая кричит по-своему. Огромные песты нагло ворчат. Взвизгивают фрезерные станки. Пищат пробойны. Грохочут прессы. Кряхтят жернова. Воят блоки. И ехидно присвистывает железная цепь.

От рева машин гложут провансальцы и китайцы. Глаза их становятся светлыми и пустыми. Они забывают все на свете: цвет неба и название родной деревушки. Они продолжают приставлять гайки. Автомобиль должен быть бесшумным. Инженеры сидят и думают, как бы сделать немой мотор. Вот эти клапаны еще пробуют разговаривать: надо заняться клапанами. Покупатель так нервен! У тех, кто стоит возле ленты, нервов нет. У них только руки: приставить гайку, нацепить колесо.

Агенты Ситроена рекламируют море и горы, берега Луары, перевал через Альпы, сосны, озон. Цеха Ситроена наполнены недобрым дыханием машин. Это ядовитые газы, это вонь горячего масла, резкость кислот, спирт, жидкий уголь, краски и лак. Металл травят кислотами, — у рабочих экзема. Металл чистят песком, — рабочих караулит чихотка. Металлы окрашивают из автоматических пистолетов, — испарения отравляют рабочих. В литейных мастерских от масла и серы у рабочих слезятся глаза. Мало-помалу они перестают выносить солнечный свет. Но в мастерских нет солнца. Они продолжают оттаскивать рамы. Зачем им глаза, уши или жизнь? У них руки, они стоят у ленты.

Новичок спрашивает Пьера Шардена:

— Ты придешь вечером на собрание?

Пьер качает головой — нет, он не придет. Новичок еще зелен. Он верит в книжки и в споры, в кружки самообразования и в мировую революцию. Пьер больше ни во что не верит. Когда он был молод, он работал тихо и спокойно. Он работал десять часов, но никто его не подгонял. Он любил тогда инструменты и железо. Он работал со вкусом. Он учился своему ремеслу. Он читал книжки и ходил на митинги. Он верил в победу труда и в человеческое братство. Потом оказалось, что меньше его ни к чему: фрезерный станок работает с точностью в одну сотую миллиметра. Пьер перестал управлять машиной, машина стала управлять им. Теперь он нацепляет серьги. Он забыл о человеческом братстве. Он понял одно: ничего нельзя изменить. Лента движется. Против этого бессильны все доводы. Если он будет кричать, его прогонят. На его место возьмут дру-

того — негра или мальчика. Кто же не сумеет нацеплять эти серьги?.. Пьер больше не ходит на собрания. Он чуждается товарищей. Зачем человек человеку? Чтобы молчать?..

Его жена еще мечтает:

— Вот повезет, и переедем в Ванв... Там воздух чистый...

Пьер молчит. Ему повезет? Серьги всегда останутся серьгами. Набавят пять су — вздорожает масло. В Ванв чистый воздух? Может быть. Но из Ванв на завод — час, час — обратно. А он так устает!.. Странная это усталость. Он мог бы сейчас, кажется, наколоть дрова — целый воз, или пробежать километр без передышки. Тело его не устало. Устала голова. Скорей нацепить серьгу, пока не ушла машина!.. Он забывает имена и лица товарищей. Он не понимает, о чем его спрашивает жена. Он только жалобно отмахивается: «Оставь ты!..»

Иногда жена уводит его в кино. Он сидит там тяжелый и сонный. От темноты слипаются глаза. Трудно понять, почему этот банкир так приветлив с нахальным посетителем... Рядом, в рыжей духоте, среди дыма и снопов дрожащего света, угрюмо копошатся мысли соседей: тех, что вытаскивают оси, или тех, что вставляют штифтики. Это мысли без ног, без плавников, без крыльев; они копошатся, как дождевые черви, рассеченные заступом. Это даже не мысли, это механическая сцепка полузабытых образов, это сны пещерного человека, мычание глухонемого, и это горячечный бред калькулятора: вместо обоев, вместо губ, вместо микстур — все те же шеренги цифр. В кино сидит, казалось бы, обыкновенная публика. Каждый заплатил за вход один франк или два. Они смотрят светскую мелодраму. Это искусство, культура низов, это Париж, тот, что «светоч мира». Копошатся мысли, отекают ноги, в глазах рябь экрана и перламутр. Трещит аппарат. Лента все движется.

И вдруг грохот. Это смех ста глоток, смех грубый и громкий, как рев клапана, смех на «о» — «го-го-го!». Зал гогочет. На экране нахальный посетитель, танцуя, упал. Он упал и разбил монобль. Как он здорово шлепнулся! Как растянулся! Как дрыгнул ножкой! Как утер нос! Го-го! Го-го! Пещерный человек на минуту расправляет лапы и рычит. В его глазах отчаянное веселье. Потом вспыхивает электричество, и глаза гаснут.

Господин Андре Ситроен может быть спокоен. Машина сделала свое дело: человека разобрали и собрали заново. Руки его стали двигаться быстрее, веки — реже моргать. С виду он

похож на обыкновенного человека. У него брови и жилетка. Он ходит в кино. Но разговаривать с ним не о чем. Он уже не человек. Он только частица ленты: болт, колесо или штифт. Он живет не просто, как другие люди, чтобы есть, спать с женщинами и смеяться,— нет, его жизнь полна глубокого смысла: он живет, чтобы изготавливать автомобили, десять лошадиных сил, бесшумный ход, стальной кузов.

Пьер молча идет домой. Жена пробует разговаривать:

— Интересная картина! Я сразу догадалась, что этот брюнет подлец. А ты?..

Пьер не отвечает. Его жена весь день работала: она стирала белье, носила уголь, мыла пол. У нее болит поясница. У нее болят плечи. У нее все болит. Но она не стояла возле ленты. Она еще может разговаривать о каком-то брюнете. А Пьер молчит.

Молча он раздевается. Молча ложится. Он о чем-то думает сосредоточенно, ревниво. О брюнете? Об автомобиле? О смерти? Нет, он думает о пятне на обоях возле самой подушки. До чего это пятно похоже на голову с трубкой!.. Какая гадость! Ну да, вот и дым!.. Он долго думает об этом. Потом он говорит:

— Послушай, здесь надо что-нибудь повесить...

Жена еще штопает носки. Пьер смотрит, широко раскрыв глаза, на электрическую ампулку... Он смотрит не моргая. Холодный свет льется внутрь. На минуту он освещает: голова с трубкой, брюнет, как упал — смешно, скорей нацепить серьгу!.. Рука Пьера по привычке поднимается; правая рука,— левая лежит спокойно. Пьер засыпает. Рука поверх одеяла судорожно шевелится. Дыхание переходит на ночной счет.

Жена смотрит на Пьера. Какой он стал худой и бледный! Проклятый завод!.. Жена тихо вздыхает, очень тихо — ведь Пьер теперь спит. Он спит, но его пальцы едва заметно вздрагивают. Он, наверное, еще нацепляет серьги: до утра, до ночи, до смерти.

## 2. Игрок

Господин Андре Ситроен, если верить светским хроникерам, любимец всех казино. Без него не бывает настоящей партии. Он обладает высоким даром: он умеет проигрывать. Он проигрывает небрежно и красиво. Зеленое сукно — это не грубая пожива, это прежде всего поэзия бессонных ночей, проглоченные



вздохи, тщательно скрываемый пот, отмирание пальцев, поединок с судьбой и еле приметная улыбка; ее надо быстро стереть шелковым платочком, как капли пота на висках.

Господин Ситроен игрок по природе. Его заводы — это жетоны в жилетном кармане. Не упорством достиг он своего, не хитростью, не гением — азартом. Правда, официозные биографы говорят о зубчатках, придуманных в свое время молодым инженером Андре Ситроеном, который окончил парижский политехникум. Но мало ли на свете толковых инженеров и новых зубчаток!..

В 1915 году Ситроен открыл в Париже завод. Он, конечно, изготовлял товар по сезону: он делал снаряды. Недостатка в заказах не было. Патриотизм сочетался с хорошими доходами. Но кончилась война. Перед г-ном Ситроеном были американские машины и неизвестное будущее. Одни ставили на новую войну, другие на длительный кризис, третьи на революцию. Г-н Ситроен поставил на Америку. Он понял, что отжили свой век стихи и ландо, митинги и развалка, лошади и любовь. Вчерашний домосед, мечтатель, растяпа завтра будет судорожно хвататься за часы.

В первый же год заводы Ситроена выпустили три тысячи триста машин. Кругом забастовки, волнения, цены растут, рабочие выбирают делегатов, дадаисты кричат о светопреставлении, предусмотрительные патриоты переводят капиталы в лондонские банки; кругом страх и надежды. Г-н Ситроен поставил на хорошие шоссе и на жестокую борьбу за существование.

Он обдумывает, как совместить американский размах с европейской нищетой. Надо строить дешевые машины. Надо, чтобы эти машины поглощали мало горючего. Надо, чтобы эти дешевые машины выглядели понарядней. Европеец беден, но тщеславен, он горд своей тысячелетней культурой. Он согласится на слабосильный мотор, но не на дурные пропорции.

Два года спустя заводы Ситроена выпустили тридцатитысячную машину. Это не мало, но г-н Ситроен любит только крупную игру. Автомобиль не жемчужное кольцо и не скрипка Страдивариуса. Автомобиль — это новое божество. Ему должны поклоняться все. Следовательно, надо понизить его стоимость. Г-н Ситроен ставит на новую карту. Он меняет оборудование мастерских. Он рекламирует свою последнюю модель: пять лошадиных сил. Это доступно всем. Счастье за полцены! Счастье в кредит! Заводы выпускают двести машин в день. Обороты

увеличиваются. Улицы Парижа становятся опасными. Об автомобилях теперь мечтают мелкие лавочники и фермеры.

Железо стоит дорого. Уголь стоит дорого. Краска стоит дорого. Но в графе расходов имеется одна рубрика. На нее направлено все внимание г-на Ситроена. Если нельзя понизить цены на материал, можно понизить цены на труд. 1919-й позади. Рабочие комитеты давно распущены. Стачки проиграны. Г-н Ситроен показывает своим рабочим новую заморскую игрушку: это лента, — та, что движется. Пусть рабочие и ворчат, их ропот покрывается громоуханием новых прессов. Автомобили Ситроена стоят теперь еще дешевле. Г-н Ситроен снова взял банк.

Но тогда игра перестает его занимать: она слишком мелка. Пять сил приносят недостаточно доходов. Игрок пренебрегает осторожностью. Он бросает ходкую марку. Все растеряны. Поддержанные автомобили пяти сил продаются за бесценок: завод больше их не выпускает. Г-н Ситроен ставит на обогащение одних, на безрассудство других. Без автомобиля жить нельзя: это доказано. Следовательно, покупатели кинутся на новую машину — 10 сил Б. 12. Он сам шел на жертвы. Пусть теперь вся Франция пойдет на жертвы. Пусть пьют меньше аперитивов, пусть реже ходят в кино, пусть носят пальто не два года, а три.

Покупатели сдаются не сразу. Пауза для дельца — это крах, для хорошего игрока — это только жемчужина пота на висках и шелковый платочек. Он быстро вытирает лоб. Он сорвал и этот банк. Новая модель куда выгодней прежней. Дивиденды растут. Игра стоила сердцебиения.

— Прикупаете?

— Прикупаю.

Восьмерка. Игрок прикупил — и перекупил. Деликатно улыбаются соседи. Деликатно шелестят карты. Деликатно освещивают жетоны. И снова:

— Прикупаете?

И снова деликатные улыбки. За спущенными шторами шумит море. Игра никогда не может кончиться. Игрок то проигрывает, то отыгрывается, но он не уходит. Он хочет выиграть. Наконец-то он выигрывает. Но он все-таки не уходит. Он хочет выиграть больше. Тогда он снова начинает проигрывать. Это — как прилив и отлив. Игра постоянна. Игрок и не хочет

выиграть. Он хочет только играть. Разве не похожи на детские игрушки эти костяные жетоны? Нет, он даже не хочет играть. Он очень устал. Рябят масти, девятка сморщивается в мизерную четверку. Он вытирает лоб. Он бледен и уныл. Он не хочет больше играть. Впрочем, это не важно — хочет он или не хочет. Его ведь спрашивают об одном:

— Прикупаете?

Он должен играть. Это уже не игра, это лента, железная лента. Немного жестче улыбка. Немного быстрее летит в пельяницу чересчур длинный окуроч. Но голос его ровен:

— Прикупаю.

Потом просачивается рассвет. В этот час на заводах Ситроена меняются смены. Лица рабочих неподвижны и серы, как будто они не из мяса. Лицо игрока еще неподвижней, еще серее. Это не лицо, но игральный жетон.

— Следовательно, вы проиграли четыре миллиона...

Игрок ничего не понимает. Его рука еще тянется к колоде, но колоды больше нет. Казино уже закрыли. Рука нечаянно натывается на ветку, всю мокрую от обычной предутренней жалости. Перед игроком море. Движения его законны и неизменны. Оно сначала бьется о камни, потом шарахается прочь. Игрок и море остаются вдвоем. Они глядят друг на друга с легким недоверием, которое постепенно переходит в безразличие. Оба устали, и оба должны продолжать свое дело. Для жалоб у них нет времени, а философия устарела... Начинается прилив. Игрок задумался, хотя он и не думает ни о чем. Его приводит в себя гудок автомобиля. Четыре миллиона... Еще две недели... Еще двадцать или тридцать лет... Послушливо игрок уступает дорогу машине. Это последняя модель Ситроена — 6 цилиндров, 10 сил, Б. 14. Игрок улыбается. Улыбка его ничего не означает, как и роса на щеке.

### 3. Новейший завет

У Ситроена пять тысяч агентов. Они рыщут по городам и селам. У них энергия мистера Гувера и собачий нюх. Они мудры, как библейский змий. Они находчивы, догадливы и терпеливы. Одни из них замечательные ораторы: Гамбетты, Анри Роберы, Брианы. Другие могут быть названы тончайшими психологами.

Человечество они делят на несколько категорий: те, что купят автомобиль немедленно, те, что купят его через шесть месяцев, наконец, те, что купят его через год. Людей, которые никогда не купят автомобиля, для агентов не существует: агенты верят в человеческое счастье и прогресс. Этот фермер выгодно продал зеленый горошек: он может купить машину тотчас же. Что касается молодого доктора, то у него завелись уже первые больные, следовательно, через полгода он созреет для очаровательного автомобиля. А с булочником придется подождать до весны.

Пять тысяч агентов разносят по счастливой Франции новое десятикратное счастье и облака серебряной пыли. Они шлют в Париж донесения. Они восхваляют выносливость и легкость машин. Они просят об одном: дешевле! Еще дешевле! Вот булочник, тот никак не может. Да и доктору трудно. Здесь ведь платят по десять франков за визит. Франция не Америка!..

Господин Ситроен сам знает, что Франция не Америка. А вот в этой золотой Америке автомобиль стоит в два раза дешевле. Но что же тут поделаешь?.. Кривая цен по-прежнему рвется ввысь. Водорожали даже леденцы и фиалки. На г-на Ситроена возложена непосильная миссия: он должен дать автомобили всем. Это не заказы. Это обет.

Господин Ситроен продает для рекламы игрушечные автомобили. Их дарят детям на елку. Деревянные лошади давно не в моде. Дети теперь играют в перемену скоростей. Но дети, кроме того, растут. Вот уже надоели им любимые игрушки. Скоро они обратятся к одному из пяти тысяч. Если они не смогут приобрести автомобиля, они станут мизантропами или, хуже того, коммунистами. Г-н Андре Ситроен должен спасти молодую Францию от губительного разочарования.

Служащие вывешивают в мастерских беленькие листочки: «Необходимы жертвы. Дирекция это поняла. Теперь это должны понять и рабочие...» Г-н Ситроен весь преисполнен самопожертвования. Пусть нитки или мыло дорожают — это заслуженные ветераны. Они входят в жизнь человека с первых же слов, вместе с продранными штанишками и с теплой губкой. Они общепризнанны, как солнце и как полиция. Изготавливать мыло или нитки — почтенное, но до чего же скучное дело! Г-н Андре Си-

троен — апостол новейшего завета. Он твердит, что автомобиль нужнее спокойствия. Пять тысяч агентов выдают уверовавшим столько-то железа и столько-то непоседливости. Ради этого он согласен на любые жертвы. Он согласен немного подождать с доходами. Да, он согласен. Очередь за рабочими.

Чтобы продавать автомобили, нужны агенты; чтобы править миром, нужны фантазия, химия и тщательный отбор; нужно иному солдату подарить погоны, нужно разукрасить социалиста ленточкой Почетного легиона, нужно вовремя выписать несколько деликатных чеков. Г-н Ситроен не вмешивается в политику. Он не мечтает о кресле депутата, не субсидирует правой печати и не создает «лиги гражданского единения». Он вне этого. Он выше этого. Он изготавливает серийные автомобили. Как для всевышнего, для него нет ни эллина, ни иудея. На его заводах работают бок о бок благоразумные патриоты и завятые коммунисты. Г-на Ситроена занимает только одно: скорость. Для продажи он создал агентов, для производства — «демонстраторов». Демонстратора самого можно показывать на ярмарках или в университетских клиниках: «Интереснейший экземпляр! Живая машина!» Он не наблюдает за порядком. Он и не стоит у ленты. Он только показывает. Он показывает, как легко любому человеку забыть о том, что он человек.

Жозеф Лепон прекрасный демонстратор. Он обучает рабочих сборочной мастерской. Сколько времени тратит вот этот парнишка на установку ручного рычага? 4 минуты? Лепон берется за дело. Быстро прилаживает он болт и быстро ввинчивает винты. 1 минута 40 секунд. Заведующий определяет: для среднего рабочего достаточно 2 минуты. Тогда демонстратор идет к ленте, показывает. В течение одного часа устанавливает он тридцать рычагов. Потом он уходит прочь — показывать другим и другое. Рабочий остается с рычагами. То, что демонстратор делает один час, он должен делать восемь часов подряд, восемь лет, может быть, всю свою жизнь. Рабочий смотрит на спину Лепона и злобно шепчет:

— Сволочь!..

Лепона все ненавидят. Ситроен — далеко, это почти миф, это вроде господ бога или председателя совета министров. Трудно ненавидеть инженеров. У них свои резоны. Разве они знают, что такое ввинчивать весь день винты?.. А Лепон свой,

рабочий, он получает всего на один франк в час больше других. От него вся беда. От него лента. От него секунды. От него вечером проклятая одурь, когда нельзя ни посмеяться, ни даже уснуть.

Офицерам отдают честь, имена знаменитых актеров печатают на афише крупным шрифтом, хорошего инженера то и дело вызывают в кабинет директора. Жозеф Лепон живет среди рабочих, и рабочие его ненавидят. Он работает, как они, — даже больше; он создает новые рекорды; он изумляет инженеров. Он может простоять на одном месте, не двигаясь, десять часов подряд. Он может проработать весь день, не выходя до ветру. Он может не есть и не спать. На руках его, кажется, не пальцы, но зубила, щипцы, кусачки, сверла, коловороты; внутри же вместо сердца — мотор. Он не помнит своего детства. О его человеческом происхождении свидетельствуют только метрика и родимое пятно. Он столь же нов и божествен, как автомобиль. Но здесь-то и начинается несправедливость. Об автомобиле мечтают все; даже рабочие, выходя из мастерских, с завистью посматривают на машины старших инженеров; даже рабочие боготворят автомобиль. Но, встречаясь с Лепоном, они сердито отплевываются. Оказывается, Лепон еще не совершенен: внутри у него, помимо мотора, архаические чувства, он способен кривиться от обиды.

Вот он вышел из ворот. Он подзывает Дюрана, приемщика:

— Зайди-ка, опрокинем по рюмочке!

Угощает, конечно, он.

Но Дюран бормочет:

— В другой раз. Я сегодня спешу...

Дюран любит ром, но он боится, как бы товарищи не увидели его с Лепоном. И Лепон понимает это. Он тихо ругается. Уныло идет он по улице. Спешить больше незачем. Теперь вечер, сон некому показывать, все сами умеют спать. Он заглядывает в зеркало возле булочной. Обыкновенное лицо. Рыжие усы. Каскетка. Ну да, он самый обыкновенный человек. Но когда он подходит к рабочему, зрачки рабочего ширятся от ужаса, как будто к нему подходит смерть. Лепон не раз это видел. Нечего сказать, веселая должность — изображать смерть!

Он заходит в кабачок. У стойки незнакомые рабочие. Он заговаривает. Он выставляет по рюмке. Трогательно жмет

он руку каждому. Он глотает ром медленно и мечтательно. Он старается всем сказать что-нибудь приятное:

— Вот и весна... Совсем потеплело...

Он показывает на проходящую мимо девушку:

— Шляпка-то какая!..

Он жалуется:

— Устал я... Ну и работа!..

Но тогда он слышит, как один из собутыльников говорит:

— Это демонстратор из сборочной... Известная гадина!

Лепон швыряет монеты на стойку и молча уходит. Он идет вдоль пустынной набережной. Неприязненно поблескивает вода. В нее кидаются люди. А в окнах свет. Там уют — патефон и карты. Черт бы их всех побрал! Пусть лучше бросаются в Сену! Может ли ром развеселить Лепона? Если он снова зайдет в кабак, снова все выпьют и выругаются. Возьмет девушку — чего доброго, та тоже скажет: «Эх ты, демонстратор!..» И потом, он так устал! Надо спать. Завтра он будет показывать, как в тридцать секунд подвешивать кольца. Но он не заворачивает в улицу направо. Он не идет домой. Он никуда не идет. Он стоит на мосту и смотрит вниз. Вода все так же злобно посвечивает. Жозеф Лепон обыкновенный человек. Он не может жить. Он очень несчастен.

Полицейский заметил человека на мосту. Полицейский знает, что внизу не ловят рыбу и не разгружают баржу. Внизу только холодная вода. Полицейский стоит на этом углу уже четыре года. Он хорошо знает, почему люди смотрят так пристально вниз. Привычными шагами он направляется к Лепону.

Господин Андре Ситроен читает: «Наше дело, как мы и предвидели, развивается вполне удовлетворительно. Действительно, в отчетном году оборот равнялся 1 210 000 000 франков при 73 802 выпущенных автомобилях, против 1 005 000 000 за предшествующий год...»

Господин Андре Ситроен тяжело дышит: от духоты и цифр. Июньский горячий день. За окнами режут, пищат, хрипят, задыхаются тысячи машин. В их хрипе все: ночь лотарингских рудокопов, зной каучуковых плантаций, тяжелое зловоние нефтяных промыслов где-то далеко, в Венесуэле, и визг железной ленты, той, что здесь рядом. В хрипе машин агония

миллионов людей, которые жили и умерли ради одного: чтобы сделать эти автомобили. В их хрипе и задержанное дыхание г-на Андре Ситроена, и чахоточный присвист шлифовщика. Автомобили за окнами надрываются.

Отдышавшись, г-н Ситроен бесстрастно продолжает: «... и против 872 000 000...»

#### 4. 18 000 000 франков и 34 пальца

У фермера давно своя машина. Доктор перед пасхой купил кабриолет. Вчера, наконец-то, сдался и булочник: он подписал бланк, поднесенный ему красноречивым агентом. При этом он загадочно улыбался, точь-в-точь как Фауст. Впрочем, это самый обыкновенный булочник из местечка Монтрей.

Господин Ситроен мужественно выполняет свою миссию: скоро автомобиль будет даже у чахоточного шлифовщика. Бедняга поймет, умирая, зачем он жил на этой земле.

Но чем дольше играет игрок, тем дальше неведомый розыгрыш. Во Франции один автомобиль на 42 жителя, в Америке — на 5. Игрок берет новую карту: апостол снова идет к упрямым язычникам. У него нет ни чудодейственных исцелений, ни раскатов грома, ни стигматов. Зато он находчив и упорен. Как никто, умеет он прославлять своего нового бога.

Говорят, что в Париже палата депутатов и Венера Милоская, египетский обелиск и Поль Валери, замечательные портные и премудрая Сорбонна. Чужестранец, приехав впервые в этот город к вечеру, когда спят и Венера и профессора Сорбонны, видит перед собой одно только слово; оно пылает на Эйфелевой башне саженными буквами: это визитная карточка г-на Андре Ситроена. Великое имя сияет. Вокруг него извиваются молнии, и от земли к небу рвутся языки мистического пламени. Это 200 000 электрических лампочек и 90 километров проводов. Это также новое откровение, скрижали Синая: опомнитесь! Приобщитесь! Вы должны немедленно приобрести — 40 сил, новая модель!..

Господин Ситроен поясняет: это не реклама, это только носильное участие заводов Ситроена в Международной выставке декоративных искусств. Рекламирывать можно мыло и



сигареты. Владелец автомобильного завода — поборник культуры. Г-н Ситроен строит, например, автомобили с гусеничной передачей. Нечестивцы заверяют, будто эти гусеницы выращиваются для очередной войны. Они шепчут о польских заказах. Они забывают, что г-н Ситроен прежде всего апостол. Его гусеницы переползли через пески Сахары.

Это была чрезвычайно романтическая экспедиция. Завидев автомобили Ситроена, львы и негры падали ниц. Писатели написали замечательные книги. Художники привезли из Африки экзотические полотна. Во всех кино мира шла картина «Черный переход». Г-н Ситроен привез этот фильм даже в палату депутатов. На экране львы и негры падали ниц. На экране трепетало заветное имя: «Ситроен, Ситроен, Ситроен...»

Господин Ситроен пригласил восхищенных депутатов к себе в гости: осмотреть его заводы. Почтенные законодатели, радикал-социалисты и социал-радикалы, увидели американские прессы, а также знаменитую ленту. Это было куда сложнее всех законопроектов и перебаллотировок. Депутаты поняли, что г-н Ситроен действительно великий гражданин: он не произносит речей, он молча строит автомобили. Впрочем, в честь столь красноречивых гостей г-н Ситроен произнес небольшой тост; он произнес его, разумеется, во время десерта, с традиционным бокалом в руке:

— Я полагаю, что тем, кто призван управлять страной, кто призван поддерживать гармоническое равновесие всех ее жизненных сил, небезынтересно ознакомиться с рациональным устройством автомобильного завода...

Один из депутатов, радикал-социалист или социал-радикал, вспомнил шеренги рабочих и от страха зажмурился. Уж не предлагает ли этот Ситроен перевести всю жизнь на конвейер? Например, он, депутат, говорит с трибуны, другой в это время вносит поправки, третий голосует, четвертый апеллирует к стране, пятый в буфете пьет липовый чай, шестой... Впрочем, может быть, влиятельный депутат зажмурился от чересчур плотного завтрака.

Отвечал г-ну Ситроену г-н Ле Трокер, бывший министр общественных работ и товарищ г-на Ситроена по Политехнической школе.

— О, это не цепь, которая поработает человека! Нет, это дорога к социальному совершенствованию!.. Позволь же, дорогой друг, поздравить тебя...

Речь г-на Ле Трокера, как и его портрет, были тотчас воспроизведены в «Газете Ситроена». Внизу значилось: «Новые цены! Кредит на 18 месяцев!»

Кто только не приходит на заводы Ситроена! Студенты из Бухареста и «содружество автомобилистов-пулеметчиков кавалерийского дивизиона», польские конькобежцы и «лига журналистов», певцы, боксеры, делегации хоровых обществ, члены дипломатического корпуса, даже карнавальные королевы. Как хозяйка светского салона, г-жа Ситроен не пропускает ни одной знаменитости. В Париж прилетел Линдберг. Линдберг — герой Парижа. Следовательно, Линдберг должен посетить заводы Ситроена. И г-н Ситроен привозит в автомобиле застенчиво улыбающегося летчика. Он показывает Линдбергу: вот лента. Рабочим он показывает: вот Линдберг. Завтра об этом посещении напишут во всех газетах. В проспектах Ситроена будет указано: «Заводы Ситроена (крупным шрифтом) стали символом французской индустрии. Герой Атлантики Линдберг (тоже крупным шрифтом) передал им привет от индустрии Америки». Если до сих пор люди не знали, зачем именно отважный летчик перелетел через океан, теперь они наверно догадываются: как же, чтобы передать привет заводам Ситроена!..

Эйфелева башня высока. Над ней только небо. Следовательно, надо заняться небом. Продавцы мыла расписываются на железных заборах. Г-н Ситроен должен расписаться на небесной лазури. Он заказывает самолеты. Скромные товарищи Линдберга должны теперь выписать дымом по небу имя г-на Ситроена. Внизу парижане стоят, задрав головы, и дивятся. Они еще никогда ничего не читали на небе, кроме звездных иероглифов. Но иероглифы — это для египтологов или для детей. А г-н Ситроен расписывается обыкновенными латинскими буквами. Больше некуда скрыться от назойливых букв. Они внизу и наверху. Они повсюду. Они светятся. Они покрывают поля. Они заслоняют солнце.

С неба г-н Ситроен быстро возвращается на землю. Тираж «Газеты Ситроена» 15 000 000 экземпляров. Там печатаются акафисты автомобилю, беседы с автомобилем, анекдоты об автомобиле. Там пишут депутаты, поэты, даже опереточные актеры. Все они пишут, разумеется, об одном: о божественной сущности десяти сил. Их мистические размышления окружены цифрами: «Торпедо — 22 600».

Господин Ситроен жертвует юноше, который лучше всех сдаст экзамен на аттестат зрелости, превосходный автомобиль. Г-н Ситроен расставляет на дорогах 150 000 указательных столбов со своим именем. Г-н Ситроен продает 400 000 игрушечных автомобилей. Г-н Ситроен принимает участие во всех выставках: в Марокко и в Перу, в Испании и в Австралии. Кост и Ле Бри перелетели через океан, они в Монтевидео. Куда идут они прежде всего? Конечно, к представителю Ситроена. В Париж приезжают британские легионеры. Г-н Ситроен тотчас посылает им целый эскадрон машин. Агенты Ситроена интервьюируют г-на Тардье и г-на Декобра, г-на Сашу Гитри и г-на Пьера Милля. Каждый день газеты переполнены сенсационными новостями: Ситроен предполагает плюминировать площадь Согласия, Ситроен организует новую экспедицию в Тибет, Ситроен удваивает производство. Ситроен... Ситроен... Ситроен... Внизу — Париж, внизу депутаты и писатели, внизу Лувр, внизу гробница Наполеона, внизу голубая музейная пыль. Над всем этим — Эйфелева башня. В нее влюблены поэты-сюрреалисты, и ей теперь собираются выдать военную медаль. Это самая гордая из всех парижанок. Она выше Нотр-Дам и знаменитой расиновской Федры. Над ней пылают семь роковых букв: «С-И-Т-Р-О-Е-Н». Спешите же, пока не поздно!..

Господин Ситроен любит ошеломлять цифрами. Цифры всегда таинственны и патетичны. Он настаивает: наши заводы занимают 70 гектаров. В наших машинах 46 000 лошадиных сил. По 31 декабря 1927 года нами выпущено 319 074 автомобиля. Мы способны теперь выпускать 1000 машин в день.

Господин Ситроен о многом рассказывает, о многом, но не обо всем. В своих проспектах он, например, не говорит о том, что чистый доход заводов Ситроена за первые шесть месяцев 1928 года равняется 106 000 000 франков. Покупателю автомобиля это неинтересно. Это интересно только держателям акций. Об этом пишут в финансовых отделах солидных газет. Но есть цифры, которые не интересуют ни автомобилистов, ни биржевиков, хотя они столь же таинственны и патетичны, как справка о гектарах площади. На одном из заводов Ситроена, а именно в Сан-Уэн, за девять месяцев было зарегистрировано 1200 несчастных случаев.

В Сан-Уэн — штамповальные мастерские. Там гордость г-на Ситроена — гигантские прессы. Кроме прессов, там — рабочие и секундная стрелка. Вот отчет за один месяц:

Седьмого сентября у рабочего оторван палец, 10-го у женщины — три пальца, у рабочего — рука, у другой женщины — три пальца. 11-го — два пальца под прессом, рука отхвачена ленточной пилой. 26-го — один палец под прессом. 5 октября — два пальца. 6-го крупный день: у одного рабочего — три пальца, у другого — четыре пальца, у третьего — рука.

К цифрам проспектов можно прибавить новую: на одном из заводов Ситроена в течение одного месяца — 12 000 автомобилей, 18 000 000 чистого дохода, 34 оторванных пальца.

Господин Ситроен, бесспорно, заботится о своих рабочих. Его мастерские куда чище и светлее других. Но автомобиль должен стоять дешево. Г-н Ситроен дорого платит за американские машины. А людей сегодня он берет, завтра отсылает: бретонцев, провансальцев, арабов, русских, женщин, подростков. Грохочут гигантские прессы, и летят, летят клочья человеческого мяса.

Секундная стрелка — это скорая стрелка. Рабочий к вечеру мало что понимает. В его голове гуд и зиянье. 800 раз он опускал и поднимал руку с точностью прессы. На этот раз рука замешкалась — кровь марает замечательный пресс. Уж не слушаются руки, они путаются и дрожат — пила проходит по кисти. Это очень просто, и против этого ничего нельзя возразить. Автомобили ведь нужны всем. 34 пальца — не варварство и не легкомыслие, это только дешевые машины, и это высокая миссия, возложенная своеправной судьбой на обыкновенного человека, которого зовут «Андре Ситроен».

## 5. Достопримечательности Парижа

Прежде иностранцы и провинциалы, приезжая в Париж, шли к химерам Нотр-Дам или к Джиоконде. Теперь первым делом они осматривают заводы Ситроена. Вчера любознательная мисс Доран была в Лувре, завтра она едет в Версаль. А сегодня? Сегодня к Ситроену. Парижане тоже приходят посмотреть, как ловко этот молодчик Ситроен изготавливает свои 10 сил. Одни из них только мечтают о собственной машине;

почтительно смотрят они на любой болт. Другие, напротив, фамильярно оглядывают огромные прессы; им кажется, что они у себя дома; ведь, помилуйте, у каждого из них свой «Ситроен», и каждый в воскресенье спешит за город, чтобы подышать пылью и бензином.

Вот идут они гуськом: снобы в спортивных каскетках, солидные рантье с ленточками Почетного легиона, гипсовые красавицы, англичанки, тетушки из Оверни и десять или двадцать анонимных котелков. В литейной, где брызжет рыжий, как солнце, металл, где покрытые маслом и угольной пудрой рабочие сгибаются, один из котелков предупредительно говорит своей половине:

— Мамочка,ними горжетку, не то ты простудишься!..

В руках посетителей специальный гид: «Дощечка номер семь. Обратит особое внимание на четыре котла «Стерлинг». 16 000 кило пара». Впереди — человек с эмблемой Ситроена в петлице. Это гид. Он поясняет:

— Обработка металла песком и сгущенным воздухом с помощью автоматической пескоструи. Этим достигается чистота тона.

Один из обладателей «Ситроена» улыбается: да, да, чистота тона! В общем, этот Ситроен умница, и притом он настоящий француз. Он понимает, что автомобиль должен быть не только прочен, но и красив.

— Обратите внимание... Интересное нововведение... Наша химическая лаборатория... Только, пожалуйста, не приближайтесь!..

Предупреждение излишне: тетушки давно убежали прочь. Только англичанка с любопытством расправляет лорнетку. Она все видела: факиров, апашей, кенгуру. Она не боится никакой опасности.

Перед ней человек в маске водолаза. Резиновая трубочка с воздухом. Он окружен ядовитыми испарениями. Он работает. Он работает, как и все здесь, залпом, боясь упустить секунду. Но вот его сменили. Десять минут отдыха. Он снимает маску. Он сосредоточенно дышит. Обыкновенный воздух для него лакомство. Он очень бледен. Лицо мокрое. Мокрые ладони. В его дыхание входит легкий присвист. Потом он кашляет, выпивает глоток молока и снова надевает маску. Англичанка удовлетворена:

— Очень интересно! Это вроде «Собачьей пещеры» на Капри.

Счастливым обладатель продолжает восторгаться:

— Подумайте — чистота тона!..

Вокруг сухопутного водолаза смертельное облачко. Он не думает ни о Капри, ни о чистоте тона, ни о своей скорой смерти. Он просто работает.

— Нам предстоит еще многое осмотреть. Не стоит здесь больше задерживаться...

Стрелки. Надписи. Перечень достопримечательностей. С трудом удается гиду перекричать рев машины:

— Самый мощный пресс в Европе, типа «Тоledo». Тысяча четыреста тонн. Приводится в движение двумя электрическими моторами: один в сто лошадиных сил, другой...

Сноб вздыхает:

— Вот вам новая эстетика! Идеи Корбюзье. Разве можно после этого всерьез говорить о человеке?.. Посмотрите только на его зубы! Как они вбиваются в сталь! Это прекрасней всякой картины!..

Огромный пест опускается на матрицу. Посетители почтительно ахают.

— Вы слышали — он весит сто пятьдесят тонн! А какая абсолютная точность!

— Это вам не рука рабочего. Он не ошибается ни на миллиметр.

Вдруг происходит некоторое замешательство. Мастер кричит. Подбегают рабочие. Они оставили свои машины. Через две-три минуты все приходит в порядок. Только одного из рабочих куда-то быстро уводят. Он идет, зажмурив глаза и спотыкаясь. Он потерял шапку.

Котелок спрашивает:

— Что же случилось?

С рабочими разговаривать не полагается. Но котелок так взволнован беспорядком, что он забыл о разумной дисциплине. А рабочий уже бежит к своей машине. На ходу он отвечает:

— Два пальца... Такой уж пресс...

Молоденькая провинциалка растерянна. Чего доброго, она сейчас заплачет. Муж ее утешает:

— Это еще неизвестно... Его могут и вылечить. У Ситроена, наверно, замечательная клиника.

Женщина шепчет:

— Хорошо еще, что я не видела крови...

Англичанка не смущена. Она все видела: бой быков и глотателя шпага. Она только спрашивает гида:

— На какой руке?

Гид не отвечает. Гид думает, как бы загладить впечатление. Он лопочет:

— Это не наша вина!.. Мы тратим в год семь миллионов на страхование. Но они никак не хотят считаться с машиной!

Экскурсанты, однако, его не слушают. Они уже увлечены другим.

— В двадцать пять минут собирают мотор. А сколько здесь частей!..

Сноб усмехается:

— Да, это несколько посложней человека!

Вот и последние ворота. Гид раздает литературу. Не забывайте, мы продаем в кредит! Кабриолет люкс. Часы. Километрический счетчик. Показатель уровня бензина. Показатель давления масла. Амперметр. Нитроцеллулоидовая окраска. Тройной ковер. Стекла поднимаются с помощью рукоятки. И все за 27 600 франков. При покупке 2500. Ввиду близких каникул следует торопиться...

Один из котелков мечтательно улыбнулся. Этот, наверное, купит. Если не кабриолет, то торпедо. Он теперь побывал на кухне. Какая точность и тщательность! За такую машину действительно нечего опасаться. А чистота тона!..

Ползет с визгом железная цепь. Пылают печи. Течет железо. Вокруг водолазов нежные облака. Пресс типа «Толедо» работает. Пест опускается на металл. 25 000 человеческих сил и 46 лошадиных выполняют свое божественное назначение.

## 6. Судьба Андре Видаля

На зеленом сукне жетоны то скапливаются в одну горсточку, то растекаются. Часы прилива сменяет отлив. Сколько рабочих на заводе Ситроена? Недавно их было 25 000, теперь 18 000, завтра, говорят, будет 30 000. Это зависит от неведомого покупателя.

Ситроен платит на несколько су больше, нежели другие заводы. Стоит только ему повесить дощечку: «Здесь нанимают»,

как от рабочих нет отбоя. Миновала горячая пора — Ситроен рассчитывает. Впрок он не работает. Автомобили не акции, они должны дешеветь.

Ситроен нанимает всех. Он требует одного: молодости. Сорок семь? Не подходит. В сорок семь лет человек — это старая шина. Он слишком близок к концу, чтобы жить по секундной стрелке. Ему хочется сесть и спокойно подумать: как же все это так вышло?.. Г-н Ситроен хорошо знает, что такое годы и усталость. Он предпочитает молодых. Заводы Ситроена — это вечная молодость, это Америка, это весна.

Восемь лет Андре Видаль прикреплял шатуны к поршням. Он знал, что шатуны делают в Клиши — там работал племянник Видаля. А зачем эти шатуны существуют, он не знал, и он никогда не слышал о прямолинейно-возвратном движении. Это знали инженеры. Видаль прикреплял шатуны. Он получал в час 5 франков 50 сантимов. По дорогам всего мира неслись тысячи автомобилей. В них были, разумеется, шатуны, и эти шатуны были прикреплены руками Андре Видаля. Но на девятый год Видаль не угодил новому мастеру. Глазами? Голосом? Или тем, как кашлял? Кто знает, — человеческие чувства темны, даже на заводах Ситроена, где все точно и ясно.

Видалю было сорок четыре года. При ближайшем сокращении его уволили. Шатуны стал прикреплять молодой итальянец. Видаль сначала выругался. Он покрыл всех: мастера, Италию и даже г-на Ситроена. Потом он пошел домой. Он шел и думал: что же ему теперь делать? Он попробовал было наняться на угольный склад. Через день его прогнали. Он работал у Ситроена восемь лет. Он ничему не научился. Он только разучился таскать на спине кули. Он отдал свою силу каким-то таинственным шатунам, и десятки тысяч автомобилей неслись во весь дух.

А Видаль шатался возле Центральных рынков. Он помогал разгружать возы и подбирал мерзлую репу. Потом он шел на Елисейские поля. Там он останавливался возле прекрасных автомобилей. Когда владельцы выходили из магазина или кафе, Видаль открывал дверцу и снимал шапку. Автомобиль с поршнем и шатуном уносился прочь. Иногда Видалю давали несколько су. Тогда он макал хлеб в красное вино и блаженно посапывал. Осенью он простудился и умер в госпитале Отель-



Дье. Его похоронили на городской счет. Пять лет он будет спокойно лежать на кладбище Иври. На шестой год его кости, еще не совсем опрятные, выкоют и на его место положат другого: литейщика или штамповщика.

Теперь весна, и даже на кладбище нищих нежен, дивен зеленый покров земли. Теперь весна — свежий воздух поднимается в цене, как акции. Покупатели останавливаются возле витрины. Они смотрят на автомобили. Ситроен вывесил заветную дощечку. Возле ворот — толпа: это люди мечтают о царстве вечной молодости. Место Видаля у ленты освободилось. Через пять лет освободится его место и на кладбище Иври.

## 7. С обновкой!

Вот уже налажен кузов. Вот уже разостлан коврик и повешена пепельница. Лента все движется. Человек поднимает насос с бензином. В ответ раздается громкое дыхание: автомобиль родился. За сегодняшний день это 317-й. Открываются ворота: он выбегает в просторный гараж. Там уже ждет его заказчик. Через шесть минут выбежит новый автомобиль. Это точно и непреложно.

Имена заказчиков проставлены на огромной доске рядом с пятизначными числами: г-н Ситроен понимает пафос арифметики. Вы 68 917? Это — ваша машина.

Встреча человека со своим новым повелителем донельзя суха и лаконична. Это — проверка номеров. Вот агент бюро похоронных процессий. Он забудет конкурентов, и тогда-то он женится. Раньше всех он примчится в дом покойника. Он женится, и он будет счастлив. Вот молодожены. Они устраивают свою жизнь: она забеременела, он заказал автомобиль. Вот ловелас, мечтающий о пригородных приключениях: беседа, модистка или бесплатная любовь среди пропыленной сирени. Вот солидный владелец аптекарского магазина. Вот начинающий адвокат. Все они почтительно смотрят на автомобили, сверкающие, как хирургическая палата. Перед ним километры, доходы, похождения, перед ним новая жизнь.

Каждые шесть минут раскрываются ворота, и очередной номер мечтательно вздрагивает. Там, откуда выбегают эти

блестящие автомобили,— грохот прессов и лента. Покупатели расписываются. На вид они вполне спокойны, как будто они покупают открытки или апельсины. Только росчерк порой выдает волнение. Вот все, о чем они так долго мечтали: десятикратное счастье в кредит! В их прищуренных глазах томление. Сейчас они дотронутся до руля. Они потеряются среди десятков тысяч других машин, уже запыленных и обветренных.

Они никогда не поймут, что именно они получили. Спесиво они будут показывать своим друзьям замечательную обновку. Они забудут об этих минутах, а случайно вспомнив, усмехнутся: дрожь новичка!.. Завтра они перестанут вовсе думать. Но сейчас, в этом огромном сарае, заполненном железным рокотом, они уныло оглядываются по сторонам. Они как бы ищут защиты у живого человека. Но людей здесь нет. На доске — номера. За воротами — лента. Они должны покориться. Дрожат моторы, и нет здесь места простой человеческой дрожи.

## 8. Игрок становится картой

Приходят из деревни рабочие и умирают; льется умиротворяющее масло на замечательные прессы; по дорогам Европы, по этим древним тропам крестоносцев и шарлатанов, несутся машины. Г-н Андре Ситроен — только маленький шатун или поршень. Его имя горит на Эйфелевой башне, и оно в миллионах голов. Но он не богат, как Форд, не славен, как Линдберг, он и не всемогущ, как директора банка «Братья Лазар и К<sup>о</sup>». Свою жизнь он положит за высокую идею: он даст Европе скорость, как Будда дал Азии покой. Но на площадях Парижа никогда не поставят памятника г-ну Ситроену. Никто о нем не напишет прочувствованных стихов. Он должен довольствоваться статистикой заказов.

Господин Ситроен — живой человек. У него усы и страсти. Американские прессы кромсают рабочих. Автомобили 10 сил давят бессильных пешеходов. Машина не мирится ни с усами, ни с чувствами.

В жаркий августовский день, когда зной плавил тела литейщиков, когда автомобили туристов, сбившись в кучу, как овцы, мяли друг друга, отчаянно блеяли и сходили с ума,—

в этот томительный день капитал «Акционерного общества Андре Ситроен» сразу возрос со 100 000 000 до 300 000 000. Акции Ситроена начали котироваться на бирже. Они стали бредом, пляской цифр на черных досках, молитвой игроков, полдненным воем маклерской своры, который вырывается на улицы Парижа, сливаясь с sireнами ситроеновских автомобилей. В этот день Андре Ситроен, самодержец Клиши, Сан-Уэна, Жавеля, Гутенберга, Сюренна, Гренеля и Левалуа, исчез. Это не было ни оплошностью прессы типа «Толедо», ни автомобильной катастрофой. Это было сложной финансовой операцией. Г-на Андре Ситроена разобрали и собрали заново. Он стал «председателем административного совета». Биржевые газеты соблазняли клиентов «расширением финансовой базы» и «благодетельным контролем одного из самых могущественных банков».

Товарищем председателя административного совета был выбран г-н Филипп, представитель банка «Братья Лазар и К<sup>о</sup>». Конечно, г-н Филипп только товарищ председателя. Но за спиной этого Филиппа крохотная дочечка: «Братья Лазар и К<sup>о</sup>». Велик и вездесущ банк «Братья Лазар!» Кто в Сити не знает «Лазар Братерс»? Банк Лазар связан с «Индокитайским банком», во главе которого стоит г-н Октав Омбер, король каучука. Он связан и с «Роял-Детчем» — ему хорошо известны различные запахи: запах нефти и запах кнестера от трубки сэра Генри Детердинга. Для Пьера Шардена г-н Андре Ситроен — это господь бог. Для банка «Братья Лазар и К<sup>о</sup>» он только управляющий одним из многочисленных предприятий.

Господин Ситроен расширил дело, но ему пришлось сузить себя. Он узнал то высокое самоограничение, которое предписывает Гете подлинным творцам. Он теперь — председатель административного совета.

Автомобиль 10 сил выдерживает 100 000 километров. Рабочий хорош до 40 лет. Г-н Андре Ситроен неутомим. Французский рынок почти насыщен. Что же, г-н Ситроен отодвигает карту Франции, милой Франции, где 5000 агентов и 150 000 указательных столбов. Он берет карту Европы. Он весь обвит таможенными тарифами и дипломатической паутиной. Разумеется, он сторонник пан-Европы. Ах, он так ненавидит эти

пошлые границы! Пестрота карты оскорбляет его глаза. Он восклицает:

— У американцев рынок в сто миллионов душ! Здесь, в Европе, через каждые двести или триста километров — китайская стена. Национальной индустрии грозит опасность. Она может задохнуться...

Национальная индустрия — это прежде всего он сам. И г-н Ситроен тяжело дышит. Он любит свежий воздух и крупные рынки. Но покорить Европу не в его власти. Он должен прибегать к военным уловкам, к разведке, к камуфляжу, к сае. Он строит сборочные мастерские в Лондоне и в Кельне, в Милане и в Брюсселе. Осторожно пробирается он в Голландию и в Португалию, в Испанию и в Данию. Он укрепляется во французских колониях. Он ведет переговоры с польским правительством о постройке большого завода. Он устраивает новую экспедицию своих «гусениц». На этот раз он мечтает о Средней Азии. Ведь он отнюдь не враг Советского Союза. Он даже начинает проповедовать. Он читает лекции. Он выступает на конгрессах. Повсюду он говорит об одном: «Нам необходимы новые рынки!..» Он мечется среди «департаментов» дорогого отечества, где что ни шаг, то столб и агент, как мечутся хищники в зоологических садах: клетки нет, прыгай, если хочешь, но между тобой и миром ров достаточно широкий и достаточно глубокий, между тобой и миром — смерть.

Министры всех европейских государств, будь то фашисты или социалисты, говорят с американскими банкирами так, как говорили с Золотой Ордой суздальские князья. При этих беседах они отнюдь не вспоминают о тысячелетней культуре: о Рафаэле, о дворцах Версаля или о «Фаусте». Они хорошо знают, что «Фауст» приносит дохода куда меньше, нежели фильмы Гарольд Ллойда, что версальские дворцы лишены современного комфорта и что мистеру Моргану ничего не стоит закупить всех Рафаэлей.

Господин Андре Ситроен умеет чтить святыни. В торжественные минуты он смотрит на запад, хотя там и нет никаких рынков, хотя там только вода, а за водою Форд. Он смотрит на запад, как смотрят на восток набожные евреи, совершая свою молитву. Сион г-на Ситроена это Детройт, где один автомобиль на два с третью человека.

В Детройте сидит старик Форд. Его не могут пронять богомольные взоры г-на Ситроена. Перед Фордом карта. Эта карта куда больше той, что волнует г-на Ситроена. На карте Форда два полушария. Форд ведь тоже ищет новых рынков, и Европа для него то, что для г-на Ситроена Португалия. Он должен ее завоевать. Он измеряет емкость новых колоний: в Англию 200 000 автомобилей, в Германию 100 000...

Господин Андре Ситроен понижает расценки. Лента движется все быстрее. Жан Лебак, тот, что изготавливает шарниры, скоро умрет или сойдет с ума. Г-н Ситроен еще пробует отшучиваться: он, видите ли, рационализирует, следовательно, он ситроенизирует. Сложный глагол! Действие еще сложнее. Он делает все, что может. Но Форд все-таки впереди: его машины стоят вдвое дешевле. Во Франции г-на Ситроена защищает та самая китайская стена, которую он ежечасно проклиняет. Но как ему тягаться с Фордом в Голландии или в Швейцарии?

На каравеллы Колумба Америка теперь отвечает гигантскими пароходами. В их трюмах автомобили. Форд тшится проникнуть даже в заветные департаменты г-на Ситроена, где 5000 агентов и 150 000 столбов. Он уже спустил во Франции цену до 25 700. Это в точности цена Ситроена. Но Форд не успокаивается. Он хочет пробить китайскую стену. Он строит во Франции заводы. Он выпустил новые акции. Эти акции распространяет банк «Устрика», тот самый, что поддерживает заводы Пежо, так же как банк Лазар поддерживает заводы Ситроена.

Господин Андре Ситроен окружен врагами. Пежо, наверно, сговорился с Фордом! Пежо изготавливает маленькие машины в пять сил и дорогие многосильные лимузины. Средних автомобилей он вовсе не изготавливает. Поход Форда ему не страшен. Форд не на него идет. Форд идет на Ситроена.

Но Форд не вся Америка. У всемогущего Форда тоже враги. Они под боком, в Детройте. Это автомобильный трест «Дженераль моторс». Как и Форд, трест хочет перейти океан. Только «Дженераль моторс» выбрал другую дорогу. Он не собирается строить в Европе свои заводы. Он шлет в Старый Свет не инженеров, но дипломатов. Он расчищает путь долларами: во главе «Дженераль моторс» стоит мистер Пьерпонт Морган. Трест уже наладил сношения с немецкими заводами

Оппеля. Трест хочет сразить Форда. Франция — превосходный рынок, и «Дженераль моторс» понижает во Франции цены на «Шевроле».

Господин Ситроен наблюдает. Г-н Ситроен взвешивает. Он уже узнал однажды, что такое банк «Братья Лазар и К<sup>о</sup>». Ему предстоят новые испытания. Он может себя утешить одним: он не одинок. Мистер Морган знает цену всему: конституции, независимости, гордости, химии, Лиге наций и тысячелетней культуре. Мистер Морган может не только сменить министров, он может перерисовать карту Европы. Соглашение «Дженераль моторс» с «Акционерным обществом Андре Ситроен» для него деталь рабочего дня, одна строчка настольного блокнота. Для г-на Андре Ситроена это жестокое испытание. Оказывается, что американские прессы умеют кромсать не только пальцы рабочих: они хорошо штампуют железо, они хорошо штампуют и человеческую жизнь. Из Нью-Йорка не видно огненных букв на Эйфелевой башне: там много своих башен и своих букв.

Когда Жану Лебаку из литейной сбавили 1 франк 20 сантимов на 100 шарниров, он вздохнул, выругался, но продолжал работать. Он знал, что лента не останавливается. Г-н Ситроен продолжает изготавливать автомобили. Он уже не в силах передумать, передохнуть. Он отдал все, чтобы дать людям дешевое счастье. У него не осталось даже собственного имени. Его имя превратилось в ходкую марку. Оно принадлежит теперь не ему, но всем акционерам «Акционерного общества». Он сам пустил эту ленту. Теперь он к ней прикован. Завтра будет отстроен завод Форда. Завтра придется снова понижать тарифы. Еще скорее закружится лента. Это значит столько-то смертей. Это значит увечья, отчаяние, безумие тридцати тысяч. Это значит унылый пот г-на Ситроена. Он больше не игрок. Он только карта. А у зеленого сукна — атлантические понтеры: мистер Морган и мистер Форд.

Господин Андре Ситроен работает. В Персию! В Болгарию! В Сахару! На полюс! Новых агентов! Новые столбы! Это уже не азарт. Это рок. Скорее!.. Ведь автомобили должны стоить дешево.

## Банальный эпилог

Фермер привез домой зеленый горошек: люди больше не хотят покупать консервы. Фермер в злобе смотрит на автомобиль: этот зверь жрет бензин. За него берут налог. Он разоряет фермера. Зачем фермеру спешить: все равно больше никто не купит ни горошка, ни яиц, ни масла. Надо продать автомобиль. Но кто его купит?..

Доктор сидит дома. Он ждет больных, но больные не приходят. Доктор перелистывает старые номера «Иллюстрацион». Вот депутаты приветствуют г-на Ситроена... Это 1928 год — доктор хорошо помнит, в этот год он купил автомобиль. Прекрасное время! Доктора вызывали тогда, даже схватив насморк. Теперь его не позовут и схватив чуму. Кому спустить эту проклятую машину?..

Булочник торгует хлебом, а хлеб нужен всем. Но люди сошли с ума, они говорят, что даже хлеб им не по карману. Булочник сидит и ругает депутатов: от них вся беда!.. Жена булочника читает Экклезиаста: «Время собирать камни и время кидать их...» Она вздрагивает, подходит к окну: что это за шум?.. Безработные кидают камнями в полицейских.

Сырой декабрьский день. Г-н Андре Ситроен зябнет в автомобиле. Он спешит: еще один банк. В сотый раз он говорит одно и то же:

— Вы должны спасти национальную индустрию от краха...

Банкиры вздыхают и молчат.

Господин Андре Ситроен едет к председателю совета министров г-ну Фландену. Г-н Ситроен говорит:

— Вы должны спасти национальную...

Господин Фланден вздыхает и молчит.

Люди разворачивают газеты и читают: «Банкротство Ситроена». Они привыкли к банкротствам, и они ничему больше не удивляются. Они помнят: был Устрика, и банк Устрика поддерживал автомобильные заводы Пежо. Потом Устрика посадили в тюрьму. Они проверяют мудрость Экклезиаста по мелкой хронике газет. Они говорят друг другу:

— Значит, и Ситроен... За кем теперь черед?

Трудно человеку быть бессмертным. Еще труднее ему продать автомобиль.

Сноб, который восторгался идеями Корбюзье и прессами «Тоledo», теперь меланхолично улыбается. Он пил коктейли, он перешел на минеральную воду: это дешевле и гигиеничнее. Он говорит:

— Надо отказаться от дьявольских машин. Человеку куда более приличествует сельский уют, лошадка, скромный огород...

Сноб не знает, что фермер проклял и сельский уют, и прожорливую лошадь, и зеленый горошек.

По мосту проезжает г-н Андре Ситроен. Он смотрит на Эйфелеву башню: башня черна. Маяк цивилизации погас. Г-н Андре Ситроен протяжно вздыхает: где бы найти несколько миллионов, чтобы отыгаться? Щетка сотрет цифры, выписанные мелком.

— Прикупаете?

— Прикупаю.

Он зло усмехается: у него нет миллионов. Он может теперь ставить только сотни тысяч. Он нищий. Хуже того — он безработный.

Господину Ситроену нечего делать. Он очень торопится. Он умирает в 1935 году в возрасте пятидесяти семи лет.

Под мостом лежит Жан Лебак. Он больше не изготавливает шарниры. Он пришел утром на завод, ворота были закрыты. Он ищет работу с утра до ночи, но работы нет. Его мать умерла. Он упросил сестру взять его ребят. Он не заплатил хозяину за комнату, и хозяин его выгнал: у него больше нет крова. Он лежит под мостом. Сырость его охватывает, как горе. Он ни о чем не думает и ни на что не надеется. Утром он подбирает старую газету и нехотя читает:

«Драма на улице Менильмонтан. Пьер Шарден, безработный с завода Ситроена, открыл ночью газ. Он найден со слабыми признаками жизни. Его жена и трое детей подобраны в безжизненном состоянии».

«К летнему сезону намечен выпуск новых машин: 12 цилиндров, аэродинамическая форма, экономическое устройство. Мы предлагаем нашим уважаемым клиентам...»

Жан Лебак бросает газету и завертывается в лохмотья. Он долго сидит на скамье. Чего он ждет? Смерти? Или спасения?..



## 1. Белая кровь, красная кровь

В лесах Бразилии много деревьев. Их имена известны только ботаникам. Одно дерево называется «гевея». Это рослое ветвистое дерево с корой светло-серой и пятнистой, обыкновенное дерево. Оно могло бы остаться в лесах Бразилии среди других деревьев. Ведь в Бразилии люди живут, как лес, — медленно, мудро и тупо. Но на севере, в Нью-Йорке, люди торопятся жить. Они, наверное, боятся умереть слишком поздно. В Париже, Лондоне, Берлине — повсюду люди спешат. Там нет ветвистых деревьев. Зато там много автомобилей. С каждым днем их все больше и больше.

Скромное дерево с пятнистой корой оставило дикие леса. В него сразу влюбились англичане, голландцы, французы. О нем теперь мечтает каждый толковый янки. Оно стало огромными плантациями. За его судьбу тревожатся все банки мира. О нем говорят в дипломатических нотах. Подсчитывая самолеты или оценивая боеспособность нового дредноута, министры думают все о том же пятнистом дереве. Они спешат жить, и им нужны автомобили.

На Яве и на Цейлоне, в Малазии и в Индокитае в тихие вечера, среди лихорадки и горя, среди центов и пиастров, среди желтых слез и желтых долларов, тихо шумят стройные рощи. Они шумят нежно и многозначительно, как акции «Робен ассосиейшн». Белым людям они приносят дивиденды, желтым людям — смерть. Они шумят потому, что под ними жадность и нищета; они шумят вечером потому, что каждое утро голые кули кривыми ножами надрезают нежно-серую кору и бередят старые раны. Кули и деревья понимают друг друга: они все равно истекают кровью. Но кровь кули ничего не стоит, и о ней никто не говорит; а белая, как молоко, кровь ветвистого дерева воистину драгоценна. Она котируется на всех биржах. Она сводит людей с ума. Ради нее они готовы пролить тонны человеческой крови. Деревья знают это, и они сострадательно шумят. Раны на их коре никогда не заживают.

У мистера Девиса 1000 гектаров плантаций. У мистера Девиса 350 000 деревьев. У мистера Девиса 1000 кули. Один кули на триста пятьдесят деревьев. Молочная кровь течет в чашки. Каждое дерево дает в год два килограмма. Мистер Девис собирает в год 700 000 килограммов каучука. У него прелестный коттедж. У него три лимузина. У него площадка для тенниса. У него ручной питон и пухлое руководство для приготовления коктейлей. Питон ловит крыс, как самая обыкновенная кошка, а мистер Девис в свободные часы изготавливает новые, таинственные коктейли: «Южный полюс» или «королева Александра». Мистеру Девису скучно. У него тропическая лихорадка. Ему не с кем играть в теннис.

Вот уже четырнадцать лет, как он в Сараваке. Когда он уехал из Лондона, там еще никто не пил коктейлей. Он был тогда молод и мечтателен. Он глядел на море, и ему казалось, что глаза Анни удивительно похожи на воду Индийского океана. Анни тогда была тоже молодой. Однажды он поцеловал ее русский локон. Теперь Анни срезала седые волосы. Впрочем, он забыл, как выглядит Анни. Два раза в год она пишет ему длинные письма. Она пишет о пьесах Бернарда Шоу и о концертах Стравинского. Она пишет о шумном Лондоне и о своей неудачливой жизни. Она спрашивает мистера Девиса, не собирается ли он вернуться в Англию. Получив письмо, мистер Девис долго меряет длинные коридоры пустого дома. Он отвечает:

«Мой добрый друг! Вы бы меня не узнали. Я опустился и огрубел. Здесь нет порядочного общества. Я даже перестал читать газеты. Возьму «Таймс», чтобы справиться о ценах на каучук, и бросаю. Что мне теперь театры или концерты?.. Я — животное вроде моих кули. Иногда мы собираемся, несколько плантаторов, но даже покер не выходит: слишком сложно. Джемсон снова показывает фокусы, Ричард повторяет старые, надоевшие анекдоты, а я, чтобы немного развлечься, готовлю коктейли. Потом разговор переходит обязательно на одну и ту же тему:

- Вы как надрезаете? Я спиралью и через день.
- Ну и неправильно! Я углом вниз и ежедневно.
- Посмотрим, сколько они выдержат, ваши деревья!..
- Это вы начали на шестой год, как туземец!..

И так далее. Следовательно — ссора. Потом примирение. Милая, добрая Анни, узнали бы вы в косолапом плантаторе вашего Петера? Нет, даю слово, что нет! А годы идут... Четырнадцать лет — страшно подумать. Я должен был бы съездить хоть на один год в Англию. Но что станет с плантациями? Все мои помощники ротозей и невежды. Деревья — вещь деликатная. Их надо беречь. Я вот как-то пролежал в жару две недели — загубили целый гектар. А о том, чтобы надолго отлучиться, и мечтать не смею. Недавно только насадил триста новых гектаров. Корчевать и распахивать было, ох, как трудно! Человек пятьдесят погибло на этом. Теперь надо следить в оба. Через семь-восемь лет мои детки вырастут. Значит, в 1933 году я совсем поглупею: десять тысяч новых деревьев! Нет, Анни, видно, меня здесь похоронят! Друзья выпьют и начнут спорить, хорошо ли я надрезал. Только вот вы вздохнете...»

Закончив письмо, мистер Девис не изготавливает новых коктейлей. Он выпивает залпом большой стакан виски, и, хриплый от уныния, кричит смуглой, пугливой, как лист геветы, двенадцатилетней малайке: «Сюда!» Он зовет ее «Анни», и он бьет ее нежно и злобно. Потом он ложится с ней. Потом засыпает. Во сне он видит деревья, которые истекают белой кровью.

Мистер Девис отнюдь не алчен. Он купил рояль; на нем никто не играет. Он купил жемчуг, и он послал его Анни. Анни спрятала жемчуг в комод, под белье, рядом со срезанными косами: у Анни теперь муж. Мистеру Девису не нужны деньги. Но ревниво следит он за ценами на каучук. Он кричит:

— Ни цента меньше!

Он платит кули сорок центов в день. Один коктейль обходится ему куда дороже. Он кричит:

— Ни цента больше!

Он ест без аппетита — жарко, ох, жарко! И все малайки, все индуски, все китайки ему не по вкусу. Они пахнут гнилыми бананами, сыростью, папоротником. А порядочная женщина должна пахнуть глицериновым мылом: так пахла Анни. Он глотает горький хинин. Он умрет в Сараваке. Его держат пятнистые деревья, из которых струятся доллары. Он бьет хлыстом бья, и он нежно гладит светло-серую кору. Он поку-

пает все новые и новые участки. Он нанимает новых кули. Он боится поглядеть в зеркало: владелец тысячи гектаров мертв. Он мертв, как мертвы его кули. Он мертв, как мертвы изрезанные вдоль и поперек деревья. Но каучук стоит в Ливерпуле 4 шиллинга 5 пенсов, и люди на свете торопятся жить. Мертвый мистер Девис приготовляет коктейли. Питон, объевшись крысами, уснул, уснул на много дней, уснул навсегда.

Кули приходят из Индии и из Китая. Их привозят также с Зондских островов. Сотни тысяч кули гибнут под ветвистыми деревьями. В Сараваке их бьет мистер Девис, на Яве — голландец Ван-Кроог, в Индокитае — уроженец Каркассона, сын парфюмера и поклонник Ростана, г-н Гастон Вальтасар.

Белые ругаются на разных языках, но у всех в руке хлыст. Что делать — кули ленивы и непонятны, сильнее долларов они любят опиум и сон. Белые защищают культуру, Элладу, Рим. Они защищают также каучук. Спины кули изрубцованы, как кора гевеи. Когда они умирают, на их место привозят новых. Вербуют служащие, вербуют полицейские, вербует голод.

Когда ветвистому дереву исполняется семь лет, его начинают надрезать. Когда маленькому индусу исполняется семь лет, его берут на плантации. Он вырабатывает в день десять центов. На это можно купить несколько горсточек риса — сколько же нужно крохотному индусу?.. У него еще слабые ноги, и он не поспевает за другими. Ему хочется поймать ящерицу или перевернуть жука. Тогда надсмотрщик, грозный «кангани», проводит по смуглой спине красную черточку.

Мистеру Девису докладывают:

— Человек убежал. Человека поймали.

Кули не смеет бросить работу. В конторе Девиса листы и печати: это контракты. Он заплатил за проезд кули. Он стал их господином на пять лет. Перед ним пустыня. Он говорит надсмотрщику:

— Спроси его, что он хочет: тюрьму или урок?

Мистер Девис не знает тамильского языка. Переводит кангани.

— Он умоляет мистера не отдавать его полиции.

Дезертир лежит на земле. Он прилип к земле, только его глаза, огромные и влажные, как ночь Индии, жадно следят за крючковатыми пальцами мистера Девиса.

— Он умоляет мистера, чтобы мистер поучил его сам.

Гевею следует надрезать осторожно, дабы не повредить ствола. Одни надрезают спиралью, другие зигзагом. Со спиной кули куда меньше хлопот. Мистер Девис считает:

— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

Кули тих, как земля. Куда он хотел уйти? На родину к голодной семье? Он хотел уйти от ветвистых деревьев. Безумец! От них не может уйти даже всемогущий мистер Девис.

— Двадцать четыре, двадцать пять...

Кули больше никуда не уйдет.

В Сингапуре помещаются правления каучуковых компаний. Специалисты составляют таблицу: минимальный оклад служащего на плантациях — двести сингапурских долларов, это должно хватить одинокому человеку на скромную жизнь. Служащие компании, подписывая договор, обязуются столько лет не жениться. Малайки или китайки стоят дешево.

Новичок проклинает небо Азии и скупость директора. Это белобрысый долговязый юноша. У него нет ни денег, ни удачи. Но у него все же белая кожа. Он получает двести долларов в месяц. Кули работает с пяти утра. Сначала он надрезает деревья, потом собирает сок. Кули вырабатывает в месяц десять долларов. Он может при этом жениться. У него может быть дюжина детей. Это его туземное дело. Европейцы принесли ему счастье: контракт с крестиком вместо подписи, десять долларов в месяц и добродушную проповедь обыкновенной палки.

Новичок проклинает каучук и дороговизну! Извольте прожить здесь на двести долларов! Он сегодня в дурном настроении.

— Кто это так надрезал?.. Кангани, кто здесь работает? Вычесть десять центов. Проклятая страна!..

Новичок вспоминает огни Пикадилли. Зачем он сюда приехал? Клейкие листья. Клейкий сок. Клейкое золото. Он не выберется отсюда, вот как этот кули. Он только сменит мистера Девиса, когда тот взаправду умрет.

В Индокитае тоже сочатся ветвистые деревья и спины кули. Франция, как известно, не бессердечная Англия, Франция — защитница всех угнетенных, и, когда на Францию напали враги, маленьких аннамитов повезли в Марсель: защитить защитницу угнетенных.

Во Франции, в городе Клермон-Феран, у г-на Мишлена превосходный завод. Там из молочной крови изготавливают прочные шины. Г-н Мишлен любит Тэйлора и рационализацию. Он любит Америку. Еще сильнее он любит Индокитай.

Господин Мишлен не одинок. Г-н Октав Омбер тоже любит Индокитай. Г-н Омбер — писатель. Он написал несколько книг о колониальном величии Франции. Кроме того, он глава «Каучуковой компании Индокитай». Он зарабатывает деньги в колониях. Проживать их он хочет во Франции. Это не мистер Девис с его питоном. Это француз и отменный патриот. Он оплот восемнадцати акционерных обществ Сайгона: каучук, сахар, хлопок, фосфат. Но он мечтает стать депутатом Ривьеры, где главная промышленность — зеленое сукно рулетки. Пусть кули собирают драгоценный сок! Что может сравниться с небом Франции? Так думает г-н Омбер. Так думают и держатели акций «Каучуковой компании Индокитай».

А кули? Кули не думают. Кули умирают, как святые — без обременительных мыслей. Они умирают молча и дружно. На плантациях Фу-Риег, принадлежащих г-ну Мишлену и К<sup>о</sup>, за один год вымерла одна треть рабочих. На плантациях Бодой из тысячи кули к концу года осталось пятьсот тридцать шесть душ — остальные умерли.

Если кули не умеет просто умереть, великодушные колонизаторы приходят к нему на помощь. Для утешения туземцев существует «РО» и «РА» — винная монополия и монополия опиума. Генерал-губернатор Индокитай разослал недавно своим подчиненным циркуляр: «Я позволяю себе препроводить вам список казенных лавок, которые надлежит открыть в поселках, еще лишенных алкоголя и опиума...»

Этот губернатор известен во Франции как тонкий ценитель искусств. У него превосходная коллекция современной живописи. Может быть, в его библиотеке хранится первое издание «Искусственного рая». Но губернатор не только эстет, он также государственный деятель. Он знает, например, что такое бюджет. За опиум кули отдаст последний пиастр. Во Францию, на радость г-ну Мишлену и г-ну Омберу, спешат пароходы,

груженные белыми пластами каучука. Кули потрудились. Они потрудились притом бескорыстно: полученные ими деньги давно у сидельцев «РО» и «РА».

Зато кули умирают с улыбкой. Умирая, они видят сны, трогательные, как пейзажи Анри Руссо, сны, способные умилить до слез господина генерал-губернатора.

## 2. План Стевенсона

В Сингапуре волнение. В Ливерпуле волнение. Мистер Девис забыл о своих коктейлях. Кули теперь не убегают — канганы сами их гонят прочь. Они могут умирать, где им вздумается. Раны на гевеях рубцуются, заживают. Еще месяц-другой, и гевеи станут самыми обыкновенными деревьями. Но что будет делать мистер Девис? Не ехать же к этой сентиментальной Анни! Притом у нее ревнивый муж...

Держатели каучуковых акций осаждают банки. В Лондоне, на узкой улице Минчинг-Лайн, каучуковые маклеры стоят и вздыхают, точь-в-точь как евреи возле иерусалимской «Стены плача». Кабинет министров устраивает секретные заседания. Кули умирают. Плантаторы бегут в Европу. Это катастрофа.

Что же приключилось? Может быть, взбунтовались индийцы или малайцы? Может быть, это интриги мистера Красина? Нет, кули послушно умирают под ветвистыми деревьями. Те, что еще не умерли, носят ведра молочного сока. Но каучук в Ливерпуле стоит всего-навсего девять пенсов. Это разорение! Это конец каучука! Мистер Девис прогадал: он насадил чересчур много деревьев. Каучук летит вниз. Каучук никому не нужен, хотя Генри Форд и трудится не покладая рук, хотя пыхтят, хрипят, мчатся и агонизируют миллионы автомобилей.

Мистер Черчилль говорит сэру Джону Стивенсону:

— Вы должны спасти каучук... От этого теперь зависит мощь империи...

Сэр Джон Стивенсон садится за работу. Вскоре план его готов:

— Чтобы спасти плантации, необходимо искусственно сократить добычу. Чем ниже падают цены, тем меньше мы выпускаем каучука. Тогда цены неминуемо поднимаются и ограничение соответственно ослабевает.

Один из депутатов сокрушенно вздыхает:

— Но ведь это большевизм! Это вмешательство государства в частную торговлю. Это противоречит всем нашим принципам...

— Уважаемому депутату придется выбрать между чистотой принципов и спасением плантаций. От этого теперь зависит мощь империи...

Уважаемый депутат, вздохнув, выбирает не принципы. «План Стивенсона» одобрен. Производство каучука теперь будет эластичным, как каучук: оно сможет стягиваться и расширяться. В зависимости от этого кули будут умирать на плантациях или вне плантаций. Они будут умирать потому, что все люди смертны.

Мистер Черчилль поздравляет сэра Джона Стивенсона:

— Ваше имя войдет в историю...

И после легкой запинки:

— ...каучука.

Мистер Черчилль большой шутник.

Каучуковые плантации принадлежат англичанам. Но автомобили делают в Америке, и каучук у англичан покупают американцы. Для Сингапура новый закон — божественная мудрость. Для Детройта он — бессмыслица и покушение на мораль. Его необходимо уничтожить заодно с теориями Дарвина и советскими листовками. Сэр Джон Стивенсон лицемер и преступник. Он вполне достоин сэра Генри Детердинга.

Мистер Гувер раздраженно жует сигару. Сигара давно погасла, и мистер Гувер жует мокрый горький табак.

— Вмешательство государства прежде всего безнравственно. Мы недаром враги монополии. Они хотят парализовать нашу промышленность, но им это не удастся!..

Мистер Гувер не болтун. Он знает, что такое каучук. Вместе с окурком выплевывает он сонм имен и цифр. Он советуется с дипломатами и ботаниками. Он готовится к длительной войне.

А каучук?.. Каучук поднимается. Мистер Девис снова изготавливает коктейли. Маклеры из Минчинг-Лайн оживились! они уже не стонут, они бодро верещат:

— Один шиллинг четыре пенса!

— Один шиллинг шесть!



Велики и многолики Соединенные Штаты! В них водятся кедры и бананы, негры и ку-клукс-клан, нефть и бизоны, мистер Гувер и Чарли Чаплин. Но ветвистое дерево никак не может расти в Соединенных Штатах. Ботаники докладывают:

— Ни одно из деревьев этой породы не способно произрастать вне экваториальной зоны, то есть вне зоны, расположенной в десяти градусах на север или на юг от экватора...

Тогда мистер Гувер отсылает ботаников. Он зовет к себе адмиралов:

— Нам надо бы потолковать о Никарагуа. Также о Филиппинских островах...

Они говорят. Но каучук тем временем растет в цене. Сперва покупатели храбрятся: они, видите ли, не хотят переплачивать. Они могут подождать. Не сегодня-завтра англичане опомнятся. В Соединенных Штатах объявлен сбор старого каучука. К заводам тянутся грузовики с дырявыми шинами. Но омоложенный каучук непрочен. Прожорливые автомобили требуют все новых и новых шин. Тогда в Лондон отбывают влиятельные ходатаи.

Мистер Стюарт Готшкис — вице-председатель «Американской каучуковой компании» — предлагает мистеру Черчиллю отменить все ограничения:

— В наших обоюдных интересах свобода торговли...

Мистер Черчилль вежливо улыбается.

— Не следует поддаваться власти слов... Я не совсем понимаю, почему английские плантаторы обязаны продавать вам каучук в убыток?

Американцы любят галстуком мистера Черчилля — всем известно, что мистер Черчилль денди. Они выслушивают также несколько очаровательных каламбуров. Уходят они с пустыми руками.

Мистер Черчилль азартный человек. Он любит войну и покер. Он был в жизни либералом и консерватором, писателем и живописцем, морским министром и канцлером казначейства. Занимала его только игра. Ему не удалось потопить германский флот: это было зевком. Ему не удалось уничтожить и русскую революцию: у противника оказались про запас козыри. Зато теперь он обыграет американцев. Игра идет крупная, и мистер Черчилль увлечен. Вместо уступок он отвечает на домогательства американцев новой атакой: он отдает приказ о беспощадной борьбе с контрабандой. По Тихому океану

пробираются суда, груженные ромом и каучуком. Ром отбирают добродетельные янки: сухой закон. А каучук?.. Каучук, разумеется, англичане.

Мистер Гувер хорошо знает, что ни старые шины, ни контрабанда не помогут делу. Он обращается ко всем гражданам всех штатов: «Нам необходимо обзавестись собственным каучуком».

Каучук продолжает дорожать. Американские заводчики теперь в панике. Они готовы повторить все трагические телодвижения маклеров с Минчинг-Лайн. Заводы в Акроне сокращают производство. Безработные кричат: «Хлеба!» Американские рабочие не умеют голодать мудро и тихо, как кули. Они ругаются и устраивают подозрительные сборища. Несколько акционерных обществ объявили, что в этом году они не выплачивают дивидендов. Биржа мрачна.

Мрачен и мистер Гувер. Правительство Соединенных Штатов обращается к правительству Великобритании. Оно говорит дружески. Оно говорит чуть ли не задушевно. Оно просит отменить ограничения. Что делать, — гевеи растут в Сараваке, а американцам необходим каучук.

Но мистер Черчилль непреклонен. Даже неожиданная нежность мистера Гувера не способна его растрогать. Вы хотите покупать? Что же, мы согласны. Но цены назначаем мы.

Мистер Черчилль обещал сэру Джону Стивенсону, что его имя войдет в историю. Однако в Америке все говорят не о «плане Стивенсона», а о «плане Черчилля». Англия должна выплачивать Америке старые долги. Хитрый мистер Черчилль решил продавать каучук втридорога, чтобы платить американцам американскими долларами! Один журналист объявил, что Черчилль хочет стереть резинкой карточные долги. Это понравилось. Ну да, как Советы!.. Мистера Черчилля, основателя «Клуба пятидесяти» и вдохновителя интервенции, сноба и посредственного преемника Питта, рассерженные американцы зовут «безнравственным большевиком». Помилуйте, им нужен каучук, а здесь в дело вмешивается ботаника! «Экваториальная зона»!.. Конечно, можно завладеть мелкими республиками Центральной Америки и развести там плантации. Но извольте ждать восемь лет!.. Как будто кто-нибудь в Америке согласится обождать хоть одну минуту! Акционеры торопятся получить дивиденды. Автомобилисты торопятся извести шины. А безработные торопятся есть. Все торопятся. И всем необходим каучук.

Далеко от Акрона, в Сараваке, сидит мистер Девис. Он недавно засеял двести новых гектаров. Он получает три шиллинга за фунт. Впрочем, он очень несчастен. Питон его сдох. Коктейли окончательно надоели. Теперь уже ясно, что он никогда не увидит Лондона — каучук поднимается в цене.

### 3. Красные чернила

Нью-Йорк. Биржа каучука. Экран, на котором то и дело появляются последние курсы Лондона. Шиллинг девять пенсов.

Один из клиентов шепчет:

— Не дай бог, если он сдаст хоть на полпенса!..

Это покупатель. Конечно, он хочет платить дешево. Но игра мистера Черчилля — хитрая игра. Если каучук будет стоить шиллинг восемь, войдет в силу новое ограничение. Американцам необходим каучук. Они проклинаят Черчилля, но они стараются поднять цены. Шиллинг девять пенсов.

— Слава богу!..

Лондону даже незачем стараться: Нью-Йорк сам работает на него. Мистер Черчилль выиграл партию.

Он рад бы закончить на этом игру. Но игра только начинается. У мистера Черчилля ум и к тому же Малайский полуостров. Но кто знает, что придумает завтра упрямый мистер Гувер?..

Недаром он советуется с дипломатами и ботаниками. Он, наверное, что-нибудь да придумает! У этого человека железный лоб. Он сын фермера и заправский квакер. Он пьет только чистую воду. Он ненавидит фантазию. Мистер Черчилль рядом с ним легкомысленнейшее дитя. Ведь мистер Черчилль пьет портвейн и пишет романы. А мистер Гувер упорно думает о своем каучуке.

Фараону когда-то снились ужасные сны: семь тощих коров пожрали семь толстых. Мистер Гувер пьет только чистую воду, и он не фараон, он инженер, он квакер, американец. Однако его преследуют сны фараона. Ветвистое дерево должно расти семь лет. Только тогда его можно надрезать. Когда цены на каучук падали, мистер Девис вовсе не засаживал новых участков. Правда, теперь он трудится вовсю. Через семь-восемь

лет добыча удвоится. Через семь... Но что будет через четыре года? Люди торопятся жить. Каждую минуту рождается новый автомобиль. Через четыре года наступит каучуковый голод. Наука оказалась бездарной. Можно изобрести, мистеру Гуверу наало, искусственный джин. Нельзя изобрести искусственного каучука. Соединенные Штаты должны зависеть от какого-то джентльмена. Нет, это не может продолжаться! Америке необходим свой каучук!

Перед мистером Гувером большая карта двух полушарий. Красными чернилами обведены некоторые страны, в которых способны произрастать привередливые деревья. Красные чернила — не аллегория, это только для четкости. Но обитатели обведенных стран могут молиться всемогущему богу всех квакеров: ведь перед смертью принято молиться. Красные чернила делового американца означают многое. Они означают каучук, они означают и кровь.

Либерия? Дать заем, скупить земли, послать администраторов. С этими неграми нечего церемониться. Хватит с них и поэтической клички. Дальше! Филиппинские острова? Здесь предвидятся некоторые затруднения. Прежде всего закупить участки и привезти китайских кули. Местные законы препятствуют? Что же, приостановить действие законов. Соединенные Штаты обещали Филиппинам независимость? Конечно, обещали. Но ведь с тех пор многое переменялось. Эти острова созданы самим богом для каучука; мистер Шонг говорит, что у него там превосходные плантации, а мистер Шонг председатель «Каучуковой компании». Следовательно, закупить и привезти. Дальше! Бразилия? Укрепить наши позиции. Купить прессу. Купить министров. Перед расходами не останавливаться. Заткнуть рот Аргентине. Здесь начинается самое любопытное... Гватемала? Сделано? Очень хорошо. Никарагуа?.. Что же, это мы сделаем в два счета...

У мистера Гувера железный лоб. Он сидит и думает.

#### 4. Каучук и родина

Ночь, горячая и тягучая, приторно пахнет бананами. На севере бананы — лакомство, здесь это только хлеб, тот хлеб, что рифмуется с потом: так заявляют почтенные патеры всех пятисот семинарий. Ночью, впрочем, нет ни патеров, ни

заученного назубок проклятья, только темнота. Она состоит из тысячи мельчайших шумов, из пороха отяжелевшей ветки, из шелеста летучей мыши, из свиста боа.

— Кто там?

Это спрашивает человек человека. Сначала по ошибке отвечает ночь, отвечает нервическим припадком листьев: ах! ах! Потом снова:

— Кто там?

Молчание. Один человек не понимает другого. Даже ночь зовут они по-разному. Один светел и широк, как пшеничное поле. Другой, черный и горячий, едва может отделиться от ночи. На одном военная фуражка с бляхой, на другом широкополая войлочная шляпа. Как им сговориться друг с другом?.. Про что говорить? Про ночь? Про бананы? Про сиротство?

Нет, они не беседуют. Молча катаются они по траве и молча друг друга душат. Ночь, вся ночь, с ветками, с птицами, даже с боа, перепуганная, шарахается прочь. Вдогонку несет едкий свет прожектора. Ночь изодрана, добита. Теперь верещат винтовки и, как балды в цирке, рукоплещут гранаты: бах!

Двух людей больше нет, они пропали вместе с ночью. Фуражка и шляпа на траве. Два грузных мешка, набитых тем, что еще недавно было жизнью: руками, кровью, письмами Дженни и Марии, сигаретами. Все это медленно остывает, как земля. На всем роса,— наверно, по доверенности Дженни и Марии.

Здесь нет кинооператора. Проградали!.. Такая шляпа! Такая смерть! А треск все еще длится. Следовательно, утро застанет двадцать или двести прежалко распластавшихся людей под бананами, под теми, которые — хлеб. Кстати, никто их и не соберет, а несобранные бананы — это докучливо и патетично, как несжатая полоса. Что касается Дженни и Марии (двадцать? двести?), то без беленьких листочков со смешными завитушками нет человеческой жизни, как нет ночи без едкой внезапной росы.

Одни назовут «телеграммами». Они понесутся в огромные города, насвистывая по дороге: «Служебная... номер... шестнадцать слов... Джон... Ричард... Эдуард... в пять пополуночи... на посту...» Быстро они превратятся в черные платья (их ведь

пьют срочно на каждой улице) и в кропотливо высчитанные пенсии.

Другие мулами поползут по горам, крича от стыда и от усталости, чтобы упасть на белый поселок, как граната: бах! «Пабло... Диего... возле деревни Моробина...» В нью-йоркской газете будет петитом напечатано: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из шаяк бандита Сандино. Наши потери незначительны».

Генерал Сандино в белом поселке, среди гор, среди горя, среди крикливых мулов, пишет воззвание: «Всем республикам Латинской Америки. Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико, Гаити, Сан-Доминико. Братья, вспомните о Боливаре и о Сан-Мартино! Вот уже восемь месяцев, как мы боремся. Наши силы иссякают...»

Он долго пишет. Слова торжественные и пышные. Но рука дрожит от волнения. На помощь! Скорее! Притаились за горами Гондурас и Сан-Сальвадор... Угрюмо молчит Мексика. Напрасно генерал Сандино рядом с печатью ставит: «Родина и свобода». Еще два пышных слова... Не милее ли всех пышных слов длинные зеленые бумажки, которые летят из Вашингтона на юг? Что значат патроны вокруг пояса? Вот они в портах, опрятные, как лазарет, новенькие миноносцы... Соединенные Штаты тоже для кого-то родина. А свобода у них как дома, она даже стала статуей, пресс-папье, миллионом открыток.

Письмо из Неровы-Сеговии: «Вчера вражеская авиация снова обстреляла четыре деревни. Янки тоже скинули свыше 100 бомб. Убиты 72 человека, среди них 18 женщин».

Генерал Сандино сидит и пишет: «Позор убийцам женщин! Нас мало, но мы не уступим...» На генерале Сандино широкополая шляпа, и он верит в благородство. С ним три тысячи партизан.

Мистер Гувер отнюдь не волнуется. Он знает: чтобы уничтожить три тысячи, нужно столько-то недель, столько-то долларов, столько-то человеческих жизней. Солдаты Соединенных Штатов любят свою родину. Кроме того, они получают отменное содержание. Следовательно, они могут при случае умереть. Жаль? Разумеется, жаль. Мистер Гувер не злодей. Мистер Гувер гуманист. Разве он не кормил венских детей? Он охотно пощадил бы и Сандино. Он сказал бы ему: «В Голливуд! Там вы будете банальным фигурантом». Никарагуа, как и все земли,

мечтает только об одном: о благоденствии. А этот сумасброд Сандино вздумал говорить о родине, о свободе, — не о статуе, нет, о глупейшей свободе, хотя бы о свободе жить в белых поселках и собирать бананы. Что же, в таком случае Сандино должен быть уничтожен.

Перед мистером Гувером карта. Никарагуа давно обвешана красными чернилами. Ему очень жаль не только Дженни, вдову честного американского солдата, ему жаль и Марию, вдову никарагуаского разбойника. Ведь в настольной книге Гувера сказано: «Не убий». Но там же сказано и про обетованную землю. Без крови она не далась. Праведные израильтяне истребили язычников. Даже господь бог допускает исключения. Убито восемнадцать женщин? Это печально. Однако бывают и железнодорожные катастрофы. Автомобили что ни день давят женщин. Мы несем Никарагуа подлинное благоденствие, и потом — мы не раз это повторяли — нам необходим каучук!

## 5. Смерть последнего выпуска

Они резвятся на всех стенах во всех городах и селах Франции, эти три любимца Республики. Нежный наивный младенец, еще неспособный лгать, расхваливает замечательное мыло «Кадум». Задумчивая корова день и ночь мычит о молочном шоколаде. Что касается третьего, гражданина в больших автомобильных очках, то он сделан не из мяса, как все прочие люди или даже коровы Республики, он сделан из резиновых шин. Зовут его «Шины Мишлен». Он упруг и легок. Он нужен всем: без шин нет автомобиля.

Господин Андре Мишлен никак не похож на своего популярного двойника. У него нет ни кольцеобразного живота, ни легендарной улыбки. Он носит окладистую бороду и пенсне. Внутри у него не воздух, но самые обыкновенные внутренности. Это даже не фокусник. Это превосходный фабрикант. Он привозит кохинхинский каучук. Он покупает каучук у англичан. Из каучука он изготавливает крепчайшие шины. В знойных и грозных цехах, на неистовом огне каучук закаляют, как сталь. Кровь гевей, дотоле мягкая и податливая, становится упругой. Шины не боятся ни камней Карпат, ни сибирских ухабов.

По заводу Мишлена ходят служащие с хронометрами, завод Мишлена устроен на американский лад. Правда, г-н Мишлен не сбрил бороды. Но это не мешает ему уважать Америку. Он выпускает журнал под названием «Благоденствие». Мистер Гувер стал президентом Соединенных Штатов потому, что его лозунгом было именно это слово: «благоденствие». Г-н Мишлен раздает свой журнал бесплатно всем желающим. Он раздает также множество книжек: трогательное жизнеописание Тэйлора, рассказы о детских яслях при его заводе, апологию мира между капиталистами и рабочими. Он не просто хороший заводчик. Он и не игрок, как г-н Ситроен. Он великомученик рационализации.

Из коробки скоростей выскочил смешной человечек с кольцами вместо живота. Он требует: скорее! Скорей готовьте шины! Скорей покупайте автомобили! Стоит ли медленно умирать, если можно умереть быстро, надорвавшись на работе, среди хронометровщиков и образцовых яслей, если можно умереть на длинном шоссе, лопнуть, как лопается шина?..

Рабочие Мишлена не кули. Это скорее геваи: их надо надрезать с толком. Г-н Мишлен устраивает ясли для новой смены. Он выдает особо плодовитым семьям награды. Чем больше у рабочего детей, тем скорее он должен работать. Хронометр отмечает новые рекорды.

Господин Мишлен издает журнал, каждый день придумывает он новые усовершенствования: выиграть еще минуту, еще сорок секунд. Двойник его только улыбается. У двойника внутри не кровь, а воздух. Он несется по дорогам. Он смеется, и это чрезвычайно подозрительный смех. Пусть люди тоже несутся, как он. У них внутри кровь?.. Не важно! Пусть несутся!..

Здесь уже никто не может остановиться: ни автомобили, ни рабочие, ни каучуковый человечек.

Может быть, господина Мишлена иногда одолевает усталость? Ведь у него внутри не воздух, а вязкая кровь. И потом, он не мистер Гувер: лоб у него обыкновенный. Но во Франции — миллион автомобилей. Каждый автомобиль пожирает в год двадцать килограммов каучука. Торопитесь, рабочие! Вы не кули. У вас ясли. Вы не смеете останавливаться. Вы должны работать скорее. Голод — повсюду голод: в Индокитае и в Оверни. Смерть — повсюду смерть. Спешат рабочие. Вот еще одну минуту выиграл у жизни каучуковый человечек.



Несутся автомобили, и он несется. У него большие очки. У него невыносимая улыбка. У него внутри пустота. Это новая смерть, без кустарной косы, без смешного старомодного савана, вся из колец, вся из шин, она мчится — 100, 200, 300 в час, и она высматривает, кого бы взять, чей пришел час, она здесь, там, везде, на всех заборах беспечной Франции.

## 6. Нечто в груди

Мистер Гувер смотрит на карту. Давно высохли красные чернила. Высохла и кровь. Мистер Гувер должен быть счастлив: он теперь президент самой мощной республики мира. Все граждане мечтают пожать его широкую деловую руку. Немцы зовут его «гуманистом»: они помнят вонючее сало «АРА», Негры зовут его «Линкольном»: он победил демократа Смита. Куклуксклановцы зовут его «славным парнем»: он наследственный квакер. Мисс и миссис зовут его «добрым Гербертом»: он за абсолютную трезвость. Контрабандисты зовут его «толковым малым»: виски при нем вздорожало на сто процентов. Все американцы уважают мистера Гувера. Против него только анархисты и неисправимые алкоголики. Мистер Гувер должен быть счастлив.

Но железный лоб ко многому обязывает. Мистер Гувер сидит и думает. Укрощена Никарагуа. Приручена Бразилия. На Филиппинах дело подвигается. На Суматре американцы закупили огромные плантации. Теперь и ботаники идут на уступки: они расширили заклятую зону. Оказывается, Мексика не так уж плоха!.. Через десять лет у Америки будет вдоволь каучука. Но кто знает, не изобретут ли прежде искусственный каучук? Не придумают ли новых способов передвижения? Десять лет для Америки — это столетие. Десять лет для мистера Гувера — это старость и мемуары. Через три года начнется каучуковый голод. «План Стивенсона» уже отменен — он больше не нужен. Каучук теперь сам стоит за себя. Мистер Черчилль перехитрил мистера Гувера: он спас малайские плантации. И мистер Гувер злится. Его железный лоб покрывается рябью морщин. Он должен ждать, хотя ждать нельзя, хотя ждать для Америки — это смерть. Он хочет забыть о каучуке, отдохнуть, выпить со вкусом стакан чистой воды, поглядеть на голубое

небо, на это единственное увеселение всех квакеров, но каучуковые мысли тягучи, неотвязны. Он пьет воду — вода пахнет паленой резиной. Он глядит на небо — небо белеет, как молочный сок. Он засыпает — ему снова снятся фараоновы сны. Мистер Гувер что-то шепчет со сна, этот шепот горек и вечен, как шелест ветвистых деревьев.

У мистера Черчилля больше фантазии. Недаром он воевал с бурами и писал трагические пейзажи. Но мистер Черчилль тоже невесел, хотя он и выиграл партию, хотя мистер Девис и зовет его «спасителем каучука». Янки взялись за дело: скоро у них будут свои плантации. Голландцы должны во всем подчиняться Великобритании. Иначе почему у этих флегматичных пигмеев богатейшие колонии? Голландия — негласный «доминион». Поскольку дело касалось нефти, голландцы отстаивали интересы Великобритании. А вот с каучуком они подвели. Суматрские плантаторы не приняли «плана Стивенсона». Они воспользовались заминкой на американском рынке. Worse того — они продали американцам большие плантации. Мистер Черчилль не торговец. Ему наплевать на дивиденды. Но он у зеленого сукна. Здесь каждая карта — событие. Голландцы подпортили. Какой-нибудь Кайнс снова будет издеваться над экономическими познаниями мистера Черчилля. Битой картой воспользуются либералы. Он не может выносить насмешек, а люди только и делают, что насмеваются над ним, над его военными похождениями, над его пейзажами, над его планом морских сражений, даже над его галстуками. Теперь они будут насмеяться над его каучуковой политикой. Он должен выиграть! Через три года цены удвоятся. Через три... А через семь? Ведь игра только началась, и нельзя бросить колоду, нельзя сказать, что скоро утро, пора по домам. Надо играть, играть всю жизнь, играть, хотя впереди верный проигрыш. Проклятые карты! Лучше уж писать романы... Но нет, он обязан думать о каучуке. Простите, что такое каучук? Резинка в ухе художника Черчилля? Непромокаемое пальто на Черчилле-путешественнике? Клеистирные груши, калоши, подметки?.. Вздор! Каучук — это автомобили, это грузовики, это окопы, это победа. Каучук у нас!..

Но завтра? Но Суматра, Индокитай, Бразилия, Филиппины? Мистер Черчилль судорожно зевает. До чего он бледен! До чего устал! С таким лицом выходит под утро фанатик «девятки» — в кармане револьвер или таблетка веронала. Уснуть!.. Но игра продолжается. Через океан плывет каучук,

его все больше и больше, он у этих, у тех, он у всех. Существуют ли на самом деле пейзажи и портвейн? Мир сделан из каучука. С удивлением мистер Черчилль заметил, что у него каучуковое сердце! Ему все равно, кем быть — правым или левым, ему все равно, с кем бороться. Он не любит никого и ни во что не верит. Нечто в груди сначала растягивается, потом сжимается. Домашний врач мистера Черчилля по привычке еще зовет это «сердцем».

Днем мистеру Девису сказали, что кули пытался украсть фунт каучука. Мистер Девис приказал всыпать злодею тридцать, и хороших. Вечером мистер Девис играл с приятелем в покер. Теперь ночь, и он спит. Он спит неуютно и уродливо: большой, волосатый, — жарко, сползла простыня. Он спит один в длинном пустом доме. Даже питон и тот сдох. Мистеру Девису снятся отвратительные сны: его Анни больше не пахнет глицериновым мылом. Она пахнет чрезвычайно неприятно. Что это за запах?.. Малайки и те пахнут лучше. Волосатый человек долго ворочается. Он не в силах освободиться от навязчивого запаха.

— Анни, мой старый друг, простите грубому плантатору его нескромность. Анни, чем же вы пахнете?..

Анни молчит. Она только смущенно вздрагивает. Может быть, она хочет покраснеть, но не может: она вся белая, чересчур белая. Какой гнусный запах! Так пахнет молочный сок гевей, скисая в чанах. Но ведь это не сок, это Анни. Едва превозмогая отвращение, мистер Девис решает поцеловать руку Анни. У нее муж? Зато у мистера Девиса горячее сердце. Мистер Девис берет руку Анни. Рука отскакивает. Волосатый голый человек пронзительно кричит. Кругом горячая ночь, небо Азии, спящие кули и сотни тысяч ветвистых деревьев. Рука Анни упруга и холодна. Это не человеческое мясо!..

— Анни, из чего ваши руки?

Молчит Анни. Молчат кули и гевей.

Кули, тот, что получил тридцать хороших, не спит. Он кашляет, и на землю, хорошо знающую белую кровь гевей, вылетает красный сгусток: кули прежде не надрезал деревьев, он возил в тележке плантаторов. Он не может говорить, он

только свистит. Он очень болен. Нет, он не болен, он умирает. Он плетется в молельню. Там он видит бога. Бог из бронзы, бог спокоен и непонятен. Толстый Будда улыбается точь-в-точь как улыбается на заборах Франции каучуковый человек. Но Будда никуда не торопится: неподвижно сидит он в прохладной молельне, сидит год, век, вечность. Под Буддой написано: «Одни придут ко мне путями подвига, другие путями жертвы, третьи путями усталости, и этими путями ко мне придут все». Кули не умеет читать, но кули очень устал. Десять лет он возил людей и четыре года надрезал деревья. Он лежит на земле перед богом, и бог обещает ему только то одно, что может обещать даже толстый бронзовый бог: покой.

Вокруг тихо шумят ветвистые деревья. Они сочатся и шумят. Они тоже устали, как Гувер, как Черчилль, как мистер Девис, как кули, как каучуковый человек, как все люди и все автомобили. Они просят: «Покой! покой!» — и пустыми бронзовыми глазами смотрит толстопузый Будда в ночь, которая не знает ни будущего, ни прошлого, — пустыми глазами в пустую ночь.

1929

## Бензин

### 1. Огнепоклонники

Шоссе. Длинная вереница автомобилей. В автомобилях, разумеется, люди. Этот едет, потому что он врач. Этот потому, что он ухаживает за девушкой. Этот продает электрические лампы. А этот решил убить ювелира. Все они едут потому, что у них автомобили. Едут не они, едут автомобили, а автомобили едут потому, что они автомобили.

Вдруг машина останавливается среди пригородного уныния, среди щебня, паршивых котят и назойливой детворы, под жестким белесым солнцем. Вокруг — столбы с насосами. Автомобиль хочет жрать. На столбах различные знаки: буквы, языки пламени, зигзаги молнии. Мелом проставлена цена: 12.70 или 12.80. Автомобилист, тот, что с револьвером в кармане, или тот, что с образцами электрических лампочек, рассеянно смотрит

на молнию и на пламя. Ему попросту нужен бензин. Он не думает, что перед ним война, братские могилы, трофеи победителей. Он платит 12.70 или 12.80. Он думает о лампочках или о ювелире. Он нажимает педаль. Ухмыляясь, машина мчится дальше. Она знает, куда и зачем.

Это можно представить так.

Вереск и тоскливая луна — юпитер подозрительных съёмков, где фигуранты едят бутерброды героически замедленно. Конечно, Шотландия. Конечно, замок. Конечно, пруд. И конечно же, в эту ночь одинокий чужак бродит по берегу, пытается разгадать, где вода, где звезды и где насмешливые глаза какой-нибудь Мери и Кет. Вот его легкая взволнованная тень. Он уже не молод: седые усы, смуглая кожа, обожженная солнцем; в глазах его, черных, как ночь под иными небесами, то и дело показывается суровый огонь. Может быть, и не влюблен он? Может быть, только встревожен луной и сыростью, неожиданным скрещением теней, неожиданным поблескиванием воды, загадочной мелодией своих шагов; может быть, встревожен он только тривиальным присутствием и не Мери, не Кет, а смерти, этой обязательной фигурантки, без которой не бывает ни пруда, ни замка, ни самой короткой человеческой ночи? Человек печален и неказист. На нем поношенный пиджак. Монокль его поцарапан, часы едва держатся на старом ремешке. Может быть, это мечтательный бедняк, маньяк, влюбленный в древности, который приплелся сюда, чтобы вдоволь наглядеться на замшелые камни, чтобы вообразить себя якобитом, готовым тотчас же умереть за независимость Шотландии? Может быть, это неудачливый поэт, который зря посылает каждую субботу во все редакции Соединенного королевства свои баллады, бледные и тоскливые, как луна?

У ворот замка — другая тень. Здесь нет ни пруда, ни пламени в глазах, ни романтики. Луна, однако, и здесь; она помогает разглядеть светлое непромокаемое пальто, сжатые решительные губы. О, этот человек тверд и настойчив! Но ворота не раскрываются. Он был здесь утром, он был здесь и днем. Он снова здесь. Кет? Мери?.. Кто знает!.. Напрасно сует он привратнику, надменному, как сам король Яков, хрустящие карточки и хрустящие ассигнации. Ворота не раскрываются.

Потом луна падает, зеленая луна, в зеленую воду. Умирая, она еще раз жалобно пронизывает белый пар. Тогда тень, та, что вздыхала на берегу, та, что с суровым огнем и с поцарапанным моноклем, среди ив и тишины сталкивается с новой тенью. Об этом можно написать балладу. Шорох теней невыносим. Даже бесчувственная ночь, и та вздрагивает. Это видно по шелесту листьев, по плеску воды, наконец, по узким и сосредоточенным окнам замка, которые сразу загораются. Новая тень — уж не смерть ли это? — скрипя, склоняется, — точнее, склоняется только сухая металлическая шея тени:

— Мистер Тигль ждет вас в курительном салоне...

Тень у ворот ничего не знает. Тень у ворот зябко кутается в широкое, как старинный плащ, пальто.

Мистер Тигль осторожно закуривает гавану. Хозяин набивает свою трубку крепким дешевым кнастером. Легче переменить веру, друзей, убеждения, родину, нежели табак. Хозяин был некогда очень беден. С трудом платил он десять центов за четверку табака. Он привык к его тяжелому густому дыму, к этому аромату матросских кабачков и грубой, беспшабашной молодости. Да, табуку он не изменил!

Мистер Тигль осторожно выпускает струю драгоценного дыма. Осторожно говорит он:

— Что касается возможности сепаратного соглашения с Москвой...

Тогда на ковер сыплются крошки кнастера: рука хозяина чуть-чуть дрожит. Впрочем, он улыбается. Предстоит новая битва. Следовательно, предстоит новая победа. Ведь это о нем сказал лорд Джон Фишер, создатель флота Великобритании: «Вы Наполеон по отваге и Кромвель по глубине». Мистер Тигль может курить гавану и говорить о сепаратном соглашении. Наполеон, он же Кромвель, спокоен. Он окружен серым дымом победы.

— Это бессмысленно, следовательно, это не морально...

Он знает, что победа за ним. А мистер Тигль и сепаратное соглашение — это только туман, белесый туман, это как цвет пруда, как выдуманная поступь обязательной фигурантки, которая бродила по аллеям парка и которую поэты, а также при подходящих обстоятельствах и не поэты, зовут «смертью».

Какой вздор! Вы говорите «смерть»? Но это бессмысленно, следовательно, это не морально.

Кто он? Адмирал? Фельдмаршал? Министр иностранных дел? Нет, он только негоциант. Правда, король Георг пожаловал ему титул «сэра». Но он равнодушен к титулам. Он равнодушен только к своему делу. Он попросту негоциант. Он торгует нефтью. Он глава «Роял-Детча». Зовут его Генри Вильгельм Август Детердинг. С ним его гости: вот неожиданная тень возле пруда — это сэр Джон Кедман, директор «Англо-Першен», союзник хозяйина; а вот и мистер Тигль, председатель «Стандарт ойл оф Нью-Джерсей», который осторожно курит гавану, боясь уронить пепел, боясь уронить слово; это соперник, если угодно, нежно любимый враг. За узкими окнами луна и вереск. Три джентльмена, ласково и загадочно улыбаясь, долго говорят о зловонной жиже.

У древних персов не было биржи, однако они предчувствовали все высокое значение бумажек, именуемых теперь хотя бы «Англо-Першен», — они обожествляли нефть. Возле колодезцев загадочно улыбались жирные грязные жрецы, вечный огонь не угасал. Даже смрад нефти казался паломникам сладчайшим.

Загадочно улыбается сэр Джон Кедман. Во время войны он торжественно возгласил: «Мы окропим вас елеем победы!» Он позволил себе, несмотря на почетный титул председателя нефтяной комиссии, очаровательный каламбур: «ойл» по-английски елей, «ойл» по-английски также нефть. Сэр Джон Кедман совершил над храбрыми «томми», умиравшими в болотах Фландрии, высокий обряд миропомазания.

Теперь он — сэр. Он был когда-то ребенком. Он не думал тогда о божественной сущности нефти. Добродушно, даже фамильярно обходился он с керосиновой лампой, которая мечтательно чадила, покрывая его детство трогательной копотью. Романы Диккенса, домашний уют, золотое медовое счастье!.. Древние персы спокойно спали на страницах гимназических учебников; и маленький Джон еще не помышлял о своем жреческом назначении.

Теперь сэр Джон Кедман преисполнен религиозного пафоса: он знает, кому поклоняются люди. Лет семь тому назад в Лиссабоне епископы римско-католической, единой, апостольской и воинствующей церкви, наследники бессребреников и

страстотерпцев, служили пышные молебствия. Они просили всемогущего о поднятии курса «Англо-Першен». Ладан пахнет, конечно же, лучше нефти, но ладан — это только благоуханная смола. Епископам города Лиссабона пришлось повторять старые молитвы грязных персидских жрецов.

— Вспомните о Венесуэле...

Мистер Тигль пробует устрашить неприятеля. Он забывает, что перед ним не обыкновенный негодянт, который торгует нефтью так, как другие торгуют мылом или яблоками, но Кромвель и Наполеон. Сэр Генри Детердинг может бояться сырости и тишины. Американцев он не боится.

## 2. Зеленое пятно

Мистер Тигль не прочь похвастать:

— Я сам был рабочим на промыслах. Когда я кончил университет — последние экзамены, — вдруг телеграмма от отца: «Приезжай немедленно». Я подумал, что дома несчастье. Быстро собрался. Курьерским... Вхожу в кабинет отца, а он показывает мне на рабочую блузу: «Надень-ка это, и за работу!..» Что же, я не стал спорить. Я зарабатывал двадцать центов в час, как простой рабочий. Зато я изучил мое дело на месте...

Как должен усмехаться Генри Детердинг, представляя себе эту назидательную картину! Биография мистера Тигля взята из пуританской хрестоматии. Предусмотрительный папаша оберегает своего первенца от семи грехов, рождаемых, как известно, праздностью. Вот уже и нефть узнала свою потомственную аристократию! Отец мистера Тигля был владельцем нефтяных промыслов «Скофилд-Шеммер энд Тигль», а дед его со стороны матери — первым компаньоном великого Рокфеллера.

Генри Детердинг никогда не учился в университете, и никто не занимался его воспитанием. Он уехал из крохотной Голландии на Яву в поисках счастья. Скромный клерк одного из банков Батавии, он получал шестьдесят флоринов в месяц — меньше, чем юный Тигль на отцовских промыслах и на отцовских харчах. Клерк, однако, не унывал. Он верил в счастье — скромным он был только с виду.

Когда ему исполнилось тридцать лет, он встретился с удачей. Это не было в старинном замке, и удача никак не походила



на традиционную фею. Звали удачу весьма прозаично: «господин Кесслер». Господин Кесслер был директором молодого, но солидного предприятия «Роял-Детч». Он заметил скромного клерка. Банковские книги, скрип пера, дешевый галстучек... Господин Кесслер умел находить не только нефтяные источники. Исторически вздохнув, он промолвил: «Этому молодому голландцу предстоит великое будущее». Клерк перестал быть клерком. Он занялся нефтью. Пять лет спустя он сменил господина Кесслера: он стал директором «Роял-Детча». Через год он объединил «Роял-Детч» с другой компанией — «Шелл». Он проник в Мексику и Румынию, в Венесуэлу и в Канаду. В маленьком банке Батавии еще справлялись о счетах клиентов по записям исчезнувшего клерка, а прозорливые биржевики уже толковали о новом короле нефти.

Всю жизнь Наполеона томило большое зеленое пятно географической карты. Став во главе «Роял-Детча», Детердинг повел наступление на Россию. В 1903 году он впервые проник на Кавказ. Накануне войны он вывозил из России сотни тысяч тонн.

В ненастный день, сырой и ветреный, жерла «Авроры» угромо пробасили «довольно!...». Никто в России тогда не думал о Генри Детердинге. Люди думали о мире всего мира и о четверке пайкового хлеба. Детердинг прочел: «Всем, всем, всем... Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне... Далее неразборчиво». Он был догадлив и понял значение стыдливого многоточия. В этот день его трубка, наверное, часто гасла. Детердинг нервно чиркал спичками.

Сейчас трубка курится. Добродушно поглядывает он на мистера Тигля. Тот осторожно улыбается.

— Десять лет назад «Россия» — это означало «революция». Теперь это означает — «нефть»...

Для мистера Тигля Россия — страна, в которой имеются большие и плохо оборудованные промыслы. Для сэра Генри это — загадочное пятно и его собственная биография, двадцать пять лет борьбы, неразборчивое радио, металлические глаза Красина, татары, пулеметы, «Стандарт», Генуя, переговоры, разрывы, уступки, ультиматумы, а за всем этим молчание, как пятно на карте — большое и непонятное.

Американцы продают нефть. Но кому же нужна нефть, если не американцам? Они продают сейчас. Через десять лет им придется покушать. В России 150 000 000 душ. Сейчас крестьяне

требуют керосин для ламп. Завтра они потребуют бензин для тракторов. Сэр Генри добывает нефть там, где нет людей. Это осмысленно, следовательно, это морально.

— Но переизбыток?.. Но Венесуэла?.. Но «независимые»?..

У ворот замка по-прежнему зябнет неизвестная тень. У этой тени превосходное перо «ваттермана». У нее отменные рекомендации и пухлый блокнот. Это ведь не тень, — это специальный корреспондент газеты «Таймс». Ему так хочется поговорить с тремя джентльменами! Но ворота замка заперты наглухо.

Мир должен быть организован. Хаос преступен. Хаос — бесесый туман и присутствие обязательной фигурантки. Организовать мир должны не политики, не военные, не дипломаты. На Генри Детердинге — высокая миссия. Он даст человечеству смысл, следовательно, и мораль. Кто не трудится, тот не ест. Да, он тоже социалист, только его социализм — не ребяческая греза, это подлинное дело, это империя нефти.

Мечта, преследовавшая Тамерлана, Цезаря, Наполеона, жива. Она делает горячими и бессонными ночи Детердинга. Бедный корсиканец верил в отвагу подростков. Вудро Вильсон среди сладостных забот запоздалого молодожена преважно диктовал проект «ковенанта». С удовлетворением сэр Генри поглядывает на лакированный глобус. Он вправе его повертеть: Мексика, Кюракво, Глазго, Румыния, Гибралтар, Албания, Порт-Саид, Суэц, Цейлон, Батавия, вот она, «империя, над которой никогда не заходит солнце!».

Да, но зеленое пятно, расплзшееся на две части света?.. Мир должен быть организован. Он пробовал все. Он забыл о радио и о погасавшей что ни минута трубке. Не мог же он уступить зеленое пятно американцам!.. Он говорил: «Ни один порядочный человек не должен покупать советскую нефть; эта нефть краденая». Говоря так, он любезно беседовал с Красиным, хитро посвечивали глаза Красина, и сэр Генри покупал «краденую» нефть. Одновременно он скупал акции бывших владельцев промыслов. Эти акции ничего не стоили после сердитого баса «Авроры», и с их держателями было куда легче сговориться, нежели с подлинными владельцами нефти. Детердинг покупал нефть и продавал ее. Он покупал аннулированные акции, и во всех газетах мира появились предупреждения: «Осторож-

но. Не покупайте краденой нефти!» Так говорили бывшие владельцы бывших акций. Так говорил и председатель нового общества бывших, однако «законных» владельцев — сэр Генри Детердинг. Он говорил интервьюерам: «Российская нефть принадлежит ее бывшим владельцам, следовательно, она принадлежит мне». Он говорил советским продавцам: «Вы можете продать эту нефть мне, но исключительно мне и притом с соответствующей скидкой...» Он делал все, что мог, ибо мир должен быть организован.

### 3. Сэр Генри объявляет войну

Одни называют фунтами стерлингов, другие долларами, третьи поэтично, как будто это тюльпановые поля, флоринами. Все они докучны. Детердинг не успевает даже переменить ремешок от часов. Он курит грошовый кнастер. Правда, он любит спорт. В светском приложении к нефтяной газете была воспроизведена фотография: «Сэр Генри и леди Детердинг катаются на коньках в Сан-Морице». Держатели акций «Роял-Детча» могли радоваться крепости их шестидесятилетнего почитателя. Сэр Генри даже произнес спич в Амстердаме о пользе физкультуры. Но разве для коньков нужны миллионы? Зимой порой замерзают каналы Дельфта или Додрехта, и мальчуганы, не знающие, что такое акции, весело режут лед, голубой, как фаянс.

Зачем Детердингу деньги? В стране Прометея было тепло. Он мечтал об огне, не о печке. Вот другой повелитель, бывший оплот «Англо-Першен», — сэр Базиль Захаров. Его состояние измеряют миллионами английских фунтов. Ему восемьдесят лет от роду, и он одинок. Джон Рокфеллер долго копил деньги. Потом он начал раздавать их, со всем прилежанием квакера и домовода. Он роздал все. Это грустно, как стихи Экклезиаста. Это точно, как ход волн. Не ради денег трудится сэр Генри. Он хочет организовать мир.

Он верит в бессмертие духа. Он также торгует нефтью. Он не может отдать зеленое пятно американцам. Когда «Стандарт Ойл» хотел заключить сделку с Советами, Детердинг послал телеграмму благочестивому Рокфеллеру, который уже скребся в двери рая. «Как? Рокфеллер хочет дать деньги заведомым безбожникам, которые угнетают христианскую церковь?..» Сам

Детердинг не боится ада. Он готов был платить деньги даже этим злодеям и рецидивистам. Он хотел одного: платить дешево.

Он пугал русских, и он соблазнял их. Зеленое пятно оставалось загадкой. Тогда сэр Генри потерял терпение. У него густые жесткие брови. У него горячее сердце. Брови опустились. Трубка угрюмо пыхтела. Сэр Генри Детердинг объявил зеленой загадке войну.

Красин как-то сказал Детердингу: «Прошлое не в счет. Надо все начинать сызнова». Глаза при этом хитро посвечивали. Сэр Генри любовался их игрой. Он сам ненавидит старое. Старое — это белесая тень возле пруда. Старое — это смерть. Не раз он уничтожал все вокруг себя. Он всему изменял, кроме разве кластера. Акции бывших владельцев для него не догмат веры. Это просто хороший ход. Он готов все начать сызнова. Пусть на Красной площади сжигают чучело капитализма. Но пусть при этом помнят, что нефть принадлежит ему, Генри Детердингу, потому что он один способен создать великую империю нефти, а следовательно, одарить человечество стройной моралью.

На северном призрачном море угрюмо дымит гигантский дредоут. Он правит пятью частями света. Для него растут пальмы, для него под землей сверкают алмазы, для него истекают смолой каучуковые рощи, для него Рабиндранат Тагор пишет стихи о мудрой Индии, — все для него. Этот дредоут зовут Великобританией. Его орудия готовы салютовать поцарапанному моноклию. Правда, Генри Вильгельм Август Детердинг — иностранец, но свободолюбивые бритты изучают паспорта только нищих иммигрантов. На капитанском мостике рядом с греческим профилем Базиля Захарова можно увидеть голландскую трубку Детердинга.

Сэр Генри объявил войну шестой части света. У сэра Генри прекрасная армия. Несколько лет назад в лондонском суде слушалось дело подвластной ему компании «Астра-Романа». Вот допрашивают бывшего заведующего великобританской контрразведкой мистера Мак-Догона:

— Вы получали ежегодно четыре тысячи фунтов. Между тем вы отнюдь не специалист по нефтяному делу. Может быть, вы объясните, в чем именно состояла ваша служба?

Мистер Мак-Догон насмешливо вздыхает:

— Простите, но мои функции чрезвычайно трудно определить...

Сэр Генри говорит о Ллойд-Джордже: «Мой друг». Это не мешает ему ладить и с Чемберленом. Он ведь презирает низкую политику, выборы, смену кабинетов, пышные слова и пышные парики. Он объявил войну непокорной державе. Дредноут на славу оборудован. Дым дредноута черен и грозен.

В пригожий майский день полицейские бригады окружают тривиальный дом на улице Мургет. Шифровальщик советского торгпредства, некто Худяков, видит перед собой спортивный кулак одного из полицейских. Худяков, может быть, и хочет расспросить незваного гостя о знаменитом «хабеас-корпусе», но он не тверд в английском языке, к тому же у спортсмена — палка. Худяков молча падает на пол. Полицейский направляется к начальнику с победоносной реляцией.

Сэр Генри говорит: «Побеждает тот, кто действует».

Две недели спустя Чемберлен подписывает воинственную ноту. Сэр Генри возьмет зеленую крепость измором. Он видит уже великую коалицию. Только ни слова о нефти! Говорите о крови расстрелянных, о поругании церквей, о свободе слова, говорите, если угодно, стихами, говорите много, красиво и задушевно! Главнокомандующий остается незримым. Его имя неизреченно, как имя Иеговы. В анонимной комнате он курит простонародный кнастер.

Наполеон идет на восток, чтобы создать единую империю нефти.

#### 4. «Победа»

Просторный кабинет. Зеленое сукно. Приторный запах табака с медом. Председатель «Норд Кокасен Ойлфилд» говорит уверенно и веско. Это дивизионный генерал, которого ознакомили с планом атаки.

— Наиболее существенным событием истекшего года было удаление русского посольства. Надо надеяться, что Франция последует примеру Великобритании. Сэр Генри Детердинг окажет на французское правительство все давление, которое он только может оказать...

Джентльмены облегченно вздыхают: раз сэр Генри!.. С восторгом один шепчет другому:

— Он сказал, что не пройдет и года, как кремлевская власть падет...

«Он» — это, разумеется, сэр Генри. Сэр Генри вспыльчив и неосторожен. Он любит изрекать. Возражений он не терпит. Над Кавказом могут развеяться какие угодно флаги, но кавказская нефть должна принадлежать ему.

Секретарь заказывает каюту: сэр Генри едет в Париж.

Париж смеется, пьет аперитивы, читает о скачках в Довиле и о новых автомобилях Ситроена. Он вовсе не ждет Детердинга. Под платанами целуются сентиментальные парочки. Энтузиасты требуют спасения Сакко и Ванцетти. В народных танцульках гармонисты играют залихватские «явы». Депутаты удят рыбу и задабривают избирателей. Париж, как всегда, пахнет пудрой и бензином. Он не знает, что бензин это нефть, что кабина уже заказана, что голубой дым над площадью Сен-Лавар — дорога сэра Генри к пожарищам Москвы.

Жорж Клемансо теперь заканчивает свою вдоволь тщеславную жизнь афоризмами о тщете всякой славы. Он пишет о Демосфене. Кроме того, он любит наблюдать за своим шотландским терьером. Его пес неохоч до сухого хлеба, но стоит только Клемансо бросить крошки воробьям, как терьер немедленно их пожирает. Клемансо записывает: «Не правда ли, сколь человеческое движение?..»

О Клемансо наивные люди говорят — «циник»! Сэр Генри Детердинг улыбается. Ведь Клемансо питался министерскими кризисами и обыкновенной человеческой тоской. Он верил в чары Мата-Хари, в барабанную дробь, в мистику крови, в ораторское совершенство. Он еще мог признать железо или уголь. Но нефть?.. Во время Версальской конференции его предупреждали: «Англичане хотят нас провести. Они прибирают к рукам всю нефть». Шутники рассказывают, будто бы грозный Клемансо в ответ презрительно усмехался: «Что же, у нас останется электричество!»

Год спустя другой француз — г-н Мильеран гордо заявил: «Моссульская нефть наша, и мы требуем свободных рук». Тогда-то усмехнулся сэр Генри: «У них будут свободные руки. Свободные и пустые». После этого немало французских

солдат осталось в Сирии. Стреляли арабы. Пули были английские.

А нефти у французов нет как нет. Зато кое-кто из них приобрел акции «Роял-Детча». Когда поднимается в цене нефть, поднимаются и бумаги. Это — ущерб для промышленности, это — кризис и безработица, но это — классическое счастье рантье.

У французов нет нефти, и у них много автомобилей. Они покупают нефть «Роял-Детча» или «Стандарт ойла». По Черному морю идут наливные суда. Но ведь сэр Генри воюет с зеленым пространством. Сэр Генри Детердинг хорошо знает, из чего сделана человеческая жизнь. Он знает, что такое высокая политика. Он знает также, что такое зловонная нефть.

Дипломаты — люди загадочные и завлекательные, вроде медиумов или чикагских бандитов. Г-н Камбон, бывший посол Франции в Берлине, снисходя к любопытству непосвященных, выпустил недавно книжку под заглавием «Дипломат». Подробно он рассказывает, как должен образцовый дипломат улыбаться и как должны улыбаться ему.

Господин Камбон — один из «бессмертных» Академии, неужто он выдумал все описанные им улыбки?.. Хотя г-н Камбон помимо Академии состоит во главе французского отделения «Стандарт ойла», беседуя о дипломатическом этикете, он, наверно, забывает о нефти.

К высокому дому на Кузнецком подъезжает автомобиль. Автомобиль корректен, и корректен пассажир. Г-н Эрберт улыбается согласно книге г-на Камбона. Это настоящий дипломат. Он говорит о достоинстве Республики и об общественном мнении. Он говорит возвышенно и деликатно. Это похоже на стихи Гюго. О нефти г-н Эрберт ничего не говорит.

Сэр Генри Детердинг может возвратиться в Лондон.

У закрытых ворот особняка на улице Гренель толпятся журналисты. Они говорят об одном: когда же он уезжает?.. Молчат полицейские. Они ничего не знают. Это даже не люди, это голубые тени голубого Парижа. У них только кепи и номера. Журналисты озабоченно кудахчут: «Когда же? Когда?..» Стекла почтенного особняка меланхолично посвечивают.

## 5. Муза истории

Палата депутатов. Швейцар с массивной цепью на шее торжественно возвещает:

— Господин председатель.

В зал входит г-н Буиссон. Он социалист, и он благородный человек. Свобода совести ему куда понятней, чем топливо. Чуть недоуменно оглядывает зал ффрачная манишка. Кресло амбир цепенеет. Депутаты шумят, как приготовишки, и г-н Буиссон добродушно стучит линейкой. Скучный урок! Сегодня ведь будут говорить о какой-то нефти...

Немало мест пустует: скоро выборы, и самые шустрые уже на посту — в глухой провинции. Там они патетично жмут руки ветеринаров и нотариусов, любезничают с кабатчиками и со стряпчими, сулят кому место табачного сидельца, кому пенсию, кому всеобщее равенство, а кому и загробную жизнь. Там, стуча кулаком по столу, в накуренных кафе они клянутся защищать интересы промышленников, рантье, рабочих, фермеров, интересы всех и всякого, построить новый мост, проложить замечательное шоссе, удешевить квартирную плату, перехитрить американцев и спасти в такой-то раз пятидесятивосьмилетнюю Марианну.

Депутаты слушают одним ухом: кого, скажите, может интересовать нефть?.. Одни пишут письма избирателям: Дюран просит пристроить его племянника в Алжире, а Дюпон возмущен происками конкурентов. Надобно всем ответить. Кто-то со скуки вырезывает на доске свои инициалы. Даже скамья, на которой заседает правительство, вся испещрена вензелями, как тривиальная школьная парта. Шушукание. Смех. Треск газетных листов. Время от времени стук председательской линейки: тише!

— Крекинг не может применяться к нефти, заключающей в себе серу...

Зевки. Гул голосов. Шорох бумаги. Звонok председателя. Зал оживает, когда один из ораторов говорит:

— Вместо «ищите женщину» старых водевилей мы вправе теперь сказать «ищите нефть».

Тотчас же другой депутат возражает:

— Не сравнивайте нефть с женщиной! Женщина — это божество.

Смех и ремарка мизантропа:



— К тому же она не воспламеняется...

Вопрос о пылкости красоток здесь куда понятней и милей неведомого «крекинга».

Речи продолжаются. На трибуне теперь социалист Шарль Барон. Он южанин, у него седая грива и классический рык. Он, разумеется, преисполнен пафоса. Он любит рассказывать...

— Мой дед сидел в Конвенте, и мой дед сказал Марату...

Он свято чтит «Декларацию прав человека». О нефти он говорит так же красноречиво, как его дед говорил о заветах Жан-Жака.

Однако палата 1928 года не Конвент, и гражданин Барон умеет соблюдать вежливость:

— Сэр Генри Детердинг пошел дальше, он пытался также повлиять на французское правительство. Я должен отдать честь нашему правительству и господину Пуанкаре...

Господин Пуанкаре сух и непреклонен. Г-н Пуанкаре быстро прерывает восторженного южанина:

— Никто не пытался повлиять на меня.

Скрипят перья стенографистов. Застыли швейцары с цепями. Легкая серебряная пыль садится на лицо Клио, самой темной из всех муз.

Закон о ввозе нефти принят. В протоколе перечислены по алфавиту депутаты, голосовавшие «за», голосовавшие «против», воздержавшиеся, находящиеся в отпуске. За сим следует: «Не могли принять участия в голосовании гг. Кашен, Дорио, Дюкло, Марти, Вайян-Кутюрье». Это сказано ласково, абстрактно и, однако же, весьма точно: вышепоименованные депутаты не могли принять участия в голосовании хотя бы потому, что они находились в тюрьме Сантэ.

## 6. Сэр и леди

Генри Детердинг выиграл битву. Но зеленое пятно он с карты не стер. В Баку продолжали добывать нефть, и, вопреки морали, эта нефть не текла в резервуары «Роял-Детча» или «Шелл». Детердинг готовился к новому наступлению. В то же время он вел переговоры. Он предлагал мировую. Что делать? Чем больше он выигрывает, тем больше теряет. Он искал нефть повсюду

ду. Оказалось, что нефти чересчур много. Цены начали падать. Автомобилисты радовались. Сэр Генри хмурился: мораль в опасности! Эти восточные путаники продают нефть ниже мировых цен. В Венесуэле что ни день открывают новые источники. «Независимые» пускают нефть за бесценок. Сэр Генри с тревогой заглядывал в биржевой бюллетень.

Тогда-то кинулся на него давнишний враг: «Стандарт ойл» спустил в Индии двадцать долларов с тонны. Это было ударом в спину. Дивиденды «Роял-Детча» понизились. Детердинг вел переговоры о займе в Америке. Он хотел получить 80 000 000 долларов. Но «Стандарт ойл» не дремал, и американские банкиры тянули дело.

Мечта — единая империя, но человечество еще не доросло до этого. Что же, тогда пусть существуют три империи. Это лучше, чем хаос. Сэр Генри упрям, но он умеет уступать. Он приглашает союзника — «Англо-Першен» и врага — «Стандарт ойл» на совещание. Им предстоит разделить мир.

В старинный замок Эчекери приезжают гости: сэр Джон Кедман и мистер Тигль. Над замком луна. Возле замка пруд. Три джентльмена подолгу беседуют друг с другом. Ворота закрыты наглухо. Секретари и стенографистки отосланы в коттедж за восемь миль от замка; здесь нет места свидетелям.

Они не похожи друг на друга, эти три нефтяных императора. Сэр Джон Кедман — ученый. Мирно читал он лекции по политической экономии. Потом внезапно, как Ньютон закон тяготения, он понял закон господства над миром. С тех пор он знает одно только слово: «нефть». Это он научил правителей Великобритании, как бороться с Америкой. Скромный профессор Бирмингемского университета, он стал главой «Англо-Першен» и сэром Джоном. Он здесь — выкладки. Мистер Тигль — сила, наследственная сила, держава Рокфеллера. А Детердинг? Детердинг — только воля, которая должна победить всех.

Осторожно закуривая гавану, мистер Тигль говорит:

— Хорошо, мы поделим рынки, мы задавим «независимых». Но Россия?..

Тогда сэр Генри усмехается:

— С ними легко сговориться.

Он возьмет зеленое пятно! Он возьмет его уступками, лаской, все равно чем! Он не отдаст его этому осторожному американцу.

Тень долго зябла у ворот замка. Наконец-то ворота раскрылись. Специальный корреспондент газеты «Таймс» был великодушно принят мистером Тиглем.

— Можно ли узнать цель вашего приезда в замок Эчекери?

Журналист затаил дыхание. Он получит самое сенсационное интервью. Он, анонимный репортер, станет завтра ответственным редактором.

Осторожно улыбаясь, мистер Тигль говорит:

— Я, а также сэр Джон Кедман были гостями сэра Генри и леди Детердинг.

— Но цель? Простите меня, мистер Тигль, но цель вашего посещения?..

— Хорошо, я вам отвечу. Главная цель нашего приезда — это охота на рябчиков.

— Но?..

Журналист не может ничего вымолвить. Он подавлен. Рябчики вырастают. Они становятся мифическими грифами. Журналист бледен. Он роняет на пол прекрасное перо «ваттерман». А мистер Тигль, все так же осторожно улыбаясь, говорит:

— Впрочем, я не скрою от вас, что в свободные минуты мы говорили о нефти. Мы установили, что нефти чересчур много и что необходимо сократить добычу для блага самих потребителей. Вы хорошо поняли меня? Для блага самих потребителей.

Полчаса спустя журналист — у телефонного аппарата:

— Алло? Да. Да. Сначала — рябчики. Обыкновенные рябчики. Птица. Потом — просто. Вы не понимаете?.. Но они поделили весь мир. Только обождите, хорошо ли вы меня поняли? Это для блага самих потребителей...

На ступенях всех бирж — лондонской и парижской, нью-йоркской и амстердамской — буря. Летят соломенные шляпы и котелки. Трости высятся, как жезлы. Вой тысяч глоток сливается в одно громахание громадного рупора:

— «Роял-Детч» вчера — 36 000, сегодня — 41 000.

Сэр Генри спокойно косится на биржевой бюллетень. Настает час, и три империи сольются в одну.

Война — это мечты, война — это запрос, война для поэтов — это когда грозно дымится кнастер, когда падают брови и сердце бьет: на приступ!

Война — это сон о нефтяной империи. Были басы «Авроры», козни американцев, скрипело перо Чемберлена, французы говорили о национальной чести, цитировали Евангелие голландцы, и сэр Генри что ни час отдавал новые приказы.

Сейчас мир подписан. Уступило зеленое пятно. Уступили американцы. Уступил и сэр Генри. Все уступили. О чем же басила «Аврора»? Зачем собирал грозную коалицию сэр Генри? Мир скучен и древен; он древнее войны. Мир — это шестьдесят флоринов в месяц и протертый рукав молодого клерка. Даже крепкий кнастер порою пресен. У сэра Генри будни.

Эти будни глупым людям кажутся праздником. Детердинг поздравляют. Он ведь выторговал у Советов пять процентов. Он говорит, что эти деньги предназначаются для бывших собственников, что он, сэр Генри, защищает права обнищавших эмигрантов. Может быть, это вправду победа?.. Он уступил, но, уступая, он выиграл. Лакированный глобус послушно вертится. С любовью сэр Генри поглядывает на знакомое пятно. Вот голубой единорог: это Каспийское море. Нефть течет... Кстати, надо им напомнить: резервуары следует содержать в исправности. У сэра Генри империя нефти. У сэра Генри сын — престолонаследник. Ко всему, сэр Генри верит в бессмертие.

Детердинг — у себя на родине, в Голландии. Правда, его родина куда шире. Голландский поэт Ван-Эден сказал: «Родина купца — весь мир». Эти стихи должны нравиться Детердингу. Он повсюду дома: в Лондоне, в Батавии, в Гааге. Но слов нет, он любит свою крохотную Голландию. Здесь все им гордятся, как гордятся крестьяне односельчанином, который стал бригадиром или нотариусом. Вот и сегодня поэт Доурнебос написал о Детердинге поэму. Он называет сэра Генри «каменным столпом Нидерландов». Сэр Генри отвечает на любовь любовью. Он посылает бедных студентов в колонии: пусть ищут там удачи. Он дарит в музеи ценные полотна. У него в Гааге и другой дом, видный издали. Это — правление империи. На фронтоне вместо геральдических львов или грифов — одно торжественное слово: «Батавия». Каждый год, где бы он ни был, сэр Генри спешит к назначенному дню в Гаагу: на бал к своей королеве. Он — английский сэр. Он может стать президентом Венесуэлы или персидским шахом. Но он презирает титулы. Он — только «верноподданный Вильгельмины, божьей милостью королевы Нидерландов».

А может быть, это шутка? Сэр Генри ведь любит шутить. Может быть, все здесь, от королевы Вильгельмины до газетчика, что разносит «Телеграф», верноподданные Генри Вильгельма Августа Детердинга?

В тихом Дельфте сегодня торжество: техникум присудил сэру Генри докторский диплом «гонорис кауза». Правда, сэр Генри не сэр Джон Кедман, он не сушил свой ум науками. Зато он «каменный столп Нидерландов», и все тот же поэт Доурнебос кланется, что сэр Генри «наперсник Минервы». Профессора восторженно жмурятся: они уважают эту богиню. На ректоре традиционный колпак и цепь. Ректор говорит без запинки:

— Гордость Нидерландов... Весь мир почитает... И мы сочли за честь...

Большой зал переполнен. Верноподданные, те, что на хорах, затаили дыхание. Принц Генрих умилен. Принц Генрих не король, он только муж королевы, и он не император нефти, у него скромный цивильный лист. Принц Генрих хорошо понимает, кто перед ним. Он молитвенно сложил ручки. А новый ректор с легкой усмешкой выслушивает речи. Да, да, конечно, Минерва!..

На тихих улицах, вдоль обязательных каналов, толпятся жалкие смертные, так и не попавшие на торжество. Они приветствуют сэра Генри. Они приветствуют доктора Детердинга. Они приветствуют нефтяного императора.

Потом?.. Потом люди расходятся. Из узких каналов выползает ночь. Здесь кончаются газетные отчеты. На смену приходит фантазия автора. Доктор Детердинг беседует теперь с ночью. Эта беседа неповоротлива, кропотлива, темна. Ночь не хочет уступать, а доктор упрям и вспылчив.

Где он видел эту улицу?.. Ах да, на старой картине! Он купил картину в Лондоне, на аукционе. Он подарил ее амстердамскому музею. Пусть висит там. И пусть молчит. Улицы не должны разговаривать. Ночь обязана молчать. Ректор техникума давно закончил приветствия. Голландцы за белыми шторами пьют кофе и читают — одни Библию, другие биржевой бюллетень. Они читают: «Роял-Детч» — десять заповедей — чти — в поте лица твоего — «Шелл» — по образцу и подобию — дивиденды — не пожелай — цены на бензин снова поднялись — для блага самих потребителей — положить душу свою...»

Так говорят газеты и Писание. Так говорит доктор Детердинг. А ночь надоедливая, несговорчивая ночь, твердит иное. Ее даже нельзя перекричать: она разговаривает молча. Доктор

мечется вдоль каналов, по узким, почти невидимым, но только предполагаемым улицам.

Дельфт не разноязычный Роттердам. В Дельфте живут голландцы, скромные подданные королевы Вильгельмины. Откуда же взялись эти тени?..

— Сэр, мы ваши подданные.

— Королевы Нидерландов?

— Нет, нефти.

— Мы разорились. Мы разбогатели. Нас нет. Мы умерли. В окопах. Мы мексикапцы. Мы были за Обрегона. А мы — мы против. За вас. За нефть. Мы из Албании. Мы резали других. А мы из Рифа. Там ведь тоже нефть. Из Мосулла. Клемансо не понял. Вы поняли. Вы, сэр. Мы французские солдаты. Мы грузины. Мы кричали «сакартвела». Мы ведь не знали, что это — нефть. Нас расстреляли. Рано утром. Мы поляки. Мы из Венесуэлы. Мы маклеры. Мы генералы. Мы дети...

— Довольно! К делу! Что вам нужно? Акции? Повышение цен? Мир?

— Сэр, мы мертвы.

— Так вы хотите смерти?

— Доктор, вы забыли — а бессмертие?..

— Теперь я понимаю — вы хотите бессмертия?..

— Император, сжался! Мы не хотим бессмертия. Мы ничего не хотим. Нас нет.

Сэр Генри оглядывается: все та же ночь, фонари и тень. Одна только тень.

— Леди — вы? Или, простите, вы тоже из Венесуэлы?..

Тень молчит. Тогда он вспоминает: замок, пруд, луна. Мистер Тигль ждал его в курительном салоне. А тень металась по аллеям.

— Леди, вы — смерть?

Тень молчит. Тень чрезвычайно похожа на сэра Генри, на Генри Августа Вильгельма.

В каналах темная вода, вязкая вода. Может быть, и не вода это, а нефть. Нефть повсюду. Необходимо срочно сократить добычу. Заткнуть. Объявить, что нефти больше нет. Нигде. А то сегодня — Венесуэла. Завтра — Колумбия или Урал. Цены летят. Империя рушится. Зачем он жил? Что он ответит Судье? Что он ответит этим бескоштым из всех Венесуэл?..

Но постойте! Нефть — это энергия мира. Нефть нужна всем. На благо потребителей. Пароходы, автомобили, самолеты. Кру-

житесь! И скорее! Почему они сидят за шторами? Они обязаны нестись. Дом, взлетай! Мост, отчаливай! И бросьте Библию! Я ее прочту за вас. Потом. Когда-нибудь. После смерти. Я вам приказываю: мчитесь! 100, 200, 300 в час!..

А вдруг устанут? Вдруг взмолятся: «Зачем же так быстро? Зачем? Куда? К смерти?..» Человеку ведь легче остановиться, нежели нефти. Нефть течет. Ее станут продавать за гроши. Акциями «Роял-Детча» будут растапливать каминь. Нефти так много! Это нефть в каналах. Или не нефть — кровь. Все равно! Тогда слишком много крови. И все устанут. Как он. Он устал, очень устал. Он шатается. Шатается и тень.

— Леди, я останусь с вами.

— Сэр Генри, вы ошиблись. Я для других. Я для албанцев. Набейте вашу трубку и вспомните: империя ждет. Я не для вас. Ведь вы, сэр Генри, бессмертны.

1929

## 7. Остров Святой Елены

Сэру Генри шестьдесят семь лет. Он еще катается на коньках, и он еще торгует нефтью. Но годы сказались и на нем. Прежде, когда сэр Генри сердился, это означало войну или разрыв дипломатических сношений, министры подавали в отставку, генералы подмахивали приказы о мобилизации. Теперь, когда сэр Генри сердится, домашний врач ласково журит его, а министры, генералы и дипломаты сострадательно молчат.

В 1931 году акции «Роял-Детча» на парижской бирже котировались: 40 000 франков. В 1932 году они спустились до 11 000. Это было началом конца. Сэр Генри не застрелился, он не перерезал себе горло бритвой и не сгорел на нефтяном костре. Он продолжал кататься на коньках: но это был уже не тот сэр Генри.

Зеленое пятно победило. Сэр Генри ненавидит Россию, и он не может о ней забыть. На склоне лет он избрал себе русскую жену. Королева Нидерландов улыбалась очаровательной леди Лидии. Леди Лидия была куда снисходительней воображаемой леди из шотландского замка: она не говорила ни о персах, ни об албанцах. Она тоже каталась на коньках. Она брала у сэра Генри деньги «на булавки», и эти деньги она слала своим соотечественникам: генералам в бегах и безработным губернаторам.

В Париже открылась «русская гимназия имени леди Детердинг», и дети бывших нефтепромышленников благословляли щедрость сэра Генри.

Тем временем советская нефть текла по трубам, как кровь. Сэр Генри не может слышать этого биения. Он больше не мечтает о победе: падают акции, идут годы, близится леди — не Лидия, другая, та, что бродит вдоль каналов и шелестит листьями в старом замке. Не о победе он мечтает — о мести.

Он полюбил теперь две страны: Японию и Германию. Япония? Там мало нефти. Формоза, Сахалин... четыреста тысяч тонн. Японцам нужно в год свыше полутора миллионов. Сэр Генри идет на помощь: он даст японцам нефть, пусть японцы отомстят зеленому пятну за седины, за погасшую трубку, за коварные речи леди.

Сэр Генри вызывает журналиста. Это белобрый флегматичный англичанин, он работает в «Дейли экспресс». Он аккуратно записывает. Сэр Генри кашляет от гнева, и за дверью домашний врач испуганно шепчет: «Опять!» Сэр Генри говорит:

— Я знаю, что русские меня ненавидят. Задача Советов — погубить меня. Они устраивают заговоры...

Сэр Генри читает книги Розенберга. Он сторонник вооружения Германии. Он едет в Берлин. Он знает, что мир должен принадлежать ему, но история над ним подшутила. Почтительно улыбаясь, сэр Генри входит в кабинет Гитлера. Он предлагает заем: нефть, много нефти; этой нефти хватит и на век сэра Генри, и на век Гитлера!..

Он хочет одного: зеленое пятно должно быть уничтожено!

Он пробует бороться с судьбой. Он пишет статьи. Он доказывает, что серебро выше золота: об этом его просили японцы. Он доказывает, что нефти на свете чересчур мало — необходимо увеличить запасы: об этом его просили акционеры. Он доказывает, что СССР должен быть разрушен: об этом его просил Гитлер. Домашний врач стоит наготове с каплями. Сэр Генри сердится и грозит — кому? зеленому пятну? или, может быть, воображаемой леди?..

Правление «Шелл» помещается в Лондоне, на улице Святой Елены. Бедный нефтяной Наполеон, — даже не остров, а только папки, осунувшиеся лица администраторов, пошлая банальная развязка.



## Биржевая мелодрама

### 1. «Играем на повышение»

— «Ситроен» — 1841...

Это Акрополь и собор святого Петра. Здесь почитают единого бога, имя его неизреченно, а поклоняются здесь трем тысячам святителей. Их имена, звонкие и загадочные, заполняют высокие своды; они выливаются на площадь, растекаются по узким улицам Парижа; они затопляют банкирские конторы, где рябь бухгалтерии, горе клерка и окурочек сигары на стеклянном прилавке; они просачиваются повсюду: в редакции газет, в кабинеты министров, в спальни содержанок, просыпая там на ковер пудру или жемчуг; легко взлетают они на Эйфелеву башню, чтобы стать волнами божественного эфира, который обволакивает и нормандскую ферму, и палубу трансатлантического парохода, и автомобиль Ситроена среди песков Сахары. Великие имена, пот, пряный и тяжелый, как мускус, вязкость крови, духота снов, память, благотворное отчаяние: «Роял-Детч», «Рио-Тинто», «Томсон-Устон», «Канадиан Пасифик», «Малопольска», «Санта-Фе». Нет, это не медь, не нефть, не грубая плоть вселенной, это имена святителей, колебания цифр и волн, богомольный трепет человечества.

Где-то далеко анонимные люди уныло умирают, даже не догадываясь, что здесь, в этом храме с непременными колоннами, ежедневно от двенадцати до двух верующие истово за них молятся.

Румыния. Черная земля. Ни дерева, ни травинки. Только вышки промыслов, зной и смрад. Верноподданные сэра Генри копаются среди труб и цистерн. Они угрюмы, грязны, они пропахли нефтью. Здесь только нежное имя:

— «Астра-Романа»! Даю 80 по 376!

Возле Пенгама, как всегда, сочатся гевеи. Воняет, скисая, молочный сок. Мистер Девис мечется на сырых простынях, скопленный приступом лихорадки. Кули кружатся и падают, как комары.

— Беру «Малакка» по 311!

В Капштадте негры ищут алмазы: «Иоганнесбург» — 295. В салоникском порту грузят листья нежного табака: 1117. В Индокитае — фосфат: 310. Сентиментальные бизнесмены спешат со своими половинами в Европу: «Спальные вагоны» — 674. «Шведские спички» — 2895. Кому не нужны спички?.. Доктора прописывают больным печенью минеральные воды: «Виши» — 2645. Больные печенью дуют втихомолку ликеры: «Кюзенъе» — 2850. В Галиции стучат кирки рудокопов: «Домброва» — 1948. Вот входят в гостиницу блистательные молодые люди. Шесть рослых швейцаров едва тащат длинные сумки, облепленные пестрыми, как глобус, этикетками: «Отель Континенталь» — 655. В Женеве осуждают химическую войну, но остаются удобрения, но остается вся несовершенство человеческой природы: «Нитрат» — 323. На Монпарнас в кафе приходят туристы поглядеть, как живут великие художники; туристы пьют, разумеется, пиво и приглядывают недорогих девушек: «Ротонда» — 189.

Прихожане великого храма не видят ни нефти, ни девушек, ни цинка. Они не видят даже хорошеньких зеленых бумажек, на которых изображены геи, вышки, голые негры, трубы, колосья. Бумажки лежат в несгораемых шкафах. Люди здесь передают друг другу только цифры, звук, легчайший зефир.

У них чуткие уши; они слушают, о чем говорит земля. Стоит только вспыхнуть пожару в Трансильвании или родиться новому мексиканскому генералу, как тотчас же вздрагивают колонки цифр. На выборах в Норвегии консерваторы разбиты! Найдены новые залежи серебра! Дрожат цифры. Дрожит голос: даю, даю, даю!..

Экспорт каучука из английских колоний понизился в мае с 49 800 тонн до 43 960. Форд снова открыл свои заводы. Акции «Паданг» поднимаются.

Революция в Китае спадает. Можно везти товары. По дороге застава: «Господин капитан, выкладывайте-ка восемьсот фунтов!..» За отчетный год — 6084 судна. «Суэц» скачет вверх: 1264. Беру!

Нью-Йорк отмечает переизбыток сахара, 145 000 тонн лишних. Держатели сахарных акций горестно вздыхают: «Пуант-а-Питр» катится вниз — 2685.

Изобретен новый способ воспроизведения: «гелиографюра». Это, разумеется, на благо человечеству, но акции «Публикацион периодик» тем временем снижаются: 635.

Через две недели в Южной Африке выборы. Генерал Смутс?.. Или генерал Герцог?.. Шансы равны. Акции золотых приисков «Гольдфилд» и «Брекпан» то поднимаются, то опускаются. Генерал Смутс?.. Генерал Герцог?..

Но вот все забыто: и победная медь «Рио-Тинто», и сахарная болезнь, и африканские генералы; забыт даже скандал какого-то «Коломб-Ойл»: там не оказалось ни нефти, ни денег, ни людей, которых можно было бы для отвода души заарестовать. Сейчас все забыто. Сейчас под сводами одно имя: «Ситроен».

— «Ситроен» — 1840!

— 1845! Беру!

— 1860!

Как всегда, на заводах Клиши, Лёвалуа и Жавель уныло визжит железная лента. Пьер Шарден, как всегда, надепляет серьги. Стучат машинистки. Ждут в гараже взволнованные заказчики. Г-н Ситроен подготавливает доклад о таможенных рогах: автомобильная промышленность задыхается!.. Пресс типа «Толедо» штампует металл и мясо. Там — вторник, будни, работа.

Здесь — рев, восторг, отчаяние, катастрофа: «Ситроен!» Покупайте «Ситроен!» Скорее! Вы видите — 1865! Это неслыханно! Отыграться! Разбогатеть! Спасти! Скорее! 1880!

В тесных телефонных будочках потные маклеры выкрикивают:

— Алло! «Ситроен!» 60, 65, 70, 65, 70, 80.

Там, где окурки на прилавке и рябь книг, директор маленького банка не выпускает из руки телефонной трубки. Он молчит. Он слушает: 65, 70... Потом он вытирает лоб рукавом и визжит:

— Это, наверное, «синдикат»... Мишо, алло! Покупайте!.. До девяноста...

У прилавка толпятся игроки. С женских лиц слезает пудра: жарко. Мужчины тычут окурки в чернильницы. Спеша, они выписывают заказы. Руки дрожат, и скачут буквы — семь заветных букв: «Ситроен».

Молоденький клерк срывается с места: у него, видите ли, желудочные колики. Он бежит в соседнее кафе. Там он не пьет кофе. Он телефонирует своему дядюшке, отставному швейцару лица Мишле:

— Ты можешь купить десять «Ситроенов». Это вполне верно. Я видел заказы Колло. Значит — без риска... Только скорее!..

Газетчики мчатся с серыми маркими листками. В газетах, конечно, много страниц и много новостей. В Гренобле, например, подросток зарезал старуху. Испанский король сегодня разговаривал весьма холодно с Прима де Риверой. Эксперты отдыхали. В Словакии судят цыган-людоедов. Но все это пролетает мимо. Настоящая жизнь начинается дальше: биржа отмечает сильный спрос на «Ситроены». В осведомленных кругах утверждают, что это связано с намерением одного крупного американского треста сосредоточить в своих руках акции предприятия. Статья: «Американская опасность». Справка: «Дженераль моторс» идет на Европу. Заметка: «По слухам, Ситроен ведет переговоры с «Дженераль моторс». Телеграмма из Риги: Ситроен организует экспедицию в Туркестан, Ситроен подготавливает соглашение с Советами. Отдел «промышленность»: ввиду расширения экспорта Ситроен в ближайшее время повышает производство до тысячи машин в день. Отдел спорта: как говорят, Ситроен скоро выпустит новую модель, обладающую всеми достоинствами прежних, но еще более дешевую. Биржевой отдел: 1960, 1975.

Визжит лента. Грохочут прессы. На Жавель и в Левалуа...

Маклер Шелоне бежит вприпрыжку по узенькой улице Вивьен. Он ничего не видит. Он полон высокого самозабвения. У него рыжие усы и глаза вакханки. Он сбивает с ног какую-то старушонку. Он даже не успевает промолвить: «Простите». Как птица, взлетает он на ступени храма. Он кричит. Он кричит древнее «эвое»:

— 85! Беру!..

На маленькой улице, возле самой биржи, помещается хоть и невзрачный с виду, но вполне достойный внимания ресторан под вывеской «Золотая утка». Там завтракают почтенные биржевики. Они расхваливают паштет из фазана и «Мексикан-Игл», они закусывают «Шелл» майонезом, они опрыскивают падение электрической группы «Поммаром» 21-го года. Время от времени в ресторан, запыхавшись, вбегают маклеры. Те, что завтракают, смотрят на листочки блокнота и, не дожевав куска, бормочут: «Продолжайте, до 425...» Маклеры убегают. Они и сами надеются подработать на этом «Брекпане». Настанет час, они тоже будут здесь завтракать, отдавая между двумя глот-

ками шампанского-брут веские распоряжения: «прекратите», «покупайте», «стоп на 70».

Швейцар хорошо знает всех посетителей. Он тоже не прочь поиграть. Подавая пальто г-ну Леблуа, он почтительно, но с пониманием дела спрашивает:

— Как вы думаете, господин Леблуа, медь еще будет расти?..

Господин Леблуа, медно-красный от индюшки и от «Помара», бодро гоочет:

— Как тесто, мой друг! Можете не сомневаться...

Швейцар знает, кто пьет простое бордо, а кто лафит 78-го года, кто играет по мелочам и кто составляет крупные синдикаты. Г-н Обер дает ему на чай неизменно один франк: здесь не разойдешься, но г-н Обер ворочает большими делами. Это он недавно организовал понижение «Кали». Он пустил слухи о том, что найдены новые залежи поташа в Персии, а также в районе Мертвого моря, и спустил курс на восемь пунктов. Швейцар свято верит в мощь г-на Обера и восторженно поглядывает на маленький столик в углу: г-н Обер сосет спаржу и равнодушно смотрит вдалеку. Трудно сказать, весел он или печален, на что он играет — на повышение или на понижение, чем занята его голова: медью или углем?

За всеми столиками сейчас только и говорят, что о «Ситроене». Услышав одышку маклера, гости марают скатерть вином, темным, как бычья кровь. Вот этот продал восемьдесят «Ситроенов» два часа тому назад. Может ли он теперь спокойно обглаживать листики артишока?.. Только г-н Обер невозмутим. Ему нет дела до «Ситроена». Может быть, он занят «Салониками»?.. Кто знает. Он меланхолично сосет спаржу. Вот подходит к его столику молодой человек с книжечкой. Он что-то показывает г-ну Оберу. Тот, не отрываясь от еды, роняет:

— Хорошо. Продолжайте.

Швейцар, сдувая пыль с котелка, шепчет:

— Что вы думаете насчет «Ситроена», господин Обер?

Господин Обер пожимает плечами:

— Я об этом вовсе не думаю. Позовите-ка машину!

Господин Обер садится в автомобиль. Это не «Ситроен». Нет, г-н Обер достаточно заработал и на меди и на поташе, чтобы приобрести хорошенький «бьюик». Он едет, лениво покачиваясь. Он не смотрит в окно на другие автомобили. Он не читает биржевого бюллетеня. Спокойно он нажимает кнопку. На

двери медная дощечка: «Редакция «Республиканского финансиста». Г-н Обер молча здоровается. Редактор, заикаясь, шепчет:

— Ну, что?.. Что?..

На редакторе вязаный жилет. Его усы смешно прыгают. Он похож на наседку. Г-н Обер прежде всего вынимает папиросу; постучав ею о портсигар, он закуривает, потом садится на протертый клеенчатый стул и, лениво растягивая слова, говорит:

— В порядке. Последний курс — восемьдесят. А теперь садитесь-ка за работу. Лучше всего клюет на консорциум...

Вытерев старое перо о жилет, редактор выводит крупными буквами: «Нам сообщают о переговорах Ситроена с «Дженерал моторс», а также с заводами Оппеля и Фиата. Подъем ценностей таким образом вполне законен, и мы можем только рекомендовать нашим...»

Старое перо скрипит. Редактор громко дышит: слов нет, он взволнован.

## 2. Атака, контратака

Господин Обер читает Марселя Пруста. Он живет среди сиамских котов, среди ландшафтов Ван-Гога и старинных глобусов, один, с франтоватым и грязным лакеем Луи. Никто не скажет, что это — квартира биржевика. Годовые отчеты, бюллетень курсов, газетные вырезки — все засыпано стихами сюрреалистов, фотографиями марсельских притонов и серебряным пеплом сигар.

Не всегда г-н Обер занимался фосфатом или медью. Прежде он был писателем, даже социалистом. Он хотел идти по стопам Эмиля Золя и бороться за справедливость. Он презирал тогда роскошь и «Красную лилию», жизненный путь г-на Мильерана и шакалий рев вокруг биржи. Он был молод и непримирим. Он снимал крохотную комнатку на улице Монж и ездил во втором классе трамвая.

Шли годы. Роман Поля Обера «История подкидыша», изданный на сбережения старой тетки, разошелся в четырнадцать экземплярах. Никто не написал о нем ни строки. Не так уж плоха была книга, но в Париже что ни день выходят десятки новых романов, а у критиков всего две руки и один желудок. Обер обиделся: он обиделся не только на критиков, но и на человечество.

Он писал в левой газете зазорные фельетоны. Он требовал революции: только революция способна проветрить Европу!.. Но вместо революции наступали муниципальные выборы, и социалистическая партия шумно праздновала победу: в Блуа она выиграла шестьдесят восемь голосов. Г-н Обер не на шутку затосковал. Тут-то он встретился с Люси. Люси была обыкновенной голубоглазой стенографисткой. Справившись деликатно о достатке своего нового поклонника, она разок с ним пообедала в дешевом кабачке, немного покапризничала, немного повздыхала — как-никак у нее были голубые глаза, — а потом преспокойно вышла замуж за агента страхового общества. Тогда Поль сказал своему приятелю, студенту-медику, что у него старая слепая собака и что ему необходимо раздобыть стрихнин.

Он мог бы умереть. «Золотая утка» так бы и не узнала столь солидного клиента!.. Он не умер. Может быть, в то сентябрьское утро была слишком хорошая погода и солнце переспорило всех? Может быть, наш мизантроп неожиданно испугался желудочной рези? Он бродил весь день по улицам, потом уснул, а проснувшись, сладко потянулся. Ничего не поделаешь — надо жить, справедливость — ерунда, никакой революции не будет, Люси, да и всех легко заполучить, для этого нужны только деньги. Что же, друг Поль, мы будем зарабатывать монету!..

В душе Обер не мог, однако, избавиться от своего пристрастия к литературе. Он стал маленьким сотрудником одной из биржевых газет, но, прославляя подозрительный банк «Хутконс и К<sup>о</sup>» или акции фантастической «Гватемалы», он не раз повторял любимые слова Шамфора: «В жизни человека неминуемо настает пора, когда сердце должно или разбиться, или окаменеть». Он спрятал склянку в шкаф, следовательно, он должен теперь всучить наивным провинциалам бумаги несуществующих присков. Выбор сделан.

Прошло два года. Журналист Поль Обер стал г-ном Обером, клиентом «Золотой утки», званым гостем лучших парижских домов. Вывезли его нефтяные акции. Он сыграл на повышение и выиграл. Его лицо, бледное и меланхоличное, превратилось в барометр; сотни людей гадают: грустен или весел сегодня г-н Обер?..

Как-то он встретил Люси. Он предложил покатать ее по Булонскому лесу. Люси взглянула украдкой на «бьюик» и стыдливо улыбнулась: ее муж только мечтал о маленьком «Ситроене».

Обер мог теперь получить ее любовь. Он, однако, отказался. Было это стыдливостью, еще живым чувством, или только ленью?.. Предупредительно он помог Люси выйти из автомобиля и, заметив в голубых глазах изумление, усмехнулся:

— Видите ли, Люси, я теперь очень занят. Я ведь больше не пишу романов. Я занят весьма грубым делом; я играю на бирже. Говоря иначе, мое сердце окаменело...

Господин Обер не случайно облюбовал «Ситроена». Он все учел: оживление на автомобильном рынке, естественный рост бумаг, слухи о переговорах с Америкой, соглашение с Польшей, наконец, близость годичного собрания. Предварительная работа была проделана за него самим г-ном Ситроеном. Ему оставалось закончить дело. Акции стоят 1560. Их легко довести до 2200. При умелой продаже они сдадут не больше 100. Таким образом, на каждой можно заработать 500. Для операции нужен свободный капитал. Полтора миллиона. Следовательно, мы составим маленький синдикат: г-н Пулейль, г-н Кресильон, редактор «Республиканского финансиста», наконец, он, Обер. 500 000 на прессу. После покупки первой партии г-н Пулейль получит под акции ссуду. Довести курс до 2000. Дальше не зарываться. На каждого участника обеспечено 600—700 тысяч чистых.

Синдикат был основан в отдельном кабинете ресторана «Норманди» и освящен вполне достойным событием «Мутон-Ротшильд» 1891 года.

Господин Андре Ситроен как-то утром неожиданно для себя прочел во всех хорошо осведомленных газетах, что он забывает своих соперников и что будущее принадлежит только ему. Он удивился, но не обиделся. Он ведь знает, что такое шутка и что такое обыкновенный биржевой синдикат. В общем, он ничего не имеет против повышения курса. Только бы эти неведомые благожелатели сумели вовремя остановиться! Если они разойдутся, может последовать резкое падение, и кредиту г-на Ситроена будет нанесен чувствительный удар. Самое важное — уметь вовремя расстаться с зеленым сукном! Г-н Ситроен вздыхает. Он хорошо понимает, что уйти невозможно. «Прикупаю!..» Г-н Ситроен берет трубку телефона:

— Сколько?..



Он увлечен чужим азартом. Он сейчас не председатель административного совета, нет, он только игрок. Сердце стучит. Из трубки идет непонятный шум, как из раковины: это шумит время. Наконец: 75! Ситроен усмехается: везет людям!.. Снова девятка...

В Париже около трех тысяч газет и журналов, посвященных бирже: «Экономическое обозрение», «За и против», «Маленький финансист», «Деньги», «Биржевой вестник», «Французский банк», «Маленькая котировка», «Тенденция», «Ведомости ценностей», «Портфель французца», «Финансовый голос», «Капитал», «Биржа и Республика», «Аргус», «Кстати», «Вверх и вниз»...

У синдиката, образованного г-ном Обером, на прессу ассигновано всего пять тысяч. Что же, придется ограничиться немногими избранными. Кампанию начинает пайщик синдиката — «Республиканский финансист». Его тотчас же поддерживают тридцать шесть газет. Остальные молчат. Они молчат, потому что все люди оптимисты, тем паче редакторы биржевых листков. Они надеются заработать своим вежливым молчанием.

Алло! Алло! В Париж приехал мистер Слоан, председатель «Дженераль моторса». Поездка мистера Слоана тесно связана с будущим заводов Ситроена.

Кстати, «Дженераль моторс» куда сильнее и проворней Форда. «Дженераль моторс» продал в течение 1928 года 1 842 443 машины, что составляет сорок два процента всей американской продукции.

Заводы Ситроена снова подверглись коренному переустройству. Они готовы для усиленной продукции. Предстоящий сезон обещает быть особенно блистательным. С января кривая заказов резко поднимается ввысь. Пятьдесят два процента всех парижских автомобилей — это «Ситроены». В Мадриде такси — «Ситроены». В Японии открыто первое отделение...

Финансовая сторона предприятия «Андре Ситроен» заслуживает всемерного доверия. За спиной Ситроена стоит, как известно, могущественный банк «Братья Лазар».

Последний год дал 24.85 дивиденда. В этом году ожидается повышение как оборота, так и дивидендов.

Газеты пишут многозначительно и поэтично. Они ссылаются на национальные интересы и на торжество организации.

Дядя пронырливого клерка, отставной швейцар, не выдержал. Он получает крохотную пенсию. Денег не хватает ни на рюмочку рома, ни на понюшку табака с мятой. Он решил немного подработать: все наживаются на этих бумагах, чем он хуже других? Он купил десять «Ситроенов». Он перестал теперь спать. По ночам, стоя возле лампы, в сотый раз перечитывает он биржевой бюллетень. «Ситроен» растет, но старика смущают непонятные слова: «Общая тенденция скорее выжидательная, вследствие отсрочки решения экспертов, а также предстоящих выборов в Англии». Старик громко и печально вздыхает: господи, при чем же здесь Англия?.. Ведь заводы Ситроена не в Лондоне, а здесь, под боком, на набережной Жавель... Что-то будет завтра с этими экспертами? Хотя бы натянуть еще по сотне на акцию, а тогда можно продать их, все-таки без акций как-то спокойней на душе!..

Господин Обер по-прежнему невозмутим. Он читает на сон Поля Валери. Потом он выпивает стакан «виши», заводит чашы и погружается в сон, плотный и горячий. Ему снятся маклеры, пресс-папье, платье Люси с глубоким вырезом и яркие крикливые попугаи. Эти видения юрки и бессвязны. Надвигается ночь. Он больше ничего не видит. Но тогда неожиданно всходит огромное оскорбительное солнце. Оно из меди. Оно блестит, как кухонный таз. Оно заставляет г-на Обера раскрыть глаза. Ну да, все это очень просто: он забыл погасить лампу!.. Теперь он может спокойно спать. Но последний сон заставляет его поморщиться: солнце было из меди... Сегодня на бирже никто не хотел слышать о «Ситроене». Все помешались на «анаконде» или на «фильс-додж». Черт бы побрал это медное солнце! Оно не вовремя взошло...

В Нью-Йорке цены на медь резко подпрыгнули. Вчера — 18 центов!.. Медные акции растут. По проводам, среди буклических ласточек, среди неповоротливых, сонных рыбиц, в небе, под водой несутся горячие цифры: «Невада» — 46, и тотчас же парижские маклеры начинают истошно вопить:

— «Рио-Тинто» — 6700! Беру!

— 6800!..

Господин Обер никак не может уснуть. Он слышит гудение проводов и скрип мелка. Это медь. Она громко растет.

«Ситроен» затерт. «Ситроен» в стороне. Это не вина Обера. Он сделал все. Он не мог предвидеть медного солнца. Что, если все дело сорвется?.. Г-н Обер пьет «виши» и неуклюже ворочается.

Можно, конечно, завтра начать продавать. Акции слетят до 720—780. В итоге останется маленький выигрыш. Но нет, это невозможно!.. Лучше уж продуться дотла!..

Много времени прошло с того дня, когда разочарованный Обер решил променять славу Эмиля Золя на текущий счет в одном из кулисных банков. Он заработал миллионы, и он спустил их. Он убедился в том, что с деньгами можно получить все: Люси, автомобиль «бьюик», стихи сюрреалистов, почтительные поклоны, дружеские объятия, все, кроме счастья. Это просто, как в старой мелодраме. Счастья вообще нет. Остается одно — игра, только она еще способна заставить его окаменевшее сердце усиленно биться. Г-н Обер поставил на «Ситроена». Он должен выиграть. Медь — удар, но не смерть. «Синдикат» легко может переждать несколько дней. Лихорадка спадает. Г-н Обер добьется своего. Обязательно добьется. Обязательно...

Господин Обер засыпает.

Утром Луи, почтительно и нагло улыбаясь, надушенный, с черными ногтями, приносит несколько писем и газеты. Г-н Обер прежде всего развертывает газету — здесь самое важное: медь. Гм!.. В Лондоне тонна — 76 фунтов. Отвратительно!.. Дождь, плохая погода... Рассеянно он просматривает газету. Что с этими экспертами?.. Вдруг он приподнимается. Обычное спокойствие исчезло. Пальцы г-на Обера злобно рвут мягкую бумагу. Он читает: «Рост акций Ситроена носит явно спекулятивный характер, и мы считаем себя обязанными предостеречь...» Луи стоит с купальным халатом. Г-н Обер кричит:

— Костюм! И живее!..

Он полон отчаяния, ярости, силы. Перед ним неведомый враг. Это почище меди!.. Дело ясное: кто-то играет на понижение. Здесь все может кончиться обыкновенной катастрофой.

Кофе? К черту! Машину! Скорее!.. Остается одно: раздавить того или самому сдохнуть.

Стихи Поля Валери летят на пол.

### 3. Маленькая сноска

Велика и прекрасна парижская биржа! Без нее не дымили бы паровозы среди гигантских прерий, не горел бы газ в кухне рабочего, не сверкали бы бриллианты на грудях ростовщиц, не было бы ни румынских либералов, ни трамвая в Лиссабоне, ни автомобилей, ни прогресса, ни культуры.

Служащий банка Жан Рене, впрочем, не думает о величине окружающего его мира. Послушно заносит он в огромные книги названия бумаг, имена клиентов и цифры. Одни из этих клиентов богатеют, другие разоряются. У них автомобили, дети, револьверы, слуги, слезы. Для Жана Рене это только имена. Он думает о том, что его жена больна плевритом и что доктор прописал ей усиленное питание. Доктор просто говорил эти слова, как будто Жан Рене не скромный служащий банка «Раймонд Барре и К<sup>о</sup>», а одно из великих имен, как будто он — г-н Кресильон, против имени которого стоит: 3000 «Ситроен» по курсу дня. Откуда Рене возьмет «усиленное питание»?.. Его рука дрожит. Он чуть было не поставил кляксы на восьмой заказ г-на Матье: 425 — «Рио-Тинто».

Вчера на парижской бирже были перепроданы 2 980 008 ценных бумаг на сумму 1 621 864 425 франков. Миллиард шестьсот миллионов. Жан Рене получает в месяц 750 франков, 25 франков в день. Владельцы банка «Раймонд Барре и К<sup>о</sup>» заработали в течение последнего года свыше четырех миллионов. Банк участвовал во многих синдикатах; он вызвал понижение норвежского азота и на этом выиграл в две недели миллион. Г-н Раймонд Барре купил виллу в окрестностях Ниццы. У него ревматизм, и он любит тепло. Жалованье служащим г-н Барре не повысил. Кто может сказать, что готовит ему завтрашний день?.. Вдруг он сорвется на какой-нибудь операции? Надо быть бережливым! Вилла в Ницце — это капитал, а жалованье служащим — это потерянные деньги. Притом некоторые банки платят 600 в месяц. Зачем же ему заниматься благотворительностью?..

Иные из сослуживцев Рене живут припеваючи: они ездят в такси, ходят в «Мулен-Руж» и покупают дорогие галстуки. Они получают те же 750 франков. Но они не выписывают ту-по имена и цифры, как Рене, — нет, они соображают, почему это г-н Барре продает «Норвежский азот», почему теперь

г-н Кресильон отдал распоряжение купить столько-то «Ситроенов». Они знают вес и значение каждого клиента. Незаметно скрипя ржавыми перьями, они входят в святилище. Они начинают играть. Они то заключают сделки с мелкими игроками, то за несколько сот франков продают «секрет». Небрежно засовывают они месячное жалованье в жилетный карман — это на папиросы! Но Рене честен и глуп. Он знает только свое дело: обтереть перо тряпочкой, наклонить набок голову и тщательно выписать: имя человека, потом имя бумаги, потом цифру, все это красивым точеным почерком, без помарок. Когда ему говорят о «секрете», он недоуменно пожимает плечами: он ведь не игрок, он обыкновенный конторщик.

Это произошло так: сначала доктор сказал об усиленном питании, потом Луиза перестала есть, она даже отказалась от куриного бульона. У нее начался сильный жар. Доктор пришел и флегматично помахал трубочкой. Он прописал лекарство. Жар спал, и Луиза пошла на работу: она шла шляпы в мастерской на улице Пепиньер. Но она продолжала кашлять и все жаловалась, что у нее нет больше сил. Под вечер ее знобило. Рене послал ее снова к доктору. Луиза пришла домой с длинным рецептом и с заплаканными глазами. Доктор сказал, что у нее туберкулез и что ей необходимо поехать на юг в санаторий...

Тогда Рене Жан шепнул одному из мелких клиентов:

— Я знаю верное дело. «Лиссабон» должен подняться. Купите акции и дайте мне четверть выигрыша. Я этим никогда не занимаюсь, но у меня заболела жена...

Рене плохо разбирался в биржевых комбинациях, хотя он прослужил в банке «Раймонд Барре и К<sup>о</sup>» одиннадцать лет. Он дал клиенту опрометчивый совет. Правда, г-н Коледо сдал большой заказ на «Лиссабон» и, слов нет, г-н Коледо веский клиент. Но Рене не понял хитрой игры: г-н Коледо состоял в синдикате, игравшем на понижение «Лиссабона», закупка была произведена для отвода глаз. Через несколько дней «Лиссабон» начал стремительно падать. Клиент скандалил. Он стучал набалдашником по стеклянному прилавку. Он кричал Рене: «Вы старый шулер!» Г-н Барре отозвал Рене в сторону:

— Вы вредите репутации нашего банка. Если это повторится, я буду поставлен в необходимость вас отослать.

Прошло еще несколько недель. Пришла очередь льда и подушек с кислородом. Луиза умерла рано утром. Она лежала, раскрыв рот, как рыба. Она задохнулась. У нее не было воздуха. Воздух был где-то далеко, может быть, в Ницце.

Тогда-то и произошло в почтенном банке «Раймонд Барре и К<sup>о</sup>» неслыханное происшествие, о котором долго говорили все клерки квартала. Жан Рене, как всегда, сидел, склонив голову набок, и писал. Но перед его глазами был раскрытый рот Луизы. Он спутал все: г-н Кресильон отдал приказ о покупке «Ситроена». Рене занес его в графу «продать». Хуже того, он засунул в карман вместе с носовым платком приказ г-на Кресильона. Он помешал г-ну Кресильону купить 3200 акций. Он, может быть, задержал на день рост акций. Сам того не зная, он вдруг вмешался в жизнь святилища.

Господин Кресильон кричал:

— Этот тип подкуплен!.. Он, наверное, получил несколько тысяч... Я никогда не думал, господин Барре, что в вашем банке могут находиться шпионы различных синдикатов!.. Я потерял одиннадцать тысяч. Хорошо еще, что я вовремя заметил.

Господин Кресильон рассказал г-ну Оберу о приключившейся неприятности. Но г-н Обер даже не улыбнулся.

— В чем дело, господин Обер? Чем вы так озабочены?.. Я думаю, медная горячка не сегодня-завтра спадет. А этот конторщик!.. Ха-ха!.. Как вам нравится вся эта история?..

— Я не люблю биржевых анекдотов. Что касается меди, то вы, конечно, правы. Но предвидятся некоторые осложнения: посмотрите-ка, что здесь написано... Это — или Фошар, или «Банк Делонне»...

Они беседуют в «Золотой утке». Г-н Обер теперь перестал скрываться, он даже посоветовал швейцару играть на «Ситроена». Он подкрепляет дело своим авторитетом.

Подходит маклер. Г-н Обер просматривает цифры. Вытирая губы, он говорит официанту:

— Хотя у вас и утка на вывеске, но вы не умеете готовить руанскую утку. Заберите ее прочь...

Потом он спокойно говорит г-ну Кресильону:

— Кампания начата. «Ситроен» — шестьдесят...

В это время за похоронной подводой покорно шагает Жан Рене. Он не плачет. Только время от времени уныло смор-

кается. На гробу — маленький венок из бисера. Дома осталась двуспальная кровать. Вот и все. Из банка «Раймонд Барре и К<sup>о</sup>» Рене, разумеется, выгнали. Луиза умерла. Сейчас он вернется домой один. Что же дальше?.. В голове Рене мысли путаются, как нечесанные волосы. Это не жизнь, а колтун. Может быть, покориться?.. Церковь... Исповедь... Небо... Встреча с Луизой... Или, наконец, достать револьвер и забраться ночью в квартиру г-на Кресильбона?..

Сторож, лениво зевая, открывает кладбищенские ворота.

— Направо, налево и снова налево. Шестнадцатая аллея...

Рене сморкается. Он ведь хоронит жену. Впрочем, это никого не интересует. Он даже не мелкий служащий банка. Он теперь вне биржи и вне жизни. Лучше всего — умереть. На шестнадцатой аллее еще много свободного места.

#### 4. Шамфор этого не предвидел

Господин Обер не сразу узнал, кто его враги. Правда, «Банк Делонне» был замешан в дело, но образовал синдикат г-н Санду, хотя все и говорили, что г-на Санду нет в Париже, недели две тому назад он уехал на отдых в Биарриц. Г-н Санду работал тайно. Он проводил дни у телефона. Он выложил на прессу больше, чем г-н Обер, и вежливо молчавшие газеты теперь заговорили:

«Финансовое руководство общества «А. Ситроен» не заслуживает доверия. Всем памятно недавние затруднения г-на Ситроена. Опасно вкладывать капиталы в дело, подверженное столь частым индивидуальным капризам».

«Специалисты утверждают, что в отношении прочности автомобилей Ситроена оставляют много желать, в то время как маленькие машины Рено и Пежо выдерживают самые трудные испытания».

«В связи с оживлением на бирже вокруг бумаг «Ситроен» мы можем напомнить нашим читателям о скандальной хронике довьильского казино. Парижский заводчик, а именно А... С..., проиграл в течение одной ночи двенадцать миллионов».

«По слухам, Форд заключил соглашение с заводами Пежо».

«Нам сообщают, что Форд начал постройку во Франции своего завода. Он предполагает снизить стоимость автомобилей, повысив в то же время заработную плату. Это, несомненно, чрезвычайно интересный опыт».

«Перед французской автомобильной промышленностью стоит грозный вопрос о насыщенности рынка и о перепроизводстве. Затруднения, испытываемые одним из наиболее крупных парижских заводов, показывают нам, что кризис близок».

Господин Санду просматривал газеты небрежно и равнодушно. Он хорошо знал, сколько кому уплачено и кто о чем будет писать. Сам он не верил ни в Форда, ни в кризис. Игру он начал, заручившись хорошими картами. Главный козырь — это болезнь г-на Фио. У г-на Фио рак печени. Консилиум профессоров определил, что он протянет неделю-две. Кроме рака печени, у г-на Фио 90 000 акций «Ситроена» и сын-оболтус, который ждет не дождется смерти своего родителя, чтобы вложить все наследство в конный завод. Он ничего не смыслит в бумагах, и признает он только одно: скачки. После смерти г-на Фио его сын тотчас же распорядится продать все биржевые бумаги. В первую очередь он продаст «Ситроены», чтобы покрыть налоги по наследству. Все это доподлинно известно г-ну Санду. Он не читает Поля Валери и не думает об афоризмах Шамфора. Он занят только своим делом. У него всюду помощники. Скоро на биржу будут выкинуты 90 000 акций. Надо все подготовить: пресса, небольшие колебания, продажа мелких партий... Тогда акции г-на Фио нанесут последний удар.

Кампания была начата удачно. Курс стал снижаться. Г-н Обер дал газетам 200 000 дополнительно. Но г-н Санду предполагал куда большим капиталом. Удобный момент для повышения был упущен благодаря злостной меди. «Ситроен» то падал на 20, то 10 отыгрывал, но вместо резкого повышения г-н Обер видел только мелкие скачки вверх и вниз. Г-н Санду, совместно с «Банком Делонне», выкинул еще несколько тысяч бумаг. «Ситроен» понизился на 80. Г-н Кресильон начал роптать: Обер вовлек его в невыгодную сделку. Он мог бы дать деньги в Америку за хорошие проценты. Это куда вернее, да и прибыльней...

Редактор «Демократической биржи» неожиданно потребовал от г-на Обера неслыханную сумму: 50 000. Не получив этих



денег, он переметнулся и начал писать о «спекулятивной игре».

Господин Обер попытался достать ссуду под акции в одном из крупных банков, но банк отказал: и здесь сказалась вездесущность г-на Санду.

Капитал синдиката иссяк. Покупки прекратились. Акции стали таять, как сахар в горячем чае. По-прежнему визжала лента. По-прежнему толпились возле ворот нетерпеливые заказчики. По-прежнему задорно свистели новенькие автомобили. Г-н Андре Ситроен обдумывал, как бы завоевать восточные рынки. Ни один из его заводов не сторел. Но г-н Обер перестал читать Марселя Пруста. Он даже перестал завтракать в «Золотой утке»: у него пропал аппетит и его мучили жестокие мигрени. Он все еще старался, встречая людей, улыбаться, но, глядя на его измученное, злое лицо, маклеры говорили:

— Вы видали Обера?.. Можете спокойно играть на понижение...

Отставной швейцар, пережив одну ночь, полную кошмаров, когда он уже видел себя возле кафе с шапкой: «Подайте старому человеку на хлеб»,— продал свои десять акций. Он потерял 1360 франков. Что делать! Можно не нюхать табака и пить ром только по воскресеньям!

Вдруг вся биржа дрогнула: с экспертами приключилось что-то неладное. Они не договорились. Они не могут договориться. Предстоит длительный кризис. В Нью-Йорке паника. Паника и в Париже. Все выкидывают на рынок десятки тысяч бумаг. Деньги! Только деньги! Вокруг храма стоит яростный рев:

— Даю! Даю! Даю!..

«Ситроен», ослабленный кампанией г-на Санду, сдал. Перед глазами г-на Обера мелькают цифры. Но он не может считать. Он больше ни о чем не думает. Он, наверное, зря возомнил себя опытным финансистом. Он всего-навсего неудачливый литератор с посредственной фантазией и слабыми нервами.

Под вечер г-н Обер позвал Луи:

— Вы можете сегодня пойти в кино или в театр. Вы мне больше не нужны.

Луи почтительно поблагодарил г-на Обера. В кухне он язвительно усмехнулся: плохи наши дела!.. Продулся на бирже

и никого видеть не может... Продулся потому, что олух. Будь у Луи деньги, он тотчас заработал бы миллион. Надо не стихи читать, а шевелить мозгами!..

Луи пошел не в кино и не в театр, но в дансинг. Весь вечер он танцевал с двумя белошвейками, которые восторженно прижимались к его манишке. Одна даже сказала:

— Вы пахнете, наверное, самыми модными духами...

Луи снисходительно улыбнулся:

— Особая смесь по заказу. Это гораздо моднее, чем, например, Герлен...

Луи мог бы поехать с одной из них, с веселой и миловидной брюнеткой, в гостиницу. Но для этого нужны были деньги: двадцать франков — бутылка шипучего, чтобы девушка не ломалась, тридцать — комната, автомобиль, чаевые. Луи про себя выругал г-на Обера: вот таким болванам везет! Что для него сто франков?.. А Луи должен себе отказывать в самом необходимом. У него всего два галстука, и оба в полоску, а теперь носят в крапинку... Когда же он наконец разбогатеет?..

Несмотря на свои успехи, Луи вернулся домой мрачный. Сняв туфли, он прошел тихонько в столовую, чтобы взять из буфета бутылку портвейна. Он заглянул в щелку: работает ли г-н Обер? То, что он увидел, его прежде всего озадачило: г-н Обер лежал на ковре возле письменного стола. Неужели так надрызгался?..

Луи осторожно вошел в кабинет и с подобострастием начал спрашивать г-на Обера:

— Может быть, вы позволите раздеть вас?.. Не угодно ли вам стаканчик «виши»?

Господин Обер не отвечал. Продолжая все так же униженно улыбаться, Луи оглядел комнату: где бутылки?.. Он увидел на столе маленькую склянку и начатое письмо. Луи всегда грешил любопытством. Скосив глаза, он прочел: «В моей смерти прошу никого не винить. То, что останется после ликвидации обязательств, жертвую на госпиталь для кошек. К сведению г-на комиссара полиции могу добавить, что Шамфор не предвидел третьего исхода: сердце может сначала окаменеть, а потом все-таки разбиться».

Луи не стал раздумывать над значением последних слов. Он прежде всего побежал к себе и надел туфли: остаться разутым казалось ему подозрительным — хотя записка и с подписью, мало ли что придумают эти ищейки?.. Потом он вер-

нулся в кабинет. Он посмотрел на г-на Обера с интересом и в то же время с презрением: губы слюнявые!.. Он не мог отказать себе в маленьком удовольствии: носком ботинка небрежно толкнул голову г-на Обера. Он с завистью поглядел на галстук в крапинку: пропадет! Да и все пропадет!.. Кошкам!.. Ну и подлец!.. Вдохнув, он побежал в ближайший участок.

## 5. Один за другим

«Эксперты вчера возобновили свою работу. Наконец-то компромисс найден! Само собой разумеется, что биржа отметила это счастливое событие резким повышением всех ценностей...»

Господин Обер так и не дожид до победы: у него не хватило ни денег, ни нервов. Г-н Кресильон оказался куда счастливее: он может с лихвой покрыть все выложенные суммы. Акции «Ситроена» поднялись на 120. И г-н Кресильон улыбается, кушая форель в «Золотой утке»: помирились-то, ха-ха!.. Но г-ну Санду не до смеха. Последние события выкурили его из мнимого Биаррица, как зверя из берлоги. Все здесь против него: общая тенденция биржи, пресса, напечатавшая очередные сообщения г-на Ситроена, наконец, сама природа: у г-на Фио вместо рака оказалась невинная опухоль. Врачи, видите ли, ошиблись! Убийцы! Г-н Фио поправляется, через месяц-другой он сможет вернуться к работе.

Господин Ситроен бодр. «Ситроен» продолжает прерванное на время вознесение. Ведь заводы г-на Ситроена не сторели, заказы не уменьшились. Пьер Шарден, как всегда, нацепляет серьги, а «Братья Лазар» все так же всеильны и непоколебимы. Что им дешевые остроты редактора «Демократической биржи»? У редактора только жвавое перышко и четверо ребят, а у «Братьев Лазар» капитал и правда.

Господин Санду проиграл партию. Он продал 120 000 акций по самой низкой цене. Теперь ему нужно сдавать бумаги. Он должен платить по высокому курсу. У г-на Санду нет денег для расплаты.

Дома его ждет жена. На ней вечернее платье. Она прекрасна и молода. Правда, эта молодость стоит немало. Зато все знакомые г-на Санду с завистью повторяют: «Поглядите-ка на госпожу Санду, вот вам, не стареет!..» Г-жа Санду оживленно

смеется: сегодня премьера русского балета. Там будет весь Париж. У них ложа. Все увидят, какое на ней чудесное платье. Она спрашивает г-на Санду:

— Ты не устал ли, мой дружок?..

Она кокетничает со своим супругом, хотя вот уже четырнадцать лет, как они живут вместе. Г-н Санду ничего не отвечает. Тогда она смотрит на него, и сразу с ее лица сползает улыбка.

— Что случилось?.. На бирже?..

Господин Санду молчит. Молча он проходит в кабинет и закрывает за собой дверь на ключ. Г-жа Санду стоит у двери и просит:

— Скажи, что случилось?.. Пьер, дорогой, открой дверь! Открой на одну минуту! Я сейчас же уйду! Я так волнуюсь!..

Но г-н Санду молчит. Она прилипла ухом к щели. Она слушает. Вот ей показалось, что он раскрывает шкаф. Она падает на колени:

— Пьер, умоляю!..

С ее лица теперь сошли все кремы, пудры, белила, румяна. Сейчас никто не скажет, что г-жа Санду молода. Время взяло свое: ей как-никак сорок три года. Она плачет. Она кричит. Вот он встал... Господи! Что же он делает?..

Пожилая уродливая женщина в бальном платье, с припудренными, слишком белыми руками, с лицом, перекопанным и грязным от черных слез, как собака визжит у двери барского кабинета...

— «Ситроен» — 1960. Беру! Беру!

Кричат маклеры, скрипит мелок, скрипят в конторах перья клерков. Люди продолжают разоряться и богатеть. Те, что были из игры, давно забыты. Здесь нет людей, здесь только имена и цифры, имена высокие и нежные всех 3000 бумаг: «Роял-Детч», «Рио-Тинто», «Малакка», — нефть, медь, каучук; имена и цифры; цифры роятся, кружатся и жужжат.

# Фабрика снов

Кино

## 1. Цукор задумался

Один квадратный метр на Бродвее стоит больше, чем обширное поместье в глухом штате: это самая дорогая земля во всем мире. На самой дорогой земле высится самый дорогой храм. Чтобы оглядеть его, надо закинуть голову назад: так некогда люди глядели на бога и на звезды. Высота этого храма 139 метров, и его венчает огромный купол из стекла. Ночью купол подает сигналы самолетам, днем он наполняет гордостью сердца прохожих. Постройка этого храма обошлась круглым счетом в 16 000 000 долларов. Тридцать шесть этажей. Двенадцать беспрерывно снующих лифтов. На четыре стороны света смотрят четыре гигантских циферблата: они показывают Нью-Йорку время. Портал храма выше порталов всех храмов, он выше порталов собора Парижской богородицы или собора римского Петра. Внутри — толпы прислужников в затейливых мундирах, внутри мрамор, бронза, старинные картины. Внутри цокают тысячи «ундервудов» и нежно поют ангелические арфы. Нечестивый европеец может подумать, что это биржа или банк, — на то он и нечестивый европеец. Нет, это действительно храм, святыня нового культа, и посвящен он неутомимому апостолу — великому «Парамаунту», в миру именуемому Адольфом Цукором.

Поместителен храм, и множество служат в нем разных служб. Внизу малокровные девушки плачут над невзгодами двух влюбленных; на двадцать четвертом этаже запыхавшиеся счетоводы складывают семизначные цифры; в тишине внутренних покоев стонут на койках легкие тени — это санаторий для измученных служащих; в самой покойной комнате, за царскими вратами, четыре дня в неделю напрягает свой редкостный ум мистер Адольф Цукор.

Как американец, он чтит воскресенье, как еврей, он чтит субботу; его отдых, следовательно, начинается с пятницы; три дня он отдыхает, четыре трудится. Сегодня вторник, и Цукор на посту. Он просматривает ворох бумаг. В кабинете нет соглядатаев, и Цукор не улыбается: его губы искривлены, он не похож на свои портреты, отпечатанные в сотнях тысяч экземпляров. Если он улыбается на людях, это только признак хорошего сердца и деловой стойкости. Сейчас он очень угрюм. Братья Уорнер его перехитрили. Он не сразу уверовал в говорящие картины. Братья Уорнер первые оценили патент «Эустерн электрик». Они сделали картину «Певец джаза». Они были накануне банкротства — маленькая фирма, Цукор мог бы ее купить не задумываясь. Теперь Братья Уорнер начинают тягаться с «Парамаунтом». Они контролируют «Ферст националь». Они скупают театры. И все это после одной картины! Глупая, кстати, картина — еврейского мальчика прочат в раввины, он упирается, он, видите ли, хочет быть артистом...

На минуту Адольф Цукор забывается. Он не смотрит больше на листы с цифрами — на эти трофеи Братьев Уорнер. Он видит тяжелую свечу, хитрые завитушки Талмуда и высохшую руку ребе.

Это не сценарий новой говорящей картины, это только воспоминания. Каждый человек вправе вспоминать свое детство, даже столь обремененный делами человек, как мистер Цукор. Он родился не под стеклянным куполом, он родился далеко отсюда, среди набожных евреев и гогочущих гусей, среди нищих полей и божественной мудрости, в маленьком венгерском городишке по имени Рисце. Тогда еще не было на свете магических ленточек из целлулоида, которые приносят людям надежду и доходы. Набожные евреи жили тогда по старинке. Дядя маленького Адольфа, г-н Либерман, занимал высокий пост — он был синагогальным старостой. Он хотел, чтобы его племянник рождал в людях надежду, — говоря иначе, он хотел из него сделать казенного раввина. Адольфа посадили за Талмуд. Он изучал, какое мясо позволено есть доброму еврею и когда ему позволено жить с законной женой. Он думал о грешных язычниках и о мстительном Иегове. Кругом шумели венгры; они пили сливяную водку, пели тоскливые песни и закалывали неповоротливых свиней. Адольф повторял слова, полные мудрости: «Идет ветер к югу и переходит к северу,

кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Грустно мерцала свеча. За окном гоготали гуси.

Это было давно, очень давно — сорок лет тому назад. У Адольфа Цукора тогда были пухлые щеки и мечтательные пейсы. Не стоит, однако, думать о прошлом — Цукор для этого слишком занят. Когда он отдыхает, он тасует карты, или ракеткой отбрасывает мячик, или играет в гольф. Сейчас он работает. Успех «Братьев Уорнер» временный. Им никогда не удастся справиться с «Парамаунтом»! Итак, за дело! У нас, в Англии: Лондон — «Плаца» и «Карльтон», Манчестер — «Роял», Бирмингам — «Футурист» и «Скала»... «Сэм Кац, наш представитель в Англии, сообщает, что мы можем купить шесть театров в предместьях Лондона. 14 тысяч мест...

Под стеклянным куполом, не останавливаясь, идет работа.

## 2. Начало эры

Биография Адольфа Цукора куда назидательней, нежели сценарий картины «Певец джаза». Недолго мальчик закручивал пейсы и слушал гогот гусей — он не был создан для отвлеченных раздумий. Больше чем все размышления о суетном ветре, занимали его правила процентов и глобус. Ребе ничего не понимал в учете векселей, и ребе думал, что земля стоит на месте. В городке оказался учитель г-н Розенберг. Он объяснил Адольфу, что земля вертится. Тогда Адольф перестал изучать притчи Талмуда. Он начал читать романы. Он читал об американских золотоискателях и о парижских трущобах. Г-н Розенберг робко спросил:

— Может быть, ты хочешь стать адвокатом?

Мальчик поморщился — сколько зарабатывает какой-нибудь провинциальный стряпчий!.. Нет, он предпочитает делать деньги! Синагогальный староста, вздохнув, отдал мальчика в магазин — пусть учится торговать.

Когда Адольфу исполнилось шестнадцать лет, он решил уехать в Америку. Он недаром читал занимательные книжки: человеку с широкими плечами и с неумеренной фантазией нечего делать в Европе. Адольф привез в Нью-Йорк двадцать пять долларов и хороший аппетит. Он работал подмастерьем в обойной мастерской. Потом он переменял профессию: стал

скорняком. Он был находчив и трудолюбив. Не прошло и десяти лет, как он открыл свой магазин в Чикаго.

Первенство идеи оспаривается многими: и американцы и французы заверяют, что они изобрели кинематограф. Конечно, «Парамаунт» создан Адольфом Цукором, но можно признать, что был и у него некий предтеча. Цукор в Чикаго торговал меховыми горжетками. Его двоюродный брат Макс Гольдштейн шлялся по улицам Нью-Йорка. Он решил открыть «Пассаж», в котором показывают детворе движущиеся картинки. Цукор — человек, преисполненный семейного начала, а также смекалки; он дал Гольдштейну три тысячи долларов. Предприимчивый Гольдштейн быстро прогорел; вместо долларов Цукор получил «Пассаж» с какими-то глупыми развлечениями. Цукор не стал горевать. Он оставил меха и занялся «картинками». Быстро решил он дело. Он купил несколько других «Пассажей» и «Путешествующие вагоны», в которых ротозеям показывали горные водопады.

Пять часов утра. Проработав всю ночь, Цукор возвращается домой. Метро. Уныло колышутся тени, жестокие тени огромного города — официанты ночных ресторанов, рабочие, проститутки, не нашедшие клиентов, чернь, осужденная на вечное прозябание.

Цукор в такт другим уныло колышется. Вдруг на его лице проступает улыбка, глаза раскрываются, они становятся большими и безумными. Сосед испуганно меняет место. Но Цукору не до соседа. Он пропустил свою остановку, он ничего не видит, ничего не помнит. Недаром он всегда говорил, что Адольф Цукор в душе не лавочник, а художник. Теперь на него сошло вдохновение.

— Я буду делать картины со знаменитыми актерами!..

Скажите скорее, кто самый знаменитый актер?.. Молчат тени. Грохочут безучастно колеса. Конечно, та французенка!.. Как только ее зовут?.. Вспомнил — Сарра Бернар! Кто не знает этого имени? Даже синагогальный староста и тот, наверно, слышал про Сарру Бернар. Будущее обеспечено! Теперь остановка за одним: надо достать доллары.

Это было давно — женщины тогда еще носили громоздкие корсеты, и социалисты тогда еще были благородными мечтателями. XIX век с водевилями и с каламбурами долго не хотел умирать. Днем он пугливо прятался, днем неприязненно



жужжали сложные машины, на улицах оглушали гудки автомобилей, новая жизнь самодовольно грубиянила. На заводе Форда уже копошилась знаменитая «лента». Укрощенная Ниагара стала выдавать киловатты и рабство. В Филадельфии строили мощные локомотивы для Канады и для Австралии; в Филадельфии, как и в других городах мира, люди уже жили впопыхах. Иногда они глядели на небо: там значились первые самолеты; чаще, однако, они глядели на землю: все трудней и трудней было раздобыть хлеб. Появились автобусы. Участились самоубийства. Растерянно поясняли профессора своим слушателям, что такое тресты. В Республике объявилась добрая сотня «королей»: короли нефти, короли стали, короли меди, короли хлопка. Настала эра доподлинной демократии: токаря сравнивали с чернорабочим. Оскорбленные мечтатели швыряли бомбы — в буржуа, в полицейских, просто в прохожих. Фирма Эдисона, желая уничтожить фирму Вестингауза, предложила для казни преступников применять ток высокого напряжения; так грубую веревку сменил электрический стул. Быстро росли грессбухи, еще быстрее росло отчаяние.

Но вечером, покрываясь синеватым туманом, выползал на люди прошлый век. Над круглыми столами еще уютно горели лампы, еще женщины пробовали зачитываться сентиментальными романами, дети еще играли в домино и в бирюльки. Театры ставили пышные оперы, феерии, затейливые фарсы. В театры ходили не часто, как на званый вечер, жены пудрились, а мужья надевали высокие воротнички. Прогуливаясь по фойе, зрители сочувственно оглядывали друг друга, как участники общего праздника. В антрактах ели шоколадные конфеты и говорили об идеях. Танцевали только на балах, танцевали старые танцы: мечтательный вальс или кадрили. Кутилы ходили в бары, а жеманные проститутки исполняли кекуок. Обыкновенные люди к вечеру терялись: они не знали, что им делать с досугом. Привыкшие за день торопиться, они не могли просто мечтать, сидя в отцовском кресле. После рева машин, после треска автобусов, после счетов и свистков они не могли ни читать, ни спорить.

— Может быть, мы пойдем к Смисам?..

— Нет, я устал...

— Сегодня в «Одеоне» дают новую пьесу Ибсена...

— Надоели эти тирады... И потом — переодеться... Я так устал...

— Расскажи мне что-нибудь...

— Я устал... Ты понимаешь — я устал!..

Они сидят друг против друга — Дженни и Джек, Анна и Карл, Жан и Луиза, — сидят и молчат. Над ними еще горит уютная лампа, но нет в ее желтом свете ни радости, ни покоя. Они хотят одного — уйти от жизни, от цифр, от гаек, от клавиш машинки, от огромной суеты и от огромного одиночества. Они не читают — в книжке столько страниц, и читать книжку трудно — надо догадываться, вспоминать, придумывать: кто герой, почему улыбается героиня, где они живут, в каком городе, под какой лампой?.. Что же им делать с длинным вечером?.. Они сидят и молчат во всех городах Нового и Старого Света, несчастные каторжники с тремя свободными часами. Это было давно. До нашей эры. Это было до кинематографа.

Адольф Цукор говорит Элю Лайчману:

— Если вы дадите мне пять тысяч долларов, вы хорошо заработаете. Это самое верное дело. У людей теперь нет развлечений, удобных и дешевых. Театр — это как ручной станок или как лошадь. Мы должны поставить дело на новый лад. Вы думаете, что заработать можно только на сахаре или на шелке? Конечно, люди хотят вкусно есть, хорошо одеваться. Но люди не звери. Я говорю это как артист и как философ. Люди хотят также мечтать. Им необходимо видеть красивые сны. Что же, мы будем изготавливать красивые сны, сны сериями, забавные сны по дешевке. Вы дадите мне пять тысяч, через несколько лет вы получите пятьсот. Поглядите на людей — они хотят иллюзий. На этом можно неслыханно заработать!..

Лайчман слушает Цукора. Лайчман ничего не понимает ни в философии, ни в театрах, ни в иллюзиях, но Лайчман верит Цукору: у Цукора хороший нюх. Лайчман дает Цукору 5000 долларов.

Цукор не подвел Лайчмана, он только несколько ошибся в цифре; он обещал Лайчману 500 000. Прошло шесть лет — у Лайчмана лежали акции первого предприятия Цукора, которые обошлись ему в 5000. Он справился — каков сегодня курс Цукора? По привычке он думал «Цукора», а не «Парамаунта». Услышав ответ, он усмехнулся: в его руках были 800 000 долларов. Черт побери, Цукор не подвел! Его «сны» оказались куда выгодней и нефти, и золота, и маргарина.

### 3. Война так война!

«Первый транспорт американских солдат прибыл во Францию!..» Мальчик задорно помахивает газетными листами. Где-то за океаном уродливые танки топчут проволоку и мясо. На койках лазаретов корчатся люди без лиц: их обожгли; без рук: их обкорнали; без легких: их отравили; это освежеванные туши, это человечина на вес. Завтра среди них окажутся американцы. Ничего не поделаешь — мы отстаиваем наши великие идеалы!..

Президент Вильсон произносит новую речь о свободе малых народностей и о страданиях невинных женщин, потопленных, как известно, варварами. На двадцатом этаже, в Чикаго или в Филадельфии, американская женщина прячет заплаканные глаза: она вчера проводила своего Джона. Биржа, однако, хранит спокойствие, биржа верит в заказы, в доходы, в победу, в цивилизацию. Верит биржа, верит нация, верит мир.

Адольф Цукор сейчас не думает о победе. Он мрачен. Хорошо сто процентным янки, но у Цукора две родины. До последнего дня он посылал своему дядюшке, синагогальному старосте, добротные американские доллары для родственников и для единоверцев. Теперь его семью разрезали на два ломтя: одни — сражаются за двуединую империю, другие — за четырнадцать пунктов Вильсона. Цукор — глава семьи. Он всегда председательствует на семейном совете, там решаются дела Цукоров, Кауфманов, Конов. Дядя Кауфман — архитектор, он строит театры, дядя Кон работает по прокатному делу, — все они связаны с Адольфом Цукором кровью и акциями «Парамаунта».

Победа?.. Конечно, Цукор — американский патриот, он приехал сюда нищим, теперь он миллионер, в нем живо чувство признательности. Но зачем убивать людей?.. Кому она нужна, эта победа?.. Разве без победы люди мало зарабатывали?.. Невольно Цукор вспоминает докучные слова о ветре, который возвращается на свои круги.

Да, война большое горе, это все понимают. Но война также доходное предприятие не только для владельцев оружейных заводов, война доходное предприятие для всех толковых

людей. Четыре миллиона солдат — чем развлечь их, если не забавными картинками?.. Экран уже не спорное новшество, не балаган для прислуги и ребят, это — общественная необходимость, как почта или как сигареты. На корабли, вместе с пушками и консервами, грузят целлулоидовые ленты. Посмотрев на невинную улыбку любимицы Цукора, очаровательной Мери, солдаты с легким сердцем умирают. Они умирают, разумеется, за великие идеалы.

Те, что остались дома, ждут победы. Трудно, однако, ожиданием заполнить досуги. Газетные листы, как всегда, пахнут печатной краской, но встревоженное воображение различает другие запахи: запах крови, мертвечины, кала, — это пахнет война. Тем, что остались дома, не по себе. Днем они богатеют, но вечером их берет страх; как в окопы, залезают они в темные залы. На полотне — веселая, завлекательная жизнь, без сводок генерального штаба, без хруста газет, без прислушивания, — кажется, почтальон!..

Цукор не хочет ставить военные картины: людям нужна иллюзия. Зачем показывать войну, когда война под боком? «Метро-Голдвин» на батальных картинах обязательно прогадает. У этого Голдвина, говоря попросту, Гольдфиша, плохой нюх! Цукор будет делать военные картины, но не теперь; он будет их делать после, когда война кончится.

Соединенные Штаты воюют с Германией. Цукор воюет с «Ферст нэшиональ». Он воюет также с актерами: актеры, видите ли, потеряли голову, им мало высоких окладов, они хотят сами делать картины. Им помогает родня Вильсона, хитрый Уильям Мак-Эду. Если актеры будут делать картины, что же будет делать Адольф Цукор?.. Нет, Цукор не уступит! Он уже отвоевал у «Юнайтед артистс» Гриффита. Главное — как можно больше театров! Скупить у мелких владельцев. Не только изготовлять картины — показывать их. Маркус Лоу гордится длиной заснятой пленки, Адольф Цукор — количеством мест в театрах. Он перехитрит всех: и Лоу, и актеров, и публику.

Война так война! Цукор сразу поседел. У него волосы библейского старца, но сердце юного Давида. Под окном бьют барабаны: это солдаты идут на смерть. Тонкие губы Цукора сжаты: Цукор идет к победе.

#### 4. США и Адольф

Когда Рокфеллер узнал, что против него выступило правительство Соединенных Штатов, он пренебрежительно усмехнулся: он знал, что нефть принадлежит ему, и не страшился никаких законов. Пример обязывает. Жизнь миллионеров — Плутарх деловой Америки. Чем Цукор хуже Рокфеллера?.. Если нефть оживляет моторы, кино оживляет сердце. «Парамаунту» не страшны параграфы крючкотворцев!

Цукор снисходителен к чужим слабостям: закон против трестов необходим для успокоения малодушных. Этот закон, может быть, следует опубликовать, но его отнюдь не следует применять. Нельзя ограничить рост треста, как нельзя ограничить вдохновение.

Противники «Парамаунта» перешли в атаку. Они обвиняют Цукора в незаконных происках — «Парамаунт» хочет объединить всю киноиндустрию: производство и эксплуатацию. В Соединенных Штатах ему принадлежит 368 театров. В некоторых крупных центрах, как-то: в Филадельфии, в Делласе, в Джексоне, — «Парамаунт» скупил все театры без исключения. Цукор заставляет владельцев брать картины без права выбора. Он требует, чтобы в театрах показывали только его картины. Он борется с другими американскими фирмами за границы. Да, у этого Цукора слишком много честолюбия, и у него недостаточно патриотических чувств!..

Правительство Соединенных Штатов встревожено. Оно требует от «Парамаунта» письменного обязательства воздержаться от дальнейшей скупки театров, от проката картин сериями, наконец, от попыток ограничить экспорт американских картин. Правительство Соединенных Штатов соблюдает закон против трестов.

Адольф Цукор любезно улыбается. Не колеблясь, он расписывается: «Адольф Цукор». Надо уважать мелкие формальности! Подписав обязательство, Цукор переходит к другим, более важным вопросам. Мы покупаем четыре театра в Пенсильвании. Инструкции представителям «Парамаунта»: мы согласны отпускать картины владельцам театров только при условии, что они будут брать у нас сорок процентов ежегодной программы. Контракт на пять лет. Или мы получаем половину

выручки, владельцы обязуются взять в шесть месяцев двенадцать картин по нашему выбору. Европа: соглашение с «Уфой» — план деятельности «Парамаунта». В Париже — покупаем «Водевиль». В Австралии... В Индии... В Китае... Повсюду только наши картины! Остерегайтесь подделок!.. На каждой картине — горделивая справка: «Это картина «Парамаунта»!»

В течение наступающего года мы потратим на продукцию больших картин, не считая хроники и коротких комедий, 32 000 000 долларов. У нас 75 процентов всех общепризнанных «звезд». Эти «звезды» блистают над двумя полушариями, они сводят с ума захолустных фантазеров. Фантазеры пишут письма «звездам»; они пишут о великом искусстве и о своем одиночестве, просят любви или автографов. У нас имеется особый департамент — корреспонденция с поклонниками «звезд»: вселять бодрость и признательность. Наши мастерские занимают 10 гектаров. Ежедневно свыше 120 000 000 людей смотрят наши картины: белые, желтые, черные люди, клерки, министры, кули, — человечество.

Мистер Цукор подписал обязательство. Он больше об этом не вспоминает. Улыбаясь, он говорит:

— Я работаю согласно коммерческим принципам. Вы удивляетесь, что мне все удается?.. Верьте, я и сам этому удивляюсь.

Щелкают аппараты — у мистера Цукора на редкость фотографическая улыбка.

## 5. Закон бытия

Одни люди должны думать, другие — работать: так создается государство. Зачем думать какому-нибудь рабочему из Детройта? За него думают другие. Он работает, и он счастлив. В воскресенье он едет за город: автомобиль придуман другими, теми, что думают. Он только оттаскивал железные полосы. Другие начертили на кальке прямые дороги, другие рассказали ему, что шорох деревьев дивен, как молитва, что чистый воздух полезен для легких и что бензин в Америке особенно дешев, ибо Америка — великое государство. Он слушает шорох деревьев, он жжет бензин, и он ни о чем не думает.

Вечером он идет в кино: быстро вертится лента, люди стреляют, бегают по крышам небоскребов, целуются, умирают. Когда влюбленные находят пастора — это хорошо, когда злодей крадет бриллиант — это худо. Так думает мистер Цукор или мистер Ласки. Рабочий в кино не думает, он жует резинку и смотрит на экран — мелькают губы, револьверы, дома, машинки, мелькает чужая жизнь, жизнь мистера Цукора или мистера Ласки. Он слышит, как раздается таинственный голос: «Гарри, я тебе верна», «Джим, стреляй скорее!» Он не знаком ни с красивцем Гарри, ни с отважным Джимом. Это все тот же мистер Цукор или мистер Ласки; как чревоушатели, они бьют или чирикают в темноте огромного зала. Он смотрит, слушает и не думает: он исправный рабочий и стопроцентный американец.

Но когда у рабочего нет работы, он начинает думать. Это опасно и для него, и для государства. Если думает мистер Ианг, это пристойно и полезно: ведь он думает об объединении электрической промышленности. Мистер Истмен думает о том, как бы раздавить немцев, — нет на свете пленки лучше, нежели пленка Кодака!..

Мистер Цукор думает о кинотеатрах; в мире 62 000 кинотеатров, и в этих 62 000 должны показывать только картины «Парамаунта». Один из подчиненных мистера Цукора, мистер Мендес, думает о том, кто именно должен крикнуть: «Джим, стреляй скорее!» Все они думают о самом важном: о величии Соединенных Штатов и о дивидендах. Но о чем может думать безработный, хотя бы этот голубоглазый Джон Фильд с широкими плечами и с преглупой улыбкой?..

Мистер Гувер говорил о благоденствии, и Джон Фильд отдал свой голос мистеру Гуверу: ведь мистер Гувер думал за Джона Фильда. Джону обещали благоденствие, вместо этого ему выдали карточку безработного. Теперь у него свободное время и пустой желудок. Он поневоле думает. Вместе с товарищами он кричит: «Долой!..» Он еще не знает в точности, кого он ругает: ничего не подделаешь — голубоглазый Джон не привык думать. Но он уже знает, что его надули. Он орет: «Долой!..»

Из-за угла выскакивают полицейские. Полицейские работают, следовательно, они не думают. Ловко они выхватывают из толпы то одного, то другого демонстранта и ловко бьют

крикунов добротными резиновыми палками. Это благодушные и статные полицейские — не раз Джон восторгался ими на экране. Один, голубоглазый и широкоплечий, хватает Джона. Возле раскрытого окна — аппарат. «Крутите скорее!» — это для хроники «Парамаунта» — двадцать секунд — после спуска нового крейсера и до состязания конькобежцев.

Голубоглазый полицейский работал слишком усердно, он ошибся на несколько секунд или на несколько сантиметров: Джона Фильда отвезли в лазарет. Джон Фильд лежит и тихо стонет. Потом он перестает стонать, он начинает хрипеть. Хорошо бы это заснять — сколько оттенков звука!.. Но этого никто не заснимет: Джон Фильд не храбрый Джим и не счастливый Гарри.

«Парамаунт» работает на славу: три часа спустя хроника готова. Вечером ее показывают в театрах. Игрушечные полицейские забавно дубасят трусливых крикунов. Публика хохочет. Крейсера, по правде сказать, всем надоели. Другое дело — дубинки веселых полицейских. Хохочут солидные мистеры с акциями и с убеждениями, хохочут скромные клерки, хохочут широкоплечие голубоглазые рабочие: ведь в кино никто не думает, в кино только смотрят и отдыхают.

Адольф Цукор сидит в своем кабинете. Кипа газет. «Демонстрация безработных... Двое полицейских легко контужены... Один из манифестантов умер в госпитале. Безработным отпускают в кредит яблоки...»

Адольф Цукор смотрит в окно — перед ним спинной мозг Америки — великий Бродвей. Люди, очень много людей. Одни спешат в «Парамаунт» — на сенсационную картину «Парад любви», другие продают отпущенные в кредит яблоки. Это куда умнее, нежели все бредни европейских социалистов. Торговля с лотка — вот университет гениев! Может быть, на том углу стоит новый Цукор... Кто выдумал равенство? Тупицы и лентяи. Талантливых людей никто не остановит. Хорошие плечи, четыре правила арифметики, несколько лет борьбы. Почему же ворчат эти безработные? У них яблоки и надежда. Девять умрут, десятый станет Рокфеллером. Взгляните на любую картину «Парамаунта»: бодрый клерк становится миллионером, швея выходит замуж за лорда, бродяга находит слиток золота.



Горемыка в Кошицах или в Кишиневе, набрав несколько медяшек, идет в кино. Там он смотрит на чужую удачу. Его сердце ширится, глаза темнеют. Еще ничего не потеряно! Он может встретить богатую американку. Он может изобрести вечные спички. Он может задержать важного преступника и получить генеральский чин. Экран ограждает его от петли и от бомбы. Адольф Цукор нашел прививку против отчаянья. Он говорит: старайтесь, и вы будете как я! С утра до ночи я корпел над вонючими мехами. Теперь я богат и славен, теперь больше нет Адольфа Цукора, вместо него — «Парамаунт».

Посмотрите на моих конкурентов — они тоже не сразу встречали удачу. Маркус Лоу был сыном лакея. Его карьера началась достаточно скромно: он торговал на улицах цветами. Даже негры презрительно подзывали его: «пст!..» Двадцать лет спустя перед ним заискивающе сюсюкали директора банков, сенаторы и министры. У него было четыреста кинотеатров и своя фабрика ковров; все четыреста театров были украшены коврами, сделанными на собственной фабрике, с его, Маркуса Лоу, инициалами. У него был свой остров, свой пляж, свой гольф, своя гавань и свои виктории-регии. Он нюхал в оранжерее редкие цветы и лениво подсчитывал нули балансов. Только смерть, непочтительная смерть осмелилась его потревожить. После него остались ковры с вензелями и наследство в 25 000 000 долларов.

Председатель «Юниверсала» Карл Леммле торговал когда-то подтяжками. Всесильный Уильям Фокс в стоптанных ботинках шлялся по улицам нью-йоркского гетто. А сподвижник Цукора, Джесси Ласки, чем только он не промышлял!.. Он разносил газеты, он сидел за конторкой, он рыскал по участкам, отыскивая в «Почте Сан-Франциско» сенсационные убийства, он выступал и в цирке и в мюзик-холле, он даже пробовал стать золотоискателем. Золота он не нашел, зато начал изготавливать прозрачные ленты с дырочками и с забавными картинками. Это куда лучше, нежели искать на Аляске таинственные крупы! Джесси Ласки теперь вице-король «Парамаунта».

Адольф Цукор презирает неудачников. Если человек ниц в двадцать лет — он должен ходить в дешевый кинематограф и верить в будущее. Если человек ниц в сорок — о нем не стоит разговаривать: это брак, единица для статистики. Оператор не мешкает, торопитесь — в первой части можно напасть

на дочку директора или на выгодный патент, в пятой остается только умиротворенно поцеловаться!..

Почему же шумят эти безработные? Против чего они протестуют? Против жизни? Против смерти? Они должны торговать яблоками и ходить в кино. Вместо этого они затевают демонстрации. Цукор презирает политику. Стоит ли говорить речи, когда можно делать доллары? Для политических тонкостей Цукор держит Хейса. Этот Хейс благородно изъясняется. У Цукора и без того уйма дел. Он, конечно, голосует за республиканцев: республиканцы отстаивают «сухой режим», а это Цукору на руку. Стоит только открыть пивные, как американцы начнут гадать: куда бы пойти сегодня вечером?.. Теперь у американцев нет выбора, и все американцы идут в кино. Если Цукор голосует за республиканцев, это вопрос баланса. Но безработные, те и впрямь заморожены дурацкой политикой. До хрипоты расхваливают они свои дела, как будто идеи — это безопасные бритвы или самопишущие перья. Пусть едут в Европу! В Европе слишком мало долларов и слишком много времени. Вот на родине Цукора какие-то сумасброды вздумали устроить революцию. Они объявили «власть бедных». Какой вздор!.. Так, пожалуй, преступники начнут арестовывать полицейских. Если разорить богатых, не будет ни красоты, ни кино.

Цукор добряк, он готов купить воз яблок. Однако оставим филантропию! У Цукора радикальное средство: он изготавливает надежду. Если доходы «Парамаунта» за истекший год превысили 17 000 000 долларов, в этом надлежит видеть только мудрость всевышнего — он воздаст сторицей.

Цукор просматривает докладную записку: «На посещаемости театра пагубно отражаются увлечение танцами, деятельность религиозных обществ, а также рост безработицы...» С танцами надо бороться. Мы против безнравственных забав. Что касается конкуренции религиозных обществ, то здесь легко достигнуть соглашения — почему бы не показывать в церквях фильмы? Надо показать, как нечестивцы грешат, — это уберет от греха баптистов и методистов. Пусть об этом позаботится мистер Хейс... А безработица когда-нибудь да кончится. Из тех, что продают на Бродвее яблоки, одни своевременно умрут, другие разбогатеют, а третьи потянутся снова к заводским воротам: днем — конвейер, вечером — кинематограф. Таков закон бытия.

По аллее прыгают наивные трясогузки, пахнут летом и счастьем тяжелые левкой, жужжит о чем-то своем, домашнем, толстяк шмель. Тихо-тихо. Кажется, нет на свете ни Бродвея, ни тридцатипятиэтажного храма, ни говорящих картин, ни акций. По аллее, пугая трясогузок, идет Адольф Цукор. Он у себя дома. Отсюда всего сорок минут до Нью-Йорка. Цукор любит буколику: «Я — венгерец, а все венгерцы в душе мужики...» Он разводит цветы, и он купается в прозрачной воде бассейна. Вечером он слушает музыку — нет наслаждения выше! Звуки никогда не останавливаются, они кружатся, как ветер, но звуки — не унылые проповеди Экклезиаста, звуки — жизнь; они бывают мажорными, как удача, и грустными, как подступающая старость, как происки «Братьев Уорнер», как судьба бедняги Фокса. Цукор слушает музыку. Потом он играет в бридж. Потом он спит; он спит и видит свои собственные сны, не те, что делают на его фабрике, но другие — диковинные и обыкновенные, сны, которые снятся всем людям: поле, гуси, детство...

«Братья Уорнер», несмотря на соглашение, стараются подкапаться под «Парамаунт». Они переманивают актеров — вот сегодня Цукор узнал, что две его «звезды» — Руфь Чаттер и Вильям Поуэль подписали с «Уорнер». Что же, Цукор обойдется без них! На свете сколько угодно «звезд», надо только уметь их открывать: это секрет производства. Завтра у «Парамаунта» будет дюжина новых «звезд». Куда труднее купить хороший театр. «Братья Уорнер» прогорят: у них мало театров. Цукор раздавит их. В два счета. Как эту траву...

Нога Цукора въедается в зелень. Его лицо сейчас способно напугать не одних трясогузок. Хотя Цукор и не может похвалиться атлетическим сложением, нрав у него боевой. Как породистый терьер, он готов кинуться в драку. В молодости он занимался боксом, об этом свидетельствует разодранное ухо. Теперь он джентльмен, ему приходится выбирать другие забавы. Как спортсмен, он увлекается гольфом, как человек деловой, он готовится дать «нокаут» зазнавшимся «Братьям Уорнер».

У Цукора золотое сердце. Маркус Лоу разошелся с ним, он не стал вредить Маркусу — на свете много места. Он не

забыл веселых трапез, когда Маркус смешил его, Цукора, и дядю Цукора, Кона. Маркус был большим оригиналом. Купив новую шляпу, он прежде всего на нее сажался, чтобы она не выглядела новой. У него были забавные усы и ум дипломата. Маркус Лоу преуспевал в делах, не отставая ни на шаг от Цукора. Тогда Цукор решил породниться с Маркусом. Если итальянский король женит своего сына на дочке бельгийского короля, то почему бы Адольфу Цукору не выдать своей дочки за сына Маркуса Лоу?.. На свадьбе пили за процветание искусства и за помощь Цукоров и Лоу.

Погуляв по аллее, Цукор идет в свои покои. У прежних королей были домашние часовни. У Цукора домашнее кино. Он пригласил несколько друзей посмотреть новую картину. Вместо шмеля в темноте жужжит голос одной из самых дорогих «звезд»: «Гарри, я тебе верна...» «Звезда» при этом переодевается: улыбка, и две секунды — голое колено. Гости одобрительно гудят. Один из них, после надлежащих комплиментов, говорит Цукору:

— Я думаю, что такая картина должна куда больше нравиться публике, нежели большевистские штучки Эйзенштейна...

«Парамаунт» подписал договор с Эйзенштейном, и Цукор загадочно усмехается.

— Кино требует разнообразия. Если в картине имеется нечто сексуальное — хорошо. Нет этого — тоже хорошо. Конечно, каждому приятно увидеть на экране хорошенькую женщину. Это часть, и, может быть, самая важная, нашей работы. Мы стараемся ее показать. Но это еще не вся жизнь. Вспомните «Рождение нации» или «Большой парад» — какой успех! А Леммле, разве он мало заработал на картине Ремарка?.. Конечно, Эйзенштейн должен образумиться. Голливуд не Москва. Никакой тенденции я не допущу. Между нами говоря, я боюсь, что ничего из этого не выйдет. Он невероятно упрям. Это игра. Иногда мы и проигрываем. Но в основе моя линия правильна: столько-то эротики, столько-то других чувств. Главное, сообразоваться с характером публики. После войны Америка требовала счастливого конца. А немцев побили, и немцы занялись самомучительством. Они не могли вынести никакого счастья, даже на экране. Конечно, Германия — клиент второго разряда, но мы сделали несколько картин с печальным концом — мы не хотели потерять и скромного клиента. В Нью-Йорке в нашем театре висят старинные картины — после небо-

скребов приятно взглянуть на какую-нибудь маркизу, а в Париже у нас раздают посетителям шоколад с начинкой. Да, чтобы управлять «Парамаунтом», надо быть тонким психологом!..

Приглашенные подобострастно вздыхают. Потом они выходят на террасу и долго смотрят на Гудзон, широкий и величественный, который омывает тюрьму Синг-Синг и буколическое поместье Адольфа Цукора.

Служащие «Парамаунта» зовут своего хозяина «папа Цукор». Он не только глава Цукоров, Кауфманов, Конов, он также отец своих служащих. Он дает наградные, и он наказывает. Он суров и добродушен. Если какая-нибудь газета, не получившая обещанных объявлений, начинает писать о «хищнической политике «Парамаунта», тотчас появляется умиленная справка: маленький грум и старый бухгалтер — все зовут Цукора «папой». Нет, это не хищник, не злой коршун, каким хотят представить его продажные перья, это трогательная трясогузка!

Цукор едет в Европу. У него там немало дел: наладить распространение картин, проверить представителей, выудить хороших режиссеров, наконец, ознакомиться со вкусами публики. Но не только ради этого Цукор едет в Европу. Ни богатство, ни почести не заставили его позабыть гоготавших вокруг синагоги гусей. Он приезжает в Рисце, там он молится и благодетельствует. Все евреи Рисце боготворят господина Цукора: он богаче Ротшильда, он умнее Маймонида, он щедрее щедрого царя Соломона. Многие переменялись в жизни Адольфа Цукора, но ничего не переменялось в жизни крохотного городишка: так же гогочут гуси, так же поют венгры тоскливые песни, так же накручивают на палец пейсы тщедушные отроки, повторяя пыльные слова Талмуда. Здесь нет времени, и Цукор здесь ощущает всю тщету своей шумной жизни: как ветер, он кружился, спешил на запад и на восток, и потом вернулся на свои круги.

Цукор уезжает, оставив после себя зеленые ассигнации и умильные вздохи. Он уезжает в Америку делать деньги. В Рисце тихо — гуси и Талмуд. Вдруг событие: в Рисце открывают кинематограф. Там будут показывать картины с красивыми женщинами и с галантными разбойниками. Проходя мимо

пестрых афиш, старые евреи в негодовании отворачиваются: на афишах красавица с голыми плечами нахально целует усатого офицера. На афишах написано: «Это картина «Парамаунта»».

Маленький Мойша, выучив все слова Талмуда и завив на славу оба пейса, говорит отцу:

— Я хочу пойти в кино.

Отец Мойши отплевывается:

— Ты с ума сошел! Честный еврей не должен смотреть на такие низости. Я хотел бы плюнуть в лицо негодяю, который делает эти бесстыдные картинки!..

Лукаво улыбаясь, Мойша возражает:

— Фишман сказал мне, что эти картинки делает господин Цукор.

Здесь отец Мойши теряет самообладание. Он произносит несколько недозволенных слов. Он называет Фишмана свиньей и даже самой гнусной частью свиньи.

— Господин Цукор не может делать такие бесстыдные картинки. Господин Цукор живет во дворце и делает деньги.

Дела плохи, ох, как плохи! Адольф Цукор вздыхает. Служащие пугливо озираются: «папа» сегодня не в духе. Что же приключилось? Одолели ли «Парамаунт» «Братья Уорнер»? Или, может быть, выскочил «Фокс-фильм» с широкой пленкой? Нет, первые шесть месяцев дали на восемьдесят семь процентов больше по сравнению с прошлым годом. Говорящие картины сначала беспокоили Цукора. Он гордился своими «звездами», и вот многие «звезды» оказались немymi — их голос нигде не годится, пришлось рвать договоры, выплачивать неустойки. Фокс и Уорнер оправались быстрее. Но теперь и «Парамаунт» набрал достаточно актеров с подходящими головами. Один Шевалье чего стоит — какая сенсационная картина этот «Парад любви»!.. И все же...

Цукор не довольствуется дневной выручкой, он смотрит вперед, и впереди — темь. Говорящие картины были новинкой, публику проняло любопытство — как это тени на полотне разговаривают?.. Мы заработали десять, а кто и двадцать миллионов. Но что будет завтра?.. При немых картинах Америка внутренним рынком покрывала расходы. Экспорт — чистая прибыль. Теперь стоимость картины повысилась, а экспорт... Здесь

то загвоздка! Заголовки картин «Парамаунта» переводились на тридцать семь языков. Эти картины шли в Болгарии и в Перу, в Индии и в Лапландии — их понимали все.

Когда-то маленький Адольф с любопытством слушал рассказ старого ребе; ребе рассказывал о том, как люди строили башню, высокую башню, вроде небоскреба «Парамаунта», и господь разобиделся, люди стали говорить все по-разному: кто по-венгерски, кто по-немецки, кто по-еврейски, — никто друг друга не понимал. Почему бы всем людям не говорить по-английски? Это очень легко. Адольф, приехав в Нью-Йорк, сразу научился. Акцент — ерунда! Но они держатся за свои тридцать семь языков. В Рисце никто не понимает ни слова по-английски. «Парамаунт» делает прекрасные картины. Актеры, разумеется, говорят по-английски. Но их разговоров не поймут ни в Аргентине, ни в Германии, ни в Париже. В Сан-Паоло муниципалитет штрафует владельцев театров, которые показывают картины на английском языке...

Тогда знакомая улыбка проясняет лицо Цукора: его снова посетила верная муза. Он нашел выход — он будет делать одни и те же картины на всех языках мира: на английском и на венгерском, на испанском и на датском. Конечно, скептики скажут, что это безумная затея, что он никогда не покроет расходов. Пусть — он не раз доказывал, что для Цукора нет препятствий. Только скорее! Пока не перехватили его идеи «Уорнер» или «Метро». Надо торопиться! Ни минуты отдыха! Оператор крутит! Шведские, румынские, португальские слова! Башня будет достроена. Ветер несется на юг. Ветер несется на север. Ветер кружится, кружится. А потом? Потом он вернется на свои круги. Но об этом не стоит думать — это уже не кино, а смерть...

## 7. Восшествие на престол

Осенью 1921 года все пресвитериане, баптисты и методисты Соединенных Штатов были немало возмущены: зачем Эдисон придумал эти движущиеся картинки?.. Кино — не только развратные происшествия на полотне, это — ежедневные скандалы в Лос-Анжелосе, оргии, кутежи, растление малолетних, свальный грех, богохульство!

«Общество молодых христиан» предостерегает своих членов от посещения кинотеатров. «Лига мужчин, которые любят только одну женщину», выносит гневные резолюции. «Клуб женщин-матерей» требует от правительства решительных мер.

Газеты каждый день сообщают о новых скандалах: актер Уильямс преследуется за двоеженство! Овен Мур, первый муж Мери Пикфорд, обвиняет Дугласа в неблагоприятных поступках! Фатти повинен в исчезновении Виржинии Рапп! Актеры пьянствуют! Обнаружены триста бутылок шампанского! Бесстыдные танцы! Издевательство над добрыми нравами! Что, например, делали вчера режиссер Х и мисс В?..

Адольф Цукор недаром прожил в Америке свыше тридцати лет. Он знает — здесь нельзя даже выпить рюмку, не завесив перед этим окно. Кино у всех на виду, трудно превратить актеров в квакеров... Если в Будапеште покажется человек, одетый иначе, нежели все, прохожие улыбнутся и почтительно посторонятся. Стоит здесь осенью надеть соломенную шляпу, как мальчишки начнут улюлюкать, они собьют шляпу с головы: «Теперь, сударь, не лето!..» Где же найти покров добродетели, благословение церкви, симпатию Белого дома?..

В средние века евреям жилось не сладко. Но умные евреи пробивались: они находили влиятельных защитников. Какой-нибудь важный рыцарь объявлял во всеуслышание: «Это мой еврей!» И его еврея никто не смел тронуть. Конечно, еврей выдавал благородному рыцарю достаточное количество золотых дукатов. Кино теперь травят, точь-в-точь как травили некогда прадедов Цукора. Выход один — найти покладистого рыцаря...

Цукор вспоминает: маленький человечек с оттопыренными ушами... Это было года два назад. Завтрак в «Клеридже»... Салон Б... Маленького человечка привел Петиджон... Его зовут Вилль Хейс... Теперь он министр у Гардинга... Это очень влиятельная особа... Он тогда пил сельтерскую и, говоря, взвешивал каждое слово... Сейчас же видно — дипломат... Кино его интересует: он настаивал на производстве политических картин... Это то, что нам нужно... А за дукатами дело не станет!..

Вилль Хейс честно поработал на мистера Гардинга. Он провел шестьдесят две ночи сряду в спальном вагоне. Каждый день он произносил несколько речей, не считая мелких притчей и блистательных анекдотов. Гардинг был избран в президенты, а Вилль Хейс назначен министром почт. Во время



предвыборной кампании Хейс не раз прибегал к кино: ничего не поделаешь, люди — дети, им нужны зрелища. Он приводил к Гардингу операторов:

— Вы должны показываться на экране как можно чаще...

Мистер Гардинг не возражал, он любил позировать перед объективом, он улыбался и многозначительно оглядывал воображаемые Штаты.

Хейс понял, что кино не забава. Каждый гражданин голосует, и он думает при этом, что он голосует за того, за кого он хочет. Мы, однако, знаем, что он голосует за того, за кого мы хотим. Это святая святых демократии. Если бы рабочие голосовали за рабочих, наша страна превратилась бы в дикую Московию. Прежде у нас были газеты. Теперь у нас радио и кино. По радио можно уговаривать — это просто и понятно каждому: речи, проповеди, притчи. Овладеть экраном куда труднее: здесь люди ищут отдыха, поэзии, небылицы. В темных залах они как бы спят, им снятся прекрасные сны. Мы должны заразить их нашей поэзией, поэзией идеала и доллара, поэзией борьбы за удачу, — сильные повелевают, слабые работают. Легко продиктовать человеку его день; стой у станка, стучи на машинке, складывай цифры! Но этого мало: мы должны продиктовать ему сны — пусть даже во сне он будет сознательным гражданином Соединенных Штатов.

Хитрый Уильям Фокс хотел переманить к себе Хейса, он предложил ему семьдесят пять тысяч долларов. Хейс отказался. Конечно, «Фокс-фильм корпорейшн» солидная фирма, но и Вилль Хейс не какой-нибудь стряпчий.

Чтобы заполучить Хейса, нужно объединиться заклЯтым врагам: «Парамаунту» и «Фоксу», «Метро» и «Юнайтед». Время не терпит: газеты богатеют на скандалах в Лос-Анжелосе, методисты и баптисты шлют в Вашингтон пламенные протесты.

Они собрались в кабинете дорогого ресторана. Никто, впрочем, не заглянул в меню. Они даже позабыли свои старые счета. Они глядели друг на друга нежно и растерянно. Необходимо спаситель, путеводная звезда, не «звезда» экрана, — нет, звезда Вифлеема, муж, который даст им, погрязшим в грехе и в ничтожестве, новый завет.

Они грустно жуют рыбу: Цукор и Фокс, Голдвин и Сельник, Кон и Эбрехем, Леммле и Аткинсон, громкие имена, миллионы балансов, бедные заблудшие овцы.

Кого же призвать? Кто-то предлагает Гувера. В ответ раздается неодобрительный шепот: Гувер слишком богат и независим, Гувер не пойдет, а если и пойдет, он не даст нам пикнуть. Гувер честолюбив, он мечтает о другом — он метит в президенты...

Все знают, кого именно надо призвать, все, однако, молчат. Фокс помнит неудачный исход переговоров. Как признаться, что он хотел перебить такую «звезду»? Цукор хочет быть дипломатом — подождем до десерта.

Наконец заветное имя названо. Все сразу приободрились. Хейса? Разумеется, Хейса! Только его! Он выручил Гардинга! Он выручит кино! Он в Белом доме свой человек! Он знает на память все телефоны Вашингтона! Он может заговорить даже глухого! Он потомственный пресвитерианец! Хейса! Скорей Хейса!..

После восторженных вздохов они переходят к делу. Надо составить грамоту: американское кино просит Вилля Хейса воссесть на престол.

Лист бумаги испещрен помарками: не легко дается этим выходцам из скептической Европы благородный стиль. Цукор читает:

— «Мы, нижеподписавшиеся, производители и прокатчики, учитывая необходимость достичь наиболее высокого уровня продукции, дабы она вполне соответствовала приличествующему ей достоинству...»

Здесь кто-то из присутствующих громко вздыхает. Может быть, он вспомнил веселый обед у бедняги Фатти?..

— «...пришли к убеждению, что наша индустрия нуждается в созидательном наблюдении...»

Браво! Это здорово закручено! Это сразу заткнет рот всем моралистам: сами пришли к убеждению...

— «...полагаем, что Вы обладаете необходимыми качествами, и сочтем за великую честь, если Вы, приняв наше предложение, станете во главе объединения производителей и прокатчиков...»

Цукор делает паузу, его голос становится особенно патетичным:

— «В случае согласия мы будем Вам уплачивать ежегодно сто тысяч долларов в течение трех лет...»

Эта фраза, несмотря на ее лаконизм, далась не сразу: когда дело дошло до цифры, все стали переглядываться и тихо взды-

хоть. Но делать нечего — сегодня в газетах напечатаны резолюции трех женских клубов: «Мы требуем запрещения безнравственных зрелищ!» Придется сложиться... Две картинки — и мы это окупим...

Завтрак кончен. Цукор выходит на улицу. Декабрьский тусклый денек. Фонари, сырость. Но Цукору кажется, что блистает солнце и поют птицы. Не все ли равно, кто изобрел кино — Люмьер или Эдисон? Это может интересовать только лодырей. Мы сделали кино. Мы провели его через все рифы. Сегодня мы спасли его от верной гибели, мы, Цукоры, Фоксы, Голдвины!

Кино или политика? Фильмы или акции? Торжественность банка или подозрительная суета съемочного павильона? Вилль Хейс колеблется. По правде сказать, стопроцентному американцу нелегко дается дружба с этими европейскими дельцами. Они думают только о деньгах. Вилль Хейс думает о своей душе. Он идеалист и пресвитерианец. Каждое воскресенье он ходит в церковь. Он никогда не пьет вина. Вино — для людей с низким воображением. Вилль Хейс весел и без вина — его опяняет радость жизни, удача в делах, близость творца. Если он хочет доставить себе маленькое удовольствие, он съедает порцию сливочного мороженого, — это не виски, глава церкви пресвитерианцев и тот обожает сливочное мороженое. Хейс не курит, никогда он не смотрит на легкомысленных женщин. Он чист перед богом и перед людьми. Может ли такой человек вместо высокой политики или банковских операций заняться какими-то двусмысленными картинками?..

Однако, если Хейс не возьмет в свои руки кинопроизводства, государству грозит серьезная опасность. Он, Вилль Хейс, разумеется, не ходит в кино, но вот его дети — они играют в непонятные игры, для них экран куда важнее и книг и проповедей. Дурные фильмы портят их нежные сердца. Прочтите отчет о последних картинах: в одной показывают симпатичного бандита, который грабил якобы только богатых; в другой высмеивают пастора — пастор, оказывается, втихомолку дул джин и обнимал хорошеньких прихожанок; в третьей чернят фабриканта — он обманывал рабочих.

Что же делать? Может быть, запретить кино, как алкоголь? Но Цукор и Фокс не дадут себя в обиду. Виски можно пить

дома, прикрыв все ставни, а если запретить кино, людям вечером нечего будет делать. Ввести строгую цензуру? Ведь сами владельцы хлопочут об этом. Однако поможет ли делу цензура? Вырежут несколько сцен, переставят заголовки... Яд останется ядом. Беда в том, что все эти Цукоры, Фоксы, Ласки, Лоу — люди без твердых устоев. Они родились нищими. Чем только они не занимались!.. Среди них нет ни одного пресвитерианца, ни одного методиста или баптиста. Правда, когда актера Фатти обвинили в безнравственном образе жизни, Цукор немедленно распорядился уничтожить все фильмы, в которых снимался провинившийся толстяк. Но до злополучной заметки в газетах на обедах у того же Фатти неизменно присутствовали владельцы самых крупных фирм; там они танцевали с блудницами. Нет, от этих разбогатевших лавочников нельзя ждать ничего хорошего, никакая цензура не сможет превратить их в настоящих идеалистов. Идеалист — это он, Вилль Хейс!

Если Хейс возьмет в свои руки тяжелый скипетр, общество облегченно вздохнет. Кино станет оплотом порядка, школой добродетели, союзником пресвитерианцев и квакеров, гигантской лабораторией, в которой Хейс будет изготавливать прививку против анархизма, социализма и коммунизма. Слов нет, кино прежде всего индустрия. Цукор изготавливает картины, как Форд автомобили. Хейс не возражает против дивидендов. Он первый готов участвовать в некоторых финансовых операциях: богатея, человек становится приятней и человечеству и всевышнему. Но надо смотреть глубже: рабочие в Соединенных Штатах живут неплохо, у них ванны и автомобили. Однако можно ли поручиться, что их не коснется европейская зараза?.. В старой Европе — скандал за скандалом: в Германии и Италии что ни день — волнения, рабочие бастуют, захватывают фабрики, стреляют в полицейских. Только-только люди порядка подавили революцию в Баварии и Венгрии. Несмотря на голод и на разруху, Россия держится — это как никак соблазн. До поры до времени американские рабочие тверды духом. Но кто знает, что приключится при первой неудаче?.. Кризис. Заводы рассчитывают рабочих. Жизнь впроголодь. Автомобили проданы на слом. В ваннах никто не купается. Разговоры: «А вот в России...» Надо воспитать в рабочих уважение к законам, отучить их от преступных мыслей. Они неохотно ходят в церковь, у них нет свободного времени

для назидательного чтения, но они обожают кино. Для счастья наших детей мы должны использовать это оружие!..

С умилением смотрит Хейс на своих ребят: он готов пострадать ради их счастья. Он готов претерпеть и завтраки с безнравственными коммерсантами, и актерские пересуды, он готов отказаться от заветной мечты — в Белом доме жать руки гражданам, он на все готов ради своих детей, своих и чужих, ради будущего великой Америки!

Итак, решение принято: Вилль Хейс подает прошение об отставке. Он больше не министр почт, он председатель новой организации: «Мошон пикчур продешер энд дистрибешер». С удовлетворенной улыбкой он прикидывает: министр почт получал 10 000 долларов, председатель «Мошон пикчур» будет получать 100 000. Ровно в десять раз больше... Для начала неплохо! Это кроме коммерческих операций... Главное, впрочем, не богатство, главное — подвиг, обет, призвание.

Газеты с восторгом сообщают о согласии мистера Хейса. Они называют его «царь кино», — да, да, царь, а не «король». Король — это звучит пошло, это хорошо для нефти или для хлопка. Мало ли королей в Европе? Король Испании, даже король Албании. Король — оперетка. Но «царь» — это дико и торжественно, царь прежде всего самодержец; царей нигде нет, был один в России, но и тот низложен, вместо него в России — смута. Кино пережило свое смутное время, теперь оно поставило над собой царя. Итак, да здравствует царь кино, мистер Вилль Хейс или, как зовут его друзья, Билль! Да здравствует Билль Первый!

Когда Моисей спустился с горы Синай, его лицо излучало нестерпимый свет, и он покрыл лицо покрывалом. Когда Вилль Хейс принес владельцам всех кинофабрик скрижали закона, лицо его было просветлено добродушной улыбкой; как всегда, он не шел, но прыгал, наподобие молодого кролика, как всегда, бодро торчали длинные уши и радовались божьему миру ясно-голубые глаза.

Хейс не вышел ростом, он никак не похож на Моисея. Зато его голос звучит торжественно и веско. Он читает перед изумленными владельцами свой «кодекс морали»:

— «Установлено:

Что законы не будут подвергаться высмеиванию.

Что к нарушению законов не будет выказываться никакого сочувствия.

Что преступления будут показываемы соответственно, дабы не рождал протеста против закона и правосудия.

Что святость брака и семейного очага будет поддерживаться.

Что нарушение супружеской верности никогда не будет оправдываться.

Что религия будет ограждена от насмешек.

Что никогда ни один священнослужитель не будет показан преступным или смешным.

Что культ Знамени будет строго соблюдаться.

Что при показывании казни через повешение или с помощью электрического стула неизменно будут соблюдаться чувства меры и хороший вкус...»

Слушают почтительно Цукор, Фокс и Лоу. Как умно говорит он! Как хорошо он разбирается во всех тонкостях! Чем не десять заповедей? Адольф Цукор вспоминает годы учебы: из Библия мог бы выйти прекрасный раввин... Он здорово работает! Не зря мы ему платим сто тысяч. Он говорит, как президент, он придумывает «моральные кодексы», он все знает и все может. Это не человек, а клад!

## 8. Нежная малиновка

Вилль Хейс родом из Суливена, это в штате Индиана. Как только Хейс оставил политику ради кино, республиканская партия в Индиане захирела. Зато теперь в этом штате 232 кинотеатра.

Все, что Хейс делает, он делает хорошо. Ребенком он никогда не проказничал. В студенческие годы он вставал раньше всех и первым входил в аудиторию. Служа в банке, он равно увлекался и биржевыми операциями, и подсчетом завалищих центов. Когда он был председателем партийного комитета, десять человек ежедневно переходили от демократов к республиканцам. Будучи министром почт, он на славу рекламировал столь тривиальный товар, как почтовые марки. Теперь он царь кино, и с понятной гордостью он говорит:

— Соединенные Штаты поставляют сорок процентов мировой добычи нефти, они изготавливают шестьдесят три процента всех телефонов, семьдесят восемь процентов всех автомобилей.

Но на первом месте стоит кино: восемьдесят пять процентов фильмов, которые заселяют своими живыми тенями экраны мира, изготовлены в Соединенных Штатах.

День Хейса начинается рано. Еще горят газовые шары и проникает в душу предрассветный холод, когда он выбегает на улицу. Он уже многое успел сделать: одновременно он принимает ванну, бреется, просматривает газеты и беседует по телефону. В ванне — резиновый поупитр, на голове Хейса — телефонная каска. Он выбегает из дома свежесбрившийся и приобщенный к шуму мира. Живет он, разумеется, на тридцать седьмом этаже — это не буколический Цукор; Хейс живет в самом сердце Нью-Йорка, с городом, но над городом, над суетными его делами. Ночью он ближе всех к господину добрых пресвитерианцев. Рано утром он спешит на Пятое авеню: там он судит, рядит, увещевает, заговаривает, там он воспитывает кино, этого подозрительного байстрюка, приближая его к совершенству. В течение года Хейс улаживает шестнадцать тысяч конфликтов. Сегодня — восемьдесят шесть. Папка «процессы о плагиатах» — хорошая реклама! Еще один процесс: мистер Тест обвиняет мистера Хайга — последний похитил для «Парамаунта» весьма оригинальную тему: любовь двух братьев к одной и той же особе. Ха-ха! Этот Ласки неутомим! Дальше! «Фокс» просит содействия: картине «Мир вверх дном» не везет — в Бостоне цензура вырезала для будничных представлений двадцать три сцены, а для воскресных — тридцать две; женские клубы беснуются: «Эта картина оскорбляет достоинство женщины!» Пригласить женские клубы. Картина — боевик. Сделать некоторые изменения... Алло? Журналисты? Превосходно!

Хейс, любезно извиваясь, говорит журналистам:

— Кино теперь не нуждается в цензуре извне. Мы строго соблюдаем наш «моральный кодекс». Мы познали восторг самоограничения...

Мистер Мартин Киглей, издатель «Херольд Ворлд», недавно объединил всю печать Соединенных Штатов. Конечно, при содействии Хейса. Хейс гарантировал в течение пяти лет объявления на 3 000 000 долларов. Сотрудник «Ти Нью-Муви», мистер Мак Сутайр, пишет: «Вилль Хейс — это нежная малиновка... Его дружба тверда, как скала Гибралтара... Все люди без исключения обожают Вилля Хейса...»

Говорящие фильмы? Великое открытие! Разговаривать! Как можно больше разговаривать! Хейс вовремя поддержал «Братьев

Уорнер». Он произнес перед аппаратом речь. Десять тысяч речей до этого. Однако первая речь для экрана. Голос его дрожал: — Новое чудо, и я к нему причастен!..

Это напоминало воскресную службу в храме пресвитерианцев.

Вдруг он вскакивает и уносится. Слуга на тридцать седьмом этаже напрасно ждет его к обеду. Он — в поезде. Он едет в Голливуд: вопрос о широкой пленке, затруднения «Уорнер», идеологические колебания — некоторые режиссеры в чересчур мрачных красках показывают тюремный режим; говорят, что Эйзенштейн хочет инсценировать подозрительный роман Драйзера, — одернуть! На вокзал Хейс приезжает вовремя: поезд отходит через полторы минуты. Надо уметь жить: садиться в вагон за пятнадцать секунд до отхода поезда, никогда не сквернословить, отвечать на письма тотчас же по получении, стараться, чтобы, разговаривая, говорил только собеседник. Таковы принципы Хейса. Они помогли ему достигнуть столь высокого положения.

В вагоне он, разумеется, работает. Он диктует каблогамму венгерскому правительству: «Ввиду указанного мы никак не можем согласиться на ограничение ввоза американских картин. Стоп. Мы вынуждены...» Другой стенографистке: «В ответ на ваше письмо от 23 марта...» Третьей: «Дорогой Адольф...» Диктуя, он просматривает последнюю книжку журнала. Прекрасная новелла, увлекательная и полная глубокого идеализма! Надо поощрять молодые таланты, притом из этой белиберды можно выкроить хороший сценарий. Он диктует четвертой стенографистке письмо автору. Четыре стенографистки. Два секретаря. Вагон. Окна. Поля. Жизнь. Вилль Хейс пьян от жизни. Он поет, как самая нежная малиновка.

В Голливуде он озабочен и неуловим. Он избегает общества актеров. Как-никак это фигляры, а он пресвитерианец. Притом, пригоже ли царю возиться со своим народом? Дружба может скверно отразиться на дисциплине. Ни фамильярности, ни протекций! Справедливость! Директора фабрик и режиссеры любят иногда посплетничать: «Вот Джек спутался с этой венгеркой...» Хейс срывается с места:

— Простите, мне необходимо поговорить по телефону...

Здесь надлежит раскрыть тайную страсть этого человека, казалось бы огражденного от страстей. Почему только он стал царем кино? Он мог бы стать королем телефонов. Когда он ви-



дит черную трубку, его глаза становятся тусклыми от вожделения, руки дрожат: он должен сейчас же кому-нибудь позвонить!.. Находясь в Нью-Йорке, он то и дело беседует с Голливудом. Шесть тысяч километров. «У аппарата мистер Ласки...» Ежедневно шесть раз говорит он с Голливудом. Но этого ему мало. Он спит чутким, тревожным сном, как чересчур рьяный любовник. Среди ночи он просыпается. Он не пишет стихов. Он не мечтает о любимой девушке. Нет, горячей рукой хватает он трубку: еженощно он дважды беседует с Голливудом.

Страстный к телефону, с живыми людьми он холоден и замкнут. Он выносит их только на экране — это уже не люди, но его подданные. Играя в покер, он умеет хорошо блефовать. Еще лучше он умеет разговаривать с обыкновенными американцами. Он широко размахивает руками и повторяет несколько благородных слов. Что такое кино? Вы думаете, это доходы Цукора или Уорнера? Операция мистера Клерка, который перехитрил Фокса? Реклама? Дворцы? Акции? Нет, кино — бескорыстное служение идеалам человечества. Хейс повторяет это перед аппаратом, перед микрофоном, на трибуне, в театре, улыбаясь, неизменно улыбаясь:

— Кино объединяет все живые начала культуры: науку и промышленность, искусство и религию...

Наука — это патенты «Уэстерн электрик». Искусство — это борьба за «звезды». Промышленность — это дивиденды Цукора и Клерка. Религия — это божественный «кодекс», составленный самим Хейсом.

«Производители и прокатчики» не могут нарадоваться. Давно они повысили годовой оклад Хейса. Он теперь получает 150 000 в год. Адольф Цукор умиленно вздыхает:

— Я все больше приближаюсь к идеям мистера Хейса. Это воистину удивительные идеи!..

Хейс бледен. Он не может покраснеть от смущения. Он краснеет только в душе — к чему комплименты? За дело! Позвонить в седьмой раз! Поговорить с министром! Вскочить в уходящий поезд! Съездить в Европу! Похвалы ни к чему. Он делает все, что может. Кино изобрели другие. Но это был глиняный истукан. Хейс вдохнул в него жизнь, он научил его катехизису, он его погрузил в чистые воды Иордана. Кино могло остаться очагом безнравственности, школой сомнения, арсеналом революции. Под скипетром Билля Первого кино стало основой порядка.

## 9. Встреча с Эррио

В мире 55 000 кинотеатров, их посещают еженедельно 250 000 000 зрителей. Эти театры должны показывать только американские картины. Мы даем вам хороший товар, мы вас веселим, и мы вас воспитываем. За это вы нам платите дань: франки, марки, фунты, кроны, рубли, иены, лиры, песеты, пенги, леи, флорины, динары. Это просто и ясно. Надо быть упрямым европейцем, чтобы не видеть столь очевидной истины.

Конечно, во Франции старинные соборы и редкие вина. Хейсу некогда глядеть на знаменитые церкви — он молится по воскресеньям в обыкновенной кирке. Что касается вина, то Хейс признает только сельтерскую воду. Пусть французы гордятся развалинами и заплесневевшими бутылками — это их дело. Хейс знает одно: французы, как и все прочие люди, обязаны по вечерам смотреть американские картины. Однако они бунтуют. Они хотят смотреть свои собственные картины. Против всемогущего Хейса восстает какой-то Эррио. Эррио — не угодно ли? Эр-ри-о!..

Хейс в негодовании прыгает на тридцать седьмом этаже. Эррио у себя дома мирно раскуривает трубку. Эррио отнюдь не Хейс, Эррио любит литературные реминисценции. Он любит также плотную лионскую кухню, после которой охватывает душу полусон, исполненный вдохновения. Он равнодушен к телефону. Совершенно случайно он не удит рыбы. Зато он охотно говорит перед дамами в клубе «Анналь» о «храме Минервы» или о «шелесте нормандского леса». У него широкие плечи и жесткие волосы, но у него очень нежная душа. Немало времени посвятил он вопросу о том, познала ли г-жа Рекамье подлинные радости любви? Это мечтатель и романтик. Он не способен оценить прекрасные продукты «Парамаунта» или «Фокса». В качестве министра народного просвещения он занят судьбами кино. Перед рассеянными депутатами, которые гадают, скоро ли падет кабинет, он патетически восклицает:

— Я буду до конца сопротивляться колонизации Франции американским кино!..

Хейс не боится красивых фраз. Но Эррио переходит к действиям, он опубликовывает декрет об ограничении ввоза иностранных фильмов. Тогда Хейс теряет хладнокровие. Перед ним микрофон. Он разговаривает с миром, Он кричит:

— Я сделаю все, чтобы добиться отмены этого несправедливого декрета!..

Хейс скор не только на слова. Он едет во Францию. Он встречается с Эррио. Он уговаривает. Он грозит. Если Франция не отменит декрета, Америка ответит репрессиями. Мы закроем рынок для французских товаров. Этот низенький человек с оттопыренными ушами умеет быть язвительным и едким. Эррио чересчур благодушен для подобных бесед. Он может разговаривать с Макдональдом о будущем Европы: это увлекательно и благородно. Ему трудно разговаривать с мистером Хейсом о таможенной войне. Он пробует спорить: фильмы не просто товар, фильмы влияют на душу народа... У себя в Америке Хейс охотно согласился бы с этим. Но сейчас он занят одним: двери настуже! Фильмы прежде всего предмет экспорта...

Увидав, что с Эррио трудно договориться, Хейс начинает обрабатывать различных членов «Комиссии по делам кинематографа», которым Эррио поручил охрану национальных интересов. Может быть, члены комиссии тоже любят Минерву и г-жу Рекамье, но это люди покладистые. Надо учитывать интересы французских фирм... Нельзя рубить сплеча... Мистер Хейс предлагает компромисс... Мы подпишем временное соглашение...

Хейс вернулся в Америку с улыбкой победителя. Он не настаивал на словах. «Французы самолюбивы. Пусть они называют это «компромиссом». Мы даже купим у них десяток картин. Выбрать похуже. Показывать только в самых плохоньких театрах. Для Франции: извольте, мы покупаем ваш товар! Для Цукора и Фокса: в течение года мы продали во Францию картин на 425 000 долларов. Для всех граждан Соединенных Штатов — организация Хейса сильнее всех министерств мира. Мы кормим 400 000 американцев. Мы бойко торгуем нашими продуктами. Мы помогаем и другим коммерсантам. Президент Гувер прав, говоря: «В тех странах, куда проникают американские фильмы, мы продаем вдвое больше американских автомобилей, американских патефонов и американских кепок». Мы также приучаем Европу думать по-нашему. Эррио, конечно, ничему не научится, но его дети ходят в кино, и они поймут, что телефон куда интересней г-жи Рекамье и что шелест зеленых ассигнаций способен заглушить шум нормандского леса.

## 10. Он заговорил!

Уильям Фокс — земляк Цукора, и в жизни этих несхожих людей много общего. Оба знали нищету и тяжелый труд. Оба вовремя заинтересовались «движущимися картинками». Однако Адольф Цукор любит красоту и славу. Он падок на интервью. Он почитает себя не дельцом, а художником. Фокс не любит кино. Ему противны мелодрамы, как противны кондитеру приторные пирожные. Он не ходит в свой театры. За пять лет он только один раз удосужился съездить в Голливуд на свою фабрику: он занят, он работает. Фильмы делают другие: режиссеры, актеры, маляры. Он продает фильмы. Он покупает залы. Он достает доллары. Он занят с утра до ночи. Он никогда не путешествует. Дважды в год он ездит в санаторий: там машину смазывают маслом. Он не подпускает к себе журналистов. Однажды какому-то фотографу удалось заснять незримого Фокса. Портрет был напечатан. На портрете угрюмо мерцали глаза и топорщились усы. Увидев свой портрет, Уильям Фокс смутился. Он не мог переменить глаза, но он тотчас сбрил усы.

Адольф Цукор всегда побаивался хитрого Фокса. Война началась давно, оба тогда были неопытными дельцами. Цукор готовил большую картину «Кармен». Все газеты писали о предстоящем чуде: «Что за постановка! Какая пышность! Сколько затрат!» Фокс приказал своим служащим в десять дней смастерить маленькую картину. Он выпустил к ней афиши: испанка с розой в зубах. Театры покупали картину Фокса, думая, что это — обещанная Цукором «Кармен». И Цукор и Фокс с тех пор выросли. Вместо выстрелов из-за угла они открыли артиллерийскую дуэль. Оба скупают театры, оба выкидывают на рынок сотни картин, оба завоевывают пять частей света.

Цукор любит говорить:

— Мой кинематограф в Нью-Йорке не самый большой, но самый роскошный.

Фокс молчит: самый большой кинематограф мира принадлежит ему.

Цукор хвастается успехом своих «звезд», рекордными цифрами сборов, восторгом публики. Фокс ничем не хвастается. У Фокса свои способы добывать доллары: ни дорогих актеров, ни сенсационных картин; добротная средняя продукция, как можно больше ходкого товара.

«Фокс фильм корпорейшн» контролирует фирму «Лоу». Фирма «Лоу» включает в себя «Метро-Голдвин-Майер». Уильям Фокс живет скромно в небольшом коттедже. Для того чтобы тратить деньги, у него нет ни времени, ни фантазии. Чистый доход «Фокс фильм корпорейшн» за истекший год равняется 12 000 000 долларов. Чистый доход «Лоу» равняется 11 700 000. Итого 23 700 000...

Уильям Фокс уныло позевывает в своем коттедже. Наступает вечер. Простые люди идут в кино смотреть фильмы «Фокса». Уильям Фокс смотрит на холодный томительный свет электрической лампы.

«Братьям Уорнер» нечего было терять, люди сведущие говорили о них равнодушно, как о покойниках. «Братья Уорнер», однако, воскресли. Один из братьев увидел на экране маленькую сцену: человек махал руками и раскрывал рот. Это было в порядке вещей, и ничего больше мистер Гарри Уорнер не увидел; зато он услышал странные звуки: на экране ораторствовал настоящий заика, и Гарри Уорнер слышал голос заики. Экран говорил. Конечно, ничего примечательного злосчастный заика рассказать не мог, он только угрюмо мычал, но Гарри Уорнер в темноте улыбался заике: его соблазнял классический черт.

Чем рисковали «Братья Уорнер»? Их все равно ждал конец. Не задумываясь, подписали они пакт с чертом. У черта были патенты, и черт расписался: представитель фирмы «Уэстерн электрик». После этого все люди на полотне превратились в таинственных заик. «Братья Уорнер» стали могущественным трестом. На глазах у растерянных конкурентов они купили «Ферст националь». Гарри Уорнер, потрясенный дивидендами, воскликнул:

— Наши картины отличаются здоровьем, и они полезны для общества! Ученые разных стран произвели психологические изыскания, они доказали, что действие американских картин благотельно. Нет ни одного работника американской кинопромышленности, который не старался бы заработать как можно больше денег; но с помощью оружия, которое дают нам наш труд и колесо фортуны, мы оказываем содействию человечеству...

Это нескладно, но благородно. Впрочем, «Братья Уорнер» вовсе не должны разговаривать. Они могут молчать. За них говорят зайки на полотне. А «Братья Уорнер» подсчитывают доходы и оказывают содействие человечеству.

Экран заговорил. Заговорили «Братья Уорнер». Мистер Уильям Фокс, напротив, замолк. Он и прежде не отличался разговорчивостью. Даже близкие не знали, о чем он думает. Он был немым, как кино.

Гарри Уорнер щебечет о колесе фортуны. Это очень своеобразная особа. Фокс с ней хорошо знаком. Он был нищим. Он заработал миллионы. Теперь у него размолвка с ветреным божеством.

Фокс не намного отстал от «Братьев Уорнер». Узнав об успехе говорящих картин, он поспешил подписать контракт с «Уэстерн электрик». Он не намного отстал, но он все же отстал. Публика не хотела немых картин. Оборудование новых павильонов вызвало большие расходы. Дела «Фокс фильм корпорейшн» пошатнулись. Биржевики начали поговаривать о возможном крахе. Фокс не давал опровержений; как всегда, Фокс молчал. Он молчал и искал доллары. Он поехал в Вашингтон, там он уговаривал мистера Клейса, государственного секретаря «коммерции, вступить в фирму «Фокс». Мистер Клейс, подумав, отказался; это чересчур рискованное дело, тем паче для государственного секретаря. Фокс предложил «Уэстерн электрик» снабдить его двенадцатью миллионами. «Уэстерн электрик» — серьезное предприятие, без «звезд» и без мелодрам. Уильям Фокс не получил долларов. Он сидел мрачный в коттедже. Его слуги гнали назойливых репортеров. Он был еще главой «Фокс фильм корпорейшн».

Тогда показался мистер Гарлей Клерк.

## 11. Любитель Шекспира

Гарлей Клерк не европейский уроженец, он родился в Мичигане. Его биография вполне добродетельна. Он сын доктора и окончил колледж в Чикаго. Потом он писал статьи в чикагских газетах. Потом перестал писать статьи и начал торговать машинами. Он встает очень рано; нет восьми, а он уже сидит в своем кабинете над грудой бумаг. Он глава «Ютилите-Пауэр энд

Лайт». Это общество обслуживает 830 городов Америки. В Англии у него 2 000 000 абонентов.

Гарлей Клерк человек нежный и отзывчивый, он обожает искусство. Когда журналист хочет расспросить мистера Клерка о его финансовых операциях, он пишет на визитной карточке: «чтобы побеседовать о Шекспире». Мистер Клерк тотчас же принимает. Нет большего удовольствия для Клерка, нежели беседовать о Шекспире. Он знает наизусть всего «Гамлета». Это, правда, никак не отражается ни на балансе электрического общества, ни на закупке тех или иных акций — в делах мистера Клерк тверд и решителен. Зато, освобождаясь от дел, он становится мечтателем, как датский принц. Когда он работает, он говорит только цифрами. Когда он отдыхает, он говорит только цитатами из Шекспира. Он, например, заверяет, что американских сенаторов ждет судьба Марка Антония. Это тончайший эстет. Его кабинет украшают настенные часы XVIII века, часы эти идут с точностью хронометра. Они указывают деловому Клерку — торопись! Они радуют отдыхающего Клерка — наслаждайся!

Кино давно интересуется Гарлея Клерка. Лет десять назад, совместно с обществом «Ютилите-Пауэр», он сделал назидательную картину: «Пропаганда труда». Он даже основал тогда небольшое общество для изготовления просветительных картин, потеряв на этом 500 000 долларов. Подсчитав убытки, он философски заметил:

— У меня правильные идеи, но для этих идей еще не настало время...

Убытки быстро были покрыты взносами за электрическую энергию.

Время для идей Гарлея Клерка настало: он узнал о затруднениях Фокса. Он подолгу беседовал с людьми из «Уэстерн электрик». Мистер Клерк не Уильям Фокс, это не фокусник с волшебным фонарем, мистер Клерк директор «Ютилите-Пауэр», и люди из «Уэстерн электрик» разговаривали с ним всерьез. Любитель Шекспира решил заняться изготовлением полицейских идиллий. Директор электрического общества решил заняться еще одним выгодным делом.

Закончив предварительные переговоры, Гарлей Клерк предстал перед Уильямом Фоксом. У Гарлея Клерка были свободные миллионы. Угрюмо помолчав, Уильям Фокс подписал бумагу: это был акт отречения.

Фирма по-прежнему называется доблестным именем Фокса. Доходы ее растут. 1200 театров, 102 фильма в год. Во всех 102 фильмах люди на экране разговаривают; они разговаривают куда лучше того заики, что очаровал «Братьев Уорнер». Однако у Клерка уйма забот. Он хмурится, как хмурится Адольф Цукор. Заики на экране говорят по-английски. Это великий язык, это язык Шекспира; но на свете немало людей темных и самодовольных, которые не понимают этого языка. В Париже Фокс купил «Мулен-Руж». Там показывают горящие фильмы. Парижский представитель «Фокса» сообщает, что выручка падает: французы хотят слушать французский язык. Немцы, не считаясь с патентами «Уэстерн электрик», изготовляют свои, немецкие фильмы: стопроцентные говорящие фильмы на стопроцентном немецком языке.

Что же тут делать «Фоксу», «Лоу» и «Метро»? Клерк прикидывает. Придется изготовлять фильмы на других языках: на испанском, на французском, на немецком. Чтобы изготовлять хорошую ткань, англичане ввозят хлопок из Америки. Мы тоже будем ввозить сырье. Мы выпишем из Европы живых актеров. В Европу мы отошлем готовый товар. Это влетит в копейку. Зато мы сохраним рынок. По-прежнему мы будем духовниками темной Европы. Мы окупим расходы, и в итоге мы заработаем.

## 12. «Добро пожаловать!»

Американцы устроили «квоту» для иммигрантов из Европы. Европейцы надумали устроить «квоту» для американских фильмов.

Хейс убеждал одних, страдал других. С Эррио он разговаривал. Немцев он даже растрогал: «Берлин удивительно красивый город!..» А на венгров он прикрикнул: «В таком случае вы не получите ни одной американской картины!..» Он знал, что без американских картин нет кино, а без кино нет жизни.

Хейс достиг своего. Тогда, как в сказке, выросли дремучие леса. Шоссе превратилось в джунгли. Здесь не с кем бороться, некого подкупать. Даже несчастные чехи и те требуют картин на своем языке. На каком языке говорят чехи? Сколько в мире странных диалектов! Вилль Хейс растерян. Он идет в церковь. Он обижен на провидение. Он очень грустен. Однако господь



всех добрых пресвитерианцев его не оставляет. Почтенный реверенд читает «Деяния»:

— «И исполнились все духа святого и начали говорить на иных языках...»

Апостолов было двенадцать. В организацию Хейса входят двадцать четыре фирмы. Лицо Хейса теперь просветлено благодатью. Мы будем делать версии на иных языках! Ваши диалекты. Наши сюжеты. Наша постановка. Наши доллары.

Когда в Марсель приходит американский пароход, города не узнать. Лавочники надеются продать затейливые «сувениры», рестораторы надеются попотчевать иностранцев спаржей и шампанским, девушки надеются выйти замуж, нищие — получить милостыню. Особенно волнуются проститутки. Они стирают рубашки и, не жалея румян, красят свои вдоволь потертые щеки. Американцы приезжают не каждый день, но под их звездчатым флагом пересекает моря таинственная удача.

Во всех кафе, где собираются актеры, говорят об одном: скоро приедут американцы! Это повторяют в Берлине и в Риме, в Париже и в Мадриде. Они приедут набирать актеров. Теперь мало красивой улыбки, мало фотогеничных ресниц, мало волнующих бедер: нужны подходящие голоса.

В пыльной столовой, за куском холодной телятины, пугая домочадцев, заслуженный трагик то и дело пробует свой голос: «Гарри, я тебе верна!..»

Первые любовники, задыхаясь, стонут в телефонных будках: «Ради бога, узнайте, кого надо угостить завтраком?..» Красавицы рыщут по унылым приемным: «Кому здесь надо отжаться?..»

Потом в серый туман кафе вползают чудовищные слухи: «Метро» вчера подписало с восьмью... «Уорнер» в Берлине набрали для немецких версий... «Ферст нэшиональ» ищет шестерых для полицейской картины...

Осенний парижский день. Идет мелкий дождь, и с утра на улицах горят печальные фонари. Город работает. В палате депутаты мирно дремлют. На заводах Ситроена грохочут прессы. По лиловому асфальту, как окаянные тени, носятся десятки тысяч машин. Обыкновенный будничный день; никому не придет в голову, что сегодня решается судьба многих. На сегодня назначен экзамен: американцы проверяют голоса.

Почтенные актеры, привыкшие снисходительно кланяться под рукоплескания галерки, не могут допить утренний кофе: их подташнивает от волнения. Актрисы, избалованные комплиментами министров, настоящие актрисы из «Французской комедии», просыпают на пол пудру.

В приемной ждут экзаменаторов Федры и Тартюфы, Гамлеты и Ипполиты, Тальма, Марс, Рашели, Мунэ-Сюлли. Они похожи на перепуганных школьников.

У американцев круглые очки, самопишущие перья, огромные, как снаряды, и улыбка естественного превосходства.

— «Крылатый бог, возьми меня!..»

— Довольно! Следующий...

Пароход «Бремен» увозит в Новый Свет столько-то избранных: немцев, французов, испанцев. У них новенькие сундуки и вакхическая улыбка. С презрением смотрят они и на отлогие берега Европы, и на жалкие европейские монеты, застрявшие в жилетном кармане: они едут в Америку!

Среди унылых полей Калифорнии можно порой встретить одинокий крест с подвешенной фляжкой: это могила золотоискателя. Сюда приходили угрюмые честолюбцы и наивные мечтатели. Здесь они искали золото. Теперь это только тема для рядового фильма.

На кладбище Голливуда много мрамора и бронзы. Могилы знаменитых актеров засыпаны цветами. Могилы безыменных неудачников аккуратно покрыты дерном. По-прежнему Калифорния влечет к себе чудаков и проходимцев — это связано с климатом, а также с традицией.

Десятки тысяч актеров бродят по бульварам Голливуда. Они ждут ангажемента. Они говорят на всех языках мира. Среди них можно встретить петербургского гвардейца, мечтательную дурочку из Мекленбурга, разочарованного тореадора, бывшую любовницу французского сенатора и даже японских шпионов. Здесь куда больше «звезд», нежели на осеннем небосводе. Здесь 90 000 безработных актеров. Здесь Морис Шевалье стал шутя миллионером. Здесь жестоко палит солнце, и люди здесь жестоко голодают.

В «Кафе Генри» актеры входят благоговейно, как в церковь. Это обыкновенное кафе, оно смахивает на вокзальный буфет. Кофе, лимонад, мороженое. Но здесь решаются судьбы смерт-

ных, здесь легко попасться на глаза режиссеру, хозяин здесь дружен со всеми «звездами», он может при случае замолвить словечко, здесь люди ищут слиток золота — заветный ангажемент.

Когда экран заговорил, еще шумнее стало в «Кафе Генри». Остриженный лай американцев смешался с сюсюканьем Италии, с хрипом кастильцев, с вежливым взвизгиванием парижанок, с окриками «герра доктора» из Нюрнберга.

«Трех португальцев! — мы делаем версию для Бразилии: молодую девушку хотят продать в публичный дом. Она поет. Полицейский узнает песню: он слышал ее в детстве. Он спасает несчастную. Скорее: португальскую актрису, чтобы хорошо пела!.. Полицейского с прочувствованным голосом!..»

«Вы откуда?» — «Прямо из Берлина... Не сразу согласился. Однако надо посмотреть Америку... Превосходный сценарий! Арестанты бунтуют, но один из них влюблен в дочку надзирателя. Он вовремя раскрывает козни. Немецкая версия. Фигурантов научили: несколько слов по-немецки. Я — надзиратель. Девушка — первый сорт...»

«Любовная драма. Жена хочет изменить мужу. Ее удерживает ребенок. Конечно, колыбельная. Бытовые детали: муж — изверг, пропойца. Женщина — святая. Глаза — можно заплакать! Колыбельная — восторг! Обязательно французскую версию...»

Мистер Хейс, как всегда, восемь раз в сутки беседует с Голливудом. Клерк читает Шекспира и шлет в Европу новые фильмы. Критики пишут серьезные изыскания. Девушки в темных залах стыдливо сморкаются. Работа идет вовсю.

Во втором классе «Бремена» пугливо ежились смельчаки; их никто не приглашал в Америку, они решили попытать счастья. Поглядите на них — разве эти глаза не способны расстрогать даже бездушных американцев? От тембра этого голоса сойдут с ума все режиссеры!..

Они добрались до далекого Голливуда. Они бродят по бульварам. Они толпятся возле святая святых — «Кафе Генри». Они жалостливо вздыхают у ворот фабрик. У них больше нет ни долларов, ни жалких европейских монет. Они хотят есть. Но в Голливуде 90 000 безработных. Тогда мечтатель, жмуря не оцененные никем глаза, примеряет дуло к виску. Красавица с никому не нужным голосом запасается тубиком веронала. На кладбище Голливуда еще много свободного места. Над воротами значится: «Добро пожаловать!»

Мистер Клерк озабочен. «Метро» делает сейчас немецкую версию. Сценарий написан венгром. Тема американская. Режиссер француз. В главных ролях немцы. Мелкоту кое-как подучили. Немецкая версия обойдется в 150 000 долларов. Хорошо, если Германия окупит одну десятую... Мы прокидываем сотни тысяч! А товар, говоря по правде, подмоченный. Немцам вряд ли понравится; не мудрено: режиссер репетирует диалоги через переводчика... Немцы, те работают не покладая рук. Не угодно ли, они делают в Берлине английские версии для Америки!..

Говорят — у Цукора свой план: он собирается делать картины в Европе! Вздор! Это не автомобили Форда. Можно ли перенести в Европу наш бодрый дух? Мы завоевали мир только нашим благодушием. Цукор будет делать в Европе скверные европейские картины. Он неминуемо прогорит.

Клерк усмехается — у Клерка припасен козырь. Все теперь говорят о широкой пленке. Это сенсация по меньшей мере на шесть месяцев. «Парамаунт», разумеется, против. Как переменить аппараты?.. И без того кризис... А вот Клерк вовремя купил патент Фира. Он может на старых аппаратах пустить широкую пленку. Цукор наконец-то разучится улыбаться!..

Однако поздно! Мистер Клерк смотрит на старинные часы. Он заработался... Нет ничего приятней работы! Как говорит Шекспир: «В волнах страстей нырял он, как дельфин, играя той стихией, которой жил...» Кстати, почему бы «Фоксу» не показать разок Шекспира?.. Не все же сыщиков... Поставит ученый немец. Несколько версий. Даже для Бразилии... На этом, конечно, не разживешься, но можно одновременно выпустить десяток ходких картин... По завету основоположника Фокса: поменьше «звезд», побольше катушек!

На людях «папа Цукор» продолжает улыбаться. Когда он один, он не улыбается — у него нет времени для улыбок. Он спешит. «Братья Уорнер» решили заняться педагогикой: они обучают своих актеров иностранным языкам! Ерунда! Актеры скорее умрут, нежели выучатся. Это не попугаи и не филологи. Это обыкновенные «звезды». Цукор не отступил от своего плана. В Европу! Клерк зря сорит деньгами. Повсюду скандалы.

Испанцы кричат «долой!» — у актеров аргентинский выговор. Аргентинцы требуют «деньги назад!» — эти тени говорят как кастильцы. Кто здесь разберется в акценте?.. Кто, сидя в Голливуде, скажет, какой фильм подходит для немецкой версии, какой для французской?.. Надо перешагнуть через лужу!..

Джесси Ласки объезжает Европу.

— Мы не навязываем вам наших картин, нет, мы хотим способствовать расцвету вашей кинематографии. Все наше: режиссеры, актеры, фигурация, рабочие. Заработок для многих тысяч безработных. Мы поставляем только дух и доллары...

Европа волнуется: где же он будет, этот новый Голливуд? Немцы пишут: «Берлин — сердце Европы». Парижане в ответ презрительно фыркают: «Кто не знает, что Париж столица мира?» Англичане настаивают на Лондоне: при говорящих картинах наплевать на туман! Все ждут, куда причалит тысячетонный «Парамаунт».

«Уэстерн электрик» воюет с немцами, а Цукор теперь зависит от «Уэстерн электрик». Англия? Но Англия в стороне, глупо залезать на остров. Выбирать не приходится. Скорее! Позовите сюда мистера Кена! Этот Кен как никто умеет ладить с французами.

— Когда отходит ближайший пароход?..

Снабженный инструкциями Цукора, мистер Роберт Кен едет в Париж. Понедельник: он не собирается вскорости вернуться. Вторник: он остается на некоторое время в Париже. Среда: он прочно обосновывается. Четверг: он покупает... Сердца французов восторженно бьются. Париж еще раз постоял за себя, Париж — столица мира, светоч свободы, маяк цивилизации!..

Вскоре в газетах появляется коротенькое сообщение: «Под Парижем, в местечке Жуанвиль, «Парамаунт» устраивает новый Голливуд».

## 14. Голливуд для Европы

Вокруг настоящего Голливуда, того, что в Калифорнии, горы и могилы золотоискателей. Вокруг Голливуда Европы только мастерские, молочные и чадные кабачки. На кладбище Жуанвиля нет искателей золота. Бисерные веночки и тоскливый перечень имен: рабочие, ремесленники, лавочники. Эти ничего

не искали. Они сначала работали, потом умерли. Скучное кладбище! Скучное место! Утром здесь идут на работу, вечером засыпают, и тихо и пусто на улицах — ни пальм, ни приключений. Здесь волей мистера Роберта Кена заложен новый Голливуд.

Двор фабрики «Парамаунта» залит нестерпимым светом. В лужице, изображающей море, тонут храбрые мореплаватели. Суетятся операторы, зябнут фигуранты. Света, еще больше света!..

Мистер Роберт Кен диктует машинистке: «Парамаунт» пересек океан со своими полководцами, операторами и техниками...»

В семи павильонах днем и ночью идет работа. Меняются режиссеры, швейцары, буфетчики. Мистер Кен приходит и уходит. Работа не прекращается. Три фильма: «Каникулы дьявола», «На полпути к небу», «Медовый месяц». Одиннадцать версий: французская, немецкая, испанская, шведская, португальская, чешская, датская, польская, румынская, венгерская, голландская. Не терять ни минуты! Минута — это столько-то долларов. Расходы и так велики, а Европа — нищенка. Скорее, судари! «Каникулы дьявола». По-польски. По-румынски. На всех языках. Сошествие духа. Те же декорации. «Папа Цукор» придумал... Алло, алло! Двигайтесь, чтобы черт вас побрал!.. Черт — на одиннадцати языках. На двенадцати: американцы здесь хозяева. Они говорят на своем языке. Их все понимают: у них доллары.

В одном корпусе сидят переводчики. Они переводят сценарий. Сто процентов разговора! Каламбуры на всех диалектах! Переводчики переводят сценарий, присланный из Америки. Картина придумана не здесь, не в жалком Жуанвиле, она придумана и обработана в настоящем Голливуде. Оригинал преисполнен вдохновения, в нем чувствуется широта Соединенных Штатов и восемь телефонных звонков неутомимого Билля. В Жуанвиле изготавливают одиннадцать копий. Переводчики трудятся, не разгибая спины. Это освистанные драматурги, непризнанные гении, безработные Шекспиры. Они переводят диалоги, полные лирических глубин: «Мери, вы меня направили на правильный путь!..», «Джон, когда вы встанете на ноги, я с радостью соединю мою жизнь с вашей...» Как это по-шведски?.. Как по-португальски?.. «Встанете на ноги...» Тень Хейса, лопоухого и пламенного пророка, витает над Жуанвилем. «На

правильный путь...» Кодекс морали. Абзац пятый. Поляк почтительно улыбается. Мери повсеместно торжествует, прекрасная Мери из Делласа или из Питсбурга, дочь методиста, честная труженица, «звезда» с блистательными зубами и с непорочной улыбкой; она всего два раза переодевается, показывая при этом некоторые округлости, зато четыре раза говорит она о высоких идеалах. Переводчики переводят. Стучат машинистки. Святой дух нисходит на народы Европы.

В павильонах тем временем суетятся рабочие. Они устанавливают декорации. Вещи куда честнее слов: они не знают границ. Кровать повсюду кровать, в Швеции и в Италии. Рабочие тащат кровать. Декорации придуманы в Голливуде. Здесь только смотрят на фотографии и стучат молотками. Кровать направо... На буфете ваза с розами... Джон сначала подходит к пианино, потом нюхает розы... Это тот Джон, что вернулся на правильный путь. Тащите живее кровать, хорошую двуспальную кровать...

Мистер Роберт Кен продолжает диктовать: «Мы обеспечим европейским художникам полную свободу творчества...»

Сценарий отпечатан и роздан режиссерам. Семь версий. Восемь частей. Картина должна быть изготовлена в двенадцать дней. Ах, расходы и так велики!..

Агент «Парамаунта» в Бухаресте второпях набирает актеров. В Бухаресте никто не играл для кино. В Бухаресте смотрели американские фильмы и не мечтали о большем. Актеров тотчас же отсылают в Жуанвиль. Они щурятся: они не привыкли к этому свету. Патетически помахивают они руками: это ведь лучшие трагики Бухареста. Режиссер в отчаянии кричит: «Уберите руки! Не закрывайте глаза!» Потом он перестает кричать: не все ли равно?.. Пусть без глаз... Картина должна быть изготовлена в двенадцать дней.

Возле кровати знойная красавица и ловелас с синеватыми щеками. Это «звезды» Неаполя. Они, наверное, умеют великолепно переругиваться. Он играет в «банко-лото», плюется и дует терпкое вино. Она соблазняет мужественных фашистов, а дома варит макароны. Оба, разумеется, при всяком удобном случае поминают «младенца Иисуса». Здесь они: Джон и Мери. Она поправляет шелковый платочек. С грустью смотрит он на двуспальную кровать и, только вспомнив о том, что его вернули на правильный путь, энергично нюхает цветы.

Без пяти шесть. Режиссер нервически смотрит на циферблат. Нюхайте скорее!.. Шесть. В павильон входит новая смена: это шведы. Снова Джон и Мери. Он долговязый и корректный. Фрекен с веснушками. Дома: лыжи, хлеб с маслом, жених и невеста, белые ночи, тихие сны. Здесь: та же кровать, те же розы. «Когда вы встанете на ноги...» Джон смотрит на свои длинные ноги... Да, да, когда он встанет на ноги, когда он получит место директора банка в Питтсбурге! Мери улыбается. Скорее улыбайтесь! Сейчас придут румыны. Потом португальцы. Потом поляки. Нельзя медлить! Картина должна быть готова к сроку.

Мистер Кен диктует: «Мы преследуем чисто художественные задания...» Он кончил. Сдать заведующему рекламой для прессы. Мистер Кен обходит все семь павильонов. Работа кипит. Он хвалит чехов. Он журит румын. Он ходит, смотрит и радуется. Он достиг своего: мы изготавлием картины на ленте. Форд — автомобили, Жиллет — бритвы, «Парамаунт» — сны. Кино — продукт нового века. Его душа — скорость. Прежде люди смотрели на картины в бронзовых рамах. Подолгу. Мечтая. Развальясь. Теперь — шестнадцать картин в секунду: страхи, лица, мечты. Тринадцать секунд — слезы. Потом сорок секунд — бегство с погоней. Потом десять секунд — смерть. Быстро глядеть. Быстро изготавливать. Поэты и лошади вымерли. Вместо них машины в сорок лошадиных сил и фильмы «Парамаунта».

Возле кровати теперь чехи. Джон, с пивной грустью в глазах, переминаясь, становится на правильный путь. Переводчики переводят новые сценарии: «Ее жизнь», «Дыра в стене», «Давай поженимся!». Кровать убирают. Ставят письменный стол и ширму. Восемь красавиц из восьми стран будут переодеваться за этой ширмой: кусок колена — пять секунд. Полицейский схватит вора. Добрый мистер, сидя за письменным столом, выпишет чек. Датский. Польский. Испанский.

Россия. Лето. Глубокий снег. На минуточку заминка: разве бывает снег летом? Режиссер хочет задуматься. Его выручает директор: оригинал сделан в Америке — о чем же тут думать? Без снега нет России. Снег, тройка, тоска. Думать в Жуанвиле нельзя, надо торопиться. Съемка снега — два часа. Столько-то метров. У дверей уже ждут итальянцы. Они будут русскими, летом, среди снега. Они будут дрожать от холода и петь тоскливые песни. Оператор второпях наводит аппарат. Чтобы в ла-



боратории не спутали — номер: 38 457. Потом окрик: «Полная тишина!», «Мери, вы меня направили...»

Вокруг фабрики скука парижского предместья. Рабочие уныло макают хлеб в вино. Куда пойти? Да, конечно же, в кино: сегодня новая программа — «Каникулы дьявола». Говорящий фильм на французском языке. Допив скверное вино, рабочие идут в кино. Днем они стояли возле ленты: автомобили, брезент, кожа. Они смотрят на далекую, дивную жизнь: возле огромной кровати расфранченный красавец нюхает розы и загадочно гнусавит: «...вы меня поставили на правильный путь...»

Для разных версий — разные актеры: актеры разговаривают. Фигуранты молчат — они молчат для итальянцев и для немцев. Вот толпа негров. Негры должны резвиться под деревом. На них смотрит герой. Сначала на них смотрит швед, потом — испанец. Грудной младенец плачет. Это очень эффектно: черный младенец в шведской картине. Но только без плача!.. Ведь это говорящая картина! Негры резвятся, почему же младенцу плакать?.. «Уймите вы, черт побери, вашего крикуна!..»

В другом павильоне дремлет заросший бородой фигурант. Это обыкновенный безработный. Ему повезло: у него оказалось лицо заведомого убийцы. Правда, он никогда не убивал, он, и подвыпив, щенка не ударит, это добрый парень, его зовут Франсуа. Он был прежде столяром. Теперь он убийца для семи версий.

Павильоны построены на славу: полная изоляция, ни один звук не доходит со двора. Стены не пропускают ни голосов, ни воздуха. Закрыты наглухо двери. Горят сотни ламп. В павильоне нестерпимо жарко. Убийца работает с утра. Не мудрено, что стоит его оставить на минуту, как он засыпает. Беда в том, что, засыпая, он подхрапывает. В нежные беседы о любви и о верности вмешивается низменный храп. Режиссер раздраженно кричит:

— Разбудите этого убийцу!..

Франсуа смущенно вскакивает: только бы не прогнали! Где же теперь найти работу? А здесь он еще может быть убийцей два или даже три дня...

## 15. Старый Свет открыт

Работа идет без заминки: испанцы сменяют чехов. Однако мистер Кен, запершись у себя в кабинете, угрюмо перебирает листы. Как трудно быть понятым!.. Европа сопротивляется. Немцы осvistали наши картины. В Польше на просмотре — скандал. В Будапеште какие-то фанатики хотели поджечь театр. Так дикие негры, которым колонизаторы несут букварь и штаны, на ласку отвечают огнем и дротиками. Негров приручают. Некоторых вешают, остальные — молчат. Приручат и европейцев. Труден только почин. Мистер Кен — на ответственном посту: он первый колонист.

В Нью-Йорке, видимо, смущены. «Фокс» хочет попробовать: может быть, ему удастся?.. Цукор собирается в Европу. Много различных предложений. Разбить Голливуд на три Голливуда: близ Лондона — для Англии, Жуанвиль — для латинских стран, Берлин — для Центральной Европы. Но это увеличит расходы...

Тридцать лет назад никто не хотел слышать об автомобилях: ах, лошадка, ах, хвост, ах, грива!.. Привыкли. «Парамаунт» должен выждать. Мы их вышколим, как дикарей. Пока — поднять входную плату. Ускорить производство картин. Конечно, какая-нибудь румынская версия не может себя окупить. Но это необходимый идеализм. Американцы всегда покровительствовали слабым. Мы делаем румынские картины. Бухарест взволнован. Событие. Экстаз. Кто благодетельствовал Румынию? Разумеется, «Парамаунт»! После этого нетрудно овладеть всем рынком. В Румынии как-никак 600 кинотеатров. На румынской картине мы проиграем. Зато мы отыграемся на других. «Фокс» потеряет еще одну пешку.

Все это так, но... Энергичное лицо мистера Кена кажется теперь скорее меланхоличным. Все это так, но что, если и румыны вместо восторгов начнут свистеть в два пальца?.. Кто их знает, этих европейцев!.. Каждому ясно — Европа беднее Америки. Следовательно, она должна довольствоваться меньшим. Здесь: машина в четыре цилиндра — директор завода. У нас на таких «подводах» ездят только рабочие... Картину для Америки делают три недели. Для Венгрии — двенадцать дней. Конечно, товар второй сорт, но и пенги не доллары. Притом не следует забывать о духовном руководстве: Америка дает тему. Ее герои,

ее драмы, ее мораль. В Жуанвиле — переводы на столько-то языков. Радио разносит повсеместно речь Гувера и курс доллара. Мы — душа Америки. Вы сами ничего не способны создать, ни морали, ни картин! Со скандалами справится полиция. Каждый обязан довольствоваться тем, чего он заслуживает. Против этого только коммунисты или сумасшедшие.

Мистер Роберт Кен возмущенно отодвигает папку. Хорошего американца не так-то легко запугать! Мы продолжаем! Как, кстати, обстоит дело с Югославией?.. 397 театров... 65 процентов американских картин... У «Метро-Голдвин» в Белграде толковый представитель... Что же, можно попытаться сделать сербскую версию... Мы идем на все жертвы ради неблагодарной Европы!..

Дворники особенно усердно подметают двор фабрики. Фигуранты отдыхают на свежем воздухе: они должны выглядеть особенно молодцевато. Глаза мистера Кена преисполнены особенной энергией. Сегодня парадный день: г-н Лотье, министр изящных искусств Французской республики, сегодня осчастливит своим посещением фабрику «Парамаунт».

Господин Лотье никак не связан с кино. Это человек серьезный и озабоченный. Много в жизни его занимало: марокканские мельницы, хлопок, алжирский уголь, леса Санга-Убанги, газеты, банки, биржа. Он ворочал крупными делами, и ему было не до бледных теней на экране. Однако неисповедимы пути господни. Г-н Лотье не имел никакого отношения к Гвиане — он стал ее депутатом. Г-н Лотье не проявлял никакого внимания к кинематографу — он стал его попечителем.

В качестве почетного попечителя кино г-н Лотье произнес несколько прехосходных речей. К нему обращались владельцы французских фирм: «Патэ-Натан» и «Франко-фильм». Он обещал им содействие. К нему обращались представители американских фирм. Он обещал им защиту. Это очень любезный министр: его идеи давно смягчены жизненным опытом.

Мистер Кен известен в Америке как специалист по французам — он умеет льстить и отщучиваться. Пусть господин министр посмотрит — это новый Вавилон! Двенадцать версий! Вся Европа на одном дворе, посыпанном песочком! Союз народов — куда до него Женеве! И все это, разумеется, в сердце Европы, в старом и славном Париже!..

Господина Лотье угощают завтраком. Французская кухня. Французские вина. Французские дамы: рядом с министром посадили «звезду» Жуанвиля, г-жу Марсель Шанталь. Французские тосты. Французские шутки.

После завтрака г-ну Лотье показывают фабрику: испанцы, шведы, румыны... Вот мастерская, где печатают позитивы... Мистер Кен произносит патетический спич:

— Господин министр, эти совершенствованные машины изготовлены на французской фабрике...

Как же не улыбнуться г-ну Лотье: после французских вин французские машины!.. Да здравствует французский Голливуд!..

О некоторых деталях мистер Кен вовсе не упоминает. Он не говорит ни о том, что аппараты для съемки говорящих картин принадлежат американской фирме «Уэстерн электрик», ни о том, что пленка готовится на американской фабрике «Истмен-Кодак». Он также не настаивает на национальности сценаристов, техников, операторов. Он, наконец, не напоминает о том, что он, мистер Кен, только посол «папы Цукора» и что отчеты о доходах поступают в тридцатисемизэтажный дом на Бродвее. Это известно всем, и об этом вряд ли стоит говорить министру изящных искусств, к тому же после изысканного завтрака. Это грубая проза жизни.

Воет над Парижем мартовский ветер, воет, кружится, мечется, ветер с моря, с Ла-Манша, ветер из дальней Америки. По двору фабрики мечутся люди. Сверкают прожекторы. Вечер пахнет весной и тревогой.

В дорожном пальто обходит свои новые владения мистер Адольф Цукор. Он спрашивается о темах и о цифрах. Он прислушивается к непонятым диалектам. Эта шведка, наверное, говорит: «Гарри, я тебе верна...» Но слова на неизвестном языке полны иного значения. Адольф Цукор приостанавливается. Его глаза потемнели. О чем они толкуют? Уж не о суете ли сует?..

Пять минут седьмого. Шведы уходят. Приходят французы. Сцена ревности. Потом примирение и дуэт. Кстати, мистер Клерсфильд резонно говорит, что мест в театрах достаточно, надо только повысить расценку и укоротить сеансы. Кстати, что вы думаете о Дании? Это превосходная страна: масло,

свиньи и 270 кино. За прошлый год Дания ввезла американских картин на 85 000 долларов. Можно вспомнить и о Дании. Кстати, хорошо бы отослать в Голливуд несколько французских кушетистов...

Двенадцать версий. Адольф Цукор добился своего. Когда ему было шестнадцать лет, он открыл Америку. Он привез в Новый Свет древнее беспокойство. Теперь Цукору пятьдесят восемь — он открывает Европу. Он привез сюда новый порядок. Французы уходят. Приходят венгры. Ага! Земляки!.. Несколько лирических секунд: поле, гуси, тоскливые песни. Режиссер: «Полная тишина!» Здесь венгры не горланят по-мужички, они — в деловом клубе, они курят сигары и говорят о долларах. Это очень возвышенные венгры. Это почти Цукоры.

В Будапеште, в его Будапеште хотели поджечь кинотеатр! Впрочем, те же венгры попробовали устроить дурацкую революцию. Их быстро одернули. Так и теперь: мы их заставим смотреть наши картины, прекрасные картины, картины «Парамаунта»!

Шумит, мечется весенний ветер. Но мистеру Цукору не до него. Он обсуждает с мистером Кеном, как обуздать строптивых европейцев. Он не слушает, о чем шумит ветер. Он знает, что ветер вернется на круги свои. Через два года Цукору исполнится шестьдесят. Он знает, что бывают фильмы в восьми, даже в десяти частях, пышные, дорогие фильмы. Люди смеются или плачут. Потом вспыхивает свет люстр, от которого больно глазам, — Адольф Цукор знает, что всякий фильм кончается.

По двору проходят вереницы людей: одна смена уходит спать, другая становится на работу.

## 16. На поклон к варягам

Войдя в кабинет Адольфа Цукора, г-н Клич смутился. Несмотря на свою профессию, этот человек сохранил некоторую наивность. Улыбка Цукора его озадачила. Тайным советником Гугенбергом г-н Клич приставлен к немецкой душе. Он заведует издательством «Шерль». В его руках телеграфное агентство и свыше 100 газет. В его руках также кинофабрика «Уфы» и 416 театров.

Собственный корреспондент шлет из Парижа телеграммы — он сообщает то, что думает г-н Клич. Лучшие писатели Германии пишут о тщете материализма — и муза на «ты» с г-ном Кlichem. Режиссер «Уфы» орет в рупор: «Фридрих Великий, вперед! Трубачи, трубите!» Ему снятся сны, которые за ночь до того приснились г-ну Кличу.

Мало кто в Германии знает имя г-на Клича; это скромный человек и хороший семьянин: ему не пристало волочиться за славой. У него круглое лицо и круглые мысли. Клич многое видел: взбунтовавшихся матросов и торжество порядка, падение марки и воскресение марки, каскады глицериновых слез на экране и настоящую мужественную улыбку своего хозяина. Он многое видел, он остался, однако, наивным, как белобрысые сны честной немецкой девушки. Увидев директора «Парамаунта», он невольно опустил глаза: «папа Цукор» снисходительно улыбался.

У себя дома Клич господин, здесь он бедный родственник, ходатай из провинции. Что значат здесь 116 кинотеатров? У Цукора 1500... Кличу поручили нелегкое дело: он должен договориться с Америкой. «Мы будем показывать только ваши фильмы. За это вы нас осчастливите дружбой. Мы ведь не просто оголтелые европейцы, мы — «Уфа»! Может быть, вы согласитесь иногда показывать и наш товар?»

Господин Клич вышел из кабинета Цукора смертельно усталый. Признаться, ему давно надоели евреи. От них вся беда. Они не понимают ни высоких идей, ни красивых символов. Увидев на полотне Фридриха Великого, они готовы рассмеяться. Слава богу, в Германии мы немного очистили воздух!.. Но вот Клич переплыл океан, он видел огромные волны, даль, небо. Он причалил к иному матерiku. Здесь другие фрукты, и люди здесь по-другому улыбаются. Но здесь все те же евреи. Он должен любезничать с Цукором. Завтра — в «Метро» — он будет любезничать с Шенком... Ничего не поделаешь — у этих евреев доллары!

«Уфа» перехитрила всех конкурентов. Немцы хотят, чтобы правительство ограничило ввоз американских картин, «Уфа» тем временем договорилась с Америкой. Это разумно и патриотично. Правда, мы заключаем союз с врагами. Зато

тем самым мы укрепляем себя. Мы забудем «Терру» и «Емельку». Это — торжество национального начала. Ради этого стоит поклониться всем здешним евреям.

Проводив Клича, мистер Цукор долго еще улыбался. Конечно, договор с немцами нам на руку... Но этот Клич... Куда ему до нашего Хейса!..

## 17. Альфред Гугенберг

У Гугенберга все, чтобы править государством: душа императора, лицо вахмистра и свои люди во всех банках. Он достиг власти в те годы, когда обыкновенные люди ели картофель без соли, соля его своими слезами. Отставные чиновники, единомышленники Гугенберга, продавали перины и сахарницы. Гугенберг покупал акции. Как честный немец, он подбирал добро, чтобы это добро не досталось чужестранцам.

Когда полицейские усмирили последних бунтовщиков и марка снова встала на ноги, тайный советник Гугенберг оказался хозяином Германии. Среди его приближенных — немало профессоров. Один из них, а именно профессор Бернгард, поспешил разъяснить изумленному народонаселению: обогащаясь, господин Гугенберг стремится к возвышенным идеалам.

В возрасте двадцати лет Альфред Гугенберг писал стихи, не очень-то складные, но полные самых достойных чувств:

Любовь — сестра зари.  
Любовь — царица мира...

Потом Гугенберг оставил поэзию, он занялся более серьезным делом: стал директором заводов Круппа. Он не изменил лирическому началу. Он произносил речи: «На нас смотрят глаза императора... Добродетели нашего народа — это готовность к самозащите и воинская радость...» Если заводы Круппа поставляли оружие противникам, деньги шли настоящим немцам. Таков не вульгарный патриотизм, но патриотизм глубокий и продуманный, патриотизм г-на Гугенберга.

Гугенберг не довольствуется деньгами и почестями. Он занят воспитанием своего народа. Он основал институт с таинственным именем «Динта». Его благословил на это сам Освальд

Шпенглер, и его поддержали директора всех трестов. «Динта» должна бороться с пагубным материализмом. Гугенберг, как известно, идеалист, он хочет, чтобы любой рудокоп Рура достиг душевных высот. «Динта» выпускает «Газету для горняков» — ее раздадут бесплатно рабочим. «Динта» устраивает школы для детей, лекции, спектакли. Она проповедует терпение, труд, бережливость и патриотизм,— разумеется, не чересчур сложный патриотизм тайного советника Гугенберга, но обыкновенный патриотизм, доступный пониманию простого народа.

Мог ли не оценить Гугенберг экрана с мелькающими тенями?.. Давно, еще в годы войны, он изготовлял патриотические фильмы, полные бодрости и героизма; фильмы заменяли недостающие калории. Окрепнув, Гугенберг решил подчинить себе всю немецкую кинопромышленность. Он понимал, что при правильной постановке дела кино должно давать изрядные барыши. Он не забывал также о своей исторической миссии.

«Уфа» накануне банкротства. Дефицит доходит до 50 000 000. Банки отказываются от дальнейшей поддержки столь невыгодного предприятия.

Тогда приходит спаситель. Он сурово шевелит вильгельмовскими усами. Под усами хоронится улыбка удовлетворения.

Разумеется, Гугенберг действует не наобум. Он не филантроп, он человек деловой. За каждый экземпляр «Газеты для горняков» он взимает с трестов по десяти пфеннигов. Прежде чем взять на себя обремененную дефицитом «Уфу», Гугенберг хочет заручиться благословением других патриотов.

Это было чрезвычайно трогательное зрелище: воротилы тяжелой индустрии собрались, чтобы отпраздновать день рождения г-на Эмиля Кирдорфа. Синели цветы «старого кайзера» — васильки, приятно дымили трубы заводов, бумаги росли в цене, и все фельдмаршалы — бронзовые, мраморные или холстяные — лили слезы законного умиления. Г-ну Эмилию Кирдорфу исполнилось восемьдесят лет. Он, однако, сохраняет светлый ум и бодрость. В копиях Вестфалии копошатся десятки тысяч рабочих: благодаря их сыновнему рвению г-н Кирдорф сподобился столь завидной старости.



Гости не привезли юбиляру ни вышитых бисером туфель, ни портфеля с инициалами, ни длинной фарфоровой трубки. У них горячие чувства и деловые предложения. Г-н Альфред Гугенберг не на шутку растроган. Он не плачет — настоящий немец никогда не плачет, он благодарит бога и продолжает свой жизненный путь. Г-н Гугенберг предлагает почтить юбиляра добрым делом. Речь идет о спасении сиротки, не девочки, подобранной на улице, нет, великой сиротки — Германии. Он хочет оградить немецких юношей от марксистской заразы. Он хочет купить «Уфу». Это, кстати, не столь гибельное предприятие. Оздоровить. Выпустить новые акции. Сократить расходы. Переменить персонал. Однако об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас: да здравствует дорогой юбиляр! Да здравствует наша великая родина!

Надо ли говорить, что люди угля и железа не заставили себя упрашивать? У них нежные сердца и хорошая смекалка. Они согласились.

Гугенберг что ни день дает в газету опровержения: слухи о приобретении «Консорциумом Гугенберга» «Уфы» ни на чем не основаны. Он опровергает, следовательно, он торгуется.

Скрипят перья. Хлопают пробки немецкого «секта». Показывается г-н Клич. Он поясняет журналистам:

— Если тайный советник Гугенберг решил приобрести акции «Уфы», то только для того, чтобы кино не попало в руки большевиков. Успех картин, вроде «Потемкина», заставил тайного советника пойти на все жертвы. Теперь мы спокойны: «Уфа» — оплот порядка!..

Во главе «Консорциума Гугенберга» — двенадцать человек. Эта цифра соответствует всем традициям. Гугенберг говорит — «двенадцать национально мыслящих людей». Он называет их также «крышей». Под землей ползают горняки, на земле чирикают собственные поэты издательства «Шерль», огромный дом венчает крыша. Это азбука строительного искусства. Это также азбука хорошего идеалистического общества. Среди двенадцати избранных г-н Альберт Феглер — председатель «Стального синдиката», г-н Эмиль Кирдорф — владелец угольных копей, сенатор Витхефт — директор «Частного банка», министр государственного хозяйства доктор Бекер и несколько других идеалистов. Гугенберг ценит науку: профессор

Людвиг Бернгард не фабрикант и не банкир, он всего лишь автор толстого изыскания о нравственных достоинствах Гугенберга. Тайный советник вознес профессора до «крыши» — г-н Людвиг Бернгард один из двенадцати. Впрочем, все двенадцать только апостолы. Мессия — Альфред Гугенберг.

## 18. Дела — это дела

Когда г-н Клич впервые заглянул в огромный дом, занимаемый правлением «Уфы», все завертелось: быстрее понеслись тяжелые лифты, и сердца подчиненных готовы были разорваться. Один боялся за свое прошлое: он недавно предлагал сделать картину против войны; другой — за свой нос: г-н Клич сразу догадается, что у носатого темная родословная.

Клич стал наводить порядок. Что сейчас делают в Бабельсберге?.. Недаром бились сердца подчиненных: в Бабельсберге изготавливают картину по роману советского автора. Клич нахмурился и замолк. Вот до чего доводит беспринципность!.. Так легко дойти и до «Потемкина».

Один из подчиненных, дрожа и заикаясь, подает новому директору папку. Клич читает. Неслышанно! Белые офицеры пьянствуют, а большевик — ангел. Нет, вы только послушайте — большевик спасает героиню от гибели! Чем не американский полицейский? И это вы думали показывать немцам?..

Первая мысль: тотчас же приостановить работу! Однако г-н Клич справляется: на картину ухлопали тьму денег. Неужели начать с убытков?.. Г-н Клич человек деловой. Он не хочет, чтобы зря пропадали немецкие марки г-на Гугенберга. Половина картины уже сделана. В таком случае вырезать, переставить, подобрать другой конец. Картину ставит упрямый режиссер — Пабст. У него крупное имя и даже свои идеи. Клич не сдастся. Идеи режиссера — это его частное дело, это никого не интересует. Это не идеи Гугенберга. Переменить конец!.. Режиссер возражает: картина испорчена, насилие над художником, свобода искусства... У г-на Клича нет времени, чтобы слушать эту болтовню. Кино — фабрика, режиссер — рабочий. О чем тут спорить?.. Клич недаром заведует сотней газет, он привык иметь дело с независимыми чувствами и с непримиримыми умами. Он знает: рабочие сначала подчи-

няются, потом бунтуют, господа с высшим образованием сначала бунтуют, потом подчиняются. Будьте добры, господин режиссер, выполнить наши указания! Г-н Клич не сдастся. Сдается режиссер, тот самый, с крупным именем и со своими идеями.

Большевик очищен от низкого материализма, он уже не большевик: он идет в церковь, он падает на колени перед богородицей.

На просмотре Клич богомольно вздыхает. Он сам готов пасть на колени: под святой «крышей» — ни греха, ни соблазна, благодать и дивиденды.

Акций А с одним голосом на 42 000 000, акций Б с тремя голосами на 3 000 000. Серия Б, а также часть серии А в наших руках. Итого 93 процента голосов. Чистота идеи обеспечена...

Чистый доход равняется 14 350 000 марок.

## 19. Древняя душа

Когда Хейс приехал в Берлин, Клич угостил его парадным завтраком. Немцы пили шампанское и говорили о величии идей. Блюда заветы своей страны, Хейс довольствовался содовой. Он был в хорошем настроении, и он признался:

— Кино — прежде всего развлечение, не следует перегружать картины пропагандой...

В устах пресвитерианца это почти ересь. Но Хейс снисходителен к человеческой слабости. Клич последовал совету Хейса. «Уфа» блюдет осторожность: патриотизм приятно перебивается то купальным трико, то ширмочкой, то поцелуем. Горькое лекарство подается в капсулах.

Немцы, однако, не американцы, немцы — философы, они доводят свои мысли до конца.

В кино они сидят и думают. Приказчик Вилли щиплет колени своей подружки, сосет карамель, улыбается Гарольду Ллойду, ежится, увидев трико, и все же он при этом думает, он думает напряженно, неистово. В парижских театрах душно от табачного дыма, в берлинских — от духовного напряжения. Хейс — малиновка, он порхает. Здесь люди как камни, и птицы

здесь водятся только в стихах. Хейсу никогда не понять немцев!.. Мог ли удовольствоваться Кант разговорами по телефону?..

Тайный советник Гугенберг знает душу своего народа. Поглядите на этого белобрысого юношу. Он пришел смотреть комическую картину. Он сейчас думает о книге Шпенглера и о дороговизне бутербродов. Он ищет сокровенных восторгов. В течение десяти лет ему показывали картины с мертвецами и с вампирами, с задушенными девушками и с мягким мясом, в которое впивались острые руки его гримированных двойников. Он задухался. Он хотел сам душить. Он не знал, что ему делать после сеанса: перечитывать Шпенглера или щипать проститутку? Для глубоких наслаждений у него не было денег, и ночью он гнусно мычал.

Гугенберг отнюдь не враг прогресса. Он за рационализацию труда. Однако самолетом должен управлять древний германец. Задача Гугенберга — выделять древнюю душу. Он будет ее выделять по-новому, он будет раздавать ее в темных залах всем честным немцам.

У Гугенберга свыше ста газет, и все немцы смотрят кинохронику «Уфы». Гугенберг показывает им, как живут люди на белом свете.

Они живут очень странно, эти двухмерные люди на белом свете и на белом экране. Они никогда не работают. Они заняты более высокими делами, они дефилируют, открывают памятники, освящают знамена и пьют шампанское при спуске новых броненосцев. Это не люди, но министры, чемпионы, или послы «королевы красоты».

Неделя «Уфы»: воздушный флот Франции, морские маневры в Америке, парад под Триумфальной аркой, похороны испанского генерала, фашисты слушают Муссолини, польская кавалерия, итальянские подводные лодки, дредноуты Англии, солдаты в Албании, да, да, даже в крохотной Албании свои солдаты! Только в Германии ни маневров, ни дредноутов, ни военных летчиков. В Германии нищета и позор. Это говорит своему народу г-н Гугенберг. Его голоса не слышно, он стыдливо прячется в кабинете, вместо него цокают копыта чужой конницы и трубят вражеские трубачи. Мюллеры, Веберы, Шмидты смотрят уныло на экран. Слов нет, Германию надудли!.. Без солдат нет хлеба.

Тогда экран на минуту их успокаивает: чужак в Саксонии живет на верхушке дерева, «мисс Португалия» мило надувает губы, модные шляпы, англичанка переплыла Ла-Манш, любовь медуз, салон автомобилей, чемпион курильщиков, в Гаити собирают ананасы...

Это только короткая пауза, благодарность за входную плату, уступка человеческой слабости. Лагерь немецких школьников. Гинденбург едет на освобожденный Рейн. Гинденбург приветствует ветеранов. Дети приветствуют Гинденбурга. Знамена. Музыка. Лотерея.

Мюллеры, Веберы, Шмидты покорно вздыхают: ничего не поделаешь... Придется, видимо, снова воевать. Такова жизнь.

«Уфа» никогда не показывает ни забастовок, ни безработных, ни нищеты. Она оберегает стыдливость нации. Трубят великодушные трубачи — это сам тайный советник в тысячах театров повторяет слова, сказанные им двадцать лет назад: «Наша добродетель — воинская радость...» С тех пор прошло немало времени. Одни неудачники остались у Вердена, другие, спустив последние перины, на фабрике «Уфы» трубят в бутафорские трубы. Что касается тайного советника, то он в жизни знал только удачу. Он вправе повторить: «На нас смотрят глаза императора...» Император давно не у дел, давно смотрит он только на бледное небо Голландии. Зато вместо него на посетителей смотрит хозяйский глаз нового императора Альфреда Гугенберга.

## 20. Что такое патриотизм

Господин Клич недоглядел. Дела «Уфы» пошатнулись. Картина «Женщина на луне» обошлась в два с половиной миллиона. Она провалилась. «Уфа» покидала уйму денег на опыты с говорящими фильмами. «Дейтче банк», который не раз выручал «Уфу», заколебался. Поползли темные слухи: что, если и «Уфа» лопнет?.. Это совпало с торжеством национального начала. Вырабатываемая в Бабельсберге душа сказала и в избирательных бюллетенях, и в сотнях ночных перестрелок. «Уфа» могла бы радоваться. Но «Уфе» нужны были деньги.

Тайный советник подолгу беседует с г-ном Кличем. Никто не знает, о чем они говорят. Сердится ли Гугенберг на своего

неосторожного служащего, благодарит ли его за достигнутые успехи, или, может быть, гадает с ним, как бы вызволить «Уфу» из беды?

Господин Клич едет в Америку. Ему досаждают назойливые журналисты: какова цель вашей поездки? Все понимают, что г-н Клич едет спасать «Уфу». Но г-н Клич непреклонен: он едет по личному делу. Его сын обучается в Америке. Он едет, чтобы повидаться со своим сыном. Это трогательно и логично. Журналистам остается пожелать г-ну Кличу счастливого пути.

В Америке г-н Клич, разумеется, встречается со своим сыном. Он встречается также с «папой Цукором». Они толкуют о патентах. Эти говорящие картины нас доконали! Германия напрасно борется с американскими фирмами. «Уфа» никогда не поддерживала немцев, в душе «Уфа» — с американцами.

Господин Клич возвращается из Америки молодой и бодрый. Очевидно, свидание с сыном, а также морской воздух благотворно на нем отразились.

Больше никто не прочит конца «Уфе». Журналисты, которых г-н Клич вовремя не облагодетельствовал, злословят: «Уфа» стала на сторону наших противников. Вот он, патриотизм г-на Гугенберга! Что же, на свете немало клеветников! «Кланфильм-Тобис» воюет с «Уэстерн электрик». «Уфа» — там, где ей выгодно. Бывший директор Круша отнюдь не изменил своим принципам: патриотично богатеть, антипатриотично разоряться.

Когда французские войска стояли в Прирейнской области, «Уфа» доказала свою дальновидность. Французы издавали газету «Рейнское обозрение». Немецкие фирмы газету бойкотировали. Это было глупостью или ханжеством. «Уфа» регулярно сдавала в газету свои объявления: «Дворец «Уфы» интернациональное заведение с мировым именем». Французские капралы ходили в театры «Уфы». Они платили за вход. Деньги шли «Уфе», а во главе «Уфы» стоят двенадцать немцев самой чистой крови. «Уфа» изготовляла патриотические картины, и когда французы, наконец-то, убралась восвосяи, визг разбиваемых стекол мог свидетельствовать о годах мужественного воспитания. Патриоты громили лавочников, которые любезничали с французами, они мазали дегтем дома, в которых жили

женщины, обнимавшие французов. Никому не пришло в голову поднести ведро дегтя ко «Дворцу «Уфы», к этому «интернациональному заведению с мировым именем», но с чистой немецкой душой.

Операторы «Уфы» спешно заготовляли хронику: освобождение Прирейнской области. Ни осколков стекла, ни дегтя, только цветы, трубы, улыбки.

## 21. Тайный советник любит себя

Тайный советник ночью едет по длинным берлинским улицам. На улицах светло и пустынно. Берлинцы, доглядев до конца фильма «Уфы», разошлись по домам. Засыпая, они еще слышали утробные звуки героев, клятвы, просьбы, стоны и трубы, конечно же, бодрые трубы молодцеватых фигурантов Бабельсберга. Теперь на улицах только фонари и полицейские.

Тайный советник задумался. Тайный советник немолод, ему есть что вспомнить. Вот она, его жизнь, длинная и прямая, как эта улица, такая же светлая и такая же пустынная. Он твердо шел к своей цели. Он не искал легкой славы. Он предпочел ей власть. Пусть те, что мирно спят в этих домах, не видали даже портрета Гугенберга, они принадлежат ему. Утром они читают его газеты. Днем они на него работают. Вечером по его указке они мечтают. Уголь и сталь, банки и латифундии, руководящие органы «национальной партии» и непристойные журнальчики для парикмахерских, павильоны и экраны — все это его, Гугенберга. Он в стороне, он скрыт от взоров, он незаметен в жизни, как незаметен он сейчас в темной коробке автомобиля, и, однако, он управляет миллионами людей.

Другие струсили, отступились. Главный враг — Штреземан вовремя прибран судьбой. Штреземан был мягок и хитер. Он хотел погасить вспыхнувший пожар слезами примирения. Тайный советник знает, что огонь можно залить только кровью. Тайный советник не боится ни крупной игры, ни революции.

Пусто на улицах. Изредка мелькают смутные тени: это бездомные. Их все больше и больше — бездомных, голодных,

отчаявшихся. Они не могут ни ходить в кино, ни читать газеты. Они не могут также работать — их работа никому не нужна. Тайный советник морщится. Крышу должны поддерживать четыре стены. Что означают эти трещины? Еще на крыше бодро реет флаг, старый имперский флаг, а внизу уже толпятся зеваки: они ждут, когда рухнет дом. Неужели ради этого жил и трудился Альфред Гугенберг?..

Надо спасать! Не как Штреземан. Не болтовней. Эти ничемные тени могут быть завтра превосходными солдатами. На востоке Европы много места и много дел!.. Душа народа сфабрикована. Пусть теперь эта душа говорит!

Прямая и пустынная улица. У Гугенберга жесткие волосы — он стрижется ежиком. У Гугенберга немало врагов. Его не любят и боятся. От клеветы не уменьшатся ни его доходы, ни власть всеильного «Консорциума Гугенберга».

Конечно, вот в такой час среди темных домов одиноко и сиротливо человеку. Усы никнут, глаза закрываются, в сердце проникает тоска. Но тогда тайный советник выпрямляется, привстает, он громко выкрикивает: «Любовь — сестра зари, любовь — царица мира»!.. Он написал это много лет назад. С тех пор он сумел доказать правильность своих юношеских грез. Он работал не ради власти, не ради денег, он работал только ради великой любви, ради той любви, что двигает светилами и заставляет глупцов перед экраном лить слезы восхищения; он работал ради любви к Германии и ради любви к ее крыше, к шпилью, к флагу, к тайному советнику Альфреду Гугенбергу!

## 22. Галльский петух

Фирма «Сине-Роман» поручила режиссеру Марселю д'Эрбье сделать картину по роману Эмиля Золя «Деньги». Марсель д'Эрбье до того делал фильмы преимущественно из быта роковых красавиц и русских «принцев». Он никогда не занимался финансовыми операциями — это художник и эстет. Как человек добросовестный, он прежде всего направился на биржу, дабы изучить неведомый для него мир.

На ступенях биржи какие-то молодчики неистово орали. Они потрясали палками, они роняли капли пота и котелки, они плевались цифрами. Марсель д'Эрбье не мальчик, однако



и он растерялся. О чем они кричат?.. Может быть, под ступенями биржи открылись золотые копи или фонтаны Парижа превратились в нефтяные источники?

Какой-то неопрятный человек с перекошенным лицом и с перевернутым галстуком, оттолкнув соседа, крикнул:

— Шестьдесят восемь!.. Шестьдесят восемь!..

Превосходный фигурант! Вот достать бы такого!.. Крупный план. Чем он занят? Нефтью? Медью? Каучуком?..

Одержимый пренебрежительно усмехнулся: новичок!..

— Шестьдесят восемь!..

Он продавал киноакции.

На картинах, изготавливаемых фирмой «Патэ-Натан», — петух, галльский петух; он задорно вытягивает шею и, приветствуя зарю, кричит «кукареку». Что может быть почтенней галльского петуха? Что может быть почтенней фирмы г-на Натана? Он стойко защищает французские интересы от происков иностранцев. Это не делец, это герой, «пуалу» мирного времени. Это галльский петух, но с финансовым опытом, которого недостает традиционному петуху.

Правда, о прошлом г-на Натана некоторые скептики говорят вполголоса. Но стоит ли доверять злым языкам? Да и какое кому дело до прошлого? Базиль Захаров в молодости ознакомился с нравами обыкновенной английской тюрьмы. Отбыв срок, он не начал писать баллады, нет, он занялся делами посерьезней и стал «сэром Базилем». С г-ном Натаном беседуют министры. Он возглавляет крупное акционерное общество. Он собирается купить крупную немецкую фирму «Емелька». Что стало бы с французским кино без г-на Натана? Пусть г-н Натан выходец из Румынии, душой он француз, его петух кричит исключительно по-французски.

«Патэ-Натан» не торопится с изготовлением картин. Это хлопотно, да и неинтересно. Когда г-ну Натану не спится, он не мечтает ни о пышных постановках, ни о «звездах» — г-н Натан не Адольф Цукор. Он занят другим. «Патэ-Натану» принадлежат шестьдесят четыре театра — и каких! — «Омния», «Линдер», «Мариво». С говорящими фильмами выручка повысилась в четыре раза. Но суть и не в театрах. Г-н Натан, как никто, умеет добывать деньги. Он находит нужных людей. Он говорит о выпуске новых акций, о банковских

кредитах, об отсрочке платежей, о человеческом простодушии и о высокой алгебре биржи. Он говорит. Он уговаривает. Он поучает.

Господин Натан в свое время нашел г-на Серфа. Они встретились и поговорили. Г-н Натан давно промышлял кинематографом, он был, если угодно, специалистом. Г-н Серф знал только имена «звезд» да котировку киноакций. Г-н Серф не знал кино, зато он знал солидный банк «Боер-Маршалль»: г-н Серф предложил банкирам заняться кино. Им, конечно, не придется выступать в дурацких комедиях, их дело простое: они поддерживают, например, воздухоплавание в лице фирмы «Гном э Рон», теперь они должны поддерживать искусство теней.

Заручившись согласием банка, г-н Натан перешел в наступление. Он предложил правлению «Патэ» выпустить акции с правом на несколько голосов. Эти акции достались г-ну Натану; тем самым он получил большинство. Старые руководители подали в отставку, сославшись на переутомление. Г-н Натан стал директором. К наименованию фирмы он прибавил свое звучное имя.

У г-на Натана была до того небольшая мастерская «Рапид-фильм». Г-н Натан, тот, что директор «Патэ-Натана», купил, не торгуясь, у г-на Натана «Рапид-фильм». Он заручился поддержкой администратора газеты «Матэн» г-на Сапена. Галльский петух весело приветствовал зарю.

Казалось бы, что общего между нефтью и нежными снами? Сэр Генри Детердинг, наверное, никогда не ходит в кино, и вряд ли Марлен Дитрих справляется о курсе «Роял-Детча». Однако биржа роднит грубое топливо с горючими лентами. Это мир, скорее, воображаемый, вне географических широт, вне рабочего пота, это легенды о вновь найденных источниках, бутафорские города, семизначные цифры, слезы из глицерина и каторжники, украшенные десятью орденами. Где кончается нефть и где начинается кино?..

Господин де Каплан сначала увлекался нефтью. Он нашел источники «Франко-Виоминг». После этого он основал «Франко-фильм». Г-н Альберт Коган знал толк в румынской нефти, но и его увлек экран: он продал нефть ради «Гомона» и «Патэ».

Здесь не нужно ни специальных знаний, ни капитала. Кино — искусство, оно требует только вдохновения. Побеседо-

вав с музой, поэт приступил к делу; он не ищет сценаристов, не набирает актеров; нет, он сначала понижает курс акций, потом его повышает, он завтракает с редакторами финансовых газет и обедает с банкирами. Его «звезды» — это депутаты, их присутствие свидетельствует о солидности молодого общества. Его трюки — это биржевая паника, акции с правом на несколько голосов, когда нужно — блистательный баланс, когда нужно — банкротство.

Кто только не проявлял хотя бы некоторого внимания к кино! Банки «Националь де креди», «Боев-Маршаль», «Креди коммерсиаль», г-н Бальби — издатель, г-н Бадер — владелец универсального магазина «Галлери Лафайет», г-н Серфф, человек воистину универсальный, наконец, представитель Америки г-н Хейл, специалист по сбыту мясных консервов, — все они оценили волшебство экрана.

Во Франции нет нефти, и во Франции изготавливают мало фильмов, но люди во Франции полны вдохновения: они умеют зарабатывать и на нефти и на кино.

В смрадных кафе около биржи водятся счастливые любовники десятой музы. Кино — их жизнь. Это не фигуранты, они не портят зрения на съемках, у них свои профессиональные недуги: хроническая хрипота или астма. Вот один из них читает статью «Тайны экрана» — это не о штиблетах Чаплина и не об икрах Клары Боу, это серьезное исследование, за него уплачена тысяча франков. «Основной капитал: 84 000 000 франков... Огромный инвентарь... 12 павильонов... предполагается выпуск 16 картин... 46 театров... соглашение с «Тобис-фильм»... во главе стоят люди, известные своей прозорливостью...» Любовник десятой музы срывается с места: 72, 74, 75!

Картины изготавливают в Голливуде. Во Франции люди заняты делом посложнее: они расширяют предприятия. «Гомон» поглощает «Обера», «Франко-фильм» сливается с «Гомон-Обером», они поглощают «Континсузу», «Патэ» поглощает «Сине-Роман», «Рapid-фильм», «Патэ-Консорциум», «Патэ-Натан» поглощает...

Это длиннее самой длинной картины, это разорение одних — продается «Испано-Суиза», помолвка дочка отложена, вместо Довиля — лето в Париже; это счастье других — почет, приемы, ордена; это одышка маклеров и банкиров, это рев биржи, рев, слышный издали, как море, рев, который и не снился жалким обитателям джунглей, это так называемая

организация — вертикальная и горизонтальная, это листочки блокнота с каракулями цифр, и это кино, искусство теней, голоса в темноте, слезы зрителей, извечная человеческая мелодрама.

Мистер Хейл, тот, что прежде торговал мясными консервами, беседует с г-ном Натаном. Мистер Хейл — посол Давида Сарнова, и г-н Натан почтительно улыбается. Речь идет, разумеется, об аппаратах «Радио корпорейшн». Мистер Хейл называет цифру — он знает цену аппаратам, он знает также цену г-ну Натану.

— Французы любят нас поругивать. Их писатели высмеивают нашу грубость. Но без американцев они и дня не проживут. Пусть у них господин Натан с его тонкой фантазией, у нас доллары. Мы согласны предоставить вам аппараты при условии...

«Обер-Франко» подписал соглашение с немцами. У г-на Натана нет выбора. Он молча слушает. Мистер Хейл диктует...

Однако ни на минуту не забывает г-н Натан о национальных интересах. Почему он сдался на милость Давида Сарнова? Да только ради Франции, ради любимой Франции! Он шлет в газеты победную репликацию: «Впервые в истории кинематографии французская фирма заключила столь тесный союз с одной из самых мощных фирм Америки. Это окажет счастливое влияние на будущность французского кино, которому вскоре суждено занять первое место в мире».

В 64 театрах «Патэ-Натана» показывают американские драмы и комедии. За прошлый год Франция купила в Соединенных Штатах 211 картин на 462 тысячи долларов. Мистер Хейл может радоваться — это побойчее мясных консервов!..

## 23. Скучная картина

Двадцать шестого октября 1929 года в нью-йоркских театрах «Парамаунта» или «Фокса», как всегда, показывали увлекательные драмы. «Звезды» шептали: «Гарри, я тебе верна», и зрители, как всегда, умилялись. Но солидным людям было не до Гарри: бумаги на бирже стремительно падали, банки

были накануне банкротства, осунувшиеся за ночь финансисты заряжали револьверы, страшный кризис только-только начинался. В тот вечер ни Адольф Цукор, ни Уильям Фокс не могли уснуть, они ворочались с боку на бок и печально вздыхали.

Парижане рассеянно проглядывали телеграммы: «Уолл-стрит в трауре...», «Возможность мирового кризиса...» Они проглядывали эти короткие сообщения между двумя сделками или между двумя рюмками.

Кто в газетах читает бюллетени метеорологической станции, и какое дело влюбленным, которые, пользуясь воскресным отдыхом, едут в Фонтене-о-Роз, до глубокого атмосферического давления над Исландией или до циклона, идущего из Америки?..

Господин Натан выслушивал наставления представителя «Радио корпорейшн». Г-н Костиль вел переговоры о соглашении «Гомон-Франко-фильм» с «Тобисом». Одни парижане покупали акции «Патэ», другие спешили в театры, чтобы увидеть «Слезы девственницы».

Год спустя в Париже случился пренеприятный казус с «Банком Устрика». Тысячи разорившихся клиентов лили классические слезы, журналисты требовали непосильных гонораров за молчание, министры, еще отшучиваясь, складывали тихонько пожитки. Слово «скандал», уловив минуту, выскочило на шумную парижскую улицу. Устрик сразу стал знаменитым, как Линдберг или Морис Шевалье. Правительство пало. Биржа стала смахивать на осенний лес с воем ветра и с падающими листьями. Г-н Натан загрустил не на шутку.

Каменная глыба, летя с верхушки горы в долину, увлекает за собой другие. Банки приуныли. Возле касс толпились вкладчики. Стали поговаривать о новых банкротствах. Среди прочих банков в затруднительном положении оказался «Банк д'Альзас-Лоррен». Он находился под контролем «Бюер-Маршалья». Служащие «Патэ-Натана» с тревогой спрашивали друг друга: выплатят ли нам жалованье? Все знали, что «Бюер-Маршаль» — это «Патэ»...

В беде человек всегда одинок. Г-н Сапен вовремя распротился с г-ном Натаном. Банкиры «Бюер-Маршалья» недружелюбно поглядывали на докучливого клиента. Мелкие журнальчики писали о «расхищении капитала». Правда, у г-на Натана по-прежнему было большинство голосов, но какие-то педанты

внесли в палату проект закона о запрете акций, дающих право на несколько голосов. Г-ну Натану не удалось купить «Емельку» — немцы требовали денег, а банк «Боер-Маршалль» высказался против этой операции. Г-н Альберт Коган, который помогал г-ну Натану при переговорах, оказался не у дел. Приближалось время общего собрания акционеров. Г-н Натан выбивался из сил — как он мог допустить, чтобы картина кончалась плохо?.. Это противно навыкам кино, это противно и навыкам г-на Натана.

«Гомон-Обер-Франко-фильм» мог бы радоваться — его конкурент если не повержен, то тяжело ранен. Однако радоваться не приходилось: одна глыба, падая, увлекает другую. Парижские ювелиры готовы прикрыть лавочку. Хорошо булочникам: они всегда торгуют! Но бриллианты не булки. Солидные клиенты разорены. Никто больше не покупает ни бриллиантов чистой воды, ни перлов жемчужного короля г-на Розенталя, ни колумбийских изумрудов. «Гомон-Франко-фильм» не торгует ценными камнями, но судьба этой фирмы тесно связана с судьбами бриллиантов: их поддерживает один и тот же банк «Насиональ де креди». Директору «Гомон-Обер-Франко-фильма» пришлось ознакомиться с хождением по мукам. Он шел и старался глядеть в сторону — перед ним все время маячила сутулая спина г-на Натана.

Господин Мейер, секретарь «Патэ-Натана», шлет в газеты успокоительные сводки: фирма непоколебима. Успех за успехом! Наши долги равняются всего 20 000 000. Наша наличность 90 000 000. Мы процветаем!

Биржа, однако, не верит цифрам, биржа верит только великому богу всех биржевиков и своему нюху. Акции «Патэ-Натана» падают. Это уже не легкий ветерок, это буря. Летят акции, летят человеческие судьбы. На фабрике «Патэ-Натана» очередная «звезда», вздыхая о Голливуде, еще завывает: «Пьер, я тебя люблю!..» В шестидесяти четырех кино еще показывают «Дитя любви» и «Я тебя обожаю, но за что?» — трогательные драмы для шляшных мастериц и малокровных конторщиков. Ни мастерицы, ни конторщики не играют на бирже. Они могут плакать над страданиями какого-то Пьера. Г-н Натан не плачет: жизнь его закалила. Он только угрюмо отворачивается, проходя мимо заборов: на всех заборах Па-

рижа — афиши «Патэ-Натана», обыкновенные афиши, справки о достоинствах картин, но г-ну Натану кажется, что это траурные анонсы. Он готов снять шляпу. Он больше не верит в будущее французской кинематографии. Он не собирается вступить победителем в Германию. Он только мечется, как листок из блокнота на широких ступенях парижской биржи.

Акции «Патэ-Натана» что ни день падают. Вместо 262 — 153. Где г-н Натан? Его сегодня никто не видел... Кто-то, играл на понижение, распространяет вздорные слухи: г-н Натан скрылся!.. Мелкие игроки хотят скорее освободиться от плохих карт. Вокруг имени «Патэ», как вокруг монарха при смерти, уже суетятся претенденты. Дело покупает г-н Бадер — из «Галлери Лафайет» — он понял все значение кино для рекламы!.. Нет, г-н Бадер еще колеблется... Тогда, может быть, г-н Бальби?.. У него газета... Или г-н Коти, парфюмер и «друг народа»?.. Нет, г-н Коти опровергает... Это шепот вокруг умирающего, шепот в затонах ресторанов, в клубах, в банках. А на бирже только визг. Так визжат подстреленные зайцы. 152! 151!

Этьен Лефон никогда не играл на бирже. У него была молочная на улице Конвенсион, которая пахла сыром и сыростью. Двадцать четыре года просидел он в этой молочной, отвешивая масло и разливая молоко. Потом он заболел ревматизмом. Он не мог больше нагибаться. Он продал молочную. Денег оказалось мало, а у Лефона трое детей. Лефон не рабочий; он хочет, чтобы его дети вышли в люди!

Другие покупают акции нефтяные или химические. Это дело темное, легко прогадать — кто знает, где они, нефть или поташ? На свете столько жуликов! Один украл у Лефона большую голову сыра... Нет, лучше выбрать что-нибудь поспокойней! Хотя бы «Патэ», — театры «Патэ» повсюду, даже рядом с бывшей молочной. Правда, Лефон не любитель экрана, но его жена и дети ходят каждую субботу в кино. Они могут подтвердить, что «Патэ» — это не выдумка. Вот и газеты пишут: «Солидное дело... Капитал 5 000 000... Энергия г-на Натана...»

Протомившись несколько недель, Этьен Лефон наконец-то решился; он надел крахмальным воротничок и пошел в банк. Он подписал заказ на двадцать акций «Патэ-Натана».

Что же приключилось?.. Театры не сгорели. На заборах те же афиши, а у г-на Лефона вместо обещанного богатства кипа бумажек. Проклятая газета!.. «Патэ» сегодня 149!.. Вот вам приданое Мари!.. Вот вам карьера Поля — коммерческое училище и прочие сказки!.. Придется и им торговать молоком на базаре!.. Они еще ничего не знают... Ушли в кино...

Мари вбегает в комнату. Ее глаза блестят, она улыбается:

— Как твоя спина?.. А мы видели чудную картину!.. Я так боялась, что плохо кончится, но этого мерзавца поймали, и они поженились...

Лефон приподнимается и, глядя вокруг себя мутными от злости глазами, кричит:

— К черту!.. Слышишь меня — к черту! В дураках-то я... «Поженились»!.. Сволочи!..

Жена натирает ему скипидаром поясницу. Он ругается долго и неотвязно.

Идет дождь, и блестят улицы, потом они высыхают. Вертятся в аппаратах тонкая лента. Идут дни. В один из них к г-ну Натану приходит человек. У него унылое лицо судейского и бумажонка с печатью.

Господин Натан не теряет присутствия духа. Это козни врагов! Какие-то банкиры «Конти-Госсель»... Какой-то чек на 1770 000... Ерунда! Герои кино привыкли к испытаниям: револьвер бандита, погоня, самолет, автомобиль, выстрелы, пыль, кровь. Герои кино ко всему привыкли. Г-н Натан ни на минуту не забывает, что картина должна кончиться безмятежным счастьем. Глупая дочка Лефона напрасно волновалась: у нас не бывает картин с дурным концом!..

Годичное собрание акционеров собирается на страстной неделе. В церквах лик Христа завешен траурным крепом. Лицо г-на Натана открыто. Он смотрит и улыбается. Он говорит о национальных интересах, о борьбе с хищными американцами, о широкой пленке, о шестидесяти четырех театрах, о грядущих дивидендах. Он говорит благородно и поэтично. Когда нужно, он называет высокую цифру, когда нужно, он нежно щебечет: «Франция...» Акционеры слушают, замороженные. Правда, и среди них находятся нечестивцы. Они досаждают г-ну Натану глупыми вопросами; чек?.. «Конти-Госсель»?..



«Боев-Маршалль»?.. Пассив?.. Но нечестивцев мало. Г-н Натан пренебрежительно усмежается. Один из акционеров в восторге восклицает:

— Нарыв вскрыт! Он вскрыт благодаря вам, господин Натан, благодаря вашей бдительности, вашему критическому уму, вашим ясным и точным ответам!

Зал рукоплещет. Г-н Натан стыдливо отворачивается. При голосовании подсчитывают акции: 829 058 — за г-на Натана, 2715 — против.

Кто знает, может быть, г-н Натан и купит теперь «Емельку». Лента вертится, дни идут. Это очень скучная картина, но она наверное с хорошим концом.

1931

## Киноаппараты

### 1. Что такое кино

Еженедельно 300 000 000 людей в пяти частях света смотрят на экран. Они знают, что такое кино. Кино — это прежде всего любовь. В течение одного только года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь цыгана», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь — мистерия», «Любовь подростка», «Неистовая любовь», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь играет», «Любовь врага», «Любовь Жанны Ней», «Любовь Распутина», «Любовь женщины», «Любовь бандита», «Любовь и честь», «Любовь — это любовь», «Любовь в пустыне», «Любовь и золото», «Любовь Казановы», «Любовь запросто», «Любовь Кармен», «Большая любовь», «Невиданная любовь», «Любовь палача», «Любовь доктора», «Первая любовь Фанни», «Последняя любовь Шопена», «Свет любви», «Замок любви», «Фанфары любви», «Гробница любви», «Остров любви», «Маска любви», «Ярмарка любви», «Карнавал любви», «Магазин любви», «Крушение любви», «Психея любви», «Смерть любви», «Богиня любви», «Парад любви», «Три минуты любви»,

«Бегство от любви», «Вдвоем с любовью», «Борьба с любовью», «Игра с любовью», «Любовный туман», «Любовная песнь», «Любовная сказка», «Любовники наедине», «Любовь в Голливуде», «Любовники и крест», «Законный любовник», «Любовник блондин», «Любовники в спальном вагоне», «Любить — это жить», «Что ты знаешь о любви?», «Любить до конца», «Я люблю тебя», «Люблю ее», «Люблю на эшафоте», «Сколько стоит любовь?», «Гарри любит блондинок», «Если б не было любви», «Все мы любим любовь»... Кто же усомнится в том, что кино — это любовь?..

Кино — это также великие актеры: штиблеты Чаплина, улыбка Дуга, очки Гарольда Ллойда. Миллионы людей глядят в телескоп: они хотят увидеть, как выглядят эти «звезды».

Интервью с Элизабет Бергнер: «Кем хотели бы вы быть, если бы вы не были Бергнер?» — «Извозчиком». — «Почему?» — «Я люблю экзотику». — «Имеются ли у вас грехи?» — «Да, у меня особняк и «Испано-Суиза».

Интимный дневник Полы Негри, любезно предоставленный ею для печати: «21 мая 1926 года. Возможно ли это? Я снова выхожу замуж... Будет ли снова как с Эйгеном? Как с графом Эйгеном Домбским, моим первым мужем?.. Но Серж другой, совсем другой!.. Итак, скоро я буду «княгиня Серж Мдивани»!»

Бестера Китона зовут во всех странах по-разному — в Сиа-ме «Конфрето», в Либерии «Канзуг», в Чехословакии «Зефонио», во Франции «Малек», в Исландии «Гло-Гло». Это человек, который никогда не улыбается».

Грета Гарбо это «русская сирена». Дуглас Фербенкс родился с зубами, как Ричард III, а Лили Даговер родилась на Яве. Камилла фон Холау прекрасно готовит гуляш. Лия Мара обожает цветы, а Ненси Кароль обожает пятидесятилетних мужчин. Это и есть кино.

Так думают еженедельно 300 000 000 человек, сидя в темных залах. Кино — это любовь, и кино — это «звезды». Все они хорошо знают Грету Гарбо, но они никогда не слыхали о Давиде Сарнове. Может, это дебютант? Или русский режиссер? Во всяком случае, его имя не значится на афишах.

Давид Сарнов усмехается. Он отнюдь не честолюбив. Правда, он получил от польского правительства орден «Возрожденной Польши», но он достаточно равнодушен к безделушкам. Взвешивая каждое слово, он говорит:

— За последний год мы заработали девятнадцать миллионов долларов. Нам удалось несколько расширить нашу деятельность. У нас не только самый мощный трест радиоприемников и самое крупное общество фонографов, у нас также двести пятнадцать кинотеатров и производство картин. Кино вступило в новую эру: актер или постановщик перестали быть главными персонажами; теперь кино зависит от инженера и электротехника...

Давид Сарнов говорит это перед журналистами в приемной «Отеля Риц». Он не позирует для экрана. Он сух и точен. Он не упоминает ни о любви, ни о «звездах»; девятнадцать миллионов и электропромышленность.

Давид Сарнов не дает журналисту своего дневника, да он, наверное, и не ведет дневника, это человек деловой. Он рассказывает о дивидендах, но не о своей жизни. Он родился в России, в маленьком местечке возле Минска. Ему было восемь лет, когда его родители эмигрировали в Америку. Он увидел Новый Свет, но это не удивило его: он смотрел на школьный глобус, как на мяч. Он начал очень скромно, с поста корабельного юнги. Потом его сделали помощником паровозного телеграфиста. Он был на «Титанике». Среди вод Новый Свет столкнулся со льдами. Бизнесмены пели псалмы и тонули. Кочегары работали до последней минуты. Давид Сарнов увидел смерть, но и смерть его не удивила. Он спасся и продолжал свой трудный путь. Он работал у Маркони, скромный и энергичный юноша. Его специальность — беспроволочный телеграф. С каждым годом повышался его сан и оклад. Кино его никак не интересовало — кино было аферой ловких проходимцев и смазливых девушек.

Все изменилось, когда несколько молчаливых инженеров изобрели говорящие фильмы. Кино сразу стало делом. Успех предприятия больше не зависит от такой вздорной случайности, как глаза актрисы. Нет, теперь это серьезная отрасль электрической промышленности, и Давид Сарнов теперь может взяться за кино.

Девятнадцать миллионов — это убедительней слов. Давид Сарнов сдержанно усмехается. Этот человек знаком с психологией. Немало рассказывают про ту ночь, когда было принято соглашение, известное под именем «плана Ианга». Делегаты различных стран все еще препирались. Мистер Ианг поручил Давиду Сарнову завершить переговоры. Давид Сарнов

продержал спорщиков с пяти вечера до трех утра. Он: не дал им пообедать. Тогда патриотизм сдался на милость аппетита. Немецкие «наци» могут буянить, сколько им вздумается,— дело сделано. Давид Сарнов взял делегатов измором. После классического «да» двери раскрылись — в соседнем зале был сервирован прекрасный ужин с шампанским.

Те, что зачитываются дневником Пола Негри, никогда не узнают о таинственной жизни скромного уроженца Минской губернии. Они будут плакать в темном зале над такой-то по счету любовью, может быть, над «Любовью в пустыне». Эта картина, кстати, сделана на фабрике Давида Сарнова. У Давида Сарнова имеется своя «звезда» — Бэби Дениельс. Впрочем, он не знаток по части «звезд». Он занят электричеством.

Прежде были: Цукор, Ласки, Лоу, Леммле,— все они начали с крохотных «иллюзионов», с нищеты и с авантюры, все промышляли глазами «звезд» и находчивостью сценариста. Несмотря на миллионы, они оставались кустарями, и серьезные люди подозрительно косились на акции «Парамаунта» или «Фока». Кино было просто кино.

Теперь кино — это электричество. Для публики — это: «Витафон», «Мовьетон», «Фотофон». Для владельцев театров это два общества, изготовляющие аппараты: «Уэстерн электрик» и «Радиокорпорейшн оф Америка». Для людей деловых это могущественные тресты: «Американ телефон энд телеграф» и «Дженераль электрик».

Общество «Уэстерн электрик» тесно связано с «Американ телефон», которому принадлежит почти вся телефонная сеть Соединенных Штатов. У «Американ телефон» 18 000 000 абонентов, трансконтинентальные линии, монополия в Испании, предоставленная обществу благодаря личной симпатии короля Альфонса к мистру Бену, одному из директоров, наконец, автоматические аппараты во Франции.

Во главе «Уэстерн электрик» — мистер Оттерсон и мистер Блюм. Оба республиканцы, оба смиренные христиане: мистер Оттерсон епископального толка, мистер Блюм пресвитерианского. Это очень почтенные бизнесмены.

«Дженераль электрик» возглавляет мистер Ианг. Немало связано с этим коротким именем: французские рантье брюзжали, пацифисты лили слезы умиления, на узеньких улицах

германских городов по ночам раздавались внезапные выстрелы, рабочие подтягивали брюхо — им понизили плату, биржа отмечала повышение бумаг, одни радовались, другие негодовали, — все вместе это называлось «планом Ианга». Ни кровь, ни слезы, разумеется, никак не входили в намерения мистера Ианга. Это вполне миролюбивый человек; рослый, спокойный, он смахивает на фермера из северного штата. Он изучал право. Он оставил юриспруденцию ради электричества. Он достиг не только богатства, но и признания. Вашингтон возложил на него тяжелую миссию — урегулировать немецкие обязательства. При мистере Ианге состоял Давид Сарнов, и уроженец Мясной губернии помог уроженцу северного штата: мистеру Иангу удалось объединить сварливых европейцев. Он горазд на объединения — он, например, объединил различные электрические общества в один гигантский трест. Он заверяет, что это далось ему куда труднее, нежели почтенный «план Ианга».

Капитал «Дженераль электрик» равняется 223 000 000 долларов, — солидная фирма, ей можно доверять.

«Радио корпорейшн оф Америка» — дитя «Дженераль электрик». За его детскими играми следил сам мистер Ианг. Все началось очень скромно: установка радио в Делеваре — такая по уставу цель акционерного общества. Потом?.. Потом экран заговорил. Патенты были вовремя закуплены. Показался Давид Сарнов.

Ветераны дрогнули. Первым пал Уильям Фокс. Клерк занял его место, с благословения «Уэстерн электрик». «Парамаунт» попробовал сопротивляться. Но что значат все богатства доброго «папы Цукора» по сравнению с телефонными и телеграфными монополиями? Цукор подписал продиктованное ему соглашение. Что касается Давида Сарнова, то, не довольствуясь патентами, он сам приступил к изготовлению картин. Он основал общество с весьма поэтическим наименованием: «Радио-Кейт-Орфеум». В тиши кабинета работает мистер Ианг. На экране Бэби Дениельс улыбается. Они — части одной машины. Их соединяет приводной ремень — Давид Сарнов. Он знает в точности, что такое кино. Кино — это «Любовь в пустыне», кино — это также 19 000 000 долларов — как для кого и как когда.

Весной 1930 года Вашингтон салютовал говорящему кино. Это сопровождалось обычным церемониалом: тресты получили

справку о законе против трестов. Правительство Соединенных Штатов предлагает «Американ телефон» развестись с «Уэстерн электрик». Оно настаивает, чтобы «Дженераль электрик» сняло опеку с окрепшего «Радио корпорейшн». Правительство угрожает, следовательно, оно приветствует. Мистер Ианг добродушно улыбается: он знает, что такое дипломатия. Давид Сарнов даже не удостаивает Вашингтон усмешки: он занят делом, ему не до глупого этикета.

## 2. Америка против Европы

У «Уэстерн электрик» солидный капитал, но суровое сердце, в нем не сыскать чувства признательности. Мистер Гарри Уорнер первый оценил говорящего зайку. Он подписал договор с «Уэстерн электрик»; он надеялся, что «Братья Уорнер» будут получать проценты с других фирм за патент. Он надеялся на признательность, а может быть, и на нерасторопность. Его ждали горькие обиды: общество «Уэстерн электрик» стало само взимать проценты, оно подписало соглашение с шестью наиболее крупными фирмами: с «Парамаунтом», «Юнайтед», «Метро», «Фоксом», «Юниверселом» и «Колумбией». Гарри Уорнер не на шутку обиделся. Он подал жалобу в суд; хуже того, он затаил жажду мести.

Тем временем общество «Уэстерн электрик» начало поставлять аппараты. За прокат оно взимало 6000 долларов. В течение короткого времени оно установило 6000 аппаратов в 42 странах. Французы плакались: хорошо американцам — у них доллары!.. А каково нам — выложить за аппарат полтора десятка тысяч франков! Владельцы театров вздыхали, но выкладывали франки: публика требовала говорящих фильмов. В Марселе был торжественно открыт кинематограф «Комедия», оборудованный «Уэстерн электрик»: 6000-й в мире, 62-й во Франции, 5-й в Марселе. Дела «Уэстерн электрик» шли на славу, и оба мистера, тот, что епископального толка, и тот, что пресвитерианского, в различных церквях благодарили одного и того же бога — бога электрической промышленности.

Однако без испытаний нет человеческой жизни — так говорят и в епископальной церкви и в пресвитерианской. Для

«Уэстерн электрик» настали тревожные дни. Вдруг показались немцы, немцы, которые потопили «Лузитанию», которые осмеливаются вместо пленки «Кодак» предлагать какую-то «Агфю», люди без стыда и морали.

Немцы ничуть не хуже американцев извлекают из искры Прометея надлежащие дивиденды. В Германии это называется: «Сименс унд Хальске» и «АЭГ».

У Сименса 130 000 рабочих. У него свой город — Сименсштадт. Он контролирует 47 акционерных обществ. Он изготовляет все, от турбин до электрических термометров. Он не брезгает даже аппаратами «Фотоматона». Он ставит кабели Париж — Бордо или Рим — Неаполь. Он работает в Токио и в Осло, в Бухаресте и в Стокгольме. С равной легкостью он контролирует автоматические телефоны и иностранную политику Германии.

«АЭГ» тоже солидный трест; ему подчинены 42 акционерных общества: оборудование шлюзов Гинденбурга, трамваи в Осаке, в Буэнос-Айресе, в Берлине, в Гааге, фабрики в семи городах, локомотивы, генераторы, моторы, турбины для Норвегии, два банка, автомобили, пароходы. Повсюду три буквы: «АЭГ».

Когда Гарри Уорнер услышал в лаборатории «Уэстерн электрик» говорящего зайку, немцы не на шутку всполошились. Они давно работают над тем же. Они не хотят, чтобы американцы разговаривали. Они сами могут говорить: на всех языках и по удешевленному тарифу. Так были основаны два общества: «Клангфильм» и «Тобис», которые вскоре объединились под мудрым руководством «Сименса» и «АЭГ».

Закреплены патенты. Война объявлена. Цукор в грусти: ни одна из его замечательных картин не может теперь идти в Германии. В Германии — свод законов. В Германии — «Сименс» и «АЭГ». С ними не шутят честные немецкие судьи. В Германии аппараты «Клангфильма», и в Германии никто не смеет показывать американских картин. Стонут владельцы кино. Девушки, влюбленные в американских полицейских, бледнеют и чахнут. Как всегда на войне, немало жертв; но враги преисполнены пыла: они мечтают о победе.

Немцы на славу вышколены. После хлебных карточек они привыкли ничему не удивляться. Они только робко спраши-

вают: «Повсюду теперь экран говорит, даже в Бельгии, даже в Праге... Чем мы хуже других?..» Немцам вежливо объясняют: «Погодите! Скоро мы сделаем немецкие фильмы. Они будут все время разговаривать. Терпение, и мы победим, мы — «Сименс унд Хальске», «АЭГ», чистокровные немцы, с национальной гордостью и с контрольными пакетами».

Во время мировой войны к центральным державам присоединились только Турция и Болгария; все подкрепления шли к союзникам. Теперь на подмогу «Клангфильм-Тобису» спешат мощные армии. Первым показывается г-н Кюхенмайстер. Это человек чрезвычайно застенчивый. О нем ничего не знают даже его соотечественники, хотя он уроженец не бог весть какой страны. Голландцы умеют чтить национальных героев, они горды сэром Генри Детердингом, но они удивленно поводят своими водянистыми глазами, когда при них произносят имя г-на Кюхенмайстера.

О каждом человеке можно что-нибудь да рассказать: Адольф Цукор любит природу и евреев, Клерк — Шекспира, Гугенберг — отечество. О г-не Кюхенмайстере можно сказать только одно: он стоит во главе акционерного общества, капитал которого равняется 19 500 000 флоринов.

Господин Кюхенмайстер подписал соглашение с «Клангфильмом», и все газеты торжественно объявляют, что теперь с Америкой воюет «европейская группа».

Вслед за г-ном Кюхенмайстером показывается г-н Шлезингер. Этот молчальник пришел не из Голландии, но из Южной Африки. К «европейской группе» присоединяется подвластное г-ну Шлезингеру общество «Бритиш-Токинг пикчур». Теперь «европейцы» смогут вытеснить американцев из колоний Великобритании. Капитал вновь образованного треста превосходит миллион английских фунтов.

В Германии «Клангфильм» выиграл все затеянные им процессы. В Австрии и в Чехословакии судьи берут сторону «европейской группы». В Швейцарии суд запрещает «Фоксу» показывать говорящие картины без разрешения «Клангфильма».

«Уэстерн электрик» крепко держится в Америке, американцы по-прежнему мечтают о мировой монополии. Им пришлось очистить некоторые страны, однако война еще продолжается.

Все союзники принесли клятву верности, далеко не все пошли в бой. «Радио корпорейшн» увиливает; Давид Сарнов



не верит ни в мечты о монополии, ни в совесть немецких судей. Верный последователь мистера Ианга, он предпочитает мировую. Он старается соблюсти нейтралитет.

Нет войны без перебежчиков. Мистер Гарри Уорнер не забыл своих горьких обид. Настало время отомстить этим смиренным дельцам из «Уэстерн электрик»!.. «Братья Уорнер» американцы, их место на поле брани, но вот они садятся за один стол с немцами: сигареты, комплименты, цифры, потом скрип перышка — соглашение подписано. В правлении «Тобиса» — мистер Киглей. В правлении «Братьев Уорнер» — мистер Киглей. Это не два Киглея, это не совпадение, не справка о распространенности некоторых фамилий, нет, это попросту измена Америке.

Представители «Уфы», боязливо оглядываясь, забегают к американцам. Чем они хуже «Братьев Уорнер»?.. Они тоже могут перебежать. Покупайте наши фильмы, а мы постараемся пробудить совесть наших добрых немецких судей!..

Бойко работают телеграфные общества и пароходные компании: что ни день, летят стаи каблогграмм; почтенные владельцы кинофирм, окруженные свитой, переплывают океан: они пытаются образумить зарвавшихся вояк. Адольф Цукор уговаривает немцев. Г-н Клич заклинает американцев. Вилль Хейс что ни день разговаривает по телефону с обезумевшей Европой. Это разорение, крах театров, крах фабрик, это подлинная катастрофа. Пока не поздно — примиритесь!..

Однако что значат все миролюбивые речи рядом с картой двух полушарий? Земля мала, и нелегко ее поделить.

Обе стороны достаточно истощены — настал час Давида Сарнова. «Радио корпорейшн» может вытеснить «Уэстерн электрик». Нельзя терять времени! Давид Сарнов заключает соглашение с европейцами. «Бритиш-Токинг» получает право изготавливать фильмы по американским патентам. «Европейская группа» производит десант в Америке. «Парамаунт», «Фокс», «Метро» негодуют. Смиренные бизнесмены полны задора: положение «Уэстерн электрик» непоколебимо. У нас Канада. У нас Австралия. У нас Южная Америка. У нас почти целиком Франция и Испания. Мы можем воевать еще десять лет!

Они кричат о победе, следовательно, час перемирия близится. Вилль Хейс заказывает апартаменты в парижском «Отеле Грийон».

### 3. Они поделили мир

Париж в июне особенно светел и весел: это его «сезон». Цветут на бульварах чинары, в театрах гастролируют итальянские певцы и кастильские танцоры, на скачках разыгрываются самые крупные призы, все гостиницы полны приезжими: кому не лестно в ясный июньский вечер взглянуть с площади Согласия на Триумфальную арку, на голубой туман, на рой автомобилей, которые кружатся, как светляки? Париж в июне говорит на всех языках. Он не похож на обыкновенный город: в нем бутафорские чувства, а вместо камня — трюки. Это Голливуд, который не снился Цукору.

Могли ли удивить парижан еще несколько туристов с огромными сундуками, похожими на гробы, с чековыми книжками и с улыбкой удовлетворения? Они приехали в Париж, как все. Они приехали, чтобы полюбоваться голубыми сумерками. Среди них мистер Оттерсон, директор «Уэстерн электрик», смиренный христианин епископального толка, представитель «Парамаунта» мистер Грэхем, представитель «Уорнер» мистер Киглей, тот, что не однофамилец, — вездесущий мистер Киглей. Среди них Давид Сарнов и его соратник мистер Росс. Среди них, разумеется, царь кино, легкокрылая малиновка Виль Хейс.

Кроме американцев, в Париж приезжают и другие туристы, например немцы. Ведь немцы обожают Париж. Деньги можно заработать в грубой Германии, раскидывать их приятней всего в Париже. Какое вино! Какие женщины! А Лувр? А портные улицы Мира? А публичный дом Шабане? Нет, в июне мы все — парижане.

Из Берлина прибывают некоторые почтенные гости. Присылаясь в гостиницах, они перед именем не забывают поставить «доктор» — это люди с высшим образованием. Вот, например, доктор Курт Зоберхейм, директор «Коммерц унд Приват банк», член правления «Клангфильм-Тобиса», вот доктор Эмиль Майер из «АЭГ», вот доктор Фриц Люшен, представитель «Сименс унд Хальске».

Зачем они приехали, эти мистеры и доктора? Может быть, обсудить вопрос о патентах?.. Но разве можно в Париже, да еще теперь, когда цветут чинары, говорить о каких-то низменных патентах! Они приехали подышать воздухом Елисейских

полей, этой смесью бензина, продуктов Коти и воистину божественного эфира.

У журналистов хороший нюх, у них также хороший аппетит: они хотят заработать на обед; с утра до ночи они досаждают солидным швейцарам «Отеля Грийон»: они, видите ли, хотят побеседовать с одним из этих туристов, им необходимо повидать мистера Хейса!..

Вилль Хейс привык жить на людях. Кроме того, он обожает прессу. У него открытая душа и широкие замашки. Он приглашает французских журналистов к себе. Он угощает их — не сливочным мороженым, нет, на столе обильные закуски и ведерки с шампанским. Журналисты едят и пьют, однако не забывают о главном: сейчас Хейс расскажет им нечто сенсационное о борьбе американцев с немцами, о мирной конференции — сто, двести, тысяча строк.

Зачем мистер Хейс приехал в Париж?.. Странный вопрос! Он так любит этот город! Он влюблен в Париж. Это самый прекрасный из всех городов мира. Потом, ему захотелось пожать руку Луи Люмьеру. Это воистину гениальный человек! Он равен нашему Эдисону! Конференция?.. Простите! — на этот вопрос мистер Хейс не может ответить. Выьем лучше за процветание международной кинематографии!..

Вилль Хейс из приличия касается губами пены: допустим, что это честная сельтерская... Он продолжает восторгаться: французы — какая чувствительная натура! Художники! Творцы!

Борьба за патенты?.. Простите! — мистер Хейс очень занят. Он должен покинуть дорогих гостей.

Война еще продолжается. Только что фирма «Уэстерн электрик» выиграла процесс в Австрии. Австрийские судьи аннулировали старый патент «Клангфильма». Конечно, Австрия крохотный рынок, но это прежде всего урок: после соответствующей обработки можно положиться даже на совесть европейских судей. Всякий закон, как известно, допускает толкования...

Война еще продолжается. Между тем в «Отеле Монсо» бизнесмены дружески жмут руку немецким докторам. Мирная конференция открыта. Доктор Курт Зоберхейм предлагает избрать в председатели мистера Хейса. Это человек идеи! Все соглашаются. «АЭГ» или «Сименс» — серьезные предприятия. А Хейс — царь кино. Пусть председательствует!

Делегаты долго говорят о своих добрых намерениях. Необходимо сотрудничество! Мир! Обязательно мир! Конференция закончится через два или три дня.

У каждого из делегатов перед глазами два полушария: земля еще не поделена.

Проходят дни, недели, конференция все продолжается. Бизнесмены угрюмо молчат. Доктора мрачно философствуют. Только Вилль Хейс порхает, как малиновка: он хочет напомнить всем о радостях жизни. Парижский сезон уже подходит к концу. Туристы уехали на взморье или в горы. Жарко, пыльно — теперь бы лежать на песочке!..

Наконец Хейс объявляет журналистам: в принципе соглашение достигнуто. Демонстрация фильмов с помощью любых аппаратов, вне зависимости от того, какими аппаратами эти фильмы были сняты.

Вилль Хейс отбывает в Берлин: соглашение достигнуто только в принципе. Пора приступить к делу!

Американцы кое в чем уступили. Они отказываются от монополии. Они согласны поделить мир. За это они требуют от немцев некоторых уступок. Довольно глухих ограничений! В Германии существует «квота» для американских картин. Таков закон. Что же, законы не всегда применяются. Вспомните закон против трестов!..

Солидные доктора сносятся с правительством. Вопрос будет обсуждаться на заседании рейхстага. Пресса?.. Прессу можно подготовить. Нажмите-ка на депутатов!

Вилль Хейс в Берлине. Он неутомим. Он кричит в телефонную трубку, и он нежно дышит в ухо собеседника: смягчите закон!.. Несколько мелких поправок.

Владельцы немецких фирм во главе с «Уфой» устраивают Хейсу банкет. Хейс, конечно, произносит очередной спич:

— Обмен фильмами способствует делу мира. Мы не должны заниматься национальной или религиозной пропагандой. Нет, наш долг — объединить все народы!

Господин Клич горячо аплодирует. Он, правда, занят теперь изготовлением большой картины, прославляющей доблести немецкого оружия. Но это семейное дело, об этом не говорят на банкетах. Разве те же американцы не прославляют у себя дома подвиги американских матросов в Никарагуа? Сейчас речь идет о другом: мы должны поделить мир. Следовательно, сейчас г-н Клич может с легким сердцем аплодировать Хейсу.

Тем более что этот Хейс вовремя обрушился на советские картины:

— Нельзя допустить, чтобы кино служило интересам одного класса. Кино — это воистину искусство для всех!..

Хейс не любит абстракции, он привык наглядно показывать правоту своих идей:

— Кино сближает народы. Мои сыновья теперь знают, как немцы проводят каникулы, кто ваши национальные герои, как выглядит президент Германской республики.

Здесь г-н Клич невольно вытягивает шею: ему кажется, что он на военном параде. А Хейс уже откланивается — он занят: он должен поговорить по телефону! Завтра утром — свидание с доктором Виртом, потом — осмотр Бабельсберга.

После четырех дней переговоров Хейс, ласково улыбаясь, восклицает:

— Я верю в близкое соглашение! Положение немецкой кинопромышленности сходно с нашим: оно определяется ролью электрических трестов и крупных финансистов. Переход к говорящим картинам вызвал знакомые нам затруднения, но немецкая техника заслуживает всяческих похвал. Нет сомнения в том, что мы найдем базу для совместной работы!..

Хейс трудился не зря. Вопрос о «квоте» обсуждался в рейхстаге. Три четверти скамей пустуют: это последние дни перед каникулами — мелкие дела, скучная повестка, многие депутаты уже отбыли на отдых. Иностранные фильмы?.. Кого это может заинтересовать?.. Правда, среди депутатов немало любителей кино. Они знают толк в икрах Клары Боу и в глазах Греты Гарбо. Но «квота»?.. Министр внутренних дел предлагает отменить некоторые ненужные формальности. Вспомните, кино способствует сближению народов! Министр ничего не говорит о нуждах электрической промышленности: он падает эстетические наклонности депутатов. Вместо «Уэстерн электрик» — ноги Клары Боу... Позевывая от июльского зноя и скуки, депутаты голосуют: националисты, разумеется, «за» — они за национальные интересы г-на Гутенберга, «против» — конечно, коммунисты. Казалось, вот бы кому стоять за сближение народов! Но эти черствые представители одного класса не способны понять ни пения малиновки, ни морального кодекса, ни интересов «Сименса» и «АЭГ». Впрочем, они все равно в меньшинстве, их редкие реплики не доходят даже до стенографисток.

Поправка, принятая рейхстагом, дает министру внутренних дел право изменять «квоту» в зависимости от потребностей рынка. Доктор Вирт спешит заверить мистера Хейса: германское правительство не будет впредь слишком педантично придерживаться закона.

Карта двух полушарий: пестрая Европа, Америка мистера Ианга, загадочная Азия, пустоватая Африка — негры и антилопы, наконец, Австралия; не надо забывать об Австралии — там 1300 кинотеатров. После долгих разговоров земля наконец-то поделена. Немцам дают Центральную Европу, от Скандинавии до Балкан, а также Нидерландские колонии. 180 000 000 душ. Это империя «Клангфильм-Тобис-Кюхенмайстера». Американцы получают: Соединенные Штаты, Канаду, Индию, Австралию и Россию. В Англии — двойной протекторат: доходы делятся, — три четверти американцам, четверть — немцам. За право пользования патентом будет взиматься одинаковая дань с австралийцев и с норвежцев, с русских и с мексиканцев. Земля поделена на пятнадцать лет.

Договор, как и надо было ожидать, подписан в Париже. Правда, Париж в августе лишен июньского очарования: он пахнет горячей пылью и маргарином дешевых ресторанов. Театры закрыты, и все «звезды» — от «звезд» мюзик-холла до «звезд» парламента — в Довиле или в Биаррице. Однако Париж даже в августе — Париж, это столица мира. Это к тому же нейтральное место, здесь и американцы и немцы — только гости. Поблагодарим любезный Париж! Французы теперь вольны брать немецкие или американские аппараты. Они могут платить Давиду Сарнову, мистеру Оттерсону или г-ну Кюхенмайстеру. Они могут платить по своему выбору. Что касается размера платы, он строго установлен, им нечего беспокоиться: никто не скинет ни одного сантиметра.

Мир заключен. Не грохочут пушки. «Отель Монсо» и тот не вывесил флагов. Это не для публики. Для публики: Пола Негри разводится со своим вторым мужем. Для публики — новая картина: «Любовь в фелюге». Мир — это для высоких сердец. Мистер Оттерсон может славить господу в епископальной церкви, а мистер Блюм в пресвитерианской.

Вилль Хейс славит господу среди волн Атлантики, на палубе парохода «Иль де Франс». Он молится перед микрофоном:

— Я всегда был оптимистом. Вопрос о патентах наконец-то улажен. Мы пошли на уступки — ничего не поделаешь: в политике существует только возможное. Однако наши фильмы весьма популярны, и мы сохраним наше место. Мы воспитаем все народы мира!..

Большой кусок земли, помеченный на карте: «Россия», достался американцам. Давид Сарнов будет теперь продавать русским свои аппараты. Это куда интересней, нежели орден «Возрожденной Польши»! Мистер Оттерсон будет взимать за патент — пятьсот долларов с катушки. Правда, большевики преследуют все церкви: и епископальную и пресвитерианскую, но Россия — большая страна, с нее можно взыскать достаточно долларов.

Вилль Хейс, как всегда, бодро прыгает по своему кабинету. Вдруг лицо его меняется. Из малиновки он сразу становится орлом. Он грозен и суров. Исчезла улыбка. Прыжки стали роковыми. Телефонная трубка летит в сторону. Трудно поверить, но он сейчас жесток даже со своей возлюбленной, с невинной трубкой. Что же так его взволновало? Может быть, плутоватые немцы не толкуют как надо закона о «квоте»? Может быть, обанкротились «Братья Уорнер» — давно поговаривают, что они дышат на ладан?.. Может быть чехи или румыны взбунтовались против картин «Парамаунта»?..

Нет, вести куда мрачнее. Американцам принадлежит земля, помеченная на карте: «Россия». Русские должны покупать у нас аппараты. Хейс перечитывает телеграмму. «СССР»... Да, они зовут себя «СССР», это, конечно, глупо. Они должны называть себя согласно карте. Но не в этом беда — «СССР» оборудовал фабрику для производства аппаратов системы Шорина и Тагора. Предполагается вскоре выпустить серию говорящих фильмов...» Здесь Хейс теряет спокойствие: эти наглецы могли выбирать между мистером Сарновым и мистером Оттерсоном. Они посмели сами что-то придумать! Они изготавливают какие-то аппараты, не считаясь с постановлением Парижской конференции! Это неслыханная дерзость! Их надо срочно наказать!

Телефон. Мистер Оттерсон. Наказать! Мистер Сарнов. Покарать! Мистер Цукор. Запереть! Мистер Клерк. Сломать! Мистер Хейс. Алло, алло!.. Я разговариваю... Уничтожить!

Рабство в двадцатом веке! Принудительный труд! Демпинг! Преследование христиан! Библия запрещена! Сгоняют священников на работы: рубка леса! Изготавливают сами аппараты!

Без патентов! Против закона! Против бога! Покарать! Запереть! Уничтожить!

В Нью-Йорке показывают советскую картину «Турксиб». Тотчас прекратить это безобразие! Можно ли показывать честным пресвитерианцам, методистам и баптистам подобные низости? Наверное, социализация женщин. Убийство священников. Пытки. Они не слышали о нашем моральном кодексе. Постройка железной дороги? Возмутительно! Это сделано руками рабов, это хуже, чем в Либерии! Мы героически боролись за отмену рабства, об этом свидетельствует несколько хороших картин; даже негры у нас свободны — они могут ходить в кино на галерку. Как же после этого допустить пропаганду рабства? Сначала строят железные дороги, потом аппараты для говорящих картин. Алло! Цензуру штата Нью-Йорк! У телефона мистер Хейс...

Несколько часов спустя служащие спешно переклеивают афиши: замечательная драма — «Любовь кузины Анни»! В газетах коротенькое сообщение: «По требованию организации Хейса советский фильм «Турксиб» больше не будет допущен к публичной демонстрации».

Взлетев на тридцать седьмой этаж, малиновка удовлетворенно щебечет.

Триста миллионов еженедельно смотрят на экран. Кино — это сердце; вы ведь все знаете, что такое сердце, — червонный туз и стрела. Смотрите: «Сердце и честь», «Пылающее сердце», «Сердце победителю», «Король сердца», «Сердце в штанах». Кино — это красота: в Голливуде установлено — расстояние между глазами должно равняться длине одного глаза, верхушка уха должна приходиться на уровне брови. Кино — это «звезды», — Долорес дель Рио приручила двух медвежат, а Коллин Мур обожает козленка.

Давид Сарнов по-прежнему усмежается; никто не знает, каково расстояние между его глазами и на каком уровне находятся его уши. Он вполне равнодушен к сердцу, черви для него обыкновенная масть. Он не держит у себя ни козлят, ни медведей. Он только торгует лицензиями. Земля поделена. «Радио корпорейшн» ведет переговоры о покупке «Метро» и «Лоу». «Радио корпорейшн» занят приспособлением телевидения для нужд индустрии: кино на дому. «Радио корпорейшн» выпускает новые акции. Давид Сарнов усмежается. Что такое кино?.. Кино — это электропромышленность.



## 1. Кодак

Двадцатого июня 1896 года Джордж Истмен писал Томасу Эдисону: «Мы получили письмо от г-на Пирю — Париж, 5, бульвар Сен-Жермен, в котором он нас запрашивает касательно так называемых «живых фотографий»...»

Мистер Истмен узнал в точности, что такое «живые фотографии». Он куда богаче и Цукора и Фокса; но он не ломает головы над жалкими трюками, он не ищет подозрительных красоток, — нет, он только изготавливает пленку.

Другие миллионеры любят хвастливо рассказывать, как они достигли богатства и славы. Мистер Истмен никогда не говорит о своих заработках; он предпочитает более возвышенные темы: он говорит о музыке или о нравственных обязанностях гражданина Соединенных Штатов.

Он начал с «сухих пластинок». Картонные скалы, фон в виде цветущей яблони, маститые коммерсанты, преисполненные духовности, фата новобрачной, платье с буфами, семейное счастье, цилиндры, — вся живописная и ленивая жизнь минувшего столетия, благодаря усердию мистера Истмена, попадала в паспарту и густо облепляла стены жилищ.

Истмен был просто фабрикантом. Он изготавливал товар редкого любителя. Фотографии стоили дорого, и люди снимались только при особо торжественных обстоятельствах.

Истмен не мог этим удовлетворяться. Он мечтал о большем: «Мои желания ограничены только моей фантазией». Задолго до Форда он начертил заповеди: стандартное производство, низкая цена, заграничные рынки, хорошая реклама. Он уже знал, как изготавливать и как продавать. Надо было подыскать подходящий товар. Истмен придумал дешевые и удобные фотоаппараты. Он одарил все языки мира новым словом «Кодак». Сначала это было наименование фирмы, но кавычки быстро отпали. Туристы, снующие как мошकारа вокруг скал и развалин, теперь немислимы без этой детали: «он щелкал кодаком» — так значитя в любом романе.

Джордж Истмен охотно рассказывает, как он создал новое слово. Это сентиментально и поучительно. Девичья фамилия

его матери — Кильборн. Истмен — приемный сын. Так родилось первое «к». Два «к», однако, лучше. Эта буква с характером и сразу бросается в глаза. Необходимо найти слово, которое легко бы произносили люди во всех пяти частях света. Истмен человек на редкость одаренный: не будучи химиком, после долгих опытов он нашел нужную эмульсию; не будучи механиком, он построил модель портативного фотоаппарата; не будучи поэтом, он создал новое слово: «Кодак».

Остается придумать боевой лозунг. Истмен и здесь не прощает. Стены Америки покрываются соблазнительным приглашением: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное». Это всем нравится, это тотчас входит в быт. Ораторы говорят избирателям: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное». Банкиры теперь знают, что шептать доверчивым клиентам. Некоторые легкомысленные особы по-новому соблазняют подростков. Вся Америка нажимает кнопку. Мистер Истмен делает остальное.

На карте мира крохотные флажки — это отделения «Кодака». Париж и Мельбурн, Шанхай и Милан, Петербург и Лондон, Токио и Берлин, Константинополь и Кантон.

Джордж Истмен достиг богатства не только настойчивостью, но и бережливостью. Ему было пятнадцать лет, когда он впервые заработал пять долларов. Его сверстники тратили деньги на цирк или на сладости. Джордж внес деньги в банк. Он поступил в страховую контору. Ему платили три доллара в неделю — он был еще мальчиком. Он завел книгу и аккуратно заносил в нее все свои траты. Только одна пометка свидетельствует о некотором излишестве: 12 июля Джордж потратил пятнадцать центов на сливочное мороженое.

К приходу-расходным книгам мистер Истмен относится с нежностью — это его автобиография. Мистер Экерман решил написать научный труд, посвященный жизни distinguished творца «Кодака». Мистер Истмен не стал рассказывать мистеру Экерману о своих интимных воспоминаниях, нет, он только достал из шкафа приходу-расходные книги — вот она, его молодость!..

Легко нажать миллионы, куда труднее их потратить! Джордж Истмен остался скромным и неприсохливым. У него нет ни жены, ни детей, ни близких. Что ему делать с миллионами?.. Правда, у него прекрасный дом с садом и оранжереей — подобно Адольфу Цукору, подобно всем деловым аме-

риканцам, Истмен любит птиц и цветы. Он выращивает редчайшие разновидности роз. Он нюхает розы и умиляется. Но что значат даже самые дорогие розы по сравнению с доходами фирмы «Истмен-Кодак»?

Кроме роз, у Истмена еще одна страсть: он обожает музыку. Это скорей всего несчастная любовь. В молодости он хотел играть на флейте. Он учился не год и не два, но, постигнув легко химию и механику, он так и не постиг простой гаммы. Он не может узнать ни одного мотива. С грустью оставил он недоступную флейту. Недавно он пожертвовал 6 000 000 долларов на музыкальное училище имени Истмена — это любовь к музыке и это воспоминание о своей печальной страсти.

Мистер Истмен жертвует не только на музыкальные училища, он самый страстный из всех американских филантропов. Он старается потратить миллионы, оставаясь при этом скромным Джорджем Истменом. Но он знает, что не доллары спасут человечество: «Человек куда сильнее денег!» Истмен занят воспитанием Америки. С чего он начал? С пяти долларов, внесенных в банк!.. Он рассылает управляющим инструкции: «При выборе служащих вы должны руководствоваться моральными соображениями. Я никогда не брал займы ни одного цента. С ранних лет я приступил к сбережениям. Если рабочий живет не по средствам, если он берет займы, если он не откладывает на черный день, то он заведомо ненадежен, и ему не место на наших фабриках».

Истмен не любит тратить на пустяки. Однако в делах он отнюдь не скуп. Он боролся с фирмой «Энтени и К<sup>о</sup>». Он решил задавить противника. «Это нам обойдется довольно дорого, но, уничтожив Энтени, мы очистим поле, и наши деньги вернуться к нам с лихвой». Он уничтожил «Энтени и К<sup>о</sup>». «Патэ» долго сопротивлялся, но и здесь Истмен победил: он получил контрольный пакет. Остались только немцы. Истмен начал спускать цены. Он готов продавать в убыток. Он успокаивает встревоженных компаньонов: завтра мы отыграем все проигранное! Истмен смотрит далеко вперед.

Зоркие глаза принуждают его уделять немало внимания социальному прогрессу. «Я ищу не власть, но защиту труда». Как всякий деловой американец, Истмен презирует политику: «Патенты занимают меня куда больше, нежели выборы». Он любит подчеркивать свою терпимость: на его фабриках работают и протестанты и католики. Ему нет дела до религии рабочих, ему

также нет дела до политических убеждений. Он пишет референту о'Хирну: «Принцип нашей фирмы — никогда не вмешиваться в воззрения наших служащих...»

Вскоре после этого Истмен узнает, что один из его подчиненных, некто Джордж Девизон, пожертвовал деньги на анархический журнал. (Надо сказать, что для мистера Истмена все недовольные существующим распорядком — «анархисты».) Истмен не вмешивается в воззрения своих служащих. Он пишет Девизону любезное письмо: «Я вполне дружески к вам настроен. С интересом я слежу за вашей общественной деятельностью. Я отнюдь не хочу вас осуждать, я только указываю, что ваши убеждения несовместимы с вашей работой. Я надеюсь, что вы сами сделаете выводы...» Джордж Девизон оказался догадливым: в тот же день он получил расчет.

Мистер Истмен не вмешивается в дела рабочих; он не хочет, чтобы рабочие вмешивались в его дела. Он презирает демагогию. Другие фабриканты любят хвастаться: «Кю мне приходят рабочие с жалобами на беспорядки!..» Истмен сторонник организации. Рабочий подчинен мастеру, управляющий — директору фабрики, директор — мистеру Истмену. Так никто не теряет времени и ни у кого нет опасных иллюзий.

Полировщики и токари объявили забастовку. Они требуют, чтобы дирекция признала их профессиональный союз: делегаты союза должны иметь доступ на фабрику «Кодака». Истмен не на шутку рассержен: никто не вправе его контролировать! Он сам вышел из трудового народа, он любит рабочих, он жертвует на страхование и на дешевые жилища, но он никогда не допустит, чтобы рабочие совали нос, куда им вздумается! Это начало анархии!

Мистер Истмен не хочет, чтобы в его дела вмешивалось и государство. Когда глупые политики пытались установить минимум заработной платы, Истмен жестоко их высмеял: если повысить заработную плату, повысится стоимость жизни, рабочие от этого ничего не выиграют. Рабочие выиграют, если они будут энергичнее работать. Необходимо соблюдать равновесие! Конечно, наш долг заботиться о комфорте рабочих. Но не следует забывать о другой, столь же высокой обязанности: мы должны удовлетворять потребности публики. Разве рабочий не щелкает кодаком? Разве он не ходит в кино? Пленка должна стоить дешево. Поднять заработную плату — это преступление перед рабочим классом!

Истмен помогает рабочим строить в Рочестере маленькие домики. Это привязывает рабочих к «Кодаку», это также ограждает их от преступной пропаганды. В 1921 году, вследствие жестокого кризиса, мистер Истмен понизил ставки. Несмотря на это, рабочие продолжали строить домики: им помогала дирекция. В течение первых лет свыше шести тысяч рабочих стали домовладельцами. Но мистер Истмен не ограничивается постройкой домов. Рассказы анархистов способны увлечь даже американского рабочего. Истмен решается на смелый шаг: мы должны заинтересовать наших рабочих в прибыли. Для начала он выдает проработавшим свыше пяти лет два процента их годового заработка. Он объясняет: «Это не просто наградные, это результат вашей работы. Дела нашей фирмы идут хорошо, и мы уделяем вам часть наших доходов».

Истмен вводит конкурс на счастливые идеи. Он говорит рабочим: «Придумайте что-нибудь способное уменьшить время работы и тем самым понизить себестоимость продукта. Если дирекция воспользуется вашим изобретением, вы получите от одного до тысячи долларов». Теперь рабочие вместо глупых утопий займутся делом: каждому приятно заработать несколько лишних монет...

Истмен печется о здоровье своих рабочих: вентиляторы, пылесосы, гигиена. Ему удалось сократить число несчастных случаев. Он создал солидный фонд для пенсий: «Наша фирма уже не молода; настало время позаботиться о судьбе тех рабочих, которые состарились у нас на службе».

Несмотря на все благодеяния мистера Истмена, анархисты не унимаются. Дни Истмена отравлены сомнениями: то приключится на его фабрике забастовка, то он замечает глупую газетку. Повсюду он видит врагов: анархистов, социалистов, коммунистов. Куда только они не забираются!..

Истмен судится с фирмой «Анско». Это тяжба о патенте Гудвина. Хотя Гудвин заявил о своем изобретении на два года раньше, нежели «Кодак», мистер Истмен уверен в успехе: что значит «Анско» по сравнению с «Истмен-Кодаком»!.. Но вы забыли о кознях агитаторов! Мистер Истмен пишет: «Мы, наверно, победим, если на судей не окажут влияния социалисты и пропаганда, направленная против трестов...»

Мистер Истмен проиграл дело. Он подал жалобу в кассационный трибунал. Он проиграл вторично. Он заплатил фирме

«Анско» 5 000 000 долларов, и он проклял анархистов. Пять миллионов для фирмы «Истмен-Кодак» гроши. Дело в принципе. Анархистов надо уничтожить! Они куда опасней всех конкурентов. Речь идет не о дивидендах «Истмен-Кодака», а о благоденствии человечества.

Говорят, что социалисты любят красный цвет, ярко-красный, как кровь. Что же, это соответствует их преступным замыслам. Мистер Джордж Истмен предпочитает темно-красный цвет мастерских, где рабочие изготавливают хорошую пленку.

## 2. Первая тревога

Перед мистером Истменом пачка газет. Это не происки «Агфы». Это даже не волнения в Рочестере. Это катастрофа! Мистер Истмен знал Россию как хороший рынок. Там покупали немало кодаков. Там начиналась кинематографическая индустрия. Можно сказать, что мистер Истмен любил Россию. И вот Россия стала страной злоумышленников! Они национализировали фабрики. Они не платят долгов. Они не признают иерархии. Мистер Истмен глубоко возмущен. Он готов на все жертвы ради рабочих. Он жалеет обиженных судьбой. Он недавно пожертвовал солидную сумму на университет для негров. Но рабочие должны оставаться рабочими: вне этого нет ни труда, ни цивилизации.

Мистер Истмен пишет взволнованное послание своим рабочим: «В некоторых странах восторжествовал яд анархии. Граждане этих стран не видели опасности. Не будем столь беспечными в Рочестере! Злая пропаганда отравляет душу народа. Эта пропаганда проникает и к нам. Ваше благосостояние и ваш комфорт тесно связаны с процветанием фирмы «Истмен-Кодак». Мы хотим, чтобы у вас были удобные жилища, чтобы ваши дети посещали хорошие школы. Слава богу, среди вас мало зараженных! Нам трудно их обнаружить, вы их знаете: они работают среди вас. В ваших руках лекарство. Я забочусь не только о себе, но и о вас. Мы строим, а не разрушаем. Наша работа основана на взаимном доверии...»

Послание мистера Истмена напечатано и вывешено во всех цехах. Рабочие испуганно переглядываются: кого рассчитают?.. Времена теперь тяжелые — трудно найти работу. Особенно

обеспокоены те, у кого в Рочестере уютные домики, построенные с помощью дирекции «Истмен-Кодака»: что они будут делать, если их выгонят?.. Некоторые, половчей, начинают выискивать «агитаторов». Мастера предлагают поблагодарить хозяина за доверие. Приветственный адрес тотчас покрывается тысячами подписей.

Глядя на длинный перечень имен, Истмен удовлетворенно улыбается. Недаром он всю жизнь думал о благе своих рабочих! Русские прогнали и царя и фабрикантов. Но Рочестер не Россия. Здесь рабочие обожают мистера Истмена, здесь никогда не будет революции.

Умиленный Истмен диктует, как апостол Павел, второе послание. От всего сердца он благодарит рабочих. «Я знал, что опасные элементы у нас незначительны... Вы показали себя истинными американцами. Мы преданы свободе духа, и эта свобода нас предохраняет от революционной пропаганды...»

### 3. Агфа

Мощь в Германии определяется несколькими буквами: «АЭГ» — это электричество, «ИГ» — это химическая промышленность, это удобрение, газы, краски, это хороший урожай, дешевые продукты и дешевая война. Это также пленка, следовательно, любовь самых дорогих «звезд». На фабриках «ИГ» работает 85 000 рабочих. В конторах «ИГ» трудится 21 000 служащих. Дом «ИГ» во Франкфурте может быть справедливо назван дворцом XX века. Это огромное здание из стали и стекла. Ни орнаментов, ни картин, ни цветов. Это дворец синтетического азота, слезоточивых газов и магического целлулоида.

У «ИГ» много детей, одну из его дочерей зовут «Агфа». «Агфа» не занимается ни красками, ни поташом, «Агфа» изготавливает кинопленку. Сырье поступает с фабрик «ИГ». 5000 рабочих. Мир для них темен и загадочен. Они не видят обыкновенного света. Их зрачки с каждым годом перерождаются. Рыбы в подземных озерах слепы от рождения. Рабочие, однако, должны видеть: они стоят у машин. Пленку делают при темно-красном свете, панхроматическую — при темно-зеленом. Когда рабочие выходят на свет, они болезненно щурятся. Они не верят

ни солнцу, ни дню. Это слепые рабы, которые барахтаются под землей. Это обыкновенные рабочие фабрики «Агфа». У «Кодака» работают их товарищи. Рабочим легко сговориться друг с другом; но как примирить мистера Джорджа Истмена с директором «Агфы», доктором Вильгельмом Лауфером?..

Во время войны Истмен был горячим патриотом, день и ночь он работал на оборону. Он поставлял материалы для военных съемок. Он настаивал, чтобы солдатам показывали патриотические фильмы: «Это поднимет дух наших войск. Мы должны отпускать товар по возможно низкой цене. Я распорядился, чтобы наши отделения в Петрограде и в Милане сделали русскому и итальянскому правительствам соответствующие предложения...» Военное министерство почтило Истмена благодарственным адресом.

Но мистер Истмен великодушен: когда немцы сдались на милость победителей, он не хотел добывать лежачего. «Я никогда не соглашусь на длительный бойкот этой нации. Мы должны руководствоваться не чувствами, а разумом». Он выбрал из двух зол меньшее: лучше козни какой-нибудь «Агфы», нежели анархия. Он уже знал, что такое радиопередачи из оголтелого Петрограда.

Мистера Истмена не послушались. Союзники жадно накинулись на добычу. Тогда Истмен попробовал получить свою долю. Он не хотел ни контрибуций, ни унижений. Он хотел только взять «Агфу» и этим обеспечить за собой европейский рынок. Он поручил фирме «Герц» заняться переговорами. Но «Агфа» ничего не могла сделать без согласия «ИГ». Родители наотрез отказали жениху. Истмен пожал плечами и понизил цену на пленку. Он американец, следовательно, он оптимист.

Однажды обычное спокойствие ему изменило. Просматривая данные о вывозе «Агфы», он увидел, что Россия покупает в Германии ежегодно 185 000 катушек. Можно простить барыши, но ведь благодаря этой пленке анархисты ведут свою зловредную пропаганду! Весь день мистер Истмен хмурился. К вечеру он решил попытаться проникнуть в Россию: если эти разрушители хотят обязательно покупать пленку, пусть они покупают пленку «Кодака»!

«ИГ» повело наступление на Америку. Немцы заручились поддержкой некоторых влиятельных американцев. Патриотизм здесь не у места — дело касается дивидендов. В правление американского разветвления «ИГ» вошли: мистер Ригл из «Стан-



дарт ойл», мистер Эдсель Форд из «Форд мотор К<sup>о</sup>», мистер Майчель из «Нэшиональ сити банк»: нефть, автомобили, биржа. С такими союзниками не пропадешь!

Старый Истмен хмурится. Стоило ли начинать с приходо-расходных книг, пятьдесят лет трудиться, не переводя дыхания, корпеть над эмульсией и патентами, чтобы потом оказаться под ударом каких-то беззастенчивых европейцев? Правда, интересы «Истмен-Кодака» ограждены таможенными, но мистер Истмен не верит в волшебство шлагбаума. Он знает, что всегда можно найти лазейку. Не раз он обходил таможенные рогатки. Он изготавливает во Франции пленку «Патэ-Кодак». Это французский товар, над ним трудятся французы; закон соблюден, а вот доходы идут Истмену. Наверное, и немцы не сплouxут...

Немцы не сплouxали. Они начали переговоры о покупке американской фирмы «Анско». Они строят фабрику пленки в Америке. Они не будут платить высокой пошлины. Они дадут работу нескольким тысячам безработных. Куда приятней изготовлять панхроматическую пленку при темно-зеленом свете, нежели натоцк торговать яблоками на светлом Бродвее!

#### 4. При темно-красном свете

Они работают в Рочестере у «Кодака», в Битерфельде у «Агфы», в Венсен у «Патэ». Ведь без них не было бы ни Цукора, ни Фокса, ни штиблет Чаплина, ни «Кровавой любви», ведь без них не было бы кино. Они делают пленку, нежную лимонно-желтую пленку, еще не выдавшую света, еще чистую от всех унылых снов, от великодушных полицейских и от полураздетых красавиц, длинную пленку с аккуратными дырочками, миллионы и миллионы метров.

Эмульсию пропускают через холодильники. В темных мастерских температура ниже нуля. Ни света, ни тепла. На экране — «Любовь в снегах»; здесь только зябкое томление, люди ежатся и работают: один стоит у экрана, другой отодвигает рычаг, третий следит за струей. Сколько их? В темноте глаза едва различают тени. Может быть, сто. Может быть, двести. Изо дня в день: рычаг, кран, струя. Каждую пятницу в театрах меняют программу, одна «звезда» приходит на смену другой, мистер Истмен нюхает цветы и предается благотворительности;

здесь — холод и темнота, здесь ничего не меняется: так же течет струя. Здесь люди работают.

В мастерской, где производится перфорация, тот же мрак, но вместо уныния мертвецкой — неистовый шум. Рабочие ничего не слышат. Уши им не нужны, им нужны только глаза, чтобы не ошибиться, не отдать машине своих пальцев. Величайшая точность требуется в определении перфорации. Здесь самые усовершенствованные машины; они никогда не ошибаются. Если здесь что ни день происходят несчастные случаи, то машины в этом не виноваты: ошибаются рабочие. Для них существуют приемный покой и социальное страхование. Отхваченные пальцы никак не могут отразиться на высоком качестве пленки.

В одной мастерской рабочие задыхаются от ядовитых испарений, в другой, пронизываемые вечной сыростью, они неминуемо заболевают, в третьей они зябнут, в четвертой глохнут, в пятой покрываются рябью экземы, во всех они не видят обыкновенного света крохотной свечки: это кроты, это летучие мыши, это жалкие карпы подземных вод.

Они кашляют, волочат ревматические ноги, трут воспаленные глаза; после стольких-то часов работы, как и все люди, они бродят по миру, освещенному солнцем или лампами. Как все люди, они вечером идут в кино. Темные залы им кажутся светлыми. Они хмурятся. Они смотрят «Любовь в аду». Это очень увлекательная картина. Как все люди, они сочувственно вздыхают над муками симпатичной «звезды». Они трут пальцами глаза: может быть, потому, что им жалко эту девушку, может быть, потому, что они работают на фабрике пленки.

## 5. Страусовое яйцо

Мистер Истмен не оробел перед немцами. Он продолжает трудиться. Он верит в будущее. Ему уже за семьдесят. «Истмен-Кодак», как прежде, дает прекрасные дивиденды. Легко заработать миллионы, труднее от них избавиться. Возраст мистера Истмена заставляет его призадуматься: что ему делать с деньгами?.. Тогда, как Рокфеллер, он начинает жертвовать. Это мудро, и это непреложно, об этом сказано в Библии: «Всему свое время, время собирать камни и время бросать их». Когда-

то люди зарабатывали на тихую старость. Это было до Рокфеллера, до Истмена, до нашей эры. Теперь в руках одинокого старика — миллионы, и старик испуганно озирается. Он как бы хочет расквитаться с людьми. Он брал. Теперь он дает.

В течение нескольких лет Джордж Истмен пожертвовал на различные просветительные начинания 55 000 000 долларов. Ему ничего не нужно для себя! Вот только пусть механический институт называется — «имени Истмена»! Он обессмертил себя одним придуманным словом: он — это «Кодак». Он оставил после себя фабрики, заводы, цеха, магазины: гигантский трест. Но ему этого мало. Он ничего не оставит после себя: ни детей, ни тепла. Он прилепляет свое имя к высокому дому, где мальчики проказничают в перемену, где смех и жизнь.

По-прежнему Истмен утешается розами и музыкой. Каждое воскресенье он устраивает у себя музыкальные вечера. Гости слушают музыку и с почтением смотрят на великого хозяина.

Истмен устроил в Рочестере кинотеатр. Он говорит: «Кинематограф — это брат музыки». Он любит экран, он любит также пленку; деятелей кино он недолюбливает — это подозрительные люди. Только одного человека он встретил в этом мире теней — Адольфа Цукора. Что сближает их? Может быть, любовь к музыке и розам? Или презрение к анархии? Или, наконец, легкий привкус тленности мира?.. Они нежно любят друг друга.

Однажды Цукор был в гостях у Истмена. Вдруг он исчез. Его нашли в детском госпитале. Этот госпиталь содержится на средства Истмена. «Папа Цукор», растроганный музыкой и дружбой, тотчас же выписал чек: в пользу бедных ребят. У этих детей действительно отзывчивые сердца. Мистер Истмен поручил мистеру Цукору оборудовать театр в Рочестере для демонстрации говорящих фильмов. Как-никак это дело: в театре 3400 мест. Цукор не только сердечный человек, это также человек деловой, он сумеет наладить предприятие!

Джорджу Истмену уже за семьдесят. Не пора ли передохнуть? Пленка, патенты, представители, процессы, акции... Когда ему становилось невмоготу, он либо нюхал розы, либо читал полицейские романы. Теперь настало время отойти в сторону, издали взглянуть на свою бурную жизнь...

Мистер Истмен решил убежать от мирской суеты, убежать, как убежал от своих домашних старый Толстой. Уединиться. Подумать о близкой развязке. Стать под конец не директором фирмы «Истмен-Кодак», но просто человеком.

У мистера Истмена слишком много денег. Ему слишком легко убежать от мира. Он убегает, конечно, не в соседнюю деревушку, он убегает в доподлинную глушь. Все газеты сообщают о важном событии: мистер Джордж Истмен решил совершить путешествие в Африку.

В Африке много простора, там пальмы и негры, там никто не берет патентов, и никто не борется с анархией. Истмен, наконец, отдохнет в Африке!

Несмотря на свои лета, он еще бодр и подвижен. Он ездит, смотрит, нюхает диковинные цветы. Жизнь сулит ему много неизведанного: ему, например, подносят яйцо страуса. Туземцы почитают эти яйца за святыню, но мистер Истмен — культурный американец; он ест яйцо страуса всмятку. Этот торжественный акт тотчас запечатлевается с помощью кодака, и вскоре все рабочие Рочестера любят прутью их старого хозяина. Рабочие продолжают стоять у рычагов: холод, жар, визг, мрак. Мистер Истмен вдали от мирской суеты кушает яйцо страуса.

Однако он никуда не ушел от суеты. Он не может забыть о пленке. Он оставил в Рочестере мистера Лоеджойса и мистера Стюберта. Борются ли они с анархией? Не понизилась ли производительность? Над скорлупой яйца Истмен шепчет:

— Я ушел только на время... Я хочу посмотреть — справятся ли они без меня?..

Пальмы, негры, страусы. Но Джордж Истмен озабочен. Он все время думает о пленке. Он даже не успел подумать о близкой развязке. Он только печально вздыхает: справятся ли они? Не теперь... потом... когда я уйду навеки...

1931

## Постскриптум

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке. Ему было семьдесят семь лет, когда он решил закрыть текущий счет. 14 марта 1932 года в Рочестере собрались гости: мистер Джордж Истмен пригласил их к завтраку. Гости говорили о музыке и о кризисе. Мистер Джордж Истмен любезно улыбался. Потом мистер Джордж Истмен вышел в соседнюю комнату. Оттуда раздался выстрел.

«Нажмите кнопку, мы сделаем все остальное!»

1933

## 1. Сказка Андерсена

Ивар Крейгер идет по Курфюрстендаму. Он высок, светел и нежен, как березка Далекарлии. Завидев его, все улыбаются: и молоденькие приказчицы, и немощные, чересчур уже трогательные фиалки — этот человек создан для любви, для любви высокой, светлой и нежной. Завидев его, благодушно помахивают фокстерьеры своими обрубками, а полицейские белыми перчатками. Собаки думают: у него, наверное, в кармане сахар, полицейские: это, скорей всего, киноактер, он играет только благородных «бобби». Завидев его, начинают лирически позванивать колокола Гедехнис-Кирхе, дурацкой кирки, поставленной среди кабаков и модных лавок, дабы придавать вкус приятной тленности всему: тем же фиалкам, дамским бедрам, даже пшеницелю. Колокола и те, завидев Крейгера, выводят аллилуйю.

Крейгер смущенно улыбается; улыбка эта пристала бы скорее школьнику, а Крейгеру за сорок. Он улыбается миру — ведь мир, весь, тот, что в атласе, и тот, что «на самом деле», принадлежит ему. Позавчера перед ним плакал министр Румынии. Он говорил о нефти, о кознях либералов, о своей больной жене. У него были щеки сырые, как кладбищенская глина. Крейгер мог бы его добить. Румыния теперь лежит хрустящей пачкой в портфеле. Сегодня утром Крейгер отправил кабель в Лиму. Он продиктовал условия. Для простодушного «сеньора» — это короткое сообщение на шестой или на шестнадцатой странице, обыкновенная операция: какой-то европеец дал займы, а получил в залог не коши, не землю, но нечто вовсе малопонятное: «монополию». Крейгер, однако, знает; империя инков — его, хотя он там никогда и не был, хотя он не выносит ни ананасов, ни жары, ни попугаев.

Спросите биржевика, что за штука этот Крейгер, биржевик начнет отщелкивать: спичечный трест, руда Кируны, банки, дома, телефонные компании, множество имен и цифр. На первом месте, однако, спички, хотя спички — явный вздор, хотя ради спички никто и с места не двинется. Вот уж на что все плюют! Голодранец и тот преподнесет вам коробочку. Самая

мелкая из всех медяшек. Так-то так, а для Крейгера спички — миллионы, трепет биржи, стыдливый сон о новой империи.

Когда Ивар был маленьким, он строил город из пустых корбоек: кондитерские, дворец, крепость. Пушки басили. Иней на стеклах рассказывал другим, обыкновенным детям вздорные сказки: о звездах, о страусах, о колдунах. За стеклами кутались в морозный пар желтые фонари. Редкие прохожие, бюргеры достопочтенного Кольмара, толковали о божьих, о насморке, о жизни. Где-то, среди рождественских сугробов, девочка Андерсена, замерзая, жгла за спичкой спичку. Мир был путанным и нежным, как метель. Ивар знал, что у отца маленькая фабрика, на ней делают спички; он знал, что «спички не бриллианты», надо это помнить, вот не ерзать на коленках — штанишки продерутся.

От мечтаний Карла XII остались статуя на одной из площадей Стокгольма, главы учебника — мытарство детворы, да, пожалуй, воинственные бравады капитанов в отставке за бутылкой паечного пунша. Новый век кичится не военными трофеями, но цифрами годовых балансов. Дело короля-романтика осуществляется чрезвычайно скромный человек, в обыкновенном пиджаке, без шпаги, даже без одописца. Он беседовал с Пуанкаре о спасении франка и о блеске латинской культуры; представителям немецких рабочих он объяснял, как надлежит им бороться с безработицей, в Москве он упоминал о кредитах, которые смогут помочь индустриализации Советского Союза. Этот человек торгует самым дешевым, самым ничтожным товаром: коробками спичек. Год за годом, страну за страной, он умело прикарманивает мир.

Швеция. Зима. Он идет по улице. Сквозь покрытое инеем окно на него смотрят ребята. Старший говорит:

— Это Крейгер.

Дети притихают. Он же благодушно сбивает палкой сосульки. Ей-ей, он куда больше ребенок, нежели они! Он увидел приплюснутый нос и дружески улыбнулся. Интересно, о чем теперь мечтают дети?.. Все еще о девочке Андерсена? Или о Карле XII? Или сразу о Рокфеллере? Кто их знает!.. То, о чем он мечтал, готово сбыться. Вот только в одном он ошибся. Крейгер громко смеется на пустынной улице, среди почтительного снега. Ну да, он делает не бриллианты, а спички! Это куда занятней!..

## 2. Мир и осина

Министры разных государств — это те же спичечники, только более жадные и более продувные. На счастье, ни у кого нет денег; все передрались, расколотили что только могли, обносились, отощали, а теперь, этак горделиво подбоченясь, кланчат милостыню. Деньги в Америке. Крейгер хорошо знает грязную узенькую улочку, которую зовут «Уолл-стрит», и люди Уолл-стрита хорошо знают Крейгера. Они верят в звезду молодого шведа. Европейцы — или болтуны, или прохвосты. Они говорят пространно о культуре, а долгов не отдают. Другое дело Крейгер — это толковый малый. Какой понимающий американец выложит хоть доллар румыну или поляку? Крейгеру? Пожалуй-ста, и притом за скромные проценты. Съездив в Нью-Йорк, Крейгер может разговаривать с Варшавой.

Пан министр, усатый и сентиментальный, сначала задается. Все наладилось. Добыча угля растет. А цинк? Здесь Польша на первом месте. После короткого кризиса лодзинские текстильщики завоевали Балканы...

— Стоит только взглянуть на улицы Варшавы, чтобы заметить подлинное оздоровление...

По улице трусливой рысью бежит еврейчик, с пейсами и с ветхой грустью: он ищет, кому бы запродать вагон мануфактуры. Впрочем, Крейгер не смотрит на улицу. Он знает цифры бюджета. Он не мешает хвастливому поляку всласть поговорить. Пан министр давно уже с лодзинского перкала перешел на мировую политику:

— Мы являемся единственным барьером... Советы — в клетке... Наш воздушный флот за последние два года...

Он знает, что Крейгер не договорился с русскими. Пусть тогда содержит поляков: такова мораль географии!..

Беспечно улыбаясь, министр касается финансов: злот непоколебим, как доллар. Польша может обойтись без иностранных капиталов...

Здесь Крейгер, сглотнув зевок, добродушно говорит:

— Я могу вам дать пять миллионов долларов. Возможно, шесть. Но не больше.

Пауза. Пан министр тяжело дышит, кончики его усов дрожат, папироса потухла. Крейгер вынимает из жилетного кармана зажигалку — в личном обиходе он не признает спичек:

— Пожалуйста... Итак, при благоприятных условиях — шесть. За это вы мне предоставляете...

Вечером в салоне пани В. министр, целуя ручки дам, самодовольно сияет. Пани В. спрашивает гостя:

— Когда же вы мне представите этого шведа? Я слыхала, что он очень красив и к тому же не глуп.

— В мужской красоте я мало что смыслю. Конечно, Крейгер не глуп, но простоват, я сказал бы, наивен...

Несколько дней спустя по улицам Варшавы шмыгали полицейские, усатые и сентиментальные, как пан министр. Они поспешно отбирали у мальчишек вечернюю газету. Какой-то оголтелый журналист писал: «Мы отданы на двадцать лет в кабалу Крейгеру. Наш министр даже не потрудился...»

Министра особенно задела эти слова: «не потрудился...» Нахал! Разве он знает? Я торговался из-за каждого года, как баба на базаре. Но что же можно поделывать с этим шведом? Он хитер, как черт. И потом, это главное — вы слышите меня, господин писака? — у него деньги, и не злоты, а доллары...

За Польшей последовали Югославия, Австрия, Венгрия, Чили, десяток государств. С Францией Крейгеру пришлось познакомиться. Только-только завел он беседу по сердцам с Пуанкаре, как подоспели выборы. Болтуны кричали о свободе, они даже заверяли (правда, вполголоса), что они «прямые внуки якобинцев». Пуанкаре пал. Пал и франк. «Внуки» притихли; они призвали на выручку Пуанкаре. Крейгер возобновил прерванный на полуслове душевный разговор. Он одолел и Францию.

Остаются две страны. Во-первых — Аргентина. Откуда такое своеволие? Уж не собираются ли сутенеры Буэнос-Айреса свергнуть Ивара Первого?.. Нет, это просто дело вкуса: аргентинцы признают исключительно восковые спички. Они закупают в Гамбурге томных евреек из Лодзи, они танцуют танго, они даже пишут изысканные поэмы в стиле парижских сюрреалистов, — словом, это завзятые эстеты. Им нравится воск. Крейгер смеется — он проживет и без Аргентины.

Это одна страна. А другая?..

Крейгер больше не смеется. Он хмур и молчалив. Кого вспоминает он сейчас: старых своих героев — Карла, Бонапарта — или, может быть, сэра Генри Детердинга? Шестая часть света! Да, это не Аргентина! Однако разве мало ему пяти шестых? Россия?.. Россию можно и вычеркнуть. Но как же быть с осинной?..



Далеко от Крейгера, в крохотной деревушке Полесья, старая бабка, так и не дошедшая ни до Маркса, ни до пятилетки, шамкая, как земля в оттепель, наставляет своего внуочка:

— Осина-то проклятая дрожит, потому стыдно ей, на ней Иуда удавился, взял деньги, а потом затосковал, да так затосковал, что удавился, а удавился он на осине, вот и дрожать ей до самого скончания...

Крейгер многое знает, он куда умней бабки, но на каком дереве повесился Иуда — этого он не знает. Повесился? Зачем? Взял деньги и повесился? Вздор! Осина — дерево. Из осины делают спички. Осина — в России. Значит, нужно или изобрести поддельную осину, или взять себе Россию. Он не ботаник. Он в душе полководец, а по профессии финансист. Что же, он попробует заполнить Россию!

Он побывал в Москве. Отель «Националь». Какие-то растегаи.

— Я мог бы вам предложить...

Русский как будто и не расслышал заманчивого предложения. Он вежливо улыбнулся и сказал:

— Не хотите ли вечером посмотреть наш балет?

Крейгер усмехнулся: у русского про запас имелось коротенькое слово — «осина».

Он уехал из Москвы с пустыми руками: ни монополии экспорта, ни сырья. Он злился: надо им показать, что такое Крейгер! Спички — это, товарищи, не нефть! Там вы посмеиваетесь, глядя, как Детердинг дерется с американцами. Здесь я — самодержец. Живите, как знаете. Мне нужно только одно...

Крейгер смотрит в окно вагона. Леса, леса... Он вздрагивает: ну да, конечно... Вдоль колеи, унылый, дрожит осинник. Заспанная баба машет флажком. Нахмурясь, Крейгер опускает штору.

### 3. Война

Это не аллегория, не зажигательные прокламации Коминтерна, это обыкновенные спички из настоящей осины. В Москве они пазываются грозно: «Ультиматум», и на коробке изображен патетический кулак. Для экспорта их одаривают более деликатными именами: «Феникс» или «Прометей». Суть, впрочем, не в именах, а в цене: эти спички куда дешевле крейгеровских.

Вот она, козырная карта! Легко Крейгеру забыть какого-нибудь швейцарского или бельгийского фабриканта, но здесь перед ним государство, пусть ослабленное войной и разрухой, пусть со сведенным животом и в перелицованной косоворотке, зато с упорством, с упорством и с осиною.

Одна из первых битв дана была в Греции. Во дворце сидел знаменитый Пангалос, охраняемый опереточными часовыми. Греки в своих «кофейнах» жевали тягучий рахат-лукум и горячились, не иначе как из-за мировой политики. В это время агенты Крейгера — их вернее назвать трогательными миссионерами — просвещали душу Пангалоса. Они доказывали ему, сколь горька, да и мимолетна греческая коринка по сравнению хотя бы со шведскими кронами. Советские спички стоили дешевле; несмотря на все козни треста, они выдержали соответствующие испытания. Но миссионеры трудились даром: Пангалос закурил одну из своих последних диктаторских папиросок крейгеровской спичкой. Вскоре его перевели из дворца в тюрьму. Договор, однако, был подписан.

Москва не унывала. Вскоре в Египте появились кокетливые корбочки с пирамидами. Крейгер в раздражении отбросил прочь коробку: он знает, откуда эти пирамиды! Русские укрепились и в Турции. Они начали пробираться в Марокко. В центральной Америке запестрели желтые корбочки: «*Zos fosforos de Russia son los mejores*».

Крейгер приглашает к себе сотрудника газеты «Times». Он готов раскрыть ему свою тайну: молодой шведский инженер недавно изобрел новый способ обработки дерева, позволяющий спичечной индустрии Европы освободиться от восточных влияний. Дерево, обработанное по этому способу, не ломается, и оно превосходно горит, побивая на испытаниях осину.

Все газеты мира писали о новом изобретении. Один французский радикал, сообщив на банкете о шведском трюке, воскликнул: «Так человеческий гений побеждает варварство большевиков!..» В Двинске некто Соловейчик, продававший крейгеровскому агенту осину, узнав об открытии, заболел острой неврастенией. Только в Москве выдерживали тон: «Посмотрим, что за штука!.. Как-никак мы обойдемся и с осиною...»

Крейгер удвоил энергию. Он столкнулся с русскими на торгах в Тунисе. Дело шло о поставке двадцати миллионов ящиков. Крейгер выступал, как трипостасное божество; он был и

шведом, и итальянцем, и бельгийцем. Он шел на все. Швед и бельгиец, услышав предложения Москвы, отступились. Тогда Крейгер, третий, тот, что итальянец, назвал баснословно низкую цену. В убыток? Пусть! Крейгер согласен разориться, лишь бы добить врага.

Он получил Тунис. Он улыбнулся, как ребенок. В тот же вечер он узнал о новой выходке Москвы: русские получили спичечную монополию в Боливии. Страна Боливия не бог весть какая, но здесь важен почин. Куда только они не пролезают!

Спора нет — теперь воюют две великие державы: белокурый швед родом из Кольмара и Союз Советских Республик. Инженер, говоря правду, пока ничего не изобрел, сам инженер изобретен Крейгером. Однако у Крейгера тополь; хотя это не осина, это все же добротное дерево. За качество ему опасаться нечего, русские — неряхи, у них плоха обмазка. Другое дело — цена. Вот в Англии их спички вдвое дешевле крейгеровских. Надо с этим покончить!..

Враги не утомились. Они пробрались в Англию. Они пробуют вытеснить Крейгера из Дании. Они прокрадываются даже в Швецию, — да, да, эти озорники с осиною пытаются подсунуть чистокровным шведам, землякам Ивара Крейгера, свои, советские спички! Дальше идти некуда! Впрочем, не эти сентиментальные проказы волнуют Крейгера. Пусть тешатся. Он сейчас занят другим: настало время завершить покорение Германии. Еще в годы инфляции за бесценок скупил он две трети немецких фабрик. Все было бы хорошо, если бы не эти сумасброды... Россия должна продавать Крейгеру осину. Вместо этого она продает немцам спички. Она хочет завоевать рынок. Она хочет раздобыть валюту. Здесь-то Крейгер выходит из себя. Он грозится: «Я сумею ответить! Ваша спичечная колония — это Персия. Что же, я вас выживу из Персии. Я не пропустил вас в Тунис. Вы пробовали пробраться и в Египет. Но вы даже не знаете, что эти кокетливые архаики признают только крохотные коробочки. Я знаю. Я все знаю. Шутя я выбью вас из Египта. Вы все еще настаиваете? Вы хотите разбить меня в Германии? Не лучше ли потолковать на досуге?.. Главное — это калькуляция!»

Крейгер любит считать. Он считает хорошо и быстро. Никогда он не откладывает решения. Столько-то миллионов крон, столько-то лет, такие-то условия. Не прошло и четверти часа,

как он отвечает: «Пункт А — согласен, пункт Б — ни в коем случае, пункт В — понизить на одиннадцать миллионов». Почему же не на десять и не на двенадцать? Крейгер уже все взвесил, все подсчитал до мельчайшей детали. В быстроте и в точности его сила.

Он предлагает: откажитесь от конкуренции в Германии. Мне — осину. Вам — заем. Мне — проценты. Мне — держава. Вам — жизнь... Строптивая страна упирается. Тогда Крейгер начинает обхаживать Германию, точь-в-точь как классическую Маргариту. Он заговаривает министров, заводчиков, политиков, даже рабочих. Социал-демократы в благородном негодовании пишут: «Только высокие пошлины могут спасти нашу спичечную промышленность и предотвратить рост безработицы». Разве вы не знаете, что Крейгер — это традиционный защитник пролетариата? Ликвидируя убыточные предприятия, он выдает работницам, даже престарелым, приличное приданое. Конечно, Мюллер социалист, и он против нападков Китая на Советский Союз, но он также против безработицы. Ничего не подделаешь — он за Крейгера. Говорят, что спички подорожают. Но ведь все дорого, а спички — это мелочь, тем паче розничные цены почти не меняются: разница застревает в карманах посредников. А Венгрия? Там после победы Крейгера спички вздорожали втрое. Что же, посмотрим... Как-никак национальная промышленность. Борьба с безработицей — долг каждого честного бюргера. Журналисты трудятся вовсю: ведь это совестливые немецкие журналисты. Они не отдаются, подобно их латинским собратьям, на час или на два кому только вздумается — румынскому шулеру, опереточной диве или фабриканту «крема молодости» — за несколько сотенных, за отменный завтрак, за один лаконический жест, за руку, поднесенную к чековой книжке. Нет, немецкие журналисты — это порука добродетели: они идут на содержание только к солидным людям. Крейгер никогда не подкупает: он покупает. Так целые страны превращаются в домашнее хозяйство, а независимая пресса — в очаровательный птичий двор.

Крейгер отнюдь не тщеславен: ни интервью, ни фотографии. Подготовка закончена. Так называемое «общественное мнение» уже проставлено крупной цифрой в графе расходов. Господин Крейгер теперь разговаривает с министром финансов: «Пункт А — монополия мне, пункт Б — пятьсот миллионов вам». Дыхание в такие минуты теряет привычный свой

ритм. Сигара господина министра, немецкая национальная сигара, погасла. Погасшая сигара, как известно, пахнет никотином и смертью. Собеседник деликатно подносит господину министру национальную немецкую спичку, изготовленную на одной из фабрик Ивара Крейгера.

#### 4. Лирическое интермеццо

Леса Швеции — это спички, крохотные коробочки, желтые, синие или красные, с парходами, с гербами, с пламенем: «Соло», «Гелиос», «Аврора». Во всех подворотнях мира беспризорные дети, инвалиды, слепые, хромые, жалкий брак природы, или же герои отечества с проблематической пенсией — в дождливые жестокие вечера жалобно выкрикивают: «Спички, шведские спички!» Это сказка Андерсена, и это будни человечества: итальянка зажигает нищую жаровню, варшавские евреи — субботние свечи, истопник отеля «Виктория» — гигантскую печь, а Ивар Крейгер — египетскую папиросу. Спичка горит несколько секунд. О ее краткой жизни любят взволнованно говорить лирические поэты. Что касается Крейгера, то он, избегая символическую поэзию, дает миру спички, а мир — мир берет себе.

Итак, он идет по Курфюрстендаму, и все ему улыбаются: ведь люди, которые здесь прогуливаются, заведомо праздны, тем паче и час такой — банки уже закрылись, а проститутки еще не вышли на работу. Только продавцы спичек суетятся; они вносят некоторое разнообразие в эту толпу, одинаково одетую (модный цвет — темно-каштановый) и одинаково откормленную (после пятичасового чая). Вот идет слепой, он идет прямо-прямо, тихо постукивает он железной палкой о тротуар. Его глаза, синевато-молочные, жестоки, никто в них не смеет взглянуть. Он проходит среди барынек и фоксов, как припоминание: не то библейская страница, не то скверный сон, из тех, что снятся после званого ужина. Впрочем, он не душит и не твердит о близком возмездии, он только горестно покрякивает:

— Спички! Купите спички!

Вот в подворотне — ком мяса. Вместо ног — короткие культяпки. Кто его так забавно обстрогал: мать-природа или

рьяность фельдмаршала? Он валяется вроде окурка: не подмели. Однако и ком гнусавит:

— Спички! Купите спички!

Потом безрукий: спички на коленях. Потом немой, этот только многозначительно мычит. Старуха, вся трухлявая, готовая тотчас же рассыпаться: «Купите!..» Паршивые ребята, с глазами гнойными и ангельскими, с рябью экземы, с золотым детством и с золотухой: «Спички!..» Это — бесовская орда; она снует, корчится, кряхтит, скрежещет; среди вящей красоты Берлина, среди собольих манто и «роллс-ройсов» она пахнет тряпьем, койками, мочой, чесоткой; она полна звериного отчаянья, она вышла из тюрьмы и поджидает места на городском кладбище, она уже окружена кишением червей, она, однако, еще жива: голодны сейчас не черви, она голодна, и вот всем этим темно-каштановым, после пяти часов, она сует несчастные коробочки: спички! ради бога! не ел два дня! четверо ребят! отняли ноги! кинусь в Шпрее! спасите! коробочку! одну! спички! спички!..

Крейгер невольно прислушивается: его как будто окликают по имени: ведь он и спички — это одно. Он задумался: нелепая судьба! Он связан с этими; как они, он жив только спичками. Они и он. Все остальные равнодушны: что им спички? У них автоматические зажигалки. Или кухарка покупает утром пачку: на пфенниг меньше, на пфенниг больше, что по сравнению с маслом или сахаром? Лавочник, снисходительно усмехаясь, кладет в кошель еще один пакетик, самый ничтожный, — конечно, без спичек не обойдешься, но разве это товар? Какие спички? Да самые обыкновенные — не все ли равно какие, немецкие или русские, лишь бы зажигались. Вот поглядите: толстый господин долго выбирает сигару, он любит форму «Согопа» и светло-бежевый тон, полегче, из суматрского табака, у него ведь слабое сердце, но, конечно, чтобы была ароматична... Приказчик, низко кланяясь, дает в придачу коробочку спичек. Тот рассеянно сует в карман. Приказчик торгует сигарами, толстяк арифмометрами. Это подлинные вещи! А спички — милостыня, чтобы отделаться от гнуса выхлипываний, чтобы расплатиться за свое спокойствие перед всевышним и людьми. Так для всех... Но для того безногого, что преглуло валяется на тротуаре, — Крейгер чуть было на него не наступил, — для безногого спички — жизнь: работа, надежды, обед, ночлег. Точь-в-точь Крейгер!

Впрочем, скоро он выметет всю эту нечисть! При монополии им придется оставить спички. Пусть продают шнурки для ботинок! Спички — понятие высокое, им не место на улице, спички следовало бы продавать в аптеке. А нищие либо приспособятся, либо умрут. Здесь сентиментальные особы не преминут потолковать о бессердечности голубоглазого; примитесь-ка за устройство мира! Все страдают, даже спичке больно. В Чили Крейгер, получив монополию, прикрыл все спичечные фабрики. Рабочих — на улицу. (Интересно, кстати, имеются ли там улицы, вот как эта?) Что делать, он несет порядок, а тем или этим — гибель. Люди не могут быть счастливы; счастье скорее всего — свинство. Вот он, Крейгер, — разве он счастлив? Конечно, работой он доволен, сегодня, например, он прижмет к стенке немцев. Конечно, приятно проснуться утром, когда на дворе солнце, или же произвести безошибочную калькуляцию. Но разве это счастье? Счастье — низость. Это нечто звериное, это смерть заранее. Отстаньте, расступитесь, призрак! Крейгер светел, Крейгер — разум. Крейгер не гуляет, он идет. — Спички! Купите спички!..

Проклятые, не отстают! Крейгер старается не глядеть на все их убожество, однако одна рука, особенно назойливая, личинкой вьется перед его глазами. Он невольно глядит; посмотрев, он уже не может оторваться. Это преступное любопытство, связанное с тошнотой и с самомучительством ребенка. Рука старика, который все еще надеется всучить сердобольному господину коробок, заживо гниет, она сочится зеленоватым гноем — что за восхитительный тон! Глаза венецианки или же колье из опалов... Крейгер приостановился. Он пробует вздохнуть как следует, глубоко, до конца, но дыханья нет, сердце бьется, он теперь чувствует свое сердце. Рядом с ним не человек, а труп, да, обыкновенный труп, в шесть пополудни, на людном Курфюрстендаме, и вот труп сует ему спички: «Хорошие!.. Шведские!..» Крейгер растерялся. Он ничего больше не соображает. Так сказываются вдруг восемнадцать лет: скупка фабрик, торги, переговоры, осина — словом, все то, что, создавая видимость бытия, начисто съедает человека. Следовало бы прикрикнуть на попрошайку; вместо этого Крейгер не только дает ему монету, он зачем-то берет из трупной руки коробочку. Нельзя даже сказать, что он задумался, нет, он ни о чем не думает. Он шагает машинально. Только улыбка сохранилась; этой улыбке уже пять минут. Она родилась при мысли

о беседе с немцами, он о ней позабыл. Таким образом, Крейгера нет; прогуливается пристойно улыбающийся манекен, что, впрочем, никого здесь не озадачивает; никто в точности не знает, где кончается воск витрин и где начинается мясо,— возможно, тоже гнилое, но тщательно припудренное.

Крейгер остановился у подъезда. Он зажигает спичку. Очевидно, он должен был закурить, но рука не достала своевременно портсигара. Как замороженный, смотрит он на пламя: дерево сначала сопротивляется, огонек, который было задорно вспыхнул, притихает, колеблется, не знает, гореть ему или не гореть, потом он входит в силу, дерево сдается, нежно стонет, огонь, присвистывая, сглатывает дерево, и вот уже нет больше ни огня, ни спички. Вся предшествующая жизнь Крейгера требует этого зрелища. Он отнюдь не философствует, нет, просто с жадностью, с непонятным ему самому удовлетворением смотрит он на это близкое дело. Конечно, драма длится недолго; сколько же может гореть спичка, даже заслоненная ладонью?.. Огонек чуть обжигает палец. Крейгер просыпается. Вместо улыбки на его лице гримаса, он раздосадован, он не в силах простить себе всего отступления. Трупы надо хоронить. Или, еще лучше, сжигать. Какое чудесное изобретение — огонь! Да, Прометей кое-что придумал... Во всяком случае, общаться с трупами нельзя. Это противно и заразительно. А хорошо горит!.. Уже по-деловому озабоченный, зажигает Крейгер вторую спичку. Хоть тополь, но ничуть не хуже осины. За будущее можно не опасаться!

Уверенно и стойко Крейгер продолжает свой путь. Сегодня он боролся не с Москвой, но со смертью, и, как всегда, победил он.

## 5. Наследник Карла

Родиться в маленькой стране — какое образцовое несчастье для гениального поэта! Стихи — не биржевые курсы, с трудом они переползают через границу. Поэзия умирает вместе с национальными костюмами, с той мудростью едва объяснимых деталей, которыми справедливо гордится любой карликовый народ. Зато универсальна и всечеловечна романтика биржи, контрольных пакетов, заводов, консорциумов. Для нее нет племенных или языковых рубежей. Здесь первые роли сплошь



да рядом выпадают провинциалам, уроженцам тех стран, которые только в угоду райку приглашаются на парады Лиги наций. Что означает греческий посланник в Париже или Лондоне? Один дипломатический завтрак и опостылевшие просьбы об очередном займе. Но не только по речам Ллойд-Джорджа или по резолюциям французских радикалов будут историки изучать бурную жизнь Европы первой четверти нашего века,— не раз они натолкнутся на грека Базиля Захарова. Роль Питта русской революции с правом сможет оспаривать у Чемберлена голландец Детердинг, хотя он не дипломат, но торговец нефтью. Американские легионеры положили на могилу солдата венок в сто долларов, а нью-йоркский муниципалитет попотчевал Макдональда первосортным харчем. Но вряд ли кому-нибудь из европейцев с большей легкостью удалось приручить к себе дикий, как бизон в прерии или как губернатор Фуллер, Уолл-стрит, нежели полуанонимному шведу.

У немца, у англичанина, у француза свои поместительные дома, не так-то просто им управиться с хозяйством. Самые просвещенные заглядывают в щелку к соседу: кое-что высмеять, кое-что перенять. Но скажите, что же делать дома голландцу или шведу? Их первый разумный шаг—это открыть дверь. Тогда нет удержу— не менять же маленькое государство на большое! Они растут в пренебрежении к границам. Происходит отбор: те, что приземистей, остаются у себя дома,— захолустные пасторы, нотариусы или лавочники; а смельчаки, порвав однажды с идеей пространства, становятся гражданами времени.

До воцарения Крейгера финансовая знать Швеции жила жизнью замкнутой, уютной и подозрительной. Она жаждала как можно скорее выродиться, чтобы и в этом не отстать от подлинной аристократии. Здесь были ужины при свечах и лекции старых монет, геральдические деревья, заказываемые изысканному жулику с дипломом, тосты за победу шведского оружия, погоня за титулами, вист с раздражительным королем и даже охота на воображаемых фазанов. Богатство сопровождалось не только подагрой, но настоящим душевным надрывом. Один из самых крупных банкиров Стокгольма недавно приобрел склеп для погребения. Каждое утро ходит он на кладбище, чтобы всласть налюбоваться на последнюю свою недвижимость. Это не случайная прихоть самодура, но справка о возрасте Швеции.

Крейгер, однако, молод и прост, как его время. Он не аскет и не мот. Вместо идеологии у него жизнерадостность. Он может беседовать о живописи или о Фрейте, но вдохновляет его лишь одно: цифры. Как поэт в полубреду нападает на внезапные ассоциации, так Крейгер между глотками вина, между двумя обязательными улыбками порождает какое-нибудь новое общество: трест в Боливии или подставной синдикат для закупки швейцарских фабрик. Он приверженец ультрасовременной дипломатии: для дела, как и прежде, секретные договоры, для общественного мнения — карты на стол, дешевые спички, всеобщее благоденствие, — словом, не спичечная империя, но очередная услуга измученному человечеству. Однако филистерством он не грешит. Это не Форд. Сын народа, давно пресыщенного и культурой и богатством, он не допускает ни религиозного шутовства заатлантических мормонов, ни их филантропического скопидомства. Правда, он склонен верить в свою миссию, но у него это не самовозвеличение, а фатализм: «Я, Ивар Крейгер, мечтаю об одном — о расширении моих дел. Сейчас в руках треста восемьдесят процентов мировой продукции, я хочу, чтобы были все сто. Мое честолюбие, моя алчность совпадают с благом человечества. Я застал спичечную промышленность в хаосе, я привел ее в порядок. Я, разумеется, эгоист, но мой эгоизм — подлинное служение человечеству».

## 6. Белая ночь

Небо не небо, вода не вода, все светится, все дымится, все нежно розовеет, и как понять, вечер ли это, утро ли? Вскрикивают задумчивые чайки, бог весть чем обольщенные. Который уж век пытаются разобраться в этом недоразумении гранитные глыбы дворцов. Вот и человек пригорюнился, высокий, стройный, точь-в-точь со старой гравюры; он стоит на набережной канала, и он весь горит, как свеча. Это не утро, это и не вечер, это прославленная белая ночь столицы полуночных стран — Стокгольма; да и человек, нами подмеченный, не влюбленный юнец, не герой Сельмы Лагерлеф, — нет, это Ивар Крейгер. Он уже закончил дело с рудой. Он успел даже где-то по дороге, на одном из пароходов, заняться боливийским висмутом. Сюда его привели спички; так что и раздумье на

набережной мы должны рассматривать как очередной подвох Москвы, которая после немецкого разгрома ищет новых рынков. Но все же Крейгер сейчас не думает о спичках. Он якобы отсутствует, и его розовеющая тень — только неотъемлемая часть ландшафта, как дворец или чайки. Как он радуется всякий раз, когда дела заносят его на эту угрюмую окраину Европы! Здесь не только все ему внятно: чистота воздуха, долготы пауз, строгость движений; здесь не только родное, здесь родственное. Смутный набросок еще не написанной им поэмы. Вот таким должен быть весь мир: гранитным и розовым! Где же раздобыть неповторимое сочетание суровости и нежности? Как совместить империю с детством?..

Потом свет белеет, теряя свою недавнюю двусмысленность, уточняется город: ясно теперь, что вот в том доме торгуют сепараторами, что чайкам нужна рыбешка, что все вместе это такой-то час, следовательно, пора спать — завтра рабочий день. Невольно Крейгер переходит на спички. Сначала он вспоминает висмут. Итак, правительство Боливии в его руках. Следует отобрать у русских монополию. Это — хороший урок. Дальше, как можно в английские колонии допускать агентов Москвы?.. Под видом торговли они занимаются пропагандой...

Обдумывая газетную кампанию, он молодежато шагает. Он бодр и свеж: таковы живительные свойства его родины.

## 7. Предполагаемый конец

Шумят леса Сельмы Лагерлеф. Это сказка для туристов, и это воскресный отдых каждого шведского рабочего. Если прилечь в лесу — высоко небо, пахнет тупо и мудро сырая земля, и вечен, непреложен гуд ветвей: этот органист никогда не меняет нот — рождаемся, цветом, отмираем, переходим в дым, в гниль, в прах, в новый лес, в новую смерть. Подождите, господа деревья! Здесь требуется другой вариант все той же темы. Вы переходите в спички, в цифры, в огромную бессонницу господина Ивара Крейгера.

По рекам плывут бревна, скрежещут лесопилки, пыхтят суда. Что остановит его? Осина?.. Нет, он превратил себя, обыкновенного провинциала, сына консула, — в короля спичек,

он сможет превратить любое дерево в заповедную осину. А вдруг пропадут спички, вдруг науке надоест довольствоваться одними усовершенствованиями, вдруг преподнесет она новое изобретение — хватит, мол, допотопных коробочек? Ведь искра Прометея не обязательно шведские спички. Вдруг трест Крейгера станет смешным, как трут и огниво? Что же, изобретателя можно купить, можно объявить его буйнопомешанным, можно, наконец, прибегнуть к калькуляции: новый патент столько-то лет, столько-то миллионов... Крейгер ведь только начал со спичек. Это его юность и его титул. Но у него заводы, у него рудники, он выделывает телефоны и шарикоподшипники, он хозяин кирунской руды и бумаги, у него копи в Алжире, у него банки повсюду: в Париже, в Варшаве, в Бостоне. Со спичек он начал. Чем он закончит?.. Журналисты отвечают: организацией производства, победой, империей разума. А деревья, те, что шумят день и ночь, еще не срубленные деревья угрюмых шведских лесов, — деревья знают свое: рождаемся, цветом, отмираем — дым, гниль, прах...

Его тело отправят в Швецию. На вокзал соберутся представители правительства, послы различных держав, сенаторы, финансисты — словом, все, что имеется в Париже самого веского и блистательного. Многие будут сморкаться: осенний дождь, ни на час не перестающий, будет тому виной. Все степенно изобразят горе. Потом все разойдутся.

Гроб в вагоне будет трястись, лишая даже иллюзии покоя. Никто не станет горевать, и никто, разумеется, не заплачет.

Некрологи напечатают во всех газетах мира, и все потребители спичек увидят худое энергичное лицо. На фотографиях Крейгер, понятное дело, будет улыбаться. Эта посмертная улыбка никого не озадачит: спички не могут ни подшепнуть, ни подорожать. Другое дело акции... Впрочем, и акционеры не обеспокоятся, — в газетах будет напечатано краткое, но внушительное сообщение: «Кончина г-на Ивара Крейгера никак не отразится на делах «Спичечного треста».

В Париже все еще льет дождь, и под дождем живые отдают визиты своим мертвым. На один день кладбища стали клубами и раутами. Мокрая глина, бисерные веночки, креп, слезы, насморк, грипп. Все здесь мешается: грязь и горе, жизнь и смерть. Крейгера больше нет, и, однако, Крейгер продолжает существовать, он живет в любом коробке спичек, он живет в

акциях, в сутолоке биржи, в толках о конференции и в таинственной тьме лапландских шахт. Ничто не переменилось. Крейгер ли бессмертен? Или была его жизнь выдуманной и призрачной? Кто ответит на эти вопросы? Кто поймет тайну сорока семи лет жизни и одного сырого дождливого дня?..

1930

## 8. Сноска

В 1930 году советский писатель Илья Эренбург написал роман «Единый фронт». Это был роман о короле спичек. В 1931 году король спичек Ивар Крейгер разослал во все французские газеты загадочную статью. Он объяснял падение биржевых курсов романом советского автора. Он писал: «Большевики во что бы то ни стало решили погубить г-на Ивара Крейгера». В это время он уже подделывал подписи под итальянскими облигациями, и он уже подолгу останавливался возле витрин оружейных магазинов.

Секретарь Крейгера барон Драхенфельд в книге воспоминаний пишет: «Перед смертью Ивар Крейгер читал роман советского писателя Ильи Эренбурга».

1932

## 9. Подлинный конец

Задыхаясь, он бегал из одного банка в другой: он искал лазейки. Он выслушивал вежливые отказы. Он еще пробовал улыбаться своей классической улыбкой. Он вздыхал по прямому проводу. Он слал трагические каблогранмы. Волнуясь, он швырял шляпу равнодушным лакеям. Он говорил:

— Моя гибель будет началом общей катастрофы...

Банкиры и министры грустно вздыхали:

— К сожалению, обстоятельства не позволяют...

За ним по пятам ходили сыщики: Морган не дремал. Крейгер послал еще одну депешу. Он подъехал еще к одному банку. Он хотел жить. Но спичка, догорев, жгла пальцы.

Тогда он вошел в оружейный магазин. Он попросил револьвер самого большого калибра: он помнил, что он король. Он купил несколько ящиков патронов: это было привычкой, он

все покупал оптом — государства, спички, совесть, смерть. Он потратил на себя всего одну пулю, остальные оставил наследникам.

Его хоронили с почетом. Журналисты оплакивали «невинную жертву мирового кризиса». Биржевики глотали бром. Шведский парламент объявил мораторий. Крейгер был объявлен национальным героем и мучеником. Вскоре выяснилось, что герой и мученик — фальшивомонетчик.

«Невинную жертву» спешно переименовали в «короля жуликов». Журналисты выправляли гранки; венки еще благоухали, но опытный нос журналистов уже угадывал другие запахи.

В сейфе Крейгера нашли поддельные облигации. На его столе стоял поддельный телефон. Когда Крейгер нажимал невидимую кнопку, телефон звонил: Крейгер вызывал Нью-Йорк или Лондон. На самом деле он никого не вызывал: телефон был игрушечным. Он блефовал перед наивными посетителями.

Почтенные господа, которым поручили ликвидировать трест Крейгера, обнаружили подделку случайно. Один из них нажал кнопку, и телефон зазвонил. Почтенные господа перепугались: Ивар Крейгер звонит им с того света. Потом они поняли гениальность «короля жуликов» и горько рассмеялись. Один из них в избытке недоверия вынул коробок спичек и зажег спичку: он боялся, что и спички поддельные. Спичка вспыхнула, потом сгорела.

## 1. Четыре буквы

«Батя» — эти четыре буквы можно увидеть повсюду: в Японии и в Дании, в Греции и в Аргентине. Однако сила Бати превосходит его славу: во многие страны, обходя таможенные рогатки, он ввозит полуфабрикаты и продает свою обувь под чужим именем. Люди, которые никогда не слыхали о Бате, носят его ботинки. Он тщеславен, но умен. Он согласен быть анонимным гением.

Мировой судья Лейчестера, который одновременно является директором фабрики, посвятил Бате монографию. Он пишет: «Только Муссолини может сравниться с Батей»!

Секретарь «Международного бюро труда» при Лиге наций взволнован никак не менее лейчестерского мирового: «Томас Батя — благодетель человечества». Правда, опус секретаря издан за счет Бати, но это может заинтересовать разве что издателей.

Три года назад президент Чехословацкой республики посетил Батю в его резиденции Элине. Томас Масарик приветствовал Томаса Батю: «Повсюду я вижу имя Бати. Недавно в Брно мне показали скелет мамонта. На нем значилось: «Батя». Речь президента была передана по радио. Фотографы щелкали всюю. На следующее утро Батя разослал во все концы мира фотографию: «Президент Чехословацкой республики приветствует Батю». Он преподнес президенту пару штиблет и тотчас телеграфировал американцам: «Президент республики носит штиблеты Бати».

У Бати имеются фабрики в Германии. Над ними он вывесил флаг со свастикой. Он написал на немецких заборах: «Носите только немецкую обувь Бати». Для гитлеровцев он стал древним германцем. Для чехов он остается чешским патриотом. Во Франции он называет свою обувь «французской».

Человек, который расписался на скелете мамонта, с виду ничем не примечателен. Кулаки Центральной Европы давно

утратили простодушие, зато они сохранили мужицкую хитрость. На лбу у Бати — рубец: это американская машина столкнулась со славянской головой.

Батя — сын мелкого башмачника. Учился он плохо. За пять лет, проведенных в школе, он так и не одолел четырех правил. Но с самого раннего возраста он завел книжку сберегательной кассы. Он тщательно копил крейцеры. Эту книжку он сохранил до сих пор и с гордостью показывает ее посетителям, как свою первую поэму.

Он ездил по деревням Моравии: торговал туфлями вразнос. Когда ему исполнилось двадцать восемь лет, он уехал в Америку. Там он работал на обувной фабрике, изучая «мораль труда». Говоря проще, он изучал, как люди делают доллары. Вернувшись в Злин, он открыл обувную мастерскую. На подмогу пришла война.

Узнав о мобилизации, Батя помчался в Вену: он боялся, что кто-нибудь его обгонит. Он хотел получить военные поставки. Станция была далеко. Батя тревожно поглядывал на часы: он опоздает! Но лошади его выручили. Сентиментальный Батя в своих «Воспоминаниях» не забыл поблагодарить лошадей: «Они как будто понимали, что, получив жизнь из рук человека, они должны пожертвовать собой ради него».

Батя получил поставки, он стал обувать австро-венгерскую армию. Патриот двуединой империи, он горделиво улыбался: солдаты в его сапогах шли к победе.

Город Злин превратился в тюрьму. На фабрике Бати работали запасные и военнопленные. За мельчайший проступок Батя сажал рабочих в карцер. В эти годы его любимым изречением было: «На три дня под замок!»

Батя шел к победе. Тем временем австро-венгерская армия шла к разгрому. Когда империя рухнула, Батя не растерялся. Он вспомнил, что он — чех, и тотчас стал патриотом новой республики. Могли ли его смутить новые флаги или гербы?

Настал мир. Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Говоря это, он, разумеется, не думал о тех, которые остались на полях Галиции или Тироля: мертвые не нуждаются в обуви. Через три года его производство увеличилось в десять раз. Он был башмачником. Он стал королем обуви.



## 2. Король и королевство

Город Злин находится в словацкой Моравии. Это бедный и темный край. Крестьяне здесь ходят в болеро и камзолах, как оперные статисты. Они боятся и бога и чоха. Они поют старые песни, они поют их натошак. Из потерянных деревень приходят парни и девушки в дивное царство: это царство Бати. Судя по учебнику географии, Злин входит в Чехословакию. На самом деле Злин — независимое государство. Все в Злине принадлежит Бате. Батя построил ветку железной дороги. У него свой аэродром. Он провел дороги и выстроил поселки. В Злине выходят две газеты, обе принадлежат Бате. В магазинах Бати можно купить все: от автомобиля Форда до восьмушки колбасы. Ко всему, Батя — бургомистр, избранный на этот пост своими верноподданными.

Батя не допускает в Злине никаких профсоюзов. Рабочие должны голосовать за него. На воротах завода он написал: «Я признаю только одну организацию — мое предприятие». За принадлежность к профсоюзу Батя немедленно рассчитывает рабочего. Он презирает государство и законы об охране труда. У него своя полиция. Министр г-н Чех как-то попробовал выступить против Бати, но г-на Чеха тотчас уняли. Печать получает от Бати миллионы за объявления, и печать подчинена Бате. Официоз республики является в то же время и официозом Бати: он охотно показывает номер «Прагер пресс», посвященный деятельности гениального сапожника.

На фабриках Бати конвейер. Один рабочий приставляет гвоздик, другой ударяет молотком. Батя торопится. Недавно рабочий изготовлял за день три пары ботинок, теперь он изготовляет одиннадцать. На стенах висит плакат: «У меня нет эксплуатируемых. У меня только сотрудники». Рабочие якобы заинтересованы в прибылях. На самом деле они живут под вечным страхом убытков. Они никогда не знают, ни сколько часов им придется проработать, ни сколько крон они получат в день полочки. Им говорят: столько-то подошв. Они ответственны за качество кожи, которую не они выбирали. Над ними висит одно слово: «Штраф». Батя не может теперь посадить ослушника на три дня под замок. Он заставляет его три дня работать даром.

На фабрике Бати нет гудка: рабочие работают по десяти, по двенадцати, по четырнадцать часов в сутки. Иногда Батя их держит у конвейера до двух пополуночи. Что касается самого Бати, то он любит здоровье, и ровно в десять вечера он отправляется спать.

В договоре сказано: «Принципиально сверхурочные работы отменяются, в случае необходимости они выполняются сотрудниками в порядке одолжения и не подлежат никакой оплате».

Не удивительно, что Батя уделяет внимание кладбищу: рабочие в Злине спешат умереть, и кладбище растет еще быстрее, нежели город. Из деревень приходят новички. Батя нанимает только подростков, он молод душой и любит молодость.

При найме рабочий заполняет анкету: «Сколько денег вы собираетесь отложить за год?», «Что вы сделаете потом с этими деньгами?», «Какие события в вашей жизни вы считаете наиболее примечательными?» У каждого рабочего своя карточка, на нее заносится все: сколько рюмок сливовицы он выпил, какие он газеты читает, с какой девушкой встречается в воскресенье.

Одна работница в праздник надела новое платье. «Специальная комиссия» Бати оценила это платье в триста крон. Работница зарабатывала пятьдесят крон в неделю. Тотчас полиция произвела обыск в комнате работницы.

Все работницы подвергаются медицинскому осмотру, как проститутки: Батя хочет, чтобы девушки выходили замуж и чтобы замужние рожали детей. Он против легкомыслия и абортов.

Если девушка покажется на улице Злина после десяти часов вечера, ее хватают и тащат в приемный покой.

Рабочие, которых исполнилось двадцать пять лет, обязаны жениться. В противном случае их немедленно рассчитывают: Батя заботится о новой смене.

Батя добрый католик. Его жена жертвует крупные суммы на украшение церквей. Когда в Злин приехала делегация иностранных католиков, Батя решил угостить паломников пышным обедом. На беду, католики приехали в пятницу: это постный день. Батя не растерялся: он послал епископу телеграмму, просил благочинного, чтобы тот разрешил христороливному Бате накормить иностранных католиков скромным. Епископ понял интересы национального рынка и торжественно благословил гуся с кнелями.

Батя не входит ни в какую партию. Он говорит: «Я за все партии, поскольку все партии за меня». Естественно, имеется партия, которую он не терпит. Будучи бургомистром, он не дает коммунистам помещения для предвыборных собраний. Рабочие заполняют анкету: «За кого вы голосуете? Передавали ли вам кто-нибудь воззвания оппозиции?»

Рабочие не сдаются. Они издают подпольный листок «Батовак». Они ходят на тайные собрания. Батя тратит все больше крон на свою полицию.

Батя ни перед чем не останавливается. Он построил фабрику в Германии. Он начал строить фабрику во Франции. Он купил землю в Англии и послал туда своих архитекторов. Он летает то в Палестину, то в Индию: в Палестине и в Индии еще имеются босые люди. В его кабинете стоит светящийся глобус, и Батя его вертит: это не забава — Батя ищет новые рынки. Он попробовал пробраться в СССР. Но «преступные большевики» не принесли ему ключей от Москвы. Тогда он вдвойне возненавидел коммунистов: они издают гнусный «Батовак», и они не хотят носить его обувь. Когда советский писатель попросил у Бати разрешения осмотреть его фабрику, Батя ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». Этот башмачник считает себя державой; еще немного — он вступит в Лигу наций. Ненавидя СССР, он все же составляет плакаты, рекламирующие его ботинки: «Пятилетний план Томаса Бати». Он верит в бога, еще крепче он верит в рекламу. Он говорит: «Чтобы собрать картошку, нужны не лопаты, но афиши и газеты». Таков король XX века.

### 3. Афоризмы и мозоли

Вечером Батя лежит в постели и диктует своей супруге афоризмы: этот гениальный сапожник ко всему еще и гениальный мыслитель. Он покрыл своими изречениями все стены Злина. Он печатает их на конвертах, в которых выдает рабочим жалованье. Он выставляет сентенции в витринах своих бесчисленных лавок. Он собрал свои труды в том.

На стенах завода он написал: «Будем веселыми!», «Жизнь — это не роман», «Надо работать, надо иметь цель». Вопрос о цели его особенно занимает. Он думает, что цель

жизни имеется только у него: он хочет обуть весь мир в свои сапоги. У других людей нет цели: это лодыри и бараны.

На конвертиках с жалованьем он пишет: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Рабочие не журналисты и не судьи, перед ними Бате ни к чему лицемерить.

В окнах огромного дома, который он выстроил на главной улице Праги, он выставил изречения, способные предохранить чешскую молодежь от нравственной гибели. Он поставил рядом два наиболее глубоких афоризма: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов, они вас лишают радости жизни!»

#### 4. Томас Батя и Хулио Хуренито

У каждого короля своя мания: Детердинг любит курить трубку и кататься на коньках, Ситроен любит играть в карты, Дрейфус любит мебель «ампир», а Форд — птичье чириканье. Батя обожает суд. Он судится с сапожниками и с редакторами, с конкурентами и с писателями. Он содержит свору адвокатов; как хорошие ищейки, они должны принохиваться, подыскивать параграфы законов и обрабатывать судебскую совесть.

Осенью 1931 года советский писатель Илья Эренбург напечатал в одном из немецких журналов статью о Томасе Бате. Батя тотчас добился судебного приговора: Эренбург должен за свой счет напечатать в шести немецких газетах составленное Батей опровержение. Батя, однако, не успокоился. Он начал два процесса: гражданский и уголовный. В гражданском суде Батя требовал полмиллиона марок: «возмещение убытков». В уголовном он настаивал на тюремном заключении. Адвокаты Бати доискались до того, что в 1920 году Эренбург помогал В. Л. Дурову организовать театр, в котором актеры были звери, и адвокаты с пафосом восклицали: «Человек, который был чуть ли не дрессировщиком, осмеливается говорить о господине Томасе Бате!» Адвокаты представили суду связку книг. Они цитировали «Хулио Хуренито». Батя читал донесения адвокатов и улыбался: это было его забавой. В будни он тачает сапоги, в праздники он уничтожает нечестивцев.

## 5. Жизнь не роман

Настал черный год. Батя искал босых людей в Африке. Тем временем в Берлине и в Манчестере показались первые босые люди. Батя обожал босых людей: они сулили ему новые рынки. Но, увидав безработных в продранных ботинках, Батя вздрогнул и притих.

Он не сразу сдался. Он пробовал бороться. Он объявил, что Злин станет «мировым портом». Он занялся шинами, кирпичом, каналами. Он посылал лазутчиков за границу. Но все страны, охваченные кризисом, оборонялись от обувной саранчи. Во французском парламенте один из депутатов рассказал, что Батя провез во Францию шестьдесят вагонов контрабандной обуви, и парламент принял закон о новых пошлинах. Работы в Англии были приостановлены. Батя издавна мечтал обуть арабов, но арабы теперь не могли купить даже самых дешевых туфель. Батя прежде обувал датчан, но датчане не могли продать масло, и они больше не покупали ботинок. Он предлагал обувь испанцам, но в Испании гнили апельсины, и у испанцев не было денег на обувь Бати. Он уговаривал венгров, но у венгров никто не хотел купить пшеницу, и венгры сидели среди полных амбаров голодные, раздетые, разутые.

В газетах стали появляться мелкие заметки: «Фабрика в Требнице закрывается», «В Злине рассчитано шесть тысяч работ», «С 15 июня предвидится новое сокращение работ». Биржевые листки заговорили о близости нового краха. После спичек на мировую сцену выступили штиблеты.

Было туманное утро. «С-132 031» — любимый самолет Бати — стоял наготове. Батя не мог терять времени: он передвигался только по воздуху, как птицы и биржевые курсы. Летчик Бручек отказался лететь в такую погоду. Батя что-то сказал ему — короткое и грозное. Может быть, он напомнил летчику, что «жизнь не роман»?

За несколько месяцев до этого дня Батя разослал во все газеты мира сообщение, что он погиб: самолет, на котором он летел, разбился. Это было бесплатной рекламой. Это оказалось невольной репетицией.

Двенадцатого июня 1932 года Батя действительно упал на-земь. Когда люди подбежали к самолету, они увидели короля обуви рядом с летчиком. Что произошло над проклятым Злином? Это густой утренний туман, и это густой туман королей мира — с их цифрами вместо чувств и с их неизбежным концом — головой вниз.

У конвейера, как всегда, стояли рабы Бати. Среди них были и те, кто издавал журнал «Батовак». Они тачали сапоги. По словам Бати, они делали деньги из своего тела. Они делали деньги для Бати. Но Бате уже не нужны были никакие деньги. Он лежал на земле: короли умирают, как простые смертные.

1932

# Хлеб наш насущный

## 1. Как это началось

В мае месяце 1930 года в одном из городков Фризландии в римско-католической церкви служили молебен.

Прихожане молились. Чужестранец, который случайно попал в церковь, будучи, как и подобает чужестранцу, вдоволь любопытным, спросил:

— О чем вы молитесь?

Пахло весной, сыростью и цветами; город цвел. Цвел и человек, к которому обратился чужестранец: это был дородный краснощекий фермер. Он ответил:

— Мы молимся о засухе.

В церкви не было ни душевнобольных, ни поэтов. В церкви были обыкновенные люди: фермеры, торговцы зерном и картошкой, маклаки. Они читали, разумеется, Евангелие. Кроме Евангелия, они читали газеты, а газеты сообщали, что мировые запасы пшеницы достигают 530 000 000 бушелей. Ливерпуль слал трагические телеграммы: бушель — 96 центов! Фермеры и маклаки просили сладчайшего Иисуса о засухе. Да не падет дождь ни здесь, ни за океаном! Да погибнут овощи и плоды! Да сгорят хлеба! Да не будет хлеба!

Англичане говорят: «Лучше потерять одежду, нежели хлеб». Немцы — «Искусство бежит за хлебом». Французы — «Длинно, как день без хлеба». Русские — «Хлеб — всему голова».

Когда ребенок роняет на землю лопот, мать наставительно говорит: «Поцелуй!» — у хлеба просят прощения. Глупый ребенок! Глупая мать! Они не знают, что в закромах гниют 530 000 000 бушелей!..

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — это звучало долго и постоянно, как ветер. Дождя просили у каменных идолов гнусавые жрецы. Дождя просили у обидчивого Иеговы двенадцать Израилевых колен. Дождя просили у Иисуса епископы, пасторы и попы. Дождя! Хлеба!

Разве могли они подумать, что бушель пшеницы снизится до 96 центов? Вместе с фризскими кулаками молились фермеры Канады и Австралии, маклеры Чикаго и Ливерпуля, агенты пароходных обществ: «Да будет засуха!..»

Но сладчайший Иисус не помог: падали дожди, колосились пивы, росло благополучие, и от благополучия люди начинали умирать, как некогда их предки умирали от саранчи или града.

Проповедник в храме баптистов города Альбани мрачно заявил:

— В книге Бытия сказано о тощих коровах: семь тощих коров пожирают семь коров тучных. Египтяне страшились неурожайных лет. Братья, господь послал нам горшее испытание: семь тучных коров пожрали семь тощих! Мы погибаем от хорошего урожая!..

Баптисты вздыхали и сморкались. Час расплаты наступал: тучные коровы, тупо глядя вдаль, проглатывали и доллары и души.

Это началось давно: вместо плуга в землю впивались снаряды. Над землей стояли смертоносные газы, как легкий предутренний туман, и не хлеба всходили, но проволочные тента. Люди убивали друг друга за пядь земли; земля же стояла порожняя и ненужная. Перед смертью люди все еще жевали хлеб, и в хлебе был недостаток.

До войны хлеб поставляла Россия. Русские помещики, спустив урожай, ехали в Баден-Баден или в Ниццу; они искали бога, читали Герцена или Поль де Кока, целовали певичек, а потом умирали не то от большой совести, не то от большой печени. Русские мужики шли за сохой, ели хлеб с мякиной и умирали от тифа или от цинги. Россия поставляла исправно хлеб: арнаутку, красную гирку или гарновку. Из русской пшеницы пекли французские булки и венские рогастики. Из русской пшеницы делали итальянские макароны.

Началась война. Помещики спасали Христа от Крушпа. Мужиков угнали в окопы. Поля стояли незапаханные или небуранные. В Европе появились хлебные карточки.

Тогда далеко от грохота снарядов, далеко от проволоки и крови, в стране огромной и взбалмошной, начался новый сон — это был сон о хлебе.

Прежде люди шли на запад, чтобы разыскать крупницы золота. Потом их сводили с ума нефтяные фонтаны. Но вот из Европы приходят вести о битвах и победах. Кто-то говорит



великодушные речи. Кто-то, хмураясь, водит по карте красным карандашом. В Версале позор и празднества. В России революция. В Европе много знамен и много отчаянья. Но хлеба в Европе нет. Его нет ни у побежденных, ни у победителей. Европа хочет хлеба. В Лондоне премьер-министр ласково шепчет представителям Канады:

— Метрополии необходим хлеб!..

В Москве Владимир Маяковский рычит с арены цирка:

— Хлебища дайте жрать!..

Американцы равнодушны и к стихам и к спичам, но они понимают язык цифр: до войны квинтал пшеницы стоил 2 доллара 85 центов. В декабре 1919 года в Чикаго за квинтал пшеницы давали 13 долларов.

На Запад! За Миссисипи! В Монтану! В Дакоту! Это — хлебная лихорадка. Исполнительные квакеры, мечтатели, жулики, трудолюбивые тупицы, азартные игроки — все они кинулись на землю. Из золотого навоза — золотое зерно, из золотого зерна — золотые доллары. В церквах баптистов и анабаптистов, методистов и реформистов, пресвитериан и англиканцев, во всех церквах Америки пасторы молились о дожде и об урожае. Они еще не знали, что тучные коровы куда прожорливей тощих.

Сны переходят из страны в страну, как волны радио или как эпидемия. В Канаде были огромные девственные просторы. Люди выступили в поход за пшеницей. Они шли туда, где не было людей, они набрасывались на целину, и земля, еще не отдавшая человеку свои силы, отвечала сказочными урожаями. Три западных округа Канады — Манитоба, Саскачеван и Альберта — покрылись золотом колосьев. Двигались тракторы и комбайны. Они двигались цепью, как двигались танки по полям Пикардии. У каждого отряда был свой командир. Машины пахали, машины сеяли, машины жали и машины молотили. Прежде, чтобы собрать хлеб с одного гектара, человек должен был проработать три дня. Комбайн справлялся с этим в сорок минут. Люди только присматривали за машинами, как присматривают няньки за играми детей. Люди слушали по радио — каков курс на пшеницу? Люди подсчитывали доллары и насвистывали фокстроты.

Чудесная пшеница быстро вызревала. Сдав зерно в элеватор, фермеры уезжали. Поля пустели до весны, и земля погружалась в девический сон. Что ни день, в любом крохотном

городке открывалось отделение какого-нибудь банка — банки всходили дружно, как пшеница Манитобы. Страна покрывалась золотом.

Разгадка сказки была мудра и проста: заводы, изготовлявшие тракторы и комбайны, отпускали машины в кредит. Богатели акционеры заводов. Богатели и фермеры. Они покупали модные платья женам, патефоны, холодильники. Цены на пшеницу стояли высоко, как солнце в полдень. Прекрасный сон длился. В течение нескольких лет посевная площадь Канады увеличилась на пять миллионов гектаров.

Далеко на юге была Аргентина. Там люди говорят на другом языке. Когда в Канаде лето, в Аргентине зима. Но до Аргентины дошли и мотивы фокстротов, и цены на пшеницу. Скотоводы тотчас стали землепашцами. Два миллиона гектаров были заново отведены под пшеницу. В Аргентине не хватало рабочих рук. В Аргентине было мало элеваторов. Но Чикаго слал миру цифры, и плыли через океан взволнованные иммигранты, строились гигантские элеваторы — Аргентина узнала, сколько стоит в Ливерпуле пшеница, и Аргентина все забыла ради пшеницы.

За Аргентиной двинулась Австралия.

Прежде люди приезжали в Австралию, чтобы искать крупинцы золота. Когда пшеница поднялась в цене, австралийцы поняли, что золото можно сеять, что золото приходит в закрома сам-сто. Они стали землепашцами. Экспорт австралийской пшеницы увеличился вдвое. Австралия по-новому золотилась и богатели.

Круглый год люди собирали хлеб: в январе жали в Аргентине, в марте — во Флориде, в августе — в Канаде, в декабре — в Австралии. Казалось, весь мир занят одним: полный библейской важности, он сеет, жнет и молотит.

Европа платила за хлеб, платила, жалась, кряхтела. Ее начали томить сомнения. Пшеница — не кофе и не каучук, пшеница, как известно, произрастает и в Европе. Почему бы Европе не тряхнуть старинной?.. Русского хлеба нет. Американский дорог. Французы могут есть французский хлеб. Итальянцы — итальянский. Немцы — немецкий. Дряхлую землю легко омолодить химическими удобрениями. В Европе мало простора, зато в ней много химиков. В Европе притом имеются страны, где, кроме пшеницы, только песни и нищета: Венгрия, Югославия, Румыния. Чем Европа хуже какой-нибудь Манитобы?

Шли один за другим урожайные годы. Богатели фермеры и перекупщики, банки и пароходные компании, владельцы элеваторов и мукомолы, фабриканты удобрений и агенты страховых обществ, биржевые «быки» и случайные комиссионеры. Фермер покупал жене модное платье и патефон. Представитель фирмы «Дрейфус» для жены выбирал жемчужное кольцо или картину парижского художника. Президент Соединенных Штатов мистер Гувер торжественно провозгласил: «Мы вступили в эру доподлинного благоденствия!» Затворники Сити или Уолл-стрита, неврастеники, никогда не выдавшие в глаза обыкновенной деревни, с нежностью повторяли: «Пшеница... пшеница!..» Когда аппарат в захолустном банке отстукивал последние курсы Ливерпуля, сердца мелких игроков — отставных чиновников и астматических дам — восторженно трепетали: «Пшеница снова в повышении!» Миллионы людей жили жизнью, согласной с золотыми колосьями, и миллионы людей задумчиво повторяли знакомые им с детства слова: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

До войны в мире собирали ежегодно 380 000 000 квинталов пшеницы. В 1929 году добыча составляла 405 000 000 квинталов.

Так настал обыкновенный летний день, который историки смогут назвать «катастрофичным». На самом деле это был просто душный докучливый день. Чикаго, как всегда, бурлил и смердил. Мистер Смитс, маклер хлебной биржи, выпил два стакана содовой — он никак не мог освежиться. Он стоял в середине того величественного и прекрасного храма, который сухо именуется биржей. Он выполнял все предписанные его религией обряды. Трижды он крикнул:

— Доллар сорок четыре!

Он поднял при этом правую руку ладонью к миру — это означало, что он продает. Но никто не поднял в ответ правую руку ладонью к себе — покупателей не было. Тогда мистер Смитс нервически зевнул. Он бросился к телефонной будке. По дороге он встретил другого маклера, Джека Фрида. Джек цинично фыркнул:

— В Мельбурне — сорок два, а в Буэнос-Айресе — тридцать восемь!

Мистер Смитс преглупо развел руками, как будто он потерял веру или жену. Это был обыкновенный маклер. Он любил

Мери Пикфорд и фруктовое мороженое. Он ничего не понимал в мировой экономике. Он собирался осенью продать «форд» и купить хорошенький «бьюик». Он жил неплохо. Поглядев растерянно на Джека, он вытер сырой лоб и сказал: — Я ничего не понимаю!..

Газеты писали о кризисе. Это не был кризис пшеницы — газеты писали о кризисе шерсти. Аргентина и Австралия разоряются на шерсти, но и в Аргентине и в Австралии много пшеницы. Цены на пшеницу заколебались. Но еще не было ни крахов банков, ни револьверных выстрелов, ни государственных совещаний. Просто маленький маклер мистер Смитс преглупо развел руками.

Так на море начинается шторм: шутя, как бы невзначай, легким ветерком, способным разве что приподнять флажок на мачте.

## 2. Ставка на свинью

В июле месяце 1929 года газеты Соединенных Штатов сообщили о беспрецедентном событии. Речь шла не о проказах гангстеров, не о разводе Пола Негри, не о новой модели Форда, — речь шла о хлебе: в Соединенных Штатах оказался некоторый излишек, а именно 247 000 000 бушелей пшеницы. Цифра мало что говорила клеркам Нью-Йорка или Чикаго — они привыкли измерять хлеб на фунты. Но газеты предусмотрительно пояснили, что, если правительство не примет срочных мер, Соединенным Штатам грозит катастрофа.

Слово «катастрофа» было понятно всем, и все граждане Соединенных Штатов с тревогой думали о каких-то таинственных бушелях. Золотые колосья, которыми любят украшать выставочные дипломы, стали сразу ядовитыми.

Мистер Гувер во время предвыборной кампании неустанно повторял: «Благоденствие». Мистер Гувер теперь озабочен: он не простой клерк, и он хорошо знает, что такое «бушели». Над Америкой стоит лето, жаркое, душное. По небу носятся озорные зарницы. Пшеница быстро вызревает. Подходят грозы, крахи, самоубийства. Мистер Гувер хотел, чтобы Америка цвела, как библейский Ханаан. Он проклял виски, и он прославил господа. Растроганный господь слал обильные дожди. Но кто-то переусердствовал, — может быть, господь, может

быть, мистер Гувер, может быть, фермеры западных штатов. Теперь настало время спасти отечество.

Так в июле 1929 года был образован «Федераль фарм борд». Ему поручили сосредоточить в своих руках всю торговлю хлебом. Правительство выдало «Фарм борду» 500 000 000 долларов.

Союз канадских кооперативов «Вит пуль» за годы благоденствия вырос и окреп. Фермеры получили от «Вит пуля» ссуды под урожай. «Вит пуль» объединил 136 000 фермеров. Он стал самым крупным торговцем хлебом во всем мире.

Тревожные слухи не застали американцев врасплох. Американцы усмехались: в Соединенных Штатах — «Фарм борд», в Канаде — «Вит пуль», они никогда не допустят катастрофы. В их руках огромные запасы зерна, в их руках также огромные капиталы. Им ничего не стоит отбить атаку понижателей. Если Европа не захочет покупать хлеб по пристойной цене, американцы попридержат запасы. Хлеб — не алмазы, хлеб — не каучук, без хлеба Европа не проживет и дня. Итак, спокойствие!

Спокойно маклеры Чикаго и Виннипега насвистывали фокстрот. Несмотря на отменный урожай, пшеница держалась в цене. Запасы росли, но, казалось, никакие десятизначные диффы не сломят мужества Америки. Председатель «Фарм борда» мистер Легг улыбался той же удивительной улыбкой, которая дала мистеру Гуверу на президентских выборах миллион лишних голосов. Все американцы верили в улыбку мистера Легга. Его звали доверчиво и почтительно: «наш Алекс». Политиков спасал мистер Гувер — «наш Герберт». Кинозвезд спасал мистер Хейс — «наш Билль». Фермеров должен был спасти мистер Легг — «наш Алекс». Это славные парни — они пьют только содовую воду, они молятся господу, и они при всех случаях жизни неукоснительно улыбаются.

Вслед за мистером Леггом улыбались фермеры и маклеры. Никто не верил в катастрофу. Смердный Чикаго благоухал, как Ханаан, — это был запах богатства.

Когда рабочие объявляют забастовку, они кричат: «Все, как один!» Они вывозят «желтого» в тачке. Они презирают изменников. У них простой ум и грубое сердце. Не они правят миром.

В Европе имелись мощные тресты, занятые скупкой зерна: в Париже — «Луи Дрейфус», в Лондоне — «Бунге энд

Борн». Тресты хотели одного — покупать и продавать. Падение цен их никак не пугало. Они зарабатывали несколько центов на бушеле, когда пшеница стоила дорого. Они будут зарабатывать те же несколько центов, если цены падут. Политика «Фарм борда» и «Вит пуля» их раздражала. Торговцы хлебом были врагами государственного вмешательства: они отстаивали свободу личности и свое право на барыши. К счастью, пшеница произрастает во всех пяти частях света. В Аргентине теперь 123 000 000 свободных бушелей. В Австралии — 337 000 000 бушелей. Дрейфус шлет приказы своим агентам в Буэнос-Айрес. Бунге не забывает о Мельбурне. В мире достаточно хлеба и без американцев!..

Фермеры Австралии призваны на помощь. Они должны погубить фермеров Канады. Они чисты и перед богом и перед людьми. То, что рабочие в своей темноте называют изменой, среди почтенных коммерсантов именуется «законной конкуренцией». Агенты трестов работают с утра до ночи, они работают круглые сутки — когда в Ливерпуле утро, в Мельбурне вечер. Вместо «манитобы» или «винтер-4» Европа теперь покупает аргентинскую «барлету».

В январе 1930 года бушель пшеницы стоил 1 доллар 34 цента, в июле за него давали всего 97 центов.

Мистер Легг еще продолжает улыбаться, но эта улыбка помечена не вдохновением, а высоким мастерством. Мистеру Леггу отнюдь не хочется улыбаться. «Фарм борд» покупает 40 000 000 бушелей, чтобы приостановить дальнейшее понижение. Несколько дней передышки. Потом цены снова катятся вниз: 87 центов... 84 цента... 79 центов...

В Канаде паника. «Вит пуль» и частные банки отпустили фермерам большие кредиты, исходя из расчета 1 доллар 22 цента за бушель. Теперь бушель стоит 64 цента. Земледельческие округа обращаются за помощью в Монреаль, но правительство Канады отмалчивается. Больше никто не говорит о кризисе пшеницы. Все теперь говорят о мировом кризисе. Правительство Канады не в силах помочь своим фермерам. Делегаты Канады едут в Лондон. Они просят о помощи правительство Великобритании. Имперское правительство должно поручиться за кредитоспособность «Вит пуля» и земледельческих банков. Но в Лондоне уныние и безработица. Ткачи Манчестера ходят в лохмотьях. Углекопы Шотландии голодают и мерзнут. В клубе говорят о фунте почтительно и печально,

как о больном короле. Время ли теперь спасать Канаду? Надо прежде спасти себя. Правительство Великобритании сокрушенно отказывает. Представители Канады обращаются к крупным банкам. Но те не зевают. У них в Сити свои люди. Зачем выручать «Вит пуль»? Хлебом можно торговать и без «Вит пуля». Пора остановить эти социалистические затеи. Пора вернуться к свободной торговле!

Банкиры вежливо улыбаются:

— К сожалению, обстоятельства никак не позволяют нам взять на себя...

Представители Канады возвращаются домой с пустыми руками. Вкладчики кидаются в банки. На дверях банков корректные дощечки: «Закрито». Может быть, сегодня воскресенье?.. Нет, это рабочий день, 21 ноября... За один этот день в земледельческих округах Канады лопнуло 42 банка.

— Пятьдесят пять центов бушель!..

«Фарм борд» покупает еще 33 000 000 бушелей. Чикагская биржа теперь напоминает собор в страстную пятницу: скорбь и молчание. По-прежнему вспыхивают цифры, но никто на них не смотрит. Покупателей нет — они выжидают дальнейшего падения. Маклеры уныло сидят на скамьях. Одни из них решают кроссворд, другие дремлют. Мистер Смитс вчера продал свой старый «шевроле». Он так и не купил «бьюика». Никто больше не улыбается. Никто, кроме мистера Легга: мистер Легг — мученик, он должен улыбаться. Запасы «Фарм борда» дошли до 138 000 000 бушелей.

Мистера Легга спрашивают:

— Может быть, вы предлагаете послать пшеницу в Китай?

— Нет, при настоящей стоимости транспорта это чересчур разорительно.

Мистер Легг загадочно улыбается — он, видимо, нашел выход. Может быть, мистер Гувер решил раздавать хлеб безработным?.. Но нет, мистер Гувер — человек твердых убеждений, он знает: кто не работает, тот не ест!

— Скажите, мистер Легг, как же вы освободитесь от этого баланса?

Улыбаясь по-прежнему, мистер Легг говорит:

— Энергичная и старательная свинья может съесть в течение года столько же пшеницы, сколько семья из пяти человек.

Вскоре все скотоводы получили заманчивые проспекты: «Кормите ваш скот пшеницей! Пшеница куда питательнее кукурузы! Пшеница притом дешевле кукурузы!» Скотоводы, однако, упрямятся. Оказывается, свиньи предпочитают кукурузу, у свиней свои вкусы. Тем временем и кукуруза начинает падать в цене: ее тоже чересчур много. Диверсия не удалась. Тогда, еще раз по привычке улыбнувшись, мистер Легг подписывает прошение об отставке. На его место садится мистер Стон: он тоже улыбается, и он тоже покупает миллионы бушелей. Запасы «Фарм борда» доходят до 235 000 000 бушелей.

В земледельческих округах Канады начинается голод. Фермеры, которые продали хлеб за гроши, не могут дотянуть до нового урожая. Весь мир злобно косится на Канаду: от нее все зло! В Канаде чересчур много хлеба!..

У канадских фермеров нет ни огородов, ни свиней, ни долларов. Давно проданы и холодильники и автомобили, сношены модные платья. Патефон стоит, но его никто не заводит. Патефон умеет выводить фокстроты, а на сердце у фермера тихо и смутно. Вокруг золотые поля, избыток, библейское благоденствие. Семья фермера сегодня ничего не ела — у фермера нет хлеба. 60 000 канадских фермеров живут побираясь. Одних кормит Красный Крест, других — соседи. В элеваторах гниет зерно. Этого зерна так много, что все потеряли голову: и «Вит пуль», и министры, и биржевики. Этого зерна так много, что 60 000 человек умирают от голода: у них нет и краюхи хлеба.

### 3. Конференция за конференцией

Король Кароль уехал из Румынии: он предпочел любовь короне. Король Кароль вернулся в Румынию: он предпочел корону любви. У власти были либералы и консерваторы. Потом к власти пришли аграрии. Менялись почтовые марки и директора департаментов. Одно оставалось неизменным: крестьян грабили и сажали в острог. На французские деньги румыны содержали армию, тюрьмы и публичные дома. Генералы браво улыбались, содержательницы публичных домов приветствовали туристов по-французски. Казалось, Румыния благоденствует. Но в Румынии была пшеница, и этой пшеницы никто



не покупал. Германия покупала пшеницу в Аргентине или в Канаде: американская пшеница дешевле. В Румынии цены на хлеб падали. Каждый земледелец терял на гектаре, отведенном под пшеницу, 1800 лей. В стране начинался голод. Правительство умоляло великие державы прийти на помощь. Французы, ворча, давали деньги на генералов, но румынского хлеба не покупали и они.

Представитель Румынии в Женеве г-н Мадгеару пробует пристыдить Аргентину и Канаду:

— Делегаты заокеанских стран говорят об экономическом неравенстве. Но разве не представляет собой экономического неравенства то, что европейские государства, которые могут жить только экспортом хлеба, благодаря конкуренции заокеанских стран натываются на закрытые двери?

Канада и Аргентина молчат. Им недосуг разговаривать о справедливости: они должны во что бы то ни стало продать свой хлеб. Румыну отвечает представитель Голландии:

— Помимо земледельческих стран, существуют страны свободного обмена. Мы не можем принять предложения придунайских государств: они расходятся с принципом свободной торговли, на котором зиждется вся наша политика.

Голландца поддерживают англичане, итальянцы, немцы. Их никак не смущают разговоры об «экономическом неравенстве». Они покупают «манитобу» или «барлету».

В Румынии еще раз переменили министров. Столько-то крестьян попало в тюрьмы, столько-то благоразумно умерло от хронического недоедания. Цены на хлеб продолжали падать.

Венгры умеют расправляться с крестьянами ничуть не хуже румын. Венгерские тюрьмы переполнены, но венгерская казна пуста. Правительство отбирает у крестьян последние крохи. Называется это «налогами». Деревня голодает. Вчера убили трех волов — чехи покупают кожу. Мясо можно бы продать за бесценок, но если мясо поступит в продажу, за него надо платить налог. Туши зарывают в землю, как падаль. Роют землю голодные люди. Афиши заывают туристов: «Венгрия — житница мира». На афишах красивые девушки плетут венки из колосьев. Но венгерский хлеб гниет в закромах. Под боком Чехословакия. Чехи покупают хлеб. Они покупают его в Америке. У них свои счета с венграми, и они отнюдь не сентиментальны: «манитоба» дешевле! Г-н Никль,

представитель Венгрии, на международном совещании не только молчит, он угрожает:

— Если промышленные страны не изменят своей политики по отношению к странам аграрным, мы будем вынуждены запретить ввоз предметов индустрии. Вы не хотите покупать наш хлеб? Что же, мы не станем покупать ваши машины.

Господин Никль говорит. Делегаты дремлют — час послеобеденный. Представитель Франции г-н Фланден произносит слово, полное многовековой мудрости:

— Не следует предаваться опасным иллюзиям! Можно ли простым соглашением разрешить проблему, которая является проблемой всей человеческой культуры?

Ни чехи, ни австрийцы, ни голландцы не купили венгерской пшеницы. «Простого соглашения» не состоялось. Делегаты раздумывали над эволюцией культуры. Безработные батраки Венгрии продолжали голодать.

В Югославии немало офицеров. Еще больше в Югославии крестьян. Крестьяне в Югославии бунтуют. Они бунтуют потому, что их жизнь жестока и страшна. Офицеры усмиряют крестьян. Государство отпускает крестьянам наручники и пули; большего оно дать не в силах — это бедное государство. Продав свой урожай, крестьянин не может купить ни обуви, ни керосина. Земля с каждым годом дичает — ввоз земледельческих машин и удобрений прекратился: нет денег. Цены на пшеницу продолжают падать. Представитель Югославии в Лиге наций, забыв о государственном самолюбии, говорит:

— Уровень жизни наших крестьян чрезвычайно понизился...

Югославия продавала хлеб в Австрию, в Италию, в Германию. Австрийцы, итальянцы, немцы покупают американский хлеб. Кроме того, индустриальные страны Европы сами занялись хлебопашеством. Представитель Югославии в Женеве г-н Деметрович грозит не только заградительными пошлинами, он грозит экономической революцией.

— В таком случае аграрные страны будут вынуждены перейти к насильственной индустриализации. Они вовсе закроют свои границы для иностранных фабрик.

Делегаты рассеянно слушают г-на Деметровича — не угодно ли, сербская пятилетка!.. Делегаты давно поняли, что «простым соглашением» нельзя предотвратить катастрофы. Англичане решили стать хлеборобами, а сербы хотят отстроить

у себя новый Манчестер. Мир сошел с ума. К чему же им волноваться? Они ведь только скромные делегаты на пятой или десятой конференции... Не лучше ли глядеть, как скользят чайки над тихими водами Лемана?

Представители аграрных государств Европы устраивают совещания. Они беседуют в местах приятных и отдохновенных — в Србском Плесе или в Синае, в курортах, среди горной тишины и прохлады. Эксперты чертят кривые цен. Эксперты составляют проекты резолюций. Что касается крестьян, то крестьяне продолжают голодать.

Наконец, в Париже собирается конференция европейских государств. Ее задачи скромны, но возвышенны — необходимо купить у Венгрии, Румынии, Югославии запасы пшеницы. Европа покупает много миллионов бушелей в Америке. Нельзя ли приобрести и толику дунайской пшеницы? Это добрый поступок, к тому же не разорительный. Конференция напоминает семейный совет — дядюшки и тетушки прикидывают, как бы им помочь злосчастным родственникам, погибающим в глухой провинции.

Конференцию открывает Бриан. Он устало щурится, оглядывая длинный зал. Может быть, он чувствует, что его смерть близка? Может быть, он просто устал от всех этих съездов, совещаний, конференций? Однако он еще пробует смягчить сердца делегатов:

— Господа, пробил час испытания нашей солидарности!

Бриан призывает спасти Европу — кризис в аграрных странах достиг невиданных размеров. Мы должны оградить наш континент от ужасных потрясений!..

Продавцы упрасивали: «Дело идет о сущей безделке, — вся наша пшеница — это семь процентов вашего ввоза!» Покупатели молча кивали головами. Продавцы жаловались: «В нашей нужде дальше идти некуда». Покупатели сочувственно вздыхали. Конференция приняла соответствующие резолюции, разумеется, единогласно. Продавцы уже слали в Бухарест, в Белград, в Будапешт восторженные депеши: дело на мази, скоро будут деньги — франки, фунты, марки, лиры, флорины!.. Но, закрывая конференцию, председатель г-н Франсуа Понсе глубокомысленно сказал:

— Некоторые из нас проявили чрезмерный оптимизм. Конференция представителей государств не может превратиться в хлебную биржу!..

Господин Франсуа Понсе пояснил: остановка за купцами. В Европе свобода торговли, и государства могут только «оказывать моральное воздействие». Делегаты разъехались по домам. Хлебные маклаки и мукомолы оказались достаточно нечувствительными к моральному воздействию. Бриан говорил на новой конференции, разумеется, о солидарности. Европейцы по-прежнему покупали «манитобу». Миллионы крестьян в придунайских странах по-прежнему голодали.

#### 4. «Хлеба чересчур много»

Французскому журналисту г-ну К. поручили обследовать «тайны Берлина». В Берлине царит порок: кокаин, морфий, гашиш. Г-н К. проходит по Александерплац. Навстречу идет человек лет сорока. Человек идет, потом он падает. Падает внезапно и бесшумно, как будто он из картона. У него белое мучнистое лицо, а на коленях аккуратные заплаты. Полицейский старается приподнять человека, тело, однако, сползает на мостовую. Г-н К. спрашивает: «Алкоголь? Наркотики?» Полицейский уныло отвечает: «Голод». Час спустя в пассаже Унтер-ден-Линден журналист видит, как падает без чувств молодая женщина. Вокруг — толпа. Женщина хрипит — ее лоб покрыт испариной. Владелец магазина кораллов, печальный толстяк, усмехается: «Симуляция!.. Разве это настоящий обморок?..» Г-н К. обеспокоен: «Но почему же она упала?» Толстяк уныло хохочет: «Чтоб ей собрали на хлеб!..» Толпа расходится. Поздно вечером, возвращаясь из кабаре «Какаду», он видит еще одного на земле — это старик. По его телу проходит судорога. Некто в очках поясняет: «Истощение». Вернувшись в гостиницу, г-н К. пишет на листке блокнота: «В Берлине — голод...» Потом он сердито комкает лист и принимается за работу: «Я проник в тайную курильню опиума...» Все это происходит 18 февраля 1932 года.

В феврале 1932 года в Германии было 6 128 000 зарегистрированных безработных. По данным «Международного бюро труда», в мире было около 24 000 000 безработных.

Мир велик. В этом великом мире — крохотный город Штейр. Город этот находится в Австрии, на реке Эмс. Местоположение чрезвычайно живописное. Готическая церковь — она

открыта. Автомобильный завод — он закрыт. 22 000 жителей. Из 22 000 — 18 000 безработных. Из 18 000 — 15 000 голодают. Давно проданы и тюфяки и штiblеты. Одни лежат полуголые в темных берлогах. Другие еще бродят, шатаясь, по чересчур живописным улицам. Ни топлива, ни света. Ни хлеба. Человеческий язык не сложен. Лингвисты утверждают, что пятисот слов достаточно для повседневного обращения. Жителям Штейра не нужно и пятисот слов. В унылом бреде, который, как туман, клубится над рекой Эмс, они еще помнят одно простое, короткое слово: «Хлеба!»

Мистер Эндрю был в Китае в 1928 году. Это был год засухи. По дорогам брели едва живые тени. Они останавливались и падали. Вдоль дорог торчали трупы деревьев — люди съели и листья и кору. Вербовщики набирали женщин для публичных домов. Они сулили пятьдесят центов в год и хлеб. Но девушек было чересчур много. Оставшиеся умирали на дороге. Умирающих грызли одичавшие псы. Мистер Эндрю сообщал, что необходима срочная помощь: «Шлите хлеб — люди умирают». Это был голод 1928 года. В 1931 году в Китае был снова голод не от засухи, но от наводнений. Референт Хьюлет Джонсон, посетивший недавно долину реки Янг-Це, говорит: «Мы заходили во многие хижины. Горсть овса, лебеда, кора и глина — люди варят это в котелках. Люди продают детей. Мальчик стоит шесть долларов, за девочку дают до десяти». Референт Хьюлет Джонсон добавляет: «Если не будет срочно доставлен хлеб, сотням тысяч людей грозит голодная смерть».

В Венгрии золотятся нивы, на лугах пасутся белые волы. В Венгрии люди умирают от голода. В деревне Диссель — 1050 жителей. Вокруг деревни тучные нивы и красавцы волы. 6 мая 1932 года в деревне Диссель жандармы арестовали шестерых крестьян: преступники откопали в поле падаль и съели ее. Дети умерли, взрослые выжили. На допросе арестованные показали: «Мы хотели хоть раз в жизни накормить досыта наших детей».

Америка горда и долларами, и пшеницей, и верой. 8 000 000 безработных ходят по улицам Америки, по ее прямым и длинным улицам. Они хотят есть, но для них нет ни долларов, ни пшеницы. Для них только вера. В ночлежном доме Беверай — 880 бездомных. Пастор произносит проповедь: «Наш бог — это бог упования!» Потом он дружески добавляет: «Теперь мы хором споем псалмы». 880 молчат. Он поет, а

они молчат. Он спрашивает: «Почему вы не поете, братья?» Тогда один из 880 бормочет: «Мы не можем петь. Мы ничего не ели». Снова туман и прямые, длинные улицы. Работы нет. Нищенствовать запрещено. Смерть — это преступление.

Испания. Провинция. Эстрамадура. Человек ползет по земле. Это вор. Он хочет украсть. Он хочет украсть не драгоценные камни, не серебряные дуры, он хочет украсть горсть желудей. Деревья в лесу не крестьянские и не божьи: они принадлежат герцогу Орнауэлосу. У герцога Орнауэлоса 506 000 гектаров земли. Крестьянин ползет на животе. Он хочет украсть желуди. Когда нет хлеба, люди едят желуди. У крестьянина — жена и восемь детей. Два дня, как он ничего не ел, ни он, ни его жена, ни дети. Гвардеец стреляет. Преступник убит. Жена и дети не получают желудей. Им выдадут только труп — кровь на животе и желтые грустные зубы. Женщина поставит на бумажке неуклюжий крестик. Педро, которому четыре года от роду, так и не поймет, что значат причитания матери и чужие люди в блестящих треуголках. Он будет до ночи хныкать: «Есть!.. Я хочу есть!..»

В Закарпатской Украине отмечено резкое увеличение детской смертности. Недавно в Прагу был доставлен образец хлеба, которым питаются крестьяне Верховины. Этот хлеб похож на глину. Он сделан из мякины, к которой подмешана толченая кора. Карпатский хлеб немало заинтересовал врачей Праги, которые признали, что он «чрезвычайно губителен для здоровья населения».

Люди кричат: «Хлеба!» — в больших городах и в тихих заброшенных селах, в каменных дворах Бельвилля и Нейкельна, на набережных Лондона и Гамбурга, среди грохота Нью-Йорка и среди степной тишины, в Китае и в Чили, в Конго и в Польше — «Хлеба! хлеба!»

Люди крадут. Их отводят в тюрьмы. Потом их выпускают, чтобы они умерли на свободе. Людей кидают в реки, завязывают на шее узлы, открывают вены или газовые краны. Их спасают, чтобы они умерли чинной, дозволенной смертью. Тогда люди умирают. Рождаются новые. Статистики выписывают многозначные цифры, врачи откачивают утопленников, тюремщики гремят ключами — в кино и в жизни. Те, что еще не умерли, кричат: «Хлеба! пан! бред! пайн! брод!»

В Риме заседает международная конференция. На эту конференцию собрались представители сорока шести государств:

послы, министры, ученые. Они заседают не первый день, устало повторяют они все то же короткое слово: «Хлеб, хлеб!..» Не следует думать, что и они голодны,— это государственные люди, они потрясены неслыханным бедствием: в мире чересчур много хлеба. Если миллионы людей голодают, то исключительно оттого, что хлеба в мире недопустимо много.

На столе папки с цифрами, гнезда цифр. Цифры растут, кишат, грозят пожрать весь мир — это бушели непроданного хлеба. С ужасом смотрят делегаты на беснование цифр: в 1930 году — 550 000 000 бушелей пшеницы, в 1931 году — 630 000 000. Элеваторы забиты зерном в Канаде и в Австралии, в Соединенных Штатах и в Аргентине, в Венгрии и в Югославии. Растут золотые горы, падают цены, миллионы становятся пылью, и вокруг хлеба, вокруг этого ненужного, проклятого хлеба все бродят и бродят голодные.

На столе рядом с папками — газеты, английские, немецкие, французские, много газет, газеты сорока шести стран. В газетах рядом со статьями о конференции жалкая хроника человеческих дней. В Берлине растет число самоубийств. В течение мая покончили с собой 178 человек. Эти люди умерли не от несчастной любви, не от пресыщения жизнью. Они умерли от того, что для них в жизни не было хлеба.

Над Римом синеют весенние сумерки, кружатся ласточки, лепечут фонтаны. Печально смотрят делегаты на пляску цифр. Как спасти гибнущий мир?..

Поднимается представитель Венгрии, барон Георгий Пронай. Он нашел выход. В его стране люди умирают от голода, но барон Пронай — не сентиментальная барышня. Не о людях он думает, о цифрах. Он думает также о свиньях: надо пшеницей накормить весь скот, крупный и мелкий:

— Излишки пшеницы необходимо денатурировать с помощью золина, то есть сделать их непригодными для человеческого потребления.

Одобрительно вздыхают члены венгерской делегации: граф Юлий Кароли, граф Ладислав Сомси, граф Максимилиан Хойос,— это очень хорошо придумано — «сделать непригодной для человеческого потребления...».

Вдруг легкая тень, дар римских сумерек, забирается в глаза делегатов. Три графа и барон о чем-то задумались. Может быть, они вспомнили о деревне Диссель? Там голодные люди съели дохлятину. Напрасно пададь обливали керосином,

люди не уstraшились дурного запаха. Можно ли поручиться, что они не накинутся на пшеницу, тщательно денатурированную с помощью озона, что они не станут отнимать у свиней модный корм, что они не внесут беспорядок в работу третьей или четвертой международной конференции?.. Ведь эти люди все еще думают, что хлеба на свете чересчур мало, что хлеба не хватает для всех, им и невдомек, что хлеба чересчур много, что хлеб чересчур дешев и что хлеб следует уничтожить.

Проходит еще один день. Делегаты пьют легкое римское вино. Они томно вздыхают. Сто сорок делегатов. Речи, комиссии, доклады. Сегодня выступает представитель Румынии г-н Мадгеару. Г-н Мадгеару — министр земледелия. Он знает, как спасти мир. Надо организовать рекламу. Надо рекламировать хлеб, как рекламируют другие товары. Пусть горожане едят побольше хлеба. Пусть научатся есть хлеб и полудикие китайцы. Американцы давно поняли: «реклама — двигатель торговли». Если можно рекламировать ликеры или фильмы, почему бы не рекламировать хлеб?..

Снова голубеют римские сумерки. Делегаты расходятся. Ночь подсказывает чудеса. Вместо звезд над миром вспыхивают огненные буквы: «Ешьте хлеб! вкусный хлеб! белый хлеб! ситный хлеб». Стены Берлина покрываются афишами: «Ешьте хлеб из крупчатки Манитобы!» В Нордене растет толпа. Они согласны. Они идут. Они требуют — да, да, вот этого самого, из Манитобы!.. Кто-то разбил стекло — телефон, полиция, два грузовика... Это коммунистическая провокация!.. Вы, наверное, забыли, что теперь мировой кризис!.. Простите, но что это «Манитоба»? Канада? Штат? Хлеб? А безработные?.. Шесть миллионов безработных? Мы уже сказали: государство не богадельня! Мы должны сократить пособия безработным. Пусть не едят!.. Кулаки. Крики. Выстрелы. Тогда раздается легкий, почти неземной цокот. Это не цикады Рима. Это железо. Крупц, Шнейдер, Шкода, они тоже знают, что такое правильно поставленная реклама.

Над Манчестером световые транспаранты: «Ешьте белый хлеб!» Как клубок огненных гадюк, ползут по Менильмонтану электрические ленты: «Хлеб укрепляет мускулы!» Летчики засыпают Китай белоснежными листовками: «Ваше спасение в хлебе!» Кричат громкоговорители на площадях испанских городов: «Хлеб — основа жизни!» Надрываются священ-



ники, адвокаты, журналисты: «Хлеб! Только хлеб! Скорее — хлеб!»

В ответ корчатся голодные. Они хватают камни с мостовой. Они разбивают щиты булочных. Они также кричат: «Хлеба!» Их миллионы. Они хотят разнести мир.

Впрочем, это только тень, только легкая тень римских сумерек. Поднимается председатель конференции; насмешливо щурясь, он благодарит г-на Мадгеару за его интересное сообщение. Еще один доклад. Еще одна резолюция. Цифры не унимаются: они визжат и хохочут, они кувыркаются среди пепельниц, они щекочут уши ста сорока шести делегатов.

По набережной Тибра идет делегат Венгрии барон Георгий Пронай. С ненавистью смотрит он на витрины булочных — хлеб, повсюду хлеб!.. Дураки, они не понимают, что хлеба чересчур много!.. К барону робко подкрадывается тень. Это вульгарная тень римских сумерек.

— Подайте, Христа ради, на хлеб!..

Услышав знакомое слово, барон Пронай возмущенно отмахивается. Его ли дело спасать тень? Он спасает Венгрию и мир. Вы говорите — «хлеб»? Но мы уже постановили — уничтожить! Денатурировать! Выдать свиньям!

Тогда спутник графа, американский журналист, усмехается:

— Мистер Легг на этом сломал шею — дело в том, что у свиней свои вкусы...

## 5. Кто первый?..

— Господа, необходимо сократить посевную площадь!..

В портах Англии свалено 20 000 000 бушелей аргентинской пшеницы. Напрасно торговцы понижают цены — покупателей нет. Может быть, отослать хлеб в Китай? Но китайцам хлеб не по карману. А в Европе все перепуталось: диета и голод, гастрономия и нищета, прихоть и несчастье.

Жан до войны съедал в день два фунта хлеба. Он ел хлеб с сыром и с вареньем, с кофе и с вином, утром и вечером. Он работал тогда в столярной мастерской. Теперь он работает на автомобильном заводе. Он съедает в день полфунта хлеба. Весь день он стоит, не двигаясь, у ленты — он потерял аппетит.

Он зарабатывает неплохо. Он стал привередлив: он предпочитает мясо или овощи. Зсмяк Жана — Робер тоже съедает в день полфунта хлеба. У Робера хороший аппетит — с утра до ночи он ходит по городу в поисках работы. У него хороший аппетит, но у него нет денег. Он считает су и покупает не фунт, а полфунта.

Одни перестали есть хлеб потому, что хлеб для них чересчур низок, другие потому, что он для них недоступен. До войны немец съедал в год 92 килограмма хлеба, теперь он съедает всего 65. Французы любят хлеб, но и француз теперь потребляет в год на 28 килограммов меньше, нежели до войны. Потребление хлеба уменьшилось в тринадцати странах, в странах богатых и в странах бедных.

Пшеница пала в цене, но хлеб не подешевел, хлеб вздорожал. До войны фунт хлеба стоил в Германии 16 пфеннигов, теперь он стоит 20 пфеннигов. В Чикаго можно купить квинтал пшеницы за 60 французских франков. В Бельгии тот же квинтал стоит 90 франков. Во Франции за него платят 145 франков.

Миллион безработных не может купить лишний фунт хлеба, потому что он для них чересчур дорог. Хлеб чересчур дорог для разоренных войной китайцев. Зато он дешев для свиней. Но, увы, и мистер Легг и барон Пронай прогадали: у свиней, которых кормят пшеницей, скверные окорока. Не лучшее обстоит дело и с коровами: пшеница мало способствует высокому качеству молока. Американские скотоводы все же покупают пшеницу — в течение последнего года 105 000 000 бушелей пшеницы были выданы скоту. Это плохой корм, но ничего не поделаешь — теперь кризис, а хлеб, слишком дорогой для людей, достаточно дешев для свиней.

В окрестностях Тивериадского озера ботаники недавно разыскали дикий злак «тритикум дикоккоидес» — это прама-терь нашей пшеницы. Тысячелетия пшеницу разводили, хо-лили, совершенствовали. Специалисты насчитывают 2218 разновидностей этого злака. Пшеницу кастрируют, вновь оплодотворяют, скрещивают различные породы. Так были созданы «федерация» в Австралии, «маркиза» в Канаде, «вильгельмина» в Голландии, «вильморэн» во Франции. Труд многих веков привел к тому, что весной 1931 года дипломаты и ученые занялись вопросом: нельзя ли с помощью химических приме-

сей сделать пшеницу непригодной для человеческого потребления.

В ту весну мир был преисполнен поэтического вдохновения. В Бразилии плантаторы жгли кофе, — кофе стремительно падал в цене, и плантаторы стали огнепоклонниками. Кофе горел, кинооператоры «крутили», и на экранах Европы среди «спуска нового крейсера» и «матча бокса» показывали, как в Бразилии жгут кофе. Кофе в Европе стоил дорого, и миллионы европейцев пили желудевый отвар.

Кроме кофе, люди в ту весну жгли хлопок. Заместитель мистера Легга мистер Стон, новый директор «Фарм борда», сказал, что единственный выход из кризиса — это сжечь треть урожая. Плантаторы южных штатов жгли тонны и тонны хлопка. У рабочих южных штатов не было денег, чтобы купить рубашку: для них рубашка была слишком дорога, для них хлопок был слишком дешев. В ту весну мир трудолюбиво уничтожал все, что было создано его трудами.

Пшеницу давали свиньям, но пшеницы было чересчур много, и на международной конференции в Риме один из докладчиков решился сказать вслух:

— Господа, необходимо сократить посевную площадь!..

Делегаты молчат. Они согласны с этим не в меру последовательным докладчиком, но каждый из них думает: пусть начинают другие!.. Если Канада сократит посевы, пшеница повысится в цене, и тогда-то Аргентина малость заработает!..

Впрочем, на международной конференции не принято говорить о барышах. Делегаты беседуют о вопросах куда более возвышенных. Представитель Франции г-н Альфред Масс готов припутать к пшенице и Расина и Виргилия:

— Франция хранит печать Рима, его культуры, его духа, его нравов, его языка, его законодательства. Франция — латинская нация, а для каждого сына латинской нации хлеб — это святыня...

Господин Альфред Масс говорит долго и поэтично: любя труд землепашца, Франция никак не может сократить посевной площади!

Италия, как известно, тоже латинская нация, и на поэтическом турнире г-н Бенито Муссолини ни в чем не уступит г-ну Альфреду Массу. Муссолини объявил «пшеничную битву» — «итальянцы, сейте хлеб!». Он даже сочинил для пропаганды хлебопашества поэму: «Итальянцы, любите хлеб — сердце дома,

аромат трапезы, радость очага! Чтите хлеб — пот чела, гордость рук, поэзию жертвы!» Это было высказано весьма вдохновенно, и это продавалось по две лиры за оттиск. Кроме поэзии, Муссолини прибег к высоким пошлинам. Хлеб сразу вздорожал. «Пшеничная битва» была выиграна. Посевная площадь увеличилась. Италия теперь собирает в год на 20 000 000 квинталов больше, нежели она собирала до войны. Правда, теперь в Италии 185 000 безработных батраков — это ветераны «пшеничной битвы». Их труд никому не нужен, и они не могут насладиться ни «потом чела», ни «ароматом трапезы». Но вправе ли потомки Рима оробеть перед какой-то статистикой?..

Однако ни Италия, ни Франция не продают хлеба. Им приходится докупать хлеб за границей. Они покупают хлеб у американцев. Что же скажут американцы? От их ответа зависит судьба конференции.

Соединенные Штаты вовсе не прислали делегатов. Они за международную торговлю. Они против международных конференций. Никто не знает, на что именно они надеются: на войну в Европе, на невиданную засуху или на магическую силу своих улыбок? Никто не знает, надеются ли они или, давно отчаявшись, продолжают по привычке улыбаться среди крахов, гангстеров и голода? Во всяком случае, они улыбаются и, улыбаясь, никак не хотят разговаривать с меланхоличными европейцами о глубоко абстрактных вопросах, как, например, о сокращении посевной площади.

Канада прислала своего представителя, но представитель Канады мистер Фергусон на предложение сократить посевную площадь отвечает вежливым отказом. В западных округах Канады — 300 000 фермеров. Они живут исключительно хлебопашеством. Они стали фермерами потому, что Европа требовала хлеба. Им некуда уйти и не за что взяться. Они ссылают в элеваторы прославленную «манитобу».

— Канада — демократическая страна, и правительство, которое решится ограничить посевы, будет тотчас же свергнуто...

Мистер Фергусон ссылается не только на политику, но и на климат: в Канаде все приспособлено для пшеницы. Канадские крестьяне не могут перейти на иную культуру. Пусть посевную площадь сократят государства, в которых экономические и климатические условия не препятствуют другим видам хозяйства...

На беду, представитель Аргентины вполне согласен с представителем Канады:

— Конечно, идеальное разрешение вопроса — это устранить сверхпроизводство. Но в Аргентине ограничительные меры противны тенденциям населения, которое хочет полностью использовать естественные богатства страны.

Представитель Аргентины полагает, что надо ограничить посевную площадь в странах с более густым населением.

Представитель Австралии находит, что Австралия наименее предназначена для подобного сокращения.

Международная конференция посвящена пшенице. Но делегаты говорят о многом, например, о льне. Что делать аргентинцам, которые разводят пшеницу? Перейти на лен? Но льна никто не покупает — в Англии закрылись все фабрики. Разводить скот? Но Европа теперь не берет ни консервов, ни шерсти. Представитель Австралии напоминает, что шерсть понизилась в цене еще стремительней, нежели пшеница. Одни разорились на пшенице, другие — на шерсти.

Перед делегатами — головоломка. Кто-то предлагает выделывать из пшеницы «карбурант». Другой, размечтавшись, говорит, что, если в Соединенных Штатах разрешат варить пиво, фермеры начнут разводить кукурузу и цены на пшеницу поднимутся. Третий надеется, что японцы вместо риса будут есть хлеб. Правда, рис тогда сразу подешевеет и начнется кризис риса, но ведь эта конференция не о рисе, а о пшенице.

Пока делегаты беседуют, где-то одни люди сеют, другие — жнут. Пшеница продолжает падать в цене. Напрасно биржевые «повышатели» пускают слухи, будто бы в Канаде засуха или в Австралии недород. На день-другой цены приподнимаются. Так, 4 ноября 1931 года можно было подумать, что пшеница спасена: «повышатели» заполнили чикагскую биржу рыком и ревом. Что ни минута, пшеница поднималась на цент или на два. Но прошло несколько дней, «понижатели» оправились, они вовремя выбросили и слух об отменном урожае в Аргентине, и сотни тысяч бушелей. Цены полетели вниз.

Природа явно не хочет помочь людям: засуха в одной стране тотчас возмещается урожаем в другой. Пшеница растет в пяти частях света, и мировой урожай пшеницы в среднем тот же из года в год. Для природы нет катастрофы; следовательно, для людей нет спасения. Жадно кидаются биржевики на бюллетени метеорологического института: это карты в азартной игре. Они могут сегодня разбогатеть или разориться. Но для

земледельца нет выхода — он делает никому не нужное дело: он взращивает хлеб. В августе 1932 года 500 000 фермеров Америки объявили забастовку: они отказались продавать хлеб в убыток. Биржа ответила на забастовку усмешкой: на элеваторах гниют миллионы бушелей!..

## 6. Посредники

Рыжий Джон Смис собрал хлеб. Это обыкновенный фермер Манитобы. Он очень мрачен: цены на пшеницу снова пали. Как ему дотянуть до весны?..

Жан Дюпон по природе много веселей Смиса: Жан Дюпон — француз. Он живет в Рубэ, и он работает на ткацкой фабрике. Он пришел в булочную, чтобы купить килограмм хлеба. Отсчитав су, он хмурится — хлеб снова вздорожал! Как он дотянет до субботы?..

Между рыжим Смисом и Дюпоном не только тысячи километров. Между ними люди. Эти люди живут хлебом. Они живут хлебом Смиса и хлебом Дюпона. Они живут куда лучше, нежели канадский фермер или рабочий Рубэ.

Смис продал хлеб Арперу. Он получил по 39 центов за бушель. Арпер ссыпал зерно в элеватор. Фирма, которой принадлежит элеватор, взяла по 1½ цента с бушеля. Страховое общество получило полпроцента. Маклер Дацель заработал по 2 цента на бушеле. В Виннипеге бушель стоит 55 центов. Потом на каждом бушеле зарабатывали по несколько центов паровозная линия, владельцы элеваторов в портах, железные дороги. Пшеницей занялся маклер в Ливерпуле, и в Ливерпуле бушель стоил уже 69 центов. Потом пшеницу купили мукомолы «Мулен де Корбей». Мукомолы тоже заработали себе на хлеб. Когда Жан Дюпон пришел в булочную, перед ним были большие румяные хлебы. Он сосчитал су и нахмурился. Он нахмурился оттого, что хлеб дорог и что ему надо много и трудно работать, чтобы получить этот хлеб.

Далеко от Жана Дюпона до Джона Смиса! Но Джон Смис тоже грустен. Он получил за каждый бушель 39 центов. Он пахал, он сеял, он жал, он молотил. Но су, которые, кряхтя, кипуч на прилавок Жан Дюпон, получит не Смис: их получат барышники, маклеры, владельцы элеваторов, судоходцы, страховые общества. Смис только тудился над своей нивой! Теперь

ему грозит голод. Между ним и Дюпоном тресты, биржа, агенты. Его труд сожрали барышники и сводчики. Когда хлеб дошел до Жана Дюпона из Рубэ, этот хлеб оказался Дюпону не по карману. Далеко от Дюпона до Смиса! Но голод всюду голод, и беда всюду беда.

На торговле хлебом маклер Лебель скопил маленькое состояние. У Лебеля теперь домик, в саду гелиотроп, а в курятнике куры. Пшеница переползла через материки и моря, она осчастливила Лебеля — несколько золотых зернышек застряли в его кармане.

На торговле хлебом фирмы «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» составили миллионные капиталы.

Торговля нефтью или каучуком связана с высокой политикой, с авантюрами и с поэзией, с государственными тайнами и с вульгарной уголовщиной. Торговля хлебом — это скромное, но солидное дело. Мало кто в Лондоне знает наследников Бунге. Г-н Луи Дрейфус известен парижанам как банкир, депутат и автор закона об арбитраже. Это не Наполеон и не Форд. Однако «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» оказались сильнее «Фарм борда». «Фарм борд» представлял правительство Соединенных Штатов. «Луи Дрейфус» представлял только г-на Луи Дрейфуса. Но что умел мистер Легг? Улыбаться? Разрабатывать государственные проекты? А у фирмы «Луи Дрейфус» были тысячи агентов, и эти агенты умели торговать.

Хлеб покупают в пяти частях света. Его покупают по мелочам. Агент должен вовремя купить. Он выжидает или торопится. У него хороший нюх, и он умеет не обижаться. Он божится, он торгуется. Мукомол Осло запрашивает Лондон: «Почем?» Мукомолу отвечают: «24 кроны квинтал, включая транспорт и страховку». Это — тысячи километров, и это — несколько минут: из Осло в Лондон, из Лондона в Мельбурн, из Мельбурна в Лондон, из Лондона в Осло. Норвежцы получают хлеб. Барышник получит барыши.

Океан. Рев гигантских волн. Среди рева и пены — теплоход. Он идет в Мельбурн за хлебом.

Хлебная биржа. Рев маклеров.

— Мельбурн 29/11..

— Буэнос-Айрес 28!..

Кабинет. Телефоны, много телефонов. Бритые затылки секретарей. Аппарат выстукивает последние курсы. Мельбурн 29/11.. Буэнос-Айрес 28... Директор, хмурясь, считает.

— Повернуть на Буэнос-Айрес!

Маклеры режут в Ливерпуле. Кабинет директора в Париже. Теплоход борется с бурей где-то на экваторе.

По беспроволочному телеграфу отдан приказ капитану теплохода: «Повернуть на Буэнос-Айрес!» Капитан кричит в рупор. Теплоход послушно поворачивается.

Это похоже на кино. Это похоже также на Библию. Это, однако, будничное дело — это торговля хлебом. «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» покупают хлеб в Австралии и в Канаде, в Венгрии и в Румынии, в Аргентине и в Соединенных Штатах. У них нет ни золотых нив, ни ферм, ни элеваторов. У них только деньги и телефоны, аппараты и агенты, прямые провода и крепкие нервы. Они покупают то, что они уже продали.

Далеко от амбара с зерном до мельницы. Между ними много тысяч километров, между ними океан и недели пути. Груз может попортиться. Зерно может подешеветь или вздорожать. На помощь продавцу и покупателю приходит маклер: он покупает по твердой цене, и по твердой цене он продает.

Маклер зарабатывает несколько центов с бушеля, но эти центы он зарабатывает без риска. Падет ли пшеница в цене или вздорожает, он получит свое. У него никогда не останется лишнего товара. — Он покупает ровно столько бушелей, сколько ему заказывают. В кабинете безостановочно гудят телефоны, вспыхивают лампочки, стучат арифмометры — бушели, квинталы, тонны, доллары, фунты, франки, песо. «В Мельбурне — 40 000 бушелей по 62... Шанхай покупает 68 000... Запросить Буэнос-Айрес — цена «барлеты»... Буэнос-Айрес хочет 64... Передать цены в Копенгаген...»

Это на вид достаточно будничное дело — здесь нет ни новых присков, ни выпуска акций, ни блефа, ни пота банкмета.

Но на всех полустанках далекой Австралии или Аргентины среди пшеницы и тишины значится имя одного человека. Это не король Великобритании, не лидер трудовой партии, не знаменитый боксер. Это почтенный банкир и член парламента — не австралийского, не аргентинского, не французского, это — торговец хлебом г-н Луи Дрейфус. Во французском парламенте он представляет округ, который славится худосочными пальмами, игорными домами и беспронгрышным климатом — он депутат Ривьеры. На Ривьере нет ни полей с пшеницей, ни элеваторов. Г-н Луи Дрейфус расписывается на заборах Ривьеры



как «независимый радикал». На заборах Австралии или Аргентины он расписывается куда суше — там он только торговец хлебом. В жизни имеются и будни и праздники. Отдыхая, г-н Дрейфус покупает мебель «ампир», это — тонкий ценитель старины. Работая, г-н Дрейфус покупает «барлету» или «манитобу». Разве не сказал господь Адаму: «В поте лица твоего ты будешь есть твой хлеб»?..

В поте лица ест хлеб фермер Джон Смес. В поте лица ест хлеб ткач Жан Дюпон. В поте лица ест хлеб г-н Луи Дрейфус. Разные люди. Разный пот. Разный хлеб.

## 7. Граница закрыта

Рыжий Джон Смес, фермер из Манитобы, получил за бушель пшеницы 39 центов. В Гамбурге этот бушель стоил 1 доллар 60 центов. Одну четверть получил фермер, одну четверть получили барышники, перевозчики и торговцы. Две четверти взяло государство. Это называется — «охрана сельского хозяйства», и от этого еще туже затягивают ремень на животе миллионы и миллионы безработных.

В Венгрии крестьяне голодают — хлеб в Венгрии нипочем. В Будапеште за бушель пшеницы дают 54 цента. От Будапешта рукой подать до Вены. Весело свистят пароходы, поднимаясь по широкому Дунаю. Вот и старая Вена! В этой старой Вене что ни дом, то беда — у людей нет работы, три года, пять лет, давно продано все добро, нет ни крейцера на хлеб. Бушель венгерской пшеницы в Вене стоит 1 доллар 14 центов. Для бедняков Вены хлеб — это роскошь.

Прежде различные страны делили между собой работу. В сыром, ненастном Манчестере хорошо было сучить нить, и Англия во все страны мира вывозила бумажные нитки. Англия вывозила также шерстяные материи. Англия вывозила антрацит. Россия поставляла хлеб, лес, нефть. Каучук привозили из Индии, кофе — из Бразилии, селитру — из Чили. Германия славилась электрическими установками и химическими красками. Шведы изготавливали спички и телефоны. Испанцы вывозили апельсины. Франция посылала другим странам шелк, парфюмерию, вина. Норвежцы кормили Европу треской, датчане — маслом. В Больвии люди жили висмутом, на Кубе — сахаром и сигарами.

Соединенные Штаты гордились многим: автомобилями и фильмами, тракторами и нефтью, консервами и безопасными бритвами, паровозами и кукурузой. Египет давал хлопок, Гондурас — бананы. Болгары разводили табак. Швейцарцы доили коров и выверяли хронометры. Чехи тачали обувь. Австралийцы продавали шерсть. Китай вывозил чай и рис. У каждой страны было свое дело. Пыхтели пароходы, скрипели лебедки, по свистывали паровозы — тысячи и тысячи тонн шли из страны в страну, из Японии в Ливерпуль, из Ливерпуля в Бомбей, из Бомбея в Гамбург, из Гамбурга в Москву, из Москвы в Японию. Вещи передвигались куда легче людей. Они кружились по миру. Из Египта везли хлопок в Лодзь, в Лодзи стучали станки, и вот лодзинский ситец уже спешил в Тунис. Капитализм переживал свою молодость.

Потом молодость кончилась. Что ни день, государства устанавливали новые пошлины. Вещи стали домоседливыми. Приуныв, пароходы забрались в гавани, — так перепуганные овцы забираются в загон. В Египте еще разводят хлопок, но этот хлопок послать больше некуда. В Лодзи из остатков хлопка еще делают ситец, но этот ситец гниет на складах.

Четверть века назад люди радовались прогрессу: Анды были просверлены тоннелем. Аргентина поставляла скот в Чили. Теперь чилийцы обнищали — Европа не хочет покупать чилийские удобрения. Чилийцы не хотят покупать аргентинских волов. Они взимают с каждого вола 36 песо пошлины. Железнодорожная компания отменила поезда — без волов ей никак не покрыть расходов. Тоннель закрыт, и путешественник должен, как встарь, плыть через Магелланов пролив.

В эпоху поездов-молния и первых воздушных рейсов мир казался крохотным, как квартира. Прошло десять лет, и он снова стал непроходимыми джунглями. В бюро по-прежнему висят карты с кривыми рейсов, но на эти карты никто больше не смотрит. Каждая страна теперь хочет жить сама для себя и сама по себе.

В Канаде девственная земля, и канадским фермерам не нужны удобрения. В Канаде у фермеров удобрения. В Канаде у фермеров тракторы и комбайны. Квинтал пшеницы обходится канадскому фермеру 2 марки 85 пфеннигов. Но немцы не хотят покупать канадскую пшеницу, они хотят прожить своей собственной. У немецких крестьян нет тракторов, и земля в Германии вдоволь истощена. Квинтал пшеницы обходится

немецкому крестьянину в 11 марок. Немецкая пшеница в четыре раза дороже американской. Земля в Германии у крупных помещиков. У 5 000 000 крестьян — 1 588 000 гектаров. У 7 крупных землевладельцев — 772 550 гектаров земли. У каждого из этих господ столько земли, сколько у 350 000 крестьян. 40% крестьян — батраки.

Крупные землевладельцы не заводят тракторов, они не улучшают хозяйства. Они безразличны и к химии, и к электричеству. Они живы одним — пошлинами. Правительство зорко оберегает их интересы — американская пшеница обложена пошлиной — 1 доллар 62 цента за бушель. Эта пошлина выше стоимости товара. Крестьяне никак не заинтересованы в пошлинах на хлеб: пшеницы им самим едва хватает. Они не продают хлеба. Хлеб продают крупные землевладельцы. Что ни день, правительство по их требованию повышает пошлину. За короткий срок пошлины поднялись с 9 марок до 25 с квинтала. Правительство отказывает в пособиях безработным батракам, но на нужды крупных земельных хозяев оно отпустило 2 500 000 000 марок. Безработные просят «на хлеб», но благодаря домогательствам крупных землевладельцев хлеб в Германии дорог; он вдвое дороже, нежели в соседних государствах, и правительство никак не может накормить безработных хлебом.

В Италии ни почва, ни климат не благоприятствуют земледелию. Но каждая страна теперь хочет быть целым миром. «Италия не может зависеть от других государств!» Так сказал Муссолини. В Италии сплошь да рядом крестьянин собирает с гектара всего-навсего 5 квинталов пшеницы. Но может ли почва или климат остановить Муссолини? Он объявил «пшеничную битву». Конечно, прежде всего он ввел пошлины: сначала 7 золотых лир с квинтала, потом 11, потом 14, потом 17, наконец и все 20. «Пшеничная победа» означала одно: высокие пошлины, а следовательно — дорогой хлеб.

Англия принимает закон о хлебном контингенте: мукомолы обязаны примешивать к зерну не менее 15% английского зерна. Голландцы требуют от своих мукомолов примеси 20% голландского зерна. Англия и Голландия всегда жили привозным хлебом. Теперь местные землевладельцы могут диктовать цену на пшеницу — сбыт товара обеспечен законом. Хлеб дорожает. Столько-то землевладельцев радуются. Столько-то

безработных Манчестера, Глазго или Роттердама вздыхают: они давно отказались от мяса и от масла. Неужели им придется отказаться и от хлеба?..

Франция издавна почитает себя за страну универсальную,— «страна гармонии», она делит труд между фабрикой и нивой. Однако Франция ежегодно докупает хлеб — от 10 до 12 миллионов квинталов. Интересы хлебопашцев во Франции ограждены и высокими пошлинами и контингентом. Квинтал американской пшеницы стоит в Гавре 80 франков. За него берут 90 франков пошлины. Мельники не имеют права примешивать к французскому зерну более установленной доли зерна привозного.

Во Франции 2 235 000 крестьян, у которых меньше одного гектара земли. Во Франции 2 617 000 крестьян, у которых меньше десяти гектаров. Во Франции 138 700 помещиков и кулаков, у которых свыше сорока гектаров. Себестоимость квинтала пшеницы вычисляется по хозяйству самого бедного крестьянина. При отсутствии машин себестоимость квинтала пшеницы достигает 150 франков за квинтал. Привозная пшеница стоит в два раза дешевле. Но правительство облагает ее пошлиной — 90 франков с квинтала. Крупному землевладельцу квинтал пшеницы обходится много дешевле, на каждом квинтале он зарабатывает 50—60 франков. Крестьянин еле сводит концы с концами. Рабочий должен покупать хлеб, который вздорожал вдвое. Устанавливая пошлины, правительство высчитало, во сколько должна обойтись пшеница бедному крестьянину,— это демократия. На этой демократии богатеют 100 000 землевладельцев и на ней разоряются 10 000 000 бедняков.

Франция докупает в год около 10 000 000 квинталов пшеницы. В 1929 году в палате депутатов были произнесены патетические речи о победе труда и о венке из колосьев. Журналисты клялись, что Франция скоро перегонит Канаду — да, да, Франция вывозит хлеб! 1929 год был во Франции урожайным. Не предвидя хорошего урожая, скупщики и мукомо-лы заблаговременно ввезли американскую пшеницу. Пшеницы оказалось чересчур много. За границей цены на зерно упали, и заграничный хлеб приходилось перепродавать с потерей. Тогда правительство пришло на помощь скупщикам и мукомолам: оно установило «премии» за вывоз. Оно якобы

покровительствовало крестьянам, которые не могут продать французскую пшеницу. Оно спасало барыши торговцев с их «барлетой» или «манитобой».

Подобные «премии» установлены в ряде стран. Государства говорят: «Продавайте хлеб за границу, продавайте его во что бы то ни стало! Убытки мы берем на себя». Каждая страна хочет сбить зерно соседу — «даю премию!». И каждая страна ограждает себя от зерна соседа — «беру пошлины!». Это напоминает детскую игру. Однако это — серьезные труды экономистов, политиков, дипломатов.

Все государства хотят обязательно сохранить, даже увеличить поля, на которых произрастает столь убыточное растение. Все государства готовятся к войне, а воюя, трудно рассчитывать на привозной хлеб. Все государства страшатся социализма, а стоит крестьянину бросить клочок своей земли, как он заражается опасными идеями.

Здесь можно расчувствоваться — привести несколько стихотворений из хрестоматии о величии пахаря или изобразить на почтовой марке благородную жницу. Но в мире все больше и больше хлеба, и этот хлеб все недоступней и недоступней.

Земледельческие страны, которые не могут вывозить хлеб, закрывают свои границы для иностранных товаров. Игра продолжается. Чехи не впускают венгерскую пшеницу. Венгры не впускают чешские машины. Англичане не впускают французские овощи. Французы не впускают английское сукно. Французы не впускают испанское вино. Испанцы не впускают французский шелк. Закрываются фабрики. Растет безработица. Народы мечутся в огненном кольце.

Можно прожить без шелка, без вина, без овощей. Нельзя прожить без хлеба. Шум зерна, который падает в элеваторы, звучит как похоронный марш. Зачем грело землю солнце, зачем поили ее теплые весенние ливни, зачем миллионы людей в знойный полдень, отирая рукавом лоб, шли среди высоких колосьев? Этот хлеб никому не нужен. Его пытаются спасти комиссии, совещания, пошлины, премии, все хитроумие юристов, маклеров и шулеров. А возле булочных стоят люди и грустно глядят на большие хлеба, на хлеба длинные, овальные или круглые, на испанские хлеба, замысловатые и пресные, на французские хлеба, которые вьются, как лозы, на венские булочки, на сухие караваи Италии, — они стоят и вздыхают: хлеб все растет в цене!..

## 8. Удобрения

В 1898 году английский химик сэр Вильям Крук опубликовал мрачное предсказание: через тридцать лет мир начнет голодать. Сэр Вильям доказывал, что земля быстро истощается, а запасы селитры ограничены. Когда естественных удобрений не станет, человечество должно будет положить зубы на полку. Спасение в химии — необходимо найти искусственные удобрения и омолодить ими почву Европы. Иначе через тридцать лет предложение не сможет соответствовать спросу, и начнется голод.

Сэр Вильям был хорошим химиком — он предугадал открытие синтетического азота. Он был плохим экономистом — он не предугадал, к чему именно приведет это открытие. Правда, мир вступает в голодную эру, но предложение превышает спрос, и голодает мир от избытка хлеба. К этому избытку причастны и те химические удобрения, о которых мечтал сэр Вильям Крук.

Землепашцы с помощью химических удобрений повысили урожай втрое: земля, которая давала 8 квинталов пшеницы с гектара, теперь дает 25.

Эти тучные нивы рождены войной. Война удобрила землю не останками героев, но новым открытием: синтетическим азотом. Омоложение земли оказалось тесно связанным с истреблением человечества. Для процветания злаков и для уничтожения людей нужен один и тот же продукт: селитра. Король Генрих IV некогда сказал: «Селитра поддерживает троны и оберегает государства». Способы употребления селитры с тех пор изменились, но ее высокогуманная роль осталась неизменной. Осенью 1916 года во время боев при Сомме союзники истребляли ежедневно 5000 тонн чилийской селитры.

Пока одни люди умирали на берегах Соммы, другие неслыханно богатели — это были владельцы селитры. Они строили дворцы в Арике и в Антофагасте, они покупали мощные автомобили, они выписывали из Европы картины и древности, — в Чили день и ночь шла работа: рабочие добывали селитру.

Между океаном и Кордильерами тянется узкая, длинная полоска земли. Это пустыня. Вместо деревьев — трубы. 170 заводов обрабатывают нитрат. 400 000 человек живут нитратом. Они обязаны своим благополучием небу — на небе ни облачка. Это земля, на которую никогда не падает дождь. Если бы пролились здесь ливни, они унесли бы богатство края. Но над пустыней вечно голубое небо. Нитрат грузят на теплоходы. Когда Европа работает, этот нитрат утучняет ее нивы. Когда Европа воюет, этот нитрат уничтожает ее города и села. Такова мощь чилийской селитры. Таково богатство Чилийской республики.

Во время войны Германия была отрезана от Чили. Химики Германии не выходили из лаборатории. Они изобрели синтетический азот. Немцы научились изготавливать взрывчатые вещества без чилийской селитры.

Когда война кончилась, синтетический азот нашел новое применение — в деревнях запестрели рекламы химических удобрений; акции акционерных обществ, занятых выработкой модного продукта, бодро ворвались в биржевую сутолоку; вчерашнее открытие стало мощной отраслью промышленности; мало-помалу образовались тресты; не прошло и десяти лет, как пришлось созвать первую международную конференцию, посвященную кризису химических удобрений.

Накануне войны Германия была главным клиентом Чили — она ввозила около 2 000 000 тонн селитры. Теперь Германия продает во все страны синтетический азот: он дешевле чилийской селитры. Велик и всесторонен трест «ИГ» — он изготавливает и нежную пленку, на которой улыбается Грета Гарбо, и грубый азот, способный увлечь только агрономов и генералов.

Вслед за Германией Норвегия, Франция, Испания, Англия начали изготавливать химические удобрения. На европейских заводах изготавливали в год 4 000 000 тонн искусственных удобрений. Мир потреблял всего-навсего 1 500 000 тонн удобрений. Цены на удобрения стали падать.

Владельцы роскошных дворцов в Арике и Антофагасте приуныли. Фабриканты что ни день рассчитывают рабочих. Безработные хотят есть, и в Чили беспокойно. Правительство хочет спасти королей селитры. Оно ведет переговоры с немцами. Оно закрывает мелкие фабрики. Оно уменьшает вывоз селитры. Цены, однако, продолжают падать. Тогда правительство

образовывает селитряный трест «Косач», в него входят все предприятия. Капитал треста — 3 миллиарда пиастров. Эти пиастры куплены на доллары: «Косач» поддерживают Соединенные Штаты. 700 000 000 долларов вложены в чилийскую селитру. Правительство Чилийской республики — это только отделение нью-йоркского банка. Соединенные Штаты растерялись: они не могут продавать пшеницу. «Фарм борд» кидает миллионы на ветер. Зачем фермерам удобрения? Земля и так грешит плодородием. Хлеба и так слишком много. Плодоносная селитра Чили растет. Флот бунтует. Флот умирляют. Вашингтон настаивает на крутых мерах. Солдаты стреляют. Запасы селитры все растут и растут.

На юг от селитряного царства — чилийская Патагония. Там люди сеют пшеницу. Они вывозили хлеб в Боливию и в Перу. Теперь никто не хочет покупать патагонского хлеба. С юга крестьяне бегут на север — на селитроварни. Безработные севера спешат на юг — на полевые работы. Но больше никому не нужны ни пшеница, ни селитра, ни эти злосчастные люди.

Тогда кто-то вытаскивает полотнище. Оно весело бьется над поселком — это красный флаг революции. «Долой «Косач»!» Вашингтон шлет взволнованные кабели: 700 000 000 долларов — не шутка. Правительство республики объявляет коммунистов вне закона. Начинается бой за селитру. Солдаты маршируют, солдаты стреляют, и на улицах поселка валяются мертвые люди. Порядок восторжествовал. Однако цены на селитру не поднимаются. Запасы растут. Голодные голодают.

Это отнюдь не победа синтетического азота — на фабриках Германии тоже унылые лица, остановившиеся машины, и на улицах Германии тоже красные флаги, винтовки солдат и нелепо распластавшиеся тела.

Пшеница стоит слишком дешево, фермеры не могут покупать нитрата. Еще недавно вагоны с удобрениями спешили в придунайские страны. Теперь ни венгры, ни сербы не удобряют землю. Они готовы ее заколдовать, чтобы на ней взошел чертополох: может быть, тогда пшеница поднимется в цене! Афиши, которые рекламировали химические удобрения, афиши с бронзовыми колосьями на голубом фоне давно вылиняли. На них никто не смотрит. Что делать с миллионами непро-



данных квинталов? Что делать с синтетическим азотом? Мира нет. Войны еще нет. Между миром и войной замерли заводы.

Немцы предлагают создать мировой трест, ограничить производство, остановить падение цен. Чили сопротивляется. «Косач» не хочет идти на соглашение. Немцы предлагают чилийцам вывозить в год не свыше 260 000 тонн селитры. Чилийцы отказываются. Начинается таможенная война. Германия не покупает чилийской меди. Чили не покупает немецких машин. Чили пытается продать селитру по любой цене, но ему удается вывезти за год всего 140 000 тонн.

Французы хотят покупать норвежский нитрат. Но французы хотят с каждых 100 килограммов брать 12 франков в пользу своей промышленности — французские фабрики химических удобрений жестоко пострадали от кризиса, они ждут правительственных субсидий. Ни норвежцы, ни англичане не хотят поддерживать конкурентов пособиями. Они отвергают французские предложения. На помощь французам приходят немцы. Конечно, удобрение легко переходит во взрывчатые вещества. Но зачем думать о крови?.. Дело идет о барышах. Пьер Лаваль побывал в Берлине. Он улыбался и приценивался. Соглашение заключено. Немцы поставят во Францию 1 500 000 тонн химических удобрений.

Что ни месяц, собираются конференции; делегаты должны распределить рынки. На первых конференциях делегаты волновались — им было что распределять. С каждым годом конференции становятся все тише и тише. Даже чилийцы больше не сопротивляются. Не все ли равно, какие удобрения — органические или химические? Не все ли равно, какой контингент удастся заполучить тому или иному государству? Рынки можно поделить. Но эти рынки иллюзорны. Кто станет покупать удобрения, когда нельзя продать хлеб? Кто станет платить за химические препараты, способные улучшить качество пшеницы, когда химики заняты теперь другой проблемой: как бы сделать эту улучшенную пшеницу вовсе непригодной для употребления.

Делегаты печально улыбаются. А селитра ждет своего часа. Люди не хотят ею удобрять землю? Что же, скоро они найдут для нее другое применение, — заработают фабрики и чилийские, и немецкие, и французские, засуетятся поезда и теплоходы: Генрих IV был прав — селитра охраняет государства и поддерживает троны.

## 9. Тракторы

В 1919 году в Соединенных Штатах было 80 000 тракторов. Своры коммивояжеров Форда и Харвестера кинулись в западные штаты. Они соблазняли фермеров: «С трактором вы тотчас же разбогатеете!» В 1930 году в Соединенных Штатах был миллион тракторов. Тракторы работали на славу. Однако фермеры не разбогатели. Они разорились. Они перешли на содержание «Фарм борда».

Жизнь мистера Легга можно разделить на два периода — до катастрофы и после катастрофы. В течение многих лет мистер Легг работал на заводах Харвестера. Эти заводы изготавливали сельскохозяйственные машины. Мистер Легг понял значение трактора. Он понял также значение торговли в кредит. Он рассылал повсюду своих представителей. Фермеры вносили ничтожный задаток. Они получали трактор. Они собирали куда больше пшеницы, нежели в прошлые годы. Они вспахивали новые гектары. Они нанимали меньше рабочих. Продав урожай, они с радостью уплачивали представителю Харвестера стоимость машины. Мистер Легг делал все, чтобы продать как можно больше тракторов.

Однажды мистера Легга вызвали к телефону — срочный разговор. Представитель Харвестера сообщил мистеру Леггу, что хитрый Форд решил перехитрить Легга: он выпускает тракторы, которые будут стоить на 240 долларов меньше, нежели тракторы Харвестера. Мистер Легг не стал обличать мистера Форда. Он тотчас же приказал понизить цены на тракторы Харвестера. Он готов был продавать в убыток, лишь бы продавать.

Война с Фордом длилась долго. Скрежетали машины; как библейская змея, вилась безумная «лента»; служащие едва успевали записывать номера выпускаемых машин; тракторы нетерпеливо пыхтели в проверочных и с радостью вырывались на просторы западных штатов. Тракторов становилось все больше и больше. Мистер Легг продавал машины не только фермерам Соединенных Штатов. Он отправлял тракторы в Канаду, в Аргентину, в Австралию. Чем больше было тракторов, тем больше было пшеницы. Когда пшеницы стало чересчур много, наступила катастрофа. Мистер Легг перестал управлять заводами Харвестера. Он был назначен председателем

«Фарм борда». Начался второй период его жизни — период искупления. Вокруг него высились элеваторы. В элеваторах гнило зерно. Мистер Легг задыхался под его тяжестью. Он в ужасе шептал: «Отдайте зерно свиньям!» Но никакие свиньи уже не могли помочь ни мистеру Леггу, ни Соединенным Штатам.

В 1917 году мистер Форд решил спасти Европу от голодной смерти: он выпустил первый трактор. Трактор назывался умиленно: «фордсоном». Он стоил 750 долларов. Четыре года спустя «фордсон» стоил всего 395 долларов. Мистер Форд был преисполнен оптимизма. Над ним стояло полдневное солнце благоденствия. Он день и ночь проповедовал. Он нес миру новый завет: завет трактора. Он доказывал, что трактор в три раза дешевле лошадей. Трактор ест масло и бензин, лошади едят овес и сено. Трактор съедает куда меньше, нежели восьмерка лошадей.

Форд построил заводы на Красной Реке, которые должны были выпускать в год миллион тракторов. Он боролся с Харвестером и понижал цены. Он посылал тракторы в Австралию и в Аргентину. Он хотел, чтобы тракторы паслись повсюду, как паслись некогда волы. Он гордо говорил: «Вскоре лошадь с плугом станет живописным воспоминанием». Он брал у фермеров лошадей в счет стоимости трактора. Лошадей слали на бойню: они давали машинам кожу, волосы, копыта.

Прошло несколько лет. В городе Форда — тишина. Возле заводских ворот стоят полицейские со слезоточивыми газами: они охраняют парализованные машины от голодных людей. Мистер Форд больше не произносит проповедей. Молча он готовится к смерти. А в западных штатах и в Канаде фермеры напрасно ищут охотника, который взял бы трактор в обмен на лошадей. Фермер не может больше держать трактор: это прихотливое животное требует, чтобы его кормили бензином. Бензин продается повсюду, но за бензин надо давать доллары, а у фермера нет долларов, — фермер не может продать хлеб. Фермер мечтает о кляче — клячу можно прокормить и пшеницей. Вместо взволнованного дыхания мотора над просторами Америки снова раздается меланхоличное ржанье.

Машины умеют молотить и ткать, оттачивать тончайшие части часового механизма и плести узорчатые ковры. Машины изготавливают дредноуты и обручальные кольца. Машины умеют делать многое. Думать машины, однако, не умеют.

Думать должны по-прежнему люди, но люди разучились думать. Они не знают, сколько гектаров засеять пшеницей, а сколько кукурузой. Они не знают, как распределить собранное зерно. Они забрасывают мир товарами, которых никто не в состоянии купить. Они заверяют, что кризис приключился оттого, что в мире чересчур много вещей, прекрасных и доступных. Они говорят это среди голодных, босых, бездомных. Они во всем обвиняют машины.

В Вашингтоне собирается совещание по вопросу о постепенном переходе на ручной труд. Услужливые философы и писатели тотчас приступают к работе. «Как прекрасен пахарь с его примитивной сохой! Сколько поэтического в старинной прялке!» Потом начинается проза. В Великобритании судостроители объединяются для уничтожения машин. Вслед за судостроителями трест сталелитейной промышленности предлагает владельцам заводов продать инвентарь на слом. Напрасно в Женеве дипломаты толкуют об уничтожении танков. Танки не будут уничтожены. Новое средневековье заменит божий гром синтетическим азотом, а чуму культурой бацилл. Но люди уже начали уничтожать мирные машины. Не зная, как справиться с кризисом, они судят машины. Машины приговариваются к смертной казни, а рабочие к каторжным работам.

Фермеры продают замечательные тракторы и волшебные комбайны. Они так мечтали об этих машинах! Они любовались ими на выставках. Они слушали красноречивых коммивояжеров, которые им сулили золотые горы. Они вовремя купили машины. Они собрали по 25 квинталов пшеницы с гектара. Они работали шутя,— древний тяжкий труд сменился пикниками,— они выезжали на работы, беспечно насвистывая фокстрот. За них работали машины. Но эти диковинные «роботы» оказались привередливыми. Они не хотят слышать о мировом кризисе. Как и встарь, они требуют бензина, не думая о том, что пшеница теперь никому не нужна. Это — лукавые и строптивые рабы. И фермеры спускают тракторы за гроши. Они покупают древнего конягу. Они берутся за косы. Они бредут вслед за плугом. Они сгребают колосья вилами. Они поднимают тяжелые цепи. Они теперь похожи на злосчастных крестьян Венгрии или Болгарии. Напрасно трудились ученые над мотором внутреннего сгорания, напрасно были построены заводы Харвестера и Форда, напрасно приснился американским

и канадским фермерам сон о легком и прекрасном труде, о нежных чудовищах, которые пахнут, сеют и жнут. Сон кончился. Как некогда, в знойный день течет пот с лица пахаря, и в памяти угрюмо копошатся слова библейского проклятия: «В поте лица твоего будешь ты есть хлеб твой!..»

## 10. Биржа

Хлебная биржа Чикаго была торжественно открыта в 1930 году. На открытии ее присутствовал мистер Гувер, и, соблюдая приличие, он улыбался. Об этой бирже давно мечтали короли пшеницы, маклеры, перекупщики. Им было тесно в старом здании. Они зарабатывали миллионы. Они хотели отплатить пшенице и построили в ее честь великолепный храм. В этом храме сорок этажей. Постройка его стоила двадцать миллионов долларов. Когда здание было наконец-то воздвигнуто и, сопровождаемый почтительным ропотом, в него вошел мистер Гувер, все вдруг поняли, что это великолепие ни к чему. Пшеница перестала быть божеством. Она не заслуживает почестей. В огромном храме мистер Гувер казался букашкой, хлебным жучком. Биржа была рассчитана на толпы верующих, на радостный рев, на миллионные сделки. Но печально бродят маклеры из угла в угол. Прежде в течение одного дня на чикагской бирже продавали и покупали не менее ста миллионов бушелей. Теперь бывают дни, когда сделки не доходят и до десяти миллионов.

В Чикаго короновались все короли пшеницы: Артур Коттен и Джесси Ланвермор. Теперь короли не выходят из своих дворцов. Перед ними тихие воды Мичиганского озера. О чем говорит им вода? О судьбе короля спичек и короля обуви? О тишине и вечернем спокойствии? О боге благочестивой Америки? Или о том, что в этой благочестивой Америке за год лопнуло 2342 банка с капиталом в три миллиарда долларов? Молчит озеро, и молчат короли. Тихо на бирже. В гигантских элеваторах гниет зерно. Напрасно пылают печи, пытаюсь парами освежить пшеницу, — пшеница умирает.

Короли не думают ни о полях, ни о колосьях, ни о зерне. Пшеница для них — это цифры. В Чикаго покупают куда больше пшеницы, нежели ее имеется во всех элеваторах мира.

Люди покупают пшеницу, чтобы ее продать. Они покупают не зерно, но абстрактные бушели.

Во всех городах мира существуют конторы торговцев зерном. Эти торговцы вряд ли умеют отличить «барлету» от «манитобы». Зато они в точности знают все курсы дня — и чикагские и ливерпульские. Вот в контору г-на Шельда входит молодой человек. Он очень томен. У его отца ювелирный магазин, но никто теперь не покупает бриллиантов, и ювелир стал скуповат. Молодому человеку нужны деньги: он любит хорошие автомобили, нарядных женщин, шампанское. Это обыкновенный молодой человек — он хочет жить. Он пришел сюда, чтобы купить две тысячи квинталов аргентинской пшеницы. Он никогда не видал элеватора. Он не сумеет отличить пшеницы от овса. Он даже не знает в точности, где находится Аргентина. Но вчера ему сказали, что слухи о закрытии «Вит пуля» ложны. Следовательно, пшеница поднимется. Он играет на повышение. Дама в бежевой шляпке, от волнения сползшей набок, напротив, уверена, что «Вит пуль» доживает последние дни, — она играет на понижение. Г-н Шельд зарабатывает себе на хлеб. Они в нетерпении смотрят на аппарат. Любая сделка в Чикаго заставляет биться впечатлительную стрелку — аппарат выстукивает цифру. Дама немного выиграла. Молодой человек продулся. Он может ночью придушить отца. Он может завтра отыграться на кукурузе. Где-то идут люди по полю, собирая густые колосья. Здесь стучит аппарат и скачут цифры.

Говорят, что это и есть хлеб. Тот, о котором молились люди: «Насущный даждь нам!..» В окнах булочных всех городов мира красуются хлебы. Они разной формы и разной выпечки, но они все могут насытить. Возле окон булочных всех городов мира бродят голодные. Они жалуются или ругаются. Они говорят на разных языках, но все они хотят есть.

## 11. Проклят хлеб

Второго августа 1932 года на углу Капуцинского бульвара и улицы Дану два полицейских надели наручники на преступника. Этот преступник никого не убил, но преступление его все же велико: он хотел есть, и он украл хлеб. Дело было так: человек из булочной развозил хлебы, длинные хрустящие хле-

бы. Он вошел в подъезд. На улице осталась тележка с хлебами. Можно ли оставлять без присмотра такое богатство? Мимо тележки проходил безработный. Он хотел есть. Он долго глядел на хлеб. Хлеб был золотой, как счастье. Он подошел вплотную к тележке. Он услышал дивный запах свежеевыпеченного хлеба. Об этом запахе столь поэтично писал Муссолини. Но голодный человек не знал писаний Муссолини. Он не знал, что хлеб надо уважать. Он не знал также, что хлеба в мире чересчур много, что дипломаты и химики ломают себе голову над тем, как бы уничтожить лишний хлеб. Он ничего не знал. Он думал — хлеб для того, чтобы люди его ели, и он хотел есть. Не вытерпев, он отломил полхлеба и бросился за угол. Тогда к нему подбежали два полицейских и вцепились в его руки. Один из полицейских вынул наручники. Преступника увели в комиссариат. Это было в центре Парижа, рядом с модными лавками и с роскошными кафе. В кафе сидели игроки, те, что играют на понижение пшеницы, маклеры и журналисты. Они пили настойки для аппетита. Один из журналистов, увидав, что преступника увели в комиссариат, раздраженно сказал: «Черт побери! Из-за фунта хлеба...» Он готов был рассердиться и на полицейских и на мир. Но тотчас он спохватился, — был пригожий летний день, — и, уже улыбаясь, он сказал товарищу: «Кстати, ты читал, что в Риме открылась международная выставка хлеба?..»

В Риме выставлены образцы хлеба. Они загадочны и прекрасны, как древние изваяния. На них смотрят школьники и дипломаты, смотрят и зевают. Конечно, хлеб — это основа жизни, но вся беда в том, что хлеб никому не нужен. Газеты сообщают, что предвидится снова прекрасный урожай. Это последняя капля!.. Хлеб гниет в ультрасовременных элеваторах и в ветхих амбарах — его слишком много. Люди умирают с голода — у них нет хлеба.

Молчит земля, старая, умудренная, всласть уваженная земля Европы, нежная целина Канады, едва тронутая первыми тракторами, иступленная и нетерпеливая земля Аргентины, скромная и деловитая земля Австралии. Молчит вся земля мира. Эта земля плодородна и несчастна. Она проклята всеми за то, что она дает хлеб. Она пробует улыбаться младенческой зеленью нови. Она пробует утешать людей золотом колосьев. Она делает то, что может: она растит хлеб.

В сердцах люди собирают этот хлеб. Они его жгут. Они его гноят в закромах. Они его швыряют свиньям. А свиньи не хотят хлеба. Тем временем множатся темные тени возле булочных, они плотнеют, растут, их все больше и больше. Они хорошо знают, что такое «хлеб наш насущный». Но они не шепчут «даждь!». Зачем просить? Никто не даст им хлеба. Они возьмут хлеб или умрут. Гаснут огни городов, поднимается предутренний туман. Вокруг — земля, та земля, которую люди некогда звали «матерью», в которую они клали и мертвых людей, и живые зерна. Земля покрыта туманом. Она молчит. Она рассечена на участки, на поместья, на фермы, на гектары. Она изранена границами и межами. Из-за нее люди готовы убить друг друга. На ней растет хлеб, и вот этот хлеб больше никому не нужен. Люди не могут его поделить. Одни умирают от избытка. Другие от того, что у них нет ни ломтя. Солнце всходит. Туман пронизан розовым взволнованным светом. Начинается новый день, но он не сулит ни радости, ни покоя. Проклята эта земля. Проклят человеческий труд. Проклят, трижды проклят человеческий хлеб.

1932

## 12. Послесловие

Это было северное туманное море, все расшитое рыбацкими парусами. Женщины в прибрежных деревушках еще носили старомодные голландские чепцы. В этом нет ничего удивительного — море тоже было голландским, и рыбаки ловили в нем справедливо прославленных голландских сельдей. Кроме того, рыбаки курили глиняные трубки и катались на велосипедах. Они осуждали новшества века, но мечтали об автомобилях. Это были достойные дети своей страны, предприимчивые, как сэр Генри Детердинг, и тупые, как ветряные мельницы. В Голландии существует «Общество покровительства ветряным мельницам». Куда спокойнее быть старой мельницей где-нибудь возле Алькмара, нежели молодым туземцем в голландской колонии.

Мельницам ничего не угрожало. Люди занялись морем, Голландия — страна традиции и прогресса. Она привыкла воевать с морем, и она не хочет успокоиться на своем былом величии. Так родился проект осушения Зюдерзее. Было в точнос-



ти высчитано, сколько прибавится гектаров земли и сколько селедок пропадет. Дело показалось выгодным, и люди пошли на море. Газета правительственной партии, которая скромно именуется «Партией борьбы с революцией и анархией», писала: «Мы покажем, что пятилетний план возможен не в стране разнузданной черни, но только в цивилизованном государстве». Для осушения моря были привезены необычайные машины.

Рыбакам выдали отступные. Задумчиво сосали они свои трубки. Они меняли парусники на тракторы. Они забыли о королевских сельдях и начали толковать о необычайных достоинствах голландской пшеницы, в честь королевы названной «вильгельминой». Дочки рыбаков, ввиду ускоренного темпа истории, променяли чепцы на амстердамские шляпки. Кинорежиссер Ивенс должен был запечатлеть победу человека над стихией: из моря они сделали столько-то тысяч гектаров превосходной пахотной земли.

Они все предвидели: и стоимость работ, и пафос экрана, и даже охрану старых национальных чепцов. Перед ними лежали папки с полчищами цифр. Однако в серый туманный день к прежним цифрам прибавилась новая: в амбарах мира оказалось 630 000 000 бушелей пшеницы, которая гнила, ибо ее некому было продавать.

Хлеб — не чепцы: он не боится капризов моды, он нужен всем и всегда. Но люди оказались глупее машин: они просчитались. С каждым годом они сеяли все больше и больше пшеницы — в Канаде, в Аргентине, в Австралии. Запасы росли, цены падали, фермеры разорялись.

На первом участке осушенного моря голландский пастор служил молебн: «Да уродится хлеб!» По ту сторону другие пасторы благословляли огонь: это не были огнепоклонники, и огонь они благословляли только потому, что в мире оказалось чересчур много пшеницы, ее надо было срочно уничтожать.

Тем временем в Голландии на отвоеванной у моря земле люди сеяли пшеницу. Да и что было делать этим трудолюбивым голландцам? Не затопить же снова землю!.. Они сеяли, в душе уповая на плохой урожай. Урожай оказался хорошим. Тогда они стали думать о том, как бы уничтожить пшеницу.

Государственные люди надумали денатурировать пшеницу с помощью возина. Они хотели удержать цены на хлеб: пусть пшеницу жрет скотина!.. Из денатурированного зерна они

начали готовить корм для коров. Это было великолепным достижением культуры.

Коровы всего мира ели прекрасную пшеницу — «манитобу» или «барлету». Они ели пшеницу и давали молоко. Люди делали из молока масло. Кроме того, люди ели бифштексы и ростбифы. Казалось, найден благополучный выход если не для коров, то для людей. Но в дело снова вмешались цифры.

Есть цифры статистики. Их изучают специалисты. Они способствуют тому или иному решению. Они необходимы для планового хозяйства. Они объясняют и служат — это ручные цифры. Но есть иные цифры, похожие на диких зверей. В Монте-Карло выходит газета, в ней нет ни телеграмм, ни статей, ни хроники происшествий. Эта странная газета заполнена одним: длинными колонками цифр. Полоумные игроки прочитывают эту газету от доски до доски, — в ней значатся номера рулетки, вышедшие накануне. Эти цифры ничего не означают, кроме воспоминаний о проигрышах. Но игроки все еще пробуют найти тайный смысл цифр.

Так на голову свалилась еще одна цифра: скота оказалось чересчур много — и коров, и быков, и телят.

Датчане когда-то сеяли пшеницу. Они вовремя отступили, поняв, что им не угнаться за Америкой. В Америке было сколько угодно целины, а датчане жили на небольших островах. Богатства они могли достигнуть только упорным трудом и высокой культурой. Они начали разводить рогатый скот и свиней.

Они достигли своего: в мире жестоком и бурном Дания казалась счастливым исключением, идиллическим островком, белым домиком среди тенистых кленов. Крестьяне пили коктейли и катались в автомобилях. Можно было ожидать, что вскоре они перейдут на шампанское и обзаведутся самолетами?

Но в дело вмешались цифры: начался кризис. По-прежнему на маслобойнях стлы густые сливки, по-прежнему чадолюбивые свиньи приносили по дюжине нежных поросят, по-прежнему на бойнях предсмертное мычание обещало сочные бифштексы. Подвел не скот, подвели люди: другие страны перестали покупать у датчан их первосортные продукты.

Нигде так не жилось коровам, как в Дании. Это приятная страна: люди в ней приветливы, дома чисты, а зелень до того нежна, что любую ферму можно принять за библейский эдем. Людям в Дании тоже жилось неплохо, но особенно хоро-

пно в ней жилось коровам. Они жили в роскошных хлевах с проточной водой — холодной и теплой, летом они гуляли на пастбищах, свежих, как садовый газон, они были окружены почетом и любовью. У каждой коровы была особая книжица, в нее заносились все события ее коровьей жизни. Ей подбирали достойных любовников. Если она не вовремя мычала или если она съедала чуть меньше положенного, заботливые хозяева тотчас же кидались к телефону — из ближайшего городка приезжал ветеринар, важный, как профессор.

Теперь ветеринара беспокоят много реже: стоит ли платить за лечение при такой цене на масло и мясо?.. Да и стоит ли теперь выводить этих красавиц, которые загадочно подешевели?..

Англия, Германия, Франция — все они сократили ввоз масла. Масло резко упало в цене. Из вымени коровы еще недавно текло жидкое золото; теперь из него течет вода.

Датское мясо покупала предпочтительно Германия. Сначала вывоз в Германию поколебала цифра безработицы: миллионы немцев перешли с мяса на картошку. Потом в судьбу говядины вмешались высокополитические проблемы.

Национал-социалисты заявили, что датский Шлезвиг по существу немецкий. В Шлезвиге разводили скот на убой. Немцы перестали покупать мясо: они хотели ударить если не по сердцу, то по карману Шлезвига. Границы оказались закрытыми. Экономисты преважно объявили о «перепроизводстве мяса». Датчане приуныли: что им делать с этими «лишними» коровами?..

Они хотели было изготавливать мясные консервы, но на дороге стала Аргентина. В этой Аргентине всего чересчур много: и пшеницы, и шерсти, и мяса. Аргентина продает мясные консервы по цене, едва превосходящей себестоимость жестянок. Датчанам некому сбывать консервы. Что же им делать с коровами?..

В маленьком городке на острове Леланд можно увидеть последнее достижение капиталистической цивилизации. Фермеры ведут здоровых молодых коров на бойню. Это всемирно прославленные бурые коровы Дании. Над созданием этой замечательной породы работало не одно поколение. Счастье скольких крестьян в разных концах света еще могли бы составить эти «буренушки»! Но их ведут на бойню, и приемщик кратко отмечает: «Для уничтожения».

Мясо падало изо дня в день, и, чтобы приостановить это падение, государство начало уничтожать скот. Сначала уничтожали больных коров. Это объяснялось заботами о здоровье населения. Потом начали уничтожать слабых и пожилых коров — это было якобы поднятием качества мяса. Теперь уничтожают молодых и вполне здоровых коров — и теперь объяснения закончились. Молчат газеты. Молчат ветеринары на бойнях. Молчат фермеры. Каждую неделю в Дании молча уничтожают пять тысяч голов рогатого скота.

Шесть процентов туши идет на мыло или на другие технические надобности. Остальное сжигают, сжигают суповое мясо бедняка, жаркое семьи, сжигают потому, что, если верить почтенным экономистам, мяса в обнищавшем, полуголодном мире чересчур много.

В городе Нанскове, однако, додумались до «разумного применения мяса». Его не уничтожают, оно перерабатывается для высоких заданий. Машина с грохотом превращает мясо и кости в массу, массу потом варят, прессуют, и вместо туши получается лепешка землистого цвета — это корм для свиней. Так найден выход из кризиса: надо уничтожить коров, чтобы ими кормить свиней.

Разгадка столь таинственного производства проста: Англия еще покупает свиное сало. Английские хозяйки еще требуют бекона, а датские свиньи созданы, воспитаны и принорованы для одного: они идут на утренний завтрак англичан. Прежде в Дании водились пятнистые свиньи. Их мясо и сало ничуть не хуже мяса и сала белых свиней. Но англичане — люди капризные, они, например, не признают пятнистых свиней; пятнистые свиньи теперь парии, они стоят вдвое меньше белых.

Мировой кризис не обошел и свиную породу. Цены на свиней резко упали. Экспорт сократился. Крестьяне получают особые карточки: право продать в год столько-то свиней. С карточкой свинья стоит девяносто крон, без карточки — сорок. В газетах можно увидеть объявление: «Продаю свиные карточки». Фермеры спекулируют не живыми свиньями, но мертвыми душами — правом продавать свиней.

Чуть ли не каждую неделю Англия сокращает число закупаемых свиней. Бекон остается беконом, и все англичане знают, что нет на свете бекона лучше, нежели датский. Но и доминионы остаются доминионами. Приходится считаться не

только с нежностью сала, но и с требованиями Новой Зеландии. Может быть, вскоре английская граница окажется закрытой для датских свиней, как закрыта немецкая граница для датских коров. Тогда?.. Тогда придется заняться очередным делом и уничтожать поросят, которые теперь беспечно пожирают мясо уничтоженных коров.

Это трагический хоровод. Они осушают моря, чтобы сеять пшеницу. Потом они уничтожают пшеницу: они делают из нее корм для коров. Потом они уничтожают коров и делают из коров корм для свиней. Наверное, какой-нибудь предприимчивый человек уже разрабатывает проект рационального использования свиней, которых завтра датчане начнут уничтожать.

Фермеры уже раздумывают, чем бы заменить коров и свиней. Их упорство и трудолюбие неистребимы. Они занялись теперь плодоводством и сажают яблони или груши. Они продают фрукты за границу. Пока это еще только деревья. На них нападают насекомые, а с насекомыми можно бороться. Но близок день, когда на них нападут безумные цифры, похожие на номера рулетки, и тогда придется вырубать драгоценные сады.

Нигде так не разительная тупая разрушительная сила капитализма, как в этой маленькой благоустроенной стране. Каждая пядь земли здесь выхолена, как клумба. Люди здесь привыкли работать с утра до ночи. Здесь свиной хлев похож на больницу, а труд простого крестьянина тесно связан с последними научными достижениями. Эта страна пережила мираж всеобщего благоденствия. Конечно, и поныне жизнь в ней совершенней и легче, нежели в Германии или Англии. Но датчане увидели, до чего их судьба связана с судьбами всего мира. Волны заливают счастливый островок. Датчане еще не узнали ни голода, ни нищеты, но они уже узнали нечто горшее: обреченность труда.

В Швеции, в районе лесных промыслов, тысячи безработных, они едят мясо два-три раза в год. В Крамфорсе рабочие целлулоидной фабрики питаются картошкой, селедкой и овсянкой,— им мясо не по карману. По Трондхему бродят матросы и грузчики, оставшиеся без работы. У них осанка морских людей, гордых и упрямых. Они должны протягивать руку и просить несколько эре на хлеб. Они никогда не едят мяса.

Пароход из Дании во Францию гружен старыми клячами. Парижская беднота будет жевать сухую, жесткую конину. Почему же не везут во Францию датских коров?.. Существуют

ют заградительные пошлины. Существует «мясная политика». Существуют цифры. Старую клячу можно ввезти во Францию, и кляча в Дании стоит дороже трех молодых коров.

Когда-то пролетариат был одним из классов общества. Он боролся за свое право на жизнь. Он взывал к интересам поработенных. Он требовал справедливости. Он выступал против другого класса, алчного, но живого. Буржуазия тогда еще строила замечательные заводы, разводила породистых коров и двигала вперед человечество. Это время давно миновало. Мы вправе теперь взывать не к чувствам класса, не к совести, но к простому рассудку. Мы вправе говорить о спасении цивилизации. Это они довели мир до распада. Вначале они требовали труда рабов, которые строили для них прекрасные сооружения. Теперь они требуют труда Сизифа, бессмысленного труда, осужденного на уничтожение. Они превратили мир в стол рулетки, а жизнь каждого человека в лихорадку игрока, не знающего, что с ним станет через минуту. Они рассказывали глупые истории о рабочих, обливающих керосином дворцы, и о малолетних анархистах, швыряющих бомбы. Но вот они — бомбисты, поджигатели, варвары нашего века! Вы увидите — завтра они начнут уничтожать свиней и обращать свиные туши в удобрение, чтобы сеять пшеницу, чтобы давать пшеницу уцелевшим коровам, чтобы этих коров давать свиньям, а свиньями удобрять землю. Когда-то они были жестокими, бездушными дельцами. Теперь они превратились в буйных сумасшедших.

Виза  
времени







# Письма другу

Берлин

Дорогой друг, я все еще в Берлине. Ты удивишься. Как можно, когда существуют аспид и мимозы парижских бульваров, теплые ступени римской Пьяцца Спанья, смолистое кианти в траториях Флоренции и прочие превосходные вещи, сидеть в этом городе, похожем на запущенную казарму с выбитыми стеклами, пропускающими круглый год холодные норд-осты? Ведь сколько раз в былые времена, проезжая Берлин, торопились мы скорее перебраться с одного вокзала на другой, подняв воротник пальто, не глядя на прямые, скучные улицы. Берлин тогда казался нам не городом, а узловой станцией. Что же, мы не были столь далеки от правды. Конечно, многое изменилось в Европе. Говорят, что и Берлин сильно изменился. Но сильнее всего изменились мы сами. Если я живу в Берлине, то отнюдь не оттого, что в нем появились мимозы или кианти. Нет, просто я полюбил за годы революции грязные узловые станции с мечущимися беженцами и недействующими расписаниями.

(Впрочем, может быть, все это — литература, и причины, удерживающие меня в Берлине, не имеют ничего общего с моей «железнодорожной страстью». Ведь ты знаешь, что мимозы парижских бульваров находятся под заботливым покровительством Пуанкаре, а на широкой лестнице Пьяцца Спанья рвутся чернорубашечники Муссолини.)

Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес кафе». Это — очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фанатических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. Профессию моих соседей определить трудно. Мягкие бесформенные шляпы, яркие, но засаленные галстуки, давно не бритые щеки в равной мере характерны и для художника-дадаиста, и для неудачливого спекулянта, торгующего долларами поштучно. Прислушиваюсь к беседам. Щупленький итальянец

громко шепчет (этому свойству позавидовал бы любой начинающий актер) о том, что следует к июню или самое позднее к июлю организовать международный рабочий поход на Рим. Рядом с ним какой-то голландский литератор, необычайно крайний, возмущается гастролями Московского камерного театра: «Помилуйте, ужасные ретрограды! В то время как у них в Гаарлеме выработана декларация, отменяющая и авторов и актеров, — люди, приехавшие из красной Москвы, играют... Расина!» Не менее голландца возмущен его сосед, национальности абсолютно неопределимой: он вчера купил датские кроны, а сегодня они пали. Государственный банк, вместо того чтобы заботиться о финансах страны, разоряет людей. А цены растут: «мокка» сегодня уже восемьсот марок! Возмутительно! На этом сходятся все.

Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюта или визы? Эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские: это считается хорошим тоном. Я совсем не хочу оригинальничать. Я боюсь, что ты не поверишь мне, — это звучит явно парадоксально: я полюбил Берлин.

— Вы шутите? Ведь это — город, у которого нет лица...

Они правы по-своему. Берлин уныл, однообразен и лишен «*coeur local*». Это — его «лицо», и за это я его люблю. Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна — точная копия другой. Можно идти час, два — и увидеть то же самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, общипанные вечными сквозняками, и на углу — сигарную лавку «Лейзер и Вольф». Это — выставка, громадный макет, приспившийся план. Кажется, люди должны здесь жить по-особому: голо и схематично, мечтать о мировых походах, изобретать теорию относительности и есть вареный картофель.

В центре Берлина метрополитен, вырываясь из-под земли, дугой висит над городом. Это — станция «Гляйс-драйэк». Рельсы. Гудки локомотивов. Огни семафоров. Железная идиллия.

А дальше?.. А дальше — поезда снова врываются в землю. Выходят на ежедневную учебу взводы домов, мерзнут кентавры, облетают деревья, и абстрактный приказчик сигарной лавки «Лейзер и Вольф» продает схематическому покупателю

сигару, сделанную из листьев капусты. Оба условно называют ее «гаваной». В годы войны им снились сказочный Багдад, нефть и рельсы. Теперь они смотрят в кинематографе «Теорию относительности», которая сопровождается жалобами Шумана и стонами вдов.

В Европе только один современный город — это Берлин. О, конечно, в Лондоне больше автомобилей, но кроме автомобилей в Лондоне имеются уютные домики, проповедники Гайд-парка, рождественские индюшки, Вестминстерское аббатство и прочие букволические радости. Нет, Лондон не город, — это «рай» и «ад» правоучительных картинок; здесь плакал бедный Давид Копперфильд. Картинки я знаю с детских лет. И если члены Пиквикского клуба вместо omnibuses передвигаются в автобусах, то это лишь некоторое неуважение к памяти Диккенса. Ты любишь Париж? Я его тоже очень люблю. Это, пожалуй, только «рай», и когда меня в прошлом году из этого «рая» выгнали, я, как Адам, застенчиво улыбаюсь. Что говорить — замечательный город! Ты ведь знаешь его не хуже меня. Вспомни мидинеток под каштанами, девочек, прыгающих на расчерченной мелом мостовой, букинистов вдоль набережной Сены, черных дроздов и символических поэтов в Люксембурге, «страшного» анархиста Себастьяна Фора, который учит хорошему пению младенцев, — вспомни все. Разве это не грандиозная провинция, не очаровательные выселки счастливейших людей?

Да, разумеется, и у Парижа и у Лондона имеется «свое лицо». А Берлин — просто большой город, мыслимая столица Европы. Среди других городов — это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов.

Я думаю, теперь ты начинаешь понимать мое пристрастие к Берлину. Но есть в нем другие чары. В этом городе, похожем на огромный вокзал, идет действительно вокзальная жизнь. В Берлине больше нет быта, и немецкие писатели-бытовики поливают желудевым кофе томительные мемуары.

В Париже я видал и дроздов и символистов. Война как будто кончилась. Вдовы вышли замуж. Калеки привыкли к костылям. Аперитивы по-прежнему манят своей горечью и сладостью. Быт все тот же, я радуюсь за Париж, — он заслужил своих дроздов и символистов.

Здесь же ничего нет. Старое ушло. Офицеры из «Контрольной комиссии» своими руками разбивали превосходные прожекторы. Осколки валялись на земле. Новое не явилось. Наступила вокзальная жизнь.

Прочитав эти слова, не подумай о былых временах, о вылощенных, нарядных вокзалах Франкфурта и Штутгарта. Это очень неприютный вокзал. Если в нем имеются чистые и спокойные уголки, то они мало кому доступны. Я вспоминаю узловую станцию Жмеринку во время немецкой оккупации. Загаженный беженцами зал. В углу столик, накрытый чистой скатеркой, как будто перенесенный сюда из мифического ресторана. На столе карточка. «Только для гг. германских офицеров». Такой столик существует, конечно, и в Берлине,— это витрины хороших магазинов, плакаты курортов, театры, автомобили и прочее. На них значатся цифры, но в переводе на немецкий язык эти цифры читаются: «Только для гг. иностранцев».

Впрочем, трагедия и очарование Берлина — отнюдь не в бедности, не в лишениях. Нас, переживших годы революции, этим удивить трудно. Я видал вокзалы пострашней. Нет, особенность здешней жизни — в прирожденной страсти к точным расписаниям и в полном отсутствии их. В Берлине нет ни анархии, ни революции, ни разложения. Но над большим прямым городом, над железной сетью Гляйс-драйэка, над валькириями, даже над сигарными лавками «Лейзер и Вольф» стоит неизвестность. Никто не принимает этой жизни всерьез. Никто не знает, когда придет поезд и куда увезет он растерянных пассажиров.

Какой строй в Германии? Говорят, что республика. Вероятно, это так. Во всяком случае, в Берлине строй незаметный, а это немалое достоинство.

Республика?.. Может быть... Я живу в маленьком пансионе. Над моей кроватью висит фотография императорской семьи. Каждое утро, просыпаясь, я в умилении считаю, сколько же у кайзера сыновей. Умилившись, я выхожу на улицу,— называется она, кстати, Кайзер-аллее. Рядом с ней находится Гогенцоллернплац. Это хорошая площадь, что касается имен, то как-то левые предложили переименовать улицы. Но гласные, сославшись на величие истории и на интересы шоферов, предложение отклонили. Впрочем, я тебя уверяю, что в Гер-

мании была революция, и Келлерман даже написал об этом популярный роман. Хочу оправдать и мою хозяйку: в витрине любого писчебумажного магазина имеются превосходные фотографии кайзера и всех его домочадцев. Они стоят дешево и хорошо раскупаются. В каждой приличной семье должен быть хоть один портрет кайзера,— это в порядке нежных воспоминаний. Ведь не всегда же люди жили на вокзале... В некоторых рабочих семьях, впрочем, можно обнаружить портреты других покойников: Бебеля или двух Либкнехтов. Но любопытно, что эти изображения являются лишь памятью о былых днях. Я нигде не видал фотографий людей, которые теперь управляют страной. Конечно, на вокзале не до фотографа.

Да, в Германии, безусловно, республика, я вспомнил — существует даже закон о ее охране. Берлинцы читают в проходе трамвая «В. З.» и узнают, что в Дрездене коммунисты устраивают рабочее правительство, а в Мюнхене фашисты готовятся к перевороту. Читая это, берлинцы думают, что и Дрезден и Мюнхен — счастливые города. Там имеются хотя бы поддельные расписания. В Берлине же никто не знает, когда и куда уйдет ближайший поезд.

Как в каждом городе, в Берлине имеются «националисты» и «интернационалисты». Они живут в разных кварталах. Западная часть Берлина настроена сверхпатриотично. Но это отнюдь не оттого, что она ближе к Руру. Нет, западные кварталы далеко от чада фабрик и поэтому заселены «порядочными людьми», а, как известно, «порядочные люди» любят говорить о любви к родине. «Порядочный человек» не выносит французского языка. Часто он не может вынести и русский язык, ибо никак не хочет поверить, что русский язык — это не польский язык. Он непримирим. Для него Камерный театр был принужден переименовать «Адриенну Лекувьер» в «Морица Саксонского», а «Жирофле-Жирофля» — в «Близнецов». «Довольно иностранцев!» — ворчит он. Поворачивая же, идет на биржу, покупает акции захваченных французами предприятий, насмехается над государственным займом, играет на понижение марки и, заработав за одно утро десять миллионов, жертвует тысячу марок «в пользу борцов Рура». По дороге домой он заезжает в большой парфюмерный магазин. На дверях надпись: «Никаких французских товаров». «Порядочный человек» знает, что магазин принадлежит другому «порядочному человеку», а надписи на дверях предназначаются для зевак;

спокойно он спрашивает флакон духов Герлена: подарок любовнице.

Люди, которые живут на восточной и на северной окраинах Берлина, считают себя «интернационалистами». Но они не играют на бирже. Они от своих скудных грошей отделяют гроши и плют их через профсоюзы рурским сотоварищам. Иногда они отправляются в чужие кварталы и, проходя по улицам Вестена, поют «Интернационал». Порой и обитатели Запада переступают границы,— пеньем «Deutschland über alles» дразнят Восток. Тогда все путается на узловой станции, и даже такая солидная монументальная вещь, как патриотизм, который раньше был гранитом памятников Бисмарку и медью крупновских игрушек, становится неясной, меняющейся формой. Может быть, эти люди, отрицающие рьяно родину, и являются подлинными патриотами?

Так обстоит дело с патриотизмом. Но не думай, что неизвестность, неопределенность касаются лишь тончайших сфер политики, внешней и внутренней. Нет, я их чувствую во всем. Я даже начинаю сомневаться во времени и летоисчислении. Так, недавно я ощутил всю невесомость шести-семи веков. Я сидел в мрачном зале и слушал, как судили писателя Карла Эйнштейна. Он написал книгу. Книга как книга. Его обвинили в богохульстве. В Германии, кстати, «свобода совести». Эксперты цитировали «отцов церкви». Все было весьма эффективно и напоминало исторические пьесы в постановке Рейнгардта.

Это — единственный раз, когда я заметил, что в Берлине кто-то помнит о существовании религии. Точнее, об этом вспомнили, чтобы засудить писателя. Церкви стоят на месте (их здесь не особенно много). В воскресенье туда ходят слушать за небольшую плату концерт. Это относится, конечно, не к религии, а к музыке.

Морали тоже не стало. Старая — это семейные воспоминания вроде портретов кайзера. Новой еще не выдумали: нельзя же на вокзале развешивать картинки... Живут, как придется. Милая Гретхен продает журналы. Надо уметь купить, не краснея,— это «Freundschaft», академический вестник, посвященный гомосексуализму. Проститутка, скромно зазывающая

на Егерштрассе прохожего, начинает казаться образцом добродетели. Помилуй, среди кафе, где женщины любят женщин, а мужчины мужчин, она просто-напросто — самая обыкновенная традиционная проститутка. Ведь это — идиллия!

В двенадцать часов ночи закрываются кафе. В двенадцать часов открываются «нахт-локали». Иностранец стоит на улице, — куда идти? Подходит немец, солидный, добродетельный немец: «Хотите?..» Идут долго темными, похожими одна на другую улицами. Условный стук в окно. Иностранец пугливо озирается: ведь это — притон! Но он входит в обыкновенную семейную квартиру. На стенах — фамильные фотографии к серебряной свадьбе. Хозяин, который днем пишет бумаги в каком-нибудь бюро, начинает увеселять гостя похабными историями. Хозяин еще помнит прошлые времена и говорит с легкой тошнотой. Хозяйка подает поддельное шампанское и желудевый кофе. Потом приходят дочки, равнодушно раздеваются и танцуют. Они молоды и ни о чем не помнят, они испытывают лишь холод: семья экономит на угле.

Я тебе пишу не о чудовищах, а о жизни бедных людей, которые не виноваты ни в том, что они хотят есть, ни в том, что хитрый немец, сделавший в Гамбурге луну, еще не придумал новой морали.

Те, кому не нужны оброненные иностранцем кроны или шиллинги, развлекаются иначе. А может быть — так же: смотрят, как танцуют голые женщины, танцуют сами, главным образом — танцуют. Поехал я этой зимой в горы, на границу Богемии. Деревушка оказалась переполненной берлинскими «шиберами». Жены «шиберов», одетые в ярко-лиловые или изумрудные штаны, съезжали на своих собственных задах, весивших не менее трех пудов, со снежных гор, а поработав, спешили в «диле», то есть на танцульки, отплясывать фокстрот. В Берлине столько же «диле», сколько в Париже кафе, а в Брюсселе банков. Танцуют все, всюду и везде, танцуют длительно и похотливо.

Не мудрено, что и искусство современной Германии охвачено удушающими туманами. Ты полагаешь, что экспрессионизм — это школа? Тщетно искать в нем художественных канонов, присущих хотя бы импрессионизму или футуризму.

Экспрессионизм — истерика. В галерее «Штурм» висит громадное полотно, закиданное красной краской.

Называется «Симфония крови». Критиковать? Не стоит. Просто — художнику не до картин: он хотел плакать или буйнить. Краски оказались под рукой. Мог оказаться револьвер, — было бы хуже. Дай тюбики с красками любому «путчисту», правому или левому, — он мигом сделает такую же «симфонию крови». В том же «Штурме» соответствующие поэты читают стихи. Полумрак. Зеленые лампы. Невыносимый вой. «Тайна»... «Кровь»... Становится не на шутку страшно. Когда устраивает припадок истерики какая-нибудь Зизи или Мими — это, может быть, даже очень мило. Но когда голосит и бьется здоровый, работающий Карл Шмидт — это весьма тяжело.

Моя хозяйка тоже больше ни во что не верит. Доллар и марка вертятся на трапециях. Вслед за ними вертится столь скромная вещь, как цена на картошку. Купить сегодня или завтра?.. Ничего не известно!

Подделка раньше была подделкой. Теперь она стала бытом. В Берлине все — «эрзац». Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек — одни манишки. Когда берешь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь, и это очень хорошо гармонирует со всей вокзальной жизнью. Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку почтенного маргарина.

Перечитал письмо и усомнился, поймешь ли ты меня. Ведь мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься тому, что ты не в Берлине, а в стране, где жизнь налаживается, где имеются новые писатели, стойкие юноши, американизированные тресты и многое другое. Что же, я все-таки люблю Берлин. Я, кажется, забыл тебе сказать нечто весьма важное. Этот город беженцев, несмотря на все отчаяние, испушенно работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале, — видишь только прекрасные железнодорожные мастерские. А зачем эти люди работают и что будет завтра — они сами не знают.

Этой работы иностранцы обыкновенно не замечают. Как-то трудно поверить, блуждая по запущенным улицам Берлина,



слушая заглушенные звуки джимми, глядя на всякие «симфонии крови», что рядом идет созидание новых вещей. За два последних года проложена большая линия метрополитена. Науэнская радиостанция выросла в четыре раза. Немцы не могут не работать, так же как неаполитанцы не могут не петь. Пафос труда предохраняет Берлин от небытия. Он хочет жить, и в этом он радикально расходится с пожеланиями старшего консьержа «Comités des Forges».

Но как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Для чего все эти создаваемые вещи? Не забывай, что речь идет о народе философов, социальных доктринеров и моралистов. В маленьком кафе «Иости», за чашкой желудевого кофе, посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы. Шпенглер писал свою книгу здесь же, рядом, на вокзальной стойке...

Самые нетерпеливые не могут больше ждать. Довольно!.. Все равно куда, лишь бы уехать. В нетопленных опустевших квартирах мелких бюргеров пылкие мечтатели грезят о великолепии былой империи. У них темперамент не моей хозяйки, — портретов кайзера им мало. Там вылуплиются на свет божий мрачные романтики, убийцы Ратенау и Эрцбергера.

А в кварталах, северном и восточном, тоже молодые и тоже неистовые жадно посматривают в ту сторону, где живешь ты, дорогой друг, где имеются разные странные и завлекательные вещи.

Ни у тех, ни у других нет своего собственного знамени. В дни уличных стычек мелькают международные символы — знак свастики и пятиугольная звезда. И тех и других мало. Огромное большинство берлинцев не верит в эти спасительные распisanья. Когда же? Когда и куда?.. Прекрасная неизвестность! Ты, проделавший нашу великую революцию, пойми и полюби ее! Это — единственная правда сегодняшней Европы. Все, выдающие свои выкладки или грезы за подлинное распisanье, лгут, одни искренне, другие нет.

Вся Европа полна той же неизвестности: и чопорный Лондон со своей «мирной эволюцией», и наш милый Париж. Но другие города, богатые и сытые, скрывают тревогу, и меня пленяет среди этих каменных страусов откровенно нищий Берлин.

Сердце Европы работает далеко не исправно. В предчувствии невыносимых разлук оно порывисто бьется. Часто по ночам

мне кажется, что я слышу его глухие перебои. Слушать сердце Европы можно только в Берлине. Да, конечно, в Лондоне мораль еще на месте, и прелестные англичанки с ангельскими овалами прерафаэлитов не продают «Freundschaft». Да, конечно, Пикассо делает великолепные картины, с которыми нельзя сравнить мазню экспрессионистов. Да, конечно, даже португальский мильрейс может смотреть на германскую марку, как на цирковую лилипутку.

Да, конечно, здесь жизнь еще не налаживается, юноши склонны к неврастении, писателей новых нет, а работе трестов сильно мешают их же кузены — французские тресты.

Но скучный абстрактный Берлин снялся с места, двинулся в ночь. Поэтому Фридрихштрассе темнее и страшнее Пикадилли или Бульвар-де-Капусин. Мне кажется, что тот, кто первый вышел, раньше всех дойдет. Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин. Полюби его потому, что ты любишь Париж и Рим, потому, что ты любишь несчастную сумасбродку Европу, которая запуталась в проволочных заграждениях Пикардии, Польши, Тироля и которая валяется в засохшей крови и в незасыхающей грязи. Полюби ее невольного гонца в прекраснейшую неизвестность, город отвратительных памятников и встревоженных глаз — Берлин!

Брокен

Уехать из Берлина теперь не так-то просто. О загранице и мечтать нечего: все равно — дальше передней какого-либо великодержавного консульства не уйдешь. Но и Германия делится на различные поясы: досягаемые, опасные и вовсе недоступные. На Востоке через жилую комнату, как известно, проложен «коридор», в отличие от обычных коридоров отнюдь не приспособленный для того, чтобы по нему ходили. Я боюсь, что в этом коридоре имеются места менее сладкие, нежели «цукерни». Я не еду на Восток. На Западе происходит «мирная демонстрация плодов латинской культуры», а также различные похороны случайно погибающих при этом варваров-тевтонов. Кроме того, там ежедневно арестовывают не менее десяти переодетых Радеков. Я, кажется, с лица не похож на названного гражданина. Но все бывает: однажды в Пиллау меня приняли за капитана

французской армии. Я не еду на Запад. Юг? Да, конечно, в Баварии очень хорошие горы. Но видишь ли, я не высказался до сих пор ни за Кирилла Владимировича, ни за Николая Николаевича: при таких условиях наивно хлопотать о баварской визе.

Итак, я уехал туда, куда можно было уехать. Сейчас я сижу на верхушке Брокена. Правда, здесь до неприличия холодно и сыплет хороший крещенский снег. Зато ведьмы не держат консульств и не спрашивают виз. Благодатные места! Кроме снега, здесь можно найти спокойствие. Глядя на черные холмы Гарца, я чувствую лирическую тошноту. Откровенно говоря, мне хочется писать не тебе и вовсе не о немцах. Но я буду достойным окружающих меня туристов, для которых летний отдых — тяжелая работа, и попытаюсь честно закончить это письмо.

Те же черные холмы, кроме соображений лирических и сентиментальных, могут вызвать иные чувства. Бедекер уверяет, что отсюда видно, не считая сел, восемьдесят семь городов. Всюду трубы, которые бодро дышат среди холодных долин. Все это приводит меня в состояние спокойное, уверенное. Может быть, там изготовляют самые увлекательные вещи: револьверы, сейфы, презервативы. Отсюда не видно. Нодыхание труб означает, что земля живет, и это приятно.

В Берлине порой слишком беспокояно. Чересчур много античной трагедии, цыганского табора и разговоров о долларе. Здесь я отдыхаю от прекрасной неуверенности.

Летом семнадцатого года люди в России успокаивались, прибравшись за заставу города и увидев поле, ромашки, великолепную эпическую чушку.

Здесь роль последней играют дымящие трубы. Они напоминают о нерушимом ритме жизни. «Еще дымят», — может сказать сторож Брокенской обсерватории, пренебрегая всем остальным, от Шпенглера до доллара.

Ты можешь расценивать это, как хочешь. Одни начнут говорить о физиологической потребности, другие — о религиозном пафосе труда. Мне же сдается, что в этом повинна воля материала. Горло певчих птиц создано для лирики, и задолго до первой «корриды» шеи кастильцев уже напоминали бычьи шеи. Труд здесь — хлеб и небо. Об этом можно писать вдохновенные книги. Я же сейчас ограничусь одним примером. В дни спартаковского восстания революционеры захватили помещение газеты «Форвертс», которая была тогда органом усмирителей.

Бои отличались обычной жесточенностью гражданской войны: убивали, расстреливали, живьем не сдавались. Носке победил, помещение «Форвертс» было взято. А два часа спустя вышел очередной номер газеты. Лежали трупы спартаковцев, но ни одна машина не была повреждена. Почему же побежденные, умирая или отступая, оставили своим врагам такое оружие? О, конечно, не по великодушию. Нет, просто рука немецкого рабочего не могла подняться на машину. Для него легче было убить человека.

Теперь ты понимаешь, что вид с Брокена стоит столбца газетных телеграмм. Если бы ты сейчас был здесь, в этом темном промерзшем зале, где туристы пьют желудевый кофе, откуда видны трубы восьмидесяти семи городов, — ты понял бы, как может бороться организм с тифозными бактериями.

Конечно, бактериям сколько угодно. Недавно я присутствовал при съемке фильма. Героиня кидалась с балкона замка, а герой, терзаемый раскаяньями, кончал свою кинематографическую жизнь на верхушке липы. Режиссер рассказал мне, что на днях будут произведены другие съемки последней части. Героиня помирится с мужем и даже спешно родит ребенка, а бывший любовник получит место старшего лесничего в имении счастливого супруга и вполне этим удовлетворится. Благополучная развязка предназначается для экспорта в Америку. Что касается немцев, то для них героиня непременно будет кидаться с балкона, а герой — вешаться. Два конца одной картины — обычное явление: если американцы не выносят мрачных концов, немцы радуются им. Благополучный исход, торжество добродетели здесь сейчас не в моде: они оскорбляют. Режиссеры ночей не спят, выдумывая все новые и новые ужасы: замуровать, привезти чуму, выдать живьем крысам. В темных длинных залах кино чувствуешь ясно приступы жара. Петер Мюллер страшен в такие минуты. На картофельных его щеках при виде диких пыток проступает румянец. Жидкие глаза горят, переживая змей, орхидеи и экспрессионистическую любовь. Но в десять часов сорок пять минут кончается сеанс. Петер Мюллер вскоре засыпает. Утром он идет на работу. Тогда-то видно, что болезнь его не так уже страшна.

Сейчас я окружен этими Мюллерами. Здесь служащие, рабочие, приказчики, школьники. «Шиберов» нет: они на чистой половине, в «вайнштубе». Вареная картошка, кофе без сахара. Туристы отдыхают, они пытаются отогреть полиловевшие руки.

Непонятный народ! Они лезут на гору чинно и деловито. У каждого поклажа: мешок, чайники, кастрюли, какие-то полотнища, одеяла,— не менее пуда. Вещи явно ненужные: нигде они шатров не разбивают и костров не раскладывают. Ночуют в гостиницах, а едят в рестораччиках. Навьючиваются же они исключительно по романтической традиции,— чтобы было труднее. А немцы ведь и отдыхают с трудом. Они карабкаются наверх, дорога трудная. В сторону стрелка: «Кресло короля Фридриха, хороший вид на окрестности». Не раздумывая, безропотно, гуськом они повертывают к этому «креслу». Доходят до него, останавливаются и глядят вниз, на какую-нибудь речушку, глядят ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать,— они видели воочию этот «хороший вид»; глядят без удовольствия, но удовлетворенно. Потом проделывают военный полуоборот и лезут дальше. Это, конечно, не забава, а труд.

Так — во всем. Когда немцы едят, они не наслаждаются, как французы, не читают при этом рассеянно книжицу, как наши интеллигенты былого времени,— нет, трудолюбиво они двигают челюстями — и только. В кафе часто можно видеть влюбленного, неистово вывертывающего ручки девушки. В этом гораздо больше от гимнастики «по Мюллеру», нежели от страсти. Летом все, хотя бы в течение двух-трех дней, лезят на горы или плавают. Спят в гостиницах на полу, чтобы было дешевле. Едят сельдерей с картошкой и картошку с сельдереем. Но при этом если не веселы, то бодры и довольны жизнью.

## Хильдесгейм

Пишу на этот раз из средневекового кабачка — «ратскелера» в почти музейном Хильдесгейме. Город чудесный! Какие дома пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков! Два этажа просто, а над ними — четыре в черепичной крыше. Всюду раскрашенная деревянная скульптура. Я написал «почти музейный», потому что это — живой город, не Брюгге и не Равенна. Но сохранил он внешне свой прежний облик с каким-то поражающим упрямством. Внутри домов проводили электричество и устанавливали коридорную систему, а на фасадах по-прежнему среди незабудок улыбалась Юдифь в оранжевом плаще. Отсюда или из Нюрнберга надо начинать плаванье по душе Германии.

Как все здесь не похоже на старую Италию или даже на соседнюю Фландрию! Только тут и чувствуешь вес, вязкость, значимость земли. Умбрийские холмы слишком легко давались. Они напоминают перевернутое небо. А брюггские меланхолики, не смотря на рагу, пиво и полнотелых жен, бредили северной жидкой лазурью.

Здесь, в Германии — прекрасный культ уродства. Венеры Кранаха соблазнительны, как таксы. В домах, в картинах, в языке — уют, приземистость, спертость. Всюду — и в узких улицах с крюком-вывеской ростовщика, и в погребках, и в черноте готических книг, и в топорных пословицах — всюду чувствуется присутствие женского тела, пылающего очага, смерти.

Как мог сохраниться Хильдесгейм в самом центре промышленной Германии? В Италии давно бы поставили на заставах вертящиеся рогатки и стали бы поджидать «форестьеров». Потом футуристы начали бы скандалить, требуя «отменить Хильдесгейм». Трамвай в шумный Ганновер. Фабрика сосисок. Не менее дюжины кинематографов. Но когда какой-то мистер Куль захотел купить одну из этих Юдифей на предмет украшения своего чикагского дома, горожане не соблазнились всемогущими долларами.

Утром я видел, как школьная экскурсия осматривала город. Не было кунсткамерного любопытства, скорей — хозяйская сметка. Смотрели ведь будущие инженеры, коммивояжеры, канализаторы, изобретатели самопишущих блоков «принтатор», строители и обитатели новых бетонных или стеклянных городов.

В этом кабачке, где вместо столов — винные бочки с резными амурами, сейчас сидят какие-то хильдесгеймские граждане, образа мыслей левого, и спорят о резолюциях Гамбургского конгресса. Ты чувствуешь, как сильно преемственность? Германская история выпирает наружу из каждого толстоногого амура, из каждого слова этого семипудового резонера, недовольного слиянием двух Интернационалов. Как наивно думать, что случайно, на время, энергией Бисмарка или цементом победы, были спаяны в одно все эти герцогства и княжества! Можно, конечно, за известное (даже небольшое) количество франков нанять расторопных ребят и утешаться «рейнским сепаратизмом», но Германия от этого не распылится.

Патриотизм здесь — особого порядка. Французы любят свою страну легко и бесстыдно, как счастливые любовники. Чувством

этим они чванятся: всячески поносят они чужие вина, чужие моря, чужих женщин, даже не зная их. Что ж, это — просто инстинкт самосохранения. Как мог бы француз жить, зная, что где-то растет лучший виноград, чем в Бургундии? Ведь между любовью и счастьем он признает только один знак — равенства. Есть еще «русский» патриотизм, но это из области патологии. «Ты — единственная!» — и шмыг в Баден-Баден: хоть в России, мол, и поняли Христа и выдумали Советы, но, между прочим, весьма приятно, когда чистый клозет и парламент... Нет, лучше не говорить о таком патриотизме!

Здесь — иначе, проще, а следовательно — таинственной. Это отнюдь не пароксизм влюбленности, скорей — привычка. Вот этот гражданин и «добрая старая Германия» никак не могут быть приняты за влюбленную парочку. Пожалуй, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Нет здесь самообольщения. Здесь, наоборот, поражает подражательность. Все иностранное расценивается выше туземного. Толстейшие и добродетельнейшие немки бредят крохотными парижскими панталончиками. Немецкие писатели ухитряются писать... под Ремизова. Все это так. Но при всем этом они еще любят свою Германию, и любовь эту проявляют не в лирических вздохах на верандах кафе Интерлакена или Шевингена, а здесь же на потощавшей — от отсутствия даже маргарина — груди бедной Пульхерии Ивановны.

Пафос моего письма отнеси за счет высокого качества «нирштайнера». Я теперь понимаю, почему так улыбаются эти толстоносые амуры...

## Магдебург

Это послание пугает тебя. Одна бумага чего стоит — желтая, с изумрудными пятнами! Ячница с луком. Что делать: другой здесь нет. Когда «обер» дал мне этот лист, я весьма смутился. Я попросил: нельзя ли обыкновенной? Но, услышав слово «обыкновенная», официант, в свою очередь, смутился. Он не понял меня. Эта бумага ему кажется весьма обыкновенной. Вероятно, и кафе, в котором я сижу, а он служит, ничуть не удивляет его, несмотря на тифозные стены, вымазанные оранжевой и лиловой краской, готовые тотчас распасться. Все это для

местных жителей «обыкновенно», а я вот от этого «обыкновенного» начинаю бредить.

Я знал прежде, что существует город Магдебург. Грешным делом, я думал: город — как город. Что же, я заплатился за свою наивность! Что такое Магдебург? Как будто вправду город, даже большой. Вокзал никак не предостерегает. Но стоит доверчиво миновать контролера, отбирающего билеты, и выйти на площадь, как начинается наваждение.

На выставки экспрессионистов в берлинском «Штурме» можно и не ходить. Но если ты приехал в город, как же обойти улицы? А здесь вместо фасадов домов глядят «симфонии крови» и «лиловые умоисступления». Это не один дом чудака, нет — десять, двадцать, сто, я не считал. Киоски для газет, как размалеванные кактусы, колют глаза. Спаситься некуда. Трамвай — и тот на славу «раздраконен». На стенах, на столбах горячечным бредом мечутся афиши.

Ты перебиваешь: как? откуда? почему Магдебург?.. Друг мой, рано или поздно это должно было случиться. Почему именно здесь? Просто — городу на свой лад повезло, — лотерея. Могло быть в Касселе или Ганновере. Во главе строительного управления города оказался экспрессионист Бруно Таут. Началось с газетных киосков. Потом — дом, другой. Частные домовладельцы предались жестокой моде. Кондитерские, парикмахерские, кабаки наперебой стали кормить «левых» художников. Потом и маляры прониклись новым стилем. Соответствующие вывески появились на окраинах. Так был перелицован город Магдебург.

В этом нет ничего неожиданного. Немцы вообще излишним консерватизмом не отличаются. Это не Париж, где до сих пор винтовые лестницы, уборные без сидений и пыльные пуфы трех Людовиков. Народ здесь крепкий, выносливый. Я вот мечусь как угорелый, а они ничего, — живут, даже замечать перестали.

С утра идет дождь. По нестерпимо ярким домам, в пятнах, в крокодильевой сыпи, в зебровой чепухе, просто в пакости, течет вода. Красок она, увы, не смывает. И вот представь себе, что в этих домах люди живут изо дня в день, стирают пеленки, хворают аппендицитом, подсчитывают расходы. Нет, только немцы способны выдержать подобное! Недаром в годы войны они спокойно ели «эрзацы», от которых умирали даже страусы в «Цоо». Ели пудинги из кольраби с содой. Живут в экспрессионистских домах. Работают. Большой город..



А я сижу и скулю. Какой унылый финал искусства! Я знаю, что ты возразишь: «Это, мол, экспрессионисты, плохие художники и прочее. Вот если бы сюда парижских кубистов или, того лучше, наших конструктивистов, тогда бы...» Представь, тогда бы получилось то же самое, ну чуть получше, поскромней. Не в качестве дело. В Германии вообще, а в Магдебурге с особой рьяностью происходит внедрение нового искусства в жизнь. Так всегда бывало. Джотто доходил до столяров, ювелиров, горшечников.

Мне ясен путь (это — как круги брошенного камня) от первой кубистической картины до папиросной коробки «мурати». Значит, беда не в методе расширения, не в вульгаризации. Беда не в искусстве,— оно, кажется, не хуже былого. Беда в нас. Мы стали суше. Мы не можем жить, как некогда, с искусством тихой, семейной жизнью,— мы требуем развода. Между фресками Джотто и сельским рукомойником существовала тесная связь,— и то и другое было нужно, легко умещалось в жизни. А Магдебург — ведь это же великомученичество!

Я ни за что не остался бы в этом городе. Но я не мог бы жить и в Венеции. Я сейчас сижу и мечтаю о берлинских улицах, где, слава богу, относительно мало искусства. На одной из окраин Магдебурга я нашел целую улицу простых домов, речку, мост, корпус фабрики. Я готов был заплакать от умиления.

Я никак не отказываюсь от искусства. Но, повторяю, мы стали суше. А может быть, это — целомудрие? Искусство для нас — высокий роман, иступление, обязательная влюбленность. Театральные зрелища, музыка, картины, стихи — мы все бегаем на эти свидания. Но искусство, входя в быт, оскорбляет нас. Оно не может жить среди наших телефонных разговоров, пиджаков и таксомоторной любви. Это — не стиль, пусть и плохой, но налет, вражеская оккупация.

Былые века достойны всяческого уважения. Люди могли тогда жить с Мадонной изо дня в день, как с квартирной хозяйкой, могли чесать свои спины высокохудожественной слоновой костью. А мы вот все норовим попроще, посерее. Искусство, вошедшее в жизнь, кажется нам женой, которая, что ни мипута — за варкой щей, за штопкой носков,— требует торжественных фраз о вечной любви. От такой жены спасенье — вокзал...

К счастью, вокзал имеется и в Магдебурге.

Мне грустно, друг! Хуже всего, что грусть эта — не в дождливый день, не в премерзком Магдебурге, а здесь, рядом с солнечными бликами, с густой нежностью веймарских улиц. Я сам не знаю, откуда она.

Веймар прекрасен. Я долго стоял у простого протертого кресла, на котором умер Гете. Я ходил по проулкам и площадям. Навстречу мне кидался горячий дух лип.

Сейчас я сижу в стареньком кафе, где мирно уживаются почтенные бургеры в высоких стоячих воротничках и обормоты из здешней академии в каких-то «конструктивных» блузах. О солнце, о смоле говорит темное пиво в глиняных кружках. Откуда же грусть? Я хочу понять себя. Я здесь не паломник. Я и не соратник молодой «академии». Просто турист. Но, знаешь, каждый новый день и каждый новый город говорят мне об одном: наше дело изнемогает. Ты, конечно, понимаешь, что я говорю не о социальном прогрессе, не о научных работах. Ведь как бы мы ни ссорились с искусством, все это — размолвки милых. Без него — что делать? Что без него этот город? Место заседаний германской «учредилки»...

Искусство изнемогает!

Здесь обосновалась академия — «Bauhaus» — единственная живая художественная школа Германии. Ее удалось устроить в дни ноябрьских бурь. Она случайно уцелела в нынешние годы отступлений под охраной тюрингенского социалистического правительства (если хочешь, не менее случайно уцелевшего). Вначале бургеры протестовали, они даже вынесли на митинге гневную резолюцию совсем в современном российском стиле: это, мол, город Гете и Шиллера, здесь не место футуристическим кривляниям... Потом обвыкли. Сейчас академия спокойно работает. Через месяц должна открыться показательная выставка в специально выстроенном доме. Утром я смотрел мастерские. Здесь преподают и работают лучшие художники современной Германии: седые старики Клай и Файнингер, полурусский Кандинский, молодые «конструктивисты». Немного напоминает это московский «Вхутемас», пожалуй, строже, деловитей и преснее. Самое живое — «конструктивисты». Здесь преподает молодой венгерец Моголь-Нодь, здесь долго работали Лисицкий и голландец Ван-Дэсбург.

Кажется, мне от этого и грустно, дорогой друг. Не думай, будто я настолько «поправел», что мне грустно от успехов «левых». Нет, я просто еще люблю ответное искусство, и я имею право на свою долю грусти.

В одной из мастерских я увидел ученика. Он задумчиво ставил на одну пуговицу от брюк другую. На мой вопрос, что он делает, последовало: «конструкцию». Еще я видел, как готовят «конструктивные» фонари. В магазинах имеются проще, да и «конструктивней», — сделанные без художников. Ни один конструктивист не согласился бы просидеть больше пяти минут на особом «конструктивном» стуле. А между тем провозглашен лозунг утилитаризма. Дело идет к новому прикладничеству. Есть еще пословица: «От ворон отстала, а к павам не пристала». Печальная пословица.

Живописец Брак сказал, что нужно линейкой проверять чувство. Это очень хорошо. Это знал и Гете. Но «левые» линейкой издубасили чувство.

Красота жива. Она кругом. Она в этом городе. Она тесно связует прошлое с современным. Вот виадук — путь на Иену. Там дальше — Эрфуртский собор. Сама природа здесь как бы требует искусства. Невысокие холмы говорят о чувстве меры, как Тоскана или Иль-де-Франс. Но внеэмоциональное искусство сильно смахивает на заячий соус без зайца...

Наука? Конструктивисты с гордостью входят в старый кабинет, где Гете изучал теорию цвета. Но ведь не с помощью этой теории был написан «Фауст»! Что-то исчезло в искусстве. Со страхом я выписываю это слово, долго бывшее под запретом: исчезло вдохновение. Вот почему хлебнувший его диких вод пост-«футурист» Пастернак мнится среди нас чудесным анахронизмом. Вот почему, что бы ни делал Пикассо — кубистические скрипки или вполне натуральных женщин, больных слоновой болезнью, — у него берут только внешний прием.

У нас не стало вдохновения. У «правых» его никому, даже «шиберу» искать не вздумается. А «левые»? Вот они: вычисляют, думают, изготавливают декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами, — и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до закрашенных одной краской досок, до пуговиц.

Они презирают «вдохновение», — это ведь инженеры духовных дорог, химики сердечной материи. Много их здесь,

молодых и задорных. В Веймаре, в этой резиденции муз, не без иронии устроен огромный питомник новой трезвости.

Однако город мстит — мстит холмами и небом, особняками, липами, домом Гете. Утром я беседовал с одним из молодых «конструктивистов». Он не цитировал моей книжки «А все-таки она вертится» и не проклинал отступников. Он даже не расхваливал голландских ватерклозетов, которые воочию доказывают, что искусство — это организованный прогресс разумной жизни. Он меланхолично спросил меня — мы глядели с холма на город:

— А мы вот, оставим ли мы после себя такой Веймар?..

Нет у нас ни душевного покоя, ни мудрости, ни высокого равновесия. Мы оставим после себя вот этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту, вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизированной, а следовательно, и удешевленной душой (много ли дадут за такую?), да еще несколько могил, где похоронены наши Шиллеры — «левые» и не «левые»...

1922—1923

## Пять лет спустя

### Длиннее жизни

Вечером, бродя по чрезмерно длинным проспектам Берлина, где много света и мало улыбок, где свет заморожен, где, замороженные красными дисками, как в детской сказке, замирают степенные автомобили и автоматизированные пешеходы, где богатство, порядок и пустота,— бродя по этим проспектам, чья длина томит меня подобно математической проблеме или безнадежной любви, я беру за руку моего друга, я тихо признаюсь ему:

— Ты видишь, мы в двадцатом веке. Это замечательно, и это беспощадно. Мы можем на радостях отстучивать чарльстон или, зайдя в уличную уборную, трагически плакать. От этого ничего не изменится. Время вяжет наши ноги крепче, нежели земля. Можно уехать из Берлина, нельзя уехать от своего времени. Оно, по всей вероятности, во мне: ведь я презираю этот механический комфорт — и я волочусь за ним, как за невестой с приданым: мне противны неуверенность, дрожь сердец и дуговых ламп, пафос древесной трухи, именуемой «мировым репортажем», — и я не могу жить без этого, как не может жить алкоголик без двух-трех тривиальных рюмочек. Дезертировать в прошлое могут только археологи или старые девы. Пробраться в будущее? Милый друг, мы ведь пробовали это! Для этого нужно безумье истории, или паспорт на имя гения, или, по меньшей мере, чья-нибудь шарлатанская виза. Увы, безумье стало историей! Притом мы — не гении и не старые девы. Нам остается бродить по этим длинным проспектам. Когда остановит нас сигнальный диск, мы можем помечтать о кокосовых орехах «сына солнца Моана», потерянных, как гласит надпись кино, для Германии недавно,— потерянных для всех нас, как заверяет сердце, давно,— примерно когда был потерян так называемый «рай». Нам остается, опустившись в глубокие кресла одной из бесчисленных кондитерских, этих душевных гаражей, где отдыхают моторы сердец, где взбитые сливки стоят

столько-то пфеннигов, а женское снисхождение столько-то марок,— взять одну из многолистных газет, энциклопедию переводов, скандалов, еврейских помолвок и дешевых пылесосов, чтобы задуматься над грядущей катастрофой.

Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на Библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:

— Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.

Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами, попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и с душистой черемухой. Я знал, что если побежать сорвать ветку черемухи, поезд не уедет,— поезд поймет, что нельзя без черемухи. Помолчав, я переспросил:

— Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?

Тогда мать, усмехнувшись, ответила:

— Здесь поезда никогда не опаздывают.

Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я не обрадовался,— нет, я испугался. Ничто в тот день не могло исцелить меня от испуга перед непостижимой точностью: ни ореховые торты, ни базары, где за одну марку можно было купить сказочный пенал.

Теперь я знаю: здесь ничто не опаздывает. Прийти до срока? Но это ведь пахнет катастрофой, а здесь не любят катастроф. Здесь все вовремя, и если на дворе двадцатый век, то он и в городах, и в домах, и в глазах.

Когда подъезжаешь к Берлину, он светится издалека, как гигантский циферблат. Он равномерно вздыхает, как образцовый хронометр. Это сердце старой Европы. Мысль может спешить, ноги могут отставать,— сердце знает свой счет, свою меру.

В России в первые годы революции мы жили в двадцать первом столетии. Этому не мешали ни дымные печурки, ни темные, как будто средневековые, улицы, ни чересчур живописные делегаты Башкирии или Мордовии. Потом, в Париже, где еще теплится, как иллюминационные плашки, прошлый век, я заказывал стакан кофе герою Мопассана и покупал фиалки

у неудачливой Нана. Здесь я познакомился с нашей эпохой. Она представилась мне запросто, не в декларациях ораторов, не в футуристических поэмах, нет — в сигаретных коробках, в походе Потсдамерплац, в последней системе газовой кухни, в трех тарифах автомобилей и в тридцати тарифах женщин, в голизне города, в его угрюмой нищете и ненужном богатстве, во всем.

Героические эпохи посылали вперед отчаянных разведчиков. Так, Икар превратился в мясо и в миф. Мы ищем не истину, но комфорт. Продвижение происходит методически, от одного патента до другого, от автомобильной выставки до авиационной. Мы плем вперед не гениев, не головорезов, но аккуратных квартирмейстеров.

Сказать, что меня в Берлине поразили хорошие стихи? Нет, стихи пишут и в других городах, к тому же стихи писали люди всегда: это — как дождь. Другое дело — пылесосы или передвижные кресла, которые превращают третий класс во второй, или фосфорические круги вокруг выключателей: помилуйте, сколько секунд мы теряем ежедневно, разыскивая в темноте выключатель?.. Жизнь в Берлине продумана, как железнодорожное расписание: в ней нет ни катастроф, ни простых несогласованностей. Десятки тысяч голов заняты усовершенствованием быта. Один придумывает, как бы рассадить поэкономной пассажиров самолета, другой ограничивается тем, что изготовляет зажигалку, дающую огонь при одном, к тому же небрежном движении: это — для снобов. Ведь экономить время, экономить человеческие усилия, экономить что бы то ни было — сделалось новым снобизмом.

В Берлине слишком мало автомобилей. Может быть, их и много, но их слишком мало для той сложной системы регулирования движения, которая продиктована впрок манией порядка. Кажутся смешными два или три автомобиля, старательно вальсирующие по площади или цепенеющие по указанию полицейского среди идеально пустого пространства. Это, если хотите, символ: здесь слишком много организующего начала и слишком мало того, что нужно организовать. Кажется, элементы «беспорядка» необходимы нам: за их отсутствие мы расплачиваемся девичьей анемией и мировой тоской.

Я был у Максимилиана Гардена. Он живет далеко за городом, среди книг, голубого фаянсового неба и иронии. Во всем

своя правда,— видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции и о берлинских улицах. Не русский мальчик, испугавшийся того, что поезд пришел ровно в девять часов двенадцать минут,— нет, человек, выдавший различные крушения, сказал мне:

— Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...

Что же мне сказать о себе? Я здесь слегка — Канитфёрштан, который смеялся на похоронах и плакал на свадьбах. Я еще не изучил значения всех этих стрелок и дисков. В одном из помпезных кинематографов Курфюрстендама я глядел американский фильм «Город Львов». На мой вкус — это дурной фильм, и мне было смешно в трагические минуты. Мне было смешно, и я смеялся. Соседи испуганно поглядывали на меня. Они не цыкали, не протестовали: это были хорошо воспитанные люди Вестена. Они ждали вмешательства провидения, полиции или психиатра. Они не могли понять, что человеку может быть смешно не вовремя.

В уличных уборных Берлина (там, где я предлагал моему другу трагически поплакать) висит надпись: «Не позже чем через два часа после сношения с женщиной поспеши в ближайший санитарный пункт», — и адрес. Я не возражаю. Я только слегка боюсь людей, которые не пропустят этих «двух часов», которые обо всем вспомнят вовремя: подыскать женщину, съесть шницель, предаться любви и забежать в ближайший санитарный пункт. Для них уже не нужны никакие стрелки: они, кажется, рождаются с огромным сигнальным диском в груди.

О, разумеется, такие люди существуют и в других городах Европы. Они так же бегают в «санитарные пункты». Если же нет нигде подобных надписей, то только потому, что люди — скопидомы и ханжи. Вместо того чтобы заказать себе новый костюм, они предпочитают перелицевать старый; они все еще щеголяют в романтических сюртуках. В парижской уборной можно прочесть сентиментальный романс или патетическую полемику между двумя депутатами. Берлин слишком быстро рос, чтобы сохранить штанишки неуравновешенного подростка. В нем ничего не осталось от недавнего прошлого, кроме разве цилиндров десятка-другого трагикомических кучеров и сизого тумана над каналами. Берлин нов до великолепия, до бесстыдства,— он нов, как газетный лист или как гидронатиче-



ское заведение. Здесь все серьезно, даже юмор носильщиков. Здесь все откровенно, даже сны, разоблаченные учениками Фрейда.

В одном из маленьких театров я видел обозрение «USA». Кажется, Соединенные Штаты требовали запрещения этой пьесы, и пародия чарльстона, где идеально идиотичны, до умиления, до чисто христианской жалости граждане «великой республики», чуть было не вошла в дипломатическую ноту. Я не вижу в этом ничего удивительного: слишком долго европейцы обожествляли Америку; производители чикагских свиней наконец-то уверовали, что они впрямь полубоги. «Американизм» стал религией, и жевательная резинка приобрела мистическое значение евхаристии. Берлинская публика смеялась, глядя «USA», но это не было смехом вчуже. Не над смешными поведенческими непонятными дикарей смеялись берлинцы — над своей собственной верой:

— Мистер из Чикаго оказался погрешимым, как папа!

Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь — не просто зажигалки, это — предметы особого культа. Ведь рационализм и утилитарность здесь восприняты со всем наивным жаром немецкого сердца. Но Берлин — не Америка. У Берлина нет патентованной улыбки американца, довольного и миром и собой, — улыбки, которая рекламирует одновременно и политику Кулиджа, и наилучшую зубную пасту. Получив и фосфорические выключатели, и твердую валюту, и «клубные кресла», Берлин все же не улыбается. Он остается классическим немецким фантазером. Вся ревность в деле насаждения материальной культуры здесь диктуется не жаждой удобно жить, а маниакальными наклонностями самодура, фантаста, метафизика. Это — самый удобный город в Европе, и это в то же время — самый угрюмый, самый не удовлетворенный жизнью город. Нужно только найти второй план, понять, что «клубные кресла» — не мебель, а абстрактные формулы, части воображаемого уравнения, тогда откроется вам душа этого сумасшедшего города, где проспекты длиннее жизни, где много камня и нет архитектуры, где все — уют и где жизнь так неуютна, так сиротлива, так гола, что хочется думать о жестокой судьбе древних завоевателей, о египетских пирамидах или же об остановленном красным диском бедном Агасфере, который стоя идет, который не может идти, ибо он — уже не человек, а камень, город.

Несовместимость рабочего Нордена и буржуазного Вестена сбивается на правоучительную картинку или на агитплакат. Дело не в нищете, — по сравнению с еврейским или китайским кварталами Лондона, по сравнению с бытом английских безработных, берлинский Норден — пример сдержанности, если не благополучия. Норден теперь беден до заплат, но не до лохмотьев, до голодной анемии, но не до спазм. Он молчалив, сух и стыдлив, с его хозяйками, педантично моющими меланхоличные стекла, и с кружкой пива главы семьи, на которую без зависти благоговейно смотрят прочие домочадцы.

Но нигде, кажется, нет такой крикливой, такой наивной и вызывающей роскоши, как в берлинском Вестене. Глядя на этих дам, вываленных в золоте, как котлеты в сухарях, на эти рестораны, таинственные, как молельни, на эти притоны, построенные некоей новой разновидностью царя Соломона, — забываешь, что находишься в самом центре вдоволь старой Европы. Такие сны должны сниться золотоискателю где-нибудь на Аляске или же нашему злосчастному нэпману, который не знает, как промотать тыщонку-другую среди глубоко идейных кабаке и заплаванных пивнушек.

Роскошь Вестена — не прихоть отдельных мотов и снобов, не антикварные уникамы, не патология Монте-Карло, — нет, это быт целого класса. Ананасы или икра в окнах гастрономических лавок должны грудиться, подаваться оптом. Любая кондитерская обязана щеголять необычайными лампами или особой моделью кресел. Здесь нет места ни дешевым вещам, ни дешевым женщинам. Десятки тысяч людей здесь отдаются роскоши аккуратно и настойчиво, как ремеслу.

Приезжий должен посетить кафе «Шоттенгамль» в Тиргартене. Это — не вульгарное питейное заведение, это — памятник эпохи. Если целая полоса германской истории становится понятной, когда видишь угрюмый камень Аллеи победы, наши дни оставят после себя это помпезное кафе. В нем несколько этажей и много залов, на любой вкус; со старинным фарфором и с кубистическими фресками, с романтическими уголками и с американской деловитостью. Стены одного из залов сделаны из тонкого мрамора, пропускающего свет, они нежно розовеют, как заря или как ладонь, поднесенная к огню; в других имеются

журчащие фонтаны, люстры, похожие на Млечный Путь. Вместо карточек на столах пухлые фолианты. Список напитков и яств напоминает энциклопедический словарь. На «А» значатся: «Ананас-Мельба», «Ананасовая бомба», «Арак», «Аквавита», «Адвокат», «Анготура», «Абрикот-Брэнди», «Анизет», «Аллаш» и еще много иного. Здесь представлены все нации, как в Женеве, а чтобы нам, русским, не было обидно, кроме банальной «водки» предлагается некий таинственный «Николашка».

Однако всего примечательней в «Шоттенгамле» уборные. Это — загадочный и полный значимости храм. Здесь можно взвеситься и покрыть лаком ногти. Для духовных потребностей здесь продаются газеты и книги. Романы Вассермана беседуют с душами посетителей. Юноши томно пудрятся и подводят брови. Здесь же рекламируются улыбками олеографических красавиц наилучшие марки гигиенических принадлежностей. Отсюда можно выйти снаряженным для эстетических разговоров и для любовных проказ. По патетичности и универсальности кафе «Шоттенгамль» напоминает средневековый собор. Грядущие археологи будут ломать голову над раскопками, стараясь определить характер культа, — чему же поклонялись обитатели берлинского Вестена в эпоху, следовавшую за мировой войной?..

В кафе помещается человек триста, и оно всегда полно. Глядя на танцы, дивишься уродству ног, а также высокому качеству чулок. Еще выразительней — руки: они напоминают наивных зародышей и каменных валькирий. Пальцы едва-едва намечены; эти короткие отростки, однако, массивны и прочны, как замки сейфа. Когда такие пальцы присасываются к весьма добротной спине — это полно физиологической мистики, и это в то же время тривиальная банковская операция. Что сказать о геометрии черепов, о жирах, о бритых затылках и мельчайшем бисере глаз?.. Мне трудно представить себе, что эти люди способны выдумывать, мастерить, создавать. Невеселое веселье как бы выходит за пределы кафе «Шоттенгамль», может быть, даже за пределы своего класса, рождая исконное недоумение: умница Марфа, почему же твой смех — только вращение граммофонного диска?

Я где-то видел эти лица, эти пальцы, даже это кафе — давно, когда оно еще не было выстроено. Я вспоминаю неторопливые вздохи дорогого альбома и юркий треск газетных листов, годы, когда все было внове: и костыли инвалидов, и расстрелы, и едва круглеющие животы богачей, переживавших тогда самое

начало беременности, мир, раскрывшийся предо мной, жестокий и органичный, грандиозная демонология или плевков, подвергнутый микроскопическому анализу, — рисунки Гросса. С тех пор прошло несколько лет, мы разучились недоумевать и возмущаться. Гросс перестал быть «злободневным». Он остался, однако, художником своего времени, и конечно же, кафе «Шоттенгамль» создано им.

Мы не можем жить без известной мифологии. Требуются мифы, требуются оптом, срочно, в любом виде. Человечество теряет голову от невыносимой голизны. Нельзя же удовлетворяться заездами Рабиндраната Тагора или амулетами в автомобилях. Что же, одни занялись изготовлением новых ангелов всех мастей и покровов, другие предпочитают выдумывать новых чертей, и так как я сам причастен к этой невеселой профессии, я встретился с Гроссом не только как с прекрасным художником, но и как со своим товарищем по цеху.

Я не ошибся, — у него светлые глаза ребенка, застенчивая улыбка и повадки мечтателя. Это поймут и школьники: человек, который вырабатывает лица и зады «Шоттенгамля», должен быть в жизни нежным младенцем, он должен любить чистое искусство, говорить задумчиво, задушевно, слегка рассеянно, как визионер, пить не пиво, но легкое веселое вино.

Творчество Гросса помогает нам разгадать глубокую значимость кафе в Тиргартене. Наивно было бы воспринимать его рисунки исключительно как политическую или даже социальную сатиру. Конечно, Гросс заклеил правящие классы Германии; конечно, он искренне ненавидит убийц Либкнехта и Розы Люксембург. Однако сущность его демонологии глубже и постоянной. Его дьяволы имеют родословную. Они — не только социальный показатель. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души. В этом их сила и их оправдание. Не только калек, но даже таксы Гросса живут одной подпольной жизнью с таинственными банкирами, с семейственными проститутками и с маститыми убийцами.

Мир Гросса фантастичен и, скажу прямо, полон романтики. Неожиданно оголенные люди на улицах или в канцеляриях, с их бредовыми мясами, сродни Венерам Кранаха, деревянным Адонисам или Ледам Хильдесгейма, цветным стеклам, типографским гномам готического алфавита, узким улочкам, приземистым пивным, запаху солода и горя. Все это, конечно, урод-

ство, но уродство, доведенное до совершенства, до того условного климата, где теряют силу наши вульгарные меры. Клиенты «Шоттенгамля» должны радоваться, — пусть этически они ошельмованы, эстетически они вознесены: им даны в прошлом портреты предков, а в будущем — дрожь впуков.

Можно, говоря о немецкой романтике и о немецкой любви, ссылаться на верхние этажи сердца, на светлосые помыслов и на северную ясность глаз, на ставшую хрестоматийной «верность», на слезы Вертера и на лен кудрей, на лирику, столь неземную, столь абстрагированную, что недоумеваешь, почему же на поэте — штаны, а на девичьих глазах — солоноватые выделения каких-то желез: ведь это не люди, а символы, звуки. Однако, не выходя все из того же «Шоттенгамля», я напому о других особенностях местной любви, тяжелой и мутной, как теплое пиво.

В кафе «Шоттенгамль», в тысячах других кафе или кондитерских ежедневно с четырех до пяти или с пяти до шести встречаются влюбленные парочки. Они не целуются, не воркуют, не смеются, они не льют нежных слез. Они молчат — угрюмо, настойчиво молчат. Их губы живут врозь, встречаются только пальцы, и пальцы безумствуют, до боли, до судорог сжимают друг друга. При этом влюбленные пьют кофе со сливками. Я сказал бы, что здесь любовь проходит среди легчайшей пены взбитых сливок и многопудового молчания.

Иногда в кафе имеются особые закоулки — «сепарэ», похожие на стойла конюшни. Там взбитые сливки стоят на двадцать пфеннигов дороже, но и там дело дальше вывихнутых пальцев не идет. Впрочем, порой все кончается банальным убийством, — мужчина душит женщину или перерезает ей бритвой горло. Когда я гляжу на моих соседей, на этих почтенных людей, негоциантов, подрядчиков, биржевиков, у которых аоплексические затылки и белокурые ангелические подруги, я вспоминаю рисунок Гросса: труп женщины и убийца, аккуратно моющий в тазу руки.

Перенесенное в иное место, все это полно пафоса. Здесь, среди анекдотически пышных уборных, это — только тупо и безысходно. Но тусклый огонек, мерцающий в этих зрачках, все же сильнее сверкания люстр. Он опровергает басню о животном довольстве. Если бы история судила посетителей «Шоттенгамля», я мог бы выступить их адвокатом. Я сказал бы: «Да, у этих людей было все: мраморные стены и фонтаны, девять напитков

на букву «А» и четырнадцать на букву «Б», у них были текущие счета и готовые на все любовницы. Но они не знали простого человеческого счастья. Они ломали пальцы, неистовствовали, сидя в удобных креслах, и возвращались домой если не с замаранными кровью руками, то с тяжелой, зловещей одышкой». И я верю, что мои подзащитные получили бы «заслуживают снисхождения» истории, как получили его заточки Эскуриала или самоистязатели-персы.

## Переплеты и под переплетами

Немецкую визу мне дали не сразу. Пришлось представить в консульство переводы моих романов. Я притащил их, как охапку дров: «Вот!..» Секретарь, видимо, обиделся за достоинство книги, — он тщательно перевязал пакет веревочкой. Визу мне дали. Разумеется, не содержимое книг говорило за меня, нет, — их знакомая добротная внешность, коленкоровые аккуратные платица, золотое тиснение. Я не знаю, уважают ли здесь литературу, но книгу здесь, безусловно, уважают.

В России с книгой обращаются по-другому: ее берут на одну ночь. Ее заливают слезами или супом, ее тискают и рвут. Она знает проклятья, нежные признания, безумствования. Но, прочитанная, она не получает права даже на скромное местечко в деревянной богадельне. Ее оставляют в пустом вагоне вместе с окурками и с яичной скорлупой.

Что касается Парижа, то там любят преимущественно старинные переплеты. Зачем, скажите, книга, если имеется красивый переплет? Поэтому в Париже продаются библиотечные шкафы с вделанными корешками старых книг, только с сафьяновыми корешками, без излишней бумажной трухи. Можно сразу купить в мебельном магазине и шкаф и сто корешков. У кондитера можно приобрести книгу-бонбоньерку, в магазине чулок — книгу-шкатулку с шестью парами шелковых... На корешке — «Мысли Блеза Паскаля», а внутри шоколад с фишашками.

В Германии с книгой не безумствуют, ею не играют, — это неотделимая частица семейной жизни. Из нее выдаивают полезные афоризмы и с нее бережно смахивают пыль. Она укорачивает вечера и повышает духовный кредит ее владельца. Книга без переплета здесь выглядит неприлично, как женщина нагишом; но переплет без книги возмутил бы любого немца: а высокие мысли? а веселые анекдоты? а полезные афоризмы?..

Я решаюсь сказать, что Германия — страна книги, как Франция — страна живописи. Оптические радости здесь не в ходу. За гармоничность ландшафта, за розовость женского тела, за традиционные яблоки натюрморта здесь никто души не продаст. Отсутствие красочности характерно для этих мест, несмотря на всю пестроту реклам кабаре и спортивных фуфаяк. Черное, белое, серое. Однообразие формы и свинцовый, тяжелый воздух позволяют говорить о полиграфическом пафосе страны. Люди здесь мнятся мне типографским шрифтом, образцовой работой огромного линотипа. Даже идеологические и политические страсти напоминают перебранку маниакально-исполнительных корректоров.

Я говорю не о литературе, но и не о ремесле типографа. Я говорю о книге. Здесь это не один из видов распространения мысли, это — «вещь в себе». Даже газеты здесь своим обликом, солидным объемом, маленьким форматом, нарочитой серьезностью языка невольно подражают книге. Карточки в кафе, программы кинематографов, любовные письма — все это книги, почтенные тома, труды таинственных «докторов».

Кажется, не писатели здесь определяют книгу, а книга писателей. Это — серьезное, солидное производство. Россия знала писателей — учителей, проповедников, юридивых. Во Франции образ Стендаля, этого гениального дилетанта, как бы затмевает рабочую одышку Бальзака. Литература там — «вторая профессия», прихоть, отдых, игра тонкого ума и рафинированных чувств. Я никак не могу понять, где французские писатели пишут свои книги, — ведь письменный стол в Париже такая же роскошь, как, скажем, бухарский ковер. Вероятно, романы молодых французских снобов, колеблющихся между академическим католицизмом и обязательной педерастией, написаны за стойкой американского бара или за туалетным столиком. Здесь же в любой мещанской квартирке — письменный стол, если не два. Здесь писатели пишут; они пишут добросовестно и угрюмо.

В прошлом столетии Париж был средоточием литературной культуры. С тех пор многое изменилось. Народы узнали и нивелировку, и некоторую духовную самостоятельность. Образовался добрый десяток «Парижей», и разговоры о духовной гегемонии какой-либо нации стали достоянием веселых «обозрений» или фашистских газет. В тот час, когда Берлин отказался от безумной мечты стать метрополией, когда он удовольствовался ролью огромной узловой станции с ее скоплением разномастных

пассажиrow и диковинных грузов,— в тот час он, может быть, стал подлинной столицей Европы, если не ее поэтическим сердцем, то органом жизни — печенью.

Немцы первые поняли значение вавилонского «воляюка», и они сумели обуздать свои духовные таможни. Знакомство с иностранной литературой стало здесь почти общим достоянием. Не говоря уже о французских «ведетах»,— неизвестные вне своих стран русский Бабель, ирландец Джойс, чех Гашек здесь переведены и оценены. Для всего мира мы, русские, еще продолжаем оставаться «славянской душой», этим вдоволь гнусным сочетанием дешевого балета с «казачком» вприсядку и дурно переваренной «достоевщины». Здесь переведены почти все современные русские авторы. Это — не слепая «любовь» и не переходящая мода, это — старательное изучение, работа с колбами, с циркулем, с ломовым потом.

Я встречаюсь здесь со многими немецкими писателями. Я плохо говорю по-немецки, но у меня с ними общий язык — это язык времени и ремесла. У меня немало друзей среди французских писателей, но я никогда себя не чувствую с ними как равный с равными. Я знаю, что в глубине души они удивлены: как это я говорю с ними о Прусте или о Валери, вместо того чтобы предаваться джигитовке или тренькать на балалайке? В Берлине я — не экзотика, не казак, который случайно знает грамоту и даже пишет романы, но современник. Это сделали книги, солидные книги в переплетах,— они уничтожили границы.

Писателей здесь не боготворят и не презирают. Это — не пророки, не шуты, а полезные работники, производители книг. Им отведено в жизни строго определенное место, как библиотечному шкафу в квартире. Может ли быть иначе в правильно организованном обществе? Существуют электротехники, и существуют писатели.

Растрепанная книга занимает слишком много места на полке,— ее надлежит переплести. Здесь начинается высшее безумие фанатиков порядка: они хотят переплести души писателей. Они как бы говорят: «Вам дали все: почтенные издательства, литературные газеты, честных критиков, хоть умеренные, но точно выплачиваемые гонорары, вам даже дали литературный кабачок «Шванеке», где вы можете, как и все почтенные буржуа, сидя в удобных креслах, пить рейнское вино,— ну, чуть похуже маркой,— вам дали общественное положение и безупречную технику книг. Работайте! Делайте романы или же новеллы!



Обслуживайте нас! Нам мало жонглеров «Скалы» и ликеров Канторовича. Ведь мы народ книги, и мы хотим книг».

Заказчики, однако, ошиблись. Нет сейчас более беззубной литературы, нежели немецкая. Здесь забываются и временные эстетические мерки, здесь забываются и непреложные каноны искусства. Чувство социальной тревоги треплет, как лихорадка, эти страницы. Под коленкоровыми переплетами значатся растрепанные волосы, судорожно сжатые руки, заплаканные глаза. Разрушение книги идет изнутри. На культ порядка писатели отвечают мятежным бредом. Они пишут книги, похожие на ночной выстрел или на женский плач, похожие на все, что угодно, только не на книги. Среди рычагов и приводных ремней это — защита одного против всех. В стране громкоговорителей и фабричных сирен книги — кирпичи из прессованной бумаги — они говорят человеческим языком о человеческом сиротстве и о человеческой тоске. Писатели, если угодно, перехитрили: под видом романов они производят взрывчатые вещества, слова тривиального сострадания, которые опаснее для современной иерархии, нежели все заговоры и все декларации.

Я знаю, что сейсмограф и Петрарка — различные вещи. Я знаю, что за душевную катастрофичность литература неизменно расплачивается недосугом, недыхватом, хилостью стиля и архитектурной путаницей. Но наше время падко на ультиматумы. Петру нужно было либо отречься, либо отойти от огня и схватить насморк. Остальное — дело вкуса. Что касается меня, я предпочитаю чихание.

Я беседовал с Альфредом Деблином. Это — не политик, не философ, это — писатель, писатель прежде всего, писатель во что бы то ни стало. Он любит корни слов, как живописец запах скипидара. Он говорил мне, что не выносит психологических романов, что проза должна быть «легка». Говоря это, он глядел на меня слегка хитрыми и усталыми глазами талмудиста, который ищет тайное значение букв «ламед» или «вов» и сам про себя усмехается, зная, что нет на свете ни «ламеда», ни «вова», ни букв, ни Талмуда, а только исконная горечь узнавания. Я глядел в его глаза и хорошо понимал, что слова о легкости — только переплет, хороший, аккуратный переплет. Нет, это — не защитник библиотечной полки!

В книге «Путешествие по Польше» Деблин рассказывает о своей встрече с современной механической цивилизацией, после того как он увидел иной мир: нищету и правдивость украин-

ских сел и польских местечек, пейсатых начетчиков и простодушных пастухов. Встреча произошла в Данциге, у витрины фотографа, где висели фотографии почтенных бюргеров, может быть, читателей того же Деблина, во всяком случае — владельцев библиотек с бережно выстроенными книгами. Одно повторял Деблин у этой витрины, глядя на лица, безжизненные и стойкие, как элеваторы, как динамо, как квартиры с замечательными ваннами, как издания Фишера или другого солидного издательства:

— О, сердечная тоска, о, Herzentod!..

Если бы чужестранцы не ограничивались обозрением окон книжных лавок, если бы они приподымали иногда аккуратные переплеты, они знали бы, что обманчивы красные щеки и вечная рождественская улыбка германского бурша, они оставили бы тогда вздорный миф о разумности, о ясности, о самоуверенной трезвости немецкой души. Ведь там, под переплетами — человеческий хаос, там проклятья и детские жалобы, там — доподлинная «сердечная тоска». И кто знает, может быть, только предельным безумием продиктован внешний порядок, столь удивляющий наивного чужестранца; может быть, эти книги действительно необходимо переплести, чтобы слова не разбежались по холодным гулким улицам, как наивные повстанцы, как бритые узники сумасшедшего дома или же как первые зябкие жаворонки огромного человеческого перелета?

## ОТТО И ТЕНЬ

Трансатлантические пароходы увозят в Новый Свет не только парижские платья и подозрительных Рембрандтов, — нет, в трюмы и в кабины первого класса грузится старенькая европейская душа. Как всякие колонизаторы, американцы вывозят одно, уничтожают другое. Последнее, впрочем, совершается гуманно и бесшумно, как казнь на электрическом стуле: вместо динамита — зелененькие ассигнации.

Немецкая кинематография в последние годы была одним из редких проявлений европейского духа, следовательно, она подлежала вывозу за океан.

Прошло пять-шесть лет. Лучшие кинорежиссеры и актеры Германии узнали дорогу из Берлина в Голливуд. Оставшимся пришлось изучить новое искусство, далекое от съемок и

монтажа,— распознавание, когда шуршит доллар и когда он перестает шуршать. Это хоть несложное, но очень горькое искусство! Познавшие его начали изготавливать фильмы с матримониальными концами и с улыбками «made in USA». Героический период немецкой кинематографии закончен.

Принято говорить, что современность не знает национальных отличий, что одни и те же машины вертятся в Йокогаме и в Дюссельдорфе. Это — наивная философия проводника международного экспресса. Разве не могут одни и те же машины вертеться по-разному? В чадной Германии индустриальная архитектура бредит готикой, вспоминает судорожные взлеты вверх и бешенство материала, а в соседней Голландии она мирно дремлет, она нежно белеет, как пуховые сны благонамеренных negociантов. В радиотелеграммах, отправляемых Эйфелевой башней, нетрудно опознать стиль Расина. Кинематограф — интернационален, как телеграфный код, и он национален, как любовь. Физиономия Дугласа Фербенкса самодовольна, глупа и жизнерадостна, как мемуары Форда и как клетчатые штаны. «Мать» Пудовкина немислима вне кликушества в русской литературе, вне жалостливости деревенских баб, вне нудной зевоты чаепитий.

Когда в Москве или в Париже я глядел немецкие фильмы, мне вспоминались узкие улочки с поперечными вывесками, загадочные толпы на картинах Брегеля, дрожание фонарей и кошмарный мир, рождаемый внезапной встречей чьей-то сутулой спины и дуговой лампы, подозрительное маячение героев Гофмана, романтика глины и хмеля среди шахт, сталелитейных заводов, автоматических закусочных. На стольких-то квадратных метрах полотна мигала, пугала внезапным перемещением света и тени, кордовала, торжествовала душа народа.

Конечно, немецкие кинорежиссеры изнашивали объектив. Они заставили ясные и трезвые линзы глядеть на мир воспаленными глазами исконных визионеров. Может быть, с точки зрения киноремесла это преступно. Экран — если не реальность, то ее счастливейший суррогат. В Голливуде строили всамделишный собор Парижской богородицы, Эйзенштейн скромно разводил мясных червей, а вот немцы в это время выдумывали кошмар за кошмаром, стандартизованные кошмары, условную архитектуру, сумасшедших «докторов», паноптикум ужасов, оскал Крауса, театральные эффекты света,— словом, мир не столько фотогеничный, сколько органичный для них, полный, скорее, идей, вибраций и звуков, нежели зримых форм.

Кинематограф был дан человечеству, влывшему в детство, как гениальная соска, с его совмещением экономии времени и нормальной питательности души. Он нес в себе универсальную упрощенность для усталых фантомов, а также для молодых, вполне здоровых кретингов. Поэтому до войны он оставался низкой забавой, воскресными выходами детворы и прислуги, чтобы стать потом основным искусством современности.

Немцы взяли этого невинного розового младенца и надели на него очки, которые должны свидетельствовать не столько солидную начитанность, сколько душевное заболевание, абстрагированность слез, бесцельный закал воли, всю многовековую фантазию народа, живущего обязательным изменением пропорций, конфекционной метафизикой и сухим картофелем.

Немецкие фильмы так же непременно истязуют зрителей, как американские убаживают их. Кажется, толпы приходят в эти темные залы ради таинственного самомучительства. Трудно отыскать картину, в которой безумный старик не душил бы несчастной девушки. Как «Прыжок смерти» мюзик-холла, это — обязательная часть программы, — от забытого всеми «Калигари» до новорожденного «Метрополиса». А если не душат, то склонны душить, сомнамбулически бродят по темным коридорам, по узким улицам, братаются с теньями, истерически любят и судорожно заламывают чрезмерно тощие руки. Это — не случайный прием того или иного режиссера. Это — эмоциональная стихия всей немецкой кинематографии.

Я внимательно слежу за публикой. Вот вспыхнул свет. Как во всех кино мира, здесь много влюбленных пар, которые ценят темноту и немую лирику. Передо мной молоденькая девушка, от волнения нежно-розовая, как ветчина. Она плакала, Она видела, как душили ту, другую, на экране, тоже молоденькую и нежно-розовую. Она в то же время счастлива: ведь он повел ее в кинематограф, — он, Отто или Карл. А тот, Отто или Карл, бел и сух. В его зрачках еще безумствуют подозрительные тени. Высокий крахмальный воротничок подпирает трагическую маску приказчика сигарного магазина. Они уходят. Они поворачивают в боковую улицу.

Я пытаюсь успокоить себя, — ведь это влюбленные, они сейчас будут есть бутерброды и мирно целоваться; он не преступник, он — только Отто или Карл, приказчик сигарного магазина. Но нет, я не могу успокоить себя. Мне страшно. Я не вижу раздела между тем и этим. Берлинские улицы напоминают

экран: они лишены объема и цвета. По ним чинно ходят полные значимости тени, а из завешенных тяжелыми шторами кондитерских доносится тихая музыка. Здесь молчаливы страсти и преступления, как в кино; ночь здесь проходит среди чарльстона под сурдинку и глицериновых слез.

В одном старом фильме Карла Грюнэ, прикрытый банальностью уголовного анекдота, представлен роман между честным бюргером и тенью. Он ест суп. Тень появляется на потолке. Он выбегает на улицу. У него высокий воротничок и канцелярская раздражительность. Он помахивает палкой. Он волочится за тенью. И, право же, не существенно, если тень становится потом уличной женщиной: ведь он не женщине предан, а тени. Может быть, он читает не «Критику чистого разума», а анекдоты в «*Illustrierte Zeitung*», но он бел, скрипуч и весь выдуман, как его воротничок. Я видел немало таких чудачков в окрестностях Штеттинского вокзала. Я видел и немало теней, хотя улицы Берлина освещены на славу.

Теперь немецкая кинематография переживает серые деньки. Легко смеяться над Америкой, труднее с ней бороться. Немало дорог пройдено, причем эти дороги (как, впрочем, все дороги) закончились тушиками. Конечно, «Варьете» пользуется за границей большим успехом, но это — успех эпигона, умело смягчившего чрезмерно резкие тона. В этой добротной и чистой картине подобраны все находки предшественников. А дальше?.. Трагедия начинает сбиваться на карикатуру.

«Метрополис» сфабрикован с истинно шибберской роскошью. Постановщик аргументирует предпочтительно миллионами затрат. В этой плоскости, однако, трудно перегнать Америку: ведь у них, при всей их тупости, столько нежно шуршащих зелененьких билетов! Для «Метрополиса» «построили» Вавилонскую башню, но в Голливуде эти башни выпускают сериями, как детские кубики. Анекдот «Метрополиса» розов и глуп, как теория классовых противоречий, изложенная девицей, готовящейся к конфирмации, но, ей-ей, американцы могут придумать что-нибудь еще поглупее, — им это ничего не стоит. Ведь здесь люди ломают себе голову, как бы поглупеть, чтобы угодить заатлантическим дядюшкам, а там глупости еще больше, чем доллар, автомобилей и пасторов.

Правда, остается похвастаться тем, что при съемке «Метрополиса» несколько детей простудилось и умерло. Однако не думаю, что и этим можно кого-либо удивить. Каждый сам пони-

мает, что, затратив пять миллионов, легко погубить не пять, а пять сотен нищих детей.

На рынок выброшены десятки картин со светскими раутами, с проникновенными супружескими поцелуями, с двумя-тремя мелкими трюками и с быстрым монтажом. Право же, этот товар может быть выдан за голливудский. Но стоило ли родиться с душой Гофмана, чтобы определиться клерком в мелкое отделение «Америкен-Экспресса»?

С младенца, может быть, и следует снять очки, однако необходимо отравить его чересчур светлые, щенячьи глазенки толикой наследственного недоумения. Иначе произойдет и здесь, в темных залах разрыв. Мы как-никак, читавшие разные книжки и видевшие иной мир,— мир вне пулеметов, вне легкой наживы, вне футбола или фокстрота,— мы уйдем. Уйдем в дряхленькие залы театра или в заплеванные пивные. Останутся опасно-веселые ценители Гарольда Лойда. В новой Европе существует только одна страна опрятных приказчиков и, следовательно, безудержной фантазии. Хорошо, пусть Отто или Карл не душат больше невинных девушек. Я верю, что им надоело это занятие не менее, чем расхваливание посредственных сигар. Но пусть они заменяют опостылевшую профессию новым очередным безумием. Ведь что же будут делать их любовницы — несчастные тени берлинских улиц и серых экранов,— если они предадут их ради калифорнийского солнца и калифорнийских долларов?

### Сумасшедшее ведро

Обитатели Дессау с любопытством оглядывали меня. Я был для них чужестранцем, следовательно, диковиной. Хотя в Дессау и находится «Баугауз», этот каменный авангард Европы, жители города остаются старосветскими провинциалами, способными зевать на любую, еще не приглядевшуюся им физиономию. В центральном кафе города оркестр исполняет вальсы, доисторические марши, погурри времени саше и драже. Это, конечно, не относится к делу. Это — только справка о том, как долговечен обыкновенный горшок с геранью: ему ничего не стоит преспокойно цвести на одном из абстрактных подоконников давно разрушенного дома.

Впервые я осматривал «Баугауз» года четыре назад. Это было в задумешном, полном лип и особняков Веймаре. Школа нового строительства и художественной промышленности роди-

лась в бурные годы. Судьба ее зависела не от эстетических теорий, но от бюллетеней, опускаемых в урну тюрингенскими обывателями. Правый ландтаг подозрительно косился на непонятные чертежи и экспансивные повадки пришельцев. Так настал день; когда «Баугаузу» пришлось подыскать себе новую квартиру.

К счастью, в Германии столько же культурных центров, сколько городов, причем ни один из них не желает зависеть от другого. Правда, Дессау — не бог весть какая столица, однако Дессау посмел сделать то, перед чем в нерешительности останавливаются не только Париж, но порой и Москва. Дессау решил поставить столько-то марок и столько-то веры на эту загадочную для него карту.

Говорят, что консерватизм — необходимая в жизни вещь, и, говоря так, преклоняются перед человеческой глупостью от семейного кодекса Франции, придуманного еще Наполеоном, до шутовских балахонов английских судей. Степенные немцы порой способны на вполне цирковые номера. Они — скорее чудачки, нежели консерваторы. Причем, если в Германии сохранилась бутафория прежних времен, если Гогенцоллерны украшают и поныне буколические гостиные, если писателей преследуют за оскорбление нравственности, если гамбургские мясники освеживают девушку, осмелившуюся провести ночь с возлюбленным, — словом, если здесь всего вдоволь — и анекдотических кодексов, и дурацких колпаков, — то это происходит не от идейного консерватизма. Нет, просто люди еще не научились применять электрические пылесосы к своим собственным мозгам.

Быт здесь эластичен, как язык: по-немецки ведь нетрудно придумать новое слово. Поэтому заграничные моды доходят в Берлине до эксцентрики мюзик-холла, пепельницы непосредственно связаны с живописью Пикассо, а дома какого-нибудь Магдебурга, размалеванные героическими истериками, требуют смиренных рубах и холодных душ.

Есть у меня рассказ о трубке некоего почтенного импотента; в Англии никто не решился его напечатать из боязни судебных преследований; напечатанный в Швеции, он вызвал подлинный скандал; так вот этот самый рассказ был помещен в воскресном приложении весьма почтенной берлинской газеты, специально предназначенном для семейного чтения.

Нет, немцы — не консерваторы. Они и не революционеры. Они часто врастают в землю и думают, что это наилучший

способ передвижения. Подует ветер, выкорчует человека, и тот начинает проделывать «прыжки смерти». Однако он сам этого не замечает. Ему кажется, что он чинно идет на службу. Гуттаперчевая жизнь!

Все это не мешает назвать бургомистра Дессау доподлинным героем. Не так-то легко было принять в провинциальный дом чудаковатого юношу, изгнанного веймарскими праведниками. «Баугауз» здесь вырос и возмужал. Он больше не проживает на положении студента в наемной комнатке. Строительная школа наконец-то получила право построить дом для себя.

Я подходил к «Баугаузу» в один из первых весенних дней. Окрестный пейзаж одаривал меня всей мыслимой идиллией нашего времени. Нежно дымились чащи фабричных труб, в небе весело реяли юнкеровские самолеты, воздух пахнул мартом, гарью, известью. Увидев наконец «Баугауз», весь, казалось, отлитый из одной массы, как настойчивая мысль, его стеклянные стены, образующие прозрачный угол, общий с воздухом и отделенный от него точной волей, я невольно остановился. Это не было изумлением перед чьей-то хитроумной выдумкой, нет,— это было простым любованием.

Есть в зодчестве законная последовательность, и специалисту, думается, нетрудно установить родословную этих форм. Я хочу только сказать о торжестве ясности. Это строение как бы враждует и с окрестными домами, и с самой почвой. Впервые земля видит здесь культ обнаженного разума, того светлого и сухого начала, которое захватывает нас в куполе святой Софии и в математических проблемах, во французской литературе «большого века» и в планировке гигантских трестов. Нет здесь больше места темной стихии чувств, темным закоулкам души, громоздящимся друг на друга снам. Каждый угол, каждая линия, каждая наимельчайшая деталь назидательно повторяют финальные слова забытых со школьного времени теорем: «что и требовалось доказать».

Да, требовалось доказать, что мы живем арифмометрами и начальной логикой. Это доказано. Требовалось доказать, что такая жизнь имеет свое искусство, свою эстетику, свой высокий стиль. Доказано и это. Доказано также и нечто третье, правда, не входившее в задания архитектуры,— доказано, что новая жизнь и новое искусство требуют новых людей и что мы для этого не годимся.

Последнее становится особенно вразумительным, когда после



«Баугауза» глядишь на жилые дома, выстроенные тем же архитектором и в том же стиле, на дома для рабочих и для профессоров школы. Насколько «Баугауз» прекрасен в своем голом пафосе числа и труда, настолько духовно приземисты и безличны эти ультракомфортабельные постройки. Индустриальный стиль, подобающий художественным мастерским, здесь, где вырабатываются только суп, сны, поцелуи и слезы, смешон, как прозодежда в роли халата.

Когда заверяют, что найден стиль для заводов, для вокзалов, для гаражей, для крематориев — для всего, только не для жилых домов, — я усмехаюсь. Он и не будет никогда найден. В новом обществе нет места для уединения, для неги, для обособленных фантазий. Архитектура определила психологию. Дома — чтобы жить? Но люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах. Когда они наконец-то поймут, что никакой другой жизни им не полагается, тогда архитекторы перестанут строить казарменные дома, — их заменят домашние казармы, помещения для сна, очищенного от снов, для универсального мытья, для физкультуры, для некоторых процедур, способствующих увеличению народонаселения.

Мы знали утопии, основанные на благородных заблуждениях и на гиперболической жажде справедливости — рай Франциска Ассизского или коммуны Кампанеллы. Но имеются (странно это выговорить) трезвые утопии.

Романы Уэллса нашим внукам покажутся историческими. В доме архитектора Гропшиуса действуют предпочтительно кнопки и рычаги. Белье носится по трубам, как пневматическая почта. Тарелки из кухни перебегают в столовую. Все продумано, вплоть до помойного ведра, которое автоматически раскрывается и закрывается. Это рождает благоговение и легкий испуг.

Вещи начинают опережать желания. Фантазия варваров и детей не знает пределов, — она ведь живет хаосом чувств, но фантазия водопроводчика весьма ограничена. Она может родить новую систему труб, но не новую космогонию. Пройдет еще десять или двадцать лет, ведро будет летать, белье само спадать с тела, пища будет готовиться без всякой потери энергии при помощи электричества или еще чего-нибудь поновее. Среди всей этой энергичной, хоть и бездушной материи люди будут сидеть в необычайно удобных креслах, сидеть и зевать. Кто выразит великую, неописуемую, разрывающую челюсти и сердце скуку суперусовершенствованного ведра?..

Оно, конечно, не подкидыш, это хитроумное ведрышко. Нет, его родители весьма имениты. Впрочем, думали ли они, всевозможные «исты» — «кубисты», «футуристы», «конструктивисты», — проповедуя логику и геометрию, заменяя эмоции циркулем, а старомодное «вдохновение» «формальным методом», что один шаг истории, одно десятилетие отделяют глубоко философские кубы от этого ведра?

Новое сугубо страшно, когда оно подается в виде декларации. Это — эссенция. Это — жестокий огонь аскетов и фанатиков. Люди, однако, живы компромиссами. Мало-помалу организм привыкает к ослабленному раствору.

Дом, занимаемый художником Кандинским, с виду ничем не отличается от соседних домов. (Тождество всех этих построек настолько выдержанно, что пришлось поставить дощечки различных цветов, дабы малые ребята, не привыкшие еще к цифрам, могли бы отличить свой дом от других.) Но вот внутри сказался дух хозяина. Это — не молодой варвар, не туповатый пророк воображаемой «Америки», — нет, это, скорее, римлянин III века, усталый эклектик, человек, преданный разным эпохам, который не сделал себе кумира ни из ведра, ни из всего нашего времени. В его доме можно увидеть индусскую скульптуру и новгородские иконы, пейзажи Руссо и стихи старых романтиков. Он достаточно зорек, чтобы видеть жизненность, а следовательно, и красоту стеклянных углов «Баугауза», но эта зоркость мешает ему предать рай бедного «таможенника» ради рая самовращающихся тарелок. А может быть, и не зоркость это, но только неисправимость человеческой породы, ее исконное пристрастие к лирическим обмолвкам, ко всему бесцельному и аналогичному, благодетельная еретичность?

Ведь «грешат» не только профессора, — «грешат» и ученики, которым возраст да и все навыки наших дней должны были бы диктовать нетерпимость. Кандинский рассказал мне, что многие из этих учеников тайком в свободные часы занимаются живописью. После выработки проектов скотобоен или гаражей, после изготовления металлических кресел или стеклянных ламп они предаются явно бессмысленному делу — пишут портреты и пейзажи, как будто не существует на свете ни конструктивных принципов, ни первосортных фотографий.

Белые кубы, перекладыны, круги, металл, стекло. Хорошо... У меня тоже имеются и глаза и средней дальновидности ум. Я не хочу отстать от мудрого бургомистра Дессау. Я уважаю

этих смелых и прямых людей. Они не хнычут над трухой прошлого. Они героически делают все, вплоть до ведра. Они вполне правы. Сейчас нужно делать не пейзажи, а ведра. Но я все же не верю в смерть искусства. Мне кажется, что сумасшествие всегда останется сумасшествием, и я не могу себе представить жизнь как диктант первого в классе ученика. Когда среди сотни прочих найдется один «избранный», он, вероятно, сделает сумасшедшее ведро, и это ведро нельзя будет поставить на кухню, ибо оно будет вызывать слезы и восторги. Следовательно, все в порядке. Можно еще раз благоговейно взглянуть на стеклянный угол и убраться в наши обыкновенные дома, построенные людьми, уже разучившимися думать о прежней красоте и еще не разгадавшими жестокой тайны грядущего комфорта.

### Соседствуя с зонтиком

Без вагонов, как без хвостов в почтовых отделениях, без этих вынужденных часов или минут замирания мы лишились бы даже нашей шустрой газетной пятикопеечной философии. Нет, вагоны — это не только копать в носу и шуршание пергаментной бумаги, из которой предусмотрительный сосед вынимает извечные и скучные, как пословицы, бутерброды, — это еще вязка ног, отвлеченность мыслей, напряженная работа голов. Так подводятся духовные балансы промотанных где-то за мутными окошками лет!

Господин Мюллер или Шуллер, ваша гениальная маска не обманывает меня! Вы хотите доказать мне, что заняты только бутербродами? Вы непроницаемы: зонтик в чехле, очки в круглой оправе, юмористический журнал, дорожные туфли, дорожная кепка, дорожные бутерброды... Когда вы перестаете жевать, вы смотрите на расписание: поезд в Галле стоит четыре минуты. Очень приятно! Потом вы вынимаете книжечку с передвижными страницами и, долго глядя на белый листок, выдавливаете из себя несколько невзрачных цифр. Вероятно, это новые цены на мыльный порошок или на подтяжки. Вы — самый нейтральный член нашего вдоволь пестрого общества, вы — коммивояжер. Но я не верю ни зонтику в чехле, ни профессии. Стучат колеса. Мелькают станции с остановками в четыре и даже в пять минут. Ваши мысли становятся все чище, все суше, все

голее. Вы уже думаете не о проданных подтяжках, но о своей нелепой жизни. Не стоимость порошка знаменуют эти цифры, но роковые даты. Если вы не выйдете на ближайшей станции, дело дойдет до метафизических глубин, до Шпенглера, до Китая, до искусственного человека. Тогда-то сдержанный ваш смех над глупой шуткой продыmlенного журнала наполнится нестерпимым сарказмом. Ах, эти обманчивые бутерброды!

Я тоже занят итогами. Правда, я стараюсь быть скромным, — я не думаю ни о прожитой жизни, ни о буддизме. Я только пытаюсь привести в порядок впечатления нескольких недель. Вот я снова увидел Германию после трехлетней разлуки. Все здесь изменилось. Люди отъелись, обставились, обжились. Здесь — новый мост, там — новое кафе. Позади вместо исторической трагедии несколько некрологов и жестокий анекдот. (Не над ним ли, кстати, смеется унылый сосед?) А душа? Душа все та же. Ее не изменили ни бедность, ни принижение, ни труд, ни новое богатство. Зонтик в чехле лежит на полке. Он все тот же. Он может многое объяснить. Но обычно он только все затемняет.

Мы ведь ближайшие соседи этих Мюллеров. Крестьяне в глухих селах и до сих пор всех иностранцев зовут «немцами». Можно забыть наполеоновских гренадеров, но не Карла Карловича, который был пивоваром, продавал анилиновые краски, выделывал колбасы и даже читал лекции о химическом удобрении. «Немцы» для нас — не отвлеченное понятие, это, скорей, механическое пианино, это — аппарат землемера, это — пресловутая луна, сделанная, по нашему твердому убеждению, в Гамбурге: луна — не атрибут шиллеровских баллад, а колба, необходимая для выработки красящих веществ или удобрений. Кадриль последней войны дополнила знакомство: мы обменялись хоть не прошеными, но назидательными визитами.

Я не знаю, понимают ли немцы нас, удивились ли они, когда — вместо обычных «кургэстов» Бад-Эмса или Киссингена, вместо Алеши Карамазова, вместо танцоров «Шехерезады» — на сцену выступили 21 параграф, «Лига времени» и тресты. Что касается нас, мы немцев вовсе не понимаем. Мы живем сомнительными традициями. Португалец может быть для нас живым человеком. Немец — это только приглядевшаяся аллегория.

Классическая русская литература знала две разновидности немцев: энергичных, душевно-приземистых дельцов вроде Штольца из «Обломова» и сентиментальных ротозеев, склонных к музыке или к безобидным чудачествам, вроде тургеневского

Лемма. Иногда нас все же охватывало сомнение: как же они уживаются в одной стране, мечтательные Леммы с низменными Штольцами? Мы успокаивались на том, что последние, вероятно, пожирают первых. Больше в Германии нет ни музыки, ни чудачества. Это — страна утилитаризма, порядка, зонтиков в чехлах.

Здесь все было ложью. Мы не понимали, что Штольды — отнюдь не трезвые дельцы, а представители нового гигантского сверхчудачества. Мы не понимали также, что Леммы способны работать на славу, способны простоять четыре года у пулемета и сорок лет у станка. Мы не понимали, — и это главное, — что Штольц и Лемм — одно и то же, что душа какого-нибудь инженера из Эльберфельда полна лирического щебета, а что прямой внук Лемма, несмотря на романтический воротник, способен работать за новую экономику.

Нас ошеломило все: угрюмое напряжение военных лет, бредовое величие замыслов и судорожная сдержанность мяса, картонный треск, казалось, гранитных цоколей, ноябрь восемнадцатого года, экспрессионизм и гамбургские баррикады, «доктор Калигари» и систематическое безумье «путчей».

Не пора ли нам, забыв о Штольцах и Леммах, взглянуть на немцев не как на соседей, но как на дикий инопородные существа? Тогда, быть может, мы поймем сумбурную душу этого народа, и если суждено нам вернуться к зонтику в чехле, то и зонтик заговорит с нами по-иному.

Курфюрстендам весной 1927 года полон света, золотой чешуи ювелиров и причудливых орхидей. Это — классический аквариум с гадами и цветами. Я видел его осенью 1923 года. Путливо закрыты были ставни. Как в диких джунглях, рыскали здесь храбрые иностранцы, охотясь на дешевые чемоданы или штиблеты. Никто не подметал этих тротуаров. Неумытые стекла магазинов морщились, как старые фрейлины Кобурга или Ангальта. Чудо? Упорство? Труд?

Да, разумеется, Но весной четырнадцатого года Фридрихштрассе тоже лоснилась избытком воли и сил, — она трепетала от энергии, как мускул циркового атлета. Я дивлюсь этой почве: на ней все слишком быстро растет и слишком быстро вянет. Если детские шарики здесь изготавливаются солидно, впрок, с гарантией чуть ли не на пятьдесят лет, то многие институты, идеи, навыки, которые кажутся нам вековыми, незыблемыми, связанными с самой душой Германии, вдруг топорчатся и

ломаются. Здесь все осуществимо: в сутки любой пустырь может стать центром мира и любой город — обратиться в кучу мусора.

Не вульгарной силой, не бицепсами, не отточеским здоровьем созданы эти города-выставки, эти универсальные идеи, но напряжением нервов, выдержкой, молчанием, за которым чувствуется скрежет зубовой. Мой сосед, тот, что ест бутерброды, не просто объезжает мелкие городишки с гигиеническими цветниками и техническими школами, не просто развозит образцы подтяжек, весь сжатый и сухой, — он воин непонятной армии, крестоносец без креста, еще полный древнего жара.

Мне хочется сказать русским (да и не только русским): забудьте скорее глупую басню об аккуратном немце! Можно ведь стать фанатиком умеренности. Средние века знали таких изуверов: не хуже других они умели разводить костры. «Золотая середина» требует здесь душевных жертв, и за любым компромиссом слышится такое угрюмое сердцебиение, что, кажется, не выдержит котел — противоречивая воля многих, еле сдерживаемая тонкими стенками, взорвет усовершенствованную машину.

Здесь существует некая цивильная форма. Я ходил по улицам Берлина в кепке, и я не был рабочим, то есть одним из обитателей нижнего города, по фильму «Метрополис». Что же, нашелся преданный идее швейцар, который молча швырнул меня на черную лестницу. Форма все покрывает, и многие не узнают под фетровыми шляпами полукруглых придатков: легко ли опознать черта, который одет, как все? Безумье здесь ждет своего — тоже вдоволь безумного статистика.

Итальянские фашисты, даже наши полуграмотные чернокоштенцы пытаются что-то доказывать, аргументировать, кокетничать с логикой. Их немецкие единомышленники настолько цельны, настолько полны голого физиологического пафоса, что сухая, мозговая, книжная страна, гордая железнодорожной сетью и густой порослью школ, превращается порой в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращой.

Я не знаю, в Гамбурге ли сделана луна, но я знаю, что недалеко от Гамбурга существует островок Боркум, морской курорт, куда «лицам еврейского происхождения рекомендуется не ездить, так как их не пускают ни в одну гостиницу и ни в один частный дом».

(Эта цитата заимствована мной не из средневековой летописи, но из путеводителя, изданного в 1927 году.)

Один из немецких ультралевых журналистов угрюмо заявил мне:

— Я не понимаю, почему в России разрешают печатать такие книги, как ваш «Хуренито»! Критиковать?..

Если после всего этого можно еще говорить о пресловутой аккуратности, то только об аккуратном гриме иных потусторонних существ.

Стучат колеса. С опаской я гляжу на моего соседа и на его зонтик. Оба безмолвствуют. Коммивояжер теперь не ест, не смотрит на расписание, не записывает цифр. Его глаза, бесцветные, жидкие, как небо за окном, как бледное небо над домами и над фееми, ничего не выражают. Он устал. Он устал ехать. Он устал развозить подтяжки. Он устал жить. Конечно, это — только минутная пауза, вызванная обстоятельствами. Сейчас он вылезет на нужной ему станции. Он унесет с собой тусклость взгляда и зонтик. Он будет весь день энергично работать. Однако за этой энергией, как и за энергией всей страны, мне чудится огромное катастрофическое недоумение.

Работать, чтобы работать? Идти, чтобы идти? Но ведь это только инерция. Парижанин жив хорошей погодой, дешевой любовью, букетиком фиалок. Там, на Западе, можно великолепно жить с маленькой рентой и безо всяких идей. Немцы любят думать: «цель» здесь не предмет роскоши, не прихоть чудака, это — общественная необходимость. Моему соседу необходимо знать, зачем он должен продавать подтяжки: скромный ужин, кружка пива, даже губы какой-нибудь Эрны — это оплата стольких-то часов равномерного вращения. Но кто оплатит сердечный пыл, расточаемый при постройке всего огромного и пышного здания, именуемого «Германской державой»?

Прежние идеалы, перелицованные и заплаченные, как довоенные пиджаки, вконец износились. Их продали задешево в музей. А новых никто не сумел скроить, и в стране, богатой всем — индустрией, комфортом, книгами, кондитерскими, — отсутствуют только идеалы. Это очень страшно. Зонтик не знает, зачем ему ходить в чехле, зачем ему раскрываться в дождь и оберегать пророка подтяжек. Зонтик — и тот готов сойти с ума.

Стучат колеса. Мелькают станции. Скоро граница. Этот поезд еще помнит свой путь. Этот поезд еще не сойдет с рельсов. Но кто поручится за дальнейшие?..

## Двойная жизнь

Слов нет, Германия сейчас самая занятная страна Европы. Это относится и к размерам ставки, и к темпераменту игрока. Вокруг зеленого сукна столпились зеваки, осторожные джентльмены, время от времени важно швыряющие мелочь на «равные шансы», и просто проходимцы, уже давно продувшиеся, которые не прочь стащить чью-нибудь чужую ставку. Только один игрок здесь ведет серьезную игру. Он весь красен, он вспотел, но он не теряет присутствия духа. С равным отчаянием он и выигрывает и проигрывает. Он не уйдет отсюда до конца.

Иностранец, пересекая эту страну от Рейна до Вислы или от Балтики до Альп, обязательно заметит и батальоны заводских труб, и геометрию новых построек, и непрерывное мелькание встречных поездов. Он, однако, вряд ли вспомнит о липах, о тех старых липах из хрестоматии, которые наперекор всему продолжают шуметь, цвести и одурять в июне все эти суперкубистические тела. Только не примите столь почтенные деревья за необходимость древесных насаждений: мы не в Нью-Йорке. У местных лип длинная родословная. Они умнее всех философов Иены и Марбурга. Их шелест порой явно ямбичен, а их запах, хоть и не котируется на мировой бирже, хоть им и не занимаются члены «Контрольной комиссии», — этот запах все же умеет сводить с ума целый народ.

Я отнюдь не хочу сейчас заниматься археологией и в большой, вполне современной стране выискивать Аугсбург или Хильдесгейм. Я знаю, что Гейне и Новалис давно умерли. Я знаю также, что немцы твердо решили не отставать от своего века. Попадая из Вены или из Парижа в Берлин, как-то подтягиваешься: здесь с эпохой не шутят. Никто здесь не хочет казаться отсталым: ни женщины, караулящие у громкоговорителей детали новейшей моды, ни Гинденбург, готовый на старости лет расцеловать любого социал-демократа, ни дома. Да, даже дома, бесчувственные каменные дома стыдливо преобразуются. Я не говорю о новых постройках: этим краснеть не приходится, у них даже кнопки звонков — и те «конструктивны». Но что делать двадцатипятилетним домам, столь преждевременно состарившимся? На их фасадах — валькирии или



титаны того сентиментально-нахального периода, когда господь бог расхаживал в шудманской каске и когда люди любили исключительно по картинам Франца Штука. Впрочем, выход найден и для них: с фасадов соскребают всех валькирий, как вышедшие из моды буфы или шиньоны, приделывают конструктивные кнопки,— и вот сотни омоложенных домов уже улыбаются современным женщинам, современному Гинденбургу, современному счастью.

Но липы? Липы все-таки еще шумят. Их даже нельзя срубить: во-первых, они полезны для городской гигиены, во-вторых, срубленные, они станут еще опасней. Теперь это наполовину деревья, тогда они станут запахом детства, жестокой памятью, навязчивой аллегорией. Германия продолжает жить двойной жизнью — буколического биржевика и канализационного инженера, знающего на память все элегии мира.

Провинции в Германии и поныне нет. Любое захолустье может претендовать на роль европейской столицы. Мало кому известен Дессау куда современной Брюсселя, Варшавы или Лиона. Штутгарт по числу жителей равен Бордо или нашему Днепропетровску. Здесь дело, однако, не ограничивается винными погребами или тремя партклубами. Это подлинный культурный центр: несколько газет, все объемистые, добротные; около двенадцати книжных лавок, причем некоторые по умелости подбора, по осведомленности продавцов, по искусству составлять витрины могут потягаться с лучшими берлинскими; свои издательства и журналы; много галерей для выставок; театры; великолепные концертные залы. Что касается современной архитектуры, то Штутгарт — Америка. В этом городе больше подлинно современных домов, нежели в Париже. Новый город — на холме: белые клубы, стекло, свет, вся больничная сугубая чистота нашего мнительного века. Здесь работали лучшие архитекторы Европы, от Гроппиуса до Ле Корбюзье. Над стареньким городом, где уже непременно шумят выдавшие виды липы, над бывшей резиденцией захудалого и безобидного короля, над загадочной, как готический алфавит, черепицей всяческих «Золотых львов» и «Благородных оленей» стоят эти бараки будущего. Даже странно как-то, что в них живут живые люди, что это не выставка, а семейный быт стольких-то заурядных бюргеров. Кто знает, естественно ли это противопоставление, какова душевная драма всех максималистов «белого» и

«черепичного» городов и что же здесь имело место: законное рождение наследника или преждевременные роды?

Я спускаюсь к липам. Там сегодня не вздохи Шумана, но треск джаза: в городском саду «выставка летних мод». Огромное кафе переполнено: мелкие буржуа, приказчики, конторщики, доктора и книжники из двадцати образцовых лавок прокручивают здесь свой дневной заработок, поглощая торты или плохонькое винцо с клубникой. Память о годах инфляции раскрывает кошельки даже заведомых скопидомов. Кто же станет говорить игроку о достоинствах сберегательной кассы? Немцы не то чтобы разбогатели, они просто научились тратить. Сейчас они пьют, едят торты и смотрят на дефилирующие манекены. Новинки парижской моды здесь преувеличены до комизма. Но зрители не смеются, они восторженно вздыхают. Они смотрят на красивую девушку в купальном трико, которая рекламирует большущего резинового дельфина, как на Сикстинскую Мадонну. Невольно ждешь пронзительного сморкания. Да и девушка лишена кукольной легкости ее парижских сотоварок. Она взаправду смущается. Она взаправду краснеет. Ее глаза, мечтательные до анекдотичности, ищут среди кофейных столиков не только богатых покровителей, но и классически бедного вздыхателя, который стриженные бобриком волосы носит, ей-ей, не хуже памятных локонов.

Каждый день в Штутгарте от двенадцати до двух на главной площади военный оркестр исполняет марши и доисторические поурри. Слушают ли их обитатели «белых» домов — не знаю, но вокруг беседки с музыкантами толпится городская молодежь. Студенты корпоранты держатся строго обособленными группами. Они отличаются друг от друга мастью фуражек: желтые, малиновые, голубые. Они стоят и смотрят на девушек, которые чинно парочками прогуливаются по площади, сочетая губную помаду с верностью Шиллеру и любовь к шелковым чулкам с любовью к старым липам. Городская площадь в этот час выглядит так же, как и пятьдесят лет назад. Правда, на физиономиях корпорантов меньше благородных зарубин, старожилы могут вздыхать о «падении нравов», — дуэли выводятся. Их место заняли спортивные фокусы и политические скандалы. Но остались фуражки, а под фуражками сложнейшая белиберда «чести», «рода», «нации». Что же сказать о млении девушек? Я осмелюсь назвать его музейным.

В пяти минутах от этой ретроспективной площади — вокзал, а вокзал в Штутгарте редкостный. В своей торжественности он похож на храм неизвестного культа. Десятки сверкающих перронов, магазины, рестораны, кафе, газеты, цветы, циферблаты, ряды и ряды касс — все это обдумано, выверено, гармонично. Трудно даже назвать этот строй вульгарным словом «порядок». Нет, здесь нечто большее — здесь религиозный подход к расписанию, к удобству скромного путешественника, к распределению входящих и выходящих толп, причем равно высокими становится и лёт экспрессов, проносящихся из Рима в Амстердам или из Парижа в Константинополь, несколько минут передыхающих здесь, и путь в ближайший пригород корректора типографии, который должен вовремя выпить пиво, прочесть газету, посмотреть на розы и циферблат, а потом понестись (не поплестись) в четвертом классе к очередной фантастике восьмичасового сна.

Этот богомольный подход к очеловеченной машине и к омашиненному человеку можно наблюдать повсюду. Штутгарт славится вокзалом. Лейпциг, как известно, — типографиями. Я осматривал там огромную печатню, и чем больше глядел я на усовершенствованные машины, тем страшнее мне становилось за мое допотопное ремесло. С какой изумительной легкостью вся сложная мучительная вязь слов, которые человек рождает грубо, плотски, по-звериному, как рожают женщины детей, становится здесь фантастическим количеством листов, вздрагиваниями вала или кружевом монотипов! Абстракция мучительной ночи переходит в огромные стволы легкой недолговечной бумаги. Мельчайшая заминка старого наборщика перед кассой еще как-то сближала его труд с кустарничеством писателя, который, будь то даже самый развязный журналист, все же человек. Но пять томов египтолога, но стихи поэта кажутся в лейпцигской печатне растерянными мамонтами среди автомобилей. Сколько месяцев, лет, порой даже десятилетий нужно, чтобы написать книгу в двести или триста страниц! Чтобы ее и набрать и напечатать, нужны семь человек и четыре часа. Шесть валов выбрасывают сразу полкниги.

Дело не в цифрах. Ту или иную усовершенствованную машину можно найти в Париже, даже в Милане. Дело в том, как пришлась здесь ко двору вся эта заатлантическая фауна. Она оказалась сродни народу. Это уже не кунсткамера для зевак, но повседневная жизнь Германии. Я, однако, не

забываю ни на минуту о лицах. Поскольку речь зашла о замечательных печатнях Лейпцига, уместно отметить, что печатаются там не только каталоги машиностроительных фабрик, не только технические руководства и учебники, но также романы, добросовестные толстейшие романы с обязательным уютом лирических отступлений и психологических длиннот. Когда их только успевают читать? Ведь здесь даже пригородные трамваи несутся, как курьерские поезда. Вот во Франции, хотя там походка людей куда медленнее, хотя там живут и поныне с развалкой, длинные книги вывелись. Современные авторы там пишут ровно на двенадцать франков, то есть примерно триста страниц, никак не больше; напишет чуть длиннее — все равно отстригут. Здесь же — тома. Да и характер поглощаемой литературы добротней. Преобладают психологические романы. К юбилею Толстого выпущены дешевые издания его романов. Тираж — сто тысяч. Молодой инженер, работающий над усовершенствованием монотипов, родился как-никак под липами, пусть воображаемыми, и страдания Анны Карениной ему интереснее американских сыщиков. Странная страна: машина в ней окружена куда большим почетом, нежели человек, но Достоевский в ней популярнее, общедоступней и Бернау, и Лондона, и Синклера.

Да разве не преисполнены традиционной метафизики те ультраамериканские новшества, которыми тежится буржуазный Курфюрстендам? Открыт там недавно ресторан, где в меню проставлено количество калорий каждого блюда. Заказавший бифштекс узнает, что он получит 450 калорий, а любитель бутерброда с сардинками мирится на цифре 60. Все это весьма далеко от вопросов гигиены. Это чистая поэзия. Недаром в том же ресторане буфетчики, щеголяя шапочками американских матросов и напевая никому не понятные куплеты, взбивают не то освежительные, не то рвотные снадобья из молока, содовой и химических сиропов, обозначенные в каталоге многозначными номерами. А магазин обуви?.. Не подзревая всей зловещности места, я запросто померил ботинки: хорошо, по ноге, беру. Не тут-то было! Продавщица, бесстрастно улыбаясь, заявила:

— Теперь, пожалуйста, к аппарату.

Нажата кнопка, вспыхнули лампочки, мою бедную ногу подвергают радиоскопии: нужно, мол, проверить, действительно ли ботинки по ноге. Гениальное приспособление! Я, правда, не

очень-то верю в его практическую необходимость, зато я согласен признать всю его глубокую традиционность: это фантастика из новелл Гофмана, и Курфюрстендам отныне тесно связан с туманами Брокена или даже со средневековым фонарем, хранящимся в каждом приличном музее.

Действительно, по вечерам на берлинских улицах, слишком просторных и нарочитых, из которых, кажется, выкачан весь воздух, можно услышать такие любовные вздохи, такие классические признания, такие поцелуи и такие жалобы, что невольно берет сомнение: неужто эти тени поглощают под видом калорий бифштексы и нуждаются в вульгарной обуви?..

В Берлине идешь уже не на вокзал, а на аэродром. Множество линий. Расписание — минута в минуту. Кассы. Буфет. Газетные киоски. Подходит аккуратный путешественник с портфелем. Он должен сегодня побеседовать с некоей тенью, обитающей в Мюнхене, касательно продажи химических удобрений, а к вечеру он должен быть снова в Берлине, чтобы пойти со своей дражайшей на вечер памяти Шуберта. Самолет отбывает весьма прозаично, как самый жалкий автобус, даже без просьб писать открытки. Каждые пять минут кто-нибудь прилетает или улетает: из Голландии, из Праги, из Москвы. Путешествие здесь окончательно скомпрометировано, у него отняли последнюю легкую томность длинных железнодорожных пролетов. Европа начинает походить на сеть городских трамваев.

Выводы вы, конечно, угадываете, не мои — немца. В первое же воскресенье он спешит за город. Он хочет обязательно идти пешком. Он судорожно дышит так называемым «чистым воздухом» вдоволь прокопченных предместий, и его любовь к природе воистину страшна. Засучив штаны, он лезет в каждую лужицу. Увидав несколько травинку, он в неге падает на пыльную землю. Среди щебня, указательных столбов, плакатов и загородных пивных он упорно ищет воображаемые незабудки. Если он весит свыше восьмидесяти кило, он, конечно же, ловит мотыльков. Он захлебывается от счастья. Эти часы полны такого напряжения, такой страсти, что грех их назвать отдыхом, — это воскресная голгофа.

Противоречия?.. Да только ими и живут добродетельные, честные немцы. На Кельнской выставке, подходя к замечательным машинам, парочки переходили на шепот, нежные спутницы теснее прижимались к своим любовникам, забывались

даже жара и бутерброды. Но с не меньшим восторгом смотрели посетители на печатню Гутенберга или на бумажную мельницу. С жадностью приобретали они почтовую бумагу, сделанную «под старинную» на этой игрушечной мельнице. Желтоватые неровные листочки — на них фабрикант химических удобрений будет писать своей возлюбленной послания, полные заумных слов и устарелого синтаксиса. Не беда, если несколько цифр на полях выдадут его двойную жизнь: среди вздохов нашлась минута и для трезвой оценки мюнхенского свидания.

На той же Кельнской выставке была выстроена архисовременная церковь, не только с «последним комфортом», но и с кубистическими витражами. Христос походил на часть добросовестной машины. После закрытия выставки эту церковь перенесут на другое место, в ней по воскресеньям прихожане будут петь хором псалмы, и смущающаяся невеста, вся зардевшись под винтообразным Христом, произнесет свое твердо заученное «да». Я не знаю, о чем придется тогда вспомнить: об Америке или о липах?

Существует множество карикатур немцев. Этим занимались все: и свои, и чужие, и мировая литература, и парижские кабаре, Мопассан и Гросс, Клемансо и Гейне. Я не знаю ни одного портрета немца, достаточно характерного, чтобы стоять на национальном паспорте, и достаточно беспристрастного, чтобы не сбиваться на легкий шарж. Это происходит, вероятно, от двойственности, от некоторой призрачности всей немецкой жизни. Легко описать немецкий день, здесь можно даже заменить слова цифрами. Но загадочна глубокая ночь Германии с электрическими рекламами и, однако же, с крупными волосатыми звездами, ночь, под которой зреют революционные ячейки, философские сны, поэмы, а может быть, и аппараты для просвечивания всех мозолей Курфюрстендама.

# Германия

Август 1930

Оркестр на палубе надрывается. У трубачей густо-лиловые лица. С утра до ночи они трудолюбиво надувают щеки. Они дуют в трубы возле Кельна и возле Майнца, в честь Гинденбурга и в честь Лорелей. После двенадцати неопределенных лет, когда все кончалось тоской и фокстротом, наконец-то приключилась победа: «Мы освободили Рейн»!.. Пассажиры мурлычут воинственные гимны; они чокаются и не просто «за ваше», но за здравие горячо любимой родины; увидев встречный пароход, они выстраиваются в ряд и долго машут ручищами или ручками. Проезжая мимо различных достопримечательностей, они впадают в предельный экстаз. Трудно описать, что происходит с ними, когда вдали показываются Лорелей или национальный памятник. Если в водах Рейна, в этих водах, вдоволь отравленных как машинным маслом, так и сентиментальными слезами, еще водятся прославленные лососи, рыбыны должны умереть от ужаса, услышав подобный рев.

Энтузиасты одеты скромно: это служащие, приказчики, студенты. Их восторги бескорыстны. Вздыхая, заказывают они стаканчик вина: стаканчик стоит дорого, притом куда ему до пивной кружки! Но делать нечего: они на Рейне, следовательно, надо пить рейнвейн. Это не каникулы — у хорошего немца не бывает каникул, это каникулярная работа.

Французы ушли. Здесь нет никакой романтики. Трудно выдать соглашение различных трестов за Ватерлоо. Но рейнские патриоты хотят во что бы то ни стало поэзии. Они наспех кроили тысячи флагов. Они даже учинили маленький погром, маленький, но добросовестный. Они отважны и непримиримы.

В Бад-Содене я видал героического лавочника. Еще недавно он успешно сбывал перпиньянским капралам похабные открытки. Теперь он выставил в витрине карикатуры на французов, а также фотографии немецких красоток. Надо ли

говорить о том, что эти красотки, успешно утешавшие французских сержантов и скопившие на этом несколько сотен, превратились теперь в валькирий?.. Наконец-то они смогут отдать сердечный пыл честным немецким солдатам!

В Бад-Крейцнахе своя знаменитость: двенадцать лет тому назад грум Крейцнаха еще ходил в коротких штанишках. Каждое утро он становился во фронт, заведя издали генерала Гинденбурга. Приехав в освобожденный Крейцнах, президент тотчас же вспомнил об этом героическом вундеркинде. Валькирии сморкались от умиления. Трубачи надували щеки.

Французам удалось нелегкое дело: наконец-то они научили немцев ненавидеть Францию. Так кончилась эта неразделенная страсть, присутствие которой нетрудно проследить и в стихах Гейне, и в грубом башмаке «берты», громившей Париж. Сколько здесь было утаенных признаний, проглоченных вздохов, предательских слез!.. Любая книга любого немецкого писателя, побывавшего в Париже, — это рассказ о паломничестве в полузапретный Иерусалим. Даже война не могла осилить патологической любви: на войне сто магических метров разделяли врагов. Потом враги оказались рядом, они жили бок о бок; у одних были револьверы и полевые суды, у других оскорбленное самолюбие, тюремная решетка или повестка о штрафе.

Я помню красавца негра, он кричал: «С немецкими паспортами назад!..» У него были белые зубы и власть полубога. Он улыбался, как младенец. Прошло семь лет. Улыбка негра не забыта. На нее ответили рык песен, вой труб и звяканье разбитых стекол. Кадриль продолжается. Я был в Нуайоне тотчас же после ухода немцев. Жители шептались «командатура», суеверно оглядываясь. Они хотели растерзать злосчастную женщину, которая стирала штаны прусского лейтенанта. Тринадцать лет спустя я увидел другую фигуру того же танца: «кавалеры меняют дам»!.. Мертвые успели истлеть, инвалиды продают на улице спички; что касается прочих граждан, то у них еще имеются ноги — следовательно, они могут танцевать. Трубачи сберегли трубы, и на фасадах бьется проклятое тряпье.

Бал в разгаре. Всех веселей кабатчики; они рекламируют «вино освобождения», холодное рейнское вино с привкусом романтизма и глубокой осени. На террасах Кобленца патриоты



пьют «вино освобождения». У них горделивая осанка, бритые затылки и глаза мутные, как воды Рейна. Давненько я их не видел. Конечно, они не прятались, они работали, торговали и при случае стреляли в «спартаковцев». Но это было трудное десятилетие: они не могли ни ходить скопом, ни кричать «ура», ни показывать удивленному миру свои неповторимые затылки. Они знали: надо пересидеть, пересидеть истерику вдов, игру в республику, экспрессионизм, социал-демократов. Рур, уличные перестрелки. Теперь они вышли на свет божий. Они кричат «ура», и радио разносит этот священный рык по всем городам Германии.

Вокруг кафе бродят нищие. Всячески стараются они растрогать сердца победителей. Они продают увядшие маргаритки, спички, шнурки для ботинок, портреты Гинденбурга. Но победители раздраженно отмахиваются: в Германии нет места попрошайкам!.. Германия страна работы и долга. Нищие бормочут что-то вовсе непристойное — «работы нет», но официанты их вовремя отгоняют.

Тех, что пьют вино и кричат «ура», не так уж много. Куда больше голодных и молчаливых. «Освобожденный Рейн», видимо, никак не счастливей «Рейна порабощенного». Если американские туристы, которые внимательно изучают и руины, и погребя Рейна, не заметили катастрофы, это не их вина. Немецкая нищета стыдлива. Здесь на славу штопают лохмотья, и голодная судорога здесь никак не допустима в общественном месте. Велика страсть этого народа к видимости. Фабрикант сигарет тратит больше на упаковку, нежели на табак. В кафе подают на серебряном подносе даже не цикорий, но суррогат цикория. У человека может не быть рубашки, но манишка у него обязательно имеется. Нищета хорошо причесана.

Голод, однако, остается голодом. Одни кидаются в поэтические воды Рейна, другие уходят к вербовщикам «инострannого легиона», третьи умирают на месте, так и не всучив никому завядших маргариток. Растет ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, древнее безумие ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание. Вино они пьют без надрыва: это не версальские маркизы и не московские купцы. Они умеют подчиняться. Это ведь не танцмейстеры, это только танцоры. Для высокой политики у них слишком мало денег и слишком много чувств.

Они свято верят в звезду тех, что не ездят на дачных пароходах и не кричат до хрипоты «ура». Река может затопить город, но река — это белый уголь. Ненависть?.. Что же, пусть они ненавидят французов, поляков, евреев! В течение четырех лет страсти народа, вскипая на полях Пикардии или Литвы, приносили правителям и славу и дивиденды. Опыт имеется.

Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые. В своих листовках гитлеровцы шельмуют богачей и спекулянтов. Они намекают, что русские не прогадали. Но, конечно, Германия не Россия! У нас свои враги: французы; свои предатели: евреи. Мы за революцию, за нашу немецкую революцию! Вы увидите, что ненависть илотов сможет обслуживать тяжелую индустрию, как горный поток, пропущенный сквозь турбину!..

Во Франкфурте десять тысяч горемык приветствовали недавно Гитлера. Это было торжественно и постыдно, как июль 1914 года. В дорогах ресторанах, за бархатом окон шла обычная ночная жизнь: фокстрот, ведерки со льдом, поэзия... Рев толпы здесь никого не испугал. Полки пойдут туда, куда им прикажут. Танцмейстер еще ведет танец...

Танцмейстер отважен и находчив, он не боится ни революционных фраз, ни передовых идей, ни опасных союзов. Давно уж он променял спокойную жизнь на пот игрока. Он вовсе не думает опираться на традиции, аргументировать правом или честностью; Германия не Англия и не Франция. Ни брюшко, ни диплом «доктора философии» не мешают ему жить на трапедии. В его квартире никаких Людовиков, он любит новое искусство и пустоту. Ему тесно и в жизни и в послевоенной Германии. Не он ли аплодировал в театре Пискатора? Может быть, он верит в свое бессмертье, в свой ум и в глупость других; может быть, он настолько свыкся с мыслью о близкой смерти, что она не мешает ему ни работать, ни пить шампанское. Его супруга еще вздыхает при виде рейнских развалин. Он занят другим: он строит Афины из бетона. Правление треста «ИГ» во Франкфурте — храм нового культа. Американский размах здесь сочетается с немецкой абстрактностью. Производство красок становится метафизикой. Впрочем, танцмейстер снисходителен к людям отсталым, которые обожают не сто лошадиных сил, но какую-то женщину с младенцем. Для них он выстроил в том же Франкфурте десяток ультрасовре-

менных церквей. Христос напоминает динамо, а исповедальни оборудованы по последнему слову техники.

Глупость гитлеровцев, говоря откровенно, его смущает. Пока погромщики громят лавки, он прогуливается по Елисейским полям. Он дает деньги на безграмотные листовки, для себя он покупает Пруста и Андре Жида. Наконец — и это самое удивительное, — у него обыкновенный затылок. Он националист по убеждению и космополит по вкусам. Бритые затылки состоят при нем как серафимы или как ночные сторожа.

Кто обвинит его в беспечности? Если трещат многоэтажные тресты, если красное полотнище вмешивается в пестроту уличного праздника, если судорога изменяет плавный ход кадрили, это не его вина. Здесь уместней говорить не о тактических ошибках, но о героической трагедии, о тяжелом дыхании фатума.

Германия не может ни жить в мире, который ей навязан, ни воевать; она не может ни отстоять свою кучую свободу, ни сдаться на милость доморощенного Муссолини, она ничего не может. Она связана хищными соседями и своим сумасшедшим благоразумием, своей слабостью и своей силой.

Еще год назад вся Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресение на страницах книги или на экране, казалось, уже забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний, и никакие эпитеты не в силах изменить волшебной сущности некоторых слов. За чем же стало дело? За сербским гимназистиком? Или за размолвкой двух трестов? Танцмейстер не на шутку озабочен. Он пьет на официальных банкетах за «освобожденный Рейн», но вино оставляет во рту привкус, который дегустаторы называют «привкусом дрови». Это свойство некоторых вин, а также некоторых эпох. Куда пойдут эти толпы? Где их новый Багдад?.. Вряд ли стоит настаивать на Саарском бассейне или на Польском коридоре: это вопрос цены. Остается слепая и жестокая энергия. Они давно уже не могут жить. Они могут только умирать с голоду и бесноваться. Удастся ли опытному танцмейстеру продиктовать следующую фигуру, или воды Рейна ознакомятся с новой рябью, — от скидываемых за борт тяжелых тел, с той рябью, которая умилила берлинских встетов на премьере «Потёмкина»?..

В вагоне где-то между двумя городами, равно деловитыми и бездушными, один попутчик, чопорный, весь фиолетовый, не то от пафоса, не от высокого накрахмаленного воротничка, говорит другому:

— Это конец...

Говорит и спокойно выдыхает облачко доморощенной ганы. Сосед молчит. Сосед вынимает из промасленной бумажки бутерброд, медленно его прожевывает; прожевав, подтверждает:

— Да, конец...

Это не философы и не поэты. Тот, что курит сигару, продает усовершенствованные блоки «Принтатор», тот, что съел бутерброд, — муниципальный ветеринар Бранденбурга. У них разные заботы, и на скорбь у них разные резоны. Но оба повторяют то же слово: «конец». За мутными стеклами пылают заводы, густеет ночь, и порой сиротливо, как звездное небо, трепещут неуверенные огоньки человеческого жилья. Еще час-другой, еще несколько вздохов или бутербродов, и попутчики вежливо прощаются. Перед ними город, огромный и безразличный, не метафизический «конец», о котором шла речь в пути, но только переменный свет реклам и размеренные вздохи автобусов, город вечный в своем однообразии, — Берлин.

На вокзале — расписание. Такой-то поезд приходит в 11 часов 30 минут 30 секунд. Кому нужны эти секунды? Продавцу блоков «Принтатор»? Ветеринару? Общественному мнению? Философам? Смерти? Это — порядок, порядок наперекор кризису, нищете, отчаянью, порядок до самого конца наперекор концу, порядок во что бы то ни стало, жестокий порядок, который мыслим разве что на небе или в убежище для умалишенных. Порядок этот настолько не соответствует подлинному состоянию людей, настолько пренебрегает их голодными спазмами и зловещим тиком, настолько отрывает страсти от видимости дел и туши от камней, что вчуже страшно: призрачными, отвлеченными скрепами держится этот быт. Что станет в тот, видимо и впрямь недалекий, день, когда страсти одолеют, когда наступит поминаемый всеми «конец», что станет в тот день хотя бы с расписанием поездов? Эта секундная точность не превратится ли в громадный хаос, в столь же маниакальную

разруху, не заблудятся ли все поезда среди тысячи путей, перепутанных цифр и перегоревших семафоров?

Пока еще все на месте: и секундная стрелка, и витрины гастрономических лавок, и чинные хвосты возле канцелярий, где зеленоватые чиновники не успевают готическими иероглифами заносить на длинные листы имена безработных. Пока еще выходят газеты различных направлений, члены рейхстага произносят обстоятельные речи, многоэтажные магазины, забыв о разбитых погромщиками стеклах, рекламируют красивые половые тряпки и экономные духи. Однако бранденбургский ветеринар найдет в Берлине несколько миллионов единомышленников: «конец, конец» — это говорят газеты и нищие, депутаты и дети, лица и дома. Что ни подъезд, то вывеска: «сдается»; сдаются магазины и танцульки, конторы и рестораны, склады, подвалы, особняки. Какие-то чудачки еще пробуют пересдать свое место в жизни. Охотников нет. Те, у кого много марок, отбывают в Ниццу. Те, у кого одна марка, идут в кино и смотрят на полотняную Ниццу, оживляемую взаправдашним плеском моря.

Сдаются дансинги «Фар-Вест» или «Джунгли», сдается также демократическая республика. Эта квартира явно не пришлась по вкусу. Еще недавно в ней стояла веселая суматоха новоселья, жильцы прибавляли портреты, устанавливали несограемые шкафы; чистосердечно радовались: все окна выходят на улицу, говоря иначе, на Париж! Удобства, однако, оказались мнимыми; подвели портреты, подвел и Париж. В подвале и на чердаке началось подозрительное ерзанье; жильцы добропорядочных этажей раскрыли сундуки, как гробы. На воротах — корректная дощечка: «сдается»...

Западные кварталы Берлина еще бодрятся: здесь нет ни биржи, ни банков, ни контор, здесь за почтительными палисадниками барские квартиры, картины на стенах, плюшевые обивки в детской, граммофоны, заслуженный отдых. Те, что не уехали ни в Сицилию, ни на Ривьеру, еще пытаются жить. Они избегают философии — философия в эти годы разорительна, да и опасна. Перед праздниками гастрономические лавки бойко торговали — бывают душевные состояния, когда шампанское, устрицы или икра это хлеб насущный. Зато в книжных лавках — ни души: горемыкам с Курфюрстендама теперь не до книг. Книжки, как известно, рождают вздорные мысли, а прочитав телеграммы о рурских событиях, г-н Мюллер предпо-

читает ни о чем не думать. Он пробует веселиться. Он идет в одно из дурацких кафе, туда, где вместо зала — оранжерея с живыми попугаями, в отчаянье передразнивающими господ Мюллеров: «*Neig Ober zahlen*», или туда, где вместо зала — палуба с длинными шезлонгами, с мачтами, с бутафорскими кулями кофе. Он ложится на шезлонг, слушает птичьи крики и якобы забывается. Иногда он идет в театр. Несколько лет назад он был бодр и склонен к мировым раздумьям, он тогда аплодировал революционным тирадам Пискатора. Теперь не то: что ни день лопаются банки, вместо биржи — кладбище, вместо дивидендов — обойма револьвера и где-то, далеко, но рядом — томительное молчание пяти миллионов безработных. Теперь он аплодирует забавным французским комедиям. Для парижских авторов это «дух Локарно» и законные отчисления; для Курфюрстендама это только предсмертный бред. Ведь не следует забывать — тот же г-н Мюллер весит 85 кило, в его шкафу сочинения Лессинга. Он не может порхать. Самый природой обречен он на раздумья, Ни пестрая раскраска попугаев, ни шампанское, ни взбитые сливки, ни блистательное остроумие Тристана Бернара не способны отвлечь его от нескольких коротких, но постоянных мыслей. Вот он шевелит губами. Он, кажется, ничего не сказал. Сосед не оглянулся. Дама с аршинным мундштуком, развалившаяся на шезлонге, даже не повела выщипанной бровью. Однако г-н Мюллер сказал нечто, нечто весьма новое и весьма оригинальное. Он сказал:

— Это конец...

Бранденбургский ветеринар и продавец блоков, сокрушенно помолчав, согласились.

Господин Мюллер умирает далеко не охотно. Он хочет жить; с какой-то жестокой нежностью печется он о своем здоровье. Правда, он курит, но в каждую сигару он вырыскивает из карманного шприца несколько капель волшебного эликсира, который, видите ли, лишает сигару ее зловредных свойств. В обувном магазине к нему подходит г-н доктор в больничном халате, и хотя у г-на Мюллера вполне здоровые ноги, г-н доктор подкладывает ему под пятки особые металлические подпорки. На то он г-н доктор. На то г-н Мюллер тоже доктор, он «доктор философии». Надо заботиться о себе! Надо жить, надо жить во что бы то ни стало!

Доктор, придумавший шприц для сигар, наверное, разбогател. Другие «изобретатели» тоже не прогадали; в первую оче-

редь те, что надумали, как обезвредить всеобщее недовольство, как совместить социализм и погромы, ненависть к бирже и высокий курс акций, балансы трестов и достоинство Германии. Прежде немцы на славу организовывали жизнь, они организовывали работу, государство, войну, экспорт, даже скандалы. Теперь требуется организовать отчаянье. Если взрыв неминуем, пусть пострадает чужой дом!.. Эта ставка на патентованный шприц. В листовках нацистов можно прочесть: «Мы заклятые враги крупного капитала». Листовки, как и многое другое, оплачены чеками достаточно крупных капиталистов. Сложная игра? Дипломатия? Марна? Гамбит с отдачей ферзя? Или, может быть, только судорожные движения, утеря инстинкта, маниакальность самоубийцы, канун столь часто понимаемого «конца»?

Конечно, те, что говорят о борьбе с капиталом, готовятся к несколько иной борьбе. Но те, что их слушают, отнюдь не лукавят, они искренне проклинают «жидовских банкиров» (естественно перенося ударение на прилагательное), они искренне беснуются и искренне веруют в какой-то свой, «национальный социализм» без предателей, без поляков, а главное, без безработицы. Их собрания похожи на речения хлыстов или на пляски хасидов. Это отставные чиновники и вдовы «героев», ремесленники, безработные, фельдфебели на одной ноге и нищие не одним только духом. Они готовы были разгромить если не биржу, то соседнюю булочную. Их мобилизовали и выстроили в шеренги.

Среди жестокой берлинской ночи, наполненной подозрительным шепотом и случайными выстрелами, перепуганно мечутся те, что еще вчера почитали себя если не вождями, то духовниками или полковыми знаменосцами. Защитники Республики, в свое время немало озабоченные тем, чтобы толпа, сокрушавшая Империю, не вытоптала при этом газонов Тиргартена, продолжают твердить о законности. Трудно назвать этих людей предателями — им давно нечего предавать. Их речи и резолюции — только сокращения мышц, необходимый моцион, гимнастика по системе незабвенного Мюллера. Умирая, они все еще обсуждают — законна ли смерть или незаконна? Это смешно и прекрасно, как последний поезд, который все же придет в 11 часов 30 минут 30 секунд. Чтобы понять это, надо понять Берлин.

Так называемая «интеллигенция» мечется, как крыса, об-

литая керосином. Издали это похоже на фантастический фейерверк, издали это — трагедия, интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки, даже «непримиримость духа». Вблизи это просто запах паленой шерсти и душу раздирающий писк. «Стальная каска», «Красный фронт», «раз-два» гитлеровцев, ячейки коммунистов — что же здесь делать Эмилю Людвигу или Зибургу, которые хорошо понимают все эстетическое превосходство «шато д'икем» над мюнхенским пивом и мистера Болдуина над каким-то Фриком?..

События идут куда быстрее, нежели мысли г-на доктора, редактора почтенного органа и пожизненного демократа. Он садится за передовую, но тут-то секретарь приносит несколько листочков, и г-н доктор начинает статью заново — умнеть приходится по часам. Еще вчера нацисты были «погромщиками и бандитами», сегодня это «здоровое движение германской молодежи». Правда, от этого «движения» у редактора (который, кстати, оделен природой самым неблагонадежным носом) проходит по телу мурашки, но ничего не поделаешь — завтра «погромщики» станут докторами, советниками, министрами.

Чтобы разогнать белесый томительный сон, не нужно ни пулеметов, ни даже холостых выстрелов. В кино, где показывали фильм «На Западе без перемен», собрались ревнители республиканского знамени. Нацисты дали битву. Они выпустили в зал сотню белых мышей. После чего оставалось только запретить фильм, как явно пагубный: помилуйте, французы на экране умирают молча, а немцы, те препозорно кричат! Немцы могут кричать при виде белых мышей, но отнюдь не при виде смерти!..

Берлин горд своим чувством времени. Это самая современная столица Европы. С фасадов домов соскоблены отсталые завитушки, и любая проститутка умеет избежать сентиментальных вздохов. Какой-нибудь скромный банковский служащий сидит в металлическом кресле, способном свести с ума всех снобов Парижа. Таков Берлин корректных заработков и разумных досугов. Надо ли говорить о том, что и это — только обманчивая личина, что в кресле сидит юридический почитатель Шпенглера, он же растлитель девочек или кошкодав, что фасады домов скрывают одинокие безумствования различных «философов» и что проститутки, не вздыхая, умеют до смерти сдавить теплый мякиш врученного им тела или, зевнув незначай, метнуться в жалкую водицу Шпрее?.. Но имеется и



другой Берлин, явно нелепый: квартиры с портретами царствующего дома и с уланскими трубами, где сосиски — это атрибут романтического мира, где пьют по двадцати бутылок пива за победу, за скандал, за васильки, за кровоточащий нос, точнее всего — за смерть, Берлин непроветренных комнат, со статуэтками и с рапирами, Берлин Аллеи победы и гнилых кабачков, полуподпольный, вчера еще неприметный, который сегодня рычит, улюлюкает, отрыгивает.

Нацисты, конечно же, склонны к философии, — без этого в Германии и дня не проживешь. Один из философов установил, что у евреев большие ноги. Ноги сразу были возведены на подобающие высоты, заменив чересчур громоздкие генеалогические деревья. В соответствующих кругах можно уничтожить человека коротенькой справкой: «а ноги у него подозрительные»... Поглядите-ка на этого товарища, правда, он прям и неистов, он ненавидит евреев, он предан чистоте германской расы, все это так, но при всем этом он слегка прихрамывает. Кто знает, уж не еврей ли он?

Средневековые сплетни, выстукиваемые монотипами, различные оттенки душевных заболеваний, соблазненные на выборах шесть миллионов, наконец романтические куплеты, связанные с пуншем, с изрубленными мордами дуэлянтов, с провинциальной мифологией и с оленьими рогами на стенках, куплеты, наспех превращаемые в партийную программу, даже в министерские декларации, — таковы сны Берлина в обычные зимние ночи, среди сквозных ветров и гололедицы. В Тюрингии нацисты у власти. Что же, они уничтожили капитал или хотя бы прикончили с десятков банкиров? Нет, они заняты возвышенным миром, поэзией, символами, метафизикой, запретили джаз, а также несколько легкомысленных комедий, предписали школьникам ежедневно повторять витиеватую молитву о полном истреблении евреев. Поработав столь напряженно, они произнесли еще несколько речей и опрокинули еще несколько кружек пива.

Что же скажут шесть миллионов, когда шестьсот посредственных призраков переедут из чадных пивнушек в парадные салоны министерств, когда от обязательных проклятий капитала они перейдут к его законной охране?

Воинственность иных поз, кивки на карту, где помечены границы былой довоенной Германии, шепоты о секретных изобретениях, о новых газах или о волнах, способных якобы

снижать самолеты, парады, мундиры, знамена,— словом, подготовка не только заводов, но и душ к очередной «переделке»,— все это следует объяснить страхом вождей перед своими приверженцами. Голод и отчаянье придают глазам известный блеск. За «ленчем» в Швейцарии можно добиться уступок, можно выторговать не только Саарский округ, но и знаменитый «коридор». Это, разумеется, и верней и экономней. Но можно ли насытить швейцарским завтраком фанатиков, к тому же рассуждающих натошак?.. Конечно, «никто не хочет войны» — голос оратора вибрирует с неподдельной искренностью. Впрочем, хотели ли войны герои 14-го года?.. Пороховые склады сами притягивают к себе неосторожных курильщиков. Рука на курке — так год, два, три,— наконец раздается выстрел. Трудно обвинить человека: выстрелил не он, выстрелила рука, даже не рука — винтовка. Карл покупает газету: «Маневры польской армии», «ядовитые газы в Бельгии», «французы строят новые крейсера», «оружейные заводы в Чехословакии успешно борются с кризисом»... Миротворитель Карл вздыхает — кругом его страны железное кольцо. Карл идет в кино: сначала комедия — довоенная Германия, блестящие мундиры, военные марши, любовь с закрученными лихо усами и с сознанием национального достоинства. Потом — кинохроника: спуск броненосца в Америке, парад в Риме, Пилсудский у Неизвестного солдата, похороны Жоффа — всюду знамена, винтовки, каре, точный, как время, топот вышколенных ног. Карл смотрит, слушает, и Карл готовится. Он не за войну. Он и не против. Война для него, как жизнь, — нечто страшное, темное и неизбежное.

На собраниях нацистов темно от дыма. Порой не видно лиц — это едкий жестокий дым немецких сигар. Воевать?.. Но против кого? Одни кричат: против поляков, другие: против французов, третьи: против русских. Вместе с Советами! Вместе с Муссолини! Нет, против Советов, вместе с англичанами!.. У них нет ни прочной ненависти, ни программы хотя бы на год. Отчаянье народа сдается желающему, как дансинг или как контора; тот, кто больше даст, получит сердца вождей и пушечное мясо обманутых. Социал-демократы примут резолюцию: «принимая во внимание» и выстроятся перед воротами воинского начальника. Женевские рестораторы, те, пожалуй, вздохнут об утерянном мире; впрочем, у них останется надежда на удвоенный аппетит шпионов и дезертиров.

Ночью в северном квартале раздаются несколько беглых выстрелов. Из пивной, где заседают «наци», вытекает на улицу пар и гогот. Кто-то хвастается: «уложил двоих»... Кого же? Поляков? Еврейских банкиров? Нет, охота идет на другого зверя: два трупа — это не поляки, это немцы; и не банкиры, а рабочие: это два коммуниста. Они не сдались ни на ласку, ни на угрозы. Они не признали, что «наци» — «здоровое явление», они не умилились перед святостью избирательных бюллетеней. Их убили ночью при заведомом равнодушии и полиции, и демократии, и закона, и домов. Убили двух... Двадцать... Двести... Но всех не перебить из-за угла. Так растет страх, каждая улица становится засадой, каждый день — картой азартной игры.

Эти выстрелы не только политическая борьба, это также нарастание злобы, это статистика безработицы, это глубокая темь иных улиц и иных душ. Револьверы начинают стрелять сами по себе, людям остается повиноваться. Аккуратный человек, в картонном воротничке, голодный, но бритый, заходит в пивную, в одну из тех сомнительных пивных, где на вывеске невинный младенец среди серебряной пены, а внутри запах солода, пота и собачьей тоски. Человек заходит мирно в пивную, мирно спрашивает он кружку «темного», «темного» или «светлого», мирно снимает сухими губами белые хлопья, а потом столь же мирно, аккуратно и глубоко беспредметно стреляет в другого человека. Кто из них за кого и за что? Кто правый, кто левый? Черна и пуста берлинская ночь.

А голод все растет и растет. Недавно одна из берлинских газет сообщила среди других забавных происшествий о фантазии гамбургского безработного. Этот смельчак, оказывается, предложил дирекции цирка свои услуги: он готов вступить в бой со львом. Он просил одного: после его смерти в течение шести месяцев кормить жену и детей. Газета поясняла: «Как рабы в Древнем Риме»... Я не знаю, приняла ли дирекция это заманчивое предложение, и если приняла, то кто победил: лев или гамбургский безработный? Я надеюсь, однако, что, прочитав эту заметку, г-н Мюллер, тот, что еще лежит на шезлонге и аплодирует пьесе Жироду, почувствовал некоторую неловкость: ведь львов в Германии не так уж много. Легко предположить, что другие безработные, которым наплевать на жизнь, как их гамбургскому сотоварищу, выберут себе другую смерть. Они могут, например, вступить в бой с г-ном Мюлле-

ром... Дойдя до этого, г-н Мюллер говорит себе, своей вдоволь равнодушной супруге, другим гг. Мюллерам:

— Это конец...

Что понимает он под словом «конец» — свою смерть? Революцию? Распад государства? Хаос? Этого он и сам не знает: он ведь только одна из механических теней, которые бродят по просторным улицам Берлина, которые еще что-то складывают, вычитают, тратят, зарабатывают, но которые заведомо мертвы. Днем неопределенность рождает противоречивые взгляды, ночью она разряжает огнестрельное оружие. Философы — растерявшие идеалы, счетоводы — давно сбившиеся в сложении, народ — без веры, без цели, даже без простенькой общедоступной надежды. Десять лет тому назад еще можно было вскрыть нарыв. Теперь истории придется кромсать на куски прогнившее мясо.

Октябрь 1931

Осенью на Балтийском море шумят бури, и острый ветер врывается в Берлин. Он носится по длинным прямым улицам, поднимает воротники, сбивает листья: он превращает бесчисленные огни кино и ресторанов в полярные созвездья. Этой осенью падают ценности биржевые и так называемые «духовные». Как ни длинны парадные проспекты Вестена, они где-то обрываются, гаснут огни, встает ночь Нордена. Напрасно тетушки из «Армии спасения» кричат на перекрестках: «Зима — на помощь! Зима! Зима!..» Против зимы бессильны и скудные пфенниги, и псалмы, и дипломаты. Газеты подробно рассказывают о том, как Лаваль отдал дань немецкой душе, отведав сосисок с капустой. Но и это не спасет Берлина от зимы. Берлин мечется. Никогда не было на Курфюрстендаме столько бездельных и якобы веселящихся людей. Кафе, рестораны, дансинги переполнены, кафе с попугаями или с гавайцами, с юртами эскимосов или с палубами пароходов, с конструктивными креслами и с укромными ложами, с писсуарами, дивными как храмы, и с хриплыми предостережениями громкогоговорителя: «В Нейкельне толпа грабит булочные!» От Курфюрстендама не так уж далеко до Нейкельна — столько-то остановок «подземки», но на Курфюрстендаме нет ни толп, ни

булочных, только кафе с попугаями, породистые таксы да сугубая дрожь электрических реклам.

Немцы не раз щеголяли в истории своим сомнамбулизмом. Они бегали по карнизам и плакали под намалеванной луной. Надо ли говорить о том, что люди падали на мостовую, а декоративная луна быстро перекрашивалась? Восемь лет тому назад немецкая буржуазия расстреляла последних бунтовщиков. Начался новый сон, заполненный грудями вещей, дивидендами, и, однако же, абстрактный. Марка была признана на веру, как папские индульгенции. Росли фабрики, что ни день устанавливались новые машины, рационализация заменила минутную стрелку секундной. Казалось, дело идет к терциям. Кровати выпадали из стен, кресла диковинной формы отливались на заводах по тысяче штук в час, радиоприемники устанавливались не только в «домах свиданий», но даже в уборных — люди боялись прослушать биржевую котировку или модный танец. В течение четырех-пяти лет сон шел на славу. Немецкий буржуа успел позабыть и о спартаковцах, и об инфляции. Он доходил до того, что аплодировал чужестранным коммунистам, он готов был поверить в свое бессмертие. Он твердо решил обыграть историю. Играл он спокойно и, конечно же, блефовал. Это была религия покера, а также исконное безумие Германии.

Обыграть историю не удалось. Буржуа больше не аплодирует коммунистам. С бояливой надеждой поглядывает он на рослых «шупшо». Он хочет надеяться, но, привыкший к крупной игре, суеверный и склонный к фатализму, он понимает, что партия проиграна. В близкое торжество коммунизма здесь твердо верят именно капиталисты. Одни из них переводят деньги за границу, подыскивая в какой-нибудь безобидной стране убежище; другие с жаром доказывают, что они отнюдь не «акулы», но труженики индустрии, им не страшна революция; третьи, стараясь отогнать от себя ночные кошмары, дают деньги ловким проходимцам, которые обещают в два счета справиться с коммунистами, а потом спешат в рестораны или в дансинги, чтобы не думать и не видеть. Страх перед будущим похож на боязнь пространства. У Курфюрстендама кружится голова. Он не смеет взглянуть — что перед ним.

Перед ним зима.

В книжных лавках Вестена, еще недавно заполненных мирными романами, теперь на самом видном месте: «Конец

капитализма»; «Капитализм или коммунизм», «Красные купцы», «Пятилетка», «Сталин» — это, конечно, не апология революции, это и не любопытство стратега, изучающего силы врага, это попросту головокружение. В одном из самых больших кинематографов Берлина идет советская картина «Путевка в жизнь». Буржуа смотрят и аплодируют: на экране беспризорные становятся рабочими. Буржуа отнюдь не умилен моралью, он не растроган детскими улыбками, нет, он только припоминает северные кварталы Берлина, где дети и не дети учатся вынужденному безделью, где растут унынье и злоба. «Интернационал» в кино куда уютней и спокойней, нежели глухой шепот встречного безработного.

Я говорил с политиками, с журналистами, с фабрикантами. Я не встретил ни одного человека, который верил бы в то, что настоящее положение может продлиться. Путь от самоуверенности к отчаянию проделан быстро. Один из крупных деятелей индустрии сказал мне: «Если бы я думал, что капитализм способен продержаться еще лет двадцать — тридцать, я бы боролся против революции. Но годом раньше, годом позже... Мы не способны дать людям работу, пусть это сделают другие, а кто — не все ли равно?..»

Берлин еще заботится о своей осанке. Это, если угодно, выдержка, это также привычка к блефу. На рождество немцы обмениваются подарками. Салфетное кольцо или карандаш они кладут в огромные коробки, они завертывают их в десять различных бумаг. В одном весьма буржуазном доме я видел как-то «бар», с бочками, со старинными бутылками, с гравюрами; в этом баре гостю дают рюмку обыкновенной сивухи — видимость соблюдена. Ночью рот-фронтовцы и нацисты разбили стекла в 22 отделениях газетных трестов Ульштейна и Гугенберга. Газеты об этом сообщают корректно и глухо: «несколько инцидентов». Лопаются очередной банк, столько-то тысяч разорены, три самоубийства. Еще один инцидент. Одним декретом правительство уничтожает свободу собраний, свободу печати, неприкосновенность жилища. В ответ несколько философических размышлений о свободе духа или о влиянии речи Хувера на судьбы цивилизации. Я был на митинге писателей, художников, кинорботников: «Долой цензуру!» Для того чтобы пристыдить интеллигенцию, устроители митинга поставили на афишах: «Цензура — чума. Гете», хотя, как известно, Гете относился к цензуре вполне дружелюбно.

Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, сначала мылит щеки и тщательно бреется.

Только чрезмерное оживление Вестена да внезапная рассеянность прохожих указывают на наличие драмы. Это напоминает годы инфляции. Как тогда, люди заходят в магазины и, спеша, покупают ненужные им вещи; только теперь ни у кого нет денег, сегодня покупают, завтра — справка о банкротстве, все равно — конец один: рядом Норден, а впереди зима!

Магазины рабочего Нордена пустуют и закрываются. В знаменитой пивнушке, в которой искал моделей любимец берлинцев рисовальщик Цилле, я застал четырех посетителей — и это в субботу вечером. Хозяин другой пивной, которая сдается под собрания, жаловался, что из 600 человек, пришедших на митинг, только трое заказали по кружке пива, остальные боязливо просили «стакан воды». В Нордене никто не блефует.

Нищета Нордена не бросается в глаза — здесь нет ни романтических трущоб, ни живописных лохмотьев: Берлин не Неаполь.

Немки умеют на славу латать и штопать. Надо тщательно разглядеть человека, чтобы увидеть расползающиеся штаны, щели ботинок и тусклый огонь глаз, который объясняется не столько политическими страстями, сколько обыкновенным голодом. Большая «обжорка» возле Александерплац, в окнах выставлены блюда с различной снедью и с пометками — «30 пфеннигов», «40 пфеннигов». На самом внушительном блюде — «колоссальная свиная нога всего 55 пфеннигов»! Люди заходят, хватают блюда, отсчитывают пфенниги и стоя быстро проглатывают колбасу с картошкой, а счастливицы — «колоссальную ногу». Однако не все заходят, многие подолгу стоят у окон; они не в силах оторвать глаз от феерических яств, потом, вздрогнув, они идут дальше.

Не только климат, нравы страны заставляют здесь человека цепко держаться за порог дома. Число бездомных все же растет с каждым днем. Из скудных марок, отпускаемых безработным, надо вносить квартирную плату. Неисправных быстро и аккуратно выселяют. В городском ночлежном доме могут поместиться 4000 человек. За ночлег они должны утром два часа работать. Работа эта отличается бесцельностью, и даже люди, стосковавшиеся по работе, с отвращением выполняют никому не нужное дело.

Городская ночлежка гордится чистотой и техническими усовершенствованиями; однако безработные идут в эту ночлежку, как в тюрьму — здесь строго запрещено курить, проходящие должны раздеться догола, они могут пронести сигарету разве что в волосах — горе лысым!.. Этот жестокий и унизительный регламент как бы продиктован желанием укрепить, выхолить в людях чувство необходимой им ненависти.

Помимо городского ночлежного дома, за последнее время в Берлине открылось свыше 50 частных ночлежек — это верное дело. Цены за койку колеблются между 40 и 75 пфеннигами. В ночлежке «Армии спасения» берут дорого и заставляют к тому же петь натошак псалмы. Но и 40 пфеннигов для многих непосильная mzда. В глухой части Тиргартена можно увидеть тех, у кого этих 40 пфеннигов не оказалось. В центре города под одним из вокзалов каждую ночь спят около 400 человек. Таких «катакомб» несколько. Надо ползти на животе — бродяжничество запрещено законом, и полиция не спит.

Пусты и тихи улицы рабочих кварталов; только некоторые из них по утрам заливают толпа людей; здесь проверяют карточки безработных. Иногда раздается голос: «ищут четырех чернорабочих», в ответ тотчас же поднимаются не четыре, но четыреста рук. Пособия различны, — в среднем 9 марок на неделю. Прожиточный минимум равняется 30 маркам без обуви и одежды. Как можно прожить на 9 марок, об этом никогда не пишут экономисты больших газет. Они заняты другим подсчетом — сколько Германия тратит на безработных; непосильное бремя, сократить пособия, спасти страну!.. Так пишут газеты, полные высоких чувств и классического человеколюбия. Что касается безработных, то им остается прожить на 9 марок. Впереди зима. В прошлом году безработные получали толику угля. Теперь уголь будут выдавать только тем, у кого дети. Остальные смогут лежать на площади возле Штеттинского вокзала, где камни несколько согреваются паром...

По дворам Берлина ходят певцы — это бездомные шахтеры или заводские рабочие. Они уныло поют: «У вас дом и в доме лампа, пожалейте тех, кто стоит под окном»... Еще недавно они вырабатывали песнями две-три марки в день. Теперь все реже и реже падает на камни монета: нищета стала бытом, и люди ожесточились. Притом у тех, кто чаще всего бросал вниз пфенниги, теперь нет лишней монеты: это приказчики, модистки, мелкие чиновники. У них, правда, еще



имеются и дом и лампа, но им не до чужих песен и не до чужого горя.

Быстро растет преступность: карманники и форточники. По статистике полиции-президиума, 60 процентов краж, обнаруженных за последнее время, совершены не профессиональными преступниками, но изголодавшимися безработными.

Нищета не только убивает человека, она тщательно над ним издевается. Вечером, в пассаже Унтер-ден-Линден, в аллеях Тиргартена, в окрестностях Александерплаца бродят тысячи и тысячи молодых парней. Им от 15 до 25 лет. Многие одеты в короткие штанишки. Они стараются томно улыбаться и кокетливо потуплять голодные глаза. Это не извращение, не мода — это нужда. Богатые развратники всего мира спешат в Берлин; здесь полиция ловит бездомных и разгоняет коммунистов, зато она вдоволь терпима к любым формам «любви». Любители выискивают подростков возле отделений, где проверяются карточки безработных. Новичка соблазняют двумя или тремя марками. Он смущается, негодует, отплеивается, и он идет — с голодом не шутят. Это становится профессией.

Утром они еще ищут работу. Вечером они выходят на улицу и поджидают клиентов. Оплачивается это весьма низко — полторы марки, марка, порой 50 пфеннигов. Я был в одном кабачке, куда сходятся проститутки-мужчины, поджидая «кавалеров». Когда в кабачок случайно заходит женщина, они с жадностью смотрят на нее: это ведь обыкновенные здоровые люди. Но вот пришел «кавалер» — отставной полковник — высокий воротничок, пегие колючие усы. Тотчас же на него налетают десяток парнишек. Они пытаются томно улыбаться. Они так хотят получить одну марку! Среди них немало тех, что еще вчера были обыкновенными безработными, завсегдашними митингов и демонстраций. Увидав товарища по партии, они стыдливо отворачиваются. Они еще говорят, смеются, даже танцуют, но стыд и отвращение развели душу. Это уже не люди, но манекены.

Я видал старьевщика-портного, который переделывает костюм новичков для своеобразной профессии: обрезает штаны, вырезывает декольте. Все они мечтают встретить «принца». Это один из Гогенцоллернов, сохранивший высокие традиции. Увидев парнишку в уличной уборной, он бьет его хлыстиком, а избив, дает ему десять марок. Около дома, где живет принц, бродят несчастные парни: они ищут счастья. Официальной

статистики мужской проституции нет; сведущие люди утверждают, что число безработных, вынужденных заниматься проституцией, измеряется десятками тысяч. У этих людей здоровые руки и молодость. Они хотят работать. Что же сказать о том строе, который их гонит на угол, который отдает их на забаву больным уродам, живым мертвецам?..

В Берлине запрещено совращение малолетних, но полиция ласково смотрит на почтенных развратников, которые охотятся за безработными подростками. В Берлине запрещена «черная биржа», но она собирается открыто под председательством члена Государственного биржевого комитета.

В Берлине запрещены эмблемы «наци», однако целые улицы покрыты знаками свастики и надписями: «бей жидов». Зато с коммунистами полиция не шутит. Бьют их деловито и в тюрьму сажают не на час. В маленьких пивных Нордена собираются по вечерам коммунисты. С виду это обыкновенные берлинские пивные: оленьи рога на стене, протертый бархатный диван, копилки для «членов сберегательных кружков». В таких пивных можно ничего не пить — по теперешним временам это выход. Здесь сидят и разговаривают. Здесь можно видеть, как растет справедливая ненависть Нордена. Здесь можно также видеть, как хитро борется тяжелая индустрия против революции: на соседней улице такая же пивная, тот же протертый диван, те же кепки безработных, но это штаб нацистов.

Одних безработных «наци» одурачили: «Мы тоже против капитала; когда мы истребим жидовских банкиров, все безработные получат работу»!.. Других они подкупили: в их столовках выдают суп с мясом... Подлинные вдохновители, разумеется, никогда не показываются на улицах Нордена. Среди них немало банкиров. Они делают, что могут, — они спасают свой класс. В рабочую среду они внесли путаницу и разделение. «Тяжелая индустрия» — это почти абстракция, а вот Ганс стоит на том углу, Ганс — свой, рабочий, и он пошел к «наци». У Ганса револьвер. У коммуниста Вебера тоже. Поздно ночью на глухой улочке раздается короткий выстрел. Кто-то лежит на мостовой — обманутый Ганс или, может быть, Вебер...

Каждую ночь на севере Берлина раздаются такие выстрелы. По одним улицам никогда не проходят нацисты — это крепости коммунистов. По другим коммунисты проходят только

ватагой, не спуская глаз с черных окон. Днем враги еще разговаривают, спорят, пробуют друг друга убедить. Ночью не до слов. Ночью встает вся тяжесть голода, отчаянье долгих лет, безработица, пустота, гнев, воля к жизни, ночью встает смерть, и, на радость далеким «господам докторам» из различных трестов, злоба разряжает револьверы.

Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела. Когда социал-демократические городовые десять лет тому назад расстреляли рабочих-спартаковцев, они этим не спасли буржуазной культуры, они только оттянули развязку, нанося неисправимый ущерб культуре человеческой.

Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Он выдержал войну и голод. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов без ногтей, с искривленными телами, слепых и слабоумных. Когда он потребовал право на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть. Ему дали работу, кусок мяса и койку. Женщины снова беременели. Капитализм, блефуя перед Америкой и кичась воображаемой силой, торжествовал. Он строил новые кабаре и даже новые крейсера. Он играл, и он зарвался. Рабочих снова послали голодать. У них отобрали койки, из мисок вытащили мясо. Их снова приучили к нужде и к безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, их стали вербовать на роли фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело, но и душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет сугубо жестокой — история умеет мстить.

## В центре Франции

Когда-то во Франции было много городов, гордых любовью живых людей. Для Луизы Лабе Лион был прекрасен, а Иоахим Белле не знал ничего милее своей Турени. Существовали тогда ярмарки Арраса, задор Авиньона, легкомыслие Нанси. Можно насчитать десятки художественных школ, определяемых различными областями. Романская архитектура Перигора далека от провансальской, и готика Тулузы — не готика Реймса. В маленьких городах печатали ученые трактаты и сборники стихов. Во Франции прежде были «провинции». Пришла революция. Вместо «провинций» разделила она страну на департаменты, и вся Франция, помимо Парижа, стала одной монотонной провинцией.

Революция началась далеко от парижских «предместий». Провинция слала в Париж своих депутатов. Три года спустя революционная столица пышно отпраздновала «умерщвление гидры Федерации». И Париж послал в «департаменты» своих комиссаров.

Конечно, по статистике, Париж и теперь всего-навсего одна пятнадцатая Франции, но не цифрами определяется гегемония. Конечно, большинство парламента состоит из депутатов от департаментов, но провинциал, переночевав одну ночь в парижской гостинице, становится, хотя бы потенциально, парижанином. Когда четыре года спустя он едет домой собирать голоса избирателей, это похоже на воскресную прогулку горожанина за ягодами или за фиалками. Провинция поставляет в Париж молодых фантазеров и вино, хлеб и кормилиц, солдат и цветы. Париж в ответ шлет газеты, законы, ассигнации, радиоконцерты, модные журналы. Провинция выравнилась и сравнялась. Я говорю, разумеется, не о ландшафте и не о человеческой породе. Горы всегда останутся горами, а марсельский Мариус — героем неистощимых анекдотов. Но вот в Лионе строят точно такие же дома, как в Лилле. В Тулузе и в Нанси читают парижские газеты. Последний афоризм консьержа палаты депутатов повторяется в кафе Бреста и Дижона. Провинциальные журналы напоминают жалкие брошюры. Талантливый юноша

торопится, расцеловав родителей, поспеть на ближайший парижский поезд. Бретонские «автономисты» — это плетение кружев для английских туристов и уроки хорового пения. Единственная победа провинции — кухня. Парижские снобы теперь увлекаются локальными блюдами. Здесь даже оживают старые имена провинций, Нормандия или Перигор получают в «Осеннем салоне» первые призы за свои традиционные яства. Впрочем, это ведь никак не противоречит идеалу «единой и неделимой Республики». Наверное, Фуше любил сидр. Что касается Барраса, то он не мог дня прожить без солянки с чесноком.

Чтобы понять душу французской провинции, лучше всего направиться в центр страны. На окраинах слишком сильна природа, она зачастую определяет чувствования и быт. Бретань — это прежде всего океан. Пиренеи или Савой — горы. Но в Лимузине, в Перигоре, в Пуату нет ни горцев, ни рыбаков. Там живут обыкновенные провинциалы. Этот край далек от границ, в нем немного фабрик, он и не облюбован туристами. Таким образом, здесь не сказались посторонние влияния. В Сент-Этьенне много пришлых рабочих, в Ницце — богатых англичан, а в Пуатье или в Перигоре водятся только классические французы прошлого века, не богатые и не бедные, не правые и не левые — словом, самые что ни на есть выдержанные, как хорошее, старое вино.

Как описать скуку, великую, патетическую скуку сих мест?.. Только наши отечественные захолустья, Миргороды или Краснококшайски способны потягаться с этими «субпрефектурами». Если даже нет здесь классической лужи, если в каждом городе по десятки памятников и по сто нотариусов, — жизнь от этого, право же, не становится веселее.

Прошлое здесь не кажется юношескими воспоминаниями, биографией, хотя бы родословной. Оно удивляет. Вот город Пуатье. Его жизнь бедна и лаконична, как заборная книжка мелочной лавки. Как-то взбесилась в Пуатье корова и, выбежав на улицу, боднула одного из рантье. Долго местная газетка писала о «гордости города — герое, который застрелил разъяренного быка». Прошли года. У «героя» хранятся в альбоме газетные вырезки. Он всем показывает их. Он ими живет, хоть с тех пор и приключились на свете всякие события, например, война...

В пять все уважаемые граждане за аперитивами обсуждают городские сплетни, а в десять улицы пусты, темно и в окнах,— день, слава богу, прожит! В книжной лавке — молитвенник. В театре — доисторические водевили. Да полно, город ли это?.. Отвечает словарь: главный город департамента, бывшая столица Пуату, 37 000 жителей, областной суд, епископат, университет. Еще три старичка, еще один солдат, еще памятник... Среди лавчонок и среди бабушек в наколках стоят изумительные церкви. Романский собор Пуатье справедливо почитается за один из лучших памятников религиозной архитектуры. Неужели предками этих лавочников созданы подобные вещи?.. Здесь не вырождение, здесь перерождение. Между современными флорентийцами и дворцами Ренессанса связь очевидна, люди те же, они только выдохлись. В Париже 1928 года собор Богоматери вполне уместен: «культ разума», Наполеон, романы Бальзака, Коммуна, Эйфелева башня, любой уличный скандал,— во всем этом сказывается тот же гений. Но романские церкви в теперешнем Пуатье — это музей итальянской живописи в Пензе.

На главных улицах Лиможа рантье, богаделки, лавчонки, скопидомы, и в витрине «бюро похоронных процессий» трогательнейший плакат: «Умирая, не завещайте, как это делают некоторые эгоисты, хоронить вас без венков! Помните, что подобными неуместными просьбами вы лишаете хлеба ваших сограждан». Что еще сказать о Лиможе? Заезжает сюда иногда парижская труппа,— это большое событие. В городе 100 000 жителей, но нет ни постоянного театра, ни концертного зала, ни порядочной книготорговли. Ханжеская тишина, а вместо молитвенника — книжка сберегательной кассы. Но знаете, как называется эта сонливая улица? «Улица якобинцев». А вот — «Улица Бланки». Немного дальше — «Улица Делеклюза». Эти имена здесь, как память о тех временах, когда Франция была душой Европы. Лимож — скучный город, но Лимож все же Франция. «Улица Дантона» — закрытые ставни, мелочная торговля, густой послеобеденный сон.

О чем говорить?.. Были не только романские церкви или пафос Верньо,— были лиможские эмали, баллады, фрески, романы, изобретения, мечты, подвиги. Какими же страстями и какими диковинными жизнями нужно удобрить насмешливую землю, чтобы через много веков на ней наконец-то расцвел гениальный владелец этой похоронной конторы?..

Старые национальные костюмы давно исчезли во Франции, если не считать рыбацких деревушек Финистера. Однако здесь установился свой особый костюм, продиктованный, правда, не эстетикой, а суровой моралью. Иностранец, попав в первый же городок, вздыхает: какое горе обрушилось на этот край? Может быть, свирепствует здесь эпидемия?.. Он ведь видит вокруг себя сотни женщин в трауре. Его можно успокоить. Никаких эпидемий здесь нет, а траурные платья — это только «национальный костюм» французской провинции. Во-первых, родовые традиции крепки здесь, у каждой такой «мамамы» добрая сотня родственников, троюродных дядюшек и внучатых племянников. Всегда приходится по ком-нибудь носить траур. Во-вторых, траур вообще придает достоинство, он определяет душевные высоты. После сорока лет светлые платья заведомо неприличны, но и в тридцать траур куда пристойней разных парижских новшеств. Итак, не удивляйтесь, увидев летом на солнцепеке молодых женщин в черных, наглухо закрытых платьях; не вздумайте искать на их лицах следы слез,— нет, они обливаются только потом. Конечно, они страдают от жары, но зато никто их не упрекнет в легкомыслии.

Все здесь застегнуто, завершено, закончено. Обойдите десяток улиц — ни одного раскрытого окна, повсюду плотно прикрытые ставни. Опять-таки не следует печалиться над судьбой обитателей. Они живы. Они даже вполне здоровы. Но кто же раскрывает окна?.. Больше всего на свете, больше большевиков, этих «людей с ножами в зубах», боятся здесь сквозняка. Вдруг продует!.. Ну, а ставни?.. Здесь выступает экономика. Солнце ведь главный враг всех этих траурных дам, от солнца выгорают платья, пуфы, обои, подушки, пыльный чудовищный хлам, которым до отказа набиты почтенные дома. Солнцу туда еще труднее проникнуть, нежели советскому гражданину во Францию. Комнаты никогда не проветриваются, не только пуфы — воздух в них может быть по всей справедливости назван историческим.

Если вы попробуете упомянуть о гигиене, вы услышите немало занимательных вещей. Вы узнаете, что волосы никогда не следует мыть — от мытья они выпадают; купаться чрезвычайно опасно, можно простудиться, как простудилась госпожа такая-то, вздумав, избави бог, выкупаться; от ревматических болей ничего нет лучше шкуры кошек; к доктору вообще ходить незачем, от болезней вернее всего лечиться разными травами, это

к тому же дешевле. Ванн в городе куда меньше, нежели древних церквей. Бани — учреждение вовсе неизвестное. Моются в крохотных кукольных тазиках. Что касается уборных, то они — ей-ей — страшнее ада, изображенного в соборе средневековым мастером!

Проникнуть внутрь квартиры нелегко: это — крепость, вход чужеземцу закрыт. Только дядюшки и племянники приходят сюда по праздникам. Дверь не открывают, на звонок ее боязливо приоткрывают. Уж не бродяга ли? Бродяга наравне со сквозняком — пугало французской провинции. Причем к бродягам легко причисляется любой незнакомец, поскольку сомнительно его социальное положение: художник с мольбертом, иностранец без автомобиля или парижанин в чересчур дачном костюме. Проникнув хитростью в дом, огражденный всеми замками, задвижками и крючками мира, вы увидите много занятого. Груды дребедени заставляют усомниться: уж не старьевщик ли хозяин?.. Нет, он этого не продает. Вот хотел было один парижский антиквар купить эту кровать Луи-Филиппа — не отдал: жаль расставаться... Вещей столько, что люди не ходят, а пробираются по комнате. Бумажные цветы, бархатные подушки, люстры, медные подсвечники, вазоны, фотографии — культурно-исторический музей семьи Дюранов или Дюпонов.

Подсвечники — иногда реликвии, иногда необходимость. Электричество далеко еще не стало общим достоянием. Даже в больших городах целые кварталы освещаются газом или керосином. О маленьких и говорить нечего: там часто вовсе нет электричества. С заходом солнца кончается жизнь. Редко-редко в окошке мигает огарок. Бережливость определяет здесь длительность сна. А после девяти бодрствуют только приезжие или сумасшедшие.

В Лиможе много рабочих. Живут они в грязных полуразвалившихся домах. Вся семья — в одной комнате. Вонь, сырость, теснота. Это похоже на агитационный плакат, на какую-нибудь постановку «Парижских трущоб». Однако это только жизнь тридцати или сорока тысяч. Вместо отопления — чадные жаровни. За водой приходится снаряжать экспедицию. В конурах даже летом темно. Рядом — большие фабрики с вполне современным оборудованием. Машины из Америки. Но во всем городе нет ни одного мало-мальски комфортабельного дома для рабочих. Это кажется небыллицей. Небылицей кажется и преспокойное отношение обитателей этих трущоб к самым примитивным удобст-



вам: зачем, мол?.. Много из крестьян. Они привыкли и к вони и к тесноте. Заработок они тратят на одежду, на развлечения, главным образом на еду.

От культурного богатства былых времен уцелели только гастрономические навыки. Едят, особенно в маленьких городках, много, вкусно, торжественно. Завтрак и обед — главные события дня. Кухня здесь тяжелая, жирная, и чеснок общеобязателен. За едой незаметно выпивают литр вина. После завтрака полощут рот крепкой водкой и постепенно лиловеют. К двум часам весь городок багрово-фиолетовый, как бы ожидает апоплексического удара. Вечером, после обеда, пьют лечебные «чай»: ромашку, липу, мяту — смотря по болезни.

В Перигоре крестьяне гонят спирт из виноградных выжимок или из яблок. Это — древняя, неотъемлемая привилегия французских крестьян. Самогон не контрабанда, но почитаемый шедевр. Пьют крестьяне главным образом в базарные дни: спрыскивают удачную сделку. Пьют на свадьбах и на поминках. Пить умеют все, так что драки — редкость. Дело ограничивается похабными рассказами и хитрым смешком. Каждый, выпив, считает, что он надул всех: собутыльников, жену и государство. При таких обстоятельствах алкоголь становится медикаментом, наряду с липовым чаем.

Попал я на деревенскую свадьбу. Справляли ее у трактирщика. Гостей пришло человек сорок, все родственники; была здесь женщина с грудным младенцем, несколько престарелых дядюшек, плотные, косолопые фермеры, молодые люди, щеголявшие яркими галстуками. Жених был даже во фраке. За столом просидели не менее трех часов. Возле каждого прибора лежало меню с именем приглашенного. Ели на славу: блюд десять. Над невестой красовался плакат: «Да здравствует молодая!» Жених, однако, сосредоточенно налегал на раков. Грудной немилосердно орал, и тетушки все время давали молодой матери медицинские советы. После обеда завели патефон и до одиннадцати отплясывали фокстрот. Невеста танцевала с молодыми франтами. Жених клевал носом. Потом стали расходиться и разъезжаться. У двух фермеров оказались свои автомобили. Тетушки поспешно засовывали в ридикюли недоеденное печенье. Молодые люди пели: «Париж — моя деревня...» Трактирщик, — тот сиял. Он походил на классического жениха. Кто-то, а он сегодня заработал.

Не менее торжественно справляют поминки. Прямо с кладбища направляются в ресторан. Чем глубже скорбь, тем больше блюд и бутылок. Горе, очевидно, делает людей взыскательными, и на поминках пьют отменные старые вина. Выпив, долго горланят о достоинствах покойника, а также живых.

На свадьбах и на похоронах подрабатывают также деревенские кюре. Не будь этого, они бы вовсе отощали: народ здесь по большей части скептический. Крестьяне ходят в церковь чрезвычайно редко, да и то из приличия. На воскресной мессе всё одни женщины. Тщетно пытаются кюре воздействовать через жен на мужей, чтобы те голосовали за клерикального кандидата или чтобы приходили в церковь. Мужья в ответ только хитро посмеиваются. Да, не наука, но природная хитрость здесь убила веру: кюре хочет нас перехитрить, а вот мы его перехитрили... В больших городах, как, например, в Лиможе, церковь поддерживают крупные буржуа, хоть и далекие от религиозных сантиментов, но хитрые не менее крестьян. Впрочем, и рабочие не простаки, в церковь их не заманишь.

Зато в маленьких городках, где почтенные рантье и дамы в наколках, там до сих пор не едят по пятницам мяса, крестятся на каждую статую и советуются с кюре обо всех семейных делах. Правда, это скорее правила хорошего тона, нежели христианские чувства, но кюре вполне приспособились к духу времени. Это не фанатики, а добродушные холостяки, крепкие, краснолицые, чуть простоватые, заменяющие плотной едой, нюхательным табаком и городскими сплетнями недоступные им радости семейной жизни. Если в церкви имеются художественные ценности, они подрабатывают и на туристах, постепенно превращаясь в добросовестных служителей провинциального музея. Обычно они культурней своей паствы, знают историю города, читают даже кой-какие книги,— словом, наряду со статуями кажутся живописными останками древнего времени.

Крестьяне Лимузина за последнее десятилетье разбогатели. Многие из них потеряли на войне сыновей,— это относится к человеческому горю. Но за хлеб и за скот они получают в восемь раз больше, нежели до войны, а стоимость жизни возросла всего в пять раз. Это относится к крестьянской смекалке: нет худа без добра. Прежде здесь были огромные поместья по пятьсот — восемьсот гектаров. Крестьяне брали землю в аренду. Теперь поместья раздроблены. Земля перешла к

крестьянам. Так, сто тридцать лет спустя после Французской революции пугало провинции, знаменитый «аграрный закон» стал наконец-то жизнью.

Исчезли последние следы крестьянского костюма: чепцы или широкие войлочные шляпы. Вместо них — парижский фетр. В деревню стал приезжать мясник. Даже в будни на столе крестьянина теперь не картошка, но рагу или жаркое.

Перигор — бедный край. Здесь нет ни пшеницы, ни виноградишков, ни хороших пастбищ. Но Франция недаром зовется гениальной страной. Каждый приказчик способен написать элегию в духе Сюлли-Прюдома. И во Франции не может быть бездарной земли. Там, где не растет даже трава, таятся иные богатства, если не алмазы, то хотя бы трюфели. У крестьян здесь дрессированные свиньи, безошибочно они роют землю. Удел этих четвероногих гастрономов воистину жесток: всю жизнь переживают они муки Тантала. Ведь они обожают трюфели, но хороший трюфель стоит все десять франков, — ясно, что находку у свиньи вовремя отбирают. Крестьяне — те тоже трюфелей не едят, зато они живут ими.

Деревенские дома не отличаются пышностью. В каждом доме, однако, шкаф, и в каждом шкафу столько-то тысяч отложенных франков. Крестьяне верны себе: они не доверяют ни банкам, ни государственным кассам, — дома вернее! Тратят они мало. Они копят деньги так же естественно и упорно, как копают землю. Это давно перестало быть разумным занятием. Это просто темная потребность. Даже инфляция ничему не научила. Конечно, они предпочитают золото, но золота больше нет, и они откладывают грязные порванные бумажки.

Они живут замкнуто и мало с кем видятся. Ярмарка — вот и все развлечения. Большинство из них, если не считать военной службы, никогда за пределы своего уезда не выезжали. Железных дорог здесь относительно мало, и поезда по крохотным веткам передвигаются степенно. Из Сарлата в Вильфранш около сорока километров, а ехали мы три с половиной часа. Фермеры побогаче начинают обзаводиться «ситроенами», но таких еще мало. Газет крестьяне не выписывают и политикой не интересуются. Книг тоже не читают, хотя все грамотны. Книжки — небылицы, а газеты пишут о незнакомых людях и о заведомо неинтересных вещах.

Зато в городах, там каждый лавочник — и стратег, и дипломат, и кандидат в премьеры. «Бистро», то есть маленькие

кабачки,— законное завершение былых политических клубов. Особенно посещаются эти кабачки перед выборами. Каждый кандидат выбирает тот или иной кабачок. От умелого выбора кабачка часто зависит исход борьбы. Кабатчик уговаривает и, разумеется, угощает: выборы во Франции вещь дорогая, не всякому она по карману. Кандидат, будь то даже впервые приехавший сюда из Парижа профессиональный политик, прежде всего кричит о своем местном патриотизме. Он клянется защищать интересы такого-то департамента. Он сулит избирателям электрические станции, новые шоссе, мосты, автобусное сообщение — словом, все, что только придет ему в голову. Пока что он оплачивает все рюмочки и стаканы. Он заводит дружбу с влиятельными персонажами: с доктором и с директором колледжа, с кюре и с содержательницей «дома свиданий»,— надо повсюду иметь своих людей. Друг друга кандидаты нещадно кроют. Политическая борьба здесь носит вполне семейный характер. Надо доказать, что сопернику изменила его собственная жена или что он незаконнорожденный. Ни речи, ни афиши, ни названия партий никак не определяют политических воззрений кандидата. Помещик именуется себя «земледельцем», а владелец завода — «тружеником от станка». «Либеральный республиканец» — это значит роялист, «независимый радикал» — это значит умеренный консерватор, «свободный социалист» — это уже ровно ничего не значит: может быть — фашист, а может быть — просто неудачник.

Во французской провинции голосуют, скорей всего, по привычке, и часто, чтобы понять вотум того или иного департамента, надо заняться историей. До сих пор Вандея и Бретань голосуют за роялистов, как будто сидит в Париже не г-н Пуанкаре, а Робеспьер. До сих пор, как и при «маленьком Наполеоне», фрондирует юг. Радикалы там проставляют на плакатах фригийскую шапочку и слово «гражданин» произносят с особенным смаком. А центральная Франция голосует за центр. Это — совпадение географии с психологией. Кроме того, парижские лозунги доходят сюда с изрядным опозданием. Лимож, например, считается «красным городом». Это значит, что рабочие Лиможа голосуют не за радикал-социалистов, а за социалистов. Трогательные провинциалы, они даже не догадываются, что хоть и закрыты наглухо ставни их домов, время свое берет: многое на свете успело выгореть.

Зевки туриста, конечно, не довод против государственного строя. Эти города и деревни на свой лад счастливы. Аббаты, черные платья, трюфели и свиньи, даже зловонье лиможских трупоб — все это вполне на месте. Я решаюсь настаивать на известной гармонии. Правда, это, скорее, сон, нежели жизнь, но не всем и не всегда дано бодрствовать. Нужно большое бедствие или внезапное вдохновение, чтобы пробудить этот край. Вот почему, когда рыжее тревожное зарево врывается в окна вагона, подсказывая путешественникам, что уже близок Париж, на всех лицах легкое волнение. Это не только административный центр, не только столица, но сердце страны, ее вечная бессонница, запасы фантазии и, если уютно, неосторожности, залог того, что не закончилась на сберегательной кассе история великого народа.

## Кутна Гора

Рассеянному туристу кажется, что все мертвые города похожи друг на друга. Это обманчивое сходство могил. Повсюду несообразность огромных строений и редких, как бы заблудившихся среди дворцов людей, великолепные соборы и мелочные лавки, куры и мрамор, подозрительная тишина, несколько скачущих барышень и несколько восторженных туристов. Таковы Равенна и Брюгге, Новгород и Авиньон. Однако камни отнюдь не молчаливы. Воображаемые мертвецы умеют тяготеть над живыми. Можно в бывших торговых городах услышать скрип весов и звон дукатов, а в городах-крепостях различить несмолкающий гул осад. Рассматривая пристально эти склепы, находишь многих учителей. Здесь венецианские купцы, банкиры Голландии, биржи и городские хартии, пушки, векселя, массивные ключи, тюрьмы. Здесь примитивные модели Ротшильдов и Гинденбурга, Пуанкаре и Форда.

Кутна Гора — это как бы проект нового, индустриального мира. Среди рыцарей и феодальных склок, среди всей сельской простоты средневековья — это начало городской роскоши и городского уныния, начало европейского пролетариата и социальных войн. Здесь можно заметить первую трещину на фундаменте того великолепного здания, которое тогда только закладывалось и которое теперь пугает зазевавшихся мечтателей своими покосившимися стенами.

Летописцы тринадцатого века говорят о Кутной Горе с ужасом и с восхищением. Для аббата это, разумеется, «источник жадности и пропасть греха». Для короля Вацлава это «благотельница Чешского королевства». Уже в 1304 году здесь было свыше шестидесяти тысяч рабочих. Сюда приходили из немецких земель, из Венгрии, из Польши, из Италии. Для чужестранцев едва успевали строить бараки, корчмы, деревянные часовни, бани. Штирский поэт пятнадцатого века заверяет, что в Кутной Горе сто тысяч рабочих, — «это Вавилонская башня, где все говорят на разных языках и где никто друг друга не понимает». Кутна Гора — первый центр капиталистического хозяйства. В тринадцатом веке здесь создаются настоящие тресты,

эксплуатирующие тысячи рабочих. Летопись сохранила нам имя одного из предков Стиннеса — Пертольда Пиркнера, который настолько разбогател, что отстроил для себя замечательный замок, как заверяет летописец, «только из тщеславия».

Что же влекло сюда голодных и авантюристов? Задолго до Сибири и до Калифорнии Кутна Гора уже показала миру всю мощь и всю тщету одной из человеческих условностей: здесь добывали серебро. Так рождались хищничество и высокое искусство, вражда, товарищество, страдания, опыт — словом, все то, что мы зовем обычно «культурой», чему учимся сызмальства и чем немало гордимся.

Тяжела и зловеща была ночь под землей. Как в преисподнюю, опускались туда каждое утро рудокопы, защищаемые только тусклой лампочкой и сказанной наспех молитвой. А город над ними рос и мужал. Воздвигались прекрасные церкви, ратуша, монетный двор, дворцы и часовни. Здесь, на «серебряной» земле была устроена первая в Чехии типография. Здесь находились и лучшие школы королевства. Поэты посылали свои произведения в Кутну Гору с просьбой о «лестном внимании и о скромном вознаграждении». Не раз город страдал от пожаров и войн, но достаточно посмотреть на уцелевшие строения, чтобы понять, сколь высоки были и художественные вкусы, и житейские потребности его обитателей. Спорить не приходится. Как бы ни была жестока истина, — каменная вязь собора, библиотеки, мостовые, трогательные баллады, телескопы и колбы, даже нежная улыбка Марии, даже образ Христа, изгоняющего торгашей из храма, — все это строилось на черном копошении под землей стольких-то тысяч, на алчности и на голоде, на слитках условного, заведомо бесполезного металла.

Поздняя готика обычно лишена религиозного пафоса. Она похожа на заученную молитву, которую повторяют уже равнодушно, как бы предчувствуя полунасмешливые-полусострадавательные взгляды первых гуманистов. Собор Кутной Горы светел и пышен, как бальный зал. Кто знает — не культ ли это дня и простора после подземной духоты?.. Обыкновенно на стенах старых церквей помимо евангельских сцен можно увидеть рыцарские поединки, аллегории добродетелей или портреты щедрых богомольцев. Здесь сохранились фрески, изображающие труд горнорабочих. Живописцы соблазнились новым сюжетом, а может быть, и дукатами. Ведь те, под землей, требовали

если не довольства, то признания. Звание рудокопа они сделали почетным, и не широтой католицизма, но мощью этих разноязычных людей следует объяснить социальный характер церковной росписи. В воскресенье рудокопы надевали белые плащи. Весь собор тогда был бел от кашюшонов, — что же значили среди тысячной толпы несколько купцов и рыцарей? Наряду со статуями святых и ангелов в соборе стоит статуя горнорабочего. Вместо лампы — традиционная лампочка. Так «канонизирован» церковью один подлинный великомученик, хоть и предпочитавший, наверное, службе корчму, но полновесным серебром оплачивавший и епископские мантии, и причудливость витражей, и всю жизнь благочестивейшего города.

Впрочем, со стороны искусства это не было простым «выполнением заказа». Скульпторы и живописцы Кутной Горы видели вокруг себя только крайности, два мира: темнота шахт и небывалое цветение верхнего города. Они не походили на своих товарищей по времени и ремеслу. Их христианство было катастрофичным. Сохранились иллюстрации кутногорской Библии. Весь мир представлен подземными норами, где согнувшись скорбят рудокопы с кирками, и надземным пиршеством людей, «никогда не спускающихся вниз». Трагизм подобных изображений заменяет нам свидетельства об условиях труда. Если пот превращался в серебро, то не всегда серебро обращалось в хлеб. Они ведь зачем-нибудь существовали, эти первые «тресты»! «Песня веселой бедноты» XV века показывает нам, о чем мечтали «созидатели неслыханных богатств» и «кормильцы короны».

А наши повара  
Варят нам кашу из тумана,  
Из тьмы — дичь,  
В мечтах оленину.  
Если мы пойдем в корчму,  
Нам ничего не нальют...  
Ах, как невкусно  
Пить из сухой чашки!..

Здесь завязка социальных мятежей, пробушевавших в Кутной Горе. Их можно назвать войной двух этажей, разделенных серебром, им же сближенных, двух этажей одного здания, двух классов современного города. Гуситские войны, этот крестьянский бунт с «моралью опрощения», с Евангелием и с цепями



вместо оружия — никак не увлекли Кутной Горы. Люди держались если не за веру, то за серебро, а следовательно, и за государство. Им было не по пути с христианскими коммунистами из Табора. Рудокопы не могли свергнуть своих правителей, чеканивших в Кутной Горе монету: они были отравлены серебром. Верх и низ друг друга ненавидели и все же шли на мировую. Они вместе молились в соборе о том, чтобы не иссякли серебряные копи. Они и умерли вместе в тот день, когда, несмотря на все молитвы, из земли был вытащен последний крохотный слиток.

Деятнадцатый век окончательно превратил бывшую столицу Центральной Европы в кротчайшее захолустье. Это слишком назидательно, слишком смахивает на конец школьной притчи, чтобы стоило на этом останавливаться. Сразу оказались ненужными и десятки церквей, и дворцы, и весь город. Иллюзорная жизнь прекратилась мгновенно, как спектакль. Что же сказать об уцелевшей бутафории? Прекрасная архитектура привлекает сюда и археологов, и простых любителей старины. Не то сумасшедшие, не то проходимцы составляют проекты «возрождения Кутной Горы», уверяя, что под городом скрыты неведомые залежи металла. А помимо этих справок о прошлом Кутна Гора — скучнейший городишко. У жителей здесь одна только утеха: в городском саду сидит на цепи обезьяна, и ее можно часами дразнить. Помпезные статуи барокко еще более подчеркивают все кропотливое скопидомство современных чешских буржуа.

Кирки и лампочки рудокопов стали реликвиями местного музея. Это, однако, не мумии, даже не табакерки маркизов, — это вполне живые вещи, и мертвая Кутна Гора нам куда ближе той, что якобы ныне живет. Жив ее дух, разве что копи расширились; вся земля дрожит теперь от подземной, подневольной жизни миллионов. Села испуганно притаились. Они как бы вне игры. Растут этажи, и соборы, именуемые теперь «биржами», «театрами» или «университетами», уже изготовлены для грядущих археологов. Растет и отчаяние. Городской мир, распавшись на две половины, еще держится. Враги связаны и грузом столетий, и пугающей простотой полей. Да, трагедия Кутной Горы продолжается, как бы ни называли теперь люди то условное благо, которое здесь именовалось «серебром». Я не чувствую никакого разрыва: от воображаемых шахт до живой прокопченной Праги впрямь два часа, рукой подать...

Что касается самого города, — его биография закончена. Он сдался на милость окрестным полям, на милость дождям, ветру, траве. Впрочем, развращенные пышностью и сарказмом умы не удовлетворились банальным кладбищем. Недалеко от Кутной Горы поставлена часовня. Все в ней из человеческих костей: алтари, люстры, распятия, чаши. В материале не было недостатка: на помощь нищете пришли Тридцатилетняя война и чумная эпидемия. Обитатели двух городов здесь объединены в самой пошлой идиллии. По черепам ведь можно опознать только сабельные удары. Что касается классической усмешки, то она давно приелась. Таков сомнительный апофеоз этого баснословного города, и, выходя из мертвецкой, с невольной завистью смотришь на тупые незатейливые поля.

## 1928 в Словакии

### Уроки кринки

«Вы едете в Словакию? Но зачем? Что там хорошего?» Это я слышал не только от парижан, убежденных твердо, что за Фонтенебло кончается обитаемый мир, но и от пражских снобов. «В Сло-ва-кию?..» Теперь позади — сотня деревень, речки, умильный для нас, русских, язык, ухабы дорог, новая дружба, если угодно — новая страсть. Словакия позади. «Что же вы там увидели?» Сколько иронии в вопросе! Действительно, что можно увидеть в столь неисправимой провинции? Ясно все: СССР — Волга или Урал плюс строительство новой жизни. Германия — замечательная техника, комфорт, небоскребы, пылесосы, почтенные близнецы на перочинных ножиках; в Италии — сразу и треченто и фашизм; во Франции — что ни шаг, то фасад Людовика или новая марка вина. Любопытство путника здесь простительно и пристойно. Для любителей за морями — Америка, негры, буддизм... Но Словакия? Ведь это даже не государство, это деталь школьного атласа, скучный затянувшийся уезд.. Что же там можно увидеть?

Я не стану перечислять всех оставленных щедрот, не стану твердить об изумительной живописности Гронской долины, о татранских озерах, о песнях пастухов, об осанке баб, о старых деревянных церквах, о вышивках или о фресках. Все это прекрасно, причудливо и, однако, спорно, как любая страсть. Я отвечу прямо: в Словакии я увидел людей. Разве это не достопримечательность, не находка, не большой раритет, нежели все фасады, пылесосы и музеи? Разве ради этого не стоит покрыть тысячи и тысячи километров? Причем следует помнить, что Словакия — не Конго, нет, она в самом центре Европы. Географически это даже не окраина, а сердце. И вот здесь, под боком у чешских пивоваров, где-то между кафе венского Ринга и нарами польских тюрем, среди Малой Антанты, нот Бенеша, среди расторопного изуверства Хорти или неоримлян из сигуранцы, под спудом законов Франца-Иосифа, пришлых

освободителей и пришлых жандармов, под спудом тысячелетнего рабства, на земле, рождающей только чертополох и благородство, живут настоящие живые люди, без зависти, без корыстолюбия, без деспотизма, — люди, сохранившие весь жар, всю доверчивость, всю взыскательность детства. Не к художественным вкусам относится это, но к возрасту человечества.

Душевное чудо — его можно объяснить по-разному — можно говорить о стене Карпат, о традиционном отсутствии государственности, о скудости каменистой почвы «Крестьяне»? Да, разумеется. Но кто же лучше нас знает всю растяжимость этого не то слишком поэтического, не то слишком политического термина! Как-то один московский журнал напечатал отрывок из моего романа «Лето 1925 года». Герой просит, и притом тщетно, французских крестьян дать ему лошадь, чтобы привезти из города доктора к больной девочке. Редактор журнала решил дополнить текст эпитетом: «Я обошел всех богатых крестьян...» Оказывается, руководили им самые нравственные побуждения: он не хотел часом обидеть французских середняков! О, гражданин редактор, французские — да и не одни французские — «середняки» хорошо знают цену франка, марки или кроны. Только уголовное уложение здесь порой авторитетнее денежных знаков.

В самом начале нашего путешествия попали мы в глухую деревушку. Это было на севере, в Оравском округе, который даже в нищей Словакии славится заведомой своей нищетой. Косая избенка. О достатке словацких крестьян обычно говорят тарелки на стенах и горы подушек. Здесь не было ни подушек, ни тарелок, — только дым, докучные мухи, настороженность летнего полдня и грустный грудной голос хозяйки: «Нех са вам пачи!» («Пожалуйста!») — угощала она нас кислым молоком. Мы хотели заплатить если не за ласку, то за кринку; ведь мы твердо помнили, что такое денежное обращение, что такое крестьяне, что такое наш высокий век. Баба обиженно усмехнулась: «Не нужно». Голая изба, пустой хлев... Кто знает, до чего нужны были ей даже эти кроны, — и нет, не нужны, не нужны до обиды, до пренебрежения. В этот день, среди дыма и зноя, я встретился по-настоящему со Словакией. Потом я видел много изб, много баб и много превосходства. Оравская кринка не осталась чужаковатым эпизодом: она открыла весь внеевропейский строй словацкой жизни.

Страна без городов! Сознание никак не мирится с этой чуть ли не снобистической беднотой, националисты не могут надумать, из какого бы села сделать им столицу, а курьерские поезда (почешки, как это ни чудно, «рыхлики»), разлетевшись из Праги, не знают, возле какого плетня им приличней остановиться. Правда, тщательно исколесив Словакию, можно найти несколько хотя и крохотных, но вполне породистых городов вроде Кремницы или Левочи. Однако они выстроены и заселены немцами. Это — знатные иностранцы. Если они остаются на территории Словакии, то только потому, что города не путешествуют.

Столица Словакии — Братислава. Слов нет, это почти европейский город, с театром, с ночными барами и с десятком высокополитических газет. Но словацкий он, если не по насилию, то по вольному найму; столицу наняли; наняли немецких фабрикантов, еврейских биржевиков и венгерских журналистов. От Братиславы до Вены полтора часа — трамвай ходит, — это почти Пратер, и до войны в Братиславу приезжали сентиментальные парочки повздыхать или вышить «под вежами» кувшин молодого вина. Новые границы причинили немало бед. Десять тысяч словацких крестьян, уходивших на заработки в Венгрию, подвязали ту же животы. А вот сентиментальные парочки — те вздыхали теперь в Шенбрунне, — любовь стала экономней, домовитей. Отель «Карльтон» в Братиславе давно не ремонтировали, он опустился, оброс подозрительной щетиной, — чем не венгерский магнат после земельной реформы? Прогорели увеселительные заведения. Зато открылись министерства. Так была устроена дачная столица. Словаки в ней, конечно, водятся, но их немного, и ведут они себя скромно. Словацкие газеты быстро увозят из печати на вокзал, а газетчик, войдя в «приличный» ресторан, помахивает немецкими или венгерскими листками. С таким же успехом столицей Словакии могла бы стать любая «международная выставка», палуба трансатлантического парохода или кафе Монпарнаса. Даже окрестности Братиславы экзотичны: здесь словацкая деревня, там мадыарская; проедешь еще десять километров — немцы; еще — уже вовсе неизвестно откуда взявшиеся хорваты; а там вот вместо овина — синагога, и вокруг нее стрекошущие на всех наречиях бывшей империи евреи, они чинят

часы или перед высокомерными гусями расхваливают наилучшие швейные машины.

Крайние националисты устроили себе другую «столицу» в городе, который именуется «Турчанский святой Мартин». Название сложное, но жителей в этой столице всего тысяч пять. Там выходит «непримиримая» газета «Народни новины». Читают ее несколько евангелических пасторов в окрестных селах. Среди огородов высится добротный каменный дом «Словенской матицы». Сидят в нем блюстители национальной культуры. Они еще пытаются оградить словацкие головы от чешских идей, язык — от чешских слов и животы — от чешского пива. Пастухи их ученых трудов не читают, а братиславские журналисты, по обязанности проглядывая за кружкой пильзенского «Народни новины», посмеиваются, — эти-то навеки распрощались с гусями и с огородами: они предпочитают «гуманизм» Масарика, не говоря уж об американских барах Братиславы. Славные рыцари из «Матицы» сокрушенно вздыхают: «Как быстро несется жизнь! Как быстро меняются идеи!» Они, например, высоко ценят русскую литературу, причем Тургенев для них — современник, Чехов — модернист, а Есенин, о существовании которого они случайно услышали, — катастрофа. Вокруг каменного дома солидно гогочут гуси, и старосветский сон длится.

Есть еще в Словакии большой город — Кошицы, но он далеко на востоке, а о своих восточных окраинах словаки говорят не то перепуганно, не то пренебрежительно. С виду Кошицы — заурядный губернский город средней России. Душа его, разумеется, базар, где грудятся сита и горшки, где божатся, наваляя крону на лук, и где торгуют до хрипоты иконами или жареной колбасой. Особняки с палисадниками. Ларьки с фруктовой водой. По городскому саду бродят разморенные жарой, страстью и военным оркестром местные Психеи без подмышников. Пыль и заунывный романс влюбленного счетовода. Вот только собор не к месту, — вместо луковок готические шпицы. Но и Кошицы, если присмотреться поближе, не Словакия. Снова мадьяры, немцы, евреи. Кончится базарный день, разъедутся по домам крестьяне, и вечерний ветер начисто смоет словацкую речь, — ведь романсы счетовода заумны, а этикетки фруктовой воды — на эсперанто.

Словацкие города: Святой Мартин, Святой Микулаш, Брезно, Зволен, Ружомберок — вовсе и не города, это попросту

разросшиеся села. Одна длиннущая улица, базарная площадь, номера для приезжих, бильярд для чиновников, кожемятня или сыроварня, огороды, чтобы не переплачивать на укрепе, две-три церкви, две-три школы, староста, а в кабаке портреты Масарика, какой-нибудь кинодивы и уж непременно легендарного разбойника Яношика, который грабил богатых и награбленное раздавал беднякам. Картинку с изображением подвигов Яношика я видел даже в захолустном отделении банка, рядом с массивными сейфами.

Если б мне довелось подыскивать столицу для Словакии, я облюбовал бы какой-нибудь «салаш» в Ораве или над Вагом. «Салаш», правда, уж никак не город, — это всего-навсего деревянная лачуга высоко в горах, где живет пастух — «бача», где коптит он на очаге овечий сыр — «ощеп», где он играет на дуде, где он считает бараньи зады и звезды. Вот там хорошо бы — не в барах Братиславы, не в пародийных ее полуминистерствах — обосновать столицу государства, которое издавна не было государством, которое сохранило свой облик, язык, душу вне торжества, вне державности, даже вне простой свободы, в то время как народы-победители изменили и себе и своему назначению. О, «салаш» далеко не Святой Мартин! Пастухи не страшатся современности. Конечно, круты склоны гор, и редко доходят до «салаша» человеческие весты. Но вот обитатели иных «салашей» уже мечтают об антеннах. Не все, что шлет пражская радиостанция, дойдет до сердца бачи. Чистый и трудный воздух пропускает только чистое и трудное, — биржевые курсы или парламентские сплетни тонут в белесоватой глухоте долин. Так еще раз поддаешься высокому соблазну: может быть, мыслимо детским сердцам взять автомобиль без обязательного его маршрута, самолет без военных штабов и то же радио без шамкания Келлога?

Столица Словакии, убогий «салаш» возле Тисовца, с какой нежностью вспоминаю я тебя! Далеко видны долины, реки, луга. На склонах холмов все незатейливое богатство этой земли: барашки, похожие на летние облака (не все же облакам походить на барашков!). В «салаше» — старый бача. Ему уже за семьдесят. Не сразу достиг он своего высокого чина. Много лет, как простой «валах», он стерег овец. Теперь уж не может он бегать по холмам. Он только варит сыр. Он угостил нас жареным на лучине «ощепом» и дал хлебнуть из деревянного черпака холодной «житницы». Он «запек» для

гостей свою старую трубку — «запекачку». Узнав, что мы — русские, он заиграл на дуде старые пастушеские песни. Слова этих песен мудры и грустны, как стихи того замечательного поэта, который живет где-то рядом с нами, гениального анонима, нет, не поэта — жизни. Да и все здесь в диковину. Разве не просится в музей этот резной черпак? Там будут наставлять экскурсантов: глядите, мол, какая простота, какое благородство формы!.. Бача очень стар. Он, наверное, скоро умрет. Сколько же может быть морщин на лице человека!.. И «салаш» ветх: кажется, подует ветер с Карпат — слетит крыша. И все же здесь, именно здесь — столица этой земли, достойной и любви и любования!

## Нарядная нищета

Иностранец, который вздумал бы судить о Словакии по окрестностям Братиславы или Комарна с палубы дунайского парохода, наверное, удивился бы богатству этой страны: какие хлеба! Какие виноградники! Сколько племенного скота вокруг этих белых домов с колоннадами! И впрямь, на юге Словакии много плодородной земли, выхоленных женщин, отложенных бережливо крон, но в кокетливых домах с колоннами живут венгры.

Деревянные хаты на востоке крыты соломой, плохие дороги, тощие колосья, несколько овец, несколько гусей, которых пасут патетично, как будто это не гуси, а коровы, — вот словацкая деревня. До войны уходили на заработки в Венгрию, уезжали в Соединенные Штаты; теперь туда не пускают — что ж, едут дальше, и, кажется, не видел я деревни, где бы не вздыхали озабоченно бабы: «Мой-то далеко, в Канаде!» Курные избы здесь не редкость. Чтоб их увидеть, вовсе не нужно забираться в глушь Оравы. Нет, вот село Важец; это станция большой железнодорожной линии Прага — Кошицы — Бухарест; большое село, три тысячи жителей; и в Важеце, зайдя в иную избу, жмуришься: от дыма бело.

Бедность в Словакии, однако, умирительно нарядна, и та же печь, еще не дождавшаяся трубы, вся расписана местным ватейником. Кажется, одна страсть преследует словацкого крестьянина: принарядить жизнь. Пустую похлебку он хлебает



раскрашенной ложкой из пестрой миски. Избы ярко-голубые или же покрыты сложным орнаментом. Здесь человек не останавливается ни перед чем: уж на что, кажется, смерть далека от кокетства,— все равно, словаки обряжают самую смерть. Могильные кресты в Детве размалеваны, как будто это детские игрушки, поярче, повеселей,— цветочки, розанчики, пичуги. Протестантству пришлось примириться: кто ходил бы в голую церковь?.. Отступили от канонов и стены pokrыли росписью.

Почти повсеместно сохранился национальный костюм, хоть он громоздок, да и куда дороже городского. Здесь страсть побеждает бедность, здесь, перед шкафами или сундуками с десятками чепцов, жилетов, юбок, фартуков, лент, вышивок, со всем цветистым и, видимо, необходимым, как солнечный свет, тряпьем. В каждом селе свой покрой, он твердо установлен, это — форма, причем не только отличается молодуха от девушки, но и женатый от холостого: в Важеце парни после свадьбы снимают с шляп обязательные дотоле петушиные перья, а в Детве они расстаются с черными, расшитыми шелком передниками — «фертушками».

Барокко, ветреное и вкрадчивое, запало в душу народа. Как житейски нелепы и широчайшие юбки, под которыми неожиданно блестят наваксенные голенища, и крохотные фартучки на здоровенных мужичищах, и многоэтажные шляпы, и вороха лент, развеваемых ветром! Все это не только в праздник,— нет, в будни, в полях, с косами или с подойником. Глаз европейца никак не хочет уверовать в подлинность подобных картин: полно! — неужто это жнецы и пастухи, а не загулявшие статисты братиславской оперы? Здесь не косность привычки, здесь врожденная театральность народа, обожающего ежедневное зрелище — от пестрой колыбели до столь же пестрого могильного креста.

Воскресную службу надлежит рассматривать как самый необычайный бал-маскарад. В церковь идут все, включая заведомых безбожников,— кому же охота отказаться от празднества? (А праздники здесь, включая и самые неподходящие,— это прежде всего празднества.) Воскресный наряд еще сложнее и богаче будничного: не счесть лент, бус, расшитых поясков или фартуков. Все это сверкает, мечется на резкой белизне домотканого холста. Женщины идут отдельно от мужчин, в одной руке — золотое тиснение молитвенника, а в другой —

непрерывно цветок, и держат они этот цветок совсем как на сцене — за кончик стебля. Грудных младенцев несут на спине в полотенцах. Перед распятием бабы становятся на колени — каждая, по очереди. В сторонке кокетливо посмеиваются парни.

Каждая деревня живет своей отдельной жизнью. Это не то остров, не то крепость. В селе Важец, например, не выдают девок замуж за «чужих», то есть за парней из других деревень, — на «чужих» не женятся. Так традиции переходят в кровосмешительство. Отъединению способствует религиозная пестрядь: католическая деревня окружена протестантскими или наоборот. Тихо, глухо в таких деревнях. В праздник не только «фарар» (священник) удовлетворенно улыбается — его успех разделяет корчмарь. Чем тише, чем глуше, тем больше опрокидывается литров крепкой «паленки». Выпив — когда поют, а когда дерутся чуть ли не насмерть. Ведь детскость и душевная чистота легко сочетаются с заправской жестокостью. В селе Палудза учитель сказал нам:

— Сегодня у нас два события, вот крестьяне и взволновались. Утром один парень поругался с другим и снес ему косой голову. А второе событие? Второе — приехали вы, то есть автомобиль...

Вся словацкая интеллигенция вышла из этих деревень, если и не из курных изб. Оттого в словацкой литературе столько свежести, неуклюжести, отчаянной прямоты. В деревне Ясенова зашел я в избу: подушки, тарелки, большущая печь, конечно же — средоточие всей жизни. Вот в этой избе родился и рос один из самых крупных писателей Словакии, величайший «словацким Гоголем», Мартин Кукучин. Не увидев этой избы, не увидев этих деревень, их живописности и нищеты, получеловеческого-полуживотного быта, трудно понять книги Кукучина, да и всю словацкую литературу.

Жизнь настолько здесь пропитана добросовестным запахом можжевельника, сена, навоза, что немислимой кажется ни одна пядь, ни один час без привычных забот. В фешенебельном курорте Штрбске Плесо, во вполне современной гостинице, которая содержится государством, в салоне с мебелью в стиле модерн прочел я среди правил, для удобства иностранцев переведенных на французский язык: «Запрещается в комнате сушить грибы». А вдруг турист-домовод вадумает сушить опять или мариновать рыжики!..

Избы, мосточки через речку, черный, как земля, «ковач» (кузнец), супротив него весь белый «млынар» (мельник), рослая смешливая и конфузливая детвора, старики, много чистеньких, свежевыбритых высохших старичков, чьи лица, как пергамент архива, хранят историю такой-то деревни, четыре чужих человека: «фарар», учитель, корчмарь, жандарм — в европейском платье, — не сегодня это родилось, не завтра умрет, прочное, косное, верное себе до жертвы. Какая только дичь не таится на этих холмах! Здесь живут старики с длинными косами, здесь живут люди в землянках, и уж знахарствуют-то они всюю.

Если парень и девушка нравятся друг другу — что же, пусть «гуляют»: ночь с субботы на воскресенье парень может оставаться в доме родителей девушки. Проходит несколько месяцев — справляют свадьбу или премирно расходятся: не подошли. Девушка ничуть не обещена. Ребенок? В таких случаях старые бабки сокрушенно бормочут: «Переспали». Парню приходится платить алименты. Невеста в выигрыше — она теперь с «приданым». Запрет касается только «чужих»: учителя, почтальона, нотариуса. Если с ними загуляет девушка, — конечно, никогда уж ей не выйти замуж, одна дорога — в отсутствующий город.

До войны словацкая деревня была почти поголовно неграмотна. Теперь национальные ограничения отпали. Молодежь теперь умеет читать, но это, конечно, не значит, что она читает. Песни и сказки здесь еще заменяют романы. Тираж ходкой газеты: несколько тысяч на всю страну. В большом селе два подписчика: «фарар» и учитель. Крестьяне плохо разбираются в политике, то есть в парижских поездках Бенеша или в отношении немцев к правительственному блоку. На выборах голосуют дружно и втемную — как заведено. Одна деревня вся за «аграриев», другая — за клерикалов, третья — за коммунистов. Чтобы понять социальную философию словацкого народа, не стоит изучать итоги избирательной кампании. Песни о разбойнике Яношике — и те куда назидательней. В Лужной прошел коммунистический список, а в Тисовце «аграрный», но и там и здесь вам скажут, что справедливей всех министров был Яношик: «Бо кривда велика. Неправость у панов, правда у збойника». Это не только те слова, которых из песни не выкинешь, это и та вера, которой не выкинешь из сердца словацкого крестьянина.

«Фарар» в деревне человек хотя чужой, но необходимый. Девушку с ним, конечно, гулять не пустят, но почет при случае окажут, а когда и повиновение. Сплошь да рядом это «фарар» определяет, за кого должна деревня голосовать. Он — посредник между крестьянами и предполагаемой «столицей», то есть ближайшим «жупным» (губернским) захолустьем. Учителю приходится с «фараром» ладить, ведь в Словакии до сих пор почти нет светских школ. Закон божий не только обязательный предмет — это зачастую педагогическая база, определяющая, несмотря на все братиславские инструкции, что можно, а что грех. Нередки случаи, когда даже в протестантских школах начатки естествознания смягчаются патетической формулой: «Не от обезьяны пошел человек, как утверждают безбожники, но по подобию божьему он создан».

За пастырство над словацкими пастухами издавна воюют две церкви: римско-католическая и евангелическая. До создания Чехословакии католическое духовенство отнюдь не брегало мадьярской дубинкой. Католицизм покрывал не только правящий класс, но и правящую нацию. Наравне с латынью венгерский язык был языком духовных семинарий и приходских школ. К моменту переворота во всей Словакии насчитывалось что-то около пятисот словаков с образовательным цензом выше среднего, которые говорили на родном языке. Это были почти поголовно протестанты. Католическая интеллигенция оказалась начисто мадьяризованной. Что же, «кесарю кесарево»: католические «фарары» не только заговорили по-словацки, они стали ярыми националистами.

С виду Словакия — огромный приход. 6 июля — национальный праздник: день Гуса. Однако для католиков Гус и поныне мерзкий еретик; так вот, чтобы не обидеть католиков, установлен 5 июля второй национальный праздник канонизированных Римом Кирилла и Мефодия. Вся Словакия делится на тех, кто пьет в день Гуса, и на тех, кто уже перепился накануне в честь Кирилла и Мефодия.

Присмотревшись поближе, видишь, сколь театральна религиозность словаков. Это не благочестие, но пестрый ворох лент да еще столь же пестрый ворох суеверий. В душе крестьянина

жив языческий дух. Зря старался католицизм привить ему культ смерти. Смерть для него проста и лаконична, как срубленное дерево или пересохший ручей. Шумны, веселы поминки на радость и корчмарю и цыганам, которые до поздней ночи терзают скрипки. Вокруг кладбища часто нет ограды: дети там резвятся, пасется скот. В Новоградских горах на детских могилах вместо крестов какие-то каменные пряники, а в деревне Валковцы я видел на кладбище деревянные столбы одной формы — для мужчин, другой — для женщин, с зарубками по числу прожитых десятилетий. Семь зарубок, — значит, к семидесяти стукнула смерть. Между столбиками — трава, овцы.

Не только простота и ребячливая веселость отделяют словацкого крестьянина от угрюмой утонченности католицизма, — церковь здесь была слишком наглядно связана с государственностью, с ее иноязычным гнетом, с ее непонятной сложностью и отталкивающим великолепием. «Фарар» прежде всего «пан», более того, — он, конечно же, с «панами». Он вне мира овец, гусей, огородов. Он приносит с собой натянутость заморского Пешта. Деревянные костелы Оравы естественны, как елки и как избы, но вот роскошный Ясовский монастырь близ Кошиц, с храмом, похожим на театр, с жеманными святыми и привередливыми ангелами, с изумительной библиотекой, где собрано все, от инкунабулов до последних парижских новинок, с оранжерей, где диковинная коллекция кактусов и пальм, — этот монастырь как бы знаменует весь панский характер так называемой «соборной и апостольской». Угощали нас в монастыре венгерским вином. Слов нет, хорошо живут восемнадцать монахов среди инкунабулов и пальм! Правда, после переворота у них отобрали огромные поместья, но и того, что осталось, за глаза хватает на сибаритство высокообразованных и отнюдь не фанатичных отшельников. Пожалуй, нигде в Словакии не встречал я такой непринужденной барской роскоши. Зато и слышна здесь не словацкая, а мадьярская речь. Это — магнат среди соломенных чумазых холопов.

Один из давних своих эпитетов католическая церковь продолжает носить без иронии: она и поныне «воинствующая». Невзрачные села она щедро обсыпает листками, брошюрами, газетами. В местечке Слишский Четверток я видел другой монастырь — без пальм и без барочных херувимов. Там решетки на окнах и засовы на дверях. В кельях, точнее — в камерах, сидят

провинившиеся «фарары»: ослушники, критиковавшие распоряжения старших, ротозеи, не сумевшие замести вовремя следы, наплотившие чересчур много ребят или опившиеся на глазах у неподходящих свидетелей, еретики, наконец, попросту неудачники. Их судит епископский суд, и получают они столько-то месяцев или лет одиночного заключения. Вот оно, государство, которому дела нет до государственных судов, до уголовного уложения или до параграфов конституций!

Конечно, не в один человеческий век распадаются подобные армии. На богомолье в Кошицы сходится чуть ли не вся губерния, и десятки тысяч крестьян часами простаивают на коленях вокруг холма, увенчанного почитаемой часовенкой. Но сколько здесь торговцев лентами или сладями, сколько цыган со скрипками, сколько любовных встреч, сколько сплетен и пересудов, сколько здесь от митинга, от балагана, от огромного клуба! Трудно судить о религиозности народа по количеству церквей или даже по частоте крестных знамений. Вспомним образа-амулеты на груди вольтерьянствовавших французских солдат или внезапную богомольность наших отечественных вольнодумцев на следующий день после вскрытия сейфов. Словацкие крестьяне превратили католицизм в карнавальные поминки с «фараром», но и с цыганами, а голое рассудочное лютеранство — в одну из народных сказок, где что ни слово, то небылица. Не грамота, не газета, не «агитка» здесь главные враги церкви, но душа народа, может быть, его близость к физиологической жизни земли, детский смех, мудрость старых бачей, прямота, — да, прежде всего прямота.

## Внуки Яношика

Пока песни о добром разбойнике еще не стали статутом политической партии, депутаты, приезжающие набирать голоса, как грибы, кажутся крестьянину диковинными городскими фокусниками, газетная война для него — панское дело. Фабричные трубы, тресты, крупные банки, даже редакторы — не строй здешней жизни, — это, скорее, утварь случайно наехавших колонизаторов. Законы жесткого полдня, установленные экономистами хотя бы соседней Чехии, застали Словакию всю розовую в рассветном тумане.

Слов нет — имеются в Словакии настоящие коммунисты и рабочие, и батраки, и крестьяне. Нельзя сказать, чтобы их гладили по головке. Нет, любой номер местной «Правды» с белыми прогалинами похож на овчарку, попавшую в хорошую переделку. Немало здесь коммунистов, вдоволь знакомых с хоть патриархальным, но далеко не идиллическим бытом отечественных тюрем. Патриархальность приводит к отсутствию понятия «политический»: острог — так острог. Одного коммуниста посадили вместе со знаменитыми цыганами из Молдовы, обвинявшимися в людоедстве. Опыт, впрочем, не удался: на коммуниста цыгане не позарились. И все же по сравнению с Польшей, даже с Германией, эти преследования напоминают, скорее, семейное самодурство, нежели осознанный классовый террор. К политической борьбе здесь еще не примешалась естественная, страстная до личного отталкивания, заведомая, хоть и анонимная ненависть, которая после войны стала социальным воздухом Европы. Коммунисты здесь еще могут танцевать, петь или просто мирно калякать с «аграриями».

Приехали мы в один довольно большой город. «Староста» (городской голова) пригласил нас провести с ним вечер. Место действия — людный ресторан. Действующие лица: староста — член крайне правой партии, его помощник — «народный социалист», далее молодой словацкий коммунист. Староста угощает нас отменным токайским. Он восхищается вполне искренне героизмом «Красина». Он рад гостям и всячески старается их развлечь. Вот он встает, подвязывается салфеткой, берет из рук очередного цыгана скрипку. Публика?.. Что же, это все словаки — они поймут... Сейчас он исполнит перед нами народные песни, среди других — песню о Яношике. Токайское здесь ни при чем. Это просто от добрых чувств. Политическая вражда еще не стала здесь интимным делом каждого.

В одном из сел возле Брезна податной инспектор, человек воззрений более чем умеренных, привел нас в избу крестьянина-коммуниста, где на стене между Яношиком и разряженной богородицей висел большой портрет Ленина: вот, мол, радуйтесь! Он показывал нам коммуниста, как самовар, — надо же русских порадовать, — показывал без досады, скорее с гордостью: смотрите, у нас и это имеется...

Крестьяне-коммунисты — те бы поняли «старосту». В Тисовце оркестр коммунистической ячейки принял участие

в церковном празднике: дули в трубы. Городские стыдили их:

— Как же вы так?..

Крестьяне удивленно отвечали:

— Праздник — народный, трубы — тоже народные, ну и дули...

Я отнюдь не хочу создавать буколическую легенду для усталого европейца. Трубы трубами, токайское токайским, а все-таки портрет Ленина висел в нищей избе, а не в квартире податного инспектора. Буржуазия в Словакии малочисленна и хила, однако она существует, притом она растет. Следовательно, неизбежен час, когда трубы тисовцев станут выводить иные мелодии. Но детскость — еще меньше «порок», нежели бедность, у той и другой есть чему поучиться.

## Венгры и немцы

Каждая национальность в Словакии занимает определенное социальное положение: венгры — это полуразоренные помещики или кулаки, евреи — городская буржуазия, чехи — чиновничество, цыгане — люмпен-пролетариат, словаки — крестьяне. Разумеется, немало исключений. Вы найдете и венгров-рабочих, и евреев-нищих, и словаков-буржуа, но общей картины это не меняет. Пафос правящей ныне нации — прежде всего пафос крестьянства, противопоставление его и городской цивилизации, и феодальной пышности мадьяр.

Назидательны те положения, когда социальные интересы сталкиваются со столь ходким здесь патриотизмом. Конечно, мадьярские буржуа обожают свою родину и немало скорбят над жестоким концом «короны святого Стефана». Когда Красная армия подходила к Кошицам, они, а за ними и еврейские буржуа в качестве хорошо вышколенных мадьярофилов, еще плохо разбираясь в событиях, поспешили украсить дома национальными флагами — бело-зелено-красными: «Наши возвращаются!» Вступив в город, красноармейцы обкорнали полотнища. Что же, при виде красных флагов патриотизм тотчас же исчез. «Освободителями» оказались чешские батальоны!

С тех пор многое переменилось. В Будапеште, как известно, хозяйничает Хорти, и вся зажиточная часть мадьярского



населения теперь охвачена преискренним ирредентизмом. Вчерашние владельцы необъятных угодий, виноградников, копей, конных заводов, они пьют «асу» из уцелевших погребов за здоровье великодушного лорда Ротзермера, который взял сторону обиженных венгров. Они даже шлют этому заступнику несколько сугубо заплесневевших бутылок. Щедро оплачивают они труды независимых журналистов и сентиментальных политиков. Что касается рабочих-венгров, то эти молчат, утрюмо, решительно молчат. Видимо, им вовсе неохота попасть в число облагодетельствованных подданных Хорти. Однако изменись положение — сегодняшние ирредентисты станут вполне лояльными гражданами, а пересмотра границы будут требовать рабочие.

Немцев в Словакии сравнительно немного, и большая часть их живет в городах Спишской жупы, которые сохранили немецкий характер, несмотря на мадьяризацию, проводившуюся во второй половине прошлого века. Вопрос о присоединении к отечеству немцев интересует чрезвычайно мало. Они предпочитают классическую стойкость колонистов. Ревниво хранят они свой язык и свои школы. Они читают немецкие газеты и журналы, причем скорей журналы, нежели газеты. В каждом крохотном местечке — библиотека.

Конечно, известное отчуждение, если и не высокомерие, присуще словацким немцам. Не мудрено — они представляют здесь иной мир: это прежде всего горожане, то есть люди камня и закона, среди леса, соломы, растяпства и благодушия. Венгры не более словаков понимали, что такое город. Их города росли в длину, а немецкие города росли вверх: их надо было защищать. Они строились добросовестно и надолго. Теперь это тихие захолустья, но любой дом твердит о былой мощи и о былой пышности. Левоча, Баньска Быстрица, Кежморок — богатейшие музеи, где что ни здание, то памятник старины. Находишь они в другой стране, не было бы здесь прохода от англичанок с бедкерами. Глядя на скульптуру Левочского собора или на порталы эпохи высокого Возрождения, догадываешься, какой свет разносили по дебрям и болотам авантюристы и аскеты старой Германии. Те же руки строили и Нюрнберг, и Краков, и Левочу. Все это теперь сухие даты и имена, известные только историку искусств, но тогда это было живой жизнью. И, может быть, провинциальные спишские немцы с их фарфоровыми трубками и переплетенными классиками, выписывающие преподшлую «Ди Вохе», обзаводящиеся понемногу автомобилями и

граммофонами, только продолжают дело своих предков? Может быть, одна цепь вяжет нюрнбергского мастера, который, на диво окрестным крестьянам, еще не знавшим, что такое настоящий фундамент, построил этот замечательный собор, и пронырливого агента машинной фабрики, демонстрирующего сегодня электрическую маслобойку?

## Любовь не вчуже

Побывал я снова и в Польше; правда, это мое посещение было весьма кратким и для поляков никак не обременительным: в Татрах польские пограничники, приняв нас за чехов, милостиво разрешили освежиться в польской корчме. В избе, где, конечно, красовался «маршал», мы разговаривали друг с другом по-словацки или по-французски, боясь обронить русское слово как нелегальную прокламацию. Если бы только знали эти симпатичные жандармы, что у нас за паспорта в кармане! А вернувшись час спустя назад в Словакию, мы почувствовали себя чуть ли не дома: ведь здесь слово «русский» открывает все двери и все сердца. Да, кажется, Словакия — единственная теперь в Европе страна, где русский путешественник — это нечто вроде американца в Париже, хотя он и не обладает долларами.

Немецкие рабочие любят Москву за то, что революция разразилась именно здесь, на таком-то градусе долготы и широты. Французские рантье — те тоже любили Россию... до революции. А крестьянская Словакия верна в любви. Для нее наша революция не случай — приключилось здесь, а могло бы приключиться и в Копенгагене, — нет, то, что словаки любили в нашей великой литературе и в нашей грубоватой, приземистой истории, они опознали и в нетвердой поступи «земляков» семнадцатого года, которая была поступью очередных гегемонов Европы.

На культуре России воспиталась вся словацкая интеллигенция прошлого века. Об этом говорят и могильные надписи в Святом Мартине, составленные на русском языке, и названия улиц: «Улица Толстого», «Улица Пушкина», «Улица Гоголя», и каталоги библиотек, где русские писатели — на первом месте, и все романтическое, слегка наивное, слегка подслеповатое русофильство стариков, безотносительно от развития и положения: старых политиков, старых учителей, старых бачей.

Дети этих мечтателей узнали Россию. Многие побывали в плену. Вернувшись домой, они заполнили глухие деревушки рассказами о Сибири и Волге, о русской широте, о революции. Нет деревни, где бы не нашлось хоть одного крестьянина, побывавшего в России и знающего русский язык. Наши пленные, находившиеся в Словакии, дополнили это знакомство. Для молодежи Москва после революции стала вдвойне милой. Новый смысл, влагаемый в это дорогое сызмальства имя, преобразил словацкое русофильство, сделал его снова действенным, связал любовь к России с любовью к современности.

Любовь молодой Словакии к сегодняшней России отнюдь не слепа. В школах вводят теперь русский язык. Словаки жадно читают советских писателей. Местные газеты переполнены известиями о жизни СССР. Это не страсть вчуже, это духовный оплот. Словаки твердо помнят, что мы — их естественные соседи. Всякому ясно, что Закарпатская Украина рано или поздно отойдет туда, куда она хочет и должна отойти. Тогда то государство, о котором деда слагали песни, похожие на сон, и о котором теперь пишут в газетных передовицах, как о баснословном Яношике, окажется рядом. Так будут уравновешены различные влияния, и Словакия сможет идти своим путем: ведь дерево, обдуваемое встречными ветрами, не гнется к земле, но растет вверх.

## Шведский вариант

Нет ничего патетичней воды и камня — осанка столицы просто далась Стокгольму. Давно уже окаменели удила королевских коней на вечно влажных цоколях, но по-прежнему пышен и горд город. Его призрачное величье, его холод и благородство сродни городу Петра. Можно, конечно, сказать, что здесь естественное подражание, что город, заложенный «назло надменному соседу», невольно примерял его нежную спесь, наконец, что были у них общие учителя, которые привезли из Голландии поэзию строгих фасадов, отображенных в воде, огромных окон и взволнованного тумана. Но убедительней истории здесь география: обе северные столицы воплощают не только торжество, зачастую призрачное, над соседями, военные трофеи, парады, казну, — нет, их набережные и дворцы полны иного вдохновения, — это торжество над злой косностью природы. Стокгольм сделан из скал и воды; построить дом здесь — все равно что взять крепость; на вновь проложенных улицах среди магазинов готового платья еще торчат неприязненные камни; здесь нет просто жилья: это обдуманый план, почти абстракция, навязчивый бред, справедливо дополняемый белыми ночами, металлическим посвечиванием воды и сиренами пароходов.

Стоя на набережной против королевского дворца, где ни праздные завсегдатаи кафе «Гранд-отеля», ни копошение грузчиков, ни истерика чаек не способны потревожить идеального равновесия камня, неба, воды, удивительных пропорций строений и, главное, окаменения, твердости, величественности мира, — забываешь вовсе о цифрах. Не все ли равно, что Польша во столько-то раз больше Швеции? Народ, создавший Стокгольм, народ, сумевший, несмотря на повадки картежницы-истории, до сих пор сохранить не только его памятники, но и его великодержавный дух, — этот народ лишь статистиками или мурвями может быть назван малым.

Новый Стокгольм не отрекается от своего прошлого, но и не довольствуется мизерными плагиатами. Здесь впервые доказана возможность сочетать принципы новой архитектуры, безличной и сугубо универсальной, которая, как фокстрот, одна и та же в Нью-Йорке и в Вене, в Амстердаме и в Москве, с традициями страны, с требованиями местного материала, наконец с неповторимым окружением. Ни рейсы «цепелина», ни кино, ни пиджаки не означают обязательного обесцвечивания. Равенство — не уравнение. Приняв технику Америки, Швеция восстала против ее непереносимого обожествления. Это либо начало бунта, либо последние спазмы Европы, сопротивление по инерции полуокоченевшей конечности.

Духовная самостоятельность предполагает не только ум и характер, но также множество странных повадок, если угодно — известное юродство. Жизнь Швеции для чужестранца порой завидна, порой смешна. Мелочность этикета, погоня за титулами, ханжество и подозрительное целомудрие, которые вполне бы пристали стране выскочек и тунейдцев, особенно нелепы здесь, рядом с набережными или заводами.

Шведская индустрия сильна не столько своей продуктивностью, сколько высоким качеством фабрикатов. Швеция не захотела или не смогла равняться на конвейер. Ее заводы превосходно оборудованы, в них и усовершенствованные машины, и современные методы работы, но в них жива также некоторая инициатива рабочего. Заработная плата, на европейский масштаб высокая, определяется не только скоростью, но и мастерством. Поэтому даже заводы отмечены здесь известным идеализмом, сделана — пусть робкая, пусть продиктованная, скорее, особенностями шведского экспорта, нежели гуманностью владельцев заводов — попытка примирить человека с машиной. Возникновение многих предприятий еще связано с романтикой изобретения: это не очередная эксплуатация чужого гения путем финансовых комбинаций или же рекламы, но бессонные ночи над чертежами, борьба, творчество, а порой и героизм, тусклый героизм наших современников — в лаборатории или у маховика.

Заводы «Газаккумулятора» — огромное предприятие. Они изготовляют маяки. Ежегодно десятки тысяч воспаленных глаз ласково подмигивают промокшим вахтенным, нищим иммигрантам, дремлющим на палубе, мечтательному спекулянту, который на сон грядущий тянет виски, рыбакам в клеенчатых

штанах, спорящим с бурей. Редок теперь пафос простой человечности; даже небо — это только лист картона: на нем предприимчивый фабрикант расхваливает свой товар. Как же волнуют проезжего эти сострадательные глаза скалистых мысов и необитаемых островков!

Швед Густав Дален построил маяк с запасами газа на шесть месяцев. Теперь маяки светят там, где нет людей. Дален достиг экономии газа: солнечный свет автоматически заряжает маяк. Экономия денег в наши суровые дни означает спасение стольких-то жизней. Маяки системы Далена светят повсюду: в Мурманске и в Панамском канале. Густав Дален, однако, не видит их сияния: во время одной из демонстраций произошел взрыв, и Дален лишился зрения.

Я не спорю — работа всюду работа, на оружейном заводе работают не убийцы, а самые обыкновенные рабочие. Но, наперекор формалистам, содержание решает все. Именами Максима или Лебеля названы смертоносные орудия. Базиль Захаров создал свои миллиарды из чужой ненависти и из чужой крови. Рабочие, изготавливающие танки или пушки, вдвойне несчастны, ибо ничто в жизни не сходит даром, даже простое соседство. «Газаккумулятор» — не филантропическая затея, это труд одних, дивиденды других. Но ни слепота Далена, ни глаза маяков, которые сейчас где-нибудь возле Лофотских островов спасают рыбацкую шхуну, не могут быть стерты. Они меняют глаза рабочих.

В Швеции немало таких заводов. Что это — счастливая случайность или строй шведской души? Впрочем, надеяться и здесь не на что: это может очистить совесть отдельных людей, это никак не может создать совесть государства. Имеются два Крейгера: человек, которого зовут Иваром, и директор треста «Крейгер и Толь». Для человека Густав Дален — герой, справедливо удостоившийся Нобелевской премии; для директора треста нет никакого Далена, есть «Газаккумулятор» — патенты, доходы, биржевая котировка.

«Газаккумулятор», король спичек, знаменитые сепараторы, телефоны Эриксона, кирунская руда, шарикоподшипники «СКФ», машиностроительные заводы, эскильстонская сталь, прекрасные школы и лаборатории, ученые с мировым именем, открытия, патенты, электричество в свином хлеве, автобусы среди тундры, вокзалы, похожие на храмы, небоскребы, серийные дома, передовое социальное законодательство,— это не

мода, не снобизм, не демонстрация принципов — это повседневный быт Швеции.

Однако я затрудняюсь сказать, что здесь перевешивает — акции или ученая степень, и кого здесь больше — инженеров или теологов. Богословские отделения университета всегда заполнены, хотя в бога мало кто верит. Нет в Швеции, кажется, гостиницы, где в каждой комнате не лежала бы рядом с телефонным справочником Библия. Справочник зачитан и ветх, а Библия свежа, невинна, ее держат, но не читают. Она подарена «Союзом коммивояжеров города Обреро». Так коммивояжеры, развозя бритвы и удобрения, не забывают о своей бессмертной душе. Что касается пасторов, то они любят светское общество и французские романы. В церковь шведы ходят редко, предпочитая футбольные матчи, но даже заведомые безбожники и социалисты готовят своих детей к конфирмации.

Трудно говорить о консерватизме: одни условности легко заменяются другими. Можно, например, жить с девушкой, не венчаясь, следует только называть ее «невестой»; можно с такой «невестой» прижить хоть двойню, но надобно для приличия снимать у квартирной хозяйки две комнаты.

Порнографические новеллы здесь возвышенны и сентиментальны, как проповедь «Армии спасения», и, не прислушиваясь к речам ораторов, легко принять коммунистический митинг за академическое заседание. Я сказал уже, что у шведов, кроме характера, много маниакальных привычек.

Газетная полемика напоминает теологический диспут. Это — полуабстрактные оттенки, деликатные увещевания, вечерняя дремота над огромными листами. Один и тот же стокгольмский издатель выпускает две враждующие между собой газеты: либеральную и консервативную. Подобные курьезы приключаются и в других странах, но там они означают ловкий ход, желание обезоружить противника, там это тайная комбинация с подставными лицами и с «независимостью» редакторских полудев. Здесь же все ясно: почему бы не издавать две газеты одному издателю?

Коммунистические депутаты здесь могут дружески беседовать с директорами трестов и с епископами. Существуют ли два враждующих класса? Разумеется, существуют. Но кроме них существуют также: человеческий язык, хорошая погода —

снег и солнце за окнами, лыжи, Сельма Лагерлеф, новая ратуша, закусочный стол, наконец, высшая из северных добродетелей — терпимость. За окнами не только солнце и снег — спичечный трест проектирует снижение заработной платы, английский посланник о чем-то долго разговаривает с министром иностранных дел, шведский король отбывает в Прибалтику, рудокопы третий месяц бастуют, brave полковники с опаской поглядывают на восток, в крепости Буден солдаты старательно маршируют, — словом, за окнами жизнь, которая и здесь вдоволь жестка. Но сказать про врага, что он «подкуплен», — это значит прежде всего унижить себя; такие догадки устраняются климатом, а может быть, и душевной традицией.

Как удалось Швеции сохранить столь старомодное благородство? Ведь это не Словакия? Фабричные трубы и статистика экспорта свидетельствует о вполне современном характере страны. Не выручает ли шведов их близость к природе? К этой полузабытой приятельнице младенческих лет кинулась в отчаянии вся послевоенная Европа. Пригородные лужайки стали последним прибежищем людей, потерявших не только веру, но и куций покой. Лужайки покрылись яичной скорлупой и томительными вздохами. Отчаявшиеся услышать истину от недавних трибунов, истребив, как редкую дичь, последних поэтов и возненавидев политиков, ничего не смысля ни в планах Крейгера, ни в суровости новых свободолюбцев, восстающих ныне против свободы, измученные шестью днями конвейера, мюзик-холлом, автобусами, газетной суетой, — европейцы пробуют теперь заговорить с обшмыганными липами какой-нибудь буколической молочной, где продают им парное молоко, разбавленное водой и подогретое на газе. Но липы молчат. На их коре инициалы похотливой парочки и призывы голосовать за список номер такой-то. О чем они могут рассказать, эти липы? О дневной вырубке хозяина молочной или о семейной неурядице вот того веснушчатого конторщика?.. Европа кинулась к природе, которой уже нет, природа давно сожрана ею. Остается бродить по вытоптаным полям, по начисто вырубленным рощам, вдоль речек, покрытых рябью нефти, мимо гор, униженных трактирами и фортами.

В Швеции природа огромна и страшна. Леса здесь все еще смеются над копошением дровосеков, и никакие лесопилки не могут встревожить бесчисленных озер. Человеку не приходится нянчиться с предполагаемой стихией: он должен быть



начеку, как его прадед. Даже ближайшие окрестности Стокгольма — это лес и вода. Можно уехать на воскресенье в самую заправскую чащу, где ни патефона, ни избушки, ни просто «живой души».

Летом Швеция валяется на душистом мху, плавает по озерам, она ночует в палатках, и, белобрысая, восторженно выгорает под лучами неутомимого солнца. Зимой, зажмурив глаза, она мчит на лыжах. Ее шерстяной свитер пахнет тогда елкой и псиной. Пятидесятилетний господин консул ставит рекорды прыжка, а его внучата управляют настоящим парусником. Чопорные стокгольмцы снимают воротнички, девушки бегают в штанишках, и пасторы, забыв о первородном грехе, загорают на солнце рядом с блудницами. Это не просто каникулы, не отдых на час,— это приступы неизлечимой страсти. Я даже не могу сказать, что шведы любят природу,— они еще живут с ней запросто, несмотря на все свои титулы, живут изо дня в день. Скорее всего, они ее и не любят,— какой чудаку осмелится утверждать, что он, мол, очень любит воздух? Они только не могут без нее жить. От истории у них чванливость и вежливость, а от природы — скрытность и сердечность.

Спорт, как и повсюду, начинается здесь с простого движения, с замлевших ног, с раскрытого утром окна. Он превращается в организованное помешательство. Так история сменяет природу. Ведь не могут же отставные капитаны, те самые, что пьют за «победу шведского оружия», удовлетворяться беспредметными тостами? Водки не хватит: в Швеции полагается на особь мужского пола всего два литра в месяц. Можно, конечно, прибавить, что норвежцы, которые выкинули двадцать пять лет тому назад столь неприличный пассаж,— грубые мужики, не понимающие ни высокой политики, ни хороших манер. Можно поворчать на столь же мужиковатых финнов: как они смеют изгонять из своих школ благородный шведский язык? Можно, наконец,— ведь время не водка, его у капитанов вдоволь,— пошуметь насчет исконных интриг России: большевики, оказывается, вполне достойные преемники разбойника Петра, они пробираются через Швецию к Нарвику и под видом коммунистической пропаганды снимают планы крепостей! Но всех этих сетований мало для огромного самолюбия. Ясна судьба: один из штатов Европы. Нет под рукой ни гениального дипломата, ни композитора с мировой славой.

Ремарк, на горе,— немец; даже Гамсун, хоть это и близко,— норвежец. Ивар Крейгер — тот не желает выйти на сцену: видимо, ему хорошо и за кулисами. Остается — спорт. Может быть, здесь удастся прославиться? В дни международных состязаний оживает Швеция Карла XII. Победа шведских футболистов на долгие месяцы затмевает все: и Крейгера, и большевиков, и даже простую радость — походить на лыжах или поиграть в тот же футбол.

Принято думать, что шведы — народ размеренный, аккуратный. Их зачастую называют «северными пруссаками». Что же, я и прусского фельдфебеля, того, что ныне в досрочной отставке, считаю, скорее, фанатиком и чудачком, нежели исправным служакой. О шведах и говорить нечего,— недаром они живут возле полярного круга,— это заведомые максималисты. Хорошо обработанные поля или складочки на брюках не могут опровергнуть ни крайностей, ни жизни «на авось». Правда, шведы умеют лицемерить, вежливо улыбаться, соблюдать, когда нужно, десять заповедей, голосовать за умеренные списки,— словом, ладить и с богом и с Америкой, но все это только на людях. Мечты и сны каждого добропорядочного шведа прежде всего необузданны. Отсюда — тоска и водка. Пьют шведы много, хоть и в этом они теперь себя связали, перепугавшись, как бы не спиться целому народу. С грустью вспоминают они блаженные времена — до «закона Братта», когда на закусочном столе стояли пузатые графинчики и когда можно было, не считая, пропустить десяток, другой рюмок. Теперь водка выдается, как микстура,— по дозам. Остается недозированная тоска.

Суровые шведы чрезвычайно легкомысленны: вся страна живет в долг. Это французская система наоборот. До сорока лет француз, как известно, не живет, а мытарится. Он урезывает себя во всем. Каждый месяц относит он в сберегательную кассу живые клочки своей горемычной жизни: проглоченные слюнки, слезы жены и тысячу красноречивых вздохов. Утешение одно: рано или поздно стукнет пятьдесят лет, тогда-то он отыграется. К пятидесяти годам у француза рента, дюжина болезней и усмешка наследственного мизантропа. Покушать вволю он уж не может, так как у него катар желудка, и сидит он на картофельном пюре, путешествовать ему неохота,— зачем же он купил ночные туфли и халат? К девушкам тоже сходить нельзя: года не те. Остается удить рыбу и ре-

заться в карты с соседом — по два су очко. Таков финал жизни прославленного своей ветреностью Пьера или Поля. Швед в молодости никак себя не ограничивает. Студент получает кредит в банке: он выплатит долги, когда станет инженером. Инженер, однако, выплатив долги студента, делает новые: он их выплатит в старости. Годам к пятидесяти человек начинает устывать. Швед тогда переезжает в маленькую комнату, ходит в перелицованном костюме, никуда не выезжает, не пьет, не курит, он занят одним: выплачивает долги. В богадельнях можно видеть благообразных и действительно аккуратных стариков; они получают солидную пенсию, но живут в богадельне: долги! Впрочем, кроме выплаты долгов, они могут предаваться воспоминаниям или же самым развязным мечтам, а с подобными побрякками лет в семьдесят нетрудно и умереть.

Шведские города благообразны, как лютеранская кирка. Даже в Мальме или в Норчепинге после одиннадцати закрыты все кафе, на улице только звезды и полицейские. Что же там: за шторами, за ставнями, за стенами?.. В Европе богема — это воспоминание да еще приманка для американских туристов. Быт упсальских студентов или стокгольмских художников классически сумбурен, даже разбоен. А на улицах — ни души: мораль, тишина, редкие протоколы. Стоит, однако, шведу сесть на заграничный пароход, как он начинает безумствовать уже вслух. Ничего нет отчаянней шведских кабачков в Париже. Они плотно прикрыты, ставни Упсалы и Лунда...

Стокгольмские музеи справедливо прославлены. Если новое искусство здесь вдоволь консервативно, то археологи Швеции свободны от рутины. В «Нординск-музее» собрано народное искусство. Много там хорошего: и крестьянская живопись на холсте, и пестрые шкафы фермеров Далекарлии. Все же самые лучшие вещи в норвежском отделе. Норвегия здесь еще представлена, как часть королевства, однако это не только другое государство — это и другой народ. Я не отказываюсь от похвал. В Швеции превосходные музеи. А телефон? А сепараторы? Что касается высокого искусства, то его в Швеции сейчас мало. Шведские писатели никак не могут перешагнуть через границы своей страны. Самый достопочтенный из шведских критиков господин Беек недавно дал интервью одному русскому журналисту. Господин Беек — сотрудник консервативной газеты, и не удивительно, что он всячески поносил молодых

русских писателей. Им он противопоставлял нынешний расцвет шведской литературы. Для точности он даже назвал одно имя — Зигрид Унсет. Я не стану спорить с господином Бееком касательно художественных достоинств Унсет, отмечу только одно: как-никак Зигрид Унсет не шведка, это самая доподлинная норвежка.

Все сказанное — не в укор. Почему же в стране обязательно должна быть хорошая живопись? В Швеции, например, замечательные витрины. Крупа, фрукты, чашки, лапша — все это разложено с поразительным мастерством, скажу больше — с вдохновением. Любое окно кооператива — классический натюрморт. Вот в этой идеализации материи сказывается ныне эстетический гений шведского народа. Из искусств здесь процветают именно те, которые непосредственно связаны с осязаемым миром: архитектура, графика, кинематограф.

Так за маниями проступает характер. Это уж не случайно сохранившиеся патриархальные повадки — это вдоволь дерзкое задание: внести в нашу цивилизацию ряд существенных поправок.

Еще яснее это сказывается в глубине Швеции, где нет ни развратного соседа под боком, ни иностранных пароходов, ни привычки к нечаянности бурь. Сердце Швеции — Далекарлия. До сих пор там сохранились народные костюмы, как в глуши Карпат. Невольно сочетаешь это пестрое тряпье позапрошлого столетия если не с курными избами, то, уж во всяком случае, с керосином и с сомнительной грамотностью. Однако крестьянки Далекарлии, в ярких широчайших юбках, похожих на кринолины, повязанные трогательными платочками, ездят не иначе как на велосипедах. В их избах много старой мебели. Комоды и двери расписаны пунцовыми розами, но на комод — электрическая лампочка, и живописная дверца ведет в ультрасовременную уборную.

Я был в селе Лександ на крестьянских похоронах. Хоронили степенно, торжественно. Гроб на лентах медленно опустили в землю, как тяжелое зерно. Потом поодиночке подходили проститься. Ни вдова, ни сироты не плакали. Обряд был преисполнен языческой, звериной мудрости. Церковь в Лександе — с деревянной луковкой, она могла бы стоять где-нибудь в Вологодской губернии. Кругом березы, сирень, светло-зеленая мурава. Все это предрасполагает к молчанию и к простоте. Похоронив, тихо разошлись по домам. Вечером же все

село было на гуляньях. Электрические карусели вдохновляли детвору. Старики хохотали над прыжками Гарольда Лойда. На улице толпились маленькие крепкие лошадки — «шведки» и «форды», девушки в барочных чепчиках и стокгольмцы с теннисными ракетками. Здесь не было ни разности жизни, ни враждебности двух веков. Крестьянские девушки умеют играть в теннис, и давно они оценили все достоинство «форда». Это не принуждает их расстаться с «шведками» или же со старомодными чепцами.

Если поглядеть на Швецию из окна вагона, поглядеть на красные деревянные избенки, на безлюдность озер, на всю скромность природы,— можно подумать: бедная страна, давнее прошлое, окраина Европы. Но это — оптический обман. В избенках — двадцатый век, и избенки сами вправе поглядывать на Париж, как на музей Гревен, с ужасами и с джазом. Достаточно поглядеть на тот же вагон,— во Франции его обязательно назвали бы «пульмановским вагоном-салонем», и ездили бы в нем только министры или американцы. Здесь же, несмотря на кресла и на альбомы, несмотря на графинчик с водой и на особую кладовую для ручного багажа, это обыкновенный вагон третьего класса. В нем ездят крестьянки Далекарлии с пестрыми фартуками и даже с курами. А ночные поезда состоят из спальных вагонов тоже третьего класса. Это совсем не гениально. Это очень просто: стоит только догадаться, что если комфорт нужен, то нужен он всем, не одним миллионерам, а и крестьянам. Для Европы это остается социальной утопией, для Швеции это скучные будни, о которых вряд ли стоит долго говорить. Говорить вообще не стоит. Молчать куда интересней, да и приятней. Поскольку же приходится говорить, вопрос ясен: нужен ли весь этот комфорт, и какая ему цена, следует ли ради него расстаться с платочками и с флегматичной отъединенностью, с благородством, с теплой древесной тишиной?.. Сказать «нет» Швеция не в силах, но она еще достаточно сильна, чтобы поторговаться с современностью, чтобы, взяв одно, отказаться от другого, чтобы в то время, когда вся Европа, как психопатка перед тенором, только и делает, что перенимает механическую судорогу нью-йоркского бизнесмена, привередничать, выбирать, даже порой сурово отказываться. Вероятно, и это ненадолго: в Швеции всего семь миллионов душ, остальное — лес. Лес вырубают, а людей перевоспитают.

Швеция узка и длинна, как белобрысый долговязый мечтатель ее захолустий. Она начинается обыкновенными ландшафтами, умеренным климатом и солидными делами. Ее ноги обуты в германскую обувь. Дома Мальме — это Гамбург или Любек, только со сливочным маслом на бутербродах и с довоенной степенностью. В деревнях Скании хрюкают датские свиньи, золоты пшеничные поля, солнце здесь светит и в январе, маяки, следовательно, работают круглый год, много фабрик, много туристов, морские купанья — словом, зажиточная благообразная страна. Это — ноги. Они почти что упираются в какой-то из Мекленбургов: паромы преодолевают Балтику в несколько часов.

Голова Швеции покрыта сосновым лесом и тоской. Деревянные города приземисты и теплы живым благодушным теплом. Человеку они дарят уют и отчаянье. Они горят, как спички. Если их и отстроили вчера, после очередного пожара, они все же древнее собора Упсалы: их древность не в истории, а в самом естестве, в связанности с окрестными лесами, со смолой и с сугробами, в неотрывности от природы, в том, что Питео или Люлео не только торговый центр и губернское управление, но также звериная нора, берлога, душло.

В Германии или во Франции любая деревушка прикидывается городом, здесь же, напротив, города свято хранят деревенскую статью: дощатые особняки далеко один от другого, между ними — сады, старые, заросшие, задушевные. В этих садах — карликовая сирень; цветет она поздно, в июле, мелкими застенчивыми гроздьями. Зато как ее умеют здесь нюхать! Кто же, кроме северян, сходит с ума? Еще заморозки по утрам, еще голы деревья, но в самом гаме земли, в звоне капли, в чавкании луж, в скрипе дерева, в сотнях различных шумов, таинственных, как зачатье, в этой настройке инструментов — уже начало праздности, разгула, трехмесячного пиршества. А все-таки хорошо, что есть на свете и люди и страны, вовсе не знающие меры! Кажется, даже солнце здесь теряет память, оно отдаривает за зимние обиды, до августа не сходит оно с неба. Окна особняков раскрываются, как глаза —

впервые, да, да, каждый год впервые, среди ослепительной светлости берез, под гомон детворы.

Чем дальше на север, тем строже и нежнее блюдется культ юга. В крохотных городишках — цветочные магазины, их больше, нежели банков или кафе. За стеклами цветут тюльпаны, розы, бегонии. В каждой садике своя клумба; ее отгораживают досками от ветра, на ночь покрывают рогожей; это — холеное дитя. В Кируне — «ботанический сад», там несколько березок и оранжерея. Под стеклом, окруженные благоговейными взглядами посетителей, медленно зреют огурцы и цветут яркие петунии. Эти огурцы куда прекрасней всех пальм Ривьеры. Впрочем, даже пальмы на открытках (а здесь они в любом доме), эти ядовито-изумрудные пальмы на ляпис-лазури куда прекраснее настоящих! Они ведь прикрашены шестимесячной ночью и восторгом сосредоточенных альбиносов. Здесь и вино не просто напиток, а ритуал, — раз или два в год, на рождество или на свадьбу — бутылка, встающая из-под земли, как солнце.

Юг на юге туп и докучен, здесь же это — полузапретное свидание, со всей дрожью сборов и с черной памятью, в зиму, у печи, среди книг и еловых шишек — навсегда!

Если приехать в северный город среди белых ночей, он кажется околдованным. У него нет ни имени, ни примет. О том, что это ночь, говорят только часы, — на небе солнце. О том, что это город, говорят только дома, — людей нет. На площадях стоят автомобили — их оставили здесь до утра, а на пристани — чемоданы и сундуки, без присмотра. Где же люди? Вымерли? Уехали? Уснули? Кого бояться они: пастора, бога или своей усталости?.. В садах отвлеченно чирикают воробьи, они чирикают тихо, считаясь с вежливостью и с этнографией. Это — в два часа полуночи. В двенадцать город еще жив, он еще бредит и корчится.

О свете северных ночей немало написано. Их последние слабые оттиски — бело-серые ночи нашей недавней столицы, это — свой мир, это — биография Невского проспекта и синтаксис Гоголя, это — мелкие чинуши, доведенные до подлинных прозрений, это — Достоевский и бред, которому сдуру пожаловали обыкновенные брюки, это — вся северная романтика, детская хворь государства, а также основной экспорт «русской души». На севере Швеции ночи в июне не белы, но розовы. Свет, теплый и взволнованный, предполагает загадоч-

ный пожар: горят города, горят охваченные бессонницей люди, дочки аптекаря, оставшиеся архивариусы, не говоря уже о вульгарных ревнивцах или о пасторе; горят автоматы с плитками шоколада; горит небо, горит и высокий крахмальный воротничок господина консула, горит и не сгорает, от одного полыми кидаясь в другое.

Дочки аптекаря и господин консул пишут тогда стихи. Это диктуется, скорее, освещением, нежели амбицией. После долгих ожиданий, сердцебиения, разорванных листов и даже кругов под глазами — стихи эти будут напечатаны в одном из воскресных номеров местной газеты, газеты ведь созданы для семейного потребления, их читают даже подростки, в газетах никто не имеет права целоваться — ни дочки аптекаря, ни господин консул. Стихи, слов нет, плохие, но здесь уж ничего не поделаешь: в Швеции слишком хорошие сепараторы, а масло — какое масло! На стихи у нее нет никаких резонансов, кроме этого сумасбродного света. И вот в полночь, забыв об электричестве, весь розовый и иллюзорный, господин консул пишет: «Щека ангела трепетная, как летняя ночь...» Неужели вы станете настаивать на внешности фру Петерсон, у которой щеки — как два помидора, и которая хоть и угощает господина консула домашним печеньем, но во всем Люлео известна своей сварливостью, уж никак не ангелоподобной? Но тогда вы ничего не понимаете в северном свете!

Впрочем, не все пишут стихи. На широкой террасе единственной гостиницы — она же ресторан, кафе, бар, выставка коммивояжеров, салон, дансинг и место свиданий — под полным солнцем покачиваются в качалках долговязые мечтатели. Они не смеются и не куролесят, они качаются молча. Перед ними широчайшая река, пароходы, баржи, плоты, дальше поля, приниженные и стыдливые, — все розовое, пламенное, готовое разрыдаться или испепелиться. Перед ними также рюмки паечного коньяка и в стеклянных кружечках приторный пунш. В Швеции строгие законы: каждому посетителю ресторана выдают только твердо установленную порцию, — правда, ее достаточно, чтобы спить наивного иностранца, но швед от нее только слегка грустнеет и грустно покачивается под розовым солнцем. Впрочем, можно пойти ужинать со строгим трезвенником, который пьет только лимонад: тогда удваивается паек, и удваивается грусть. Что касается трез-



венника, то он пьян от света, от ненормированного света, который даже шведа сводит с ума.

Так качается в полночь общество Люлео. Иногда слышатся короткие фразы. О чем говорят они? О дочках аптекаря? О любви? О цвете неба?.. Кто знает... Они торгуют лесом, служат в конторах Крейгера, проверяют сплав бревен и немецкие векселя. Но сейчас они пусты и встревожены, как вот эти поля. Если бы продлить такую ночь на года, на десятилетия, может быть, они преодолели бы и сепараторы и телефоны, может быть, вот этот любитель пунша, с поджатыми губами и с дегенеративным галстуком — главный клиент аптеки, не вследствие ревматизма, нет, — дочка одна из неудачливых поэтесс, — может быть, он стал бы злосчастливым героем «Невского проспекта»... Впрочем, оставим эти догадки: непристойно, получив визу и удостоившись гостеприимства, соблазнять соседа своей бедой.

Иностранца зовут на обед: еще одна демонстрация шведской культуры! Поговорим хотя бы о селедках. Что такое селедка? Студенческий ужин, то, подо что пьют с горя водку, после полтинника, взятого взаймы, и перед неизбежным мордобоем. Что такое селедка? Да это и завтрак и обед бедняка-еврея, вместо мяса, вместо чая, — «манна-наоборот» избранного племени. Здесь, однако, даже селедка — это культурное достижение: десять различных сортов, двадцать способов приготовления, гастрономия, эстетика...

Далее начинается обряд. Места строго обдуманы: по положению, по возрасту, по достоинствам и по недостаткам. Нет страны, более влюбленной в иерархию, нежели демократическая Швеция. Члены королевской семьи ездят здесь в третьем классе, но даже злополучный босяк, подметающий улицы захолустья, горд своим титулом: Он — «господин сотрудник Коммунального управления». Пить просто нельзя. Иностранец хлебнул вина, как будто он не на званом обеде, а на вокзале. Он забыл, что вино — это не напиток, а лирическая поэма. Хозяева и гости стыдливо потупили глаза: они ничего не видели. Надобно, дорогой иностранец, сказать «сколь», поднести сперва бокал к жилету, под которым, как известно, сердце, а потом уже к губам, надо проделать это все, не сводя глаз с того, за здоровье кого вы пьете. Если вы скажете один раз «сколь» хозяйке, ангелоподобной фру Петерсон, — той, что с помидоровыми щеками, а три раза — дочке аптекаря, то вы

попросту хам. Не вздумайте также, обращаясь к господину Якобсону, к тому, что по ночам строчит стихи, а днем на лесопилке проверяет добротность фанеры, сказать «господин Якобсон». Разве вас не предупредили, что он здесь представитель Персии? Это не шутка, это чин. Правда, персов в Люлео нет, никогда не было и, скорее всего, не будет, но персидское правительство ценит шведские кроны, а господин Якобсон — уважение своих соотечественников.

Но вот кончен обед, выпита водка, выпито и вино, на столе — пунш. Мало-помалу гости забывают об иерархии. Они слишком часто чокаются с дочками аптекаря, они неожиданно улыбаются, они даже гладят пыльный рукав иностранца. Они оттаивают. Этот процесс загадочен и неизбежен, как таяние снегов. При первом знакомстве любой швед холоден, чопорен, даже надменен. Неясно, станет ли он с тобой разговаривать или вежливо откланяется. Час спустя он может оказаться сердечным малым, хорошим приятелем, чуть ли не другом. Ну, а если окажется другом, то это уж навсегда, — нет вернее дружбы, чем на 66-м градусе северной широты. Во время обеда хронологически процесс оттаивания совпадает с появлением на столе пунша. Дальше иностранцу остается показать, что и он умеет выпить, выпив — поговорить, а главное — помолчать, словом, что он не самозванец, а настоящий собутыльник и вполне достоин шведской дружбы.

А потом?.. Потом — лирическая прогулка по светлым и пустым улицам, река, лес, пожар зари. Наутро крепкое рукопожатие и работа: бревна, фанера, банковские книги, телефонный разговор со Стокгольмом — ровно тысяча километров, целлюлоза, усовершенствованные машины, автомобиль, столько-то тысяч крон оборота — и в итоге снова подозрительное полыхание на небе. Такова здесь жизнь. Нагромождение природы: река — не видно другого берега, шхеры, комары тучами, лес патетичный, как крейгеровский капитал, солнце ночью, зимою снег, готовый сожрать даже шпицы церквей. Среди этого неистовства — новые патенты, растущий экспорт, электрические ванны, из леса — бумага, из хаоса — балансы и комфорт. Говорят, что такова биография Калифорнии и Канады. Но посмотрите на господина консула Персии или, если он не по душе вам, на молодого служащего банка, — разве похожи они, с их архаической тоской, на американцев? Они ничего не предали: ни своей истории, ни северных ночей, ни

того колдовства, которое одно позволяет претворить фру Петерсон в ангела, а будничную жизнь в легкую взволнованность, в мечты кирунских рудокопов о всеобщем счастье, в стихи и белиберду, в пожар на небе, в страсть, равно необходимую и для революции, и для археологии, и для короткой человеческой ночи.

## Край света

В стокгольмских газетах можно, разумеется, отыскать биржевой бюллетень. Правда, не бросается он в глаза, как на грубом континенте, — нет, обрамленный и философией маститого Беека по поводу Сельмы Лагерлеф, и фотографиями гениальных лыжников, и похоронными анонсами, он покоится, подобно бумажнику почтенного господина консула, где-то между пошлой материей и нежнейшим сердцем. В бюллетене среди прочих мировых или же своих домашних имен можно, разумеется, отыскать и сугубо загадочное: «Луосаваара-Кируноваара», рядом — цифра, вполне ясная.

Что ж это за Луосаваара и Кируноваара? Да просто — две невысокие и неказистые горки, далеко от Стокгольма, на самом севере Лапландии. Снег, болота, мох, жалкие юрты лопарей, заведомая нищета и природы и человека, — говоря цифрами — 68-й градус северной широты. Впрочем, господина консула, того, что просматривает бюллетень, интересуют другие цифры.

Еще недавно здесь и впрямь были только топь, камни, колченогие лопари да вот эта крохотная деревушка, Юкасьерви. Весной сюда приходят лопари со стадами; они варят олений сыр и точат роговые рукоятки тяжелых, угрюмых ножей. В пасху полным-полна старая бревенчатая церковь: лопари со всем скарбом и, уж конечно, со своими пушистыми, как снег, лайками. Пастор (по-фински) вещает о безусловном бессмертии души, и псы, разморенные теплом, деликатно твякают. Потом лопари уходят в горы. Деревушка замирает. Старухи молча курят едкие трубки, а пастор читает «Братьев Карамазовых»; весь день, взволнованный, бродит он с кочки на кочку, отмахиваясь не то от подозрительных острот Ивана, не то попросту от комаров. Пусто в церкви. На стене дощечка с французским текстом. Давно, когда еще никто не

справлялся о котировке «Луосаваары-Кируноваары», когда не было здесь окрест никакого жилья, три предприимчивых французика расписались на этой стенке со всем умилительным бахвальством Нима или Бордо: «Мы побывали повсюду, мы пили воду Ганга, и Африка видала нас. Теперь пришли мы сюда, на этот край света».

Да, тогда здесь был край света, край безызвестный и никчемный: большое пятно географической карты и героический миссионер с сосулькой под носом.

Потом... Потом две невысокие горки вдруг отделились от прочих гор. Они стали приманкой, гибелью, счастьем, биржевым бюллетенем, опорой шведского бюджета, любовью Нью-Йорка и Гамбурга. Так среди топи и небытия вырос город Кируна, — нет, он еще не вырос, он только-только подрост, он растет на глазах, его строят день и ночь, строят, не переводя дыхания, не успевая даже дать имя новой улице, для краткости запросто нумеруя дома.

Вот готова площадь, даже сквер разбит со скамейками для лирических пауз, только дома вокруг еще не выстроены. А вот шеренги готовых домов с ваннами и с серебряными сахарницами, но нет еще ни мостовой, ни тротуаров: кочки посередине. Так Европа, молодая, где-то на полях своего романа, подальше от чрезмерно исторических мест, прикидывается иным материком. Болота сострадательно молчат.

Город-подросток уже мнит себя стариком. Он кичится своей историей. В парке приезжим показывают музей — это жалкая деревянная лачуга. О зодчестве думать не приходится, пафос в ином: здесь жил первый рудокоп Кируны, здесь — начало руды, богатства, серебряных сахарниц и золотых дивидендов.

Две горы, посредине — город. Одни работают на одной горе, другие — на другой. Работают все. Звонит трамвай, рейс его непреложен: на рудники, с рудников. Поезда, длинные, как тундра, отходят на запад или на восток, в Нарвик или в Льюлео. Долго несутся они по северным пустырям. Облака и морозка. Они увозят не людей, но руду, только руду, всегда руду. Дыхание Кируны — это взрывы, дыхание горячее и частое. Серые на горах дымки. Орава мужчин в котелках и с тростями — это смена: на работу или с работы, днем или ночью. Впрочем, как понять здесь — день ли это, ночь ли? Три месяца не сходит с неба солнце, в его нежно-персиковом свете томительно засыпает та смена, что условно зовут «днев-

ной»; ночная же работает. А зимой вовсе не показывается солнце, его провожают в конце ноября, как молодость, тупо и патетично, по-бычьей. Электрическая пурга, пылают две горы, пылают город, белый свет, белый снег, сорок два ниже нуля, люди в звериных шкурах буравят камень,— день это или ночь?.. Нет здесь ни обычной жизни, ни положенных человеку суток — только полярная лихорадка, сердцебиение, взрывы, тысячи вагонов, сотни тысяч тонн, руда, руда, руда...

Остальное доскажут счастливые держатели акций. Они-то хорошо знают, что нет в мире лучшей руды, что в ней свыше семидесяти процентов железа, что вывозят ее на 80 миллионов крон в год, что руды этой хватит на всю их почтенную, библейскую жизнь — не иссякнет жила. О, серенький бюллетень и сердцебиение господина консула, того, что обожает «нашу Сельму» и весь светел, духовен, абстрактен, как северный свет: курсы «Луосаваара-Кируноваара» все растут и растут!

Шестьдесят восемь градусов северной широты. Трехмесячный день. Трехмесячная ночь. Вот строят еще один кинематограф. Его выстроят в две недели. Там будут мигать и улыбаться парафиновые дивы Голливуда, а в ответ — подозрительно покашливать господу рудокопы: на коленях котелки. Владелец кино раздувается, как воздушный шар, потом он уедет на юг, и не в Мальме — прямо в Италию, там он обязательно сопьется, а киношка сгорит, — здесь часто горят дома, дерево ведь должно гореть. Руда же не дерево. Стоят две горы, и растут цифры добычи.

В доме № 568 сегодня гости: хозяин Свен Ольсон спрыскивает обновку. «Форд», говоря откровенно, препошлая машина. Давно уж Свен Ольсон мечтал о корректном «шевроле». Зачем ему автомобиль? Ведь кругом болота, кочки, снег... Глупые вопросы! Как же может человек в 1929 году жить без машины?.. А лето? Три светлых месяца? Он может поехать хотя бы в Юкасьерви, где старухи с трубками и философический пастор. Он может, наконец, когда дойдет дело до отпуска, съездить и в Люлео. Вот светится «шевроле», весь розовый от полночного солнца и от своей вящей невинности. Гости выпили кофе. Напрасно хозяйка улыбается деловито и призрачно, напрасно пахнет тропиками пузатый кофейник, — отодвинут стол, в комнату вбегают разбойный патефон, это чарльстон за чарльстоном. Все улыбаются призрачно, деловито:

Карл — своей невесте, Густав — невесте Ларсона, Свен же — и гостям, и жене, и черным горлодерам из нью-йоркского Гарлема, и розоватому автомобилю.

Окрик телефона среди танго.

— Алло! В одиннадцать? Хорошо.

У Свена Ольсона не только «шевроле» и жена с призрачной улыбкой, — у него и телефон, и портативный «ундервуд», и даже картины на стенах: развалины и кипарисы. Свен, однако, не акционер «Луосаваара-Кируноваара», он даже не владелец кино. Среди двух бронзовых рам, среди развалин и кипарисов стоит большущий Ленин, тот, что в кепке, и говорит, говорит... Слова, несомненно, русские, а Свен по-русски знает только два слова: «правда» и «ничего», но он, вероятно, догадывается, о чем это так внушительно говорит человек в кепке: ведь Свен Ольсон — обыкновенный рудокоп.

Потом Свен идет среди кочек и строек, мимо гигантской школы — ну, чем не Стокгольм? — в другой дом. Здесь ни телефона, ни развалин. Кресла. Кипы газет. Котелки на вешалке. Ленин, впрочем, и здесь. Он продолжает свою речь, и тень его на чужой земле, четкая тень в кепке, вытягивается, покрывая топи, 68-й градус северной широты... Это кирунское отделение коммунистической газеты «Северное сияние». Редакторы, фельетонисты, хроникеры — все, разумеется, рудокопы. Одни работают на одной горе, другие — на другой.

Тяжелый климат? Конечно. Летом комары и бредовой свет. Зимой — сорок градусов мороза, сорокапудовая ночь. Работают на горе под звездами. Сыро. Три аптеки только и торгуют что салицилкой и мазью от ревматизма. Да, слов нет, это не Италия: ни развалин, ни кипарисов. Зато — «шевроле». У товарища Ландскрона, правда, только «форд». У некоторых всего-навсего мотоциклетки. Но жаловаться не приходится, зарабатываем неплохо: пять-шесть тысяч крон в год, кое-кто и девять. Неплохо. Совсем неплохо! Почти полярный рай. Обогнали Америку.

А вот в муниципалитете коммунистическое большинство, как будто не «шевроле» здесь, но безработица и чечевица. Почему же?.. Глухие вопросы! Разве Свен Ольсон не рабочий? «Шевроле» — хорошая штучка, но у него к тому же голова на плечах. Он может подумать. В прошлом году рудокопы Кируны выдержали долгую забастовку. Они не требовали над-

бавки. Бастовали они из солидарности. Ни одного «желтого»: на севере эта порода не водится. Все — руки в карманы. Да, они — рабочие. Как другие. Телефоны и развалины не в счет. А традиции?.. Газета «Северное сияние» выходит уже двадцать с лишним лет. Потом — мир. Конечно, Кируна — это край света, хвастливые французики не ошиблись. Но тень человека тень — длинная тень.

Хватит! Надо еще выправить статью: опасность войны. Где? В Лапландии?.. Нет, в Маньчжурии. «Смотрите в оба!» Вот уже все товарищи редакторы надевают котелки. Пора!.. Кочки. Солнце. Час пополудни. Одни отправляются спать; другие на горы — в рудники. Внизу по долине несутся длинные поезда.

Рядом с редакцией газеты «Северное сияние» — огромная церковь. Это не нищая церквушка Юкасьерви, куда ходят лопари с собаками и где растерянный пастор мечтает о «русской душе», — нет, это гордость всего благомыслящего населения, это даже достопримечательность, отмеченная в путеводителе: на нее потрачено столько-то десятков тысяч. Какие люстры! Какой комфорт! Сууровое лютеранство здесь щедро на улыбки: скульптура, живопись — все, что угодно, причем не вышедшие из моды персонажи пастушеской библии, — нет, в ногу с веком. Америка так Америка, философия так философия. Золотые статуи представляют различные духовные свойства человека. Двадцатый век! Стиль модерн! Лучшая руда в мире! Ясно, что правление общества «Луосаваара-Кируноваара» не поскупилось. Да здравствует конструктивное капище! Вместо алтаря — «чистое искусство», притом с высочайшей маркой: картина принца Эйгена, королевского племянника. Это купа деревьев, окруженная весьма сомнительным нимбом. Есть здесь над чем задуматься, — и действительно, владелец шляпного магазина господин Томсон, сидя в церкви, неизменно вздыхает. Дело отнюдь не в товаре: они идут на славу, и котелки и ошеломляюще яркие кепки для юных спортсменов. Капитал господина Томсона растет, как Кируна. Нет, все начинается с географии, точнее — с детских воспоминаний. Господин Томсон, видите ли, родом из Скании, где чудесные дубы, буки, клены. Вот уже двадцать четыре года, как он осел на кирунской кочке. Низкие крючковатые березки, ни шелеста, ни тени, ни необходимой кой-когда лирики. Кочки, капитал, котелки... Но ведь господин Томсон — не

американец. Он жаждет другого, даже не этих роскошных деревьев, нарисованных самим принцем, но сияния вокруг них, словом, просто сияния и не космографии, то есть опостылевшего зимнего полыхания, тем паче не сумасбродной газетки, — абстрактного сияния. Он — швед, он духовен и нежен. Он вздыхает. Золоченные добродетели препротивно пыжатыся. Бурав впиивается в неистощимую жилу. На горе взрывы. Это вздыхает Кируна. Господин Томсон идет в магазин, где ждет его новая партия наимоднейших котелков.

На едва намеченной площади, на скамье, заготовленной для 1930 или даже 1935 года, под уродливой тенью лапландской березки, крючковойтой и узловатой, как рука местного ревматика, сидит парочка. Они не смеются, не целуются, не вздыхают. Они молчат. Впрочем, в северном молчании столько же оттенков, сколько в мимике южанина. Это жених и невеста. У невесты от жениха годовалый ребенок, но это никого не удивляет. Даже пастор давно примирился с условностью бытия. Иногда жених поглядывает на невесту. Его глаза светлы и ирреальны, как небо Лапландии: ни огня, ни нежности, ни укора. Возможно, что завтра он убьет эту белесую фрекен. В Швеции ведь изготавливают прославленные на весь мир ножи, к тому же в Швеции еще жива всамделишная страсть, под снегом, под мхами, под угрюмой хвоей, не серенадная, та, что с проклятиями д'Аннуцио и с твердым бюджетом сутенера, — нет, другая: сорок два ниже нуля, стесненное дыхание, искры в глазах, легендарная тишина. Может быть, и убьет... А может быть, все дело закончится партией футбола. Вот он встает и медленно взбирается на гору. Убьет или не убьет — сейчас он идет на работу.

И столь же тихо сейчас в Стокгольме, в опрятной пуританской бирже, как бы нехотя и вскользь господа консулы, господа магистры, господа советники и господа прохвосты, Нильсоны, Петерсоны, Якобсоны или Ларсоны говорят друг другу:

— «Луосаваара-Кируноваара» сегодня снова в повышении.

Спичечный король господин Ивар Крейгер, один из хозяев «Луосаваара-Кируноваара», просматривает цифры блокнота. Этот маленький блокнот — как голова вездесущего, он вмещает миры: заем для Германии, телефоны Бразилии, японские спички, французские выборы, последнюю речь Сталина, на-



логи в Югославии и вот эту руду, поезда в Нарвик или Люлео, столько-то тысяч, столько-то миллионов, цифры, обязательно цифры. Господин Крейгер раскрыл истину, — он умеет заметить теплый хаос дней и чувств непогрешимыми цифрами.

На одной из кочек, как аист, цепенеет долговязый унылый детина. Равнодушно выкрикивает он таинственные слова. Вот остановились два рудокопа в котелках, старуха, наконец господин Томсон, владелец шляпного магазина. Равнодушно они прислушиваются.

— Где Содом и Гоморра? Не в иной стране — в сердце. Кто десять праведников? Добродетели в Содоме. Кем пощажён был город? Совестью...

Рудокопы лениво закуривают сигареты «Карпатос». Господин Томсон вздыхает. Старуха, с минуту поморгав, плетется в сияющий, как феерия, кооператив. Тогда проповедник начинает петь:

— Возвеселимся, праведники, возвеселимся...

Мотив тягуч и печален: это зауспокойная молитва. Рабочие, бросив окурки, подпевают. Господин Томсон тоже старательно шевелит губами. Он безусловно праведник, но тщетно хочет он возвеселиться. А проповедник, что ни минута, сморкается. Ведь он не золоченая статуя! Он просто неудачник из Готеборга. Правда, он на зубок знает, где именно находится Содом, но у него маленький оклад и хронический насморк.

Кочек в Кируне немало, и вот на другой кочке — другой говорун, такой же высокий и флегматичный. Вежливо говорит он:

— Мы заставим опомниться международных империалистов...

Он очень спокоен, он даже деликатен. Зачем выходить из себя? Разве эти товарищи в котелках сами не знают, что им надобно делать? У газеты прекрасный тираж. В домах библиотечные шкафы. Рудокопы Кируны не предадут революции. Ведь это спор не о столько-то кронах, но о справедливости. Кстати, среди статуй капища этой неуживчивой богини нет. Она теперь квартирует в редакции безбожной газеты.

— Консолидация... Стабилизация... Чан Кай-ши...

С кочки на кочку, мимо золоченых добродетелей, мимо оратора и красных значков в петлицах, мимо котелков и «консолидации» плетется лопарь. Алый хохол на шапке. Кривой нож. Скулы. Древнее недоумение. Зачем только припер он сюда из

своей дымной юрты? Может быть, расспросить хитроумных кирунцев о Содоме и о Чан Кай-ши? Или продать в лавочку олений окорок?.. Он проходит по нелепому городу, как напоминание: я здесь, я — тундра, снег, комары, солнце, смерть... Да, я, я — рядом, вокруг вас. Что перед этим две горки, тысячи тонн, акции, статьи «Северного сияния» и королевская живопись? Наваждение, легкий взбалмошный сон.

Снова взрывы. Снова гул поезда. Басит в Пориусе горная река. Ее предательски ловят, как ловят в силки птицу. Это восемьдесят тысяч лошадиных сил. Это сотни поездов: налево и направо. В Люлео грузят шведы, а Нарвике — норвежцы. Впрочем, к чему этнография? Руда всюду руда. Скрипят железные жирафы с шеями, сложными, как сама жизнь. Пароходы сначала игриво покачиваются, потом, объевшись грузом, тяжелеют и пыхтят. Нехотя выползают они из гаваней навстречу северным штормам. Вот в этих черных трюмах счастье Рура, возрождение Германии, если угодно — локарская идиллия, завтрашний день заводчиков, биржевиков, коммивояжеров, дипломатов, не говоря уже о господине консуле, который сейчас, закусывая тминную водку копченой оленьиной, сосил мечтательный глаз на вечерний бюллетень.

Так на краю света бьется эта необычайная жила. Пульс наполнен и част. Ведь даже два крикуна — и те ушли с кочек на копи.

Вторая смена! Пора! Пора!

Пройдет месяц, другой, солнце наконец-то ослабеет, оно уступит, провалится в рыжую темь. Снова восторжествует первоначальная темнота. Как она здесь понятна любому котелку! Она исключает историю, сплетни, всю арифметику человеческого недоброжелательства. Есть в ней столь необходимое этим мечтателям с тростями жестокое постоянство. Медленнее тогда движется кровь, «шевроле» спят в гаражах, воев вьюга, а сугробы шутя сглатывают газеты, статуи, даже витрину с котелками, даже вздохи почтенного господина Томсона.

Потом — это бывает всегда в конце февраля — один из рудокопов, работая на самой макушке горы Кируноваары или Луосаваары, рудокоп с инеем вместо предполагаемых слез тихо, вежливо говорит другому:

— Ага, вот и оно!

Это в полдень на юге, возле горизонта серое, болезненное пятно, это резь глаз полуслепого человека, это языческий празд-

ник, и это, скорей всего, ничто — не символ, не надежда, не толчок сердца, только календарь: после огромной ночи огромный день. Таких суток в жизни человека здесь сорок или пятьдесят. А потом?.. Потом — промерзлая земля, которую приходится взрывать, как руду, или же слякоть заведомого болота. Так мстит природа. Но человек — тот, что, как известно, издавна зовет себя ее «царем», человек настаивает, задается, презрительно щурится, он молчит до самой смерти. Одни на одной горе, другие — на другой. А третьи?...

У третьих порою озноб среди сна, а в несгораемых шкафах, в железных и вечных, легонькие пачки воистину дивных акций.

## Без языка

Аксель Ландстрем работает на геливарских рудниках. Он зарабатывает в месяц шестьсот крон; на это можно жить, хорошо жить — с идеями и с третьим блюдом. Когда он гуляет, на его руках лайковые перчатки. А под ними обыкновенные мозоли. Аксель — коммунист. В свободные часы он пишет статьи, например: «Национальный вопрос на Балканах и задачи пролетариата». Статьи эти он сам переписывает на машинке: у него чудесная «корона». Я у него пил кофе и даже потолковал с ним о разности многих вещей: о разности партийных фракций и о разности автомобильных марок. Аксель не согласен с доводами шведской оппозиции. Что касается автомобилей, то особенно нравится ему «бьюик», недавно приобретенный секретарем местной ячейки. Мне не пришлось с ним удовольствоваться красноречивыми улыбками: Аксель немного говорит по-немецки. Он славный малый, — крутой лоб, мохнатые, как мох, брови, а под ними явно младенческие глаза. Много читал, голова на плечах, — словом, потолковать с ним стоит. Все же я не стал бы настаивать ни на статье о Балканах, ни на мохнатых бровях. В Швеции много рудокопов, у всех перчатки, все они доки по части автомобилей и все преданны коммунизму. Если я сейчас говорю об Акселе, то только потому, что имеется у него дома одна подлинная достопримечательность, — не электрическая плита — этим здесь никого не удивишь, не двадцать томов энциклопедического словаря в переплетах с тиснением — это тоже в порядке вещей, — нет, совсем другое: русская жена,

пухленькая Ньюша из самой что ни на есть Тулы; ну а это в Геливаре — действительно уникам.

Началось все с идеологии. В Советский Союз направилась делегация шведских рабочих. Аксель очутился в России. Это было не путешествие, но паломничество. Поль Моран в Москве увидел рваные тулупы извозчиков и экзотическую страсть полуазиатской коммунистки, искупающую отсутствие шелковых чулок. Английские промышленники подозрительно косились на довоенные машины, на хвосты возле булочных, на горячечные зрачки беспризорных. Аксель видел одно — революцию. Он знал у себя дома довольство, и это, видимо, помогло ему не презирать нищету. Он ведь хорошо понимал, что даже автомобили «бьюик» не обозначают счастья. Из перчаток и мозолей дорожил он мозолями. По Москве ходил этот чудной богомолец в куцем заграничном пальто. Даже сомнительную колбасу глотал он с вдохновением, ни на минуту не забывая, что это не просто колбаса, а «советская». Так глотают верующие кусочек просфоты. Аксель Ландстрем причащался нашей гордости и нашей беде:

Потом он поехал на юг, в Донбасс. Там он схватил воспаление легких. Его отправили в дом отдыха на поправку. Он пил молоко и думал о революции. Молоко приносила в комнату молодая сиделка. Акселю было двадцать восемь лет. Он писал статьи и никогда не думал о женщинах. В Геливаре были только рудники и автомобили. Здесь он увидел девушку. Так родилась любовь, о которой можно написать роман в духе Диккенса, смешная любовь косолапого северянина, неспособного даже в ней признаться: он ведь знал по-русски только два слова: «чай» и «ничего». Были ли столь убедительны младенческие глаза или Ньюша отличалась догадливостью, только несколько раз рука сиделки подолгу задерживалась на лбу больного. Я не знаю, что в точности было потом: целовались ли они или дело ограничилось вздохами; так или иначе, выздоровев, Аксель уехал к себе, в Геливар.

Стояла обычная лапландская зима. Полыхало на небе северное сияние. От сияния электрических ампулек, от снега и от глаз Ньюши Аксель часто жмурил глаза: он никак не мог забыть молодую сиделку. Ведь это была не просто девушка, не фрекен из Люлео, которая только и думала что о хорошей партии и о квартире с удобствами, не голливудская «стар», которая по субботам плачет перед рудоклопами поддельными слезами

оттого, что ее проклял отец-банкир, или оттого, что у ее возлюбленного еще нет «твердого положения», — нет, Нюша была русской. Если Аксель обожествлял даже советскую колбасу, легко догадаться, как думал он о советской девушке. Любовь не отрицала пишущей машинки с начатой заново статьей, — нет, она ее осеяла. Что касается двадцати восьми лет, то они бесновались, они отрывали руки от клавиш, они гудели, как комары, они требовали по праву своего: Нюшу! В апреле Аксель написал советскому консулу, а к началу мая, добившись от дирекции двухнедельного отпуска, оказался в столь знакомом ему доме отдыха перед живой и ничуть не изменившейся Нюшей.

О радостях разделенной любви и о формальностях загса рассказывать нечего: то и другое хорошо известно. С тех пор прошел год. Знакомя меня с женой, Аксель сказал:

— Если бы вы знали, как я счастлив! Жалею я только об одном: Нюша до сих пор не научилась говорить по-шведски, это мешает ей принять участие в нашей работе.

Нюша действительно по-шведски знает только несколько слов, и все это — названия продуктов, которые она забирает в соседнем кооперативе. Может быть, знает она также ласковые эпитеты, но ведь это не относится к делу. С Акселем она разговаривает, как и год тому назад, — руками и улыбкой. Я оказался первым человеком, с которым она могла после долгого молчания поговорить всласть. Что же, она отвела душу!.. Но прежде всего — несколько слов о ее внешности. Это полная русая женщина с заметной грудью и с глазами обиженной коровы, которой не дали спокойно дожевать жвачку. У нее хорошая улыбка, но голос неприятный, сварливый. Таких женщин у нас много. Сознательные — предпочтительно кондукторши трамвая, а несознательные торгуют на улице лифчиками. Впрочем, при случае из них делают тургеневских героинь.

Первым делом Нюша спросила меня с какой-то атавистической опаской:

— Вы что же, партийный будете?

Услыхав, что я беспартийный, она досадливо пожала плечами:

— А эти-то тут... С жиру бесятся!

Аксель рядом улыбался. Он, наверное, в эту минуту думал о том, что Нюша его жена и что Нюша — душа революции.

Нюша хвасталась:

— Не знаю, как у вас там, в Париже, то есть с материалом, а здесь сколько хочешь, и в клеточку и в полоску... Потом, с платьями очень здесь организовано: возьмешь в магазине, поносишь неделю, а потом назад — «передумала», — деньги отдадут крона в крону. О хозяйстве и говорить нечего: даже прачечная в доме своя и на электричестве работает, только выключатель повернуть, честное мое вам слово...

О начале романа рассказал мне Аксель. Ньюша об этом промолчала. Зато восторженно, хоть и малость фривольно, описала она свой приезд в Швецию:

— Сели мы, значит, в спальное купе, а там уже застелено, и, вы меня простите, но даже горшочек — ходить далеко незачем... Тут-то я поняла, что такое настоящая жизнь!

От смущения она покраснела. Она улыбалась милой, задумчивой улыбкой. Я не стал ее допрашивать, откуда она такая взялась: может быть, я ее уже видел в Москве или в Ростове, а если не она это была, так ее сестра... Зоценко очень талантливый писатель, но своих героев он все-таки не выдумал, они живут-поживают в тысячах расейских городов. Уж не так плоха Ньюша. Ее можно, пожалуй, расшевелить; тогда она поплачет над стихами Есенина и пожалуется на свою судьбу:

— Муж-то чужой — языка нет, кругом все шведы да шведы...

Мужа она любит настоящей, хорошей любовью, но в то же время она его ненавидит. Она не может простить ему одного: вот этого равнодушия к вещам и вещицам, к выключателям и к спальному вагону, к коверкоту и к кофе, к теплой квартире, к сытому обеду: «Черти, с жиру бесятся!..»

Аксель думает, что она коммунистка, а она — просто Ньюша из Тулы. В девятнадцатом году белые пристрелили ее брата. Мать ее умерла от сыпняка. Она сама переболела двумя тифами. Она видела трупы на улице, голод и лопнувшие трубы водопровода. Замуж она вышла не за подлого банкира с плаката, а за самого обыкновенного рабочего. Она увидела «настоящую жизнь». Она могла бы быть вполне счастлива. Но вот приходят товарищи, забирают мужа на какую-то сходку. Мало ли что может приключиться? Ньюша злобно поджимает губы.

А муж ее все улыбается — он ведь не понимает по-русски:

— Времени мало. Так хотелось бы научиться, чтобы русские газеты читать, и потом с Ньюшей...

На столе — два толстущих словаря: шведско-русский, русско-шведский. Когда становится невтерпёж, они раскрывают

словари, но в словарях столько слов, а человеческий день так короток!.. Аксель работает на рудниках... Статья еще не дописана... Нюше пора в магазин... Словари закрываются.

Они считают свою немоту проклятьем. Нюша плачет, и Аксель хмурит мохнатые брови. Они не понимают, что это их единственное спасенье, не пощада, но все же отсрочка, выданная жизнью. Если бы он знал, о чем она думает! Он, конечно, не понял бы ни трупов на улице, ни сышняка, ни всего лихорадочного детства, жизни впроголодь, среди двух пуль. Он понял бы только одно: «материал», «горшочек», жестокий обман. Он стал бы вдовцом среди снегов Геливара, преследуемый в ночи доверчивой улыбкой и коровьими глазами, полными древнего недоумения: за что полюбил и за что отверг?

## Вне игры

Когда человек идет по тундре, идет час, два, пять часов, постепенно отмирает его громоздкая биография. О том, что он приехал сюда с любопытством суетливого европейца, говорят только часы на руке да, может быть, белые листы записной книжки. Человека больше нет, точнее — его еще нет: тундра — это мир начерно, задолго и до часов, и до простого любопытства. Серое небо, серая земля, кочки или валуны, глина, камень, мастерская спившегося скульптора, материал, из которого можно было сделать самый обыкновенный мир, вплоть до коров и до биржи, из которого ничего не сделано: ни человека, ни природы. Таково классическое небытие. Отсутствуют все привычные глазу цвета: синь наверху, зелень листьям, чернота почвы. Человек давно позабыл о домах или о деревьях. Они, вероятно, только приснились ему, как томительное предчувствие. Ноги то увязают в топи, то отскакивают от земли, легкой и упругой, как будто не земля это, а резина. Крикнуть? Но нет эха. Пожалеть себя? Но кого прикажете жалеть: человека нет, есть серая тень, шатающаяся между кочками, лишенная и глаз и памяти. Кроме того, для жалости необходима передышка, а здесь нельзя остановиться, остановка здесь — это смерть. В пустыне путника задирают тигры, в тундре его убивают комары. Это не назойливые насекомые, не легкий кошмар наших летних вечеров, не мошкара, которая жужжит, как совесть,

которая сулит бессонницу и волдыри. Они забивают глаза, рот, нос, уши. Если дотронуться рукой до лица — ладонь в крови. Среди первоначальной тишины их шум громок и требователен. Они напоминают о своих правах. Они ведь созданы до человека, они не могут потерпеть ни записной книжки, ни простого движения; кроме того, они хотят есть. Человек не испытывает боли. Он просто повинуется резине, той, что под ногами: он подпрыгивает. Еще час, два...

На минуту возвращается память: где ж он видел это? Ведь у прыгающего человека была биография, обыкновенная биография человека двадцатых годов двадцатого века. Не так ли выглядела земля возле фортов Дуомон или Морт-Ом в годы верденских боев? Может быть, это и есть правда, жизнь без прикрас, то, что внутри, под пашнями и под вежливостью, то, что было и что будет? Может быть... Думать, шагая по кочкам, трудно. Человек больше не думает. Еще час, еще два...

Вдруг одна из кочек невольно привлекает его внимание. Вспомнив о своих маниакальных повадках, сердце начинает усиленно биться. Да полно, кочка ли это? Откуда же срубленные деревья? А вот на тех бревнах звериные шкуры, вот сушатся огромные рога оленя... Тогда вместо «земля» человек кричит: «Люди!» Эха нет, и никто ему не отвечает. Он стоит перед обыкновенной лопарской «котой». Дверь коты никогда не запирается, и человек входит внутрь. На корточках возле дымного огня сидят хозяева. Старик ковыряет кривым ножом деревянный ковш. Женщина варит похлебку. Дети и собаки спокойно дышат, как боги или как кочки.

Пришелец говорит приветственное «пурис». Тогда-то раздается эхо, тихое и протяжное. Даже лохматые лайки подхватывают «пурис». Это не слово, а вздох. Никто, однако, не смотрит на чужеземца, никто не спрашивает его, откуда он и зачем, как он прыгал по кочкам, как отбивался от комаров: спрашивать невежливо, да и глупо. Хозяин продолжает ковырять дерево, хоть ему и не нужен этот корявый ковш. Дымится похлебка. Дети не играют, дети как бы дремлют с раскрытыми глазами, глядя упрямо на желтый огонь. Они сидят так час, день, жизнь. Можно бросить ковш, можно снять с огня котелок. Тогда-то наступит самое доподлинное: тишина и отсутствие, только заумно будут тявкать пушистые псы. Который теперь час и который год?.. «Калевала» написана очень давно, до Крейгера, до всех Карлов, до учебника истории, но уже в «Ка-



левалё» сказано об этих неподвижных, неморгающих, как бы стеклянных глазах: «Лопари не пекутся ни о богах, ни о людях, так достигли они самого трудного: они живут вне желаний».

На лопарских шапчонках, как пламя, пылают багровые хохолки, пимы обшиты ярко-синей каемкой, даже кисеты из оленьей шкуры — и те приваряжены: желтые или же малиновые кисточки. Это вместо южного неба и васильков, вместо маков, вместо пшеницы и жизни. Это также некоторое самоутверждение, справка — «человек», чтобы не затеряться среди тусклой анонимной тундры: хохолок, шнурочек, кисточка, мертвые цветы, уступка веселью, щегольству, слабости.

Зато суровы и голы их коты: это чум, покрытый берестой или же, к зиме, оленьими шкурами. В котях побогаче — чугунная печь с трубой; в тех, что победнее, — по старинке: внизу костер, а над ним дыра и звезды. Во всех котях, в бедных и в богатых, огонь — это единственное убранство, гордость, даже развлечение. Возле огня сидят лопари на корточках, сидят часами, глядя на языки пламени и медленно глядя одним пальцем другой. Гость скромно садится у двери, учтиво его сажая поближе к костру. Путь от порога к огню — это столько-то тысяч голов оленей или, на худой конец, почтение к знатному роду, все то, что на юге, не в дымной юрте, но в салоне Стокгольма определяется цифрами годового дохода или пафосом визитной карточки. Вот лопарь, кривоногий, бурый, косоглазый, весь скрюченный, как лапландская березка, — это, бесспорно, местный господин консул: он ведь в тесном родстве с самыми именитыми семьями. А другой, рябой и сонливый, с засаленным хохолком и с глазами тусклыми, как болото, — это лопарский Крейгер: в его стаде три тысячи голов, он сидит, разумеется, у костра.

Так и здесь, среди снега, среди ночи отдана дань той абстрактной пирамиде, которая, наперекор и кресту и ватерпасу каменщика, остается сокровенной фигурой нашего злосчастного человечества. Но, слов нет, место у огня, скорее, поэзия, нежели грубая сила. Богатство здешнего Крейгера вдоволь условно. Оно кончается там, где начинается богатство оседлого человека: ни земли, ни дома, ни утвари. Все имущество лопаря богатого, как и бедного, помещается в небольшом сундучке, непременно расписанном яркими розанами. Кто знает, как скромн был бы господин Ивар Крейгер, если бы пришлось ему таскать на

спине все свое достояние... Один нож или пять, один ковш или два, пузатая фляга с солью, эмалированный кофейник, сахар, трубка, табак...

Под ножами в кисете деньги. Даже владелец трех тысяч оленей не вздумает положить их в банк — в какой? Ведь из Финляндии сундучок тащится в Швецию, из Швеции в Норвегию, повинаясь только таянию снегов и аппетиту оленей. Здесь разгадка того баснословного счастья, о котором с завистью говорит певец «Калевалы», — лопари не знают привязанности. Это сама свобода в неуклюжих пимах. Это цыгане без жадности и без музыки. Топкой земле здесь не удалось засосать человека. Он прыгает с кочки на кочку, с года на год; прыгая, он умирает. Тогда родичи вместе с сундучками тащат его труп, чтобы похоронить отца или брата на лопарском кладбище. Мертвому дано еще месяц, другой постранствовать, прежде нежели впервые осядет он на единственной территории лопарей, на угрюмом, как тундра, кладбище.

Правительства различных государств подписывают конвенции о свободном пропуске кочевников с их стадами. Это дело дипломатов. Что лопарям договоры и границы? Среди тундры нет ни столбов, ни часовых, эта поэма не допускает цезур, ее следует произносить не переводя дыхания. Мох повсюду мох — шведский или норвежский. Когда снег тает, олени идут на север, они поднимаются на горы, в августе они спускаются вниз. Так маленькому племени на окраине Европы среди трестов и туристов еще удается следовать мудрости птиц, не считаясь ни с визами, ни с обязательным патриотизмом, ни с настойчивостью любого корня, который равно вяжет и репу и дуб — здесь расти, здесь, не у черта и не у соседа...

Вместе с лопарями и с оленями путешествуют косматые лайки. Трудно их назвать собаками — это прежде всего члены семьи. Никто их не бьет палкой, и они не умеют подобострастно поджимать хвост, — нет, с гордо поднятым хвостом входят они в коту и ложатся на самое почетное место возле огня. Они спят с людьми, с ними ходят в церковь, они умеют не только загонять стада оленей, но и благообразно хоронить своих хозяев. Лайки — оплот бродячего хозяйства. Они уводят весной стадо в горы, осенью они приводят его назад. «У меня триста оленей и четыре собаки» — так определяет лопарь свой достаток. Приравненные в правах к человеку, лайки любят свободу и путь. В их благородстве, в их нежности и неподкупности живой

пример того, что делает из собаки цепь, обыкновенная цепь, которой привязана она к вонючей конуре, как ее хозяин, преследуемый кошмарами и ворами, привязан к своему жалкому добру.

Не следует думать, будто бы лопарям никто не протягивает анекдотического яблока. Нет, об их просвещении немало заботятся столь гордые своей культурой шведы. Лопари, если угодно, лингвисты: друг с другом говорят они по-лопарски и по-фински, но они знают также шведский, а зачастую и норвежский языки. Шведы устраивают бродячие школы: там лопарских детей обучают шведской письменности и шведской истории. Учитель, сидя на корточках, рассказывает о Густаве Ваза или о Карле XII. Дети внимательно слушают: они ведь не умеют быть рассеянными.

Старые лопари чуждаются шведов. Они молчат, когда приходит в коту чужестранец. Они не любят заглядывать в города; оленье мясо, меха, рога отдают они странствующим скупщикам. Пуще всего боятся они фотографического аппарата: стоит снять с человека изображение, как он попадает во власть хитроумного ловца. У них немало языческих поверий, хотя все они лютеране. По праздникам к ним наезжает пастор с витиеватой проповедью. Они слушают его молча, сидя на корточках, внимательно слушают; они говорят пастору «пурис», а потом расходятся по своим котам. Пастор выпивает из дорожной фляжки рюмку запретной здесь водки, чихает от сырости, проклиная в такой-то раз ужасную епархию и уезжает назад в городок.

Молодые лопари охотно беседуют с пришлыми. Они даже читают газеты. Там пишут о немецких платежах, об осложнениях в Маньчжурии, о последних интригах либералов или консерваторов. Лопари читают газету внимательно, от доски до доски. Иногда, попав в город, они заходят в кинематограф. Американские бандиты богатеют, целуют чужих девушек и ловко стреляют в полицейских. Лопари смотрят на экран не моргая, смотрят восторженно и, по существу, равнодушно, как на огонь своей коты. Они видят жизнь, и их трудно чем-нибудь соблазнить. Даже самые способные, пренебрегая советами учителя, остаются в котях, они не становятся ни инженерами, ни почтовыми чиновниками. Даже самым богатым не придет в голову променять оленей на дом, на фабрику или на пакет акций. Они не участвуют в этой игре.

Они многое видят. В Тромсе причаливает роскошная яхта «Стелла-Поларис». Нью-Йоркские маклеры и колбасники из Чикаго лениво покачиваются на шезлонгах. Они едут в Нордкап, чтобы выпить там в романтическом киоске бутылку шампанского среди полночного света и воображаемых пингвинов. Миссис швыряют экзотичным кочевникам монеты и втихомолку щелкают кодаками. Лопари для них обещанный «Куком и сыном» полярный мюзик-холл. Лопари смотрят в сторону и вежливо улыбаются. Если турист входит в коту, они тихо говорят ему «пурис». В Кируне лопари видят руду, деревянные дворцы, золотые статуи, церкви, магнолии и ананасы за стеклами, котелки рабочих. Лопари тихо проходят мимо Кируны. Что же еще?.. Абиско — этот Сан-Мориц среди тундры, с многолетними исследованиями о флоре Лапландии и с каникулярным аппетитом, шведы-молодожены, набравшие в рот воды, англичанки, требующие у меланхоличного метрдоателя белых медведей или же полярного сиянья этак в июне?.. Киркенес с норвежской рудой? Фабрики целлюлозы? Электрические станции — сотни тысяч лошадиных сил, — тишина, турбины, стрелки, энергия, равная смерти? Свет, богатство, культура?..

Да, они видят все это, их веки не моргают, они живут сосредоточенно, они все, все видят. Они знают ходы игры, блеск золота, чужую дрожь. И все же они уклоняются, не пытаясь даже протестовать, не почитая тундру за свою, не говоря о национальном меньшинстве, они уклоняются от этой игры молча, медленно глядя одним пальцем другой.

Рядом с ними люди ищут счастья. Они стараются превозмочь природу. Они уже раздобыли руду, белый уголь, центральное отопление, автомобили и радиоконцерты. Они ищут теперь справедливости, универсального довольства, автомобиля для каждого русского, радиоконцертов в Китае. Они предлагают лопарям железо, труд и счастье. Что же, это один путь, здесь они — учителя, кто лучше их умеет бороться? Эти голубоглазые и угрюмые шведы не умеют уступать. А другой?.. Другой путь хорошо известен кривоногим лопарям. Ноги у них кривые от лыж, но здесь дело не в ногах. На этом пути счастье не в каком-то задуманном конце — оно здесь же, сразу, в начале. Стоит ли вправду заботиться о богах? Это мечты кирунских рудокопов, легкомысленный шелест газет или попросту месячное жалованье пастора. А о себе... Но разве не высшая забота о себе — это отсутствие всякой заботы?

О прелести Швеции мало кто догадывается, она скрыта и требует душевного подъема, она не дается сразу, как трехцветный плакат «бюро путешествий». Норвегия же издавна облюбована всеми ловеласами, которые волочатся за так называемыми «красотами природы». Только сдержанность термометра и океан, сулящий морскую болезнь, предохраняют ее от участи Швейцарии. Не будем же говорить о фьордах! Ей-ей, это не морские заливы, это только мириады открыток и вздохи растроганных англичан. После Швеции не снежными вершинами поражает путника эта страна, но наличием людей, хотя она еще малолюдней Швеции, хотя между двумя домами здесь или гора, или все тот же фьорд. Однако людей здесь больше, вернее, они больше смахивают на людей. Они не цепенеют, как готовые памятники, не живут электрическими ваннами и доисторическими родословными, они не грешат ни домовитой метафизичностью, ни честолюбием, чересчур громоздким для нашего века, — нет, это люди как люди, хоть и с угрюмыми физиономиями, но с нравом простым и почти что веселым.

Самое большее, на что вы можете рассчитывать, беседа со шведом, — это улыбка. Если он вас презирает, он улыбается неподвижно и вежливо, если вы ему понравились, улыбка становится загадочной, едва уловимой. Норвежцы — те даже смеются. Кроме того, они бедны, а бедность — все ведь вдоволь условно — нам кажется куда человечнее ванн или сепараторов.

Разумеется, Тромсе не Севилья, это все те же градусы широты, и не в Гольфстреме дело. Норвегия — доподлинная северянка, без лохмотьев и без кастаньет. Несмотря на фьорды и на Гамсуна, фру и фрекен никогда не пропустят дыры на штанах. А щелкать пальцами норвежцы не любят. Часами простаивают они на площади или на молу, засунув кончики пальцев в карманы: это национальная поза, даже мальчуган не вытрет вовремя носа, — как может отступить он от национальных традиций?

Когда ловкачи с дирижабля «Италия» увидели норвежских рыбаков, которые стояли на пристани, они не на шутку струсили: что замышляют эти молчаливые люди? Никто не двинулся с места, чтобы поднять брошенную веревку: норвежцы живут среди штормов и льдов, проворность спльора Нобиле не

пришлась им по вкусу. Впрочем, этой неподнятой веревкой дело и ограничилось: ни криков, ни смешков. Итальянцы же с перепугу вызвали полицию: где им было понять, что в точности означают эти руки и эти карманы?

Те же итальянцы или испанцы полны в общечитии пафоса. Часто в трагтории или в фьондас, услышав рев, увидев разъяренные лица, я думал: дело плохо, сейчас покажется револьвер, если не попросту нож! Но всякий раз оказывалось, что просто люди разговорились: хороша ли, например, малютка Беппа или правильно ли воткнул бандерилья Рамон седьмое копые в позавчерашнего быка. Здесь же — тихо, очень тихо, даже кротко говорит один парень другому: «В таком случае я тебя убью...» Редко это говорят здесь, но когда говорят, то действительно убивают, без шума, тихо и кротко.

Норвегия — это океан и ледники, каждая пядь земли может рассматриваться как нечаянный материк, как военные трофеи, как чудо. Плавающие льды грудятся вокруг последних мысов. Так совпадают здесь конец Европы и конец жизни. Я думаю, что каждый норвежец, глядя на неприязненный разбег волн, на извилистость географической карты, наконец на зрачки, неточные, как и все окрест, любимой девушки, чувствует близость полюса. Шпицберген снабжает Норвегию не только углем, но и некоторой чрезмерностью, напряженностью чувств, постоянным сознанием, что европейская цивилизация: «Театральное кафе» в Осло, шоколад «Фрея», переводы Ремарка, смена министерств, что все это — только спорная участь, показатель широт и лет, не жизнь, а нагромождение происшествий; что любой тюлень, не говоря уже о льдах и ночи, может поспорить с турбинами, с мосье Беделем или с резолюциями такого-то конгресса.

В европейской игре трудно не отчаяться, нужно про запас иметь хотя бы иллюзорные богатства. Герцен любил говорить: «У меня есть в России народ». Это не было ни текущим счетом, ни картой в колоде: как мог он противопоставить лондонскому безверью пятидесятих годов абстрактную величину: «Записки охотника» или молчание стольких-то податных душ? Это было, однако, правдой. Есть такой резерв и у норвежцев, он отделяет их от Европы. Я не знаю, как его назвать — полюсом, океаном или ощущением конца, но вы найдете его и в романах Гамсуна, и в нежном фатализме любого рыбака, занятого, казалось бы, только вялением трески.

В Гарстате или в Тромсе множество морских карт. Они заменяют и виды Сорренто, и неизбежные портреты королевы Мод. Континент на этих картах мелок и никчем, зато огромны, многозначительны острова — Шпицберген или земля Франца-Иосифа. Так соблюдается иной масштаб: исследователей полюса, рыбаков и молчаливых, чрезмерно застенчивых мечтателей.

Как же не мечтать здесь?.. Занятие диктуется хотя бы географией, не говоря уже о челнах викингов. Мечтают действительно все, несмотря на спорт и на экспорт. Это не особенность характера, не блажь сотни-другой неудачливых стихотворцев: мы вправе назвать это основным занятием народонаселения. Но тщетно пытаться свести к одному различные мечтания чуждых друг другу людей, тщетно даже искать их точного отображения в распорядке жизни или в философских системах; это, скорей всего, только зрочки — неотвязные, однако же неуловимые.

Пространства в Норвегии много, земли — так, как обычно мы это понимаем, — вовсе нет. Города, за редкими исключениями, — это только крохотные поселки, продолжение удобного причала, сваи среди камня и воды. На главной улице губернского города Буде — игрушечные домики с крылечками, розовые или голубые; в одном из них управление губернией, в другом — «парижская парикмахерская». Все это вдоволь случайно, так что возле каменного здания банка невольно задумываешься: уж не забыт ли трехэтажный дом каким-нибудь рассеянным туристом? Даже деревень нет: дома разбрелись кто куда, объединяет их только административная кличка да еще, пожалуй, школа, в которую дети ходят на лыжах. Зачем им читать «Робинзона»? Каждый человек здесь знает полную меру одиночества. Вероятно, поэтому столь добры и снисходительны норвежцы: человек для них редчайшее существо, они еще способны сострадательно выслушивать его тривиальную исповедь, не догадываясь с первого слова о конце каждого предложения.

Человеческий голос, который доходит до этих заброшенных поселений, деформирован пространством. Он хрипл и чуден, к нему примешан таинственный гул: это очередная выдача радиостанции. Антенны — на всех домах. Незнакомый собеседник не нуждается в репликах: он то поет, то хохочет, то, прерывая свою речь загадочными паузами, говорит о каких-то «курсах». Фокстрот может легко стать жалобами злосчастной девушки,

а биржевой бюллетень, все эти «Стандарт-Ойлы» и «Рид-Тинто» — прекраснейшей литургией.

Кроме гула в ушных раковинах, имеется рябь алфавита, которая также потворствует непоправимой мечтательности. Статистика показывает, что только исландцы читают больше норвежцев, но это уж и вне Европы, и вне простого правдоподобия. Тираж книг в Норвегии непомерно высок, причем сотни романов поглощаются не только скупающими барыньками, как, скажем, во Франции, но вполне деловыми людьми, с бородой и с доходами: скупщиком рыбы или лоцманом. Толстые тома не отпугивают: им скорее радуются, как зимней ночи или затяжной любви. Вряд ли жизнь норвежца длиннее жизни француза, но относительность времени здесь куда ощутимей, нежели его быстрота; и если не хватает досуга на сложную сделку с перепродажей десяти бочек тюленьего жира английскому барышнику, то его уж обязательно хватит и на лёт лыж, и на заносчивые сны, рождаемые любой строчкой длиннейшего романа.

Норвегия в течение долгого времени была вотчиной соседних народов. У нее нет своей аристократии. У нее нет и потомственной буржуазии. Здесь часто встречается хаос мельчайших островков, как бы только что отделившихся от воды, подвластных каждому приливу, еще не нашедших своего оформления. Эти острова встают перед глазами, когда заводишь речь о социальной жизни страны. Вместо буржуазии как класса мелькают то трубка разбогатевшего во время войны судовладельца, то засаленный картуз перепродавца трески. Рыбаки разводят в чахлах огородиках бледный, как сон, лук, а крестьяне нанимаются матросами. Все это еще не имеет своего имени. Можно, однако, назвать Норвегию крестьянской страной, примирившись с тем, что на камне пшеницы не посеешь и что, когда околевает корова, приходится менять хлев на навощенную палубу. Отсюда известная «косолопость», отсутствие и манерности и манер. Никакие «курсы для персонала гостиниц», организуемые с целью привлечения долларов и фунтов, не сделают норвежцев изысканными: карьера дипломатов или лакеев им не по силам, да и не по душе.

Мужицкий строй страны определяет ее демократичность. Говорю я не только о конституции, но и о быте. Достаточно сравнить трех королей: вот — шведский, как и подобает аристократу, он раздражителен, своеволен, он пытается, пусть с посредственными результатами, вмешиваться в управление госу-



дарством; датский — поскромнее, но и он убежден в высоте возложенной на него миссии — он, дескать, призван быть над партиями и мирить все партии; что касается норвежского короля, то он хоть и председательствует в совете министров, но права голоса лишен, он давно понял, что здесь он только скромное украшение, зеркальный шкаф или фикус государства, нечто среднее между флагштоком и метрдотелем, он довольствуется выданным ему дворцом, похожим скорее на солидную ферму, да еще коровами; о своей миссии он не говорит, но скромно отправляет на рынок в Осло «королевское масло», чтобы выручкой пополнить цивильный лист.

Доктора и агрономы, писатели и министры — все это сыновья рыбаков или крестьян. Студенческая богема в Упсале занята, как ни странно это, вопросами чести. Пьют там вовсю, но, даже выпив, не забывают о предках. Студенчество Норвегии сильно смахивает на чудаковатых полуголодных квартирантов наших дореволюционных Бронных и Козих. Правда, эпоха и спорт начисто отстригли радикальные космы, но остались и фантазии и своеволие. Университеты в Европе — это либо фабрики карьеристов, либо романтические крепости, где с редкостной рьяностью отстаиваются не только древние истины, но и древние привилегии. Молодежь Латинского квартала развлекается метанием тухлых яиц в неблагонадежных профессоров, сопровождая столь грациозную забаву вдоволь эффектными возгласами, например: «Да здравствует король!» Я отнюдь не хочу утверждать, что все норвежские студенты — социалисты, но вот барресовскому королю или кайзеру расистов они, пожалуй, предпочтут советского буку, тем паче что ихний король здравствует и даже торгует маслом.

Иностранцу трудно разобраться в языковом споре, раздрающем теперь Норвегию. Ясно одно: это не только увлечение национальным пафосом, захватившее после войны все народы и полународы Европы, — это также утверждение своего «мужичьего характера». Слов нет, национализм здесь хоть и безобиден, но силен. До сих пор норвежцы продолжают тешиться своей независимостью. Четверть века еще не остудили пыла: они не уменьшили числа флагштоков — что ни хлев, то флаг; они и не очистили парламентских спичей от столь рискованного удара на слове «мы». Но стремление заменить литературный язык, общий с датчанами, своим собственным, наполовину сохранившимся среди рыбаков, наполовину извлеченным из

словарей, продиктовано бунтом против, в основе чуждой народу, датской цивилизации. Это, разумеется, не на пользу ни литературе, ни науке, ни чувству международной солидарности, но в этом своя правда; притом жизнь, видимо, никак не хочет считаться с логическими доводами доктора Заменгофа...

Масло короля покупают местные богатеи, обыкновенные люди довольствуются маргарином. Объясняется это не вкусовыми привычками, не скупостью, как в соседней Дании, но бедностью. Быт здесь весьма прост, и роскошь сводится к десятку-другому магазинов на центральных улицах Осло. Маргарин, пожалуй, удостаивается самой пышной рекламы: проспекты одной из фабрик украшены портретом хозяина работы Матисса. Норвежцы ведь любят хорошую живопись... В этом сопоставлении маргарина и Матисса — вся норвежская жизнь.

Дома фермеров и рыбаков опрятны, но нет в них ни электрических пылесосов, ни сундуков с заветным добром. На столе треска, серый хлеб и, конечно же, маргарин. Едят редко и мало, довольствуясь чашкой кофе или мечтаниями. В самом шикарном ресторане легко обнаружить и протертую скатерть и студента, отвлеченно жующего крохотный бутерброд. Богатство стеснено здесь не только высоким обложением, но и всей скромностью страны: не раскутишься; следовательно, богатство здесь не водится с патриотизмом. Самый богатый человек Норвегии был недавно опельмован во всех газетах и во всех портерных: это — крупнейший судовладелец; чтобы не платить налогов, он пустил свои суда под флагом Панамской республики. Норвежцы не на шутку обиделись и за флаг и за казну. Что же остается этому норвежскому Крейгеру, явно не понятому своей страной? Стать бразильцем или абиссинцем, а барыши пропивать где-нибудь подальше от бездарной родины — в Париже или, на худой конец, в Копенгагене? Правда, он может также заказать свой портрет Матиссу: тут его все одобрят. Норвежцы не сластены, они курят трубки и пьют, когда водится монета, виски, но этой слабостью они и вправду грешат: они обожают искусство.

Казалось бы, что Швеция должна и здесь первенствовать: ведь искусство в наших глазах тесно связано с досугом, следовательно, с достатком, с переизбытком сил и ценностей. Швеция куда зажиточней, благоустроенней, крепче своей соседки; притом ее утонченность и вкус накоплены поколениями; у нее наследственная аристократия, просвещенная буржуазия, высо-

коквалифицированный пролетариат. При всем этом шведские писатели и художники, обладая лестными талантами, никак не превосходят масштаба своей страны. Урок Норвегии значителен: здесь мы сталкиваемся не столько с бедностью, сколько с некоторым пренебрежением к материальной культуре. Ибсен или Гамсун оплачены простоватостью столицы, редизной железнодорожной сети и тем же маргарином. Кажется, только большие народы могут одновременно изготавливать автомобили и строчить сумасбродные стихи. Швеция или Голландия выбрали завидную участь Марфы. За Норвегией остались слава Марии, невнятность зрачков и вареная треска на ужин.

Можно, описывая Норвегию, настаивать на сомнительном комфорте ее гостиниц или на отсутствии новой архитектуры, можно указать, что путь из Осло в Тромсе длится чуть ли не неделю, так как добрая половина страны вовсе лишена железнодорожного сообщения. Это будет, однако, при всей точности, ложью. Что сказали бы мы об иностранце, который, попав в Москву первых лет революции, заметил бы лишь отсутствие трамвая?.. Железную дорогу на север уже начали строить, рабочие кварталы Осло скоро изменят облик этой посредственной столицы, да и гостиницы, наверное, тоже станут комфортабельней, ведь чему-нибудь да учатся метрдотели на своих «курсах»... Гораздо занятней отметить, что государство здесь поддерживает молодых художников, как будто не тишайшая Норвегия это, но Мексика Обрегона или, того хуже, Советский Союз. Я гляжу на фрески — в Париже это до сих пор называется «авангардом», хотя позади нет никакой армии, кроме обязательного обоза плагиаторов. Там и поныне молодые художники существуют снобизмом коллекционеров или прозорливостью перекупщиков. Здесь же им выдают и стены и кроны. Клиника, телеграф, школа воздухоплавания, ремесленная палата, много других зданий расписаны молодыми художниками. Это не только добротная живопись, это также справка о душевном строе страны, которая приправляет треску старательными галлюцинациями.

Рост: один метр восемьдесят — этим никого здесь не удивишь. Норвежцы народ крепкий. К стойкости обязывает профессия: море ведь ни на минуту не оставляет человека, оно не только подрывает прибрежные скалы, оно буравит сушу, узкими, но глубокими фьордами пробирается в глубь страны. Одни рыбачат, другие уходят на суда. Норвегия — возчик мира: она перевозит из года в год чужие грузы и чужое богатство.

Барыш ее невелик: он сводится к скромному окладу, а также к мужеству. Йод и соль начисто вытравливают малодушие. Рослость сочетается с героикой. О рыбаках и говорить нечего, это ведь не дачные забавы с пескарями, это среди зимней ночи, среди штормов и льда ловля трески — столько-то шхун, столько-то тонн, столько-то новых вдов. А китоловы, которые каждую осень уплывают к Южному полюсу, через мир и через жизнь, — можно ли назвать это «заработком»? Если прибавить сюда историю и легенды, вывеску кабачка «У викингов», романы Бойера, открытки с касками отважных витязей, а также непосредственно каски, точнее — капюшоны залитых волной рыбаков, суровых и бородатых, — возникнет образ хотя правдивый, но чересчур доступный, тот, что наравне с лазоревыми пятнами фиордов привлекает сюда чувствительных англосаксов.

Необходима существенная поправка: несмотря на метр восемьдесят и на гарпуны китоловов, норвежцы полны женственности. Сказывается это и в картинах Пер-Крога, и в тоне значков, и во всей ветреной, однако трогательной жизни. Они прежде всего фантасты, эта примета важнее роста. Здесь нет расхождения с традициями: история викингов насыщена удалью и черствой силой, но поглядите на орнамент их судов — как он причудлив и сложен, как далек он и от разбойничьих налетов, и от дерзких коммерческих операций! Звери и цветы настолько ирреальны, что это уже сон, иней, дыхание на стекле, немота человека, который объехал весь свет и который дорожит теперь не землей, а только вот этой легкой дымкой... Непояснимая тоска досталась норвежцам по наследству вместо державы или богатств, она заставляет нас произносить имя Норвегии с едва ли осознаваемым волнением.

Все это может показаться домыслом, литературными реминисценциями, особенностями не страны, а глаз. Против этого как будто встают румянец на щеках и тысячи спортивных обществ. В воскресный день города Норвегии пусты, даже хромые — и те резвятся: они наставляют паруса или скатываются с гор. Но все то, что может быть нормальной гимнастикой, становится романтическими выходками. Поцелуй на морозе сугубо строги. А прыжок вниз — уж не репетиция ли это смерти? А безрассудство крохотного парусника среди растущих волн?..

Блудители морали (таковые имеются и в Норвегии) очень возмущались романом Бедела, в котором возвышенной любви приезжего француза противопоставлена животная примитив-

ность норвежской фрекен. Они всячески заверяли, что это, мол, клевета на их сестер и дочерей, что норвежские девушки вдоволь целомудренны и что французскому автору следовало бы поглядеть на своих парижанок. Все сказанное относится, конечно, к наивности провинциалов. Герой вызвавшего такой переполох романа в решительную минуту испугался согласия девушки: что поделаешь, по всей видимости, он был французом, то есть человеком достаточно утомленным. Норвежские девушки, разумеется, и ходят на лыжах, и целуются, целуются не хуже других. При всем этом жива в них северная исключительность, молчаливая фантастика любого жеста, которая, несмотря на выдержку и простоту, на отсутствие потупленных глаз, на сохраняемый до конца аппетит, обращает в бегство иностранца, ходульного, худосочного, привыкшего к пышным словам и к мелким похождениям.

Этой потайной суровой страстью равно проникнуты дела викингов и ловля трески, любовь гамсуновской Виктории и последний отъезд Амундсена.

Взгляните на Осло днем — какое захоlustье! Модные журналы из Парижа. Курсы лондонской биржи. Десяток гостиниц различных «миссионерских обществ», где псалмы и закуски. Десяток кабаков с мадерой, которую здесь можно пить в любой час. На главной улице несколько денди, на боковых — маргарин и приземистые домишки. Ни единого плана, ни древних соборов, ни небоскребов, ни осанки. Город вытянут наугад, как карта из колоды. Но вот свалилась ночь, звездная ночь ранней осени. Маргарина больше нет. Франтики оказались добрыми малыми, даже исполнительными фантазерами. Они пьют виски и молча тоскуют. Перед ними Осло. Проступает вода, в нее ручьями текут с гор огни. Электричества здесь вдоволь, как рыбы, и от сиянья тот высокий — метр восемьдесят — щурит глаза. Он может завтра уехать на полюс. Он может и мизерно умереть от неразделенной любви к одной из девушек. Кстати, уж не героиня ли это Беделя?.. Она, правда, улыбается, но ее улыбка внятна лишь наполовину, как текст книги на знакомом по школе языке. Сейчас город величествен и прекрасен. Он достоин своей земли. А язык, знакомый по школе?.. Что же, одно я усвоил: на этом языке важна превосходная степень; не на норвежском, — я его вовсе не знаю, — на языке Норвегии, на немом языке ее глаз и дел. Это, конечно же, чрезмерность. Это, может быть, и близость полюса.

Три сотни крохотных островков, а вокруг океан,— это и есть Рест. Попастъ сюда не так-то просто. Путь от Трондхьема до Лофотских островов длится дня два или три: там надобно пересестъ на маленький пароходик, который дважды в неделю направляется к Ресту. Храбро перепрыгивает он с волны на волну. Через сутки наконец-то показываются скалы. Домов сначала не видно. Перебивая гул волн, доносится до палубы нестройное пение. Это похоже не то на настройку инструментов перед началом спектакля, не то на последние часы студенческой попойки, впрочем, это — только один из главных заработков местного населения. Кроме островов, заселенных людьми, имеются и другие — птичьи, вовсе свободные от сожительства с человеком, самостоятельные республики морских попугаев, гаг, уток и чаек. Заранее предупреждаю: в птичьих породах я мало что смыслю, а ни одно из прозвищ, сообщенных мне рыбаками, в словаре не значится. Во всяком случае, здесь множество разновидностей — от тривиальных гусей до стилизованных пингвинов. Кричат они все, и так как, по заверениям здешних птицеловов, или, если угодно, птицеводов, на одном только острове этих птиц свыше трех миллионов, легко себе представить оглушительный рев, по сравнению с которым кажется нежным лепетом непрерывное беснование Северного океана. Когда, испуганные приближением моторной лодки, птицы снимаются со скал, небо сразу темнеет, как перед грозой.

Люди здесь, разумеется, не живут, они только производят разбойничьи налеты. У одной породы берут пух, у другой — яйца. Некоторые породы прихлились по вкусу местным гастрономам,— из морских уток приготавливают рагу. Но это скорее спорт и лакомство. Основное занятие жителей Реста — поиски яиц, занятие прежде всего рискованное. Даже иные куры несутся с дурцой, попугаи же (кстати, они отнюдь не похожи на попугаев) кладут яйца на уступах отвесных скал. Человек спускается на веревке. Над ним — птичьи стаи, плотные, как туман, под ним — море. Этим летом трое расшиблись насмерть.

Собирать яйца надобно с толком, даже с деликатностью. Животный мир всячески обучает человека государственной мудрости. Я уже не говорю о надоевших всем пчелах или муравьях. Но вот в Чехии я видел, как разводят карпов.

В пруды пускают щук: на столько-то карпов столько-то щук. Оказывается, что карпы, если не грозит им никакая опасность, мельчают и вырождаются. Для нежности мяса и для приличного веса необходима известная героика. Это, вероятно, довод в пользу щук. Что касается птиц Реста, то они вносят существенную поправку — и в разбое надо знать меру. Если бы пустить румынских министров на этот птичий заработок, они, наверное, наделали бы немало бед. Ведь не следует забывать, что у птиц — крылья, в случае чего они могут эмигрировать. Нельзя их лишать радости материнства. Каждая самка сносит одно яйцо; если его забрать, она снесет второе, если забрать и второе, она снесет третье. Это третье яйцо необходимо оставить, ибо даже птичьему терпению приходит предел, и четвертого яйца никто никогда не видел.

В хорошие дни человек собирает до ста яиц. Пароходик увозит их на континент. За сотню скупщик платит шесть или семь крон. Жители Реста бедны, и никакое головокружение не может переспорить вот этих семи крон. Тем паче что к смерти им не привыкать: если летом они карабкаются по скалам и падают вниз, то зимой они ловят треску, а с перевернутой шхуны путь все тот же: на морское дно.

В городе — рабочий день, пусть восьмичасовой, но обязательный; там говорят: «изо дня в день», и жизнь там зависит от черных цифр календаря. Те, что живут в тесном соседстве с природой, работают залпом, приступами. Труд их жесток и внезапен, как период звериной течки или как классическое вдохновение поэта. Не круглый год вызревает пшеница, быстра жизнь луговых трав, сардинки и сельдь проворно проходят мимо берега, знают свой срок и мечущие икру осетры и токующие глухари. Вместо расписания человек здесь связан с темным бытом земли. Это, конечно, тоже рабство, но оно понятней, достойней, ближе человеческому естеству, как биение сердца понятнее хода часов.

Ловля трески продолжается около трех месяцев. В январе, когда здесь и в полдень — ночь, среди метели, среди электрических лампочек начинается обычная суматоха: в воды Реста и в его жизнь входит огромная неуклюжая треска. Исхода игры никто не знает; треска несет деньги, она несет порой смерть. Рест оживает. С континента и с других островов приезжают сюда рыбаки. Они ночуют возле самой воды, в игрушечных домах на высоких сваях. Год не похож на год, и

загадочны дороги трески. Она может пройти стороной. Радиостанция передает не фокстрот, не политические новости, — нет, назначение ее ясно, она бросает: «Здесь», или: «Возле Свольвера», или: «В Вэрей»... Ее гудение — это повторный ход рыбац. Если вздумается треске подойти вплотную к острову, надрываются тысячи рупоров, и среди высоких, как скалы, волн мечутся огни сбегающих отовсюду лодок. Как чайки, они несутся к рыбному месту. Был год, когда сюда понаехало сорок тысяч рыбаков. Они спали в амбарах, в подвалах, спали и просто в лодках, тесно прижавшись один к другому — холодно, да и тесно. Они гудели, как гудят птицы на своих птичьих островах.

Лихорадка спадает в апреле: тогда уезжают чужие рыбаки, скупщики рыбы, лавочники. Пересчитав кредитки, рыбаки Реста начинают просто жить: глядеть, как стареют старики и как растут дети. Женщины тогда могут тихо вздохнуть, — те, что напрасно прождали памятную им ночь возле причала: море близ Реста славится злым нравом, оно размыло уж немало рыбацких семей.

В Ресте имеется мэр: он — рыбак и социалист. В Норвегии имеются король и парламент. Правят Рестом, однако, не мэр и не король. Все дома здесь на сваях, но иные из них кичатся двумя этажами, великолепными аркадами, даже цветами за окнами: эти дома подлинных повелителей Реста. У них нет ни титулов, ни административных чинов, но будь король рыбаком, он узнал бы, что значит повелевать. В нарядных домах живут скупщики рыбы. Они берут у рыбаков улов. Они сушат рыбу, выделявают рыбий жир, запаивают жестянки с консервами, варят из рыбьих отходов клей. Трудно назвать их предприятия заводами: клей варят здесь же, во дворе, закрыв плотно окно, чтобы не задохнуться от вони. Нижний этаж — это склад трески, в верхнем кроме цветов — библиотека с Библией и с Ибсенем, пианино, на котором дочка скупщика старательно разучивает Грига. Цену на рыбу устанавливают скупщики, они же устанавливают и цену на рабочие руки. У них не только приспособления для варки клея или жира, не только капиталы, чтобы скупить весь улов, — у них к тому же лавочка, где рыбаки покупают хлеб, табак и ботинки, им принадлежат дома, в которых останавливаются приезжие, они — местные банкиры, ростовщики и барышники, они сдают шхуны, они участвуют в страховке; вся жизнь Реста, включая пастора и морских попугаев, подвластна им.



Все это могло бы остаться грубой эксплуатацией, разбоем, кабалой; однако алчность местных кулаков ограничена климатом, островной отъединенностью, жизнью вповалку. Никакие занавесочки не скроют скупщика от рыбаков: они живут вместе, вместе волнуются за пути неисповедимые трески, вместе пьют, вместе хоронят. На крохотной скале приходится потесниться и богатству. Даже могилы на кладбище жмутся одна к другой. В этой ограниченности достатка, в огромности океана, в голосах зимних бурь — объяснение если не идиллии, то человеческого достоинства.

Вот островок Скомвер. На нем только маяк. Почта приходит сюда два раза в месяц, а зимой во время больших штормов — и того реже. Смотритель маяка прежде был капитаном дальнего плавания. У него лицо, сделанное по Джеку Лондону. Он небрит и запущен, курит (конечно же, трубку) и часами смотрит на океан. Двадцать лет он плавал. Потом в дело вмешались и болезнь — у капитана ослабело зрение, — и жена, опрятная бледно-розовая фру. Капитан получил место смотрителя на острове возле Реста. Дочка вышила ему бисером футляр для очков, а жена варит пахучий кофе. Старый смотритель с ложечкой в руке думает, скорей всего, о Бразилии.

Когда я подъехал на лодке к острову, смотритель, схватив картуз, побежал к пристани. Он соблазнил меня и кофе, и тоской зеленоватых зрачков. Он говорил со мной об Архангельске, о крикливых птицах Реста, о мире и о старости. Он даже поехал меня провожать. Ему, видимо, трудно было расстаться с человеком, как и мне было трудно расстаться с пустынным островом, где только чайки и ветер. Это равно понятно и равно безнадежно: и величие одиночества, и бегство в любой кабак к реву сомнительных собутыльников. Жители Реста похожи на бедного капитана. Они отделены от мира, но они — это мир в себе.

Между островками — проливы, порой бурные. Жители прямо из дому выходят в покачивающуюся лодку. На лодках дети спешат в школу. На лодке едет молодой рыбак со своей возлюбленной. На лодке везут гроб. Это не венецианские каналы, вода здесь не зловонная романтика, вода — это рыба, это также шторм. Стоит подняться непогоде — и нет школы, нет милой, нет даже горстки земли сдуру умершему у себя дома старому рыбаку.

Головы женщин повязаны черными платками. У них русые волосы и светлые глаза. Сурова одежда, суров ход дней,

сурово жильё — дом на сваях, древний, как хаос, может быть, не дом даже, а случайно остановившийся ковчег. Под половицами не скребутся мыши, там плещет море, а в нем ходят рыбыны. Это — с колыбели и до смерти.

Рыбачья Бретань — прежде всего экзотика. Французы ездят туда на летние каникулы не только ради морских купаний или ради лангустов: они там отдыхают и от своего времени, и от своей страны.

Какому норвежцу придет в голову искать отдыха на Ресте? Он предпочитает парижские бульвары, ведь вся Норвегия — это тот же Рест.

Только то, что на северных островах сгущено, как ночь или как мороз, в Осло разбавлено переводными романами и центральным отоплением. Изучение норвежской души лучше всего начать с севера, с неленых островов, где миллионы птиц и триста рыбаков, где маяк — это подвиг, а треска — канон.

Приезжий на Ресте внимательно и недоверчиво озирается. Он сразу привыкает и к сваям и к воде. Одно несколько смущает его: он ведь приехал сюда из стран, гордых своей цивилизацией. Потом он догадывается: ага, здесь нет машин! Оттого здесь еще так значителен человеческий труд, оттого глаза смотрят прямо и протянутая рука полна доверия. Прежде мне казалось, что это — путешествие в прошлые века, что человек, сталкиваясь со своим прошлым, невольно улыбается той невзыскательной улыбкой, который мы одариваем детские игрушки, раздражая тем самым детей. Теперь же я начинаю сомневаться: в этом отсутствии механических жестов минутами я вижу и будущее. Может быть, это просто оптимизм человека, подышавшего морским воздухом? Может быть, это также надежда отнюдь не одинокого чудака, надежда, которая рождается в миллионах сердец, уставших согласовывать свой звериный ритм с чуждым им ритмом машин. Я ведь не говорю ни о скупщиках, ни о суеверии, ни о сваях: все это детали климата или местная разновидность человеческой иерархии. Но связь человека с природой, его труд, героический и вдохновенный, кажутся мне более значительными, нежели железный визг конвейера.

Люди Французской революции все свои мечты выразили в триединой формуле. Свобода опозорила себя в наших глазах. У нее оказалась душа проститутки и повадки официанта, который, унижаясь перед одним столиком, отыгрывается на

другом. Равенство несет нам не одно лишь моральное успокоение, оно несет также суету машин, ничтожество арифметики, отказ от творчества — следовательно, и от свободы. Формула трещит: она разделяет своих недавних адептов. Тогда-то приходит самое непонятное, с виду пустое и ни к чему не обязывающее, однако действительно высокое слово: «братство». Видимо, без него нет ни равенства, ни свободы. И вот порой здесь, на этих скудных островках мне начинает казаться, что к героической борьбе нашего поколения за равенство против лживой свободы в жизни простых норвежских рыбаков может быть найден высокий корректив. Впрочем, вероятно, это только летние фантазии: скупщики рыбы скоро установят здесь хорошие машины, а рыбаки, дойдя до равенства, забудут о своем примитивном братстве. Опасно шляться по окраинам земли — так легко спутать прошлое с будущим, а свои мечты с этнографией!

## Ночной разговор в Моссе

Радиостанция Реста ежедневно рассылает метеорологический бюллетень. Ее слушают не только норвежские рыбаки: капитаны крейсирующих по Средиземному морю судов внимательно прислушиваются к голосу Реста. Перед ними — оливковые роцци Сицилии или ослепительная белизна Пирея. Это — далеко, очень далеко от Реста. На Ресте сейчас ночь и снег. Что им какая-то справка об атмосферном давлении? Но вот несколько значков заставляют осторожного капитана повертывать к ближайшему порту: у циклонов и антициклонов свои права.

Тихо сейчас на востоке Европы. Там строят электрические станции, превосходные станции. Там также пишут посредственные повести. Ни то, ни другое никак не может заинтересовать вдоволь разочарованных снобов. Однако справка о циклоне в свое время была добросовестно выдана курносым телеграфистом. Остальное касается времени и капитанов.

В Норвегии помимо фиордов и трески немало романтики. В Гарстате я видел молоденькую девушку. У нее были большие зрачки. Она могла бы писать стихи о любви, беспредметной и безответной. Она ходила по горбатым улицам северного поселка с ведерком в руке: она расклеивала афиши. На афише был Ленин в кепке и множество восклицательных знаков.

Афиш было, кажется, больше, нежели жителей. Впрочем, говоря так, я забываю о морских птицах и о ветре.

В Трондхъеме живет один русский. У него табачная лавка. У него также высокие идеи. Из России уехал он лет тридцать тому назад. В Норвегии была тогда свобода, а дома, в Ливнах, только околоточный. Владелец табачной лавки не забыл прошлого. Революция для него и поныне — это брошюра «Пауки и мухи» в издании «Донской речи», это, прежде всего, серая шинель околоточного. Он торгует вполне приличными сигарами. У него свой дом. Он мог бы не только отпустить бороду, он мог бы и весь порастить густым захолустным сном. Но он не унимается. Он, конечно, коммунист, и, вспоминая серую шинель, он весь вспыхивает. Как же, он и теперь занят важным делом: он устраивает спортивную площадку для рабочих. Простите, господин Фугт, вот замечательные сигареты. В России больше нет никаких околоточных — не правда ли? Там только брошюры и спортивные площадки. Bravo, Ливны!.. У владельца табачной лавки очень грустные глаза: две страны в них смешали свою столь разную тоску.

Заходит иногда в магазин Кнуд Вигланд. Ему всего девятнадцать лет, и он никак не может найти работы, следовательно, в лавке он ищет не табак. Он, кроме того, подозрительно кашляет — ему и не до спирта. Он спрашивает хозяина:

— Что нового у вас в России?

Не говорите, будто романтика связана с историческими датами! Вот вам край, где и поныне «зреют лимоны», хотя там ничуть не теплее, нежели в Трондхъеме. Вигланд говорит:

— Здесь стояло русское судно «Сорока». Я водил товарищей по городу. Я показал им все: и «Народный дом», и вид с горы на старую крепость. Они много рассказывали. Я, конечно, не понимал их, но когда «Сорока» ушла, стало так пусто...

Он говорит и кашляет; вряд ли поможет ему площадка ливенского фантазера. Впрочем, о чем тужить? Он счастлив, он счастлив, как был когда-то счастлив в богоспасаемых Ливнах вихрастый подросток, вовсе не знавший, что такое гаванские сигары.

В Моссе, как и во всех норвежских городках, существует кружок «Кларте» — «ясность». Так называется, кстати, роман Анри Барбюса. Во Франции воздух душен и глух, зато в сердцах там заведомая ясность: все обдуманно, выверено, все зара-

нее известно. Здесь прозрачна даль; кажется, из Мосса можно увидеть Тромсе, но туманности душ здесь загадочны, как карта неба. «Все или ничего», — упрямо повторял ибсеновский пастор. Молодые коммунисты Мосса по вечерам толкуют о рационализации и об Индии. Я узнаю если не слова, то интонации: я ведь их знаю с юных лет по зачитанным книжкам московской библиотеки, всех этих Брандов и Штокманов. Многих я видел сначала на сцене Художественного театра, потом — на баррикадах и в мертвецких. Здесь они до сих пор ищут истину. Им мало половины или восьмушки. Их не пристроили ни новые фабрики, ни гибкость резолюций, ни открытие Эйнштейна. Они только переменили терминологию. Требователен север: ему нужны жертвы. А в Моссе нет даже чванливого околоточного! Город горит выдуманным и в то же время справедливым огнем, как июньская ночь, чтобы оставить после себя среди пароходных контор или консервных фабрик толику росы на каком-нибудь престранном романе с френкен, с хорошими идеями и с плохим концом.

Возьмите Мосс, благо в нем нет ни музеев, ни старых церквей, ни живописных фиордов, — словом, никаких достопримечательностей. Английские туристы сюда не заедут, — они ведь путешествуют культурно, — а заехать стоит: это местные Ливны. Десять тысяч жителей. Маленький порт. Верфи. Бумажная фабрика. Таможня. Три гостиницы. Сквер, в нем скамейки, на одной стороне серые, на другой — густо-красные. Как-то задумал муниципальный совет, подчиняясь своей революционной совести, перекрасить все скамейки, но его тогда свергли. Осталась пестрота или, если угодно, веротерпимость: можно выбрать скамейку в согласии с убеждениями.

В гостинице приезжего ошеломляют белые полаты: любая комната смахивает не то на операционный зал, не то на закусочную. Это, однако, только столы для товаров: в гостинице останавливаются исключительно коммивояжеры; они соблазняют местных лавочников материями или парфюмерией. Получив заказ, они спускаются вниз, в так называемые салоны, там они пьют датскую водку или пиво. Пьют в Моссе много, иногда дерутся, иногда пускают в ход ножи, иногда просто расходятся по домам. Ругаться не ругаются: это утомительно и неинтересно.

Имеется в Моссе одна достопримечательность, хоть и не на английский вкус: некто Якобсен, курчавый, белобрысый, в детской шапочке. Он жил в Америке, работал у Форда, написал

книгу полусдциологическую-полуфилософическую, а потом очутился в Моссе, в пароходной конторе. По ночам мимо Мосса проходят большие пароходы. Они идут из Осло в Ставангер или в Берген, Якобсен сидит в пустой конторе, где на стенах негритянские копыя, афиши с Дугласом Фербенксом и старые флаги. Якобсен сидит и молча пьет виски. Когда раздается гудок, он выходит на пристань: это относится к его службе. Он, конечно же, весел, умеет посмеяться, он ведь не швед и не пастор. Он крупно ставил; я не знаю в точности, что хотел он выиграть, знаю одно: карта не вышла, вышел Мосс. Тогда остались длинные ночи и гудки пароходов. Пароходы уходят дальше, Якобсен сидит в конторе и пьет виски. Он не скажет, о чем он думает: это выпадает из всех правил норвежской игры. Но ни восьмушки истины, ни просто порядочной жизни он не принял, и спирт у него терпкий, даже злой.

На пристань вместе с Якобсеном выходит таможенный чиновник. Он никогда не занимался философией, и в Моссе он по праву, без всякого надрыва. Но таможенный чиновник влюблен, влюблен изнуряюще и томно, не в одну, а во множество фрекен. В будни он не бреется, угрюмо слушает шутки Якобсена и с недоверием глотает его виски, а в воскресенье — моторная лодка. Все тот же дачный поселок и девушки из Осло. Они купаются, они смеются, они говорят одна с другой, а также со своими кавалерами. Несмотря на ветер, таможенный чиновник бледен и томен. Как жаль, что Гамсун пишет теперь не о любви и не о рыбаках! Таможенный чиновник, кажется, ищет автора. Он не найдет ни его, ни хотя бы семейного счастья. А девушки тем временем смеются...

Нигде не видал я таких красивых девушек. Я говорю это не в защиту таможенного чиновника: он ведь все равно слеп и безумен. Но в Норвегии ни помада Коти, ни фокстрот еще не успели исказить того очарования, которое, бог весть почему, заставляет приезжего вздрогнуть, остановиться, сразу все вспомнить и обо всем пожалеть, очарования красоты, ненужной и чужой. Как нелепый чиновник, влюбляешься во всех этих посторонних невест, одариваешь их своими фантазиями, толкуешь подолгу каждый жест,— словом, глужеешь или умнееешь, обретая все то, что давно вычеркнуто и своим собственным возрастом, и возрастом человечества.

Странно видеть в наши дни, когда ясность стала лозунгом даже завязтых путаников, когда любовь свелась к вопросу об

удачной поездке в автомобиле, к вовремя выпитому коктейлю или, в лучшем случае, к двум-трем находчивым репликам,— всю ту мучительную и сложную игру отталкиваний, недомолвок, самолюбия, мнительности, наконец пугающего сердце самозабвения, которые мы знаем по нашему отрочеству. Я даже не берусь сказать, вправду ли мы все это переживали или только верили тем романам, которых теперь никто не читает, так как в них нет ни занятой фабулы, ни психологического анализа, ни правдоподобия, но только длительные отступления и от действия, и от здравого смысла.

Здесь вы можете еще наблюдать всю власть никчемных догадок: «Почему она не посмотрела?..», «Почему он так ответил?..» Я дохожу до абсурда: столь естественное свойство человека, как влюбчивость, я склонен теперь приписать какой-то одной стране с ее крохотным населением. Однако я настаиваю. Это, вероятно, особенность характера: там, где люди научились довольствоваться одной восьмушкой истины, они, уже конечно, довольствуются свиданиями с пяти до семи — полчаса на коктейль, полчаса на любовь, остальное — на завязывание галстука и на накладку рюмян. Здесь же даже таможенный чиновник — это не просто Дон-Жуан с воскресными выходами, — нет, это один из последних открывателей любви в те времена, когда уж обследован полюс и занесены на карту все мельчайшие созвездия.

Если, прочитав эти строки, вы снисходительно улыбнетесь, это будет только новым доводом за исключительность норвежских чувств. Да, да, я не слеп, как мой друг из таможи, я знаю, что фрекен выходят замуж, что им не чужды ни мысли о достатке поклонника, ни несложное искусство дачного флирта, но важна поправка, которую вносит одиночество после купаний, после прогулок, наедине с белой ночью. Тогда норвежские девушки умеют быть суровыми от любви. Они не уступают ни жизни, ни доводам ливны, ни своей слабости. Они требуют всего, и так как этого «всего» нет, нет нигде, даже в сумасбродном поселке, среди сосен и таможенных чиновников — они, милые голубоглазые девушки, которым бы только плавать и смеяться, не раз угрюмо осуждают свою любовь.

Я брожу по длинным набережным Мосса. Рядом со мной долговязый мечтатель из кружка «Кларте». То и дело гудят пароходы. Где-то Якобсен, жмурясь, как кот, лениво допивает виски. Девушки давно спят, и таможенный чиновник пишет:

«Вы сегодня так холодно посмотрели на меня, но я сейчас беседую о вас с совами и с одиночеством...» Вот только кому отошлет он это письмо: Иоганне Иенсен или Эдде Люнд? Или, может быть, Эмс?.. Ну, бог с ним, пусть пишет! Говорю я это, правда, с легкой досадой. Почему бы и мне не вздохнуть? Разве не могла тут быть хотя бы Эдда?.. Вместо нее — длинная тень и длинный спор. Что делать, мы все отравлены историей, мы уже не умеем просто путешествовать, любоваться фиордами или Эддой, залпом выпивать северный озон и виски Якобсена, — нет, повсюду мы ищем новых доводов, мы хотим убедиться, что не зря мы сожгли в студеную московскую зиму деревянные заборы особнячков. Кажется, даже к этим чайкам готовы мы пристать с расспросами: «Как вам здесь живется? Не склонны ли вы, часом, забыв о рыбах и об идиллии, вернуться в «буревестников»?..»

— Нельзя же быть скептиком!

Тень длинна и непоколебима: такой она, кажется, уже значилась в ремарках Ибсена. Здесь необходимо охладить пафос хотя бы невзыскательной иронией.

— Давайте переменим тему! Поговорим о шоколаде. У вас чудесный шоколад, ничуть не хуже швейцарского. Я, знаете ли, побывал на фабрике «Фрея». Прекрасная фабрика! Прежде всего вы — эстеты: в столовой для работниц — живопись Мунка, в саду — статуи Вигланда. Прямо музей! А сколько сладости в воздухе! Я уж не говорю о запахе шоколада, но, например, инженер — с дрожью в голосе он говорил мне: «Вот это деревцо посажено самим королем, и оно зацветает раньше всех других деревьев»... Потом — «салон красоты»: каждой работнице делают маникюр. Это ли не рай?.. Кстати, в раю при утряске шоколада такой грохот, что работницы медленно, но верно гложут. Им, этим обитательницам рая, делают маникюр, им показывают ежедневно Мунка, их даже допускают до королевского деревца, но платят им весьма мало — меньше, чем на других фабриках. Они должны есть треску и маргарин. Да, я еще забыл сказать вам, что директор «Фрей» не терпит никакого вмешательства профсоюзов. Он хочет быть шоколадным Фордом. Он по-своему прав. Если же вы гордитесь своим бытом, то только потому, что у вас вместо автомобилей — шоколад, да и шоколад «домашний»: главным образом для фрекен таможенного чиновника. На необитаемом острове легко спасти свою душу, — конечно, до первого американского парохода...



Снова — сирены, туман, сосны... Я сам дивлюсь своему голосу. Что мне шоколадная фабрика и захоластный конвейер? Злюсь я на себя. Здесь я свожу старые счеты с нашими русскими снами. Тень еще более удлиняется:

— Нет, мы не об этом говорили. Шоколад здесь ни при чем. Скоро, наверное, и у нас построят автомобильные заводы. Даже на Шпицбергене теперь — трест. Дело в другом: что этому противопоставить? Сказать ли о директоре «Фреи»: «Он — зверь, ату его!»? Или воззвать к зависти: «У него чудесная квартира, он кушает птицу и сливочное масло с королевской фермы»? Или поставить на другое: «У него все есть, но он несчастен, он несчастен, как вы. Его жизнь основана на неправде. Он работает ради денег, но чем больше у него этих бумажек, тем скуднее и суше его жизнь. Не только за ваше счастье мы боремся, но и за его»...

Я хочу прервать мечтателя: довольно! Разве не знакомы мы с многотомными трудами утопистов прошлого столетия? Все это давно и опровергнуто и высмеяно. Но рядом со мной никого нет. Видимо, мы уже расстались с милым товарищем. Это влияние воздуха и света: я начинаю беседовать сам с собой. Так легко пройти и до писем таможенного чиновника! Или, может быть, ночной разговор в Моссе — это только последнее объяснение с Норвегией? Ведь завтра я отсюда уезжаю. Пароход идет в Копенгаген, а это уже по соседству с обыкновенной Европой. Там вряд ли придется спорить с камнями и с утопистами. Я не скажу, чтобы Норвегия меня переубедила, — она встревожила меня. Я вспомнил все то, что человек по праву забывает, когда минует ему тридцать лет: я вспомнил об истине без делений и о страсти без уступок, а вспомнив это, трудно жить, трудно по утрам разворачивать газеты с их одной четвертой или одной восьмой...

А вот и контора чудесного Якобсена. Можно выпить — «сколь» — за нашу давнюю молодость; от нее ведь остались только несколько выпцветших фотографий да еще эта нелепая страна, которая никак не хочет примириться со временем.

## 1. Город — притча

Города — это те же книги: пыль и бессонница. Кому не известно, что Венеция — сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена — томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман, — тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости. Нетрудно определить и жанр Берлина: это, скорее всего, философское изыскание, переплетенное совместно со справочником — так угрюмые парадоксы, справки о конце мира, словесная эротика и тысячи различных «измов» перемежаются с колонками сигарных лавок, пансионеров или пивных. Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы, который столь мощен, что к его дыханию прислушиваются и Париж и Берлин, в котором традиции, монументы, Макдональд, золотые джунгли Сити и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше семи миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный из всех литературных жанров, это не город, а притча.

Лондон все вмещает: рядом с небоскребами маршируют часовые в своих опереточных мундирах, парик спикера колышется в такт дебатам о социализме, вокруг дворцов, вознесенных банками или трестами, копошится миллион нищих, он все вмещает, этот огромный город, и он ничего не совмещает, раздельной жизнью живут в нем несхожие века и враждующие классы. Это просто, как мораль: вот жизнь и вот смерть, вот рай и вот ад. Если выйти рано утром из квартала Доков, где верещат голодные китайцы, где рахитичные дети валяются на мостовой, как невыметенный сор, можно к вечеру добраться до Гольд-Грина, до одинаковых улиц с одинаковыми домами, где горничные в белых наколках, каминь, чай,

все благообразие пуританского Эдема с Адамами в халатах и со змием, давно позабывшим о своих начальных обязанностях, ставшим вместо сводника и соблазнителя рупором семейного радио или коробкой патефона, — словом, зрелым змием тысячетлетнего уныния. Длиннен путь, и длинен город, однако не милями надлежит измерять его: ведь проходите вы через круги ада, через чистилище, через райские кущи, через средневековье, через Америку, через всю человеческую жизнь, а что длиннее ее? Вся беда в том, что если говорить о ней без должной фантазии и без смягчающих дело рифм, то получается короткая назойливая притча.

В июньский вечер Пикадилли-Серкус кажется не городской площадью, но проповедью нового Савонаролы или, если угодно, очередной постановкой советского режиссера. Из театров, кино, ресторанов, клубов выходят леди в длинных балльных платьях с голыми, густо напудренными спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. Это не бал, это даже не премьера, это обыкновенный вечер. Капитал джентльменов измеряется фунтами, как все мужественное и героическое, как нефть или каучук. Что касается туалетов леди, то они измеряются гинейми, как все высокое, я сказал бы, возвышенное, как жемчуг, картины, трубки Донхиля и породистые кобели. Светел северный вечер, в его белом свете особенно зловещи цилиндры, мучнистые спины, шлейфы, бриллианты, справки о гинейх и справки о фунтах. Среди леди и джентльменов снуют босяки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают дверцы автомобилей, предлагают спички — это вечерняя мошкара, налетающая на прославленный свет Пикадилли. Это также беглая справка о пособиях безработным, о стоимости не фунта стерлингов, но фунта хлеба, о тяжелых грубых пенсах. Я сказал, что это напоминает постановку советского режиссера, я забыл добавить — захолустного. В Москве постарались бы смягчить контрасты, чтобы сохранить некоторую правдоподобность. Но Пикадилли не подмости, это просто площадь, ей незачем бояться рецензентов, она вправе показать себя лицом: фраки, шлейфы, вонючее тряпье.

Потом?.. Потом джентльмены направляются в западные кварталы: они меняют фраки на халаты и чинно лакают чай. Что касается нищих, то нищие плетутся в Трафальгар-сквер или под мосты Темзы, — ведь у них нет ни халатов, ни даже тривиальной «крыши».

Лондонские улицы прежде всего дидактичны. Вот Бонд-стрит — витрины портных, ювелиров, парфюмеров. Витрины здесь устанавливают на славу. Дешевая вещь берется отдельно, ей придают индивидуальный блеск, она становится уникалом. Зато дорогие товары: шотландское сукно, шелковые пижамы, колья, меха — все это наваливают грудой, ошеломляя не редкостью, но изобилием. Окно, заваленное черно-бурыми лисицами. Окно, заваленное сумками из кожи страуса. Окно, заваленное воистину небесными подштанниками. Табачный магазин «Абдулла» — окно, заваленное дорогими сигарами. Ящик на ящике, сотни, тысячи, десятки тысяч сигар. Благословим же богатство правящего класса! Помилуйте, они платят обременительные налоги, говоря иначе, они «содержат миллионы лодырей», но, отдавая свои капиталы за границу, они все же получают достаточные барыши, чтобы, например, вечером выкурить вот такую сигару, благообразно, у камина, без позы, буднично — обыкновенная сигара, конечно хороший табак, отборные листья, особо искусные мулатки тщательно скатывают их на голых бедрах, потом сигары держат в кладовых, похожих не то на инкубаторы, не то на храмы, где зоркий глаз надсмотрщика, что ни минута, проверяет ргуть «Фаренгейта» и стрелку гидрометра, их сушат и их увлажняют, их холят, их лелеют, но все же это обыкновенные сигары и в конце концов их выкуривают.

Авторы авантюрных романов, любители легкой экзотики издавна облюбовали восточные кварталы Лондона. Какая поэзия! Сначала Уайт-Чепль: голодные евреи с таинственными обрядами и с не менее таинственными бородами. Еще несколько миль на восток — китайцы, преступления, будды, раскосость, опиум, загадка. Рядом квартал ирландцев: бумажные розы вокруг глупеньких мадонн, хоругви, песни, поножовщина. Здесь же негры, грузчики, индийцы, сутенеры... Не стоит даже совершать кругосветное путешествие — все увлекательное несчастье нашей планеты оказывается рядом — полчаса «подземкой».

Однако, взглянув на Поплар просто, забыв о проклятой «живописности», видишь лишь нищету, обыкновенную нищету большого города, нищету северных кварталов Берлина или же парижского Бельвилля, нищету сдержанную и угрюмую. Если и поражает она чем-нибудь, то только своими размерами: это нищета оптом, нищета, которая распространяется на много

милль и на много веков, добротная нищета, без демонстраций и без выхода. На мостовой — голодный котенок и голодный мальчишка, оба обгладывают кости трески. Между ними и сигарами «Абдуллы» столько-то остановок автобусов. Между ними также вся человеческая жизнь.

Лондон не боится контрастов, только ими и живет он. В других городах имеются свои цензоры: стыд или страх. Здесь все — наружу. Ах, я знаю, англичане на редкость стыдливы! Они не выносят ни «собачьих свадеб», ни даже некоторых библейских текстов. В стране, которая кичится своей свободой, могут, например, конфисковать роман Джойса. Лондонские проститутки на вид вполне благонамеренны, они могли бы состоять в «Армии спасения». Фиговый листок, пожалованный Купидону, сделан явно на рост. Одна богиня здесь вправе ходить голышом, ее не остановит добродушный полицейский, и даже самый рьяный квакер не попрекнет ее в сердцах. Это — Фортуна. Она непогрешима. Из ее рога сыплются и фунты и гинеи. Ее ведет под руку сэр Меркурий. Как бог он может быть и без штанов — зачем богу штаны, но он завсегдадай Сити, следовательно, его украшают и цилиндр, и титул баронета.

Только в Лондоне можно понять Диккенса. Извне он кажется сентиментальным, да и слегка простоватым; снова злодеи и обиженные злодеями добряки!.. Прогулка по лондонским улицам убеждает, что это просто быт. Ни автобусы, заменившие омнибусы, ни несколько великодушных «биллей», принятых за очередное столетье парламентом, ни американские замашки клерков, ни небоскребы — не меняют картины. Лондон остается все той же нравоучительной трупобой, где горевал маленький Копперфилд, где в сочельник бедняки едят плюмпудинг и где в прочие дни года они ничего не едят, где много традиций, уюта и человечности, но где человек так несчастен, так гол и одинок, что остается только плакать над романами того же Диккенса или дуть черный, как смерть, портер. Правда, там, где томилась крошка Доррит, теперь в ее честь устроена «детская площадка» — куча песка среди черных глухих стен. На песке — детвора, большеголовая, кривоногая, золотушная детвора рабочего квартала. Лондон, город святок, пушистых игрушек, сказок, детский рай, — но где вы найдете столько злосчастных ребят, заброшенных и ожесточенных, играющих жестянкой или осколками бутылки,

осыпаемых пылью и пинками, ангелочков на побегушках, херувимов среди заводской вони, среди зеленоватой плесени не раз уже описанных контор?.. Здесь что ни двор, то томик Диккенса. Какие дворы! Закоулки, проходы, черно, повсюду черно, черный город, черные дни. Вот Грез-Ини — квартал адвокатов, должников, виновато сморкающихся в большие фуляры, и неисправимых сутяг. Вместо скрипа гусиных перьев — цоканье «ундервудов». Но проветрить дома так и не успели: затхлая жизнь, заколючки «толкований» закона такого-то века, параграфы и паутина, паутина паука, в которой гибнет муха, и паутина закона, в которой жужжит, погибая, вот этот мистер с фуляром. Сити — держава мира, главная квартира «единого фронта», золото земли и ее мудрость. Кого же хоронят эти субъекты в цилиндрах? Нет, это только маклеры, они поднимают каучуковые акции. В полдень — зеленые лампочки и розовые глаза сторбленных клерков: ни солнца, ни жизни. Туман. Цифры. Биржа, в ней бюст Линкольна (так порой кончатся биографии: тиражами Людвига и бронзой среди маклеров!). Снова — черн и резерв отчаявшихся — Темза. Самобылец ищет баграми. Потом — доки, дым, лохмотья, портер, горе на столько-то часов ходьбы. Все вместе это — Лондон, Лондон Диккенса и Лондон 1930 года, вечный Лондон, город, о котором сказал Казанова: «Здесь бы я хотел умереть, чтобы не грустя расстаться с жизнью...»

Здесь свои меры, сложные денежные единицы, своя манера ездить и есть. Календарь здесь, наверное, тоже особенный, и чужестранцу трудно определить даты. Бутафория средних веков мирно уживается с механической выправкой, навязанной Лондону Новым Светом. Превосходные автобусы и комические такси — эти прадеды наших автомобилей едут рядом по той же мостовой, никак друг друга не стесняясь. Маленькие домики с отдельным входом: англичане ведь любят уединение, еще вчера они были либералами, они никак не могут жить стадом. Многоэтажные домищи — обжорки «Лайнса», где в каждом зале созвучно жуют тысячи людей. На письменном столе — стихи, годные разве что для недоразвившихся барышень, и биржевой бюллетень. Презрение к Америке и американизация всего быта; американские фильмы, американская архитектура, американские магазины, даже походка американская, не говоря уже о жевательной резинке. Сеть нелепейших условностей. В ресторане посетитель заказывает бутылку пива.

Служанка просит деньги вперед: они, дескать, не имеют права держать пиво у себя, но они могут послать за ним в соседнюю лавочку. Бутылка оказывается здесь же, за стойкой, — кому охота бегать под дождем?.. Закон соблюден, и все довольны. Это не борьба с алкоголизмом, это просто условность, как молитвы в воскресенье или как целомудрие до замужества. Протестовать? Но зачем?.. Это ведь значит беспокойство, крик, ряд излишних движений. Лучше, вытянув ноги, вздремнуть...

Лондонские улицы, слов нет, оживленны, но оживление это механическое: столько-то миллионов передвигаются на работу или же домой, иногда в церковь, иногда в театр, иногда на матч «крикета». Улица — это неприятность, которую надлежит возможно скорее миновать. Никому не придет в голову, что на улице можно жить. Этим летом один иностранный ресторатор устроил перед своим заведением веранду: четыре столика на тротуаре. Столики тотчас же сфотографировали, на них приходят глазеть туристы, но никто за них не садится. Вероятно, скоро их перенесут в музей.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома, как один. Можно идти часами — все то же и то же. Войдите в такой дом ночью, и, не чиркая спичкой, вы определите: здесь камин, здесь вот кipa иллюстрированных журналов, здесь ситечко для чая, здесь спит супруг, а рядом его супруга. Англичане любят все индивидуальное, однако эта идиллическая казарма никак не смущает их. Ведь каждый заведомо равнодушен к тому, что происходит в соседнем доме, и каждый убежден, что он-то скучает по-своему.

Приторен отдых Лондона, он как те нежно-розовые или лазурные пирожные, которые выставлены в окнах кондитерских. Их лучше не пробовать: это даже не пирожные, это грезы мистера, миссис и мисс. Внутри: чай, нежнейшее звяканье ложечек, тишина. Забава? Богослужение? Или еще одна разновидность унылого сна?

В восточных кварталах пьют не чай, но пиво, крепкое горькое пиво. В пивнушках — стойка и десяток схематичных самоубийц, которые стараются от 6 до 10, пока разрешена продажа крепких напитков, опорожнить возможно больше кружек. Может быть, это спорт, а может быть, и профилактика — трудно ведь взять и броситься в Темзу. Вдоль стены — скамья, на ней сидят столь же унылые пропойцы, они сидят молча, как в приемной департамента или на узловой станции.

А у входа — женщины; за их юбки цепляются малыши, перепуганные ревом шарманки или редкой отрывистой бранью. Женщинам пиво выносят наружу, они сладострастно тянут темную жижицу, отрывая и мечтая. 10 часов. Хозяин сипло выкрикивает: «Джентльмены, пора!»... Какой-то из джентльменов напоследок спешно выхлестывает еще одну кружку. Гаснет последний огонек. О том, что происходит дальше, знают только черные дома, тщательно сторонящиеся друг друга, дома-святыни и дома-тюрьмы. Иногда об этом узнаёт и бурая вода Темзы.

Какой же нестерпимо яркой, какой нежной кажется трава лондонских парков! Нигде нет травы зеленее. Ее можно топтать, па ней можно валяться, на ней можно даже умереть, она не поблекнет, не поникнет, не сдастся. За нее и островной климат и традиции; она ведь призвана врачевать болезненные души, эта изумрудная непорочная трава.

Иностранцу, конечно, не преминут показать рядом с легендарной зеленью всю, не менее легендарную, фауну Гайд-парка — наглядный урок английской терпимости и английской свободы. Вот красноносый пьяница (что делать — по утрам пивные закрыты) хрипло поет псалмы и, покрикивая, как Держиморда, спасает души прохожих. Вот длинношеяя уродка хлопочет о свободе разводов. Вот индеец в чалме настаивает на полной независимости Индии. Вот, наконец, безработный: красный флаг, сжатые кулаки, «советы»... Все они говорят, что хотят и о чем хотят. Их слушают или не слушают. За шиворот никто их не хватает. Умиленный иностранец готов упасть на единственную в мире траву и заплакать. Урок дан. Стоит ли спорить? Стоит ли при виде того же индийца припомнить, что, вздумай он проповедовать не в лондонском парке, но, скажем, на базаре Калькутты, он узнал бы, вместо шелковистой травы, обыкновенные тюремные нары? Стоит ли усомниться в кулаке безработного?.. Или просто выслушать, умилиться, поблагодарить?.. Ведь свобода такая же условность, как любовь или как свежий воздух. Не будем придирчивыми, прославим свободу этой горькой и абстрактной проповеди среди зеленой, как сон, травы!

Свобода, человечность, человеческая гордость и человеческая тоска — столько-то миль, столько-то миллионов, коттеджи, трущобы, туман, старина, Темза. За всем этим ощущение нереальности, никчемности, тщеты. Дивен Лондон, и тот, кто



однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул, смутился, заполнив собою шкафы с мирными трактатами и с увлекательными романами? Как живет он, еще храня парики, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета? Как познакомился он с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработными и с самоубийствами?

Ни спортивные штаны, ни утренний «порридж», ни розовые щеки, ни книги Уэллса не обманут чужестранца: Лондон призрачен, вымышлен и неточен, как сон. Другим столицам можно завидовать, можно их также презирать. Лондон вызывает к себе высокую человеческую жалость, жалость к любому рахитику, к изумрудной траве, к раненой индустрии и к надуманной «богеме», к воскресным проповедникам, с их «спасенной душой» или же «бескровной революцией», жалость ко всей жизни, которая еще кажется кипучей, помпезной, жизнью-моделью для других стран и которая завтра может легко оборваться, как бы завершая должным образом простую жестокую притчу.

## 2. Палка о двух концах

Еда в Англии пресна и томительна, как воскресенье. Английские стряпухи ухитряются обезвкусить любую снедь. Вареная рыба — без соли, без масла, без лимона. Чтобы проглотить ее, надо прибегнуть к одному из соусов в банке. Действительно, нигде не потребляют столько приправ: перца, сои, горчицы, инбиря. Это не только кулинарная справка, это разгадка английского быта: соус здесь никак не связан с самим блюдом, соус живет своей жизнью. Соус — это хотя бы остроты Бернарда Шоу. Что касается обыкновенных человеческих идей, то они водянисты и призрачны, как та детская кашка, которую потребляет каждый англичанин, вне зависимости от его возраста и профессии.

Глаза англичанина, будь то даже директор треста или биржевой шулер, поражают своей непередаваемой наивностью.

Это, конечно, не отражается ни на дивидендах, ни на сделках, но это способствует невзыскательному юмору, а также лирической поэзии. Если где-нибудь еще сохранились детская доверчивость и способность к первоначальному удивлению, то только здесь, на этом острове черствых дельцов, лукавых торговцев и беспощадных колонизаторов. С помощью «плана Стенвенсона» они в борьбе за каучук перехитрили вдоволь хитрых янки, но, наверное, тот же сэр Джон Стенвенсон восхищенно раскрывает рот, когда в клубе какой-нибудь другой сэр показывает ему школьный фокус. В Афганистане они ловко науськивают одно племя на другое, они поднимают восстание в Сирии и подавляют восстание в Месопотамии, они ссорят евреев с арабами и мирят австралийцев с японцами, они вешают, подкупают и методично сдирают с других народов, казалось бы, несуществующую, восьмую шкуру. Но поглядите, как трогательно они влюбляются, как краснеют при виде избранного предмета, как в перерыве между двумя заседаниями или между двумя экзекуциями они вздыхают, вянут и сохнут!..

Всем известно, что англичане храбрые мореплаватели и превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Они открыли немало земель и островов. Но перед всем новым, неожиданным они робеют. Если их мощь основана на детском любопытстве, то их консерватизм следует объяснить не принципами, да и не тупостью, но только робостью. Можно сказать, что теперь вся Англия стоит сконфуженная перед Америкой. Старые приемы износились. Отчаянные головы, авантюристы, смельчаки, открыватели нового — давно разбежались по белому свету. Они создали ту же Америку. В Англии остались не только шуговские церемонии и королевская гвардия, но все навыки верноподданных бабушки Виктории. Молодые англичане до сих пор пишут пятиактные комедии, а молодые англичанки рисуют цветы в вазонах. Все новое здесь прозябает. Лондонские небоскребы — это жалкая попытка соединить индустриальную технику с томиком истории искусства. Речи коммунистических агитаторов смахивают на воскресные проповеди, а старик Форд, построивший в Манчестере автомобильный завод, получает оттуда весьма неутешительные сведения: английские рабочие никак не могут приспособиться к конвейеру. На пути, до сих пор именуемом чудаками «путем прогресса», Англия явно замешкалась. Здесь начало ее экономического падения. Здесь может быть также

начало ее человеческого подъема. Принято англичанина подавать, как образец мужественности. Это — бульдог с ощеренной пастью или, на худой конец, мистер Черчилль. На самом деле англичанин чрезвычайно женствен, и вернее его представить в виде мисс, хотя рослой и не стыдящейся гусиной кожи на руках, но полной девического смущения.

Англичане боятся женщин, поэтому они их избегают. В университетах студенты тщательно обходят студенток. Существуют тысячи убежищ — клубов, куда вход женщинам заказан. В каждой средней руки гостинице имеется комната «только для джентльменов», там англичане дремлют или мечтают, убежденные в своей полной безопасности. Эти заповедники рождены исключительно мужским страхом и тем ореолом непонятности, который украшает вдоволь прозаических женщин. Ясно, что, напав на какую-нибудь костлявую мисс, способную играть в теннис и варить яйца всмятку, молодой англичанин, привыкший к покою интерната, стремительно влюбляется.

Англичанину ничего не стоит уехать на Соломоновы острова, исколесить весь свет, пойти с револьвером на тигра, наконец, положить свою жизнь во имя любой идеи, во имя верности королю или во имя хорошего отношения к чистокровным терьерам; он готов всегда и на все. При этом он способен прожить свою жизнь неудобно, пусто или даже позорно, подчиняясь заведенным кем-то обычаям. Никогда не придет ему в голову, что можно протестовать. Подайте ему к утреннему завтраку тухлую треску, он вздохнет и съест. Преподнесите ему какой-нибудь идиотический закон 1687 года, которому он обязан подчиняться, он снова вздохнет и подчинится.

С детских лет нас немало морочили разговорами о чувстве человеческого достоинства, присущем исключительно англичанам. Здесь все мешалось: историческая справка о Хартии вольности, рассказы о неприкосновенности жилища, наконец, заверения, что англичанина никак нельзя ударить — он, дескать, этого не переживет. Я слушал эти рассказы в стране городских и мордобоев, слушал и завидовал: детям нужны сказки!

Англия, кажется, единственная в Европе страна, где до сих пор существуют телесные наказания. Воришку могут присудить к стольким-то ударам плетью. Это, наверное, несколько шокирует англичан, исполненных чувства человеческого достоинства и возмущенных «принудительными работами» в Советской России. Они читают об экзекуции за утренней

кашицей, читают и вздыхают. Недавно присудили к телесному наказанию мальчонка, уличенного в мелкой краже. Так как преступнику не было и десяти лет, один из вздыхавших, а именно член парламента, не выдержал. В Англии теперь правительство «рабочей партии». Кому же, как не ему, заняться отменой столь зверского пережитка? Начался водевильный диалог: «известно ли достоуважаемому?» ...Оказалось, что известно. Оказалось также, что «достоуважаемый» ничего поделать не может. Существует закон. Судья, присудивший мальчика к наказанию розгами, руководствовался законом. Следовательно, мальчик должен быть выпорот. Говорить не о чем. Можно зато протестовать против религиозных преследований в России. Можно также вздыхать, дремать и томиться.

Английский парламент издавна вызывал уважение чужестранцев. Слов нет, он куда приятней других парламентов. Я говорю не только об архитектуре, но и о повадках. В нем нет ни грубой муштры рейхстага, ни дешевой живописности палаты депутатов: это — клуб для спортивных дельцов или для деловых спортсменов. К пяти часам зал пустеет: на веранде сервируют чай с тостами. Во всем нечто семейное, да и состав парламента как бы подтверждает это. Вот сын Макдональда, а это — дочка Ллойд-Джорджа. Здесь не только фракции, но роды. Это твердость семейного начала, это также цеховой характер заведения: сын биржевика становится биржевиком, сын углекопа — углекопом, сын депутата — депутатом. Говорят в парламенте без излишнего красноречия, сидят запросто, развалившись и закинув ноги куда-нибудь повыше. При мне один из «тори» преспокойно положил свои ноги на стол, причем это был не просто стол, но особенный; помимо ног «достоуважаемого», на нем лежал еще один предмет, самый достоуважаемый, а именно — жезл спикера. Об этой палке стоит поговорить. На «процессию спикера» ежедневно собираются зеваки, как на бесплатное представление. Какие-то угрюмые молодцы несут золотую палку. Потом проходит степенный шут с облезшим париком на макушке. Глядя на это, креститься никто не обязан, желающие могут даже улыбаться. Палка остается, однако, священной. Недавно вся Англия содрогнулась, узнав о неслыханном кощунстве: один из крайне левых депутатов, возмущенный преследованием индийцев, а также лицемерием правящей партии, схватил палку и вынес ее из зала заседания. Здесь все опешили. Святотатец же объ-

яснил, что, вынося палку, он хотел этим прервать заседание, так как без палки парламент — не парламент. Очевидно, и он свято верил в магические свойства указанного предмета.

Просвещенные англичане тяготятся зависимостью от мертвых вещей, от образов, от слов, от нескончаемого этикета, который поглощает всю человеческую жизнь, они тяготятся этим, но они этим и дорожат, они как бы боятся, что без этого распадется великая империя, исчезнет хорошо налаженная и в то же время призрачная, вымышленная жизнь. Ничто не связывает одного англичанина с другим, кроме знания истории и природной вежливости, то есть кроме тех же условностей. Таково оправдание золотой палки. Надо ли говорить о том, что и эта палка, как все палки мира, о двух концах?

Англичанин обожает отъединение. На улице он тщательно избегает задеть локтем встречного. В автобусе или в вагоне его место должно быть отделено от соседнего ручкой. Прикосновение чужого тела для него мучительно. Он живет в отдельном коттедже, предпочитая дрянной домик на окраине Лондона прекрасной квартире со всеми удобствами в большом многоэтажном доме: ему мало даже самых толстых стен. Он знает только своих друзей, остальные люди для него прежде всего не интересны: он вежлив и равнодушен. Понятие «общественность» для него метафизика. В Лондоне нет городских садов. Имеются королевские парки, в которых могут гулять все: это вежливость короля. Имеются также скверы; ворота в них заперты, в этих скверах могут гулять только обитатели домов, выходящих на скверы, у них ключи, прочим смертным остается любоваться сквозь решетку на теннисные деревья. Вот предел коллективного: десять домов — один сквер, сто джентльменов — один клуб, тысяча рабочих — один тред-юнион. Все остальное, то есть призывы к единству нации или трактаты о единстве класса, остается вне сердца и вне жизни; это только ветер с континента.

«Континент» для каждого англичанина не просто «заграница», а мир чуждый, страшный и привлекательный. Конечно, живут там люди низменные: их могут лишить политических свобод, они горячатся и ругаются, вместо матчей крикета у них происходят скандалы, землетрясения, даже революции, но там нет бремени вековых условностей. Туда можно убежать, хотя бы на время, убежать из заведомо свободной Англии на порабощенный континент, причем это будет бегством

каторжника, мечтающего о свободе. Даже «вик-энд», то есть короткий воскресный отдых, англичанин стремится провести на континенте. Летом пароходы, покидающие остров, переполнены туристами, чтобы не сказать беглецами. Перешльв пролив, англичанин тотчас забывает о своей национальной сущности, легко расстается с вежливостью, не вспоминает об обязательных традициях, на один день он становится континентальным варваром, живет ничего не боясь, в полное свое удовольствие.

Но бегство на континент — это только передышка, только каникулы или пикник. Настает час возвращения. Завидев в тумане родимые берега, англичанин снова становится вежливым и замкнутым. Он принимается за овсяную кашу. Все континентальное остается на палубе парохода, за исключением разве что открыток, назначение которых — в зимние вечера волновать на минуту сердце. На континенте англичанин наслаждался, он там и не думал учиться. Зорко следит он за собой: не заразился ли он какими-нибудь недопустимыми повадками?.. Континентальное хорошо на континенте, в Англии ему не место! Вам нравится этот роман?.. Собеседник помолчит, вежливо улыбнется и ответит: «Разумеется, но это для континентального вкуса...» Вы полагаете, что рабочей партии не пристало посадить в тюрьму 5000 индийцев? Снова — вежливая улыбка: «У вас континентальная точка зрения»...

Хранить островную психологию — это значит работать и зарабатывать, это значит торговать, морализировать и управлять государством. Но вот проходят годы, десятилетия, века, и спасительная отъединенность становится проклятьем, за нее Англия теперь расплачивается не только промышленным кризисом и безработицей, но и бесплодием, окоченением, тоской, которая, выходя из рамок традиционного «сплина», готова превратиться в новую эпидемию, в разлад жизни, в распад империи. Если рыба тухнет с головы, естественно, что страна начинает разлагаться с ее умственной верхушки. Так, вместо полезных специалистов, вместо врачей, адвокатов, романистов, скрипачей появляются неопределенные неврастеники, которых можно окрестить на русский манер «интеллигенцией». Это и есть голова рыбы, а также первый предвестник многих катастроф. Английская интеллигенция напоминает русскую конца прошлого столетия. Она страстно увлекается Чеховым, и вполне корректный инженер, увидав на сцене трех сестер, которые скулят

«в Москву! в Москву», не только не изумляется и не зевает, но отвечает на стенания сочувственными вздохами; причем «Москва» лишена здесь географического значения; это просто нытье ради нытья, это поэзия скуки, с сознанием, что зевать стыдно, что надо стремиться к «небу в алмазах», но с твердым в то же время сознанием, что небо над островом неизменно серо, а алмазы добываются неграми в английской колонии. Климат изменить невозможно, освободить кафров невыгодно, да и глупо. Остается вздыхать. Наиболее решительные отвечают самоубийством. Другие, поскромнее, зачитываются романами о самоубийцах, нюхают якобы кокаин, увлекаются, впрочем вполне абстрактно, сексуальными извращениями и пробуют между кашей и сном выдумать нечто напоминающее «богему». Им и невдомек, что богемы больше нет нигде, даже на соблазнительном континенте, что жизнь повсюду стала жесткой и сухой, что теперь можно только работать, ни о чем не думая, или же кинуться в одну из паршивых, давно обмелевших рек Европы. У них еще все в порядке: и законы, и колонии, и заработок. Они могли бы жить спокойно, как их деды, смеяться над фокусами, пить портвейн и кичиться своим либерализмом, но нет, они томятся и вздыхают. Они куда совестливей их французских или немецких собратьев. Очевидно, рассказы о «человеческом достоинстве» лживы не до конца, очевидно, в этом народе еще жив первичный миф — «человека». Он мешает стране продолжать богатеть, он мешает ей также бесславно погибнуть. Он требует выхода. Но здесь-то встает страх — это снова подул на Англию ветер с континента. Повернемся к материке спиной! Усилим в портах полицейский контроль! Сожжем на костре неподобающие сочинения! Узенький пролив, который каждое лето переплывают предприимчивые спортсменки, превращается в непроходимую бездну. А вздохи?.. Вздохи растут. Бедная Англия!..

### 3. День джентльмена

В Англии много безработных, следовательно, в Англии много и бездомных. Для бездомных существуют ночлежные дома. Там можно получить койку на ночь. Но вспомним — мы в стране «человеческого достоинства» — милостыня оскорбительна для гордого британца. Следовательно, бездомный должен оплатить

свой ночлег. Ему предлагают перетаскивать камни из одного угла двора на другой. Так находится работа для безработных, так охраняется облик человека. Попрошайничать стыдно, попрошайничают только на континенте!.. Здоровые парни, шахтеры, ткачи, выходят на улицу с букетиком одуванчиков или с детской дудочкой, чтобы набрать несколько пенсов. Приличия соблюдены. Он жив, этот добрый английский народ, который обожает короля, который круглый год готовится к святкам, который горд тем, что он живет на том же острове, на котором живут все достойные уважения джентльмены!..

Итак, забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы, забудем о горе и о гнили Поплара, забудем о шахтах, о прядильных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств, посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость, на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о конституции и о дерби, презируя «мещанскую Францию» и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию? Вы примете по ошибке немца за англичанина — немец самодовольно улыбается: ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист: конечно, он за уничтожение коммунистов, но он еще против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба — недаром он перед зеркалом часами упрятывал под зубы язык — он научился произносить французские слова с английским акцентом, он старается курить трубку, хоть его и подташнивает, он старается даже, несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя, он, видите ли, вовсе не сын марсельского лавочника, он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги — в Нью-Йорке, бордели — в Париже, но идеалы — идеалы только в Лондоне.

Слов нет, английский джентльмен достоин изучения: это особая порода, с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки или дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя? В нашей старой Европе немало курьезов:



я видел в глуши Словакии стариков с длинными косами, я видел в Польше шарлатанов-цадиков, окруженных фанатичными приверженцами, я видел своими глазами немцев, преданных республике, и французов, преисполненных уважения к другим народам. Но не скрою, английский джентльмен глубоко поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, когда он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом. Мне даже хотелось измерить его череп и положить в банку со спиртом его, наверное поразительный, мозг. Ведь не следует забывать всей важности рассматриваемого экземпляра: это не еврей в лапсердаках, не полудикие горцы, нет, это идеал Европы, ее голова.

Значительность особы можно понять хотя бы за утренним завтраком. Не будем говорить о Цейлоне, который самим господом создан, чтобы поставлять крепкий душистый чай, на то Цейлон, колония. Но каково назначение Норвегии? Вот тарелка; перед джентльменом вареная треска; каждое утро он ест треску. Вся Норвегия только и живет что этими традициями тресколюбивого острова. После трески — яичница со свиным салом. От Норвегии недалеко до Дании. Государственный бюджет этой вполне корректной страны, как и семейное счастье любого датчанина, построены на священной потребности джентльмена после трески приступить к свиному салу. Можно было бы продлить географический и гастрономический экскурс. Но стоит ли?.. И так всем известно, что вне вкусов джентльмена нет в мире счастья.

Не следует думать, что джентльмен это аристократ. Нет, титул «сэра» обеспечивается, скорее, хорошим достатком, нежели голубой кровью. Грек Базиль Захаров, в свое время ознакомившийся с английской тюрьмой, — «сэр». Голландский клерк Детердинг также «сэр». Это относится к простой арифметике. Но племя джентльменов много шире. Владелец портерной или скупщик хмеля тоже джентльмены. Правда, о туалетах их супруг ничего не сообщается в светской хронике газет, правда, развлекаться они ходят не в «Савой», но в место подешевле. Однако в точности они копируют все повадки образцовых джентльменов, и мы вправе говорить об ассимиляции. Их лица уже лишены выражения, и они могут породисто молчать. Не будем придирчивы, это — джентльмены.

Образцы, разумеется, наверху. На широкой веранде парламента мне удалось наблюдать за одним из самых выразительных джентльменов, а именно за Чемберленом. При нем были все его неотъемлемые атрибуты: цилиндр, монокль и явное презрение к рабочим-депутатам, которые бесцеремонно пили чай здесь же, рядом с ним (увы, в ресторане парламента оппозиция его величества никак не отделена от правительства его величества). Нет, кажется, на свете захудалого карикатуриста, который не нарисовал бы хоть раз Чемберлена. Однако это неблагоприятная тема — карикатура здесь немыслима. Чемберлен настолько закончен, настолько типичен, настолько показателен, что никакая фантазия не сможет утрировать его черт. В течение добрых десяти минут Чемберлен глядел на воду разочарованно и праздно. Можно было приписать ему любые мысли: о ничтожестве лейбористов, о распаде великой империи или даже о тщете всей джентльменской жизни, но честнее назвать этот взгляд глубоко беспредметным, так что, забывая о дебатах, о монокле и о многом другом, невольно я себя спрашивал — уж не Байрон ли предо мной?.. Наконец, вдоволь помолчав, Чемберлен прошел в зал заседаний. Там он столь же благородно и разочарованно положил на стол свои, бесспорно джентльменские, ноги.

Легче всего опознать джентльмена по ногам. Люди попроще и победней как-то стыдятся своих ног; они то поджимают их, то с натянутой развязностью вытягивают. Джентльмен сразу находит для своих ног какую-нибудь наиболее высокую точку. Если он сидит в кресле, с неподражаемой легкостью он перекидывает ногу за ручку (ручки кресел здесь предназначены именно для этого). Если перед ним стол, он находит и на столе неоскорбительное для своей ноги место. Он умеет распоряжаться своими ногами, это дается не только воспитанием, но и наследственной культурой.

Обработка джентльменов требует большого искусства. Если Манчестер славится текстильными фабриками, то Кембридж или Оксфорд могут быть также причислены к индустриальным центрам: в этих городах изготовляют особенно породистых джентльменов. Лекции по философии наравне с готикой, сказывающейся здесь даже в любой уборной, приучают джентльмена к ощущению известной нереальности. Он может стать впоследствии директором треста или биржевиком, но глаза его

навсегда сохраняют некоторое недоумение. В свободное от занятий время юные джентльмены занимаются греблей, гольфом или крикетом. Это освобождает их от чересчур абстрактных мыслей. В десять часов ворота запираются. Это — монастыри без религии, школы без назначения. Каждый, прошедший через подобный искус, приобретает двойную ценность. Это видно не только по его кисету, украшенному цветами такого-то колледжа, но также по особой меланхоличности глаз, которую мы совершенно напрасно связываем с лирической поэзией.

Храмы джентльменов — это клубы, храмы поместительные и комфортабельные, с заменой крещения или обрезания обыкновенными членскими взносами. Клубы эти донельзя похожи один на другой: клуб квакеров, клуб автомобилистов, клуб консерваторов или клуб владельцев шотландских терьеров. Женщинам вход в клубы строго запрещен. Имеются, правда, исключения вроде «клуба 1917» или «клуба рабочей партии», но туда ходят не джентльмены, а неврастенические интеллигенты с континентальными замашками. В клубе либеральной партии, прикинувшись наивным чужестранцем, я спросил, — нет ли среди членов клуба женщин, например депутатов парламента? Один из дремавших либералов, услышав столь кощунственный вопрос, очнулся, переложил ногу со столика на этажерку и презрительно ответил мне:

— Мы могли впустить женщин в парламент, но не в клуб!

В политических клубах имеются большие залы, где джентльмены курят и обсуждают политические вопросы. Англичане предупреждали меня, что в этих залах сидеть неприятно, ввиду сильного шума. Я, однако, не услышал ничего, кроме подозрительно равномерного дыхания и звяканья кофейных ложечек. Святыня клуба — библиотека. Дело не в почтенных томах на полках, не в газетах на столах, но в надписях «соблюдайте тишину!», а также в креслах, в кушетках, в диванах особой мягкости и поместительности. Призыв к тишине соблюдается относительно, так как после «ленча» в библиотеке стоит густой храп. Это злая шутка природы — многие джентльмены, известные своей стопроцентной молчаливостью, спят громко, чавкая или подсаывая. Клубы существуют ради библиотек, библиотеки ради сна, но почему надо спать на людях и в кресле, а не дома и не лежа — понять невозможно. Это относится к мистике джентльмена.

Столь же трудно разгадать любимую игру джентльменов — крикет. Игра эта долгая, томительная и бессюжетная. Она похожа на овсяную кашу и на добрые английские романы. Футбол считается занятием грубым, простонародным; он чересчур возбуждает зрителей, которые доходят даже до криков одобрения. На матчи крикета собираются все джентльмены. Они сидят часами молча и смотрят. Иногда их одолевает дремота, но через минуту они просыпаются и продолжают смотреть. Играют в крикет только англичане и австралийцы. Один год побеждает Англия, другой Австралия. Это событие первостепенной важности, которое позволяет забыть о каких-то невоспитанных индийцах, занятых низменной солью.

Джентльмен любит путешествовать, но, путешествуя, он, конечно, продолжает оставаться джентльменом. Будь то Сахара, в половине пятого пополудни он начинает испытывать беспокойство, даже глаза его приобретают тоскливый оттенок: приближается час послеобеденного чая. Различные страны называют англичан. «Лето в Австралии — лучший в мире гольф!»; «Канада — матч тенниса». Джентльмен едет в Австралию и там тотчас отправляется на работу: он идет важно по полю, а сзади бежит австралийский мальчонок, нагруженный орудьями труда. Джентльмен отважно переплыл океан, но Австралия его никак не интересует. Он приехал играть в гольф.

Тяжелые физические упражнения не мешают джентльмену быть изысканным в своем туалете. Конечно, в Лондоне много банков, портерных и миссионерских обществ, но больше всего в Лондоне магазинов мужского белья. Глядя на выставленные в окна шелковые кальсоны, на пижамы с хитроумными разводами, на носки, строго согласованные не только с рубашкой, но и с галстуком, можно подумать, что в Лондоне много мужчин, занятых неблагоприятной профессией. Но это не так. Люди нефти или хлопка, биржевые маклеры, инженеры, химики, банкиры — все они без исключения увлечены цветом своих подштанников. Женщины могут одеваться проще, скромней. На то они женщины. Правда, у них избирательные права, но в клубах их не пускают. Это низшая каста, им далеко до джентльменов.

Поскольку джентльмену приходится все же прибегать к услугам указанной касты, он отменно вежлив. Он пропускает даму вперед к кровати и платит ей гинеями. Вместо грубых бор-

делей, для джентльменов Лондона устроены салоны, полные задушевного благообразия. Леди в бальных платьях подносят джентльменам (которые, разумеется, все во фраках или, на худой конец, в смокингах) благоуханный чай. Потом леди и джентльмен проходят в комнату за гардинами. Там медленно джентльмен снимает фрак. Как хороши его подтяжки! Как нежна его любовь!

Образцового джентльмена можно узнать также по трубке. Если на мундштуке белый кружок, следовательно, перед вами чистый образец: настоящий джентльмен курит трубки Донхилия. Это куда больше вопрос этикета, нежели вкуса. Белое пятнышко влетает в копейку, но без него не прожить — разве вы не слышали, что принц Уэльский курит маленькую носогрейку номер 305, которую он носит в жилетном кармане?.. В магазине Донхилия можно увидеть трубки ценой в десять гиней; это дерево с особенно правильными вертикальными жилками. Мне показали там одну трубку:

— Эта трубка абсолютно безупречна. Все жилки идут вверх. Один раз ее выкурил мистер Альфред Донхиль...

Богомольно взглянул я на непогрешимую трубку. Что же мне теперь делать — зарезать богатую старуху или, став на колени, благословить священный предмет и верховного жреца мистера Донхилия, который однажды коснулся ее губами?..

Вечерами джентльмены курят в клубах безупречные трубки. Иногда они танцуют; танцуют так же бесстрастно и отвлеченно, как и курят. Иногда они идут в театр или в кино. Вот картина по роману Ремарка. Люди падают, сбитые пулеметным огнем, корчатся, умирают. Зловещее мяуканье снарядов и грубый американский акцент. Джентльмены и леди в бальных платьях смотрят на экран. Многие из джентльменов в свое время побывали на берегах Соммы. Многие леди тогда плакали над отцами, женихами или братьями. Бесстрастно смотрят они на экран. Кто знает, что сильнее смущает их: воспоминания или скверное произношение актеров? Вспыхивает свет. Оркестр исполняет гимн. Леди и джентльмены торжественно встают. Потом оркестр переходит на фокстрот. Леди и джентльмены отправляются спать.

По четвергам зоологический сад Лондона открыт до полуночи. В Лондоне мало развлечений, и джентльмены едут к зверям, чтобы несколько развеселиться. Клетка шимпанзе.

Насмешливо поглядывает обезьяна на посетителей. Перед ней джентльмен во фраке и в цилиндре. Невольно теряешься — почему не он за решеткой?.. Вся беда обезьяны в отсутствии фрака и в густой растительности, но, право же, она куда человечней джентльмена. Она понимает, что посетителю скучно, что ему надоели и библиотека клуба, и модные лавки; она пробует развлечь его великолепными ужимками шекспировского актера. Но он выдерживает тон, он не улыбается, не морщится, он стоит, неподвижный и немой, богоподобный джентльмен перед всего-навсего человекоподобной обезьяной.

Молодые джентльмены взяли декольтированных красавиц в креслах на колесиках. Сад пахнет хищниками, пометом и духами. Вот леди подвезли к клетке с тигром. Зверь уныло машет хвостом. Электрический свет его слепит. Духи его оскорбляют. Леди бесстрастно смотрит на тигра. Потом она слегка наклоняет голову: джентльмен тотчас везет ее дальше — к носорогу или к крокодилу. Играет оркестр, и все зверье большого сада мечется, пытаясь развлечь тех, кто не может по своему чину развлекаться.

Такова жизнь, полная условности и ритуала. В нее входит, конечно, и работа: сделки, договоры, колонии, экспорт, кабели, курсы, но работа эта традиционна и пуста. Джентльмен ничего не может выдумать, он отступает перед предприимчивыми янки, отступает даже перед настойчивыми немцами. Он еще живет хорошо, несмотря на кризис, вернее — он не живет, а доживает. Если при этом его сердце незнакомо с изменениями ритма, это надлежит объяснить не только его прирожденным спокойствием, не только высоким умением оксфордских профессоров, но и отъединенностью от подлинной жизни. Нельзя говорить о слепоте: джентльмен все видит и все знает. Он изучил статистику безработицы и хорошо знаком с историей континентальных революций. Но между ним и действительностью прозрачная стеклянная стенка. Я видел на английских кладбищах фарфоровые цветы под стеклянными колпаками. Под такими колпаками у нас держат сыр. Фарфоровые цветы не боятся солнца, засохнуть они не могут, но колпаки предохраняют их от града. Впрочем, и колпаки бьются, так что это вопрос о силе атмосферного давления. Душа живого джентльмена — под таким же стеклянным колпаком. Хрупкая душа и хрупкая защита! Рядом растет и входит в силу смерть, педобрым огнем

горят глаза других обитателей острова, отнюдь не джентльменов, тех, что открывают дверцы автомобилей или дуют в дурацкие дудочки. Кто знает, когда падет град?.. Одно знают все: этот град будет тяжелым и беспощадным, как библейская кара.

#### 4. Обед в «Пен-клубе»

Литература в Англии на положении палаты лордов: ее уважают, но она никому не нужна. Тираж книг весьма ограничен, и все издатели — маклеры: их главный заработок — перепродажа авторских прав в Америку. Произведения самого значительного из современных английских авторов Джойса продаются из-под полы, как кокаин. Куда разумней в Англии быть стряпчим или даже псарем, нежели писателем.

Писателей, однако, на острове немало; еще больше людей, пописывающих, почитающих и обожающих литературу. Легко догадаться, что основное их занятие это посещение десяти литературных клубов. Один из наиболее известных — «Пен-клуб». Это благонравная английская мечта, нечто вроде объединения «чистых» на Ноевом ковчеге, интернационал профессионалов, якобы отрешенных от своей профессии, занятых исключительно взаимным сближением, а также пропагандой универсального мира. В секретариате лондонского «Пен-клуба» висит карта Европы с воткнутыми флажками. Оказывается, нет на континенте злосчастного захолустья, где бы не было своего «Пен-клуба». Лондон и здесь остается диктатором: наряду с трубками и с низкорослыми терьерами народы Европы спешно обзаводятся «Пен-клубами».

Какова цель этих почтенных учреждений? Услышав подобный вопрос, любой журналист Варшавы мигом превратится в Льва Толстого: он начнет говорить о всех преимуществах мира над войной. Пережив четыре затруднительных года, европейские писатели решили предаться пацифизму. Эти разговоры, как известно, ни к чему не обязывают и заканчиваются они в день мобилизации. Писатели, в свое время взывавшие к «священной ненависти», могут подымать тосты за «всеобщее братство». В этом году они избрали для буколических воздыханий самое подходящее место, а именно Варшаву. Правительство Пилсудского их нежно приветствовало. Они пили вволю и

«старку» и «рябиновку», вволю говорили о мире. В их оправдание можно добавить, что другой международный съезд литераторов заседал недавно в стране, также прославленной своим миролюбием: в Румынии.

По уставу, все «Пен-клубы» обязуются никак не касаться политики. Это, конечно, придумано англичанами. Жизнь на острове достаточно абстрактна, работа писателей никому не нужна, следовательно, им нипочем и безработица. Болдуин или Макдональд — не все ли равно? Они любят мир и красоту. Они против грубой политики. Стараясь угодить этим чистоплюям, польские «пилсудчики» на полчаса забыли о своих прямых обязанностях. Лондонский «Пен-клуб» радуется: как же, он показал всем, что писателей объединяет нечто высшее, вот даже на съезде в Варшаве речь шла не об арестованных украинцах, но исключительно об умиротворяющей роли литературы...

Занятия «Пен-клуба» хоть и возвышенны, но несколько однообразны: раз в месяц «Пен-клуб» устраивает обед в честь какого-нибудь иностранного писателя. Речь идет не о гастрономических восторгах: кормят на этих обедах весьма посредственно, но только о взаимном сближении.

Этой весной я получил от лондонского «Пен-клуба» любезное приглашение. В повестке, которая рассылалась всем членам, было указано, что такого-то числа состоится очередной обед, под председательством Голсуорси. Вслед за этим весьма обстоятельно описывалось, какой костюм наиболее приличествует трапезе. Горячо рекомендовался смокинг. После трактата о костюме шла короткая справка о том, чем примечателен приглашенный гость.

В салоне, примыкающем к обеденному залу, был выставлен большой план — где кому сесть. Имелись столы: А, В, С, D. Размещение приглашенных, согласно их рангу и возрасту, требует, видимо, немалых усилий. Члены клуба взволнованно изучали план. В качестве «почетного гостя» я был посажен за стол А, рядом с вполне маститыми членами. Самому молодому из них было лет за шестьдесят. О том, кто их очередной гость, члены имели самое смутное представление. Некоторые полагали, что я французский поэт, другие уверяли, что я немецкий философ. Один, впрочем, твердо усвоил, что я русский, и поспешил меня порадовать:

— Я был представителем великобританского командования при штабе генерала Деникина.



Обед проходил вполне благообразно, классический английский обед, посвященный предпочтительно перемене ножей и вилок и перестановке официантами стаканов с одного места на другое. Рядом с председателем лежал большущий деревянный молоток. Постучав им, он начал задушевный спич. Прежде всего он меня представил членам клуба: «создатель замечательного фильма: «Любовь Жанны Ней», потом он рассказал, как чудесно кормили и поили милые поляки английскую делегацию. Соседи также занимали меня разговорами, причем я мог убедиться, что устав клуба соблюдается только в части, касающейся костюма: разговор шел предпочтительно на политические темы. Члены «Пен-клуба» сокрушенно вздыхали над судьбами восточных варваров. Одна леди, достаточно пожилая и, следовательно, достаточно обнаженная, к концу обеда наконец выяснив, что я не французский поэт и не немецкий философ, с подлинным соболезнованием сказала мне:

— Но что же сделали большевики с вашим маленьким бедным генералом?..

Я вежливо подсказал ей:

— Наверное, съели.

Леди побледнела, из ее руки выпал десертный ножик. К счастью, час был, на лондонский взгляд, поздний, «взаимное сближение» кончалось, и ее вскоре отвезли домой.

Конечно, и среди членов «Пен-клуба» имеются настоящие писатели, конечно, и помимо «Пен-клуба», существует английская литература. Я встречался в Лондоне с молодыми писателями, которые достаточно непочтительно отзывались о столах А, В, С, D. Однако обеды «Пен-клуба» не просто водевиль, это, скорее, клинические данные, это старческий лепет, это агония. На континенте жизнь куда грубее; там люди толкаются, влезая в трамвай, там в ходу цензура, доносы и тюремная баланда. Писатели там быстро усвоили навыки времени. Если они и устраивают идиллические спевки «Пен-клубов», это лицемерие и мода. Не то в Англии: даже леди, допрашивавшая меня о «маленьком генерале», и та отнюдь не кривила душой. Подслеповатость здесь еще обязательна для человека, имеющего дело не с издателями, — какая пошлость! — но с музами. Для писателей нет места в жизни, зато они уютно и в то же время пристойно устроились над нею.

— Куда вы едете из Лондона? — спрашивали меня затворники «Пен-клуба».

Я отвечал: в Манчестер. Тогда по лицам, нежным и отвлеченным, как бы сделанным одним из прерафаэлитов, проходила легкая тень недоумения. Что интересного в Манчестере? Это грязный и скучный город: там нет ни древностей, ни музеев, ни изысканного общества, ни морских закатов. Затворники никогда не бывали ни в Манчестере, ни в Глазгове. Они не бывали даже в восточных кварталах Лондона. Они ездят на озера в Уиндермер или, еще охотней, во Флоренцию. Они изучают Европу в монастырях Умбрии или на пляжах Нормандии. Потом они возвращаются домой, в маленький коттедж под Лондоном, где ярко-зеленая трава, камин и томики стихов в замшевых переплетах. Там они пишут романы, элегии, пьесы, философские или моральные, о прелести осени, об отваге изобретателя или о душевном конфликте мистера такого-то. Этот мистер живет рядом в таком же воображаемом коттедже, и этого мистера нет нигде. Под ними глухо трясется земля, двадцатый век, несколько запоздав, вступает наконец-то на остров. Они не слышат гула и досадливо отряхиваются, когда новая жизнь сыплется на них с серых листов газет. Этот разрыв воистину патетичен, он заставляет отнестись с должным соболезнованием даже к смокингам и молоточку, он превращает каждую из месячных трапез со столами А, В, С, D в тайную вечерю, за которой — гик толпы и укус, но без правды и без воскресенья.

## 5. Манчестер

В других городах люди смотрят порой с опаской на небо, они изучают стрелку барометра, они колеблются — стоит ли взять зонтик, они жалуются на погоду — снова дождь!.. В Манчестере барометры не в ходу, и никто в Манчестере не говорит о погоде. Дождь здесь не досадное происшествие, не сезонный гость, не «столько-то дней в году», дождь входит в само понятие «Манчестер»: не будь дождя, не было бы и города; дождь здесь идет каждый день, летом и зимой, утром и вечером; его монолога не заглушают ни гул биржи, ни грохот станков, ни писк новорожденного, ни агония миллионов; этот дождь вечен. Он — святой города, нечто вроде Георгия или Михаила, он его основатель и защитник, холодный угрюмый дождь: ведь только изумительной

сырости климата обязана вырабатываемая в Манчестере нитка своей тонкостью и прочностью.

Как грибы, выросли под дождем сотни и сотни труб. Дождь обеспечивает акционерам высокие дивиденды, либералам «манчестерскую школу», рабочим гороховый суп. Смешиваясь с гарью, дождь становится черным, и грязная вода беспрестанно льется на грязные камни. Люди никогда не снимают с себя прорезиненных плащей; даже летом местные красавицы, рыжеватые, грустные, обуты в высокие сапоги. Пальцы обитателей этого благословенного города, инженеров или актрис, ткачей или спекулянтов, — узловаты, скрючены, как древние сучья. Люди сморкаются и во сне, концерты сопровождаются взрывами чихания, аптеки с утра до ночи бойко торгуют салицилкой. Дождь все льет и льет. Тротуары обведены траурной каймой.

На главной улице по утрам толпятся промокшие джентльмены. Они пахнут псиной и дымом. Иногда из раскрытого окошка на них сыплются белые хлопья. Уж не сменится ли опустылевший дождь сострадательным снегом?.. Но эти хлопья не снег, эти хлопья — хлопок; там, наверху, на восьмом или на девятом этаже огромного корпуса, в комнате под номером 468 или 723 один ревматик продает другому воистину непорочное счастье черного города: легкий белый хлопок.

Англичане не любят говорить о Манчестере: это слишком интимная тема; кто же станет водить гостя на кухню, кто станет докучать ему рассказами о своих доходах?.. Англичане говорят о старых домах Честера, о красотах озерного края или об оксфордской идиллии. Однако вне Манчестера нет Англии: здесь ее мощь, здесь также ее свежая язва. Манчестер — это означает экспорт и кризис, текстиль и безработица.

Двести лет тому назад английский парламент, после длительных и, наверное, весьма глубоких дебатов, разрешил подданным короля носить бумажную ткань: до этого постановления женщина, осмелившаяся показаться в ситцевом платье, уплачивала 5 фунтов штрафа: такова была верность прадедам, а также находчивость фабрикантов шерсти. В 1736 году Англия, изменив традициям, нашла новый способ обогащения. Манчестер быстро рос и крепнул: забыв о дожде и о гари, можно сказать, что он хорошел: на «бумажные» деньги он обзавелся церквями, театрами, музеями. Он поставлял ткань на весь мир, тонкой и крепкой паутиной он вязал другие страны. Если теперь паук приручил, если не дымят столько-то труб, если по мокрым улицам

бродят голодные ткачи, как затонувшее золото, разыскивая невозможную работу, во всем этом ничуть не повинна тонкая нитка, она по-прежнему на славу крепка. Она, кажется, крепче и Великобританской империи, и всего «мирового хозяйства».

В Манчестере с прилегающими к нему поселками 2 761 000 жителей. В Манчестере 31 процент безработных. Но стоит ли заглядывать в справочник? Не достаточно ли красноречивы эти заброшенные корпуса фабрик, эти лишившиеся дыхания трубы, наконец, эта впалость щек, непривычный на севере жар глаз, эта откровенная нищета, которая теперь, как дождь, неотделима от жизни Манчестера?

Лондонские джентльмены еще пробавляются анекдотами. «Как, вы не знаете?.. Следственная комиссия установила, что один безработный, получая от государства пособие, тем временем работал в порту. Он живет припеваючи! О чем же думает правительство? На что идут деньги налогоплательщиков? Пора обуздать лодырей!..» Тем временем по улицам Манчестера все бродят и бродят смутные тени. Тщетно останавливаются они у досок «Спрос»: доски пусты, на груд нет спроса. Счастливыцы работают два-три дня в неделю. Вот у этой тени из штиблет торчат пальцы, а у той вместо рубашки — газета. Манчестер одевает мир, но тени, которые бродят по улицам Манчестера, довольствуются библейскими рубищами.

Нить тонка и крепка, однако не на станках Манчестера решается его судьба. В Германии свои станки. В Японии свои станки. В Австралии тоже свои станки. Где-то далеко от Манчестера, под другим небом, под солнцем, столь же злым и нещадным, как манчестерский дождь, идут худые, голодные, загнанные люди. Газеты с усмешкой описывают «соляной поход». Какое дело Манчестеру до сумасшедших фанатиков?.. Но вот останавливаются новые фабрики, виснет нить, растут толпы теней, растет голод: Индия доконала Манчестер...

Безработные требуют хлеба. Либералы агитируют против консерваторов, консерваторы агитируют против Макдональда: у всех свой «секрет спасения». Притихает сосед Манчестера — кичливый Ливерпуль с конторами пароходств, похожими на античные храмы: заморские страны не хотят больше даров Манчестера, ни белых ниток, ни пестрых материй. Тишина. Одинокий вздох. Это трещит не бумажная ткань, это трещит великая империя.

Завсегдатаи клубов много говорят о хитрости «лодырей»; они вовсе не говорят о хитрости джентльменов, которые дают

свои капиталы за границу. Куда выгодней изготовлять текстиль в той же Индии, нежели в Манчестере! С точки зрения патриотов эти джентльмены — предатели. Но вряд ли их можно осудить: они верны и своему классу, и своему времени. Будем надеяться, что и они проявят должную широту, что, когда придет час их смерти, они не станут привередничать: не все ли равно, от чьей руки погибнуть — манчестерского безработного или желтого кули?

Впрочем, они еще живы, еще работают две трети фабрик Манчестера. Оставим диагноз и мораль, вернемся к хлопку. Вот его высыпают из мешков, он сбился и как бы поблек, он кажется грубым мартовским снегом. Трудно себе представить, что он превратится в тонкую белую нить. Над ним работают не только тысячи рук, но и сотни голов. Каждый год приносит новую усовершенствованную машину. Хлопок подвергается десяткам самых сложных манипуляций. Новорожденную нитку хоят, обучают, укрепляют. Вот он, единственный пафос нашего времени: машины, машины, машины! Среди их рева невольно приходит в голову простая и праздная мысль: каким прекрасным был бы человек, если бы над ним столько же трудились, сколько здесь трудятся над обыкновенной ниткой!..

Англичане еще дорожат традициями: старыми портретами в конторах фабрики и старыми повадками среди машин 1930 года. Они еще уважают воскресенье и притчу о последней рубашке. Они даже ходят в церковь. Это, конечно, непоследовательно и тупо. Древние египтяне поклонялись Изиде: они верили, что Изида изобрела прялку. Почему же англичане не поклоняются некоему Эрквейту, цирюльнику и бродяге, который изобрел ткацкий станок?.. Почему они до сих пор дивятся воскресению из мертвых столь ненужной вещи, как человек, вместо того чтобы дивиться превращению египетского хлопка в очаровательные пижамы?

В мастерских скрежет, треск, грохот, гул. Рабочие не слышат своего собственного голоса. Они угадывают слова по движению губ, как глухонемые. Так высокое искусство вносит корректив в человеческую природу. В шахтах Уэллса рабочие смотрят руками, глаз им не нужно, они живут как слепые. На фабриках Манчестера не нужно ни языка, ни ушей. Нигде не нужно ни мыслей, ни чувств: машины знают свое дело.

Кроме текстильных фабрик, в Манчестере много крупных заводов. Этот город дождя и долготерпения облюбовал старик

Форд. Здесь он одарил бестолковых европейцев своей знаменитой «лентой». В Манчестере находятся заводы Виккерса. Это имя для человека, пережившего годы войны, связано с грохотом снарядов, а также с унылым шушуканием о зловещем герое нашего века, о сэре Базиле Захарове. Входя в огромную сборочную завода, однако, забываешь о прошлом: перед глазами не история войны, но география государства, у которого все в будущем. У Виккерса нет безработных, у Виккерса теперь хороший клиент: это СССР. В парадной приемной завода можно было бы повесить, рядом со списками убитых на войне рабочих, над новеньким, как бы игрушечным снарядом, над этой реликвией и памятью о былых дивидендах, слова Ленина: «Социализм — это советская власть плюс электрификация». Над созданием Советской власти заводы Виккерса никак не работали, зато они работают теперь над электрификацией. Дощечки: «Иваново», «Челябинск», «Верхне-Днепровск»... Здесь можно дать себе отчет в горе и в мужестве, в подведенных животах, в заплахах, в карточках, в тяжелых грубых годах и в непримиримой мечте, давно уже переведенной на трезвый язык многозначных цифр. В Англии раздаются голоса о необходимости перейти хотя бы частично на земледелие: индустриальная страна, с машинами и с безработными, мечется, томится, ищет лазейки. Карта мира меняется вне международных конференций. Чадный Манчестер снаряжает молодую мужицкую страну на железный век. Правouchительная картинка?.. Нет, попросту хорошие заказы — столько-то генераторов. Остальное доскажет история.

Что же делать в этом городе, если не философствовать? Лучше не глядеть по сторонам: черные стены, сырость, гарь. На лучшей площади города чахлые деревья в кадках. Это не Лондон: здесь везачем играть в уют, здесь нет ни парков с изумрудной травой, ни уютных кондитерских. В большой гостинице — грязь и гул узловой станции. На рукавах джентльменов подозрительные белые пушинки. Почему сегодня хлопок?.. В ванной — черная лужа. В баре — толкотня, с ватерпруфов текут струи, маклеры и репортеры, отталкивая друг друга, кидаются к стаканам. Озябли они или стосковались по обыкновенной опрятной жизни, по сухим улицам, по спокойным дням? Они пьют много, пьют молча. В 11 вечера бары закрываются. Под дождем одинокие чудачки, затравленные бессонницей, еще разглядывают освещенные витрины, но даже витрины в этом го-

роде лишены сентиментальности: вместо восковых красоток — непромокаемые пальто и несгораемые шкафы. Вот у этого окна постоянно толпятся зеваки: какой-то сапожник выставил целую сцену — починка обуви с помощью конвейера. Дырявый башмак подхватывают, сдирают с него кожу, одна рука вбивает один гвоздь, другая — другой, третья наводит лоск, все вертится, блистает и спешит, а гипсовый несчастливец, доверчиво сдавший судьбе дырявый башмак, стоит, как аист, на одной ноге и меланхолично качает головой в такт заводной машинке.

Один из глазевших выругался, другой громко зевнул, потом они толкнули друг друга, здесь уже оба выругались, выругались и разошлись, вползли в сырые дома, чтобы натереть перед сном распухшие пальцы шарлатанской мазью. Да, в Манчестере вы не найдете знаменитой английской вежливости, здесь все спешат и все стараются друг друга обогнать; входя в автобус, здесь знакомишься со многими локтями. Зачем притворяться?.. Джентльмен, говоривший в Лондоне чуть ли не шепотом, приезжая в Манчестер, с удивлением узнает, что у него вполне развитой голос, он может, например, великолепно ругаться. Лицемерит ли старая Англия? Или просто умирает, уступая место манчестерской Америке? У черного города много грехов на душе, но в одном он безупречен — он никогда не лжет. Он знает наживу, убытки, богатство, голод. Все здесь досказано до конца, среди скрежета станков, под дождем или у вонючей стойки бара. Вероятно, когда настанет черед Англии ответить за все, за Индию и за Поплар, за изысканность ее джентльменов и за звериный быт ее белых, желтых и черных рабов, вероятно, в этот день в Лондоне еще будут вежливо разговаривать, какой-нибудь депутат еще будет осторожно допрашивать министра — известно ли министру, что настал день «так называемой расплаты»?.. В Манчестере тогда не будут ни извиняться, ни оправдываться.

## 6. Уголь

В северном Уэльсе — водопады и фольклор. Англичане туда ездят на летние каникулы. Овцы на зелени отлогих гор, пустынные печальные озера, вереск, редкие домики, тишина. Англичане любят природу; задыхаясь среди коפות городов, они умеют ценить и озон, и траву, и одиночество. Они не стараются

превратить лес в увеселительный сад с киосками, не стригут деревьев на манер пуделей, вместо игрушечных клумб они засевают цветы, как газоны. Жизнь их жестка, зато глубоко идилличны их каникулы и их кладбища. Северный Уэльс для них благословенная страна.

Любовь эта лишена взаимности: жители северного Уэльса не очень-то обожают летних гостей и зимних распорядителей. Ревниво отстаивают они свой язык и свои нравы. Опыт близкой Ирландии кажется им соблазнительным. Правда, крестьяне и пастухи услаждают зимние досуги вполне безобидным брюзжанием, но их сыновья, добравшиеся до скамей бангорского университета, не довольствуются одними осуждениями. Новенький национализм всегда соблазнителен, особенно среди холмов и овец. Студенты Бангора, в отличие от их английских коллег, увлекаются не спортом, а высокой политикой. Они мечтают о независимости Уэльса. Это — игра, как всякая другая, не лучше и не хуже футбольных матчей или парламентских дебатов.

Одно только обстоятельство смущает бангорских патриотов. на севере Уэльса — овцы и национальные идеи, на юге — люди и уголь, без юга Уэльс не Уэльс, но уголекопы Кардиффа или Сванси не проявляют никакого интереса к «независимости». У них свое дело — уголь, свое горе — безработица.

В южный Уэльс туристы не выезжают, здесь листва покрыта черной пылью, а на портовых водах — радужная пелена нефти. Ночью этот край кажется сказочным: бьются громадные печи, среди оранжевого тумана проступают леса труб, кричат сирены пароходов. Но скучно здесь днем: длиннущие, многоверстные улицы с маленькими серыми домишками, глухие стены фабрик, горы угля. Жизнь на земле случайна и малоприметна, подлинная жизнь проходит под землей.

В начале прошлого века Сванси был небольшим, но весьма аристократическим городком: щелкали бичи кучеров, леди улыбались миру, а джентльмены в уединении изучали карту звездного мира или новые карточные фокусы. Жизнь под землей только-только начиналась. Первые горемыки, спускаясь на 30 метров вниз, вытаскивали из-под земли драгоценные черные глыбы.

Теперь в Сванси около 170 000 жителей. Десяток церквей, парк (конечно, Виктории), высшая техническая школа, несколько универсальных магазинов, несколько дансингов с лон-



донскими красавицами, — словом, город как город. Бродя по его улицам, трудно догадаться, что под ними идет ожесточенная жизнь, что эти тротуары и витрины только покрывало над подлинным городом. Вся земля окрест изрыта, уголь ищут под замком, под дансингом, под домами и под рекой, его ищут повсюду.

Давно уже иссякли верхние пласты; все глубже и глубже уходят под землю люди. Теперь уголь добывают на глубине 300—400 метров. Оборудованы шахты по старинке. Кроме батарей, которые зажигают погасшие лампочки, похвастаться нечем. Статистика несчастных случаев и та не в силах подогнать людей — обвалы воспринимаются с завидным фатализмом: таково ремесло!..

Каждое утро происходит то темное и непонятное, с чем можно сравнить только миф о Прозерпине. Столько-то тысяч людей уходят во тьму. У каждого шахтера своя лампочка под номером; ее мизерный свет — это то, что он уносит под землю, как воспоминание о светлом надземном мире и как поруку возвращения. Лифт-площадка, раскачиваясь и содрогаясь, падает вниз. Льется на голову грязная холодная жижа. Сначала коридоры широки и освещены лампочками. Потом начинается крутой спуск к четвертому или пятому пласту. Темь. Скользкая липкая земля. Своды все ниже и ниже. Рабочие идут согнувшись, они идут долго, иногда два или три километра. Этот путь не входит в число рабочих часов, это еще не работа, только путь к работе... Подпоры из железа, но не всегда и железо выдерживает: вот здесь произошел недавно обвал — четырех задавило. Среди рабочих — дети, это не средневековье, даже не Диккенс, это 1930 год, это мирное осуществление универсальной гармонии. Не улыбайтесь скептически — самому маленькому четырнадцать лет, человечество недаром вдохновлялось благородными идеями, два года отвоеваны — прежде под землей работали и двенадцатилетние. Мальчуган ползет по черной глине. Когда он спустился вниз, еще не рассветало, когда он подыметесь наверх, будет темно. Он сегодня не увидит света, что поделаешь — зимние дни коротки. Он будет расти, расти под землей, расти и работать, он станет взрослым, он приведет сюда своего сына, потом он состарится и умрет, — это не протест, это только справка о человеческой жизни, которая не длиннее зимнего дня.

Чем глубже, тем жарче и душней. Если поднести лампочку к лицу, можно разглядеть струи пота; пот этот, разумеется,

черный. Несмотря на клочья холодного острого воздуха, которые вылетают из труб, дышать сложно и трудно. Глаз скоро привыкает к темноте, но никогда он с ней не примиряется: человек переходит на положение полуслеплого, обостряется слух, обязанности рук усложняются.

Тележки с углем тащат лошади, особо низкорослые и особо терпеливые, — лошадь не человек, она больше привередничает и легче подыхает. У лошадей благородные имена: «Капитан», «Виктория», «Нельсон». Проработав несколько лет, «Виктория» рассталась с ненужным ей зрением. Рабочие, конечно, не слепы — они должны видеть уголь, но глаза их отучены от солнечного света.

В этом своя правда: на фабриках духов работницы теряют обоняние, бесшумные моторы изготавливаются в мастерских, полных невыносимого скрежета, и рабочие, их изготавливающие, становятся наполовину глухими, чтобы добыть свет, шахтеры уходят в тьму, зрачки их перерождаются.

Почему люди идут сюда? Почему, попав сюда, они не бегут прочь? Что приковывает их к этим тачкам, которые не зря рождают в памяти образы каторги? Легко ответить: «не все ли равно где»... Нет, это не просто работа, не станок, не кули грузчика, не коса, это уход от жизни, проклятье, обет. Работа шахтера оплачивается не выше иной; токарь или слесарь зарабатывает даже больше. Почему же уголеп ведет своего сына вниз? Почему четвертое или пятое поколение с трогательной верностью предает жизнь углю?.. Есть ли выход из этих ка-такомб?..

Рядом со мной член парламента: больше двадцати лет проработал он в этих шахтах. Его лицо и руки покрыты татуировкой: траурные чернильные жилки; это, однако, не татуировка, это уголь, уголь, которого не отмыть, который вошел в кровь; человек переменил профессию, стал политическим деятелем, но стигматы остались, в здание парламента он принес черный дух Сванси.

В душной яме, где, кажется, нечем больше дышать, где 35 по Цельсию, человек с татуировкой говорит мне:

— Я люблю этот запах...

Так уголь оставил следы еще более глубокие, нежели черные пятна: любовь к окаянной работе. С любовью ползет он по коридорам, с любовью лелеет чахлый огонек лампы, с любовью

рассматривает в конторе чертежи. Это его дело и его жизнь. Я не знаю, что здесь уместней: благоговение или отчаяние? О бескорыстной привязанности рабочего к своей работе уже написаны толстые романы. Следует добавить, что если еще держится наш мир, в основе своей лицемерный и жестокий, то только этой слепой непреодолимой привязанностью.

Когда площадка с такими же унылыми содроганиями выкидывает человека наверх, чахоточный свет английского дня кажется волшебным. Глаза благодарят за все: за грязную вату облаков, за пригудренную черной пылью лужайку и за прыжки на ней растяпого щенка. Да, жизнь на земле воистину чудесна!.. На земле живет владелец шахт. Он изучает большие карты с жилками зелеными, розовыми и голубыми: это различные пласты угля. Его дом стоит над одной из жилок, над розовой или над голубой, под ним перекликаются лампочки номер 218 и 427, под ним меланхолично ржет слепая «Виктория», под ним идет таинственная жизнь. Иногда и он опускается вниз, это, конечно, не пикник, но пробег хозяйского ока. В его доме большие окна, под окнами жасмин, розы. Фокстерьер играет с кокетливой девочкой. Кто-то разучивает гаммы. Хозяин улыбается. Я знаю, что он далеко не счастлив, что он страдает не только от одышки, но и от кризиса. Он сегодня попросил у своего бывшего рабочего, который стал теперь членом парламента, не может ли тот ему посодействовать — долги, неоплаченные векселя, банкротство, опись... И все же трудно его пожалеть: перед глазами огоньки ламп, недоброе поблескивание стен, черный пот. Эти два мира несовместимы. Не только разной морали подчинены они, но и разным физическим законам. Сумерки одного — это полдень другого, слезы наверху — это счастье под землей.

От кризиса страдают не одни хозяева. У дверей маленьких лачуг сидят углекопы, угрюмо подсапывая трубками. Некоторые работают по три дня в неделю, другие не работают вовсе. Голод куда горче тьмы, и спуск вниз кажется им вознесением. Привыкшие к жизни глухой и пещерной, с трудом вглядываются они в посторонний мир; слова о мировом кризисе и о борьбе пролетариата их как бы пугают: это чересчур резкий свет, они невольно щурятся. Они согласны продолжать свою повинность. Дрогнула другая сторона, дрогнул мир надземный. Слепая «Виктория» еще плетется и тихо ржет, но ее уж никто не подгоняет...

Вы можете теперь сесть в автобус и направиться к парадному центру Swansea, уголь вас больше не оставит. Напротив вас окажется шахтер в рабочей одежде, который возвращается домой. Он еще полон удущьем подземелья. Черную пыль вы заметите и в соборе и в дансинге: она — это воздух Swansea. В порту грузятся толстые астматические пароходы. Тысячи вагонов уносят черное золото. Заводы, получив свой корм, сладострастно кричат. У камина сидит джентльмен и тихо мечтает. Вне угля нет жизни.

Можно, конечно, убрать толстяка с его одышкой и фоксом, но два мира останутся: верхний и нижний. Для того чтобы это уничтожить, мало социальных сдвигов и простой справедливости. Здесь нужны или дерзость нового Прометея, или же великодушный жест дикаря.

1930

**Испания**





# Испания. 1931—1932

## 1. Осел, иди!

Камни, рыжая пустыня, нищие деревушки, отделенные одна от другой жестокими перевалами, редкие дороги, сбивающиеся на тропинки, ни леса, ни воды. Как могла эта страна в течение веков править четвертью мира, заполняя Европу и Америку то яростью своих конквистадоров, то унылым бредом своих изуверов? Большое безлюдное плоскогорье, ветер, одиночество. Пустая страница, только на полях ее, на узких склонах, ведущих к морям, вписала природа зеленые пастбища Галисии или сады Валенсии. Страна, о которой мечтают уроженцы севера, как о потерянном рае, — неприютная и жестокая страна. Ее красота заведомо трагична, а простое довольство становится в ней историческим преступлением.

Люди жадные и неусидчивые давно покинули Испанию. От былой жизни они сохранили только язык, и вот на кастильском языке беседуют друг с другом короли висмута или нитрата, нефтяники Венесуэлы и «старатели» Колумбии, продувные президенты и блистательные сутенеры.

Те, что остались, любят эту землю тупой и величавой любовью. Крестьяне Кастилии или Галисии, ошалев с голоду, взбираются на палубы огромных пароходов, но из пестрой и шумной Америки неизменно они возвращаются назад. Они едят там мясо, они щеголяют в желтых ботинках, но ничего не поделаешь — они возвращаются назад в глухие деревушки, где длинны вечера без светильника, где длинны годы без праздника, годы натошак. Из Нового Света они не привозят ни любви, ни сбережений. Их жизнь — здесь, на печальной и сонной земле, там была поденщина, сутолока, ложь.

Где только не живут здесь люди! На верхушке горы, среди ветров и буранов, дрожит злосчастная хижина: малое человеческое тепло борется с суровой зимой Леона. В Альмерици или возле Лорки иногда несколько лет сряду не бывает дождя — растрескавшаяся злая земля, рыжий туман, зной, голод, а среди трещин — кто знает зачем? — ютятся люди, они все

ждут и ждут дождя. В Гуадисе люди живут не в домах, но в пещерах, это кажется справкой об иной эре, но это только обыкновенный уездный город, тихий и нищий, где вместо домов — пещеры, где надо платить пещеровладельцу — помесечно. В долинах Урдеса земля ничего не производит, это заведомо гиблый край, века он был отрезан от Испании. Недавно провели дорогу, люди могут уйти оттуда, но нет, они не уходят. Цепок человек в Испании, и трудно его выкорчевать.

Да, конечно, в Валенсии золотятся знаменитые апельсины, в Аликанте вызревают финики, прекрасны ставшие поговоркой сады Аранхуэса и академичны уважаемые виноградники Хереса. Но все это только описки, только богатые предместья большого и нищего города.

Горы, перевалы, камни, пустая дорога. Вот показалась смутная тень — крестьянин верхом на осле. Я не знаю ничего суровей и величественней, нежели пейзаж Кастилии. По сравнению с ним даже Кавказ кажется достроенным и законченным. Кастилия — это стройка природы, торчат стропила, разбросаны камни — мир здесь еще не доделан. Можно только угадать горделивый замысел зодчего. Человеческое жильё, редкое и непопнатное, входит в землю. Оно прячется, как насекомое, от любопытного взора, оно одного цвета с камнями, оно пугливо к ним жмется. Так называемого «царя природы» здесь нет, и в самих камнях — безначалье. Все желто-серое, серое, порой рыжее.

Крестьянин верхом на осле. Он выехал рано утром. На его плече волосатое одеяло. Сейчас из ущелий налетит ледяной ветер: близка ночь. Осторожно перебирает ногами терпеливый ослик, у него крохотные ноги, но они давно привыкли к непостижимым пространствам. Далеко до стойла. Все холодней и холодней. Человек говорит: «бугго, арге!» Это звучит воинственно и громко, это потрясает своими «ррр». В переводе это значит: «осел, иди». Это не окрик и не приказание — осел послушно идет. Но скучно, сиротливо человеку в этой пустыне, он едет час, два, три, он едет весь день, и вот он говорит с ослом — человеку надо с кем-нибудь поговорить. Долго и неотвязно он повторяет «осел, иди!». Осел, тот не отвечает, он только исправно переставляет ножки. Холодно! Человек развернул одеяло и закутался в него, как в саван. Стемнело. Только силуэт виден — причудливая тень, рыцарь в плаще на маленьком ослике. Горная тишина и все то же причитанье «осел,



иди», как справка о судьбе — и осла, и своей, может быть, о судьбе всей Испании.

Появление Мадрида кажется дурным театральным эффектом. Откуда взялись эти небоскребы среди пустыни?.. Здесь нет даже великолепной нелепости северной столицы, которая заполнила столько томов русской литературы, здесь просто нелепость: среди пустыни сидят изысканные «кабальеро» и, попивая вермут, обсуждают, кто витиеватей говорил вчера в кортесах — дон Мигуэль или дон Алесандро?.. Они окружены ночью и камнями. По камням движутся тени, и, как пароль, звучит: «осел, иди!»...

## 2. Небоскреб и окрестности

Испанцы любят утверждать, что в их стране можно увидеть различные эпохи — они отлегли пластами, не уничтожив одна другую. Это верно для историка искусств, однако, если интересоваться в Испании не только соборами, но и жизнью живых людей, встает хаос, путаница, выставка противоречий. Прекрасное шоссе, по нему едет «Испано-Суиза» — самые роскошные автомобили Европы, мечта парижских содержанок, изготавливаются в Испании. Навстречу «Испано-Суизе» — осел, на нем баба в платочке. Осел не ее, ей принадлежит только четверть осла — это приданое, осел достояние четырех семейств, и сегодня ее день. Вокруг чахлое поле, девка тащит деревянный плуг. Приедем к этому может показаться постановкой для кино съемки, археологической реконструкцией, но красавец кабальеро, который развалился в «Испано-Суизе», не достаивает девку взглядом: он знает — это попросту быт.

Кабальеро отдыхал в Сан-Себастьяне, там прелестные актрисы из Парижа и «баккара». Теперь пора за работу! Сегодня акции «Сальтос Альберче» котировались 76... Вот и Мадрид! Гран Вия. Небоскребы. Нью-Йорк. Здания банков этажей по пятнадцати каждое, на крышах статуи: голые мужчины, вздыбленные кони. Электрические буквы носятся по фасадам. Освещенные ярко таблицы гласят: «Рио-Плата 96... Альтос-Орнос 87...» Внизу под таблицами копошится фауна Мадрида: все безногие, слепые, безносые, парализованные и уроды Испании. Те, у кого осталась рука, сидят часами не двигаясь, с раскрытой

ладонью, безрукие протягивают ногу, слепые стонут, немые трясутся. Вместо лица порой проступает череп. Развернуты тряпки, товар показан лицом: стружья, язвы, гнилое мясо. А наверху гранитные мужчины гордо придерживают бронзовых жеребцов.

На Гран Вие светло и шумно. Сотни продавцов выкрикивают названия газет, названия высоко поэтические: «Свобода» или «Солнце». В газетах передовые перья пишут о философии Кайзерлинга, о стихах Валери, об американском кризисе и о советских фильмах. Кто знает, сколько среди этих продавцов вовсе неграмотных?.. Сколько полуграмотных среди блистательной публики? Одеты кабальеро, слов нет, на славу. Какие платочки! Какие ботинки! Нигде я не видал таких франтоватых мужчин. Надо здесь же добавить, что нигде я не видал столько босых детей, как в Испании. В деревнях Кастилии или Эстрамадуры дети ходят босиком — в дождь, в холод. Но на Гран Вие нет босых, Гран Вия — Нью-Йорк. Это широкая большая улица. Направо и налево от нее — глухие щели, темные двory, протяжные крики котов и ребят.

В каждом маленьком городишке Испании целая армия чистильщиков сапог — блеск неопикуемый. Бань, однако, нет. Это не от любви к грязи, испанцы народ чистоплотный, нет, это от путаницы: старый быт разложился, новый не придуман. Как-то ловкачи успели построить, неизвестно зачем, дюжину небоскребов, но в обыкновенных жилых домах ванн не имеется, об этом никто не позаботился.

В путеводителе потрясает богатство поездов: кроме «скороых» и «курьерских», имеются «роскошные», даже «сверхроскошные». Но вот проехать из Гранады в Мурсию не так-то просто. Это два губернских города, между ними примерно 300 километров, один поезд в день, дорога длится 15 часов, поезд отнюдь не «сверхроскошный» — темные вагончики, готовые развалиться. Бадахос и Касерес — главные города Эстрамадуры, 100 километров, один поезд в день, 8 часов пути.

Возле Саморы строят электрическую станцию «Сальтос дель Дуэро». Это будет «самая мощная станция Европы». На скалистых берегах Дуэро вырос американский город: доллары, немецкие инженеры, гражданская гвардия, забастовки, чертежи, цифры, полтора миллиона кубических метров, энергия за границу, выпуск новых акций, огни, грохот, цементные заводы, дикинские мосты, не двадцатый, но двадцать первый век. В ста

километрах от электрической станции можно найти деревни, где люди не только никогда не видели электрической лампочки, но где они не имеют представления об обыкновенном дымоходе, они копошатся в чаду, столь древнем, что легко вообще забыть о ходе времени.

В каждом городе — государственное бюро для туристов. На стенах пестрые афиши, в шкафах солидные папки, проводники одеты в затейливые мундиры с флажками. «У нас превосходные гостиницы, у нас дивный климат, у нас художественные ценности!»... Всем известно — Испания страна искусств: что ни дом, то музей. Показывая туристам старые церкви, проводники не довольствуются эстетическими восторгами, они знают, как ошеломить пивовара из Нюрнберга или «французика из Бордо»: посмотрите на эту епитрахиль, драгоценные камни, миллион песет! Золотые сосуды в Бургосе — полтора миллиона!.. На богоматери Валенсии ожерелья и безделки — два миллиона, сантим в сантим!.. Туристы богомольно вздыхают. В Саморе туристам показывают романскую часовню. Надо пройти через большую сборную: детский приют. Час обеда. 200 ребят. Командуют монашки. При виде «господ» перепуганные дети встают. Это дети нищеты. Это также дети деревенских кюре, которые плодотворно утешали своих злосчастных служанок. Одеты дети в какие-то нелепые рваные власяницы. Из ржавых мисок хлебуют они баланду — вода и горох. Если возмутиться, проводник объяснит: бедная страна, нет средств... Вот сюда... Направо... Статуя богоматери, шкатулка с изумрудами, коллекция ковров, четыреста тысяч!..

В кортесах обсуждают вопрос о разводе. Радикалы и социалисты стараются затмить друг друга. На пюпитре советское законодательство о браке. Цитаты из Уэллса, даже из Маркса. Дома отважных депутатов ждут их законные супруги. Они по-прежнему послушно беременеют и нянчатся с детьми. По-прежнему они проводят дни в гареме. Мужья перед ними не цитируют Маркса. Между двумя ночными заседаниями мужья наспех выполняют свои супружеские обязанности, а потом уходят пить кофе и пугать далеко не пугливых товарищей редкостной дерзостью мыслей.

В Бадахосе, когда в «казино» входит дама, почтенные посетители встают: это «народ рыцарей». В Бадахосе, как и в других городах Испании, «рыцари» дома от поры до времени лупят своих дам: и галантность и побои равно входят в быт.

Никогда в Испании не следует доверять вывескам. «Религиозная книготорговля» — в окне «Капитал», повести Коллонтай, «Дневник Кости Рябцева». Лавка социалистического кооператива — в окне гипсовые статуэтки: святая Тереза и пасхальный барашек. «День всех мертвых» в деревушке Санабрии. Толпа стоит на морозе несколько часов. Свечи. Молитвы. Средневековье. Помолвившись вдоволь, крестьянин садится на осла. Осел упрямится. Тогда молельщик кричит: «Начхать мне на деву Марию!» (Собственно говоря, он кричит не «начхать», но точный перевод его изречения неудобен для печати.) Он не очень-то верит в воскресение мертвых. Зато он твердо верит, что если хорошенько обругать деву Марию, осел пойдет дальше. В Севилье во время крестного хода набожные прихожане ссорятся — чья богоматерь лучше? Один кричит другому: «Моя богоматерь действительно богоматерь, а твоя попросту шлюха!..» В мае этого года испанцы, несколько развеселившись, сожгли сотню церквей. Остались десятки тысяч несожженных. Педро Гонсалес в пятницу был с теми, что подожгли церковь святого Доминика, в воскресенье по привычке, а может быть, и со скуки он побрел в уцелевшую церковь святого Бенедикта.

Я знаю одного художника-испанца; в своем ремесле он произвел доподлинную революцию. Его имя с равным трепетом повторяли и московские футуристы, и коллекционеры Филадельфии. Это человек не только высокоодаренный, но и смелый. Однако стоит произнести при нем слово «змея», как тотчас же, стыдясь собеседника, тихонько под столом он начинает водить двумя пальцами. Профессор психологии, который ездил в советскую Москву, смертельно боится кривых старух: «Они приносят несчастье!»

В Испании сколько угодно передовых умов. Они знают все: и программу Харьковского конгресса, и парижских «популистов», и последнюю картину Эйзенштейна. Они не знают одного: своей страны. Они не знают, что у них под боком не сюрреализм, не пролетарская литература, не парижские моды, но дикая и темная пустыня, деревни, где крестьяне с голодухи воруют желуди, целые уезды, заселенные дегенератами, тиф, малярия, черные ночи, расстрелы, тюрьмы, похожие на древние застенки, вся легендарная трагедия терпеливого и вдвойне грозного в своем терпении народа.

### 3. «Индивидуалисты»

Мадрид встает поздно. В десять утра заспанные приказчики, позевывая, раскладывают товары. Утреннюю почту приносят в одиннадцать. В министерствах и в одиннадцать ни души: разве что курьеры да просители из провинции. Исправные чиновники приходят часам к двенадцати; а так как Мадрид — это город чиновников, то можно сказать без натяжки, что жизнь Мадрида начинается в полдень.

Каждый испанец с высшим образованием презирает дисциплину и государство: «У нас коммунизм немислим, мы не русские, мы индивидуалисты»!.. Так говорит сеньор Леррус, так говорит и любой начинающий адвокат. Следовательно, все они за свободу творчества и против государства. Это никак не мешает им мечтать об одном — как бы скорее попасть на государственную службу. Все кабальеро либо чиновники, либо неудачники, которые спят и во сне видят кресло канцелярии.

Для иностранца Испания экзотика, он ухитрился сделать из обыкновенной работы табачной фабрики мечту всех бабников, не только парижских, но даже харбинских. Он может и мадридского чиновника изобразить безумцем в плаще. На самом деле мадридский чиновник отличается от лондонского только тем, что он проводит в канцелярии не восемь часов, а два часа и что в эти два часа он занят не нуждами государства, а либо вздохами по поводу дура, проигранного вчера в карты, либо смелыми планами — как бы извлечь дура из кармана робкого провинциала, который ходатайствует о пенсии.

После апрельского переворота нельзя было проникнуть ни в одно министерство: толпа осаждала министров. Это были не революционеры с грозными ультиматумами, но вежливые просители: они рассчитывали получить место. Все те, что мечтали о кресле канцелярий, стали тотчас же яростными республиканцами. Они, видите ли, не служили прежде только ввиду непримиримых убеждений! Но теперь они согласны послужить республике!.. Узнав, что прежние чиновники не увольняются и что, следовательно, вакансий нет, просители искренне возмутились: разве это революция?..

Кроме чиновников, в Мадриде немало адвокатов. По статистике, их несколько тысяч. Адвокаты, конечно, занимаются всем, чем угодно, кроме адвокатуры, но адвокатом стать легко, это

ни к чему не обязывает и «abogado» на визитной карточке звучит если не гордо, то вполне пристойно.

Как чиновники, так и адвокаты в своем большинстве люди блистательные, но с познаниями весьма ограниченными. Они знают назубок подвиги того или иного торреро, они умеют при виде встречной сеньориты сказать что-нибудь поэтичное, например, «красотка, я умираю от страсти», они, наконец, разбираются в политических тонкостях,— они понимают, что с карточкой от сеньора Марча нельзя пойти к сеньору Прието. Этим их познания ограничиваются. Один адвокат, чиновник министерства юстиции, искренне изумился, узнав, что существует страна Голландия, он, оказывается, слышал такое слово, но думал, что это горная цепь. Другой адвокат далеко не тверд в таблице умножения. Третий (он теперь состоит государственным адвокатом в Касересе) спрашивал меня, все ли правит Россией Ленин и никак не хотел поверить, что Ленин умер семь лет назад.

Зарабатывают чиновники и адвокаты немного, но жизнь в Мадриде устроена так, что можно жить даже впроголодь с шиком. Вот этот кабальеро сидит весь день в кафе. Сначала он пьет вермут — предполагается, что он готовится к сытному обеду, вермут ведь пьют для аппетита, но к вермуту дают в придачу разную дребедень: маслины, креветки, картошку. Кабальеро старательно поглощает все приложения. После чего он гордо переключивается в кафе напротив, там он пьет якобы послеобеденный кофе, разумеется с молоком — кабальеро не вполне сыт. Но кое-что он перехватил и доволен жизнью. Иногда вместо кофе с молоком он пьет просто молоко — еще разумней. Так и сидят они, страстные и нарядные, на террасах кафе, ожидая, не покажется ли из-за угла революция, и попивая теплое молочко...

Одеты все изысканно. По улицам бродят продавцы галстуков: песета за штуку. Что за раскраска!.. Кабальеро ежедневно меняет галстук, это для него важнее обеда. Кроме того, не следует забывать о блеске ботинок: как только у кабальеро оказывается несколько медяшек, он гордо подзывает чистильщика сапог. От неги он даже щурится. Он способен провести так весь день. Разбогатев, он чистит ботинки чуть ли не каждый час. Под утро можно увидеть беспечного кабальеро, который, направляясь домой, останавливается, чтобы еще разок протянуть свою ногу чистильщику. Англичане, те бреются по

два раза в день. Кабальеро к лицу относится вполне равнодушно, он может и три дня не бриться, синь щек еще не пугает, но вот ноги — здесь он неумолим, ноги должны блистать!

Если кабальеро женат, у него, разумеется, квартира и куча ребят. Иногда он бывает дома: жена варит «косидо» и штопает носки. Но кто его жена и где его дом — об этом не знают даже близкие друзья. Семейная квартира нечто совершенно интимное, и ее не показывают, как не показывают в других странах незастеленной кровати. Кабальеро встречается с друзьями в кафе или в клубе.

Испанские клубы никак не похожи на клубы английские. Англичане приходят в клуб, чтобы помолчать. Там клубы — это полутемные залы, затоны, заповедники. Испанские клубы — это магазины с большими витринами; только в витринах выставлены не шляпы и не окорока, а живые кабальеро — они сидят в креслах и смотрят на улицу. Это, если угодно, выставка буржуев. Иногда кресла расставлены просто на улице перед зданием клуба — сидят в ряд и смотрят. Медитация не препятствует разговору, и в испанском клубе стоит гул, как на рынке. В первые дни революции кресла на улице пустовали: кабальеро еще не были уверены в точном значении слова «республика», но вскоре они успокоились и продолжают заседать, в дождь за стеклом, в хорошую погоду на дворе.

Кроме обозрения мира, посетители клубов занимаются карточной игрой. Испанцы народ честный, здесь редко кто с голоду украдет хотя бы яблоко. Но у клубменов свои нравы. В большом мадридском клубе, чтобы перенести после закрытия игральную кассу из одного зала в другой, назначаются дежурства почетных членов, конечно же маркизов, графов и герцогов. Несмотря на громкие имена, из кассы неизменно исчезают несколько сот песет.

Чем благородней кровь в жилах кабальеро, тем менее он склонен работать. Даже канцелярия его пугает. Он приближается к подлинному «индивидуализму». В газете «Эль либераль» имеется рубрика аристократических объявлений: «Молодой благородный человек ищет покровительницу любого возраста с добрым сердцем, 150 песет ежемесячно»... «Брюнет 24 лет ждет признания. Он ищет немолодую, но нежную подругу. Он скромн, и ему необходимо срочно 125 песет»...

Пять часов утра. Кафе. Изысканные кабальеро. Это люди из самых приличных семейств. Они любят красоту жизни и

презирают низкий труд. В кафе приходят девицы и сдают изысканным кабальеро звонкие дуру. В других европейских столицах сутенеры — замкнутая каста, здесь это завсегдаита кафе, члены клубов; помимо профессиональных вопросов, они говорят о политике, даже о литературе...

Если в карты проиграл чиновник — он старается разложить проигрыш на столько-то посетителей, он требует взятки, шантажирует, грозит протоколом, процессом, тюрьмой. Хорошо полицейским, — например, столкнулись два автомобиля, тот, кто заплатит больше, будет помечен невинно пострадавшим. Кроме автомобилей — санитарный надзор, наконец, политика — оскорбление республики, даже заговор... Неплохо и муниципальным деятелям. В Мадриде у всех на глазах разбогател чиновник, которому была поручена установка городских писсуаров: он объявлял то одному, то другому владельцу приятного особняка — писсуар, увы, будет поставлен возле вашего забора... Если в карты проиграл чиновник, он выкрутится. Но вот как быть кандидату в чиновники? Сцена в мадридском клубе. Маркиз Х. и граф У. Маркиз: не можешь ли ты ссудить меня десять дуру?.. Молчание. Недоумение. Граф — «индивидуалист», притом он знает, что маркиз тоже «индивидуалист» и что денег он не вернет. Тогда маркиз предлагает в заклад золотые часы. Кто знает, что это за часы?.. Может быть, это вовсе и не золото... И вот два сиятельных кабальеро отправляются к соседнему ювелиру: оценить. Помимо подобных объяснений, это закадычные друзья и оба готовы положить жизнь, защищая честь — граф маркизову, маркиз графову.

Ломбард в жизни Мадрида — это церковь, биржа, кладбище. Сегодня выкупают, завтра закладывают — часы, пальто, даже одеяла. Все живут в долг. Маслины, кофе с молоком, новый галстук, блестящие ботинки... Жизнь легка и пуста. Только-только успели открыться канцелярии, как они уже закрываются. Возле театров и кино толпа. Шесть часов вечера — это утренники. Вечерние спектакли начинаются часов в одиннадцать. В два часа утра на улицах народ: кабальеро гуляют, отпускают комплименты красоткам и критикуют сеньора Асапью — «Маура куда умнее»...

В каждом испанском городе имеется одна улица, а зачастую одна сторона улицы, по которой ежедневно с шести до десяти гуляют все «кабальеро» — это, очевидно, относится к их прославленному «индивидуализму». В Мадриде все толкуют-



ся на улице Алькала. Тесно, как на ярмарке, но кабальеро покорно ступают один за другим.

Вот и день прошел, он начался в полдень — теперь кричат петухи. Можно лечь спать. Но кабальеро, как уже было сказано, одержим страстью, комплименты красоткам его насытили еще меньше, нежели два стакана молока. Он подходит к почтенной даме, которая сидит за соседним столиком, и вежливо приподымает шляпу. Может быть, это его тетушка?.. Но ведь он полон страстью... Тогда, может быть, он духовный брат тех, что сдают анонсы в «Эль Либераль»? Может быть, он и впрямь обожает только пожилых женщин? Нет, рядом с седой дамой хорошенькая девушка. С девушкой, однако, заговорить нельзя — это очень неприлично, почтенная дама, та глаз не сводит с девицы. Кабальеро беседует с дамой о том и о сем, о погоде, о бое быков, о розыгрыше лотереи. Почтенная дама говорит о девушке: моя дочь. Почтенная дама отличается догадливостью. Она видит, что кабальеро испепелен страстью, и приглашает его в гости. По дороге кабальеро деликатно осведомляется о цене. Нельзя ли несколько подешевле: теперь не те времена, республика, кризис... «Но моя дочь»... Девица, разумеется, не участвует в столь низменной беседе: она невинна и поэтична. Можно признаться, что почтенная дама сй отнюдь не мать, это даже не тетка, это импресарио. Хорошенькая девица родом из Андалузии, она дочь крестьянина, и она была в Мадриде судомойкой. У нее вдохновенные глаза, но в жизни она простовата, ее легко обчитать. Кто же не знает, что с таким кабальеро надо быть начеку!.. Дама договаривается. Потом дама уходит в соседнюю комнату, пожелав кабальеро «доброй ночи». На этот раз день окончательно закончен, и кабальеро может уснуть.

Вместо дипломатической беседы с почтенной дамой, кабальеро может пойти в один из публичных домов — их немало в Мадриде и все они охотно посещаются заведомыми «индивидуалистами». Там кабальеро любят, что называется, «на миру».

День закончен, ясный мадридский день, под горным небом, созданным для песни пастуха и для одиночества, день шумный и пустой, один из многих дней, закончен, побежден, уничтожен. Испанцы народ отнюдь не веселый: среди шума и огней кафе, как топь, значится унынье, оно готово проглотить человека. Кабальеро умеет по-настоящему скучать. Когда он зевает, со стороны становится жутко. Его любимое выражение:

«убить время». Он вовсе не пьет кофе, нет, он занят убийством времени. Это сложное занятие, оно требует многолетнего опыта, более того — наследственной культуры.

Время — вот враг! Причем все эти кабальеро чрезвычайно заняты: они служат в трех министерствах, они пишут в десяти газетах, они работают в пятнадцати политических партиях, они, наконец, влюблены, по меньшей мере, в пятьдесят красоток. У них нет свободной минуты!.. Если такой кабальеро назначает другому деловое свидание на пять часов, он приходит к семи — раньше прийти он никак не мог: он ведь очень занят! На самом деле он в соседнем кафе убивал время. В Испании начинаются вовремя только бой быков и лотерейные тиражи: это почти религия. Все прочее, как-то: заседания кортесов, спектакли, приход поездов, мессы, митинги, похороны, все это происходит с обязательным запозданием — время враг хитрый и его убить куда трудней, нежели убить быка, — с ним приходится хитрить.

Столица Испании, дворцы, небоскребы, канцелярии, литературные кафе, редакции двух дюжин газет, дебаты, красотки, толпа на Алькаля, кабальеро, отдыхающие в тени под деревьями Пасео де Кастильяно, — это счастье и беда, нега и позор. Надо вспомнить, что кабальеро не просто одна из редких пород, которые достойны внимания этнографа, что это Мадрид, верхушка страны, те, что ею правили, и те, что ею правят ныне. Пока они убивают время, страна вымирает от голода.

В былые времена Испания давала миру блистательных ученых. Сейчас в университетской библиотеке что ни книга, то перевод. На постройках работают немецкие инженеры, в правлениях банков и акционерных обществ сидят англичане или американцы. В Испании были замечательные зодчие, современная архитектура Испании поражает своим убожеством; трудно представить себе нечто более безвкусное, нежели дворцы богачей в Валенсии или в Барселоне. Конквистадоры превратились в героев Рифа, с десятком орденов за каждое поражение. В мадридских кафе сидят молодые писатели, снобы и эстеты, они старательно подражают любой парижской моде, Кокто для них бог. Можно ли признать в них наследников Сервантеса?.. Но к чему вспоминать мертвых?.. Я видел в Андалузии батраков, которые политически куда грамотней доброй половины мадридских адвокатов. Сапожник Валенсии — художник, его выписывают в Париж и в Лондон — тачать до-

рогую обувь. Можно ли куда-либо вывезти кабальеро?.. Здесь он инженер, боюсь, что в Париже ему придется стать черно-рабочим. На собрании барселонского профсоюза можно услышать куда больше дельных мыслей, нежели в кортесах. Кастильские крестьяне создали из скал страну. Что сделали из этой страны мадридские «индивидуалисты»?.. Впрочем, они и не обременяют себя подобными вопросами, они получают кто жалованье, а кто и взятки, они пьют кофе, и они убивают время.

Говорят: «в жизни каждого человека бывают потерянные минуты». В Мадриде я видал одного журналиста. Он получил от отца небольшое наследство. Тотчас же он переехал в пансион, положил на полку шкафа все свои галстуки, сел за стол, взял перо и написал на листе бумаги: «В жизни каждого человека бывают потерянные годы». Это изречение он повесил на стенку, после чего лег на кровать, лег «всерьез и надолго».

«Индивидуалисты» правят Испанией уже много лет, и трудно сказать, когда Испания от них избавится. Теперь они провозгласили «республику трудящихся». Это, вероятно, по расеянности. Не лучше ли прописать на всех стенах Испании: «В жизни каждой страны бывают потерянные столетия»?...

#### 4. Испанские Хлестаковы

В Мадрид приехала одна из кинозвезд Голливуда. Репортеру Мигуэлю Гонсалесу удалось получить у звезды интервью. Сегодня замечательный день: в конторе «Эрльдо де Мадрид» Гонсалесу выдали два дура. Гонсалес приобрел новый галстук, превосходно пообедал — жареный спрут и яичница, пошел в кино, после кино в кафе, почистил там ботинки, подал медяк нищенке, купил вечернюю газету — словом, вел себя как миллионер. Когда он бросил на стол дура, дура торжественно зазвенело, объявляя всему миру о величии Мигуэля Гонсалеса. Но всему приходит конец, пришел конец и прекрасному дню. Конец дня, кстати, совпал с концом богатства. Кафе закрыли, Гонсалес идет домой, в его кармане два медяка. Завтра с утра придет хозяйка канючить: уже пятый месяц, как Гонсалес ей ничего не платит. Гонсалес будет ей рассказывать о мировом

кризисе и о почтовых беспорядках. Завтра вместо обеда стакан кофе и ботинки сомнительной девственности. Но сегодня он миллионер!.. Он подходит к дому и звонко ударяет в ладоши: «серено!» Подбегает ночной сторож со связкой ключей. Гонсалес дает ему последние медяки. У Гонсалеса в кармане ключ, но ключ надо искать, ключ потом надо вставить в скважину, это хлопотно и неинтересно. Куда приятней ударить в ладоши!..

Не поняв ночных безумствований дона Мигуэля Гонсалеса, нельзя понять ни заочного суда над королем, ни позы мадридских нищих, ни повадок мадридских министров. В Испании весьма посредственный театр, зато все испанцы в повседневном быту актеры высокого класса. Каждый нищий это трагик, сдержанный и величавый. Он умеет протянуть руку так, как будто перед ним не улица с прохожими, но пять ярусов театра. Католицизм понял эту страсть и всячески ей потворствовал. Собор Бургоса — темная часовня, вдруг вспыхивают огни рамы, в глубине женственный Христос, покрытый риполиновой кровью и бумажными розами. На картинах Зурбарана или Риберы святые репетируют патетические монологи. Пропессии Севильи или Малаги в страстную неделю — это, скорее всего, номера кордебалета. В том, как девушка несет кувшин, в том, как любой счетовод или ветеринар кланяется встречной сеньорите, даже в том, как «камереро», принимая чаевые, стучит монетой о стол, — чувствуется старая школа.

«Суд над доном Альфонсом» или, говоря точнее, заседание кортесов, посвященное ораторским упражнениям на тему: «злой король и добрая республика», могло удивить только людей с Испанией незнакомых. Испанцы смеялись: «выпустили, а теперь судят!»... Впрочем, и эти ремарки раздавались не часто: страна отнеслась к «суду» вполне равнодушно. Зато депутаты насладились всюю: они сыграли в конвент, никого при этом не обидев. Все было известно заранее: и обвинительные речи, и роль защитника, графа Романонеса, и благородство сеньора Саморы. Заранее было условлено, что граф Романонес — это «подлинный гидальго», а республиканцы, которые выслушивают его с пиететом, — гидальго вдвойне. Все были довольны друг другом: республиканцы графом, граф республиканцами. Газеты трогательно расписывали бескорыстье Романонеса: как же, диктатура с него взыскала штраф в размере пятисот тысяч песет, а он защищает короля!.. О том, сколько миллионов граф

заработал при короле, газеты не упоминали. «Конвент» под утро принял грозную резолюцию, и депутаты пошли спать, хлопая в ладоши: «серено»!.. На следующий день никто не объявил войны этим неистовым якобинцам, никто не составил против них коалиции. Король, прочитав в Фонтенбло газету, наверное, усмехнулся: как-никак он испанец и ничто испанское ему не чуждо. Депутаты и те тотчас же забыли о представлении-гала.

Кортесы — спектакль живописный и своеобразный. Правда, в кортесах не бывает той «французской борьбы», которой вправе гордиться палата депутатов. Благородство столь сильно в этом народе, что оно отражается даже на парламентских нравах: в кортесах не случается драк. Оратор говорит, хорошо говорит — в Испании все умеют хорошо говорить. Другие его не слушают, так как слушать в Испании никто не умеет. Редко что так утомляет мадридского адвоката, как необходимость выслушать другого. В кафе «индивидуалисты» обыкновенно говорят все в одно и то же время. В кортесах они стараются соблюдать порядок: пока один говорит, другие шепчутся, просматривают газеты, пьют в буфете кофе и ждут своей очереди.

Испанская поэзия всегда совмещала в себе жестокий реализм с абстрактной мистикой. Кортесы оказались уже: от реализма они вовсе отказались. До выборов агитаторы различных партий — радикалы, республиканские социалисты, просто социалисты — старались перекрыть друг друга. Так как избиратели были крестьянами, притом крестьянами издавна голодными, все агитаторы обещали им в два счета помещичью землю. Это и было жестоким реализмом. Вслед за этим настала мистика. Народ сжег монастыри, следовательно, его можно успокоить обличениями бяки-иезуита. Ораторы говорят о торжестве свободного разума, о кознях орденов, о Торквемаде и о Галилее. Потом они переходят к любви: для торжества любви необходима свобода развода! Речи о силе чувства, цитаты из классической литературы. Потом они увлекаются восхвалениями кастильского языка: это язык Сервантеса и Лопе де Вега!.. Потом они шлют приветствия республикам Латинской Америки. Потом на минуту они возвращаются на землю, речь идет, однако, не о земле крестьянам: его высочородие депутат Марч (все депутаты, обращаясь друг к другу, говорят «seporid») во время диктатуры поработал несколько усердней

других. В парламентской комиссии оказались документы, компрометирующие Марча. Тогда Марч, не смущаясь, через посредничество его высокородия депутата Иглесиаса предложил комиссии некоторую круглую сумму за молчание. Дело выплыло наружу, и депутаты много говорили на тему: честь и бесчестье. Было устроено секретное заседание — бедняга Иглесиас перестал быть его высокородием. После чего кортесы занялись новой темой: как отобразить пакт Келлога в испанской конституции, принимая во внимание и поведение японцев, и заведомое миролюбие испанских генералов?.. Со дня открытия кортесов прошло полгода. Многие находят, что для кортесов это нормальный срок — время их распустить. О земле депутаты поговорить так и не удосужились.

Три четверти депутатов вполне искренне думают, что, разговаривая ночи напролет, они спасают Испанию. Один из них сказал мне: «На наших плечах историческая ответственность — мы создаем Испанию для наших детей». Можно было подумать, что это советский инженер, занятый пятилеткой. Но нет, это был испанский депутат, то есть актер, настолько увлеченный игрой, что зрительный зал для него не люди, а только темнота, хорошая акустика и гул рукоплесканий.

В России Хлестаков всегда сбивался на трагизм, ложь там почиталась моральным преступлением, и красноречивые ораторы наталкивались на неизбежную подозрительность аудитории. Испания из лжи сделала вдохновение, она доказала ее бескорыстность, она превратила ложь в благодеяние, даже в жертвенность. «Курьеры» Хлестакова ничтожны и омерзительны. Превращение Альдонсы в Дульцинею граничит с мифом.

Чиновник министерства юстиции. Жалованье шестьсот пест в месяц. Восемь дочерей. Жена все время работает, чтобы выкроить из скромного бюджета «кабальерскую» жизнь. К чиновнику приезжают по делу два иностранца. Чиновник (он, разумеется, с благородным именем, назовем его здесь для скромности доном Хасинто) хочет принять как следует гостей: «Увы, мой замок сейчас ремонтируют, и я лишен возможности пригласить вас к себе...» Гости успокаивают дону Хасинто и приглашают его пообедать с ними в ресторане. «Я соглашусь принять ваше предложение только в том случае, если вы обещаете мне, что, когда вы снова приедете в Испанию, вы будете моими гостями. Мой дом — ваш дом». В указанный час к отелю подъезжает престарелый «форд», весь перевязанный

бечевочками, вместо сиденья ключья пакли, мотор жалобно кашляет. Дон Хасинто произносит монолог: «Я воистину несчастен! Моя «Испано-Суиза» в починке, на моем «роллс-ройсе» жена уехала в Сан-Себастьян, и вот мне пришлось приехать за вами на этой старой машине, на ней обыкновенно моя кухарка ездит за покупками...» Жена дона Хасинто в это время сидит, конечно же, дома, возможно, что и без обеда, так как дон Хасинто отобрал у нее последнее дуру, чтобы раздать гардеробщикам и швейцарам великолепные чаевые. Однако дон Хасинто сейчас сам верит, что его супруга наслаждается морской прохладой, что у него три автомобиля и что рабочие день и ночь чинят мраморные лестницы его наследственного замка.

В провинции чиновники, получая двести пятьдесят песет в месяц, держат прислугу. Прислуге они платят песет двадцать. Вся семья, включая, разумеется, прислугу, голодает. Стиль, однако, соблюден.

Мурсия — город небольшой и тихий, он сливается с апельсиновыми садами, можно сказать — село, но в Мурсии имеется свой небоскреб. Он не достроен, и вскоре его начнут сносить, так как достроить его некому и незачем. Он родился не как дом, не как доходное предприятие, но как поэма. Об одном из купцов Мурсии стали поговаривать: «Разорится, обязательно разорится!..» Купец и не думал разоряться. Купец был смел и безрассуден: купец был испанцем. Он решил заткнуть рот клеветникам: пусть все увидят, сколь он богат!.. Он начал строить в Мурсии небоскреб, точь-в-точь как на мадридской Гран Вие. Небоскреб вещь громоздкая, кроме вдохновения, он требует солидных капиталов. Купец строил и разорялся. Когда дело дошло до крыши, купец и вправду разорился. Небоскреб бессмысленно торчит среди садов. Жители, впрочем, не удивляются — все они строят в мечтах столь же величественные и столь же нелепые небоскребы.

Зажиточный крестьянин провинции Гранада тратит на свою одежду тридцать — сорок песет. У него имеется, конечно, осел. Здесь начинается поэзия: осел такого крестьянина одет как на картинке. На осле домотканая покрывка с занятыми разводами, на осле бусы, ноги осла одеты в превосходные гамашы. Чтобы обрядить осла, чудаки истратят и все сто песет. Он не купит себе новой шляпы, зато с гордостью он скажет соседу: «Посмотри на моего осла, как он прилично одет!..» Действи-

тельно, осел одет куда лучше и хозяина, и жены хозяина. Это не любовь к животным: разодетого осла бьют ничуть не меньше, нежели осла в лохмотьях. Нет, это необходимость отойти от логичного, страсть к отвлеченным монологам и к мнимому великолепию.

Все это можно воспринимать по-разному — и ослиную элегантность, и небоскреб, и замок дона Хасинто, и красноречье кортесов. Можно издеваться, можно и расчувствоваться. Когда-то я видал в Москве балет «Дон-Кихот». Бедный рыцарь был попросту смешон среди классических пуантов и пируэтов. Дон-Кихота били, и публика, по большей части гимназисты и гимназистки, весело смеялась: дети любят логику и они не сентиментальны. Лет двадцать пять спустя я увидел «Ревизора» в постановке Мейерхольда. Хлестаков врал, но никто не смеялся, зрители пугливо ежились. Очевидно, можно сделать трагедию даже из «лабардана». Надо ли говорить о том, что дон Хасинто отнюдь не смешон, что он, скорее, страшен, что миллион донов Хасинто — это безумье, что «суд над доном Альфонсом» не только водевиль, но и жестокая гримаса, на которые столь щедро история этого великолепного и несчастного народа?..

## 5. Переименовывает

На фасадах дворцов тряпье, под тряпьем корона. На почтовых марках портрет короля снабжен штемпелем «республика». Вывеска «Отель королевы Виктории» — слово «королева» замазано, Виктория стала героиней Гамсуна или орхидеей. Другой отель «Альфонс XII», выломали цифру — Альфонс как таковой.

У себя дома республиканцы куда терпимей. Херес. Виноторговля «Гонсалес и Биас». Портреты короля. Королевские автографы. Королевская признательность. Королевская улыбка. Конечно, для виноторговца легко найти оправдание: десертное вино и дегенеративная монархия прекрасно уживались друг с другом. Труднее понять красу Барселоны сеньора Пландьюра. Экспорт-импорт, кофе, тонны, валюта, «Отель Колумб», каталонский патриотизм, наконец особняк, а в особняке редкостная коллекция: романская скульптура и живопись. Сеньор Пландьюра человек со вкусом, его особняк куда любопытней городского музея, он не боится и новшеств, рядом со статуей XII века —



картины Пикассо. Однако кто знает, чем больше гордится этот эстет — своей коллекцией или королевским кивком? При входе дощечка: посетил Альфонс. Среди картин письмоцо в раме: Альфонс благодарит. Возле Пикассо огромная фотография: все тот же Альфонс, на этот раз он жмет руку сензора Пландьюры.

Испанский Кобленц обосновался в Биаррице. Если он ведет себя тише Кобленца российского, то это следует объяснить не скромностью роялистов, а, скорее, известным своеобразием Испанской республики. Она столь мила, столь воспитанна, что, право же, трудно с ней рассориться. При благосклонном попустительстве республиканских властей роялисты вывезли за границу все свое добро. Они устраивают «чудеса» для суеверных крестьян Наварры. Они торгуются с отнюдь не суеверными капиталистами Бильбао. Те, что помоложе и поглупей, еще толкуют о заговорах, те, что поопытней, предпочитают любовные свидания с «умеренными республиканцами».

Старая испанская песня рассказывает о грустном конце короля Родриго: когда дон Родриго потерял Испанию, он побрел в горы. Он съел ломоть хлеба, посолив его своими слезами. Потом он лег в могилу и положил себе на грудь змею. Трое суток ждал он, наконец змея сжалилась: она ужалила короля. Так умер дон Родриго. Это был жалкий отсталый король. Он жил в VIII веке, и он не знал всех преимуществ эмиграции. Дон Альфонс — человек XX века. Он не солил хлеба своими слезами и не ждет, пока змея его укусит. Он живет в Фонтенбло, окруженный почетом республиканской Франции. Он вывез все свои капиталы. Представители «хаимистов» беседуют с «легитимистами». Республиканцы не брезгают монархистами. Англичане ничего не имеют против сензора Камбо, сензор Камбо ничего не имеет против сензора Лерруса... Это очень длинная песня. Если змея ужалит кого-нибудь, то уж никак не дона Альфонса.

Республика закрыла короны тряпьем, она переименовала улицы, она переименовала бутафорию. Актеры те же. Им даже незачем разучивать новые роли. Правда, ввиду экономии некоторым офицерам пришлось выйти в отставку, но отнюдь не монархистам, — нет, чересчур беспокойным «мечтателям». Старые королевские полицейские охраняют республиканский порядок. Что ни день, они арестовывают рабочих. Как встарь, они убивают «смутьянов».

Несколько лет тому назад в Барселоне полицейский по имени Падилья явился к председателю синдиката булочников. Он пришел переодетый, якобы от имени одного товарища. Он угрожал рабочему выйти на улицу. Там он его убил. Обыскав убитого, он нашел на нем адрес другого «смутьяна». Рьяный сеньор Падилья тотчас же пошел по найденному адресу. Он застрелил и второго преступника. О подвигах Падильи знала вся Барселона. Полковник Масия — тогда революционер и изгнанник — говорил: Падилью следует застрелить! Теперь полковник Масия сидит во дворце, он глава областного правительства. Что касается сеньора Падильи, то его не убили, не арестовали, даже не сместили, он занимает видный пост в барселонской полиции.

В свое время при аресте Масии полицейский Рубио показал себя особенно грубым. Недавно полицейский Рубио был убит при перестрелке с анархистами на улице Уржелль. На его похороны явился растроганный Масия: выказать сожаление. Не следует думать, что Масия толстовец, нет, он только глава хоти и бутафорского, но все же правительства: полицейский Рубио защищал его от рабочих.

В Валенсии в декабре прошлого года один из полицейских убил на улице вождя синдикалистов. В госпитале он показал вместо удостоверения револьвер. Никаких протоколов! Возмущение в городе было столь велико, что храброго полицейского убрали. Ему выдали награды, и он исчез. Сейчас он опора полиции в городе Куэнка. Один наивный журналист, увидав его, возмутился. Он написал об этом главе всей республиканской полиции. Глава прочел. Полицейский продолжает служить республике. Если журналист начнет скандалить, полицейского переведут, конечно с повышением, в Касерес или в Хихон.

Я дожидался испанской визы четыре месяца. Наконец министерство иностранных дел прислало согласие. Посольство в Париже объявило: пойдите в консульство, там вам положат визу. Но консул не мальчик, он служил королю, у него свои вкусы. Иногда он никак не может согласиться с министром иностранных дел. Увидав советский паспорт, он начал кричать: это для меня не паспорт! Это бумажка!.. Вы не получите визы!.. Несколько дней прошло прежде, нежели был улажен конфликт между монархическим консулом и так называемой республикой.

Мадрид. Кафе «Закуска». Слово для испанцев непонятное, но завлекательное. У входа швейцар, он одет под казака. Лакеи в шелковых рубашках с двуглавыми орлами. Это не сиятель-

ные князья в изгнании, но обыкновенные испанские «камереро». Подавая пирожные, они наивно приговаривают: «не угодно ли закуску?» Велико бы было разочарование публики, если бы она узнала, что закуска — это скорее селедка, нежели вафли. Стиль соблюден: орлы радуют глаз, бравый казак из Арагона кажется верной опорой, мадридская аристократия наслаждается экзотикой. «Закуска» была излюбленным местом придворной челяди. Даже королева любила откусить «закуску» с заварным кремом. Публика после апреля почти не переменилась. Вот этот франтоватый «кабальеро» — душа газеты «АВС». В свое время он написал восторженный труд о Примо де Ривере. Может быть, вскоре ему придется снова приступить к лирической монографии — кто лучше его сможет расхвалить мужество Мауры или ум Лерруса?.. Пока что он не сидит без работы. Он толкует события. Он пишет статьи. Он составляет корреспонденции. Он ест «закуску». Без таких республиканцев туго пришлось бы новорожденной республике.

Газета монархистов называется «АВС»: ее идеи выдаются за азбучные. В Севилье имеется своя «АВС», причем ее редактор состоит председателем «союза журналистов». В Мадриде еще приходится думать о приличии, в Мадриде почти все газеты зовут себя «республиканскими». Другое дело в провинции. В Касересе социалистический муниципалитет, в Касересе три газеты, все три правые. В провинции газеты делятся примерно так: явно монархические, тайно монархические, католические иезуитов и католические просто, последние — это крайне левое крыло.

Во всем, что касается кличек, революция торжествует. Переименовать улицы куда приятней, нежели отдать барскую землю батракам. Переименовывают всюю. Нет местечка, где бы не было улицы Галана. Кто знает, что стало бы с Галаном, если бы его не расстреляли своевременно в Хаке... Может быть, он сидел бы теперь в тюрьме по обвинению в заговоре против республики? Но Галан мертв, и храбрые республиканцы не боятся мертвых. Они щедро раздают улицы даже самым опасным мертвецам. Толедо. Собор. Попы, лавки с херувимами, богомолки. На углу дощечка: «улица Карла Маркса». В Валенсии партия радикал-автономистов предложила назвать одну из улиц именем Феррера. Никого не смутило, что душа этой свободолюбивой партии, Эмилиано Иглесиас сыграл в расстреле Ферреро весьма сомнительную роль.

Так переименованы тысячи улиц. Так переименовано и государство. Феодално-буржуазная монархия, вотчина бездарных бюрократов и роскошных помещиков, люков и грандов, взяточников и вешателей, английских наемников и либеральных говорунов, торжественно переименована в «республику трудящихся». Стоит ли спорить об имени?.. Может быть, завтра перепуганные радикалы согласятся снять с корон тряпье. Может быть и наоборот, даже изгнанник Фонтенбло поймет всю прибыльность демократической республики... Апрельская переделка была гордо названа «революцией», но это даже по дворцовый переворот, это только смена кабинетов.

Словом «республика» трудно теперь кого-либо напугать. Достоевский писал о Франции Мак-Магона: «республика без республиканцев». С тех пор многое переменилось. Республика доказала, что она не шальная девка, но дама из приличного общества. Русская поговорка гласит: «Было бы болото, черти найдутся». Я не знаю, сколько было в Испании республиканцев до 14 апреля. Теперь в них нет недостатка: республика налицо, следовательно, найдутся и республиканцы.

## 6. «Республика трудящихся»

Смесь розового с серым нас всегда волнует. Может быть, это просто прихоть глаза, может быть, это подсознательное толкование так называемой «жизни». Озеро сейчас светло-серое, горы розовые. Этот край кажется созданным для лирики. Испанский язык, мужественный и жесткий, здесь явно смягчает. Здесь уже можно говорить о любви, не пугая твердыми согласными птиц и тишину. Здесь девушки поют грустные и нежные «рондас». Вот за теми горами — Галисия, с ее зеленью, омытой дождями, и с ее пастухами, склонными к поэзии. Берега озера тихи и безлюдны. С трудом глаз различает на склонах застенчивые хижины. В озере снуют рыбы, над озером кружат птицы. Так художники раннего Возрождения обычно представляли рай — не хватает только кудрявых овец и праведников. Всем ясно, что здесь люди блаженствуют. Здесь побывал Унамуно. Он написал несколько строчек, полных поэтического волнения. Дорога до озера: домик, ячница и форель из озера, книга для посетителей — нечто среднее между курортом и эдемом.

Дальше нет проезжей дороги. Тропинка, осел. Две деревни: Сан-Мартин де Кастаньеда и Риваделаго. Туда никто не ездит, туда незачем ездить — там нечего покупать и некому продавать. Там только живописное расположение и проклятая нищета, но и то и другое в Испании не редкость.

Впрочем, деревня Сан-Мартин де Кастаньеда может похвастаться даже художественными богатствами: среди жалких хижин стоят развалины монастыря. Вот романские колонны... Вот ниша... Вот оконце... Сто лет тому назад мудрые монахи оставили монастырь, они поняли, что человеку трудно прожить одной красотой, и они перекочевали в места менее поэтичные, но более доходные.

Крестьянам некуда было уйти, крестьяне остались вместе с романскими развалинами. От монастыря сохранились не только безобидные камни, от монастыря сохранилось проклятье — «форо». В былые времена крестьяне платили ежегодно дань монастырю. Когда монахи решили переселиться, они перепродали право на дань какому-то вполне светскому кабальеро. Так, переезжая, продают мебель. Они продали «форо», то есть право ежегодно грабить крестьян. Это было в 1845 году. Прошло почти сто лет. Где-то далеко отсюда, в Мадриде менялись власти и флаги. Была первая республика. Были либералы и консерваторы. На выборах торжествовали различные партии. Смелчаки кидали бомбы. Смелчаков едвергали «казни через удушение». Король давал концессии американцам. Король ездил в Сан-Себастьян. Король развлекался. Потом короля свергли. Сеньор Алкаля Самора сидел в тюрьме. Сеньор Алкаля Самора стал главой правительства. Все это было далеко отсюда — в Мадриде. Из Мадрида нужно сначала ехать в скором поезде до Медины дель Кампо. Потом почтовым до Саморы. Потом в автобусе до Пуэбло де Санабрия. Потом лошадьми до озера. Потом на осле, если таковой имеется. Далеко от Мадрида до этойкой деревушки! Здесь ничего не переменялось. Так же серела, что ни день, вода озера и к вечеру розовели горы. Так же пели девушки грустные песни. Так же каждый год посылали крестьяне неведомому кудеснику «форо» или, говоря проще, 2500 песет.

У крестьян мало земли, да и та не земля, но земля: чего от нее дождешься? В деревне триста тридцать жителей. Как во всякой испанской деревне, тьма-тьмущая детей: беднота здесь рожает детей с упорством завятых фаталистов. Голодные дети.

Вместо изб черные дымные хлевы. Не верится, что люди могут так жить постоянно — беженцы? погорельцы?.. Нет, просто податные души. Им никто не приходит на помощь, но ежегодно они посылают все, что им удается отвоевать у скаредной земли — две тысячи пятьсот песет, пятьсот сказочных дууро, — могущественному кабальеро, который получил от папаши, помимо прочего наследства, право на древнее «форо». Очередного кабальеро зовут Хосе Сан Рамон де Бобилья. Это адвокат. У него прекрасный дом в Пуэбло де Санабрия рядом с замком. У него много клиентов. Человек не нуждается, но, как адвокат, он хорошо знает законы — крестьяне деревни Сан-Мартин де Кастаньеда должны ему платить пятьсот дууро ежегодно. Богатые люди от денег не отказываются, и крестьяне получают ежегодно повестку. Они шлют деньги. Сеньор Хосе Сан Рамон де Бобилья расписывается.

В апреле 1931 года свободолюбцы провозгласили в Мадриде республику. Они пошли дальше — они объявили в конституции, что «Испания — республика трудящихся». Во избежание криво толков они пояснили: «республика трудящихся всех классов». В 1931 году, как и в прежние годы, нищие крестьяне деревни Сан-Мартин заплатили дону Хосе две тысячи пятьсот песет. Они трудились круглый ход, ковыряя бесплодную землю. Дон Хосе тоже трудился: он послал повестку и расписался на квитанции.

На другом конце озера находится вторая деревня: Риваделаго. Крестьяне Риваделаго не платят «форо», но голодают они с тем же рвением. Еще меньше земли. Крохотные поля картошки, похожие на кукольные огороды. Едят картошку и горох, едят осторожно, чтобы не зарваться. Курные избы — темные бараки без окон. Светильники, зажигают их редко — масло не по карману. В такой норе шесть, восемь, десять человек, больные, старики, дети, все вперемешку. Была школа, потом учителя перевели, нового не прислали. Да и какая же учеба на тощак?..

Во всей деревне один только хороший дом с трубой, с окнами, даже с занавесками на окнах. В нем живет уполномоченный сеньоры Викторианы Вильячики. Об этой сеньоре можно сложить эпические песни. В старину поэт сказал бы: «прекрасна она, сильна и богата». Я не знаю, прекрасна ли сеньора Викториа Вильячика, но слов нет, она и богата, и сильна. Ей принадлежат несколько домов на мадридской Гран Вие. Ей принадлежит также вода озера Сан-Мартин, вода нежно-серого тона,

дарящая лирические чувства и к тому же изобилующая рыбой. Земля не принадлежит сеньоре Вильячике, ей принадлежит только вода. Когда вода подымается, ее владения растут. Это юридическая головоломка, но, наверное, адвокат Сан Рамон, тот, которому соседние крестьяне платят дань, легко разберется и не в таких тонкостях. Сеньоре Вильячике принадлежит вода со всей рыбой. Рыба в озере хорошая — форели. Но ничего с этой рыбой сеньора Вильячика сделать не может — слишком сложна и длинна дорога отсюда в Мадрид. Впрочем, сеньора Вильячика проживет и без рыбы — один этаж одного из ее мадридских небоскребов приносит ей куда больше, нежели все поэтическое озеро.

Уполномоченный диковинной сеньоры ловит форелей. Иногда он продает толику в Самору или в Пуэбло де Санабрия. Он продает форелей адвокату. Он и сам ест форелей. Но рыбы в озере много, и рыба плавает, ничего не страшась. Уполномоченный отстроил себе хорошенький дом. Он стал владыкой деревни. Он был даже е «алькальде». Он живет припеваючи. Его права охраняются стражниками. У стражников винтовки. Если изголодавшийся крестьянин ночью попытается словить рыбку, ему грозит штраф или тюрьма: в Испании иногда умеют соблюдать законы. Голодные люди должны глядеть на прекрасное озеро, на голубых и розоватых форелей, глядеть и умиляться. Так художники раннего Возрождения изображали ад; здесь уж ничего не пропущено: грешники корчатся, а черт сидит в домике за занавесками.

Сегодня в деревню Риваделаго приехал доктор из Саморы. Это человек добрый и наивный. Он лечит бесплатно крестьян; как может, он им помогает. Прежде он здесь агитировал за республику: он верил, что республика не только переселит сеньора Самору из тюрьмы в королевский дворец, но что она также накормит крестьян Риваделаго. Его останавливает высокая женщина, окруженная роем ребят. Ее лицо заострено голодом и горем. Она спрашивает доктора:

— Что же, дон Франсиско, республика еще сюда не доехала?..

Испанская ирония всегда серьезна: это ирония письменности, от протоиерея из Ита до Сервантеса, это ирония любой крестьянки.

Доктор молчит. Что ему ответить? Сказать, что республика домоседка, что ее пугает путь верхом на осле? Или признаться,

что республика давно доехала до этих мест, что она остановилась в домике уполномоченного сеньоры Вильячики, что она на «ты» с адвокатом из Пуэбло де Санабрия, что она знает толк и в «форо» и в форежах, что это не просто республика, но «республика трудящихся всех классов».

## 7. Генеалогия малагских головешек

В испанском пейзаже нетрудно различить жестокость, фанатизм — в пустынности, в нагромождении камней, в том, как бьет ветер то чахлый кустарник, то белье бедняков, развешенное на веревках, в реве одинокого осла, во всем, что делает эту страну запущенной, забытой, даже не пустыней, но пустырем, огромным пустырем где-то на окраине мира. В этом пейзаже находила себе поддержку испанская поэзия. Насколько в соседней Франции чувства подвергались контролю то эстетической линейки, то пробирной палаты так называемого «разума», настолько здесь им давали свободу, их натаскивали на душевный скандал, сызмальства их приучали к чрезмерности. Любимой темой испанской поэзии была смерть: роман начинался с эпилога. Хорхе Манрике в своих знаменитых «Строфах на смерть отца» заверял: «Наши жизни — реки, смерть — это море». Он жил в стране маленьких рек, которые зачастую летом вовсе высыхают, и в стране, окруженной морями. Смерть подносилась всячески: то как философическая загадка, то как заманчивое событие, со всем присущим испанцам реализмом, с гниением, с червями, с трупным смрадом. Смерти предшествовало страдание, и на этом построено религиозное искусство Испании. О воскресении из мертвых бормотали на латыни, зато муки и смерть выдавались безграмотным в виде тысячи статуй Христа, который корчится, извивается, на теле которого, как в паноптикуме, язвы, сгустки крови, все это всерьез, так, чтобы взял страх, чтобы помнили: се жизнь!

В других странах католицизм пробовал уговаривать, он соблазнял райскими кущами ребячливых итальянцев, он доходил до логики и до отвлеченности во Франции, здесь он знал одно — пугать, как букой, пугать болезнью, агонией, наконец, томительным холодом ада, суля злосчастным крестьянам Кастилии после смерти такую же страшную загробную Кастилию.



С равным успехом он запугивал и пастухов и королей. Эскуриал — его трофей.

Директор севильского музея, человек всячески просвещенный, с негодованием сказал мне: «В Малаге вы увидите, что сделали с прекрасными церквями тамошние дикари...» Он говорил о церквях, сожженных в мае. Это археолог, и его не приходится судить. Ему следует только напомнить об Эскуриале. Никто не смеет Эскуриал, и, надо надеяться, никто его не сожжет: от таких «сувениров» человечество не вправе отвязаться. Но без Эскуриала трудно понять страстность малагских поджигателей.

Людовик XIV любил хорошо покушать, побаловаться с придворной дамой, Петр Великий любил поскандалить на «ассамблее» — государи развлекались по-разному. Карл V на досуге ложился в гроб — он репетировал смерть. Огромная казарма среди диких скал, казарма, созданная для духовной шагистики, для религиозных трапедий, для предсмертных маневров. Кругом не было людей, но в горах рыскали голодные волки. Иногда короли, между двумя мессами, отправлялись на охоту: они гонялись за волками и, кто знает, может быть, при этом они были протяжно, дико, как преследуемые ими звери. Слова молитв — «раз-два», а внизу уже дожидается приготовленная старательно могила. Вместо сада — погреб, в погребе пышные полки, на полках гробы, на гробах клочки королей. Сторож, показывая приезжему это великолепие, исправно читает имена. Внизу один гроб без имени, сторож поясняет: «свободный». Это не ирония, но просто справка: Альфонса XIII рассчитали до времени — его гроб пуст, и если он умрет в изгнании, комплект гробов в этой чудовищной библиотеке может показаться разрозненным.

Короли в порядке духовной гимнастики преждевременно обживали роскошные гробы, крестьяне, те в темном суеверном ужасе ждали часа, когда им доведется лечь в могилу, — если не угодить, то задобрить злую землю. Нигде католицизм не был столь противочеловеческим. Романские церкви с их трогательной простотой, с толкованием храма как избы или как амбара, полного зерном, церкви Сеговии или Авилы по духу предшествуют испанской истории. Их сменили соборы золота и смрада, Христосы с настоящими человеческими волосами, кровь в три ручья, куклы святых в парчовых юбочках, театральные корчи

барокко, неуместная нега мавританщины, — все это с надрывом, с угрозами, с застенками исповедален, с пытками инквизиции и с порочной изощренностью искусства.

Большие художники никогда не становятся явлениями, равно приемлемыми для всех. Номенклатура «классиков» с их обязательностью заведомо лжива. Греко — великий художник испанского католицизма, и на его полотна трудно глядеть без неависти. Он страстно изобразил тот пышный и жестокий мир, который в мае этого года пытались поджечь обыкновенными спичками грузчики и рыбаки Малаги. Христос, апостолы, святые на картинах Греко — это утонченные мазохисты, это изнеженные снобы, которые церемонно подставляют свою грудь под копьё. Его герои, одаренные именами угодников, похожи на педерастов из парижского кафе. Это извивание тел, эта болезненная пестрота красок, эта геометрия пейзажа недаром соблазнили европейских художников и литераторов в начале нашего века: разложение культуры началось с Испании, здесь завелись первые «декаденты». Картины Греко или стихи Гонгора предсказывают ту пустоту, в которую скатилось европейское искусство, чтобы сдаться на милость нью-йоркских небоскребов и романов-каблогграмм.

Греко писал не только святых, он писал также портреты духовных пастырей. Это не мазохисты, но садисты. Это те, что веками мучили Испанию. В их тусклых глазах нет ни радости, ни веры, но только желание повелевать, темное и легко переходящее в похоть.

В Малаге было 37 церквей и монастырей. 36 сожжены весной этого года. Остался один собор, большой, светлый и просторный, похожий на танцевальный зал. В этом соборе я видел настоящих изуверок. Они вправе потягаться с персами, которые, крича «шаксей-ваксей», наносят себе удары кинжалом, или с польскими хасидами, которые хватают куски рыбы с тарелки чудесного падика. Это не старухи, не грешницы в рубищах, не изможденные постницы. Это обыкновенные «сеньориты» с густо накрашенными лицами, в модных платьях и в изысканных туфельках. Под вечер они гуляют по главной улице, стараясь обольстить холостых коммерсантов. Утром они молятся. Они молятся теперь с особым усердием, никогда они еще так не молились: ведь безбожники сожгли в Малаге 36 церквей!.. Входя в собор, они падают на колени. Они смотрят ввысь часами, не двигаясь с места. Они простирают руки, может быть дожидаясь стигматов.

Они ползают по плитам. Они извиваются ничуть не хуже всех барочных святых. Огонь выгнал их из других церквей. Они собрались в это последнее логово. Их охраняют гвардейцы с ружьями. Они тащат сюда падающие песеты и свой страх перед готовым адом. Это внуки Филиппа II, и веселая Малага, белая над синим морем, Малага сладкого вина и ленивых парусников, для них темна и жестока, как двор Эскуриала.

От собора всего несколько шагов до домишек тех бедняков, которые сожгли 36 церквей. От изуверок всего несколько шагов до головни и керосина. Это один мир и один день. Он еще длится.

## 8. Чудеса

Путешественник, приехавший из другой части света и обследующий Европу так, как европейские миссионеры обследуют Африку, может отметить: «Испания заселена двумя породами людей. Одни, худые, изможденные, с явными признаками различных телесных и духовных лишений, называются «кампесинос», что означает «крестьяне». Они одеты по-разному: на севере они носят береты или платки, завязанные на голове, на юге широкополые шляпы, но повсюду их одеяние отличается изъятиями и может быть приравнено к рубищам. Другая порода людей, заселяющих Испанию, напротив, отличается здоровьем. Это краснощекие дородные люди, всегда веселые и жизнерадостные. Они пьют в кабаках вино, они курят сигары и ласкают хороших служанок. Эти люди одеты повсюду одинаково в широкие черные балахоны, и зовут их «курас», что означает «священники».

В кортесах сеньор Асанья провозгласил: «Испания перестала быть католической!» В дипломатической ложе сидел папский нунций. Он внимательно слушал. Он мог бы вздохнуть — ведь это смертный приговор!.. Но, повернувшись к соседу, он благодушно улыбнулся. Может быть, он вспомнил историю соседней республики Комба и «пожирателей кюре», бранные крики, закончившиеся комплиментами, старушку Марианну, вновь ставшую христоролюбивой? Может быть, он улыбнулся и не думая вовсе об истории, просто потому, что он духовное лицо, а как уже было сказано, духовные лица в Испании отличаются веселым нравом?..

Во Франции кюре стараются на людях вести себя пристойно, даже в трамваях они неизменно читают все тот же зачитанный молитвенник. В Испании «курас» не стесняются. Они заходят в кабачки, курят большие вонючие сигары, в просторечье именуемые «смерть собакам», балагурят, заигрывают с девушками. В деревне «кура» тотчас же находит красивую девушку, красивую и к тому же бедную — таких немало в Испании. Избранная становится служанкой. Днем она работает на «куру», ночью также. Когда «куре» она надоест, он возьмет другую. Возле Ля Альберки у одного «куры» целый гарем; здоровый, красномордый, он работает день и ночь — то девка, то месса, здесь же огород, здесь же взыскать за требы, здесь же апостол Павел. Когда приключается неприятность, девушка спешно уезжает в Бехар или в Пласенсию. Байстрюка берут в воспитательный дом. Мать никуда не берут — ни на ферму, ни на фабрику. Впрочем, в каждом испанском городке имеется публичный дом, и женщина без работы не остается. Что касается «куры», то он уже успел присмотреть другую.

Гениальный сатирик протоиерей из Ита рассказывает, что произошло с духовными особами в Талавере после того, как один чересчур суровый епископ запретил им пользоваться женскими услугами. «Обратимся к королю Кастилии. Он знает, что мы все из плоти...» Один стонал: «Я оставлю Талаверу, перееду в Опоресу...» Санчо Муньес хитрил: «Откуда епископ может знать, кто моя служанка? Может быть, она моя родственница? Может быть, я ее держу из милосердия?» Третий клялся, что ни за что он не оставит своей любимой Орабуены. Это написано шестьсот лет тому назад, но в Испании многое живо вне истории — тем же плугом пашет землю крестьянин, так же осел тащит глиняные кувшины с водой, так же веселые «курас» развлекаются со своими служанками. Только епископы стали осторожней, они не отдают опрометчивых приказов.

Да, слов нет, хорошо живут «куры» в Испании! Однако еще лучше живут «фрайлес», то есть монахи. Монастыри в Испании никак не похожи на скромные скиты, и созданы они отнюдь не для умерщвления грешной плоти. С виду они похожи то на дворцы, то на прекрасные усадьбы. В Саламанке имеется монастырь-небоскреб, нечто вроде правления нью-йоркского банка. Чем богаче край, тем больше монастырей:

монахи умеют выбрать места не только живописные, но и хлебные. Бедному человеку попасть в монастырь столь же трудно, как евангельскому верблюду пролезть сквозь ушко. Монахи дают землю в аренду, а деньги в рост, они участвуют в акционерных обществах, и настоятель хорошего монастыря, раскрывая «Эль дебате», интересуется не только телеграммами из Ватикана, но также биржевыми курсами. Много заводов и копей на севере Испании находятся под финансовым контролем иезуитов.

Иезуитский монастырь близ Мурсии. На воротах крепкие запоры: май может повториться. В монастыре было сорок монахов, теперь трое, остальные предпочитают временно светский костюм и частные квартиры — они боятся не столько речей сеньора Асаньи, сколько анонимной толпы, керосина и коробки спичек. Трое остались, чтобы вести дела. Один продолжает обучать детей слову Христову. Другой присматривает за рабочими, которые работают в монастыре. Третий договаривается с крестьянами: ведь в этом году, несмотря на все пламенные речи депутатов, монастырь сдал крестьянам в аренду столько-то «таулий» и получил за это столько-то тысяч песет.

В Мадриде сожгли двадцать монастырей, некоторые монахи отбыли за границу для высокой дипломатической работы, но большинство продолжает трудиться на месте: увещевают, обучают, подрабатывают. В Малаге монахи из сожженных монастырей сняли новые помещения и открыли школы. Они вовсе не склонны расстаться с вековой сытой и привольной жизнью.

Для людей с жизненным опытом монастырь — санаторий. Я видал одного монаха в Сеговии, он был богатым адвокатом, славился кутежами и любовными проказами. Потом он устал. Экклезиаст говорит: «Всему свое время». Бывший адвокат гуляет по монастырскому саду, нюхает цветы, изучает романские барельефы, читает книжки. К столу у него прекрасная снедь, старое вино. Никаких мирских забот, человек отдыхает, к тому же он, разумеется, молится и своими молитвами спасает весь христианский мир.

Спасти Испанию не так-то просто. Мало для этого и благодушия нунция, и трудолюбия «курас», и молитв «фрайлес». Против поджигателей можно выставить пикеты гражданской гвардии, но кто спасет католическую Испанию от безверья?.. Пока государство содержало всю веселую братью, крестьяне ходили в церковь, любовались парчовыми платьями раскра-

шенных кукол,— словом, делали все, что должны делать исправные прихожане. Но вот поговаривают, будто крестьянам придется содержать этих весельчаков... Крестьяне угрюмо почесываются. Говоря откровенно, они смогут прожить и без кукол... Месса не гвозди и не соль, за мессу не платят! Нунций улыбается, но в душе нунций несколько встревожен. Так начинаются чудеса.

Осенью этого года некая девица, по имени Рамона Оласабаль, вполне своевременно удостоилась посещения святой Марии. Последняя дружественно с ней побеседовала, а потом небесным мечом пометила ладони счастливой Рамоны. У Рамоны тотчас же нашлись последователи: девочка Мария Асурменди объявила, что она тоже видела богородицу, которая рук ей не царапала, но только улыбалась и, улыбаясь, подарила ладанку. Иоахим Мучатеги девяти лет от роду также видел богоматерь, она рассказала ему что-то «по секрету», что именно, он рассказать не может. Может быть, о речи сеньора Асаньи?.. Или об аренде монастырских земель?.. Кто знает!.. Хуана Мурабель видела богородицу с семью мечами, а Хуана Ларос видела богородицу среди звезд. Словом, удостоившихся было немало, однако забить Рамону Оласабаль никто не мог: как-никак у Рамоны поцарапанные ладони. Правда, врачи, осмотревшие девицу, заявили, что ее ладони порезаны обыкновенным ножом и что Рамона страдает гемофилией, но врачи, как известно, заведомые безбожники. В деревню Эскиога стали стекаться десятки тысяч паломников.

В других местах Испании весельчаки тоже не дремлют. Бесспорно, Испания вступает в эру чудес, причем не только видений, но чудес вполне реальных: автомобиль останавливается на краю бездны, умирающий лихо вскакивает с одра, пуля ударяется об ладанку. Чудеса в Испании всегда отличались реализмом. Поэт Гонсало де Берсео записал в свое время множество таких чудес. Например, монахиня согрешила. Она беременна. Ей грозит строгое наказание. В монастырь приезжает епископ. Монахиня просит богоматерь: вступишь! Та тотчас же является. Она не царапает ладоней, нет, она занята вполне серьезным делом: она принимает у монахини ребенка, как хорошая повивальная бабка, после чего уносит младенца в лес к некоему Педро — на воспитание. Епископ приказывает опытным повитухам осмотреть монахиню. Повитухи заверяют, что подсудимая отнюдь не беременна. Тогда епископ,

осерчав, хочет наказать игуменью, оклеветавшую монахиню. Желая спасти игуменью, монахиня падает на колени и рассказывает епископу о том, как богоматерь у нее приняла младенца. Все умилены, все идут в лес к Педро и, увидев в колыбели новорожденного, прославляют богоматерь. Таково классическое чудо XIII века. Чудеса XX века отличаются только меньшей фантазией и большей последовательностью: они должны не столько утешить, сколько напугать — богоматерь призывает добрых католиков вступить за права апостольской церкви.

В Бискае и в Наварре католики открыто призывают к борьбе с богопротивной республикой. В Андалузии и в Эстрамадуре они еще прячутся среди сетований, молитв и бабьих шепотов. Повсюду в темноте исповедален они говорят теперь не только о заветах апостола Павла и о святости поста, но также о дьявольских происках безбожников и смутьянов. Они куда толковей и серьезней испанских журналистов, те ведь получают только скудные построчные, а «фрайлес» и «курас» защищают свои акции, свою землю, свои дома и свою власть.

Недавно полиция «нашла» в одной из церквей склад огнестрельного оружия. Очевидно, сеньор Асанья не вполне доволен улыбкой нунция. Он хочет сделать нунция сговорчивей. Полиция находит только то, что она должна найти. Кто знает, сколько в Испании подобных арсеналов?.. Найдено несколько револьверов — это относится к дипломатии. В монастырях и церквях по-прежнему работают представители воинствующей церкви: они готовят чудеса и выборы, они закрывают заводы и оставляют землю необработанной, они науськивают темных женщин и сторговываются с гражданской гвардией. Они знают, что судьбы страны теперь решаются не десятком смельчаков с револьверами. У них другое оружие и другие арсеналы.

## 9. Ляе Урдес

Саламанка — город пышный и шумный. На главной площади под аркадами с утра до ночи прогуливаются студенты, солдаты и барышни. Они пьют вермут, закусывая его маслинами, обсуждают министерские декларации, влюбляются, томно млеют, пока чистильщики бархатом натирают их невыносимо

блистательные ботинки, они строят глазки, ходят взад и вперед, живут на площади и на ней же старятся. Вечером вспыхивают старинные фонари, аркады становятся таинственными, как альковы, прекрасная площадь забывает всех местных красоток, и в нее, не в ту или иную сеньориту, но именно в площадь, в аркады, в фонари, в старые дома, в длинную, как жизнь, прогулку влюблены все жители Саламанки. Шумен и пышен город. Кастильские «ххх», «ррр», «ссс» звучат как ратные крики. Гудят автомобили, а им отвечают неизбежные старожилы испанских городов — многострадальные ослы. Из кафе доносится гуд громкоговорителя: не то сеvilьское «фламенко», не то речь сеньора Прието. Шумен город и пышен. Дворцы Возрождения на каждом шагу, как мелочные лавки, они сходят за простые дома, о них забывает даже «бюро для туристов», в них живут обыкновенные люди, в дворцах с колоннами, в дворцах, облепленных мраморными раковинами, в дворцах с нимфами и с фонтанами, живут просто, когда нужно — глотают касторку, когда нужно — кричат на прислугу: «Почем сегодня телятина?» Университет Саламанки столь великолепен, что трудно понять: как же в нем люди изучают патологию или гражданское право? Он создан для любования. Да, Саламанка — город поэтов!..

В «Гранд-отеле» выставка старинных безделушек, обед из десяти блюд, изысканные лакеи и чарльстон. Кто после этого скажет, что Испания отсталая страна? Это край довольства и неги. Большая площадь все шумит, кружится, поет...

Любители гор могут поехать в Пенья де Франсия — это под боком. Прекрасное шоссе. Сто километров. Вот и перевал!.. Перед глазами ад, попытка природы передать все то жестокое и злое, что мучит иногда человека в бессонницу. Крутой спуск в голое пустое ущелье. Крутом горы — ни деревьев, ни травы. Человека здесь никто не услышит. Куда же идет эта широкая дорога?.. Может быть, в «убежище» для снобических туристов, которые ищут уединения?.. Может быть, попросту в преисподнюю?.. Еще несколько километров. Лачуги. Здесь кто-то живет...

Дорога идет в край, именуемый «Ляс Урдес». Испанцы нехотя, с явным замешательством произносят это имя. Очевидно, Ляс Урдес никак не вяжется ни с небоскребами на Гран Вие, ни с тирадами кортесов. Но из песни слова не выкинешь: Ляс Урдес — Испания. Это восемнадцать деревень провинции



Касерес, на границе с провинцией Саламанка. Еще несколько лет тому назад мало кто знал о существовании Ляс Урдес — не было ни одной проезжей дороги, которая соединяла бы этот край с Испанией. Исследователи отправлялись туда, как в Центральную Африку. Люди в Ляс Урдес тихо умирали от голода и от болезней. Их стоны не доходили до соседней Саламанки. Это хилые и нищие люди, следовательно, ими не интересовались ни сборщики податей, ни воинские начальники. На беду, король в поисках «народной любви» решил посетить Ляс Урдес: так подают копейку калеке. Лошадь короля, перевалив горы, печально заржала. Когда король увидал неведомых верноподданных, он тоже печально вздохнул: предстояла почь в аду. Королю негде было переночевать, как бездомному бродяге. Он не решился зайти в вонючие темные норы. Для него разбили палатку на кладбище — кладбище показалось королю самым жилым местом в Ляс Урдес. Вероятно, он был прав.

После королевского визита в Мадриде заговорили о Ляс Урдес. Образовалось «Общество покровительства Ляс Урдес», со статутом столь же благородным, как и «Общество покровительства животным». Провели дорогу. Над деревнями, немного в стороне от них, предпочтительно на вышке, чтобы избежать чересчур зловещего соседства, построили красивые белые домики: для учителя, для священника, для доктора. Крестьяне ютятся по-прежнему в темных землянках, спят вповалку, один согрвая другого, без тепла, без воздуха, без света. Но над ними — несколько вполне европейских домов и вывеска «Общество покровительства Ляс Урдес». Так, наверное, ведут себя белые в захолустьях Африки.

Две трети населения Ляс Урдес отмечены признаками дегенерации. Среди них много зобастых. Они отличаются малым ростом и слабостью. Дети развиваются медленно: десятилетним никак нельзя дать больше четырех-пяти лет. Половая зрелость у женщин наступает часто лишь в двадцать лет. Потом они сразу старятся. Здесь нет ни юношей, ни людей среднего возраста — дети и старики. Детей очень много, босые, полураздетые на холоде. Вот девочка тащит новорожденного со скрюченными полидовевшими ногами. Умрет?.. Через год будет новый...

Наверху в белом домике доктор. Он может изучать здесь все виды дегенерации. Помочь он не может: как лечить голодных?.. Тайна Ляс Урдес весьма проста: люди здесь голодают

из поколения в поколение. Земля лишена извести. Удобрения нет. Редкие деревья, оливы и каштаны принадлежат кулакам из села по ту сторону гор, из Ля Альберки. Крестьяне Ля Урдес едят горсть бобов, иногда ломоть хлеба, иногда желуди. Так как лекарство от голода еще не придумано, доктор ведет статистику и наблюдает.

Столь же трудна работа учителя. Дети любят школу: в школе светло и тепло. Они приходят босиком из соседних деревушек: 5—8 километров. Учитель проверяет умственное развитие детей, у него таблицы, диаграммы, цифры. «Расскажи, что изображено на этой картинке?..» Учитель ставит цифры, выводит среднюю, разводит руками: двенадцатилетний по цифрам соответствует трехлетнему. Дети стараются прилежно учиться, среди них много способных. Но в дело вмешиваются желудочная резь, пот, озноб, спазмы, все признаки вульгарного голода. Незачем звать доктора: болезнь ясна.

— Среди моих учеников вряд ли найдется один, который хотя бы раз в жизни поел досыта...

Тетрадки, обыкновенные тетрадки, как во всех школах мира. В тетрадках сначала: «Его величество король, наш благодетель»... Потом несколько страниц спустя: «Наша благодетельница, Испанская республика». Тетрадки те же. В Мадриде произошла революция. Исполнительный учитель переменял тексты для чистописания. Больше ничего не переменялось: босиком домой по холодным камням, дымная берлога, мать корчитя, рожая, две картофелины, несколько сворованных каштанов и сон на земле.

Девочка все тащит младенца. Он еще не умер. Бессмысленно глядит он на враждебный мир. Он не знает, что он дитя проклятого края. Вот этот старик знает: он вводит нас в свой дом — ничего не видно, трудно дышать, но это лучшая изба деревни. Даже запасы — корзина с желудями. Старик спокоен: его дело кончено, он съест желуди, а потом умрет. Кюре в беленьком домике не сидит без дела. Кюре может быть доволен приходом; он не учит и не лечит, он отпевает.

Несчастные люди с ужасом и надеждой смотрят на автомобиль. Им не привезли ни хлеба, ни спасенья. Они забираются назад в свои норы. Только девочка еще не может успокоиться. Она не сводит глаз с приезжих. Сколько ей лет? Десять? Или, может быть, восемнадцать?.. Новорожденный закрыл голубые глаза. Вокруг величественные горы. Природа

здесь издевается над ничтожеством человека. Она показывает свое превосходство: какие вершины, какие пропасти, какое головокружение! Она ничего не дает человеку, она еще свободна от него. Люди пугливо залезают в землянки. Они знают: никто им не поможет. По ту сторону гор живут счастливы: у них оливы, хлеб, песеты, король и республика. Они любят развлекаться. Они провели дорогу. Они приезжают, чтобы посмотреть на жителей Ляс Урдес. Они приезжают и уезжают. Но никуда не уехать жителям Ляс Урдес. По-прежнему самое жилое место края — кладбище.

Девочка с синим младенцем осталась позади. Может быть, он уже умер? Автомобиль пыхтя рвется вверх. Саламанка. Веселая площадь. «Гранд-отель». Музыка. Где вы были?.. В Ляс Урдес?.. Нет, об этом не принято говорить в приличном обществе! Сегодня в кино идет новая американская картина...

## 10. Что такое достоинство

Терраса большого кафе на мадридской Гран Вие. Час ночи — театры кончились, публика начинает собираться, публика, что называется, «чистая» — коммерсанты, «сеньоритос» (так зовут здесь «золотую молодежь»), адвокаты, журналисты. Вокруг столиков бродят продавцы газет, чистильщики сапог, нищие. Деловито они ищут пропитания. Смуглая крупная баба продает лотерейные билеты: «Завтра розыгрыш!..» Другая баба ей приносит грудного младенца. Тогда женщина спокойно придвигает к себе кресло, расстегивает кофту и начинает кормить ребенка. Это нищенка. За столиками шикарные кабальеро. Гарсоны парижского кафе сворой ринулись бы на нищенку, в Берлине поступок показался бы столь необъяснимым, что преступницу, чего доброго, подвергли бы психиатрической экспертизе. Здесь это кажется вполне естественным. Откормив младенца, женщина принимается снова за работу: «Завтра розыгрыш!..»

Не следует думать, что демократизм быта создан испанской буржуазией, он создан наперекор ей. Испанский буржуа ничуть не менее своих иностранных братьев обожает иерархию. Он твердо знает, что дуру в пять раз больше песеты, и его религия тесно связана с начальной арифметикой. Он рад бы

провести раздел между собой и «народом», остановка не за ним. Остановка и не за государством: хитрая сеть древних законов, паутина толкований, все здесь сделано для того, чтобы окрутить безграмотных крестьян. Остановка только за так называемым «народом». Его закабалили, но не принизили.

Сеньор Санчес, «государственный адвокат» и наследственный шулер, едет сегодня из Сеговии в Мадрид. Носильщик тащит его чемоданы, украшенные подозрительными гербами. Сеньор Санчес вчера обыграл в карты сеньора Гарсию — он дает носильщику целую песету. Тот, вместо благодарственного пришептывания, улыбнувшись, протягивает сеньору Санчесу руку: «Счастливой дороги!» Адвокату ничего не остается, как принять это рукопожатье. В Мадриде к Санчесу подходит нищий; Санчес отмахивается — «ничего нет!». Нищий вежливо приподымает драную шляпу — «простите, что потревожил». Санчес в городском парке читает «Эль Соль». Рядом с ним чернорабочий жует гороховую колбасу. Санчес косится — что за соседство!.. Тогда рабочий вежливо предлагает: не хочет ли сеньор попробовать?.. В душе сеньор Санчес отнюдь не одобряет подобной фамильярности, но он родился и вырос в Испании, следовательно, он с ней легко мирится. Перед ним никто не станет унижаться. У него могут попросить медяк. При случае его могут и зарезать, но ползать перед ним на коленях никто не станет. Бедность здесь еще не стала позором. Французский буржуа сумел привить свою мораль даже заклятым врагам: бедняк во Франции стыдится дыр на штанах, голодного блеска глаз, ночевки на скамейке бульвара. Бедняк в Испании преисполнен достоинства. Он голоден, но он горд. Это он заставил испанского буржуа уважать лохмотья.

У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и о живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные песни, о бедняках, которые пляшут в Каталонии стройное «сердано», о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в острогах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном.

Испания — это не Кармен и не тореадоры, не Альфонс и не Камбо, не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу, вместе с аргентинскими сутенерами и «малагой» из Перпиньяна, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон-Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных сутенеров!

Испанские крестьяне и рабочие душевно куда тоньше изысканных обитателей европейских столиц. Паноптикум или человеческая выставка — обязательная низость современной жизни — претит им. Они не расспрашивают и не разглядывают. Они приходят на помощь просто, как бы невзначай. В Испании нет государственного пособия безработным. Социалистический министр труда занят статистикой и проектами. Число безработных тем временем растет. Как живут эти люди?.. Только помощью товарищей, которые из мизерного заработка уделяют толику еще более обездоленным. В Барселоне квартиры большие, а заработная плата низкая, в каждой квартире живут по несколько семейств. Те, что работают, делятся с безработными. В деревнях Эстрамадуры батрак режет хлеб пополам и отдает половину безработному. Это делается незаметно, и мало кто об этом знает. В Мадриде удивленно спрашивают: «Почему безработные еще не умерли от голода?..» Чтобы получить с берлинского бюргера пять марок на «суп для несчастных», надо процитировать и Библию, и Брюнинга, надо польстить: «у вас благородное сердце», надо пообещать: «мы напечатаем о вашем поступке в газете», надо пофилософствовать: «если у них не будет хотя бы постного супа, они начнут громить лавки»... Странно, что этакое существо и батрак из деревни Оливенса, который содержит семью безработного товарища, скрывая свою жертву даже от соседей, — что оба они могут называться одним архаическим словом «человек».

«Дуро» — это заставляет усиленно биться сердца всех чиновников Мадрида, всех коммивояжеров Барселоны. Крестьяне и рабочие равнодушны к деньгам. Большие дороги здесь не уничтожили гостеприимства. Французский крестьянин ни-

когда не впустит чужого в свой дом. Если он даст стакан вина, следовательно, это «быстро», и за вино он взыщет столько же, сколько стоит стакан в соседнем городке. Если он угостит сыром, следовательно, он уже вычитал в местной газетке, что этот вот сыр «локальная специальность» и что парижане падают на него. Приезжий может зайти в любую испанскую хижину от Галисии до Альмерии — его всюду примут с радушной улыбкой. Ему дадут все, что имеется: хлеб, овощи, фрукты. Если он предложит деньги, он увидит смущение, а порой и обиду. Мы хотели заплатить за яблоки одному крестьянину в нищей деревне Санабрии; песета для него большие деньги. Ему не на что купить ни соли, ни деревянного масла. Он поглядел на монету и возмущенно отвернулся. Звон серебра еще не заглушил в его ушах человеческого голоса. Другой крестьянин возле Мурсии принес в автомобиль грудку апельсинов, причем это был не один из местных кулаков, но бедный старик, у которого всего несколько деревьев и который нанимается к соседу, чтобы выработать три песеты в день. От денег он отказался просто и величественно. Нищенка в Гранаде мне предложила кусок луковой колбасы. Чистильщик сапог в Алхесирасе мне подарил папиросу. Босой мальчонок в Мадриде, улыбаясь, угостил меня карамелькой. Все эти люди знают, что улыбка куда важнее человеку, нежели песета.

Мадридские лежебоки, сидя в одном из кафе, любят рассуждать о горькой судьбе Испании. От них вы услышите, что страна гибнет потому, что крестьяне и рабочие не хотят работать — это, мол, наследственные лентяи! Опровергать не приходится, опровергает хотя бы тот же Мадрид, та же жизнь лежебоков, те же кафе, банки и дворцы. Чем создано это, если не упорством крестьян, которые добывают из камня хлеб, без удобрения и без машин, если не искусством рабочих, которые на архаических фабриках, среди безграмотных инженеров и жуликоватых управляющих, ухитряются делать вещи на вывоз?.. Непонятно, как может работать батрак Эстрамадуры, который ест куда меньше того, что прописывают врачи толстякам в виде «голодной диеты», запрещая при этом малейшее движение!

Испанцы работают прилежно, но вне американской горячки: и в труде они соблюдают достоинство. Форд построил в Барселоне сборочные мастерские. Он установил там свою знаменитую «ленту». Рабочие не пошли к Форду. Квалифициро-

ванный рабочий Барселоны получает семь-восемь песет в день, Форд платит пятнадцать, но на его заводе нет ни одного рабочего из профсоюза, только злосчастный сброд, набранный в «Китайском квартале». Испанские рабочие любят свое дело, это прекрасные токари, сапожники, столяры. В труде они ищут творчества. Несколько лишних песет их соблазняют куда меньше, нежели свобода.

Право на досуг здесь кажется столь же необходимым и естественным, как право на воздух. Вот сапожник, он отработал столько-то часов, он сидит на пороге и слушает, слушает, как поет девушка с кувшином, как ревет осел, как перекликаются дети. Приходит заказчик: набить подметки... Сапожник спрашивает жену: «Мијег, у нас есть сегодня на обед?» Узнав, что на обед есть хлеб и горох, сапожник отсылает клиента к другому сапожнику: он отдыхает. Носильщик в Севилье отнес сундук, получил песету. «Отнеси другой, получишь еще песету»... Носильщик отказывается: с него на сегодня хватит, теперь пусть зарабатывает товарищ... Для мистера Форда это либо сумасшедшие, либо преступники: они не хотят работать до одури, они не понимают, что правда в сбережениях, они не думают о завтрашнем дне. Для испанского рабочего это обыкновенные люди — не лентяи, но и не стяжатели, люди, которые умеют даже голодая жить. Батраки Андалузии старательно оговаривают свое право на несколько «сигар», это, конечно, не сигары — у них и на папиросы не хватает, нет, это пятнадцать минут отдыха, столько, сколько предположительно курят сигару, это право несколько раз в день не только работать на процветание графа или маркиза, но лежать на земле, глядеть вдаль или просто дышать.

Храбрость, эта историческая добродетель испанского народа, сохранилась только среди рабочих и крестьян. Король при первой опасности отбыл за границу. Генералы, герои марокканской войны, умирают от старости на семейных кроватях. Каталонские патриоты клянутся, что они готовы умереть за отечество, на самом деле они зарабатывают деньги и торгуются с Мадридом, торговались с Примо де Риверой, торгуются теперь с республикой. Журналисты, устраивая в кафе безобидные заговоры, заручались хорошими связями. Умиряли рабочие и крестьяне. Их расстреливали гвардейцы при короле, их расстреливают гвардейцы при республике. Они умеют идти против винтовок с голыми руками.

Мадрид. Сентябрь. Демонстрация. Коммунист произносит речь на выступе дома. Это рабочий. Слушают его обитатели квартала Куатро Каминос: рабочие и ремесленники. «Стреляют!» Оратор продолжает говорить. Толпа продолжает слушать.

Каждый день газеты сообщают: в Хихоне рабочие отказались разойтись, один убит, два ранены. В провинции Гранада столкновение крестьян с гвардией, трое убиты. В Севилье два... В Бильбао четыре... В Бадахосе один...

Стреляют, рабочий продолжает говорить, рабочие продолжают слушать... Старая испанская песня восхваляла мужество. Это было давно, в ту пору, когда удадь, прославляемая певцами — «жонглерами», еще не свелась к турнирам ради той или иной дамы или к реверансам перед королем. «Мое украшение — оружие, мой отдых — сражаться, моя кровать — жесткие камни, мой сон — всегда бодрствовать». Эту песню теперь вправе петь не мародеры марокканской войны и не герои республики, которые вели переговоры с Альфонсом о его путешествии из Мадрида в Париж, но только батраки и рабочие, синдикалисты или коммунисты. Правда, у них еще нет оружия и, следовательно, им нечем себя украсить, зато уже давно их кровать это жесткие камни, и, любя отдых, они теперь показывают, что этот «отдых» может быть весьма опасен для изнеженного сна республики.

## 11. Эстрамадура

Трудно сказать, какая провинция в Испании беднее других. Там, где земля плодородна, у крестьян нет земли, там, где у крестьян земля, — это не земля, но камни. Бедна суровая Кастилия, с ее скалами, голыми, как судьба, с ее крохотными деревушками, забытыми всеми, с ее громким именем и с ее миской гороха. Бедна Андалузия, несмотря на солнце и на маслины, на виноградники и на море, бедна, как страна, по которой прошли завоеватели, как изба, из которой выволокли все до последней лоханки; вместо кастильского гороха здесь «гаспачьо» — вода, в воду подлили малость деревянного масла, накидали корки хлеба — это обед и это ужин. Бедны и Арагон, и Ламанча. Трудно потягаться с ними, и все же особенно



бедной кажется мне широкая и печальная Эстрададура. Это заброшенная окраина. Туда еще не заезжают ни караваны туристов, ни агитаторы барселонской «Конфедерации труда». Там до сих пор думают, что у русских боярские бороды и что социалисты — это доподлинные революционеры. Эстрададура — это так далеко от мира, грустное имя, грустная страна!

В Касересе роскошные дворцы помещиков: флорентийские ворота, мавританские фонтаны, венецианские фонари. У владельца вот этого особняка десять тысяч гектаров. Это изысканный кабальеро и к тому же страстный охотник, он приезжал сюда каждую осень, чтобы стрелять куропаток. После апрельского переворота он уехал из Мадрида в Париж. Теперь время охоты, но темно во дворце, наглухо закрыты окна, не журчит фонтан — кабальеро в отлучке, кабальеро во Франции. Он вывез туда вдоволь песет, а за деньги даже во Франции можно найти настоящих живых куропаток. Опустели дворцы Касереса; помещики получают деньги от управляющих. Что касается климата, то кабальеро люди не столь прихотливые — они могут перезимовать и в Биаррице. Рядом с дворцами монастыри, один за другим, целый город монастырей. Монахи знают, что Эстрададура отнюдь не бедна. Зачем гневить бога?.. В Эстрададуре пробковые рощи, в Эстрададуре прекрасные нивы, в Эстрададуре прославленное свиноводство: местные окорока — «*jamon serrano*» — признаны обжорами всего мира. Монахи в Испании водятся не где придется, но только рядом с богатством, как воробьи рядом с конюшней, — они клюют золото. Монахи из Касереса не уехали. Они проверили запоры на воротах, они ласково пошептались с капитаном гражданской гвардии, они пережили несколько тревожных ночей. Они успели отоспаться.

Город, слов нет, пышный. Можно прибавить художественные ценности: собор, дома Ренессанса, древние укрепления. Стоит ли говорить об остальном?.. Хотя бы о воде?.. В Касересе нет водопровода. Утром и вечером женщины, девушки, девочки спускаются вниз с кувшинами. Город на горе, вода внизу. Женщины носят кувшины на голове. Это очень живописно, и это очень тяжело. Конечно, супруга сеньора Торреса не ходит с кувшином — у нее прислуга; сеньор Торрес твердо убежден, что единственное, на что может пригодиться голова его прислуги, — это быть подпоркой для кувшина. Вода в Касересе не только за тридевять земель, вода премерзкая. Здесь

никогда не прекращается эпидемия тифа. Сеньоры, почти все пьют минеральную воду или вино, что касается «народа», то не все ли равно, от чего этот народ умирает?.. Мало ли в Эстрамадуре умирают от малярии?.. Тиф ничуть не хуже. При этом в Эстрамадуре чересчур много людей, в том же Касересе на тридцать пять тысяч жителей тысяча безработных, и эти безработные умирают не от тифа и не от малярии, а просто от голода.

Туристы ездят в Севилью и в Гранаду, никто не забирается в Касерес, а между тем вряд ли найдется в Испании другой город столь фантастичный. Если взглянуть на него снизу, это театральная декорация: громоздятся ярусами дома, по крутым улицам карабкаются стройные девушки с кувшинами, люди в широкополых шляпах лежат на камнях — не жизнь, но балет. Если взглянуть на Касерес снизу... Надо ли взбираться наверх, где прекрасные кувшины оказываются наполненными микробами, где в столь живописных домах видишь черную нужду, где благородные статисты, которые лежат на камнях, становятся безработными без пособий, без надежды, осужденными на верную смерть?..

Как щедро Испания на подобные разоблачения! Каждая эпоха смотрит человеческую комедию по-своему — в разных местах раздаются аплодисменты или свистки. Путешественники прошлого века замечали нищету, но, поданная в столь эстетическом окружении, она их умиляла. Они стыдливо отворачивались от трущоб Лондона, они знали, что Диккенс это мораль. В Испании они отдыхали от морали, они воспринимали картины Мурильо как живую жизнь, а лохмотья нищего — как музейную ценность. Там, где они умилялись, нам хочется свистеть в два пальца. Чем прекрасней земля, чем больше в ней внутренней гармонии, чем стройней ее женщины, чем богаче она и архитектурными перспективами, и масляновыми рощами, тем больше возмущает нас ее нестерпимая нищета. Кабальеро, увидев женщину на улице, по привычке кричит ей: «Я в тебя влюблен, красотка», — и равнодушно проходит мимо. Стыдно отделаться от красоты Эстрамадуры таким комплиментом. Здесь есть что полюбить и что возненавидеть.

Путь от Касереса в Бадахос длится долго, поезд останавливается где-то в поле. Пересадка — надо ждать два часа. Вместо станции лачуга. Возле лачуги огромный кактус, как болезненная опухоль, два осла, заколоченная фабрика. На пер-

роне босые дети и сумасшедший старик. Над всем этим плотная серая скука. Подрались два кобеля, их облили водой. Сумасшедший покричал петухом. Ребята нашли гнилое яблоко и обрадовались. Я не помню имени этой станции, это просто лагуча и это Эстрамадура.

Бадахос — граница Португалии, но Бадахос — это то гоголевское захолустье, от которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». В Бадахосе выходят несколько газет. Самая передовая «Ля Вос Эстремения». В этой газете боевой фельетон: «Двадцать лет спустя» Александра Дюма. В этой газете обстоятельные отчеты о мировых событиях: «Супруга уважаемого коммерсанта дона Сесилио Алкаля Беррокаля донья Серванта Флеча Родригес разрешилась вчера от бремени красавцем сыном... Уважаемый коммерсант дон Луис Перес Альварес отбыл вчера в Сафру... Вчера захворал легкой формой гриппа заведующий «Банко Эспаньол де Кредито» уважаемый дон Хуан Ретамаль... Прибыл наш дорогой друг дон Лауреана Кальсадо Луис, начальник тюрьмы в Алькосере. Мы желаем ему также, как и его прекрасной супруге донье Авелине, приятного пребывания... Донов и доний много: они хворают, выздоравливают, женятся — вот и газета заполнена. Можно прибавить литературный отдел — после романа Дюма критический разбор «Бедных людей» Достоевского: «Эта книга позволяет нам легче понять азиатский характер Советской России...»

Депутат Бадахоса человек просвещенный, он живет не в Бадахосе, но в Мадриде. Однако он мог бы сойти за бадахосского старожилу. Он побывал, например, в Москве и написал об этом книгу. Его книгу читали не только в Бадахосе, но и во всей Испании. В этой книге он описывает разные чудеса. Он, например, видел в Москве попов. У них длинные бороды. Наблюдательный путешественник пишет: «Попы в России евреи». Да, далеко от Бадахоса до Москвы!..

Эстрамадура — это не Касерес и не Бадахос, Эстрамадура — это деревня. Следует только забыть о привычном значении некоторых слов: приехав в деревню Эстрамадуры, никак нельзя догадаться, что это «деревня». В деревне Оливенса двенадцать тысяч жителей, в деревне Дон Бенито за сорок. В таких деревнях имеется все, вплоть до «казино» для местных чиновников и лавочников. Все, кроме земли: ни огорода, ни палисадника. Это города, заселенные батраками. Земля

вокруг принадлежит разным маркизам и графам, они живут в Мадриде или за границей. Поместья величиной в уезды. Вот, например, у герцога де Орначуелоса 56 000 гектаров вполне девственной земли: герцог любит охоту. У крестьян нет даже хижин. Они снимают комнаты. Они платят за комнату по двадцать, по сорок песет в месяц. Когда небо начинает светлеть, они выходят из деревни, чтобы успеть к восходу солнца на работу. Иногда поле в десяти километрах от деревни. Так можно было бы, обладая соответствующей фантазией, организовать каторгу. Так в Эстрамадуре организован быт деревни.

Оливенса. На улицах толпа. Люди в широких шляпах — сомбреро, в розовых или голубых рубашках. Они стоят на углах и ждут. Приезжий может подумать, что это праздник. На самом деле это забастовка. Хозяева хотят, чтобы батраки работали не «от солнца до солнца», как раньше, но от «зари до зари». Между рассветом и восходом солнца проходит час, столько же между заходом и ночью. Формула поэтична: «от зари до зари», в переводе на грубый язык это значит: два лишних часа. Забастовщики угрюмо стоят на углах улиц и ждут. Трудно понять, чего именно они ждут. Они уныло ковыряют во рту зубочистками, есть — они давно не ели. У хозяев тоже зубочистки, но перед зубочистками у них сытный обед, и хозяевам ждать куда как легче.

В Оливенсе восемьсот безработных. Этим людям помогали товарищи. Теперь товарищи бастуют. Голодают забастовщики, голодают и безработные. Алькальде Оливенсы социалист, это не мадридский политик, это свой человек. Помочь он, однако, не может. Губернатор не отпускает никаких пособий. Губернатор запретил обложить коммерсантов налогом в пользу безработных. Губернатор шлет алькальде телеграммы: забастовка должна кончиться! Это не совет хозяевам, это приказ батракам. В Оливенсе всего-навсего восемь гвардейцев, но крестьяне Эстрамадуры фаталисты: они стоят и ждут. В соседней Андалузии люди умеют хвастаться, привирать, шутить, это актеры и юмористы Испании. Эстрамадура молчалива и скудна на жесты. Здесь иногда поют грустные песни, чаще всего здесь молчат. Восемь гвардейцев с зверскими мордами, как мифологические чудовища, стерегут пленников Оливенсы. В школе монах, он одет в штатское, сладко улыбаясь, он говорит мне: «Здесь людям не на что жаловаться, здесь люди живут хорошо...»

Маргарита Нелькен представляет в кортесах Эстрамадуру. Это передовая писательница и социалистка. Она призналась мне: «Нам приходится делать все, чтобы удержать крестьян от бунта...» В Бадахосе я беседовал с одним из местных социалистов. Это мелкий служащий, живет он плохо и по ночам изучает то эсперанто, то «Капитал» в популярном изложении. Он сказал мне: «Если бы не Мадрид, мы давно бы выступили...»

В одной из деревень Эстрамадуры крестьяне недавно подписали договор с управляющим огромного поместья. Они добились уступок: до забастовки они получали четыре песеты в день, теперь в договоре сказано: «четыре песеты и еда». Договор был скреплен алькальде. Управляющий негодовал — «лодыри!» Управляющий слал хозяину горестные послания. Но делать было нечего — договор подписан, управляющий распорядился, чтобы батракам выдавали еду, а именно похлебку без мяса, без рыбы, без овощей — немного воды с деревянным маслом. Рабочие против харча не возражали: они сызмальства знают, что такое «гаспачьо». Но управляющий распорядился не только выдавать рабочим еду, он распорядился также запечатать колодец: «В договоре сказано, что я обязан вас кормить, кормить, но не поить». Вода хозяйская, ничего не поделаешь. Палит южное солнце, рабочих мучит жажда, воды нет. Они не распечатали колодца, они не бросили в этот колодец управляющего, они только послали депутату ходатайство — нельзя ли распечатать колодец? Без воды в такой зной трудно работать!..

В Эстрамадуре нет еще ни синдикалистов, ни коммунистов. В Эстрамадуре социалисты; это крайняя партия. Социалисты, конечно, бывают разные. Те, что работают в деревнях, думают, будто они готовят революцию. Те, что сидят в Мадриде, делают все, лишь бы удержать рабочих от революции. Испанская песня говорит: «Одни поют то, что знают, другие знают, что они поют...»

Я не знаю, чем кончилась забастовка в Оливенсе, работают ли там теперь «от солнца до солнца» или «от зари до зари». Я знаю, что люди там работают от рождения до смерти. Иногда они поют о горькой судьбе, иногда они бросают лопаты и замирают на углах улиц, суровые и немые. Это прекрасно, как старая испанская живопись, и это страшно, как запечатанный колодец.

Площади, обсаженные пальмами, вывески отелей: «Бристоль», «Мадрид», «Париж», грумы в ливреях, проводники, антиквары с новехонькими древностями, магазины «Юдака», меняльные конторы, кондитерские для англичанок и коктейли для американцев, небо, выкрашенное в густо-синий цвет, и воздух стоячий, как пруд, — это могло быть Ниццей, Лугано или Сорренто, это оказывается Севильей.

Южные курорты смахивают на доисторических кокоток. Прежде мистер, приезжая в такую Севилью, закуривал под пальмой папиросу и умилялся: спичка не гасла... Мистер тотчас же усваивал, что здесь эдем. Довоенная буржуазия страдала «аэрофобией» — легчайший ветерок приводил ее в панику: она жаждала зимы без зимы и природы, похожей на оранжерею. Новый буржуа изменил идиллическим традициям. Он любит спекуляцию, воздухоплавание, поездки к Нордкапу и спорт. Герои Поля Морана, друзья Мослея и Тардье не ищут ни безветрия, ни мимоз. Так выходят из моды Ницца и Мерав, Севилья и По. Местные отели кажутся трогательными и глупыми, с их пышными вестибюлями, с бархатом алькова, с грациями над буфетом и с уютом вместо комфорта.

Отели пустуют: переменчивость моды, переменчивость и биржевых курсов; мистеры теперь заменяют севильское солнце угольками камина. Курортной Севилье приходится думать не столько о судьбах Испанской республики, сколько о судьбе английского фунта. Впрочем, и республика вдоволь огорчает всю эту братью, от хозяев гостиниц до гидов, которые водили мистеров в классические бордели Андалузии.

При короле было лучше! — у гида теперь мало клиентов. При короле было лучше! — хозяину отеля «Мадрид», весьма почтенному кабальеро (он подработал на телефонной концессии и, как говорят, у него капиталец в 60 миллионов песет), пришлось отбыть в Париж. При короле было лучше! — густо нарумяненная американка лет пятидесяти негодует. Ах, она так любила Испанию! Каждый год она приезжала сюда, чтобы скупать по дешевке старые картины и статуи — она ведь торгует в Америке древностями. Ее возвышенной профессии куда больше соответствовала монархия. При короле было лучше!..

Гордость города, директор музея и знаток севильских красот возмущенно говорит мне: «Наши крестьяне сошли с ума. Они хотят работать не больше четырех часов в сутки...» Нет нужды, что крестьяне работают «от солнца до солнца» — это вопрос не статистики, но чувств. В Севилье умеют ненавидеть еще не родившуюся революцию. Игра здесь идет в открытую. В Мадриде люди могут философствовать, здесь они уже стреляют. Роскошь здесь особенно порочна, страх заряжает револьверы, и за каждым углом чудится смерть.

Помимо неба с открыток и размалеванных Мадонн, Севилья гордится Альказаром — это мавританский дворец, подновленный, а следовательно, и вдоволь обезображенный. Ребенком я видел под Москвой ресторан с отдельными кабинетами «Мавритания» — там среди пестрого кафеля и ковров московские кущи ревелись. С тех пор в моем сознании кутежи неразрывно связаны с «мавританщиной». Это не случайная ассоциация: искусство арабов даже в его гениальных проявлениях никогда не подымается выше хорошо понятой неги. Это разумное толкование бани или гарема; нет здесь ни нафоса, ни борьбы, ни движения. Такое искусство требует восточного отторжения. Наверное, султан во дворе Альказара был ничуть не хуже носильщика, который теперь дремлет у одного из фонтанов Трапезунда или Самсуна. Но европейцы не умеют ни так дремать, ни так нежиться. Для них это искусство — антураж кафешантана. Недаром тысячи кабаков, отелей и притонов называются «Альказарами» или «Альгамбрами». Приезжая в Севилью, туристы — берлинские шиберы или парижские ростовщики, уж не говоря о маклерах из Ливерпуля, спешат облечься в мавританские одеянья и, лениво развляясь, обнимая своих жирных, гнусных супруг, предстать перед фотографом во дворе Альказара. Это невинная забава, но надо признать, что есть нечто общее между их существом и этим сомнительным искусством: такие туристы не станут сниматься ни у церкви Сеговии, ни у крепостных стен Авилы. Альказар — это их сны.

Помимо Альказара, в Севилье имеется Триана. Триана не дворец, но квартал по ту сторону мутного Гвадалквивира, заселенный беднотой: дворы, кишачие полуголыми ребятами, темные берлоги ремесленников, торговки, которые отпускают счастливцу пяток каштанов, смрад среди безветрия, темь под синим небом, гримаса безработных, голод. Сюда не заходят

туристы, здесь нет ни дворцов, ни роскошных борделей — вербовщики здесь набирают голодных красавиц и отсылают их в Мадрид или Барселону. Здесь никто не жалеет о рухнувшем королевстве, здесь никто и не радуется республике.

Порой по бедным кварталам Севильи пробегает ветер, как перед грозой: люди кричат, толпятся, негодуют. Тогда показываются другие люди с винтовками. Раздается несколько выстрелов, несколько человек валятся на мостовую, несколько женщин начинают протяжно выть. Здесь, под боком у Альказара, в самом развращенном и ханжеском городе Испании, среди иностранных хамов и местной челяди, мучительно рождается испанская революция.

На главной улице у магазина патефонов толпа: новая пластинка — «Расстрел Галана». Сначала какой-то актер произносит речь: Галан якобы говорит перед смертью. Он требует справедливости. Он приветствует грядущую революцию. Залп. Потом, разумеется, республиканский гимн. Толпа слушает глупую пародию на смерть. В это время в одном из предместий полиция, «сегуридад», преспокойно расстреливает безработных — без речей и без гимнов.

В клубе печати всю ночь напролет журналисты режут карты. На стене портреты республиканских вождей, на столе карты, может быть в согласии с принципами, крапленные — председатель клуба монархист, это не мешает ему обожать республику. Они играют, проигрывают, выигрывают. Потом они наспех пишут статейки, они требуют от Мадрида крутых мер, они призывают граждан умереть за свободу, вот как умер Галан — последнее, видимо, относится к гражданам полицейским. Но полицейские не умирают, им и незачем умирать, они только убивают. К сожалению, их подвиги не заносятся на пластинки.

В предместье Севильи огромные и безобразные дворцы — это труп «Международной выставки». Диктатура любила блефовать, миллионные убытки ее никак не смущали. Павильоны выставки еще одно свидетельство бахвальства и безвкусыя испанской буржуазии. Рядом с павильонами отели. Их построили для воображаемых посетителей. Отели прогорели и заколочены. В один из этих отелей попробовали въехать бездомные. Республиканские власти тотчас же призвали гвардейцев, и непрошеные гости были выброшены вон. Они спят теперь где придется, и французский журналист, растроганный, пи-



шет: «В Севилье, конечно, немало бедных, но бедность под таким небом легко переносится. Вместо домов бедняки предпочитают спать на воздухе, любясь крупными звездами южного неба...»

Из пустой гостиницы бедняков выкинули, однако имеется в Севилье один гостеприимный дом — это тюрьма. В тюрьме сидит немало бедняков — синдикалистов и коммунистов. Они сидят в темных камерах. Во дворе вместо отхожего места ничем не прикрытая яма. Окна камер выходят на яму. Прославленное севильское солнце греет вовсю. Директор тюрьмы говорит о политических заключенных: «Это люди без культуры, с ними нельзя разговаривать. Я жалею об одном — теперь отменены кандалы!..» Впрочем, директор обходится и без кандалов: у сторожей, наверное, хорошие кулаки, а у тюрьмы глухие стены. Из тюрьмы никого не выкидывают, это древняя тюрьма, это памятник старины и это передовой форпост республики.

В Севилье рождается революция, и в Севилье республика готовится эту революцию задуть. Недавно гражданский губернатор Севильи, сеньор Висенте Соль прогрубил: агу! Это было в «Коммерческом клубе» — губернатор знает, где его ефрейторы. «Настало время дать решительный отпор рабочим!..» Социалисты в Севилье смутились: губернатор хватил через край, необходимо его отозвать! Социалисты в Мадриде, те, что состоят министрами, смолчали. Сеньор Соль остался на своем посту. Охота началась.

Кафешантан — их немало в Севилье. Голые женщины на эстраде исполняют танец живота, танец зада, танец грудей. Подымая пояски, они показывают публике свои срамные части. Публика взволнованно урчит. В ложе сидит нарядный «сеньорито». Он кричит танцовщице «красotka». Закончив свой номер, танцовщица подымается в его ложу. Там они пьют коньяк. Сеньорито счастлив. Он сейчас не думает ни о сокровенном смысле Альказара, ни об обитателях Трианы, ни о речи сеньора Соля. Он думает только о теплом коме мяса, который перед ним — как бифштекс на тарелке... Сосед показывает мне на сеньорито: «Во время последних беспорядков этот человек собственноручно застрелил трех рабочих...»

Вместо раздетых баб на эстраду выходит девка, задранная в республиканский флаг. Она поет: «Галан герой, Галан герой, он постоял за нас горой...» Сеньорито, тот, что

убил трех рабочих, ухмыляется. Он может хоть сейчас пристрелить десяток Галанов! Стоит ли дожидаться?..

Мадрид несколько удивился прыти сеньора Соля. Может быть, не сегодня-завтра сеньор Соль удивится прыти вот этого сеньорито. Им, право же, надоело ждать! В этом году не было ни хорошего крестного хода, ни выдающегося боя быков, ни наплыва туристов. Альказар твердит о неге. Сеньорито требуют покоя и песен. Севилья не хочет больше ждать, ни эта Севилья, ни та — на другом берегу мутного Гвадалквивира.

### 13. «Guardia civil»

Пятнадцатого апреля многие весьма храбрые испанцы смутились: «Что с нами будет?..» Смутились маркизы и дюки, старшины мадридских клубов, управляющие поместьями в Севилье или в Хаене, банкиры Бильбао, фабриканты Барселоны, редакторы газет и настоятели монастырей. «Что с нами будет?.. Неужели они решатся?..» Речь шла, конечно, не об отречении короля — королем сразу все перестали интересоваться. Храбрые испанцы тревожились не за королевскую корону, но за дурацкую треуголку, отделанную блестящей клеенкой. Они знали, что вместе с этой треуголкой может свалиться их власть. В тревоге они спрашивали друг друга: «Неужели эти безумцы распустят гражданскую гвардию?..» Они еще не знали, что республика подарена народу командиром гражданской гвардии, генералом Санхурхо и что вместо фригийского колпачка эта республика примеряет теперь клеенчатую треуголку.

При короле в Испании было тридцать три тысячи гвардейцев, теперь их сорок тысяч. Республика уменьшила армию, зато она увеличила гвардию. В Испании тридцать шесть тысяч учителей и сорок тысяч жандармов. В гвардейцы берут главным образом фельдфебелей и вахмистров, берут их по найму сроком на пять лет. Гвардеец получает пятьдесят пять дуро в месяц. Года три-четыре он состоит в «подвижной бригаде» — там он получает ежемесячно восемьдесят пять дуро — в четыре раза больше, нежели рабочий, и в два раза больше, нежели бухгалтер с университетским дипломом.

Ремесло гвардейца несложное, он должен убивать. Вместо «гвардия умирает, но не сдается», здесь можно сказать: «гвар-

дия убивает, но не ранит». Когда гвардейцы разгоняют крестьян или рабочих, редко подбирают раненых — гвардейцы целятся в голову или в живот, и они стреляют без промаха.

Человек в дурацкой треуголке не просто жандарм, это страх всей бедной Испании, им пугает мать ребенка, его невольно ищут в темноте, пробираясь ночью по извилистым улицам, он стал легендой, как в средние века смерть, он танцует — я вижу этот танец, на рыжих скалах Кастилии, на болотах Эстрамадуры, на холмах Андалузии — длинная страшная тень, которая бродит, выскивая партнера, которая караулит зазевавшегося, хватая чудака, которая, извиваясь и раскачиваясь, верхом на коне или ползком, как уж, подбирается, целится, убивает — танец длится. Нет дня, чтобы газеты не сообщали о новом убийстве: гвардейцы должны убивать, это связано с треуголками, с дура и с традицией. Они рыщут по стране, завидев лохмотья и голодный блеск глаз, они останавливаются: они напали на дичь. Здесь нечего гадать, все ясно заранее: крохотная телеграмма газетного агентства, вой восьми или десяти сирот и шепелявая латынь «куры».

В Эстрамадуре имеется край, который испанцы зовут по паивности «Сибирью», — они думают, что Сибирь это «страна смерти». Сибирь Эстрамадуры и впрямь край, где людям жить незачем. Люди там едят желуди. Желудями помещики кормят свиней. Человек ползет ночью по земле; это барская земля. Он голоден, и, как зверь, он ищет корма. Навстречу ему идет другой человек в дурацкой треуголке. Он стосковался по делу, в его руке винтовка. Два часа спустя гвардеец диктует рапорт: «Я трижды окликнул встречного, после чего я выстрелил... Убитый оказался крестьянином Педро Риус, 38 лет от роду... При нем найдена корзина с желудями...»

В ноябре месяце возле Талаверы гвардеец убил крестьянина, отца девяти малолетних детей. Гвардеец объявил, что убитый якобы хотел на барской земле словить зайца. Возмущенные крестьяне собрались на митинг. Алькальде города, социалист, долго их уговаривал: Мадрид рассудит! Чтобы успокоить крестьян, алькальде послал в Мадрид телеграмму с просьбой наказать виновного, а также сменить офицера гвардии. В Мадриде привыкли к человеческой наивности. Нельзя наказывать гвардейца за то, что он убил крестьянина, как нельзя наказывать социалиста за то, что он шлет сентиментальные депеши: оба делают свое дело.

Иногда люди выходят из себя. Недавно в Мальмодовар де Рио забастовщики окружили казарму гражданской гвардии. Гвардейцы не стали выжидать, что будет. Они хорошо поработали: рабочие Рафаэль Ривас, Хосе Гальего, Салюстино Алькарас и Хосе Морено пали замертво. Возле трупов на фотографии стоят убийцы, они опираются на ружья и сосредоточенно смотрят в объектив аппарата. Они не опечалены и не веселы, их лица ничего не выражают — это, скорей всего, призраки, одетые в бутафорские мундиры, они знают одно — убивать.

Республика на словах отменила цензуру, на деле цензура существует. В Барселоне выходит литературно-общественный еженедельник «Лора». Редактор этого журнала должен посылать гранки на просмотр губернатору. В одном из последних номеров редактор хотел напечатать рисунок: гвардеец верхом на лошади. Под рисунком не было никакого текста. Губернатор, однако, рисунок зачеркнул: «Это слишком мрачно!..» Губернатор ценит гвардейца на улицах Барселоны, на страницах журнала он его пугает: убийца на коне, этот святой Георгий Испанской республики, не может быть изображаем, как бог Саваоф.

Гвардейцы работают молча. Молча работает их командир, генерал Санхурхо. 14 апреля генерал Санхурхо изменил королю — он не послал гвардию против республиканцев. Это было последним днем монархии и первым опытом генерала. В кафе политики спорят, кто станет завтра главой правительства — сеньор Кабальеро или сеньор Леррус? Имени Санхурхо никто не поминает — это бог не только с неизобразяемым ликом, но и с неизреченным именем. Сорок тысяч людей в треуголках время от времени постреливают, они готовятся к великолепию хорошего повсеместного расстрела.

## 14. О сладости

Рамон — андалузец, и никогда нельзя понять, говорит ли он всерьез или смеется? На словах он неизменно несчастен. Он и впрямь несчастен потому, что он голоден. Но ссылается он вовсе не на голод, а на трагическую любовь: крошка Долорес его, видите ли, разлюбила! Он согласен повеситься! Рассказывая это, он улыбается. Возможно, что Долорес его действительно

разлюбила и что он улыбается от горя. Возможно, что он выдумал всю историю и что никакой Долорес нет в памяти. Он ведь выдумщик и остролов. Андалузия, кроме крепкого вина, издавна поставляет причудливые анекдоты: это Марсель и Одесса Испании. Рамон способен развеселить самого угрюмого кастильца. При этом он очень грустен. Его песни — наследие мавров, они похожи на причитания. Рамон идет на свидание с любимой девушкой, и он поет: «Моя милая уехала в Мадрид с Педро. У Педро много денег, а у меня только слезы...» Рамон помогает матери разжечь жаровню, и он поет: «Моя матушка умерла, на ее могиле кричит по ночам филин...» У батрака Рамона это усмешка и песни, у его хозяина, дона Рафаэля, это лицемерие.

Кадис бел и сладок, Кадис — город соли, но с виду он кажется сделанным из сахара. Кубы домов, солнце, пальмы. Барокко — это лицемерие в искусстве, и нетрудно догадаться, что церкви Кадиса заполнены барочными статуями и полотнами. Христос прикидывается распятым, он извивается от мнимой боли, извиваясь, он, конечно, строго выдерживает стиль. Воины прикидываются гражданскими гвардейцами, на самом деле они нежно щекочут бок Христа копьем. Мария прикидывается заботливой матерью, а в действительности она кокетничает напрапалую с ангелочками, которые, увы, эфебы. Поза, условность, пышность, тоскливая, как пустыня. Иногда паноптикум помазан бутафорской кровью, чаще он посыпан сахаром: Кадис — город Мурильо.

В мае рабочие сожгли четыре монастыря, осталось пять целехоньких; жгли здесь наспех, и без особых затрат «фрайлес» теперь ремонтируют пострадавшие корпуса. Несколько законченных стен никак не нарушают универсальной белизны. Губернатор закрыл все профсоюзы — так установлено общее довольство. Алькальде Кадиса нежно улыбается. В его кабинете вместо Альфонса голая девка с грудями — это республика. Куда приятней смотреть на девку, нежели на лопухого короля, — следовательно, все счастливы вдвойне. На столе алькальде палка, не просто палка, но волшебная, — это символ власти. Вероятно, когда алькальде берет палку в руки, все голодные Кадиса чувствуют, что они сытно пообедали. На улицах пальмы, под пальмами трава. Если под пальмой валяется горемыка, можно поговорить о благодетельности климата: здесь всегда тепло, значит, и бездомные счастливы, здесь даже

жарко, а жара, как известно, отбивает аппетит, значит, и голодные сыты!.. В Кадисе довольство и порядок. Если порой приключается заминка, блистательный хозяин Рамона, дон Рафаэль покровительственно улыбается: это опять наш Рамон поет про филина на могиле!..

Забастовка рыбаков. Рыбаки говорят, что им надоело жить впроголодь. Они хотят получать на две песеты больше. Секретарь «Союза владельцев рыбных промыслов» преспокойно объясняет мне: «Рыбаки бастуют только потому, что их подговорили агитаторы. У них нет никаких поводов для забастовки. Они сами не знают, чего хотят...» Разговор происходит в помещении союза — голые стены и запах рыбы. Жаль — поставить бы сюда барочного Христа и покадить бы вокруг секретаря ладаном!..

Сан-Фернандо — предместье Кадиса. Впрочем, Сан-Фернандо город, и у него свой алькальде. Этот алькальде еще импозантней кадисского. Меня он принял примерно так, как принимает президент республики иностранных послов. Для поддержания авторитета он даже взял в руку магический жезл. Он направил меня к местному аптекарю, который числится человеком европейской культуры, и выдал мне при этом официальную грамоту, где было сказано, что он, алькальде, направляет меня именно к аптекарю. Все это без улыбки, всерьез. Может быть, при этом алькальде думал о том, что крошка Долорес уехала с Педро. Может быть, он задыхался от сдерживаемого с трудом смеха.

В Сан-Фернандо, разумеется, тоже все благоденствуют. В Сан-Фернандо, кроме белых домов, белеют горы соли. Белые дома иногда — дворцы — в них живут солепромышленники. Белые дома иногда — лачуги — в них живут рабочие. На словах андалузская буржуазия ленива и буколична, она тоже любит грустные песни и вымышленные драмы. На деле она превосходно обделывает свои дела. Соль — это большой трест: «Консорисио Салинеро Сан-Фернандо». Во главе треста — дон Сальвадо Гарсиа Сузо. Вполне возможно, что дон Сальвадо склонен плакать и над могилой с филином, и над крошкой Долорес. Капитал треста, однако, внушительен, и горы соли с помощью некоторых биржевых операций превращаются в чистейший сахар.

Рабочий Хуан также работает над солью. Он попробовал бастовать, но дон Сальвадо не сдался. Сдался Хуан. Губерна-

тор вовремя закрыл союз. Трест вовремя рассчитал ненадежных рабочих. Хуан работает сдельно. После дня мучительной работы он получает пять песет. Дон Сальвадо уверяет, что Хуан в душе весел, что он только прикидывается несчастным: «крошка Долорес»... Хуан знает, что соль не крошка Долорес и что пять песет куда хуже филина на могиле. Хуан это знает, но Хуан улыбается. На столе Хуана роман Гладкова и газета «Солидаридад Обрера». В тьюфяке Хуана револьвер. Хуан поет песню о могиле матушки. Андалузский маскарад проходит достаточно оживленно: «до двенадцати ночи маски обязательны»...

В Сан-Фернандо находятся государственные верфи. На верфях была забастовка. Министр вызвал рабочих делегатов в Мадрид. Министр вел переговоры: он хотел выиграть время. Губернатор закрыл союз. Силы рабочих иссякли. Забастовка была проиграна. На поверку республика оказалась ничуть не хуже дона Сальвадо. Рабочих сначала рассчитали, потом их снова наняли, наняли не всех — шестьсот человек оказались «лишними». Шестьсот безработных бродят среди реальной соли и предполагаемого сахара, среди грустных песен и веселого смеха; они ищут хлеба. В Сан-Фернандо много примечательного: морской музей, святые барокко, сеньоры солепромышленники, наконец кафе «Ля Майоркина» с оркестром и с пахучим вином; лишнего хлеба, однако, в Сан-Фернандо нет — только лишние рты.

Хозяин кафе «Ля Майоркина» по совместительству инженер на государственных верфях. Этот, разумеется, не лишний. Днем он работает на верфях, вечером он носится по кафе, наблюдая за пахучестью вина и за улыбками клиентов. Я спросил этого кабальеро, какие требования выставили во время забастовки рабочие? Инженер ухмыльнулся: «Такие глупые, что стыдно их повторять. Они, например, хотели, чтобы для них устроили души...» Инженер был чисто одет и, по всей вероятности, вымыт. Рассказывая о том, что рабочие хотели после работы мыться, он разводил руками. В кафе другие инженеры, солепромышленники, чиновники, коммерсанты, попивая пахучую «мансанилью», томно вздыхали: в этот сумеречный час андалузская печаль явно одолевала их.

По улицам бродили безработные. Они весело посмеивались. Кто бы подумал, что они сегодня ничего не ели?.. Что касается Хуана, то Хуан читал диковинный роман о таких-то

счастливых и порой носился на туюфяк — это старый револьвер, но он еще пригодится!..

От Кадиса да Малаги несколько сот километров. Между ними затесался Гибралтар с дикими мартышками и с ультрацивилизованными англичанами, скала, захваченная разбойниками, которые издают на скале газету, едят на скале овсяную кашу и жерлами пушек проверяют флаги проходящих пароходов. В Кадисе океан, в Малаге Средиземное море. Вода меняется в цвете. Люди те же. Та же сладость. В Малаге она даже усилена вином, прославленной малагой, тягучей, как сироп, Еще больше пальм, еще больше сеньоров, которые, улыбаясь, говорят о всеобщем счастье, еще больше злой откровенной нищеты. Это имя — «Малага» — связано с сушеным виноградом и с напитком, похожим на настойку из винных ягод, О том, что Малага может быть вдоволь горькой, редко кто догадывается.

В Малаге сожжены почти все монастыри и церкви. Нигде огонь не был столь яростен. Иностранцы, приезжая сюда, останавливаются в отеле на берегу моря: лазурь, покой, отменный климат. Они не поднимаются по одной из узких улиц, похожих на щели, в квартал туземцев. Там ютится малагская беднота. Там встречают автомобиль бранью, а подчас и камнями. Там голые дети и лачуги. Оттуда пришли майские поджигатели.

В мастерской скульптора — статуя богоматери. Она запылилась. Скульптор вздыхает: «Эта статуя заказана, но не взята...» Скульптор работает над новой статуей: грудастая республика. Ее заказали для редакции монархической газеты. Другая «республика» заказана дирекцией банка. Скульптор торопится: кто знает, успеют ли заказчики заплатить за этих грудастых девок?..

Кабальеро жалуется: «Они сожгли все церкви, это катастрофа для Малаги! В Гранаде Альгамбра, в Севилье Альказар, а в Малаге только и были что климат да церкви... К нам теперь не приедут туристы... У нас процессии в страстную неделю ничуть не хуже, чем в Севилье... Необходимо разъяснить иностранцам, что в Малаге народ спокойный и богомольный... Этот монолог произносится возле развалин епископского дворца: «богомольный народ» поработал неплохо.

Кроме монастырей, рабочие сожгли редакцию газеты «Унион меркантиль». Все газеты Малаги в руках у правых, но



«Унион меркантиль» был особенно ненавистен обитателям лагун. Теперь возле редакции почтенного органа бесшумно стоят два рослых гвардейца; они охраняют свободу слова. Чтобы познать всю сладость Малаги, я сперва попробовал приторного вина, а потом направился в редакцию «Унион меркантиля». Редактор милостиво мне улыбнулся: «Наши социальные идеи изложены в номере таком-то. Экземпляр газеты вам будет выдан. Кроме того, секретарь редакции вам даст все разъяснения...» У редактора вместо пальцев — жирные обрубки, улыбка и глаза, преисполненные традиционной грусти. На мой вопрос: почему народ сжег именно его газету — секретарь редакции, улыбаясь, отвечает: «Происки конкурентов... Толпа состояла из преступников: это было организованным грабежом...» — «Почему же, в таком случае, «грабители» облюбовали редакцию газеты, а не ювелирный магазин?» Секретарь неопределенно вздыхает. Он жалуется на безрассудство батраков. Оказывается, батраки тоже «преступники». В прежние годы они собирали маслины семьями и получали за это сдельно. Теперь они требуют — вы слышите! — по пяти песет в день... Секретарь иронически улыбается, улыбку его охраняют два зверя с ружьями.

В порту тоже и звери и ружья: сегодня забастовали матросы пароходной компании «Иберия». Надо ли говорить, что их требования «бессмысленны и преступны»?.. Все они, от губернатора до секретаря редакции, убеждены, что только сумасшедшие могут требовать не просто хлеба, но хлеба с ломтиком сала или колбасы. К тому же эти умалишенные мечтают как бы размять ноги, посидеть, поговорить! Здесь начинаются «происки Москвы» или «интриги роялистов».

Забастовщики стали возле сходней, угловывая безработных не занимать. Полиция тотчас же арестовала шестнадцать матросов. Арестованные сидят в темной вонючей тюрьме и вздыхают: они опечалены судьбой крошки Долорес — уехала ли крошка с богатым Педро?..

Над белой Малагой синяя ночь. В клубах пряный запах гаванских сигар: здесь и секретарь губернатора, и редактор «Унион меркантиля», и представитель компании «Иберия». Они играют в карты и лирически вздыхают. В рабочем предместье нет ни клубов, ни палм. Вот уже сняли с веревок золотые рубашки и дохлебали жидкий «гаспачьо». В некоторых домиках сегодня особенно тесно: жители Малаги — рабочие,

грузчики, рыбаки — приютили тех из забастовщиков, у которых семьи в других городах. Матросы не говорят ни о коварстве полиции, ни о революции. Один рассказывает пресмешные истории, другой поет о могиле матушки, третий уверяет, будто бы он чахнет от несчастной любви. Они смеются. Смеются и жители Малаги, те, что в мае сожгли «Унион меркантиль». Это кажется беззаботной идиллией, и кто догадается, что вот в этой лачуге припрятаны два револьвера и что эта рука судорожно сжата от нетерпения?..

## 15. Херес

Мировой славой Херес обязан не воспоминаниям о битве, не древностям, не пышности, не учености, но только вину, пряному и душистому, вину цвета бледного золота. Визитные карточки Хереса можно найти в любом дворце — это этикетки на самых маститых бутылках. В винных погребках Хереса можно найти визитные карточки всех коронованных особ: английского Георга, старого короля Швеции, который еще попиывает херес за бриджем, и принца пьемонтского, который с хереса начал изучение искусства царствовать. Приемные погребов — это «Готский альманах».

Не только игрушечные короли любят херес, он также признан королями взаправдашними — нефти, нитрата, меди. Этот напиток вполне соответствует кабинету г-на директора, он смягчает сухость балансов, им биржевики запивают «черные пятницы» или «черные среды».

Английские джентльмены, переименовав херес в «шерри», разнесли его славу по миру. Хересом подкрепляются плантаторы, заместники, офицеры карательных экспедиций и шпионы. Это вино бывает то сухим и пронзительным «амонтильядо», то густым «олоросо», то темной сладковатой «солерой». Дар окрестных лоз грузят в Кадисе на пароходы — он должен утешить страждущих. Пал фунт, пали кроны, колеблется флорин, но никогда короли и заводчики, министры и биржевики так не нуждались в этой спасительной микстуре!

Херес — небольшой провинциальный город с рядами бочек вместо монументов; однако среди бочек то и дело красуются

гербы больших и малых держав: в Хересе имеются консульства не только крохотных республик Центральной Америки, но даже консульство царской России, причем этот высокий и абстрактный пост занимает главный виноторговец города.

Погреба «Гонсалеса и Биасса» — достопримечательность Хереса, наравне с церквами барокко и с памятником Примо де Ривере. Сюда приезжали Бурбоны на винное богомолье. Сеньор Гонсалес гордится «Ротондой» — это погреб, в котором бочки сложены полукругом, одна на другой. Короли расписывались на бочках, здесь можно найти автографы и Альфонса, и его прародителей. Это напоминает погреб Эскуриала: там гробы с трухой, здесь пустые бочки. Таков музей Гонсалеса. На заводе Гонсалеса вместо реликвий машины, машины разливают вино, машины закупоривают бутылки. Возле машин работницы. Сеньор Гонсалес, коллекционер королевских автографов и консул России, член правления мощной фирмы с английскими капиталами и обладатель многих миллионов песет, щедро платит работницам: они получают по две песеты в день — четыре франка, семьдесят пфеннигов, тридцать копеек.

Вокруг Хереса виноградники. Местные республиканцы с гордостью говорят, что крестьяне округа счастливы: здесь нет латифундий, земля разбита между мелкими владельцами. У двадцати трех «мелких владельцев» сорок семь тысяч гектаров. У крестьян вовсе нет земли. Комнаты дороги, сплошь да рядом крестьянин должен платить за помещение пятьсот песет в год. Батраку платят по шести песет в день, в год он работает всего шесть месяцев, следовательно, в год он зарабатывает никак не больше тысячи песет. Половину он уплачивает за комнату. На остальные пятьсот песет он должен прожить с семьей. Мясо он ест два-три раза в год. Он ходит в дырявых ботинках. Казалось бы, это предел нищеты, но нет, шесть песет в день — это победа синдикатов, это вой всех хозяев: «крестьяне потеряли голову», это революционный призыв, за который многие поплатились, кто месяцами тюрьмы, а кто и жизнью.

Вокруг Хереса сеньоры Вильямарта, Андес, Гарвей; у них огромные поместья. Вокруг Хереса сотни деревень с нищими батраками. В споре между сеньором Андесом и батраком «республика трудящихся» не колеблется: губернатор подписывает приказы, полиция арестовывает «вожаков». Республика,

видимо, находят, что на тысячу песет в год человек может хорошо жить. Конечно, не всякий. Та же республика умеет быть щедрой: дон Сальвадор Мадариага получает в год — как посол триста тысяч песет, как профессор сто тысяч, как представитель в Лиге наций шестьдесят тысяч, как депутат двенадцать тысяч, — итого четыреста семьдесят две тысячи песет. Дон Хулиан Бестейро, социалист, получает — как председатель кортесов шестьдесят тысяч, как профессор шестнадцать тысяч, как депутат двенадцать тысяч, на автомобильные передвижения пятнадцать тысяч, — итого сто три тысячи. Дон Рамон Перес де Айяла получает как посол двести тысяч, как председатель музейного комитета шестьдесят тысяч, как депутат двенадцать тысяч, — итого двести семьдесят две тысячи песет.

Херес не только вино, миллионы и нищета, Херес также борьба. Я был на митинге сельских рабочих. Сарай. Дым. Широкополые шляпы. Речи. Здесь говорят о том, о чем не пишут в мадридских газетах. Рабочие кортихо рассказывают, как они живут: хозяйская баланда, сон на земле, рядом с коровами. Рабочие погребов рассказывают, как хозяева заменяют взрослых детьми. Одного вчера арестовали: он запел «Интернационал». Другого избили — он призывал к бойкоту фирмы «Коньяк Кабальеро», а сеньор Кабальеро не только хозяин, он к тому же алькальде...

В Хересе выходит крохотная газетка «Вос дель кампесино» — «Голос крестьянина». Ее выпускает Себастьян Олива, батрак, который работает на виноградниках, старый революционер, хорошо знакомый с тюрьмами Испании. Это человек лет сорока пяти, с руками широкими, как корни дерева, и с сухими горячими глазами. Он побывал на Кубе, он и там работал на плантациях, он и там узнал тюремную решетку. Его идеи для политика наивны и темны, его сила только в чувстве, только в этом необычайном горении, в фанатической преданности вдоволь смутной для других и неоспоримой для него «истине». Со стороны его можно назвать полуанархистом, полукommunistом. В самом Хересе его никак нельзя назвать иначе, нежели крестьянином Андалузии.

В газете «Вос дель кампесино» пишут только крестьяне, это очень нелепая газета, но ее можно читать без того ощущения брезгливости, с которым невольно раскрываешь большие газеты, правые или левые, полные громких имен и благородных деклараций. В этой газете крестьянин Хосе Маркес

ссылается на Каина и Авеля, дальше он пишет: «Без крестьянина не могли бы существовать ни Гутенберг, ни Сервантес, ни Колумб, ни Реклю, ни другие великие мыслители!». Батрак Альфонс Нуньес призывает товарищей не идти на сбор маслин до открытия запечатанного властями профсоюза. Его статья помечена: «тюрьма Кордовы». Авенир Дамор философствует: «Андалузия, страна зеленых лугов и голубого неба!.. Но мы живем в свином хлеве»... Мауро Бахатьеро сообщает, что в Кордове у тринадцати señores двадцать тысяч четырехста гектаров. Луис Паред назвал хозяев «тиграми». Редакция пишет, что это «оскорбительно для тигров». Здесь стихи, жалобы, рассказы об обидах, мечты о «свободном рае» и призывы к борьбе.

Газету «Вос дель кампесино» читают крестьяне, ее не отсылают во все страны мира вместе с бочками хереса. Консулы больших и малых держав ходят в винные погреба, но не на митинги. Херес для мира по-прежнему — бледно-золотое вино. Оно дает легкое и приятное головокружение. Может быть, оно довело бы ценителей до головной боли, если бы они узнали, что есть другой Херес, Херес борьбы.

## 16. Эстетические размышления в Кордове

Кордова полна меланхолии, этот город испытал и понял то, что мы называем «историей». Он знал подлинное величие, не только военную мощь, но и духовную гегемонию. Задолго до итальянского Возрождения арабы и евреи открыли здесь клад античной культуры. Рядом с бредовой Европой, охваченной суверенным ужасом, рядом с шивыми фанатиками и с юродивыми в митрах существовало светское государство — врачи, архитекторы, писатели. Преемственность иногда требует сложной операции. Еврей Маймонид под охраной ислама сумел передать христианам свой восторг перед Элладой. Кордова была завоевана во имя Пророка. Однако торжество полумесяца было торжеством скептицизма. Католицизм задавил любопытство отроческого мира. Несколько веков спустя он расправился и с гуманистами. Безграмотным санкюлотам пришлось снова потребовать права на усмешку. Они победили.

Но то, что казалось молодостью мира сто лет спустя, мы по праву именуем «гнилым либерализмом». Для омоложения Европы требуется новое «credo quia absurdum est».

Кордова тем временем успела превратиться в маленький провинциальный городок. Ее старые кварталы полны глубокой прелести; узкие извилистые улицы с разноцветными домами, эти тихие и прохладные дома с внутренними двориками, освежаемыми зеленью и фонтанами, план города, причудливый и логичный в своем иллогизме, как иней на стекле или как сон.

В новой Кордове широкие улицы, большие дома на цыпочках — чем не небоскребы, автомобили, словом, все, что нужно для современного города. Однако новая Кордова несчастна библейским несчастьем: она томится среди андалузского зноя.

Эстеты нашего времени любят называть себя «конструктивистами». Они требуют искусства ясного и логичного. Их боевой козырь — архитектура. Против парижских живописцев они выставили каркас небоскреба и точность машин. Однако эстеты остаются эстетам: говоря об удобстве, они думают о красоте. Они начали с логики, они кончили стилем. Эстетика нашего времени, как и всякая эстетика, пополняет недостаток в разумности деспотизмом моды. Нелепы флорентийские дворцы в Стокгольме: это дань универсализму. Ни принцип международной торговли, ни воздушные рейсы не властны над климатом. Эстетика, родившаяся в Нью-Йорке, вероятно соответствующая вкусам и навыкам Америки, при помощи доллара стала эстетикой всемирной, равно обязательной для Франкфурта и для Харькова, для Осло и для Севильи. Она называется «конструктивизмом», на самом деле она столь же декоративна, как и все «стили», знакомые нам по истории искусств.

Старая Кордова вправе посмеяться над новой. Ее извилистые улицы не прихоть. Их возводили вдоволь ученые архитекторы — арабы и евреи. Для них Кордова была Кордовой, и они не знали об обязательности Нью-Йорков. Они строили город с таким расчетом, чтобы даже в июльский полдень на улице была бы тень. В «патио» — так зовут внутренние дворы — всегда прохладно. Окна выходят не на улицу, а на дворик с деревьями и с фонтаном.

По узким извилистым улицам проходят ослы. Автомобильям там нет простора. Для автомобилей проложили другие

улицы, прямые и широкие: здесь раздолье для «Фордов» и для солнца, люди здесь изнывают от жары. Днем жизнь в новых кварталах становится мучительным испытанием. Жутко и в «небоскребах» с их большими окнами: это оранжереи в пустыне. Строители, впрочем, не смущаются: растет новая Кордова, как и новая Севилья или новая Гранада. Ни проповедник, ни художник не думают о людях; перед ними только материал: твердый камень или мягкое мясо.

Кроме плана города, арабы оставили Кордове знаменитую мечеть. Это гранитный лес: аллеи колонн, аллеи, среди которых блуждаешь, не видя ни крыши, ни стен, то теряясь, как в дремучем бору, то нападая на светлую просеку. Перспектива — вот единственный пафос мавританского искусства. Это прежде всего торжество разума, приближение к восторгам математика, культ числа. В мечети Кордовы правоверные молились, но с большим правом они могли бы в ней заниматься философией или гимнастикой, думать о бесконечности или решать уравнения. Это не храм, но гениальная сборная. Впрочем, теперь это католический собор. В эпоху торжества инквизиции католики решили очистить поганое капище: они построили внутри амвон и часовни в стиле самого подлого барокко. Они хотели победить светский дух каменными гримасами, дурным мрамором и лицемерным фанатизмом. Над их поражением стоит призадуматься, особенно теперь, когда на смену светскому искусству, хилому и печальному, должен прийти новый абсолютизм.

Первые христиане на место римской скульптуры, хорошо знакомой и с эстетикой и с анатомией, принесли подлинное варварство. Их саркофаги кажутся детским лепетом. В течение двух-трех веков приключился разрыв, искусство стало беспомощным, однако в беспомощности своем великим. Люди видели мир, действительно, по-новому. Добрый Пастырь, неуклюжий и приземистый, не был просто плохим сыном Пана. Он представлял и новую форму, и новое существо: он только что родился. Путь шел наверх — к романской скульптуре и к готике.

Варвары, исправлявшие мечеть в Кордове, были не детьми, но дегенератами. Они ненавидели светский дух мечети, они были против разума и за готовую догму, но они не могли ничего создать, кроме этих убудочных завитушек. Они были

фанатиками по поступкам — они умели и разрушать мечети, и жечь еретиков. Но у них не было вдохновения фанатиков; оставаясь глаз на глаз с самим собой, такой неудачник, наверное, завидовал умению арабских зодчих, которые воздвигли обезображенную им мечеть.

## 17. Ученик Бакунина

Я встретился с ним в Фернан Нуньесе. Несмотря на двойное имя, Фернан Нуньес — обыкновенный поселок Андалузии, заселенный батраками, с казино и с нищетой, поселок, который похож не на деревню, но на скучное предместье большого города. Однако до города далеко, да и город — Кордова — какой-то музейный. В таких поселках, несмотря на отделение банка и на казино, чувствуешь, до чего далеко от Испании до мира. Пиренеи, просверленные несколькими туннелями, все еще Пиренеи, а ветер из Африки, сухой и несносный, твердит о близости пустыни.

Республика послала в провинции новых губернаторов: адвокатов или журналистов. Это походило на волшебную сказку — кабальеро, вчера еще занятые поисками одного дура и отсидкой в мадридских кафе, стали всемогущими сатрапами. О своих новых вотчинах они знали смутно по годам школьной учебы. Адвокат из Астурии, пожав друзьям руки, направлялся управлять Эстрамадурой. Началось соревнование. Севильский губернатор перещеголял всех. Воспользовавшись доносом домовладелицы на хозяина кафе, некоего Корнелио, он объявил, что в квартире Корнелио якобы помещается штаб вооруженных мятежников. К домику подвезли артиллерию и по пустой лачуге выпустили двадцать два снаряда. После такого боя уж ничего не стоило арестовать сотню рабочих и закрыть ненавистные синдикаты.

Губернатор соседней Кордовы тоже не зевал: 11 августа он приказал распустить 31 синдикат. Тюрьма Кордовы превратилась в местное отделение «Конфедерации». В провинции Кордовы теперь работают только профсоюзы социалистов: губернатор избавил их от опасных конкурентов.

В Фернан Нуньесе помимо казино имеется «Каса дель Пуэбло» — это клуб социалистов. В клубе висят портреты Карла Маркса и Пабло Иглесиаса. О первом местные социалисты



знают только одно: он боролся с анархистами. Иглесиас почитается духовным отцом теперешних министров: Прието и Кабальеро. Кроме портретов, в клубе висит соблазнительное изображение полуголой республики, как висит оно, впрочем, во всех канцеляриях и даже в полицейских участках.

Вокруг стола сидели социалисты Фернан Нуньеса: хозяин кафе, ветеринар, конторщик, несколько крестьян. Говорил ветеринар. Крестьяне молчали.

Я спросил одного из крестьян, может ли он меня познакомиться с кем-нибудь из синдикалистов. Это было, разумеется, бестактно, но в деревнях Испании политические страсти еще не уплотнили человеческих суток: враги иногда стреляют друг в друга, но поскольку дело не доходит до револьверов, они еще дружески друг с другом беседуют.

Так я с ним встретился. Он вошел угрюмый и спокойный, вежливо всем поклонился и сел под портретом республики. Он не был ни конторщиком, ни ветеринаром. Корявые руки свидетельствовали о профессии: он был обыкновенным батраком. В зависимости от времени года он пахал землю, окапывал лозы или собирал масламы.

Как все батраки, он был нищ. Его одежда, купленная некогда за десять песет на базаре, с годами приобрела оттенок благородного несчастья. Он не был ни вождем союза, ни сотрудником барселонской газеты. «От солнца до солнца» он работал. Когда солнце, наконец-то смилостивясь, заходило, он думал, разговаривал, читал. На коварные вопросы он отвечал вежливо, но стойко — ничто не могло его переубедить.

Социалисты?.. Виногато улыбаясь, он смотрит на ветеринара: «социалисты — партия буржуазии». Он за забастовки, за револьверы, за восстание. Слово «диктатура» его, скорее, печалит, нежели пугает: он против государства, он за свободную коммуну. Ветеринар спорит с одним из товарищей: кто вернее защищает рабочих — Второй Интернационал или Третий... Ветеринар, разумеется, за Второй. Здесь раздается тихий отчетливый голос батрака, того, что сидит под портретом республики: — Я за Первый Интернационал...

Так на минуту встает история, споры семидесятых годов, испанские анархисты, расколы, пыльные страницы. Так встает и карта Испании — далеко, очень далеко отсюда до жилого мира!..

Он за Первый Интернационал. Кроме того, он за свободу. Это не призрак прошлого, это живой человек, два часа тому

назад он собирал маслины, я могу засвидетельствовать, что его корявая рука тепла человеческим теплом, но отчетливо и тихо он говорит: «я за свободу»... Мне хочется понять этого загадочного современника, и я его спрашиваю:

— Вот в Фернан Нуньесе есть вдова. Она верит каждому слову священника. Она не хочет, чтобы ее мальчика взяли в школу. Она боится грамоты, как дьявола. Я знаю, что вы против религии. Можно ли заставить эту женщину послать мальчика в школу?

Он с минуту молчит. Он смотрит жалобно, как бык, в спину которого втыкают стрелы. Как бык, он не может повернуть.

— Заставить нельзя. Надо убедить. Нельзя убедить?.. Надо убедить!..

Что ж это — толстовец?.. Духобор?.. Или, может быть, последователь Ганди?.. Нет, он за борьбу. Надо отобрать землю. Надо взять фабрики. Работать, всем работать! Он за революцию, за революцию и за свободу.

— Наш учитель Бакунин.

На какие только нелепости не падка история! Думал ли барчук Мишель, российский бунтарь и растяпа, медведь, игравший с бомбами, и сентиментальный корреспондент Николая Первого, что через семьдесят лет у него найдется ученик, полуграмотный батрак в деревне Фернан Нуньес?..

Против Бакунина выступал Маркс. Их спор давно решен историей: Маркс стал учителем мощного государства, которое теперь строит Магнитострой и организует колхозы. Это — сто шестьдесят миллионов и победоносная революция. Бакунин стал учителем вот этого батрака.

В нашем споре нет места бедному ветеринару. Он не может сослаться не только на Маркса, но даже на Иглесиаса. Его учитель — это Кабальеро, его оплот — это гражданский губернатор, тот, что закрыл отделение «Конфедерации».

Ученик Бакунина не одинок, их много и в Фернан Нуньесе, и в Хересе, и в Севилье. Нетрудно доказать всю путаницу их теорий. Нетрудно и проследить, насколько их тактика — эта непрерывная партизанщина, эти частичные забастовки, эти разрозненные залпы — вела и ведет рабочих к поражению.

Но сейчас в этом клубе социалистов, под портретом республики, рядом с витиеватым ветеринаром сидит не теоретик, не вождь, а живой человек, батрак из Фернан Нуньеса, если угодно чудака и мечтатель, отважный, нищий и непримиримый.

## 18. Прощаясь с матросом

В Испании искусство еще не развелось с жизнью, оно еще не стало бесплодной игрой особенно тонких натур, оно неотделимо от гор, от ослов, от суровой крестьянской жизни. Я видел в Гранаде гончаров сосредоточенных и вдохновенных, они делали горшки и кувшины. Эту утварь можно закопать в землю, потом откопать и продать туристам, как предметы, найденные при раскопках. Дело не в косности, но в постоянстве некоторых пропорций, связанных с тем же светом, с тем же делом, с тем же праздником — кувшин вина и горсть маслин. Античный мир наверху был диссертациями археологов или модой, внизу он оставался бытом.

Кустарь раскрашивает тарелки: птица, цветы, листья. Это очень просто, и это большое искусство. Такие тарелки веселят сотни тысяч крестьян, они скрывают скудность харча, они заменяют картины и статуи; птицы летают, цветы цветут, и сон, необходимый человеку, как хлеб и вода, причудливо клуется в чадной лачуге.

Гончары Гранады, ткачи Кордовы, седельщики Саламанки, кружевницы Толедо — не ремесленники, но художники. Пастух в Галисии поет песню — это поэт. Девушка в деревушке Андалузии танцует — ее можно повести на сцену. Чужестранец здесь готов уверовать в живучесть не раз похороненного им искусства. В других странах искусство теперь поддерживается, как курс ассигнаций. Условлено, что в журналах, между двумя статьями, печатаются короткие строчки, называемые «стихами». Условлено, что искусство — необходимый атрибут культурной жизни.

Среди старых испанских песен имеется одна, если угодно — «программная». Эта песня рассказывает о всаднике, который в иванов день подъехал к озеру: «Он увидел дивный корабль. На корабле были паруса из шелка. На корабле стоял матрос, и он пел песню. Эта песня была столь прекрасна, что птицы, слышав ее, опускались на мачты. Эта песня была столь прекрасна, что рыбы, слышав ее, высывали из воды головы. Тогда всадник спросил матроса: «Скажи, скажи мне скорей, о чем ты поешь?» Матрос ответил: «Я скажу это только тому, кто отчалит вместе со мной»...

Конечно, при некоторой доле тупости или злой воли, можно истолковать это как «мистику». Но стоит ли выдавать высокий тембр голоса за молитву? Это просто песня о силе

песни. Это также напоминание о том, что искусство обращается к нашим чувствам. Если раздеть женщину, можно увидеть красивое тело. Если оголить кочан, останется кочерыжка. Методы искусства — не методы науки, и критики напрасно негодуют над кочерыжками.

Я отнюдь не склонен переоценивать старые песни или красивые кувшины. Я знаю, что эта нечаянная радость оплачена нищетой, что народное искусство в Испании сохранилось вместе со многими формами феодального строя и что оно скоро погибнет вместе с ними. В более цивилизованных провинциях — в Валенсии или в Каталонии — вместо кувшинов эмалированные чайники, вместо старых песен — фокстроты. Вскоре последние тарелки гранадских гончаров перенесут в музей, песни издадут для тридцати — сорока этнографов, Испания вступит в новую эру, жесткую и шумную, в эру, очищенную и от птиц, и от снов, и от песен. Надо ли об этом жалеть? У каждого времени свой пафос. В эпоху Сервантеса не было ни аэропланов; ни цепных мостов, ни ротационных машин. Прогресс означает не только приобретение, но и потерю. Стоило ли Сервантесу жалеть о керамике мавров или о дидактической поэзии евреев?.. Он глядел в Сеговии на прекрасные акведуки римлян, и он довольствовался подозрительными колодцами своих современников. Дульцинея для него была важнее водопровода. Мы вправе с ним не согласиться. Мы вправе предпочесть эмалированный чайник прекраснейшему из кувшинов.

Беда в том, что Испания, как и другие государства, никак не хочет начисто отказаться от искусства: она заменяет его суррогатами. Процесс утери эстетического чувства в Европе можно сравнить с обезлесением: народы беспечно вырубали и поэзию и поэтов. Потом они вспомнили, что без воды нельзя жить. Это верно, поскольку дело касается воды, это спорно, поскольку речь идет об искусстве. Поэзия или живопись, изготовляемые теперь в Мадриде, вряд ли кому-нибудь нужны. Дело даже не в тематике: если беллетристы начнут писать не о любви кабальеро, но о мытарствах андалузского крестьянина, их романы останутся романами. Сейчас нужны не образы, не рифмы, но статистика и прокламации. Всадник не захотел отчалить с матросом. Он предпочел сушу. Что же, тогда надо мужественно отвернуться от шелковых парусов, надо заняться делом — машинами или дорогами, не пробуя подменить уплывшего матроса портативным патефоном.

Дворец мавров — Аламбра — находится над Гранадой. Летом в Гранаде была забастовка. Люди на улицах пели и кричали. Гражданская гвардия стреляла. Несколько человек были убиты. В это время к Гранаде подъехал автокар с туристами, с теми скучающими и праздными ротозеями, которые колесят по миру, проверяя, действительно ли стоят на месте все перечисленные бедкером достопримечательности. Автокар быстро промчался по пустой улице. Трупов уже не было, и туристы никак не заинтересовались красным пятном на ступенях. Туристы спешили в Аламбру. Там проводник сообщил им: «Здесь султан убил любовника своей жены», — и туристы долго смотрели на ржавое пятнышко, гадая: кровь это или не кровь?.. Потом они сели в автокар и уехали в Малагу.

Некоторые туристы осматривают Гранаду подробнее. Для них возле Аламбры построены два превосходных отеля. Окрестности полны экзотики. В аллеях стоят цыганки с красными розами и с выражением катастрофической страсти. Они кричат: «мы гитаны» и щелкают кастаньетами. Турист может пойти в пещеры, где не менее сотни таких же «гитан». Они побывали в Мадриде и даже в Париже, но для туриста это «дикие дочери природы». За сто песет «дочери природы» исполняют танцы при лунном свете. В сезон дирекция отеля «Аламбра» приглашает их на сеанс. Кроме «гитан», для туриста устроены магазины с бытовой испанской утварью, как-то: с кастаньетами и с бубнами. Правда, эти звонкие инструменты изготавлиются только для туристов, но ведь заранее условлено: бубны — это Испания. Проводник кидает свой плащ под ноги престарелой мисс: «Я хотел бы умереть за тебя!..» Проводник тотчас же переводит свой афоризм растроганной англичанке. Он не умирает, но плащ от таких чувств снашивается, и не удивительно, что мисс дает проводнику лишнюю песету. За дуру проводник исполнит серенаду. За два дура эта серенада будет облита лунным светом в садах Аламбры. Можно с гитанами, можно с бубнами, можно с Кармен, можно даже с тореадором, с настоящим живым тореадором — это вопрос валюты.

Такова Испания для туристов, испанщина, как говорят здесь, «эспаньоляда». Из большой страны, вдоволь гордой и

вдоволь несчастной, сделали кафешантан. Все тут постарались: свои и чужие, Мериме и Зулоага, Бласко Ибаньес и Бальмонт, Монтерлан и открытки, поэты-романтики и хозяева гостиниц. Гранада — столица этой бутафорской Испании, она рифмуется с «серенадой», и над ней Аламбра. Гитана с розой — это и есть Гранада.

В Гранаде свыше ста тысяч жителей; только немногие из них могут прожить, ударяя в бубны или расхваливая красоты Аламбры. Гранада — город как город; имеется в нем новый квартал Гран Вия, с небоскребочками и с шикарными магазинами. Эта Гранада родилась в начале нашего века, и своим существованием она обязана сахару, не духовному сахару приморской Андалузии, но обыкновенному рафинаду. Лет тридцать тому назад вокруг Гранады начали разводить свекловичу. Новая буржуазия скупила землю у разорившихся аристократов, построила заводы и заполнила город подозрительной роскошью фасадов с барельефами, бронзовых люстр, мраморных статуэток. Надо ли говорить, что сахар подавался к столу исключительно в необычайных сахарницах, изображавших то лебедя, то турецкую фелюгу... Теперь буржуа Гранады, несмотря на кризис, увлечен домами в десять этажей и автомобилями. Он не интересуется дворами Аламбры. Он ходит в кино, где бедра Клары Боу его несколько утешают после бедер местных красоток — гитан и не гитан. Он ходит в клуб, где он толкует о политике, поносит Мадрид и требует разгона синдикатов. Он не кидает плаща под ноги мисс, так как на нем не плащ, но английское пальто, и пальто это он заботливо сдает в гардероб. Направляясь в бордель, он ждет от красотишки не пляски с бубном, но «парижских номеров», о которых ему рассказывал дон Висенте, побывавший недавно за границей. Это обыкновенный буржуа. Для него Гранада — это не Аламбра, но Гран Вия, с банками, с магазинами и с клубами.

Кроме нового квартала, имеется в Гранаде Альбасин. Там живут ремесленники и рабочие. В ткацких мастерских Альбасина я видел немало красавиц. Они не бьют в бубны. Они стоят весь день у станка. Они получают за это по две песеты в день. Это живописный труд, и это голод. В Альбасине умеют голодать. Северная горная Андалузия куда жестче приморской, и в Альбасине редко смеются. Здесь мало кто помнит об Аламбре, здесь думают, как бы раздобыть песету, здесь спорят, кто прав — «Мундо Обреро» или «Солидаридад Обрера»?

Отсюда спустились забастовщики с криком «да здравствует революция», и сюда приволокли два часа спустя несколько трупов. Для бедноты Гранада это Альбасин.

Гранада — это имя города, это также имя провинции. Если взобраться на одну из башен Аламбры, далеко окрест видны поля и горы. Можно полюбоваться Сьерра Невадой. Можно и задуматься над неизменной темой, которая, как восточная песня, повторяется в любой части Испании, над ее основной темой. Снова огромные поместья, одинокие «кортихо», нищие поселки, снова справка: это такого-то графа, столько-то гектаров, такого-то дюка, столько-то... Неотвязная и грустная песня! Кто сможет пройти мимо этих цифр?.. Прекрасна Сьерра Невада, как прекрасны скалы Кастилии или холмы Эстрамадуры, но это не просто ландшафт, это длинная повесть о беспечности одних, о горе других.

У некоего сеньора в Педросо пятнадцать тысяч гектаров, в Баналькасаре тридцать одна тысяча, в Альмадене пять тысяч... Вчера снова в том поселке крестьяне кричали: «Земли!» Гвардейцы стреляли... Бой идет с весны. Против крестьян выслали не только пулеметы, но даже воздушные эскадрильи. Гранада... Для окрестных крестьян Гранада — это борьба за землю.

Пять лет тому назад тихо и душно было в Испании. Примо де Ривера говорил о национальном величии. Социалисты говорили о красоте арбитража и о гармонии между трудом и капиталом. Испанские поэты писали стихи об утонченной любви. Пять лет тому назад молодой советский поэт написал престранное стихотворение. Красноармеец, «мечтатель-хохол», сражаясь против белых, поет о Гранаде. «Откуда у хлопца испанская грусть?..» Хохол отвечает:

Красивое имя!  
Высокая честь!  
Гранадская волость  
В Испании есть.  
Я хату покинул,  
Пошел воевать,  
Чтоб землю в Гранаде  
Крестьянам отдать.  
Прощайте, родные,  
Прощайте, семья.  
Гранада, Гранада,  
Гранада моя.

Эта частушка не бахвальство: судьба гранадских батраков решится, скорей всего, далеко от полей Андалузии. Победа английских консерваторов тотчас же придала бодрости графам и маркизам. На другую гирию падают успехи пятилетки. Но стихи Светлова — это не политический прогноз, это стихи о Гранаде, это также стихи о судьбе поэта нашего времени. В Гранаде побывали сотни иностранных писателей. Одни из них довольствовались «гитанами», другие, покультурней и поумней, погружались в глубины восточного искусства. Одни влюблялись в пошленькую куклу, другие в прекрасный труп. Светлов никогда не был в Гранаде. Может быть, он ничего не смыслит в искусстве арабов. Он к тому же не знает ни о банках Гран Вии, ни о трущобах Альбасина. Для него Гранада — это «испанская волость». Надо ли говорить, что он куда больше понял драму Гранады, нежели Лакретели или Ларбо? Бывают исторические эпохи, когда избыток знания превращается в невежество, когда чрезмерная тонкость лишает человека простой чувствительности. Аламбра сейчас покрыта плотным туманом: ее следует оставить для туристов с бедкером и для находчивых «гитан». В одном из ее дворов стены столь прозрачны, что лучи солнца проходят сквозь них, и лучи трепещут, как водяная зыбь. Это фокус зодчего, и это сама стихия человеческой поэзии. Если б у меня было время, я провел бы не один день возле этой зыби. Если б я родился в другую эпоху, я писал бы не о поместьях графа Романонеса, но об игре света и тени. К Аламбре люди еще вернутся. Сейчас их место внизу — там, где обитатели Альбасина осаждают Гран Вию, там, где крестьяне «гранадской волости» умирают с криком простым, как «мать» или как «пить»: «Земля! Земля!»

## 20. «Хотеть» и «ждать»

Любимое слово испанцев — «завтра», американские машины, попадая в Испанию, становятся томными и расслабленными, на письмо здесь отвечают через месяц, а то и через год — спешить незачем и некуда. Однако каждый год испанская женщина рождает. Это точно и без прогулов. Один испанец с гордостью сказал мне:

— Я семь лет как женат — шестеро детей, но седьмой уже в работе...



Женщина должна рожать: это ее единственное назначение. Девушка должна кидать пламенные взгляды: она ищет жениха. Свободны только девочки лет до двенадцати да старухи; все прочие особи женского пола подвержены строжайшему регламенту.

Девушке из «приличного общества» не полагается гулять одной. Она гуляет с мамашей, иногда с подругой, иногда с кухаркой. Она должна гулять, так как без этого она никогда не сыщет жениха. С семи до девяти на улицах всех испанских городов толпа: сопровождаемые мамашами или же без мамаш — пикетами по три, по четыре, девушки прогуливаются. Их лица столь обильно покрыты румянами, что рядом с ними монмартрская «роуи» покажется инокиней. На встречных мужчин они смотрят страстно и зазывающе. Можно подумать, что это проститутки: столько-то песет и отель за углом. Но если заговорить с такой барышней, она возмущенно отвернется, а мамаша добавит: «Бесчестный человек!» У барышни синие ресницы и на лбу тщательно приклеенная прядь. Она смеется, как будто ее все время щекочут, — особо бесстыдным смехом. Но это, бесспорно, девственница. Рядом с ней тоже девственницы. Гуляют только девственницы, они гуляют под охраной мамаш. Это испанский пролог.

Молодые люди смотрят на девственниц и млеют. Их кидает в жар и в холод. Они могли бы любить, но «любить» по-испански «querer» — это значит также «хотеть». Следовательно, они хотят. Им остается одно: жениться.

Дон Хаимэ Гарсия служит в банке «Испано-Американо». Это страстный кабальеро с синеватыми щеками и с поэтической душой. Он встретил вчера на улице замечательную сеньориту. Он ждет ее сегодня. Сеньорита идет с мамашей. Дон Хаимэ замирает, круто поворачивает, идет вслед. Сеньорита больше не сомневается: кабальеро ее любит. В другой стране парочка, пожалуй, пошла бы вечером к речке целоваться. Но Испания страна изысканная, и дон Хаимэ берет в руку перо. Он пишет послание. Он уже узнал, что красотку зовут Хуана и что она дочь владельца посудного магазина дона Мануэля Росалеса. Дон Хаимэ пишет: «С того дня, когда я увидел тебя, я больше не живу, я не могу ни пить воду, ни спать — вода отравлена, а сон бежит от меня...» Дон Хаимэ, как уже было сказано, в душе поэт. Впрочем, эта поэзия известна каждому и она распространена куда шире, нежели орфография.

Сеньорита получила письмо. Сеньорита не отвечает. Дон

Хаимэ отнюдь не отчаивается. В каждой игре свои правила: благородная девица никогда не отвечает на первое письмо. Он не жалеет ни бумаги, ни пыла. Он пишет второе письмо: «Если ты не полюбишь меня, я завяну, как цветок без воды»... Сеньорита с гордостью повторяет: «Как цветок без воды»... Мамаша тем временем наводит справки: сколько получает сеньор Гарсия в банке? Сеньорита не отвечает и на второе письмо. Дон Хаимэ вздыхает, но не падает духом: благородная девица редко когда отвечает на второе письмо. Дон Хаимэ пишет третье решающее послание: «Если ты не подойдешь завтра вечером к окну, я наложу на себя руки...» Третье письмо — это третье письмо! Собирается семейный совет: отец, мать, дядюшки, тетушки — все высказываются: он получает триста песет в месяц... Это прилежный и рассудительный юноша... Он не играет в карты... О нем хорошо отзывался сам дон Франсиско...

Так начинается счастье: дон Хаимэ подходит к окну, в окне прекрасная сеньорита. Он жених, она невеста. На окне решетка. Теперь каждый вечер он будет стоять под окном и разговаривать с прекрасной сеньоритой. Он не одинок — у соседнего дома стоит сослуживец, дон Рафаэль... На каждой улице Кордовы, Гранады или Мурсии можно найти влюбленного кабальеро. Дон Хаимэ стоит под окном уже четвертый месяц. На окне решетка. Они говорят. О чем? Разумеется, о любви. Хаимэ страстно шепчет:

— Я тебя люблю!..

«Любить» по-испански значит «хотеть», и Хуана стыдливо краснеет. Хуана отвечает:

— Мы должны надеяться...

«Надеяться» по-испански «esperar» — это также значит «ждать». Кабальеро ждет: что ему еще делать? Он шепчет о «верности по гроб» и о «небесной любви». Потом часовая стрелка или мамаша уводят от окна ненаглядную особу. Дон Хаимэ уныло вздыхает и бредет по улице. На углу его походка неожиданно меняется. Молодцевато он повертывает направо. У него в кармане два дура. Он идет в заведение сеньоры Гонсалес. Там нет ни решетки, ни мамыши. Там дон Хаимэ, измученный ночными диалогами, может наконец-то любить молча и взаправду.

Женившись, дон Хаимэ месяц-другой не заглядывает к сеньоре Гонсалес. Потом все приходит в порядок: Хуана беременна, она сидит дома. Дон Хаимэ с ней не разговаривает: кабальеро

разговаривает натошак, но не после сытного обеда. Вместе с решеткой кончились поэтические упражнения. Дон Хаимэ возвращается к сеньоре Гонсалес: это верный клиент. Через три года у него трое детей. Его жена может судачить с женой дона Рафаэля или со своими тетушками. Впрочем, заботливый супруг не дает ей скучать: только-только она откормила Пепику, а вот уже — Хуансита. В банке дон Хаимэ зевает, дома он работает.

Любовь без брачного свидетельства в Испании — тяжкое преступление. Профессор в большом городе с гордостью сказал мне:

— Вот женщина врач Х, она живет с доктором У. Но знают, они не повенчаны. Мы их все-таки принимаем...

«Мы» было произнесено с сознанием героизма — мы, передовые, левые, влюбленные в Москву и в революцию, мы, но, разумеется, не другие...

В Мурсии с одной сеньоритой, дочерью зажиточного коммерсанта, приключилась беда. Она гуляла за городом с женихом. Оба давно уж и «любили» и «надеялись». За невестой присматривала служанка. Жених оказался находчивым и вовремя сунул служанке дуру. Служанка отстала. Кабальеро работает без промаха: через девять месяцев у бедной сеньориты родилось дитя. Кабальеро на ней не женился: можно ли жениться на столь легкомысленной особе?.. Родители проклинали, грешница плакала. Все это могло бы приключиться в семье любого коммерсанта, парижского или берлинского. Преступление обычно. Зато наказание говорит о «местном гении»: грешницу заперли. Это не слова, но закрытые наглухо окна и дверь на запоре. Прошло четыре года; прислуга каждый день выводит мальчика, мальчик как мальчик — может быть, это сын прислуги? Молодая женщина исчезла, никто ее с того времени не видал. Она не уехала: она сидит в комнате с закрытыми окнами. Она сидит и поныне. В кортесах кричат о правах женщин, социалисты всего мира уверяют, что Испания — «страна свободы». Отец грешницы читает в клубе газеты. Дверь комнаты, однако, заперта. Все в городе знают об этом, никто не удивляется: сеньорита сглушила...

Девочка играет с мальчиками в мяч. Пройдет год-два, и она станет с опаской поглядывать на своих недавних товарищей: ее жизнь полна опасностей. В университетах теперь имеются студентки. Правда, их мало, но свободолюбцы радуются: «Мы передовая нация!..» Студентка, однако, не подойдет просто

к студенту, не спросит его, какая сегодня лекция — предусмотрено она возьмет с собой подругу. В Саламанке и в Валенсии я видел в коридорах университета студенток. Они прогуливались небольшими отрядами. Никогда нельзя увидеть одного гвардейца, всегда два — одному страшно. Страшно и одинокой девушке: что про нее подумают?.. Достаточно ловко пущенной сплетни, и она не найдет жениха.

В «кортихо» — рабочий и работница. Они спят рядом. Они любят друг друга. Это жених и невеста. Но девушка не смеет подпустить к себе жениха. Что он о ней подумает?.. Он ее бросит с ребенком... Рабочий сам знает: надо ждать. Вот осенью они повенчаются!.. Девушка всю ночь ворочается на соломе, ей не спится, она что-то шепчет в полубреду. Парень, тот идет в соседний поселок к симпатичной вдовушке, которая за одну песету лечит влюбленных от тоски и еще в придачу дает дурную болезнь. Ничего не поделаешь — подождем до осени!.. Осенью, выслушав бормотанье «куры», с сознанием своих прав, если не перед богом, то перед людьми, он передаст дар, полученный им от вдовушки, своей законной супруге.

В Мадриде порой можно увидеть, как корчится лицо одинокого чудака от сочетания двух испанских глаголов «хотеть» и «ждать». Католики работают ничуть не хуже английских лицемеров. Кино Мадрида — это Гайд-парк. Молодой человек сидит рядом с девушкой, девушку охраняет мать, молодого человека охраняет темнота. Он не знает, кто возле него. Он знает только: это девушка Мадрида, следовательно, и она измучена ожиданием. Он дает волю рукам. Девушка не кричит: «нахал». Девушка закрывает глаза: ей сейчас не до любви па экране. Когда вспыхивает свет, они незнакомы. Беда, если молодой человек скажет ей «до свиданья». Тогда-то он услышит: «нахал». Она его не знает! Между ними ничего не было, кроме темноты и тяжелых мадридских снов.

Здесь нет любовников: любовникам здесь некуда деться. Дома охраняются швейцарами, пансионы — хозяйками, загородные парки — сторожами. Если к мужчине придет на дом женщина, ее могут отвести в полицию. Если она любит, она должна ждать. Если она не хочет ждать, она — проститутка.

Кабальеро целый день думает о женщинах. При этом он их презирает. О своей жене он говорит: «Дура! Женщины вообще дуры. Только дурак станет разговаривать с женщиной»... Свою дочь вместо школы он отправляет в монастырь. Ее учат исповедо-

ваться и вышивать. Потом ее учат кокетничать и румяниться. Потом ее учат рожать. Потом она начинает учить своих дочерей: ее жизнь кончена.

Кабальеро в стороне. Он думает о других женщинах. Он думает обо всех встречных женщинах. Увидев женщину на улице, кабальеро кричит «красотка», при этом он издает препротивный звук, как будто он подзывает собачку: таков условный рефлекс. Кабальеро обязан пристать к одинокой женщине — это его долг. Примо де Ривера любил развлекаться по-испански, но в часы досуга его одолевали разные заграничные идеи, он, например, вздумал бороться с распушенностью нравов. Особым декретом он запретил приставать на улице к женщинам. Однако все чмокают и поныне: министры и адвокаты, журналисты и чиновники: «Красотка!» Почмокав, направляются в заведение какой-нибудь сеньоры Гонсалес или не Гонсалес.

Страна любви, страна серенад и романсов, страна Кармен!.. В этой стране даже взяточники и сутенеры пишут о «небесной любви». В этой стране статистики не управляются с данными о венерических заболеваниях. Серенады кончаются в публичном доме: это два дура и скука, та, что раздирает рот.

## 21. Мурсия

На богоматери, которая охраняет Мурсию, добрая дюжина орденов: эти ордена были пожалованы храбрым генералам, усмирившим арабов. Знаки отличия генералы подарили богоматери. Помимо орденов у богоматери палка алькальде. Это дары аллегорические, но богоматерь принимает и подарки более существенные, как-то: драгоценные камни, золото высокой пробы, жемчуга. Безделушки, коими украшена эта «защитница бедных», оцениваются во много миллионов песет. Кроме того, у «покровительницы нищих» одиннадцать платьев, все, разумеется, из самого дорогого шелка, расшитого камнями. Конечно, душа у богоматери весьма подозрительного происхождения: как здесь не вспомнить о нищей еврейке, которая рожала в хлеву?.. Зато волосы у богоматери самые что ни на есть изысканные: когда пошла мода на короткие волосы, аристократки Мурсии отрезали свои косы и подарили их богоматери. В этом нет ничего обидного: богоматери уже около двух тысяч лет, ей нечего гоняться за модой, она может остаться при длинных волосах, притом все

знают, что это не просто пакля, не конский волос, не парик от скверного парикмахера, но ароматные локоны маркизы такой-то и графини такой-то.

Конечно, туалет столь роскошной особы требует большого искусства. Жена церковного сторожа сама и моет и чешет деревянного Христа. Богоматерь Мурсии одевают самые породистые дамы городка. Это высокая честь, и многие аристократки перессорились из-за права заколоть юбку на богоматери.

Среди дам, которые наиболее часто допускались к туалету богоматери, в первую очередь надо поставить красу Мурсии, сеньору Сьерву. «Краса» — это не определение физических достоинств названной сеньоры, только грубые натуры могут интересоваться телесными достоинствами, нет, сеньора Сьерва подлинная краса Мурсии: ее супругу принадлежат в окрестностях города поместья на пятнадцать миллионов песет. Кто же достойней ее приблизиться к «упованию всех обездоленных»?

Пока сеньора Сьерва одевала богоматерь, сеньор Сьерва занимался государственными делами. Народ прозвал его «кровавым министром». В его послужном списке стоят и казнь Ферреро, и расстрел забастовщиков. Сеньор Сьерва теперь находится за границей, но «республика трудящихся» отнюдь не злопамятна. Она может выселить нищего крестьянина, который не заплатил вовремя двести песет за аренду, но она не смеет посягнуть на поместья «кровавого министра». По-прежнему у сеньора Сьервы земли на пятнадцать миллионов песет, и по-прежнему он сдает эту землю в аренду. Управляющие защищают его интересы. Республика охраняет его священные права. Богоматерь, одетая при содействии его супруги, связанная генеральским шарфом и вооруженная палкой алькальде, стоит на страже порядка.

Земля вокруг Мурсии богатая и щедрая: апельсиновые сады с крупными золотыми плодами, персики, виноград, поля крупного испанского лука, на склонах холмов рыжие квадраты — это сушатся стручки перца, повсюду цветение и пестрота, та расточительность природы, которая неизменно волнует уроженца севера. Природой здесь был задуман рай. Природа не предвидела, что вместе с померанцами здесь расцветет сеньор Сьерва.

Крестьянский дом. Внутри чисто, но бедно. Хозяину лет за шестьдесят. Грустно сосет он обгрызенную трубку. На нем большая шляпа, поля еще держатся, донышка уже нет: солнце жжет седую голову. У него пять «таулий» земли — это крохот-

пый садик. Земля не его, земля принадлежит какому-то маркизу. За пять «таулий» он платит в год триста песет. Он никогда в глаза не видел этого таинственного маркиза. Один только раз приехала в Мурсию супруга маркиза, она одарила верноподданных своей маркизовой улыбкой. Она зашла в дом к этому крестьянину. В доме было несколько старых кувшинов, распиленных искусным гончаром. Таких кувшинов больше не делают, их можно найти только в лавке антиквара. Маркиза показала хороший вкус: она взяла у крестьянина кувшины, конечно, ничего не заплатив, — кувшинам место не в бедной избе, но в прекрасном особняке Мадрида. Кувшины положили в автомобиль, маркиза еще раз улыбнулась и уехала. Крестьянин, почесав затылок, понес управляющему триста песет за пять «таулий».

Крохотный кусок земли не может прокормить семью. Старый крестьянин нанимается на поденную работу. Ему платят три или четыре песеты. Он работает с утра до ночи, он работает круглый год. У него не только шляпа без донышка, у него сторбленная спина, крючковатые распухшие руки и глаза грустные, как у старого осла. Он устал. Но он будет работать до последней минуты: так хочет республика. Золотятся апельсины, смеется солнце, природа не равнодушна, природа просто обманута: она не предвидела и этого злосчастливого старика.

— Вы верите в аграрную реформу?

— Как было, так и останется...

— Но вы-то что думаете?.. Разве это справедливо?..

Ему много лет, и он устал. Апельсины на севере сказка, крохотное солнце среди зимы, душистый сок, утеха ребят, витамины, здоровье. Для него апельсины — это каторга. Он вынул изо рта трубку и сплюнул:

— Зачем думать?.. Если я не заплачу за аренду, меня выселят...

Он стоит покорный и гордый. Он знает, что такое песеты и что такое свинцовые пули. Он не станет ни спорить, ни доказывать. Он может умереть в поле за работой. Он может также вынуть изо рта трубку, сплюнуть и пойти против гвардии с голыми руками. Его фатализм безобиден и страшен. Генерал Санхурхо, а за ним и республика скачут по болоту: никто не знает, где могут завязнуть и генеральский конь, и вся лживая история Мадрида.

Сады, огороды, поля — для кого-то урожай, для кого-то благоденствие. Монастырь иезуитов. У ворот толпа нищих — они

ждут с утра подаянья. Внутри хорошо обставленные комнаты: это для кабальеро, которые приезжают в монастырь — предаться «духовным упражнениям». Контора экспорта консервов. Огромные обороты. Радость — песета пала, вывоз растет. Фабрика шелка: работницам платят по две песеты в день. Наконец город, сонный и бездумный, как все испанские города. В одном из клубов сидит у окна брат кровавого министра: это «Сьерва-добрый». Вокруг него кабальеро. Читают газету или дремлют. В кабачках темное и крепкое вино, прохладные дворы, луковая колбаса. Какое-то несурзное захоlustье.

Кабальеро в клубе говорят: «Мурсия одна из самых счастливых провинций Испании». Я не раз думал, глядя на всех этих адвокатов, — лицемерие? или только беспечность?.. Недавно в Лорку — это близ Мурсии — пришли две тысячи крестьян из окрестных деревень. Они заявили, что умирают с голоду, что они ищут работу и что назад они не пойдут. Они легли на площадь перед «аюнтамьенто» — в испанских городах большие площади. В клубах Лорки, как и в клубах Мурсии, кабальеро зевали и щурились от неги. На что они способны? Они никогда не отдадут приказа разогнать забастовщиков. Они выждут, пока не покажется отряд гвардии. Тогда они закроют глаза от подлинного ужаса. Потом вздохнут: снова шестеро раненых!.. (Они выдадут, кстати, убитых за раненых.) Они осудят народную темноту, иезуитов и прыть гвардии. Потом как ни в чем не бывало они снова сядут за карты или начнут чмокать перед проходящими сеньоритами. Испанская буржуазия — это даже не класс, это клуб, какое-то сборище очаровательных лежебоков. Их выручает только слабость тех, кто работает, только этот дурман, эта оторопь, покорность судьбе, разрозненные выстрелы, партизанщина, грустные песни и десять враждующих между собой синдикатов — не поле брани, но болото. Болото выручает. Болото может и проглотить.

## 22. Семейные утехи

В Испании все делается по-семейному: доносы, аресты, взятки, выборы. Бордели напоминают гостиную тетушки, а высокая политика то и дело сбивается на ссоры двух кумушек у кухонной плиты.



Когда я приехал в Мадрид, меня прежде всего арестовали. Это было очень эффектно: на вокзальном перроне уже поджидал меня полицейский. В участке открыли чемодан — искали, очевидно, пулеметы, залезли и в карманы — нет ли московского золота? Первый день за мной неотвязно следовали представители власти. Потом представителям надоело, и они отстали: наверное, пошли чистить ботинки.

Товарищ министра внутренних дел беседовал со мной. Это бывший журналист, и я его знал в Париже. Он сначала похвалил мои книги, а потом перешел к делу — не послан ли я в Испанию какой-либо газетой? Этот журналист, видимо, весьма боялся журналистов. Я его успокоил: «Нет, никем не послан». Тогда он снова похвалил мои книги.

Потом начальник полиции попросил представить ему список всех городов, которые я намерен посетить: это для моей безопасности. Он оговорил, что отвечает только за полицию, но не за гвардию, гвардия, та сама по себе, — следовательно, в деревни, где царит не полиция, но гвардия, лучше не забираться. Когда я приехал в Самору, редактор тамошней газеты с гордостью мне сказал: «А мы уже напечатали, что вы сюда приедете... Откуда мы узнали? Очень просто: начальник полиции прислал телеграмму губернатору, ну, а губернатор свой человек...»

В Касересе ко мне заявили два полицейских в штатском. Я сначала их принял за адвокатов: «Садитесь!» Но они не сели, а попросили паспорт. Я дал паспорт, они его не взяли: чересчур сложно. Спросили, не думаю ли я навсегда поселиться в Касересе, пожелали счастливой дороги и ушли. В поезде меня как-то задержали другие полицейские; эти оказались трудолюбивыми, они прочитали весь паспорт (а в нем страниц сорок), от доски до доски. Прочитали и растрогались, им захотелось сказать мне что-нибудь приятное. Подумали и сказали: «Вот мы уже сопровождали одного из ваших соотечественников, сеньора Майорского, это очень почтенный сеньор, а теперь мы вас сопровождаем...» После чего стали осведомляться, «сколько получают в Москве чекисты?». Все это по-родственному. Могли бы при случае меня пристрелить, но так как день был тихий, предпочли ласково побеседовать.

Испанские газеты похожи на журналы, которые сочиняли воспитанники закрытых учебных заведений. Валенсия — четыреста тысяч обитателей, бойкий торговый город. В Валенсии выходит газета «Эль Меркантиль Валенсиано», одна из самых

распространенных газет Испании. Японцы занимают Маньчжурию, в Париже лопнул солидный банк, в Макдербурге побоище между гитлеровцами и коммунистами. Обо всем этом в газете ни слова, да и вообще нет ни одной заграничной телеграммы. Сплетни из кулуаров кортесов. Интервью с министром внутренних дел, с начальником полиции, с гражданским губернатором. Все трое заявили: «Полное спокойствие». Потом — о кино, о погоде, о семейных событиях. Свадьба очаровательной сеньориты Консуэлито Матео Гарсии и почтенного дона Рикардо Ольмос Мартинес... На невесте было великолепное белое платье, которое оттеняло ее естественную красоту и чары ее молодости. После венчания молодые, так же как и гости, отбыли в кафе «Колумб»...

Иногда и в Валенсии приключаются события мировой важности. Например, полиция находит бомбы — двести пятьдесят штук. Губернатор дает обширное интервью. Фотографы дружно снимают бомбы. «Подготавливался заговор»... «Конфедерация»... «Анархисты»... «Москва»... При этом все знают, что бомбы были припасены республиканцами в декабре прошлого года, когда предполагалась «революция». Бомбометатели давно стали депутатами и сановниками. Бомбы валялись в одном из погребов. Кто-то захотел отличиться, и бомбы «нашли». О находке дали телеграмму. Читатель «Берлинер тагеблатт» читал и ежился: помилуйте, двести пятьдесят бомб!.. Чины валенсианской полиции пили вермут и обливали знойными взглядами проходящих сеньорит.

Для катарзиса в Испании существуют лотерея и бой быков. Надежда на выигрыш несколько смягчает социальную горечь, а убийство быка заменяет, хотя бы на время, убийство гвардейца. Лотереи — крупная статья в государственном бюджете. Особенно разгораются страсти к рождественской лотерее: выигрыши миллионные, играют все. В этом году произошел конфуз: вследствие кризиса несколько тысяч билетов осталось нераспроданными, и первый выигрыш пал на непроданный билет. Выиграло, следовательно, государство. Этого никто не смог стерпеть. Республике готовы были простить все ее грехи, невыполненные обещания, болтовню, разгильдяйство, что угодно, только не эту удачу.

В газетах лотереям отводится почетное место. После тиража рождественской лотереи добрая половина самых солидных органов заполнена либо цифрами, либо философией по поводу цифр.

Еще больше места газеты уделяют бою быков. Это занятие издали кажется жестоким, даже романтическим. На самом деле это только страсть к эффекту, нечто вроде убоя свиньи, доведенного до важности миропомазания.

Разводкой быков заняты главным образом аристократы, им принадлежат племенные заводы возле Севильи и Саламанки. Каждый год в Испании торжественно закалывают тысячи четыре быков, причем хороший взрослый бык стоит три тысячи пест. Еще больше зарабатывают импресарио: места стоят дорого. Тореадоры тоже не в обиде: занятие это теперь скорее мирное, героизм заменен выучкой и каждое движение в точности рассчитано. Поработав несколько лет, тореадор покупает поместье где-нибудь в Андалузии и садится за мемуары.

Грустней всего в этой истории судьба быков. Я видал их на воле, они мирно паслись, когда работник привез корм, они побежали за лошадью, как самые доброжелательные телята. Это смиренные животные, и только такому зверю, как человек, удается их вывести из себя. На арене бык сперва недоумеваает. Он похож на растерянную корову. Он ищет лазейки. Он явно вспоминает пастбище. Его колют стрелами. Он весь в крови. Тогда начинается якобы бой. Человек знает, что надо отбежать в сторону, бык этого не знает, бык кидается вперед. Исход ясен заранее. Может быть, именно эта обреченность быка, эта трагическая тупость и ненужное благородство пленяют испанцев, напоминая им и об их жестокой истории, и об их личной драме?.. Эти реминисценции не мешают, впрочем, вносить в бойню все элементы оперетки: ленточки, музыку, расшаркиванье перед сенборитами и парад престарелых кляч.

Тореадоры делятся на различные школы и толки. Агония быка изучается в деталях. Жизнь тореадоров — также. Публика знает не только то, как они играют на гитаре или пьют «мансанилью», но и то, в кого они влюблены и за кого они голосуют. Редакция одной из больших газет Мадрида отправила интервьюера к тореадору Бельмонте, чтобы выведать у этого мудреца его мнение об идеях Ленина. Бельмонте успокоил публику: «Идеи Ленина?.. Что ж, я привык к опасностям!..»

С тореадорами могут потягаться только генералы. Недавно военный министр рассказал в кортесах о генеральских проказах. Испанцы в свое время купили у французов 75-миллиметровые пушки. Купили не торгуясь. Заплатили. Пушки прибыли в Мадрид. Нашелся шутник, который заявил: «Эти пушки бьют

на расстояние девяти километров, а с нас хватит и шести»... Другие шутники распорядились немедленно подвергнуть французские пушки обряду обрезания. В Марокко испанцы выступили с никуда не годной артиллерией. Тот же министр признался, что испанская армия обладает всего-навсего одним аэропланом для бомбардировки. Зато сколько орденов, сколько замысловатых мундиров!..

До апреля испанская интеллигенция играла в литературу. Все поголовно были писателями. В литературных кафе за любым столиком заседали знаменитости. Центром Мадрида был клуб «Атенеум». После апреля писатели стали министрами, посланниками или депутатами. Они теперь играют в высокую политику. В литературных кафе сидят только юноши, еще не достигшие возрастного ценза. Книг никто не пишет — некогда. Писатели сочиняют проекты законов или дипломатические ноты. Сеньор Асанья был председателем «Атенеума», теперь он председатель правительства. Он говорил о сладких чарах искусства, теперь он говорит о необходимости твердой власти. Слушая в кортесах речь Унамуну, трудно представить себе, что это парламент, а не литературный диспут. Очень культурно, очень мило. Страна, однако, продолжает голодать. Старые генералы обрезывали пушки, писатели покажут миру, что даже этими обрезанными пушками можно на славу умирять крестьян. Кроме того, генералы не умели разговаривать, они закрыли кортесы, они жили грубо и молча. Писатели куда как тоньше!..

Читатель «Берлинер тагеблатт», наверное, вздыхает от умиления — со стороны это: революция, борьба идей, государство. Вблизи это только семейные утехи.

## 23. Драма рабочих

Дорога из Валенсии в Сагунто проходит апельсиновыми садами: это золотой фонд Испании. Каждое дерево приносит в год пятьсот — шестьсот плодов. Апельсины тоже знают классовое неравенство, возле Каркахенты плоды огромные, с тонкой кожей, — это для дорогих ресторанов Лондона и Парижа, возле Сагунто плоды крепкие и мелкие, их продают в рабочих кварталах с лотка. Кроме апельсиновых садов, вокруг Валенсии рисовые поля. Это богатый край, испанская нужда здесь

залечивается природой. Валенсия — город купцов. Сюда приезжают англичане и немцы за апельсинами. Здесь много кино и дансингов. Здесь уважают песеты и Бласко Ибаньеса. Близость моря смягчает испанские нравы: вместо суровости и доброты — обыкновенная европейская вежливость. Вежливость и апельсины. Апельсины и песеты.

Сагунто известен старым замком и живописностью расположения. Имеется и другой Сагунто, ему всего пятнадцать лет. Это рабочий город, он вырос вокруг сталелитейного завода. В этом Сагунто нет ни апельсинов, ни песет. Угрюмые люди на площади и пикеты гражданской гвардии. Здесь молча разыгрывается драма испанских рабочих.

Завод принадлежит акционерному обществу «Сидерурхика дель Медитеранео»: это разветвление консорциума, центр которого находится в Бильбао. Дело не обошлось без иезуитов. Летом на заводе в Сагунто работали четыре тысячи пятьсот рабочих. Теперь — тысяча двести. Остальных рассчитали. Оставшиеся работают четыре дня в неделю. Шесть песет в день: это жизнь впроголодь. Одни безработные уехали из Сагунто. Другие остались — это уж просто голод. Недаром гвардейцы зло озираются: каждый день здесь может вспыхнуть бунт.

Республиканцы Валенсии во всем обвиняют иезуитов. Для них ясно: дирекция завода сократила работы, чтобы досадить республике. Дирекция отвергает обвинение в саботаже. Она ссылается на мировой кризис: убытки за год достигли двадцати трех миллионов песет. Конечно, одно не мешает другому: кризис кризисом, иезуиты иезуитами.

Однако, чтобы понять драму Сагунто, надо вспомнить о некоторых особенностях испанской буржуазии. Руководители испанской промышленности прежде всего малограмотны. Это в равной мере относится к финансистам и к инженерам, к частным обществам и к государственным предприятиям. В Сан-Фернандо рабочих тоже выбросили на улицу, но там никто не говорит о саботаже: во главе верфей не иезуиты, а республика. В Каталонии не сегодня-завтра закроются десятки предприятий. Большинство испанских заводов свято хранит архаическое оборудование начала этого века. Прямо де Ривера хотел помочь испанской индустрии стать на ноги. Он выдавал владельцам заводов большие субсидии. Сплошь да рядом сеньоры прокучивали эти деньги в Париже или в Биаррице. На оставшиеся песеты они покупали старые машины. Испанская промышленность

выдерживала конкуренцию с иностранными фабрикантами только благодаря необычайно низкой оплате труда. Испанский буржуа мелкий рвач и большой жуир. Если в кассе имеется несколько кредиток, он не думает ни о новых заказах, ни об организации производства, ни о покупке машин. Он удовлетворен жизнью. Это приятно для него и для его домашних. Это катастрофично для страны. После долгих и мучительных стачек рабочие добились повышения заработной платы. Для многих фабрикантов это оказалось гибелью. Директор большой мануфактуры в Барселоне недавно предложил председателю заводского комитета передать фабрику рабочим: «пусть расхлебывают»!..

Завод в Сагунто оборудован достаточно хорошо, он погиб не из-за плохих машин, но из-за плохого расчета. Его построили во время войны, когда даже испанская буржуазия ухитрилась разбогатеть: манна действительно падала с неба. Построили огромный завод. Заказы. Дивиденды. Счастье. Вскоре, однако, выяснилось, что завод построили зря. От завода до рудников двести километров. Транспорт в Испании вещь сложная и разорительная. Уголь приходится покупать английский. Почему при таких условиях завод построили именно в Сагунто, никто объяснить не может. Над этим задумались только теперь. Задумались, подсчитали убытки и рассчитали рабочих.

Здесь, как и в других городах Испании, за невежество и за бестолковость буржуазии приходится расплачиваться рабочим. Конечно, и для председателя «Сидерурхики», для дона Рамона де ля Сота этот год не веселый. Однако дон Рамон живет неплохо. Он не задумывается над меню своего обеда. Другое дело люди на площади Сагунто: когда дон Рамон понял свои ошибки, эти люди перестали есть. Республиканский журналист из Валенсии, член партии радикал-социалистов, не без гордости говорит мне:

— В нашей партии очень много рабочих...

В Сагунто имеется клуб этой поместительной партии. В клубе сидит один из членов партии и читает газету. Это мастер. Журналист здоровается с партийным товарищем. Однако он не спрашивает мастера о драме Сагунто. Он хочет узнать правду. Он хочет расспросить рабочего. Приходит рабочий. Увы, это не радикал-социалист, это член революционного синдиката. Журналист долго с ним разговаривает. Они шепчутся: рядом мастер. Ведь журналист хочет узнать правду, а правда всегда опасна. Мастер — человек его партии, но все же он мастер: за

правду рабочего могут и рассчитать. Вот она, испанская неразбериха!..

Казино, полное мух и сонных кабальеро. Аптекарь — это местная интеллигенция, он республиканец и мелкий держатель падающих акций «Сидерурхики», человек, следовательно, томный и вдоволь разочарованный. Дома — набитые голодной детворой. В городе, по словам аптекаря, «полное спокойствие». Только гвардейцы не унимаются; они рыщут по пустым улицам, они не доверяют аптекарю. Вокруг заводских стен — стражники в мундирах. А на заводе тихо и тошно. Стоят никому не нужные машины. На одном из ящиков, куда рабочие еще недавно складывали свою одежду, выведено дегтем: «Смерть буржуазии!..» Драма Сагунто не доиграна.

## 24. О человеке

Рядом с французами испанцы кажутся первобытными, несмотря на всю пышность их истории, несмотря на барокко и на Гонгора, на небоскребы и на проказы Рамона Гомес де ля Серны. Это, конечно, не дети, но это люди, не духи в брюках и не манекены от «Галери Лафайет». Я настаиваю на цельности материала. Это можно проследить на природе: здесь горы — горы, степи — степи. Это можно увидеть и за обеденным столом: испанская кухня гордится не столько искусством обработки, сколько добросовестностью продуктов: девственно белый хлеб, густое вино, ягненок, рыба. Может быть, неудачи государства в известной степени следует объяснить именно этой определенностью отдельных частей — человек здесь слишком человек, и великие реформаторы, которые привыкли иметь дело скорее с моллюсками, нежели с быками, наверно, опешили бы, перевалив Пиренеи. Даже католицизм здесь больше озорничал, нежели воспитывал. Расправы инквизиции — это только зрелище, нечто вроде боя быков. Для подлинного творчества монахам пришлось выбрать вместо Испании Парагвай. Над Испанией очень легко царствовать. Любой выродок с плохонькой армией может захватить хоть завтра власть. Управлять Испанией много труднее. Для этого мало соблазнительных идей и мистического тумана, необходима какая-то правда. Я говорю, разумеется, не об адвокатах, но о народе. Эта правда, однако, далека и

от фотографии и от арифметики. Она не дается в готовом виде, ее надо создать. Куда легче с ней познакомиться в музее Прадо перед полотнами Гойи, нежели в соседних с музеем кортесах.

Можно никак не интересоваться искусством, можно приехать в Испанию, чтобы закупить апельсины или чтобы изучить аграрный вопрос, можно быть биржевиком или агитатором, но нельзя пройти мимо Гойи, это лучший проводник по стране. Так прежде всего разрушаются лживые фразы о «художнике кошмаров». Гойя не декадент, не эстет, не одинокий фантаст, Гойя — художник, которого с полным правом можно назвать «социальным». В своей известной картине, изображающей расстрел, он показал, что такое пафос не патетического. Его портреты королевской семьи вовсе не карикатурны: это только вдоволь смелое оголение всячески задрапированных моделей в эпоху, когда искусство знало одно: скрывать, когда назначение цвета или рифмы было ограждать мир от чересчур жестокой действительности. Гойя шел дальше, нежели человеческий глаз, он показывал сущность предмета или чувств, он был подлинным реалистом. Вероятно, поэтому принято говорить, что он был одарен «извращенной фантазией» и что он жил в «мире неправдоподобного». Все так называемые «кошмары» Гойи в Испании ходят по улицам: это маркизы и нищие, это смесь и горе, это генерал Санхурхо среди запуганных батраков Эстрададур.

Урок Гойи можно дополнить уроками испанской литературы. В начале XIV века в Испании была написана замечательная книга. Ее автором был Хуан Руис, именуемый протоиереем из Ита, священник с подозрительной биографией, в которой важное место занимает тюрьма. Европа тогда довольствовалась эпитафиями рыцарской поэзии, рифмованными переложениями «чудес» или молитв, обязательной догмой и столь же обязательной красотой, розой, которая не была цветком, и дамой, которая не была женщиной. Это было задолго до Франсуа Вийона. Протоиерей из Ита написал книгу о своей эпохе, о сластолюбивых монахах и о своднях, об обманутых девушках, о лицемерии и о пастухах, о страхе перед смертью и о попойках, о рыцарях и о силе. Это якобы автобиография: протоиерей изучает грехи, чтобы больше не грешить. Так можно было бы написать сатиру или лирическую поэму; ни то, ни другое определение никак не подходят к книге Хуана Руиса. Исследователи много спорили: издевается ли автор или говорит всерьез? Для католиков эта книга покаянья, для вольнодумцев первая брешь в стене сред-



невековья. Протоиерей влюблен в донью Эндрину. Он описывает себя: он красив — у него толстая шея, крохотные глаза и осанка павлина. Он не смеется над собой: все условно. Он встречается с доньей Эндриной в церкви: это не кощунство, это просто место встречи. Потом донья Эндрина умирает, он ее оплакивает. Потом умирает старая сводня, которая свела его с доньей Эндриной, он оплакивает и сводню, он уверяет, что ее место в раю. Никто не скажет, где здесь кончается хроника, чтобы уступить место правде поэта. Это и есть жизнь, каждый вправе ее толковать по-своему, но отвязаться от нее куда труднее, нежели от обыкновенной достоверности.

Надо ли напоминать, что самое гениальное произведение испанской литературы «Дон-Кихот» сделано с тем же реализмом, что он также допускает тысячи толкований, не допуская, в сущности, ни одного, что роман Сервантеса не пародия на литературную моду эпохи, не сатирическое отображение общества, не проповедь мистического самообмана, но только правда о человеке большом и ничтожном, достойном и смешном?..

Все это меня занимает отнюдь не как эстетические рецепты. Конечно, и в наше время могут жить художники, преданные высокому реализму. Нетрудно увидеть в рисунках немца Гросса, этого сына Домье и внука Гойи, тот же фанатизм обнажения, который в его первом густом растворе нас так пугает в музее Прадо. Можно добавить, что русский писатель Бабель описывает красноармейцев и шлюх с той же откровенностью отчаянья, с которой протоиерей из Ита описывал монахов и красавиц. Понижение значительности зависит не от понижения талантов, но от роли искусства в жизни: оно было хлебом, оно стало кокаином, которым смягчают зубную боль и которым некоторые сумасшедшие заменяют секрецию желез.

Испанский реализм меня занимает не как художественная школа, но как разгадка многих особенностей этой страны. Я не думаю, чтобы из нее можно было бы сделать новую Византию. Французское остроумие бессильно перед любым планом, перед любой статистикой. Ирония испанского реализма куда страшнее. Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди. Это хлопотно, порой опасно, и это все же очень уютно.

Барселона рядом с границей, и местные франты охорашивают: «Мы не испанцы, мы почти что французы!» Здесь много автомобилей и мало ослов. Люди здесь не шатаются без дела, они идут бодрой деловой походкой: торговать или шантажировать. Здесь продают на улицах французские журналы и даже цветы. В кафе здесь много одиноких женщин; правда, это французские проститутки, приехавшие на гастроли, но все же они входят в городской пейзаж. Словом, это Европа.

Я видел в Барселоне одного журналиста. Это каталонский патриот, сотрудник сеньора Масии. У журналиста своя система жизни: «Надо ладить со всеми! Вот я дружу с правыми и с левыми, с ворами и с анархистами»... Этот журналист в Барселоне не одинок. Каталонские патриоты издавна стараются со всеми поладить. Они великолепно уживались с Примо де Риверой: душой Барселоны был сеньор Камбо, умный банкир и посредственный политик. Узнав, что диктатура слегла, сеньор Камбо помчался в Мадрид: спасти диктатуру не удалось. Тогда каталонский патриотизм спешно переключился. Сеньор Камбо отбыл за границу. Из-за границы прибыл сеньор Масия. Сначала сеньор Масия фрондировал: он хотел получить на выборах голоса рабочих. Когда полиция арестовала вождя синдикалистов Дуррути, сеньор Масия выехал в Херону, чтобы встретить освобожденного Дуррути у тюремных ворот. Прошло несколько месяцев. Выборы позади, сеньор Масия едет в Мадрид: он хочет лично проголосовать за сеньора Самору.

Каталонские националисты довольствуются малым. В Барселоне сидит губернатор, присланный из Мадрида, власть принадлежит губернатору. У сеньора Масии прекрасный дворец, триста опереточных полицейских и столько же опереточных законодателей, которые разрабатывают законопроекты для существующей только в проекте «автономной Каталонии».

Каталонский буржуа рад ладить со всеми. Но договориться с рабочими ему не по силам. Он хочет, чтобы они работали много, а получали мало. Рабочие придерживаются другого мнения. Тогда вмешивается Мадрид: «Хорошо, вы получите автономию. Мы уведем из Каталонии наших гвардейцев и наших солдат. Вы останетесь глаз на глаз с вашими рабо-

чими». Выбирать не приходится: каталонский буржуа предпочитает кастильских жандармов барселонским синдикалистам.

Каталонский буржуа на редкость труслив. Он содержит мадридских жандармов. Он содержит также наемных убийц. В Барселоне имеется «Китайский квартал». Там нет ни одного китайца. Китайский квартал заселен босяками, нищими, мелкими преступниками и дешевыми проститутками. В Китайском квартале легко найти человека, который за несколько дуро убьет кого прикажут. Наемные убийцы не деталь, это политическая школа каталонской буржуазии, она связана с высокими традициями. В свое время губернатор Мартинес Анидо исправно вооружал всех, кто только брался стрелять по ночам в революционеров: это было барселонским решением рабочего вопроса. С тех пор прошло много лет, в Мадриде теперь республика, в Барселоне сеньор Масия. Однако по-прежнему буржуа прячется за спину наемного убийцы.

Каталонские националисты любят всячески расхваливать культурные и социальные достижения их края: «Это не Испания!» Прежде всего они настаивают на малом проценте безграмотности. Это, конечно, похвально, но книги бывают разные, катехизис тоже составляется из печатных букв. В провинции басков чрезвычайно низкий процент безграмотности, однако именно там еще царствуют изуверы в рясах: это край «чудес» и «карлистов». Мы знаем немало народов безграмотных, которые оказались способными на самые радикальные революции, и мы знаем также немало народов вдоволь грамотных, которые терпят над собой самое грубое насилие.

Другой довод местных патриотов: «наши крестьяне, не в пример крестьянам Испании, живут припеваючи». Правда, Каталония не Эстрамадура, но и здесь крестьяне закабалены помещиками. Земля под виноградники сдается в аренду сроком на пятьдесят лет. Половину урожая получает владелец. Он, конечно, может жить припеваючи, любить приезжих французов и пить в кафе «Колон» коктейли, он, но не крестьяне.

Главная гордость каталонцев — индустрия. В стране, где только скалы, ослы, ветряные мельницы и адвокаты, Барселона — Манчестер. Полковник Масия, требуя до апреля независимости Каталонии, явно забывал о значении этих труб. Без испанского рынка Каталония тотчас же зачахнет. Ее индустрию приходится ограждать не только гвардейцами, но и заградительными пошлинами. Фабрики оборудованы плохо. Рабочий

получает семь-восемь песет в день — вдвое, а то и втрое меньше, нежели французский рабочий. Живут рабочие мизерно: несколько семейств в одной квартире. Газ стоит дорого, и готовить приходится на жаровнях. Женщина весь день возится вокруг капризных угольков. На обед и на ужин все то же «косидо». Бани не по карману. Бифштекс — роскошь. Кино — разгул. Я говорил с одним рабочим. Это механик, он работает на ткацкой фабрике в качестве мастера. Он получает шестьдесят две песеты в неделю. До апреля он работал за границей: в Бельгии, в Германии, во Франции. Там он работал как простой рабочий, но жилось ему много лучше. Дешевизной своего труда он должен покрывать и плохое качество машин, и невежество инженеров, и вороватость управляющих. Площадь Каталунья, с флагами и со световыми рекламами, с шикарными кафе и с парадными фасадами банков кажется площадью большого современного города. Барселона готова здесь соперничать не только с Марселем, но даже с Парижем. Все это, разумеется, блеф, все это оплачено нищенским бытом девяти десятых населения.

Каталонский буржуа не только труслив и безграмотен, он исключительно безвкусен. Он не способен даже на приятную дрему мадридского кабальеро. Мадрид — столица деревенской Испании. Барселона — это только провинция Европы, провинция, от которой достаточно далеко до подлинного центра. Пригороды, заселенные барселонской буржуазией, по своей пошлости кажутся нарочными: здесь перепутаны все стили и полуострова и мира, «мудехар» Андалузии и «модерн» Мюнхена, если угодно, это стиль песеты — даже фонарь должен твердить о богатстве хозяина. Буржуа доказывает все всесилье своей фантазии: ему удалось перекрыть природные красоты, пристыдить море, отвести прочь горы.

По вечерам, закончив труды, он гуляет на Рамбле — это парадные бульвары Барселоны. Изредка забастовщики с песнями и с револьверами доходят до Рамбли. Тогда мгновенно спадает толпа: только треуголки и каскетки. Час спустя франтоватые сеньоры снова толкнутся взад и вперед. Они толкнутся до трех утра. По словам местных франкофилов, это — «настоящий Монмартр».

От Рамбли пять минут до Китайского квартала. Тухлая колбаса здесь стоит дороже женщины. Нищета показывает себя без зазора. Сюда ежегодно приезжают французские писатели в поисках «живописного». Трудно сказать, почему рваные юбки Китайского квартала им кажутся убедительней залатанных

юбок Бельвилля? Вероятно, это свидетельствует о предельной апатии и совести и воображения. Китайский квартал — человеческая свалка: проститутки для матросов, крестьяне из Арагона или из Мурсии, которые пришли в Барселону, надеясь на заработки и которые попали в тюрьму на пятнадцать дней за мелкую кражу, безработные, рецидивисты, спившиеся босяки. Все это кипит на узеньких улицах, выискивая медяк или кусок хлеба. Ночью обитатели Китайского квартала сходятся в притон, именуемый «Креолка». Креолок там столько же, сколько китайцев. Босяки и потаскухи танцуют натошак. Хозяин заведения понял авантажи подобной живописности. Журналисты написали несколько подходящих статей. Теперь в «Креолку» приходят не только французские писатели, но и барселонские буржуа: любоваться нищетой. Лохмотья, припухшие лица, синяки, кровоподтеки. Рядом кабинет хозяина, в кабинете глубокие кресла, как в клубе, и аромат египетских папирос. В кабинете также статуя богородицы, а перед ней неугасимая лампадка: на деньги, которые хозяин собирает с нищих или с любителей нищеты, он покупает маслице для святой девы.

Беднота развлекается на Параллели — это широкая улица с кафешантанами, барами и кино. В субботу на Параллель приходят и завсегдатаи Рамбли, чтобы повеселиться «вместе с народом». В цирке показывают «настоящих русских казаков». На арене темно, только мерцает электрический костер. У костра казаки в голубых шелковых кафтанах. Они поют «Ала-верды». Входит главный казак. На нем, конечно, ярко-малиновый кафтан. Он слушает, как другие поют, и время от времени стреляет из револьвера. Барселонские буржуа ежатся: «Вот что значит настоящая революция!..» Галерка аплодирует — не казакам, но револьверу, галерка любит, когда стреляют и в цирке и на улице.

Рядом с цирком кафешантан «Севилья». Голые жирные женщины ворочаются на эстраде. Вот кто-то в зале не выдержал: начал раздеваться. Карточные столы: крупье обирают приказчиков и рабочих — сегодня суббота, значит, есть что проиграть.

За Параллелью — темь. Рабочий квартал: высокие дома среди пустырей, глухие стены, балконы с бельем, которое вечно сушится, беспризорные ребята, коты.

Блеск Пласа дель Каталунья, сутолока Рамбли, шарманки и певцы Параллели создали легенду о мнимой веселости Барселоны. Все это, включая голых бабенок и босяков «Креолки», в воображении омывается лазоревым морем и посыпается

золотом юга. На самом деле Барселона вдоволь трагична. Ее веселье уже сбивается на воскресные прыжки заводных игрушек, которые можно наблюдать в любом европейском городе. Тоска экрана и рупора дошла до Параллели. Искусственное оживление покрывает пустоту и одиночество. Барселона — это разведка Испании: страна добродушная, ленивая и бедная решила заглянуть в чужой мир и в новый век. Это ее передовой пост: в нем немного больше товаров и немного меньше сердечности. Здесь уже незачем философствовать, здесь надо организовывать ячейки и делить план города на столько-то боевых участков: это наш, двадцатый век.

## 26. Испанский эпилог

Это был один из моих последних вечеров в Испании. Барселона не только столица Каталонии, это большой испанский город. Фабричные трубы и политическая путаница притягивают к нему людей из других провинций. Это был, следовательно, эпилог скорее испанский, нежели барселонский. Мы пошли в рабочий кабачок, который посещают главным образом выходцы из Андалузии. Они пьют по стаканчику «мансанилья», куда больше они поют. Поют не хором, не за столами, но подымаясь на эстраду, как заправские артисты; поют приказчики, сапожники, почтенные матери многочисленных семейств и молоденькие мастерицы. Поют они «фламенго» — это звучит безысходно, как широта и нищета Андалузии. Слова — о несчастной любви, но заунывность напева много откровенней — это о несчастной жизни.

Общество наше было достаточно пестрым: коммунист, бывший офицер, участвовавший в заговорах, теперь интеллигент без работы, журналист-каталонец, тот, что «ладит со всеми», нервный скульптор, влюбленный в искусство и твердо верующий, что человечество должно существовать ради гениев, два рабочих из Кастилии, вожди синдикалистов. Никто из наших не пел. Скульптор, преданный искусству, слушал песни. Журналист что-то записывал в блокнот. Прочие разговаривали: о своей судьбе, о судьбе Испании.

У одного из рабочих сухие жесткие глаза. Вряд ли он с вами родился. Он просидел сутки в часовне, ожидая казни: смертников в Испании сажали в часовню, чтобы они на прощанье

поговорили с богом. Потом их выводили из часовни, на шею надевали железный обруч, завинчивали винты: это называлось «казнью через сдавление». Он сидел в часовне и ждал обруча. К нему пришел священник и начал говорить о милосердии. Тогда смертник сорвал со стены тяжелое распятие и прочил «куру». Случайно он спасся от обруча. Он работает теперь на заводе и ждет часа решительного объяснения. Когда он глядит сухими жесткими глазами на журналиста, журналист начинает нервически улыбаться.

Другого зовут Дуррути. Это имя я прежде встречал в газетах — французских и немецких. У Дуррути престранная биография. Все знают, что во время войны была «ничья земля». На эту землю падали снаряды, она была очень печальной землей, но Дуррути должен пожалеть о том, что Версальский договор не оставил хоть пядь земли «ничьей». Тогда у Дуррути был бы дом. Это очень добродушный человек. Когда скульптор говорит о «святости искусства», он не спорит, но улыбается. Так, наверное, он улыбается и своему двухнедельному сыну. Он мог бы быть прекрасным руководителем детской площадки. Однако его боятся, как чумы. Он выслан не то из четырнадцати, не то из восемнадцати государств. Надо сказать, что он все же не руководитель детской площадки, но вождь ФАИ, — это означает: «Федерация анархистов Иберии».

Дуррути был приговорен к смертной казни не только в Испании, но еще в Аргентине и в Чили. Французы его арестовали и решили выдать. Спорили только, кому: Испании или Аргентине. На допросах изысканный следователь время от времени проводил рукой по своей шее: он хотел напомнить, что именно ждет Дуррути, в Испании или в Аргентине. Дуррути просидел семь месяцев, гадая, кому его выдадут. Пока юристы спорили, в стране началась кампания против выдачи. Дуррути спасся. Его выслали в Бельгию. Из Бельгии его выслали в Германию. Из Германии в Голландию. Из Голландии в Швейцарию. Из Швейцарии во Францию... Это повторялось по многу раз. Както в течение двух недель Дуррути кидали из Франции в Германию и назад: жандармы играли в футбол. Другой раз французские жандармы решили провести бельгийских: двое вступили с бельгийцами в длинную беседу, тем временем автомобиль с живой контрабандой промчался в Брюссель. Дуррути менял, что ни день, паспорта. Он не менял ни профессии, ни убеждений: он продолжал работать на заводе, и он остался анархистом.

После апреля Дуррути вернулся в Испанию. Его арестовали в Хероне: он числился в списках людей, подлежащих задержанию. Следователь, раскрыв папку, несколько смутился: «Дело о покушении на жизнь его величества»... Дуррути пришлось отпустить. Он работает на фабрике, и он выступает на митингах. Наверное, его скоро снова арестуют. «Ничьей земли» больше нет, и трудно сказать, куда он денется со своим младенцем. Враги о нем говорят: «Это честный и отважный человек». Однако никто не хочет, чтобы человек с такими достоинствами жил бы рядом. Некоторые биографии никак не уместаются в истории. Это хорошо знают многие поэты: так встречаются дуло револьвера и теплый висок. Это знают и социальные мечтатели, те, что не умеют вовремя ни покаяться, ни промолчать.

Дуррути по убеждениям анархист. Однако по роду занятий он рабочий. Это предопределяет неизбежный конфликт. Скульптор легко мог бы стать анархистом: от этого ничего не изменилось бы в его жизни, он мог бы по-прежнему презирать человечество и верить в торжество гения. Рабочий знает, что такое организация; сложность производства приучает его к идее порядка; солидарность требует от него дисциплины. Анархизм испанских синдикалистов — это не анархизм кофейных завсегдатаев, которые сочетают Бакунина со Штирнером, безначалье с эротикой и свободу с кутежами. Испанские синдикалисты стоят у станка. Их вожди не пьют и не ходят в притоны Китайского квартала: это своеобразный монастырь с тяжелым уставом. Двадцатый век и здесь взял свое: батраки Андалузии еще мечтают — «не принудить, но убедить». Барселонские синдикалисты уже распрощались с некоторыми иллюзиями прошлого столетия. Недавно они приняли постановление о том, что хозяева не должны брать на работу рабочих, которые не состоят в профсоюзе. В другой стране это азбучная истина. В Испании это шло против всех традиций, и это далось с трудом. Анархистам пришлось отказаться от анархии, ревнителям свободы пришлось пойти на насилье. Это было первым шагом. Дуррути теперь стоит за диктатуру рабочих и крестьян. Он может критиковать русскую революцию, но на ней он учится, он и его товарищи, «Конфедерация труда» и рабочие Барселоны.

То, что Дуррути еще лепечет, просто и ясно говорит коммунист: диктатура для него не душевная драма; с нее он начал свою политическую жизнь. Это жесткое слово он умеет произносить с любовью. Слабость партии и обилие ересей его не сму-



щают: «весной 17-го года в России было не очень-то много большевиков»... У него нет ни авторитета Дуррути, ни его романтической биографии, но ему и не нужно это: за него история. У него даже нет имени, это просто коммунист, скромный человек в потертом пиджаке, и это вместе с тем столько-то миллионов. В этом маленьком кафе он сидит, как посол, аргументируя странами и эпохами.

На эстраде тем временем один певец сменяет другого. «Камареро» тоже не выдержал. Он оставил поднос и поднялся на эстраду. Он поет о своих любовных неудачах, поет протяжно, как муэдзин на минарете, поет и одним глазом все присматривает, чтобы не ушел кто, не заплатив за стаканчик. После лакея на эстраду поднялись несколько человек. Среди них молоденькая девушка лет пятнадцати. Они долго и угрюмо бьют в ладоши. Они смотрят на девушку. Они ждут. Девушка медлит. Она упирается. Она сидя стучит каблуками. Потом она срывается с места и начинает плясать, медленно и страстно. Этот жестокий танец не дает выхода чувству, он только возбуждает и томит. Он сразу кончается, как ветер на море. Он спадает в изнеможении. И снова — заунывная песнь.

Теперь все спорят. Скульптор за красоту. Дуррути за свободу. Коммунист за справедливость. Это спор 1931 года. Его сейчас повторяют в разных странах разные люди. Все они сидят и угрюмо бьют в ладоши: когда же начнется?.. В Испании и в Германии, в Англии и в Индии... На столе газета: каждая строчка — это голод или кровь. Испания долго была в стороне. Она тешила мечтателей и чудаков гордостью, темнотой и одиночеством. Казалось, она вне игры. Так в Америке люди машин и ожесточенного труда устроили заповедник с девственными лесами и с диким зверьем. Однако в Испании не деревья и не звери, но люди. Эти люди хотят жить — так Испания вступает в мир труда, борьбы и ненависти. Она вступает вовремя,

*Декабрь 1931 — январь 1932*

## Испания. Весна 1936

«Да здравствует Астурия!» — эти слова я видел и на стенах мадридских небоскребов, и на плетнях глухих деревушек Кастилии. «Да здравствует Астурия!» — повторяли сотни тысяч людей на огромных митингах. «Да здравствует Астурия!» — кричал крестьянский делегат Мальпика, который приехал верхом на осле. «Да здравствует Астурия!» — с этими словами проснулась Испания, заколдованная монахами, по ногам и по рукам связанная жандармами, обманутая Саморами, обокраденная Леррусами.

Поезд прорывал горы, он мчался мимо ущелий, мимо долин, побеленных снегом, мимо деревень, похожих на аулы. Потом стемнело, смутно обозначились камни Овиедо.

Есть имена, которые неизменно волнуют нас. Мне все равно, что этот город основан в XIII веке, что в нем много древностей, что он знаменит оружейным заводом, что здесь родился Перес де Айяля. Я помню одно: на этих улицах сражались и умирали рабочие Астурии.

Мьерес — большой шахтерский поселок. Отсюда пошел боевой лозунг «УНР». В первый день восстания шахтеры захватили власть. На улицах часовые окликали: «Кто идет?» Повстанцы отвечали: «УНР» «Уачепе» — это было паролем. Прошло полтора года, и вся трудовая Испания теперь повторяет эти три буквы: УНР — «Union hermanos proletarios» — «Союз братьев-пролетариев».

Шахтер Сильверьо Кастеньон еще очень молод. Он был председателем ревкома Турона. В Туроне восемнадцать тысяч жителей, из них пять тысяч пошли добровольцами, чтобы защитить горный переход Кампоманес.

Сильверьо Кастеньон — поэт. Он написал две книги. Он знает старую кастильскую поэзию и стихи Рафаэля Альберти. Он влюблен в Сервантеса и Толстого. На суде он изумил храбрых генералов: он цитировал в своей речи Маркса и Канта, Гюго и Кальдерона. Генералы одобрительно кивали головой; потом они приговорили Сильверьо Кастеньона к смертной казни. Я спрашиваю его: «Сколько месяцев вы ждали смерти?»

Он улыбается застенчивой улыбкой поэта и подростка. Он отвечает: «Пятнадцать. Но не смерти — революции».

Рыбаки Астурии привыкли к штормам: день и ночь они борются с океаном. В октябре 1934 года рыбаки Хихона взялись за оружие: они пришли на подмогу шахтерам.

Фернандо Родригес — автор декрета о создании Красной армии. Он сражался до конца. Его пытали. Ему связывали руки, его подвешивали на руках и тянули за ноги. Эта пытка называлась «самолетом». Его раздевали догола и обливали тело то кипятком, то ледяной водой. Часами на его живот и голову лилась струя воды. Ему говорили: «Скажи, где спрятано оружие, и мы тебя отпустим». Он молчал. Он вышел из тюрьмы вместе со всеми, вышел и взял в руки винтовку. Он говорил о пытках улыбаясь. Он на себе показывал технику палачей.

Мы пошли в Народный дом: это здание профсоюзов. Усмирители превратили его в тюрьму. В подвалах сидели заключенные, наверху их пытали. Следы пуль — здесь расстреливали шахтеров. Я видел на стенах пятна крови, имена, написанные кровью. Я видел искалеченные тела шахтеров. Я видел тот кран, из которого палачи лили воду на голову Фернандо Родригеса и старого башмачника Гонди. Пытал заключенных полковник Манюэль Браво Монтейро. Это было не под свежую руку, не в запале, нет, они пытали рабочих три месяца спустя после сдачи последних повстанцев, пытали обдуманно, методично, каждый день изобретая новые и новые пытки.

Я не знаю места более страшного, чем Народный дом в Саме. Фернандо Родригес говорит мне: «Вот здесь я переступил через труп... Здесь меня подвесили на дверь, и дверь раскачивали...» Он улыбался. Прощаясь, он подымает кулак: «УНР». Он радуется не спасенной жизни, другому — из этой борьбы вышел победителем он: человек.

Хесус Фернандес — официант. Он был членом ревкома Астурии. Он провел меня в маленький дом на окраине Овиедо; здесь он жил в октябре 1934 года, здесь заседало первое рабочее правительство Испании. После разгрома Хесус Фернандес перешел португальскую границу. Его схватили в Порто. Португальские жандармы тотчас же передали его жандармам Хилия Роблеса. Его пытали: «Где оружие?» Он молчал. Заключенные спали на каменном полу: жандармы вора Лерруса не хотели потратиться даже на солому.

Жизнь человека для нас дороже всех капиталей, всех абсидов, всех порталов. Но рабочие умеют ценить прошлое. Председатель муниципального совета деревни Эскалона, батрак и коммунист, показал мне рукописи XII века. Его предшественник, «хранитель традиций», выкинул эти рукописи из шкафа. Коммунист сказал мне: «Мы отправим их в музей».

Усмирители поставили пулеметы на колокольню готического собора. Близость креста не смутила солдат Хиль Роблеса. В течение двенадцати дней с колокольни они стреляли в жителей Овиедо. Они уничтожили один из прекраснейших памятников романского искусства — церковь Санта Кристина де Лена, построенную в IX веке. Ненавидя будущее, они, эти «хранители традиций», равнодушны к прошлому: ход истории вне их сознания. Они ценят одно: свои привилегии, свои поместья, свои чины. Ради этого они перебили в Астурии три тысячи человек и тридцать тысяч посадили за решетку.

В подвалах монастыря Адоратрисес гвардейцы пытали рабочих. Чтобы крики не смущали прохожих, палачи заводили два патефона. Монахини повторяли «аве, Мария», патефоны выводили фокстроты, люди, подвешенные головой вниз, умирая, хрипели.

Где они, эти палачи, мастера пыток, капитаны гражданской гвардии, которые втыкали пленным булавки под ногти, brave легионеры, швырявшие гранаты в женщин? Одни удрали в Португалию или в Биарриц, другие благополучно «служат» в Марокко; там по большим праздникам они стреляют в туземцев; некоторые еще здесь. Христоролюбивый Хиль Роблес и бессребреник Алехандро Леррус на свободе. Хиль Роблес подражает наемных убийц, произносит в кортесах медовые речи, а потом едет в Лурд, чтобы вымолить у святой девы крохотное чудо для спасения всех «сеньорито» Испании.

Доваль, тот, что в монастыре Адоратрисес пытал рабочих и заводил патефоны, находится в заграничной командировке. Он получает суточные — двести песет в день. Капитан штурмовой гвардии, изобретатель утонченных пыток, отдыхает. «Эль Пичилату» — «блошонок», убийца пятнадцати шахтеров, пьет херес в одном из кафе Овиедо. Но для усмирителей наступают черные дни. Двадцать первого апреля 1936 года полиция арестовала свыше ста палачей. Они снова увидели те самые камеры,

где полтора года назад пытали рабочих. Им есть что вспомнить. Рабочим тоже.

Утром, под дождем, особенно грустны развалины. Правительство Хили Роблеса отпустило немало средств на «возрождение Овиедо»: деньги пошли домовладельцам, они заново отстроили большие доходные дома. Но ни университет, ни театр не занимали жандармов и иезуитов: за пятнадцать месяцев они так и не удосужились задуматься над судьбами наук и искусств.

В предместье Вийяфрия живет Северина Гонсалес. В ее дом ворвались озверелые усмирители. Дочка Северины молоденькая Хосефа нянчила детей. Офицер швырнул ручную гранату. Хосефа упала замертво. Офицер скомандовал: «Мужчины, за мной!» Он увел зятя Северины Хермана, сына Сельсо и мужа Хоакима. Ночью их расстреляли. Правительство, смилостивившись над Севериной, постановило выдать ей восемьдесят песет — по двадцать песет за каждого убитого. Солдаты переломали жалкую мебель Северины, они перебили даже куриц. На стене злосчастного домишка они написали: «Этот дом взят legionерами первой роты пятого батальона. Да здравствует Испания! Да здравствует иностранный легион! Долой коммунизм! Пабло Вайес».

Журналист Франсиско Карамес показал мне фотографии, снятые одним из санитаров Красного Креста: офицеры, сержанты и сестры милосердия развлекаются — один пляшет на гробу, другой скачет через трупы. Это непостижимо и просто. Сознание не мирится с этим, и, однако, необходимо это понять: их можно принимать за людей при переписи, но о них нельзя писать книги и нельзя будет над ними плакать, когда их поведут на расстрел.

Одну из окраин Овиедо зовут Ля Кабанья. Здесь ютятся поденщики, тряпичники, мелкие огородники. Конура без окон, земляной пол, в темноте спуют дети. В этой лачуге живет прачка Марина Альварес.

Офицер иностранного легиона увел двух сыновей Марины Альварес. Абелино было девятнадцать лет, Хосе семнадцать. Их расстреляли у церкви Сан-Педро. С ними вместе расстреляли еще четырех жителей Ля Кабаньи. Мать и четыре вдовы на последние гроши купили веноч, они повесили его на стену, помеченную пулями, они написали на стене: «Здесь были убиты

шесть жителей Ля Кабаньи». Гвардейцы растоптали цветы, замазали надпись.

У Марины Альварес осталось четверо маленьких ребят, она не знала, чем их накормить. Офицер гражданской гвардии принес ей бумагу: «Сим удостоверяю, что мои сыновья Абелино и Хосе убиты бунтовщиками». Он сказал: «Подпиши, и мы тебе выдадим пособие». Марина Альварес бросила бумагу на земляной пол и ответила: «Никогда!» До октября она была просто прачкой из Ля Кабаньи. Теперь, когда у нее бывает пятнадцать сантимов, она покупает «Мундо обреро»: в своей темной лачуге она живет будущим. Она показала мне на детей: «Я живу для них. Я знаю, что в Советской стране детей кормят и учат». Она подняла кулак вверх, а с нею вместе четыре вдовы и семнадцать детей.

Комсомолке Аиде Лафуэнте было семнадцать лет. Рабочие Овиедо прозвали ее «Либертория» — «Свобода». Она умерла на боевом посту. Ее родные сохранили платье, пронизанное пулями. Они хотят передать это платье в Москву, в Музей Революции.

Девятнадцатого апреля комсомольцы и молодые социалисты Овиедо прибили дощечку: «Улица Аиды Лафуэнте».

Шахтеру Хосе Бенито было восемнадцать лет, когда он ушел в горы сражаться. Его взяли в плен. Солдаты привязали его к фургону. Они поставили фургон на дороге, как прикрытие. Хосе Бенито повезло: пули товарищей его миновали. Его приговорили к расстрелу, потом казнь заменили пожизненным заключением. Он сидел в тюрьме в Пампелоне. Двое из его товарищей умерли от голода и от побоев. Он выжил. Он смеется, шутит: «Теперь-то я не сдамся живьем!..» Старый шахтер, усмехаясь, говорит: «Теперь их черед сдаваться».

В октябре 1934 года фашистская газета «Эль дебате» писала: «Чем меньше будет в Астурии шахтеров, тем скорее мы умиротворим этот край. Что касается угля, то уголь мы можем покупать за границей».

Они расстреляли три тысячи шахтеров. Они перешли на английский уголь. Горняки Самы теперь работают три дня в неделю. Это — нищета. Это — лачуги. Это — вода, в которую крошен хлеб и которая сдобрена ложкой прованского масла.

Десятки тысяч сирот. Что им смена министерств, флагов и гербов — они голодают. Они тихонько подбирают уголь и

продают добычу за несколько сантимов, чтобы купить ломоть хлеба.

На улицах Мьереса еще видны следы бомб, сброшенных летчиками Хиля Роблеса. На домах, где живут вдовы и сироты, пестреют афиши: «Голосуйте за Хиля Роблеса — он спасет вас от революции!» Если бы я не видел Хиля Роблеса во плоти, я решил бы, что это шутник. Но это плотный корректный буржуа. Он лишен чувства юмора. Он и впрямь думал, что жители разгромленных городов скажут: «Приди и спаси нас от революции!»

В Мьересе за него голосовали три процента избирателей: жандармы, палачи, доносчики да несколько старух, запуганных попами.

Прекрасны неуклюжие воззвания, составленные шахтерами. Вот «манифест» ревкома поселка Градо:

«Товарищи! Мы создаем новое общество.

Рождение всегда связано с муками.

Смерть рождает жизнь.

Солдаты высокого идеала, боритесь до победы, с вами вместе сражаются ваши братья в тысячах городов и сел.

Женщины, во имя ваших детей помогайте нам!

Все в бой!..»

Последним отстреливался Константино Гутьерес, шахтер из Барроса. Его убили, когда у него больше не было патронов.

В центре Самы — развалины: это казармы гражданской гвардии. Сто девяносто гвардейцев ожесточенно защищались, поджидая подкрепления. Бой длился тридцать два часа. Шахтеры победили. Выйдя из тюрьмы, шахтеры Самы прежде всего откопали припрятанное оружие.

Мы сидели с шахтерами Мьереса в маленькой харчевне. Они пили вино по-испански — без стакана: струя ловко льет в тоненького горлышка в рот. Они говорили о прошлых боях и о будущих. Они рассказывали о том, как владельцы шахт готовятся к локауту, и о том, как шахтеры готовятся к передаче шахт рабочим. Они говорили о союзе коммунистов с социальстами. Они говорили о битвах среди снежных гор, и о театрах Москвы, и о винтовках. В харчевню вошел гвардеец — он хотел выпить вина; смущенно он поглядел на нас и вышел.

Нет, они не потеряли битвы, шахтеры Астурии! Слепцы думают, что в Испании происходит смена министерств: свержение

монархии, левый кабинет. В Испании — революция. Она началась пять лет назад, робко и неуверенно, речами адвокатов и разрозненными выстрелами. Она пережила первую неудачу. Она взялась за оружие, и нет той силы, которая может заставить рабочего, взявшего в руки винтовку, расстаться с нею. Не февральские выборы спасли Испанию от фашизма, но октябрьские бои.

Шахтеры Самы и Мьереса выпустили Компаниса из тюрьмы, и это они привели Асанью к власти: мертвые освободили живых. Трагедия правящего класса в том, что он не способен больше побеждать: даже его победы становятся поражениями. Пушки и самолеты Хили Роблеса разгромили не только дома шахтеров, но всю Испанию помещиков, иезуитов и генералов. Недаром новая Испания повторяет в один голос, от Бискайи до Эстрамадуры: «УНР! Да здравствует Астурия!»



## Испания. 1937

### На поле битвы

В окрестностях Мадрида не бывает весны: снег — и вдруг южное буйное солнце. Между ними неделя-две лихорадки: зной, холод, ливни и синева.

На солнце лежат солдаты. Они греют распухшие отмороженные ноги: несколько дней они простояли в окопах, залитых ледяной водой. Сразу все высохло, и серебряная пыль покрывает итальянские тягачи, которые один за другим ползут по скверной проселочной дороге. Италия вошла в этот глухой угол Испании, в деревушки на холмах, где кричат ослы возле колодца и где женщины тащат большие глиняные кувшины. Солдаты курят итальянские папирасы. Ребята играют итальянскими ладанками. Артиллеристы деловито чистят итальянские пушки.

На убитом итальянском командире нашли дневник. Четвертого марта командир записал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, которые только и знают, что есть и пить за здоровье единой Испании. Всерьез воюем только мы — итальянцы».

Прошло две недели, и мы увидели, как итальянцы «воюют всерьез»: они бежали под натиском республиканцев с поспешностью базарных ворюшек, застигнутых облавой. Убегая, они бросали орудия и гранаты, пулеметы и знамена, танки и дневники. Все дороги забиты итальянскими грузовиками. Вот гора еще не подобранных гранат. Пулеметы. Походные кухни. В Бриуэге республиканцы нашли котелок с теплыми макаронами: легионеры непобедимого Рима отбыли, так и не пообедав.

Среди леса развалины большого помещичьего дома: Паласио Ибарра. Дом стоит на холме — тысяча шесть метров. Это бывшая резиденция захолустного помпадур. Кто знал о нем, кроме соседей и налогового инспектора? Но, может быть, это имя войдет в историю: здесь впервые фашизм потерпел поражение. Я не хочу преувеличивать, я знаю, что не только штурм Паласио Ибарра, но и все бои на гвадалахарском фронте — лишь первая перестрелка в той войне, которую затеяли

фашистские захватчики. Что значит один дом, хотя бы и со стенами древнего замка, хотя бы и расположенный на вышке, по сравнению с мечтами Рима и Берлина, которые готовятся захватить половину Европы?..

Но в войне, помимо стратегии, помимо танков, помимо территории, существует психология. Я помню тот жестокий день, когда фашисты взяли Толедо. Республиканская Испания замерла, как кролик перед удавом. Путь на Мадрид был открыт если не на карте генштаба, то в сердцах. Не только губернский город потеряли в тот день республиканцы, но и веру в победу. Потребовалось упорство лучших представителей народа, потребовалась щедрая кровь рабочих, пришедших в Испанию из всех стран, потребовались месяцы осады Мадрида, напряженной работы в тылу, сурового искусства, чтобы приостановить наступление фашистов. Паласио Ибарра не Толедо, это всего-навсего один дом, но, взяв его, республиканцы вернули веру в победу. Они показали, что наспех созданная народная армия может бить регулярные итальянские полки, они показали, что в борьбе между фашизмом и свободой может победить свобода. Здесь в этом перелеске был взят первый реванш — и за Толедо, и за «поход на Рим», и за разгром рабочего Берлина.

Это было четырнадцатого марта. Республиканцы начали атаку в одиннадцать часов утра. Пять танков держали под огнем здание, превращенное фашистами в крепость. Паласио Ибарра защищал итальянский батальон «Львов». «Львы» оказались сродни «волкам»: сто двадцать солдат подняли вверх руки. Республиканцы взяли тридцать пять пулеметов, три танкетки, три орудия, шесть тягачей. Республиканцы похоронили девяносто убитых итальянцев. Среди развалин до сих пор находят трупы.

Восемнадцатого марта, в годовщину Парижской коммуны, республиканцы заняли Бриуэгу. Республиканская авиация закидала бомбами неприятельские позиции. Артиллерийская подготовка длилась тридцать минут. План атаки был тщательно разработан. С правого фланга шла шестьдесят пятая бригада. В центре — батальон «Мадрид», слева — батальон имени Домбровского. На холмах вокруг Бриуэги еще валяется неподобранное добро: снаряды, винтовки, ручные гранаты. Вот труп итальянского солдата. Оскаленные зубы, как будто он улыбается. Другой — голубое лицо, в руке бутылка, недописанное письмо: «Дорогая Лючия...» В своем дневнике итальянский

командир писал: «Какая страшная война! А нам сказали, что это будет военный парад!..»

Республиканцы взяли в плен трех итальянских солдат, на которых были наручники. Так господа центурионы доверяют своим легионерам. Возле Паласио Ибарра против итальянских фашистов сражался батальон имени Гарibaldi. Ведут пленных. Вдруг итальянский доброволец кидается к пленному фашисту, обнимает его: «Мы с ним вместе сидели в тюрьме — у нас тогда нашли прокламации...» Судьба двух людей сложилась по-разному. Один убежал из Италии, чтобы сражаться за свободу чужой, но родной страны. Другой смирился, долго искал работу, голодал, запросился в Абиссинию — и вместо Абиссинии попал в Паласио Ибарра, как солдат итальянской армии. Он плачет, слезами он хочет смыть позор. Он глядит восторженно и виновато на своего старого друга.

Армия Муссолини — ненадежная армия: она храбро идет вперед, когда перед ней толпы беженцев, малагские дезертиры и предатели. Но когда против нее оказывается противник, она быстро поворачивает назад. Голос пулеметов заставляет ее прислушаться к голосу республиканских громкоговорителей. Бомбы республиканской авиации приучают ее внимательно читать листовки, сбрасываемые самолетом. Когда эту армию бьют, она становится сознательной: она начинает сдаваться.

Среди итальянских солдат мало убежденных фашистов. Зато офицеры нам напоминают о высоких принципах фашизма.

Возле Паласио Ибарра республиканский санитар под артиллерийским огнем перевязывал раненого итальянца. Улучив минуту, офицер вытащил револьвер и выстрелил в санитаря. Он промахнулся. Санитар спокойно вырвал из его рук револьвер и закончил перевязку. Этот офицер теперь находится в госпитале.

Обозлившись, итальянцы ежедневно бомбят деревни, освобожденные республиканцами. Половина домов Бриуэги — развалины. Жители ушли в поле. Вот летят три «капрони». Крестьяне прячутся в погреба, в пещеры, в ямы. Тихая деревушка. Женщины только что стирали белье. Убиты мальчик и трехлетняя девочка.

Солдаты идут по краю дороги: они знают, как укрываться от самолетов. Гудение. Тотчас останавливаются грузовики. Солдаты разбегаются по холмам. Грузовики хитро замаскированы. На передовых позициях солдаты быстро окапываются.

Они умеют перебежать поле под огнем. Они беспрекословно выполняют приказы начальников. Это не живописные дружинники первых месяцев войны, это — армия.

Не следует преуменьшать опасность: Италия только вступает в войну. В боях на гвадалахарском фронте итальянцы потеряли около семи тысяч человек. Транспорты новых волонтеров быстро пополняют брешу.

Однако мартовские бои не прошли бесследно: они создали новых солдат-победителей. Впервые за семь месяцев я иду по освобожденной земле. Улыбаются солдаты, усталые, но счастливые. В этот весенний день, полный солнца, ветра и облаков, где-то впереди им уже мерещится победа.

*Мадрид  
Март*

### Сапожник Грегo Сальватори

Сапожник Грегo Сальватори из Палермо. С десяти лет он набивал подметки и клал на башмаки бедняков грубые рыжие заплаты. Ему двадцать четыре года. Смелое лицо, правильные черты, глаза живые и горячие. Фашисты выдали ему партийный билет, но он не знает, что напечатано на этом куске картона: читать фашисты его не научили. Он отбывал воинскую повинность в пятьдесят втором полку итальянской армии. Этот полк называется «полком имени Гарибальди».

Рядовому Грегo Сальватори говорили: «Фашизм сделал Италию великой». Рядовой вытягивал руки по швам. Кто знает, о чем он думал? О том, что его мать умерла от голода? О том, что у него в Палермо брат и шесть сестреноч, которые хотят есть? Может быть, он вспоминал слова сапожника Беппо? Старый Беппо учил Грегo набивать подметки. Откладывая молоко, Беппо говорил: «Все люди рождаются голыми, сапожники и маркизы. Почему Муссолини убивает коммунистов? Потому, что богачи хотят хорошо есть и хорошо спать». Это было четырнадцать лет назад. На площадях Италии смельчаки еще говорили о «черном позоре». Потом смельчаков послали на Липарские острова. Все притихло. Но сапожник Грегo не забыл уроков своего старого учителя.

Вместе с другими итальянцами Грегo Сальватори послали в Испанию, чтобы покорить испанский народ. В боях под Гвадалахарой бок о бок с испанскими республиканцами сражался

батальон итальянских волонтеров, которые поклялись отстаивать свободу братской страны. Этот батальон носит имя Джузеппе Гарибальди. Сапожник Грегo Сальватори, который служил в фашистском полку имени Гарибальди, услышал родной язык. Он понял, что перед ним друзья покойного Беппо, и бросил на землю винтовку.

Он говорит мне:

— Я хочу драться против фашистов. Они убили мою мать, они убили мою родину, они послали меня на позор: за маркизов, против своих. Я прошу, чтобы меня приняли в батальон имени Гарибальди. Я не умею читать, но Беппо мне много рассказывал про Гарибальди. Будь Гарибальди жив, никогда фашисты не правили бы Италией!..

Римские разбойники прогадали. Они составили дивизии из безработных, из неудачников, из бедняков и из всех, кто готов был ехать в Абиссинию прокладывать дороги, рыть землю, таскать камни за кусок хлеба. Обманом они послали в Испанию десятки тысяч пролетариев, которые ненавидят фашизм. С сегодняшнего дня республиканская армия пополнилась новым волонтером; этого волонтера, вопреки постановлению лондонского комитета, доставило в Испанию итальянское правительство. Три итальянских миноносца охраняли судно, на котором везли в Испанию солдата фашистской армии и будущего республиканского волонтера Грегo Сальватори. За сапожником последуют другие: виноделы, пастухи, каменщики. Италия — не генерал Бергонцoли, Италия — это сапожник Грегo Сальватори. Можно поработить народ, нельзя убить его душу.

*Март*

В Бриуге

Здесь были улицы с аркадами, с древними колоннами, с тенью в знойный летний день. Теперь вместо домов — горы мусора, комоды, птичьи клетки, ведра и сумасшедшая старуха, которая вскрикивает, когда над развалинами показывается самолет. Кое-где на уцелевшей стене надпись: «Да здравствует Муссолини! Да здравствует фашизм!» Людей нет: обгоревшие камни, разбитая утварь — здесь побывали итальянцы.

Несколько дней тому назад республиканские войска выгнали итальянцев из деревни Ита. Это имя знакомо каждому, кто

любит испанскую литературу. Один из самых больших поэтов Испании Хуан Руис известен по прозвищу «протоиерей из Ита». Поп, попавший за стихи в тюрьму, сатирик, высмеявший нравы рыцарей и монахов четырнадцатого века, он не уступает по силе Рабле и Вийону. Ита... Среди обломанных колонн, ступая по обрывкам старинных книг, я невольно думаю о богатстве испанской культуры. Дух протоиерея из Ита, Кеведо, Лопе де Вега, Сервантеса можно почувствовать не только в поэзии Лорки и Альберти, но и в любом жесте здешнего крестьянина. Культура старой Испании жива. Она тесно связана с новыми мечтами о справедливости и правде: Пассионария или Кампесино — герои «Романсеро», этой эпопеи испанского народа.

Итальянские фашисты клянутся, что они пришли в Испанию как спасители культуры. В мертвой Бриуэге я читаю военные приказы итальянского командования. Я прошу прощения у советских читателей: отвратительно цитировать эту «идеалистическую» литературу. Но мы должны тщательно разглядеть новых варваров, которые обесчестили Рим и которые грозят миру.

«Осуна, 30 января 1937 (XV).

Командование первой бригады № 62.

Мне доносят о росте венерических заболеваний среди солдат. Я видел много подобных больных в госпитале Красного Креста № 71 в Севилье. На войне надлежит сражаться и побеждать. Муссолини сказал: «Война для мужчин — это то же, что материнство для женщины». Этим он хотел сказать — мужчина рождается, чтобы быть плодотворной матерью. Наш долг сражаться на поле брани. Мы должны бороться с плотскими искушениями для торжества духа. Мы должны отдать всю нашу энергию, как материальную так и духовную, одному делу: торжеству фашистской идеи.

Командирам прочесть приказ по частям и раздать солдатам бесплатно предохранительные средства.

Командир-полковник Карло Ривольта».

О том, как именно понимают эти «идеалисты» борьбу с плотским искушением и торжество духа, мы узнаем из другого приказа.

«Осуна, 29 января 1937 (XV).  
Командование третьей группы.

Батальонам «Стрела», «Ураган», «Буря»; третьей батарее, второй группе танков, первой батарее 105-го, первой секции зенитной артиллерии.

Приказ № 1.

С сегодняшнего дня, 29 января, с 18 часов до 20 часов отпуск в город. Походная форма, берет, без винтовок. В Осуне находится шесть домов терпимости. Два — в секторе «Урагана», два в секторе «Буря», два возле площади Конституции, в секторе «Стрелы». Плата в последних двух — 3 песеты, в остальных — 5 песет. Командирам частей, где находятся дома терпимости, приказываю выслать патрули.

Командир-полковник Карло Ривольта».

Так проводят свои досуги крестоносцы Рима, рыцари «Бури» и «Урагана». Как же они работают? В крохотной Бриуэге они схватили сорок человек. Пятнадцать арестованных исчезли. В ложбине нашли четыре трупа. «Освободители» понимают, как к ним относится «освобожденное» население. Они расстреливают отнюдь не случайно. Настанет день, когда на скамью подсудимых сядут «герои» Малаги. Среди вещественных доказательств будет приказ итальянского командования. Я нашел его в злосчастной Бриуэге.

«ММІ (Военная миссия в Испании.— И. Э.) № 852.  
Саламанка, 28 января 1937 (XV).

Не держать этого приказа на передовых линиях.  
По вопросу об обращении с неприятелем.

I. В бою проявлять максимальную энергию по отношению к противнику, кем бы он ни был (солдат, дружинник, дружинница, вооруженные горожане или крестьяне, иностранные добровольцы и проч.).

. . . . .

IV. В занятых городах, в деревнях, в домах соблюдать максимальную осторожность; ни в коем случае не братья с населением (с мужчинами и женщинами), которые приветствуют итальянских солдат: быть всегда на чеку; выходить на улицу только группами; не давать приближаться к себе горожанам, даже если последние безоружные. При малейшем проявлении недоброжелательства действовать с предельной энергией.

Глава миссии генерал Манчини».

Вечер в Бриуэге. Распотрошенные бомбами грузовики. Среди развалин бродит старик. Это мельник Селестино Вермехо. Ему восемьдесят лет. Итальянцы расстреляли его сына. Мельник повторяет: «Пришли... Увели... Убили...» На его глазах слезы, но минуту спустя он поднимает кулак. Он рассказывает о своей судьбе: «У меня был другой сын, он пошел с фашистами. Его убили. А этот был наш. Его схватили итальянцы...» Мельник остался один, среди развалин, один на свете, один в Бриуэге, один — ему восемьдесят лет... Какие у него молодые, светлые глаза! Ему доводит меня до дороги. Медленно ползут танки. Мельник снова подымает кулак и кричит: «Мы выгоним итальянцев!»...

Чернорубашечники шли на Мадрид, как будто это была военная прогулка. В оперативных приказах все было рассчитано: такого-то числа они занимают Гвадалахару; первая дивизия направляется к Сьерре; вторая укрепляется; третья идет к Хараме, чтобы возле дороги на Валенсию соединиться с марокканцами. Такого-то числа итальянцы занимают Алкала. Такого-то вступают в Мадрид. Да, они предвидели все, кроме возможности сопротивления.

Республиканцы захватили множество военного материала. Его трудно подсчитать (каждая бригада пополнила свой инвентарь итальянскими «подарками»). Итальянцы настолько верили в легкую победу, что на передовые позиции ставили артиллерию. В тот день, когда они по расписанию должны были взять Гвадалахару, они без оглядки бежали, кидая, как балласт, не только пушки, но даже штаны.

Республиканская армия выросла на глазах. При первых боях на Гвадараме были крохотные дружины. В боях у Навалькарnero сражались колонны. Возле Лас Росас появились



бригады. На Хараме действовали дивизии. Итальянцев разбил первый корпус республиканской армии.

Солдаты требовали «наступать!». Они стояли по колено в ледяной воде. Командир Листер сказал роте:

— Идите в сарай, там можете выспаться.

Солдаты ответили:

— Товарищ командир, мы выспимся в Бриуэге...

Раненые не хотели уходить из строя. Один солдат из бригады Кампесино, раненный, приполз в Бриуэгу и гранатами закидал итальянцев.

На одном из итальянских танков было написано: «Сначала в Мадрид, потом в Париж и в Москву». Бедные хвастуны, они не попали даже в Гвадалахару! Теперь они кричат, что «зелен виноград» и что им не нравится брать Мадрид в дождливую погоду.

Когда фашисты сидели у себя дома, о них шли легенды — они слыли непобедимыми. Они ведь так бесстрашно убивали арестованных! Никто не знал, что происходит там — в лепрозории. Европейские демократы с восхищением говорили: «В Италии поезда никогда не опаздывают — это заслуга фашизма». Настал день, фашисты вышли из лепрозории, прокаженные пошли походом на мир. Велико горе Испании, этих веселых городов, этих тихих сел, этого миролюбивого, гостеприимного, беззаботного народа: на испанской земле фашисты начали захват мира. Но велико и счастье Испании; на ее долю выпало победить фашизм, развенчать смерть, спасти не только себя — мир — от черных рубашек и от черного позора.

*Мадрид  
Март*

Вирхен де ла Кабеса

Ни жилья, ни человека. Сьерра пахнет полынью. Она называется «Сьерра Морена» — «Смуглая Сьерра». На крутой горе монастырь. Каждую весну сюда приходили паломники. Чудодейственную статую богородицы они прозвали «Смуглянкой». На их гроши монахи купили корону из золота; эта корона была больше статуи. Бабки умильно вздыхали.

У новых паломников вместо посохов — винтовки, и поют они не псалмы, а «Интернационал». На крутой горе засели фашисты. Вот уже девять месяцев, как они сидят там. Они

верят не столько в чудо, сколько в аккуратность германской авиации: каждый вечер в восемь часов «юнкерс» скидывает им окорока и мешки с мукой. Потом, покружив над окопами республиканцев, он кладет несколько бомб.

Нищие крестьяне Хаена молились «Смуглянке», чтобы она защитила их от гражданской гвардии. После сбора маслин по помещичьим землям бродили голодные крестьяне. «Преступника», осмелившегося подобрать несколько маслин, ждала пуля. Охотниками на людей командовал некто Кортес. В награду за свои труды он получил погоны капитана гражданской гвардии. В июле прошлого года Кортес собрал триста жандармов и заперся с ними в монастыре Вирхен де ла Кабеса. Жены и дети жандармов прикрывали капитана от гнева крестьян: он знал великодушье испанского народа. Новый игумен послал Кейпо де Льяно голубку мира. К лапке голубки был прикреплен рапорт: «Мы верим в покровительство святой девы и просим снабдить нас пулеметами».

Первые месяцы жандармы, принявшие схиму, жили припеваючи. Они охотились на диких коз и пили церковное вино. Жены жандармов вышивали хоругви. Республиканцы время от времени кричали жандармам: «Эй вы, будет! Сдавайтесь!» Жандармы в ответ стреляли. Даже урок Алькасара не вылечил испанский народ от гипертрофии благородства. «Как же их бомбить? — там женщины...» В музее испанской революции среди защитительного оружия фашистов, бесспорно, будет фигурировать обыкновенная юбка.

Недавно крестьяне Хаена взяли Лугар Нуэво, где фашисты набирали воду и жарили монастырских барашков. Республиканцы теперь находятся в двухстах метрах от монастыря. Среди монахов в жандармских треуголках началась тревога. Иные не прочь бы сдаться. Прошли счастливые времена, когда за каждого убитого крестьянина полагались премиальные. Сидеть в святой обители под артиллерийским огнем не так уж весело, тем более что окорока ест капитан с друзьями, а жандармам он дает сухой хлеб. Но у капитана имеется десяток шпионов. Стоит кому-нибудь погромче вздохнуть, как «предателя» ведут к стенке. При капитане находится представитель итальянского командования Анджело Рибелли, и с помощью гелиографа капитан получает инструкцию от Кайпо де Льяно: окопы фашистов находятся в тридцати километрах от монастыря.

Республиканцами командует Картон; по профессии он наборщик; член Политбюро Коммунистической партии Испании. В тяжелые месяцы он защищал Эстрамадуру; потом составил бригаду из крестьян Ла Манчи. Это скромный, застенчивый человек, хороший товарищ, смелый и умный командир. Рабочий Картон и жандарм Кортес — вот картина всей гражданской войны.

Я далек от желания во что бы то ни стало очернить врагов. В борьбе французских шуанов были страницы героизма. Но убоги и ничтожны испанские фашисты. Германские газеты называют шайку Кортеса «безупречными рыцарями». Республиканцы недавно подстрелили голубя с запиской: «Не скидывайте продовольственных посылок отдельным лицам: это вызывает зависть и раздоры». За час до смерти «безупречные рыцари» ссорятся из-за куска ветчины!

Вечер. Необычайный покой над сьеррой. Солдаты в окопах курят или мечтают. Среди ярко-зеленой травы издыхает раненный монашеской пулей осел. Автомобиль — это приехали делегаты женевского Красного Креста. Оказывается, мир, застав дыхание, следит за трагедией монахов в жандармских треуголках. Что миру женщины и дети Мадрида? Что миру города Эскади, которые горят, подожженные германскими бомбардировщиками? Все это неинтересные детали. Мир занят другим: он жаждет спасти жен и детей хаенских жандармов. Что же, дети — это прежде всего дети, и республиканское правительство обещало свободу всем женщинам и детям, находящимся в монастыре.

Представители Красного Креста — изысканные европейцы. Среди сьерры, рядом с окопами, они вдоволь экзотичны. Они, однако, не смущаются. Они кричат в рупор: «Мы знаем ваше тяжелое положение. Пришлите парламентаров. С согласия республиканского правительства мы гарантируем вам жизнь, а вашим семьям — свободу». Сначала откликается эхо, потом раздается зычный голос жандарма: «Если так называемые представители Красного Креста хотят побеседовать с нами, они могут к нам пожаловать завтра утречком».

Пользуясь визитом гуманистов, о котором фашисты были заранее предупреждены, «юнкерс» спокойно выполнил свою повседневную работу. Два изысканных европейца ознакомились с сыростью пещеры, где солдаты укрываются от бомбежки.

Потом они меланхолично свернули флаг Красного Креста и уехали назад в сердобольную Женеву.

Несколько дней тому назад из монастыря выбежала молодая женщина. Она крикнула: «Братья, не стреляйте!» Крестьяне Хаена опустили винтовки. Раздался выстрел — один из жандармов убил жену своего товарища.

Когда два европейца закончили свою миссию,-mortиры республиканцев открыли огонь. В синеве лунной ночи обстрел монастыря казался фейерверком. Потом заговорили ружья. Я должен признаться, что их голоса показались мне глубоко человеческими.

Первого мая республиканцы под командой Картона взяли монастырь. Кортес поспешно вытащил из кармана носовой платок — это было капитуляцией.

*Южный фронт  
Май*

Гражданская война  
в Австрии





## Подготовка к самоубийству

Австрийские социал-демократы отличались от своих германских собратьев: они готовились, скорее, к пожизненному заключению, нежели к пожизненной пенсии. Их «боевые дружины» энергично запасались оружием, но это было не стратегическим планом, а подготовкой к самоубийству. Изю всех сил они оттягивали развязку. Каждый выигранный день они принимали с благодарностью, не желая понять, что этот день на самом деле выигран их врагами. Шаг за шагом они сдавали позиции, боясь принять бой.

Фашисты, вдохновляемые германскими событиями, становились все решительней. В марте 1933 года они разоружили австрийских рабочих. Социал-демократы еще раз отступили. Тогда фашисты решили, что перед ними не рабочий класс, но только горы избирательных бюллетеней. Они разгромили железнодорожников: революционные рабочие были рассчитаны, на их место поставили штрейкбрехеров и предателей из «Патриотического фронта».

Социал-демократы по-прежнему призывали рабочих к терпению. Они больше не мечтали ни о «мирной победе социализма», ни даже о парламентском большинстве. Они хотели одного: права на существование. Так был выдвинут лозунг «вооруженной обороны».

Генералы бывшей австро-венгерской армии никогда не были хорошими вояками: их били не только русские, но даже черногорцы. Однако и эти битые генералы, прочитав резолюцию социал-демократов, удовлетворенно крикнули: они помнили еще из учебников кадетского корпуса о том, что выигрывает сражение наступающий. Наступали они: дряхлые генералы, помещики, тирольские кулаки, иезуиты, легионы геймвера, набранные из уголовных рецидивистов, патриоты, получающие жалованье в итальянских лирах, буржуазная чернь Ринга и карлик, ростом и кровожадностью напоминающий Тьера, а богомольностью и семейственностью Муравьева-Вешателя. Социал-демократы продолжали отступать.

Х. говорит: «Мы не пойдем по пути Носке или Лебе,— мы сумеем героически умереть!» У. возражает: «Но мы не имеем

права поставить на карту все завоевания рабочего класса. Нет, мы должны выжидать». Так они спорили на партийных собраниях, в редакциях газет и в кафе.

Рабочие тем временем волновались. Они не понимали хитроумной стратегии своих вождей. Они хотели кинуться в бой. Их, однако, учили одному: отступать. Мало-помалу им привили тот фатализм, который способен на героические акты, поскольку он представляет чувствования отдельных людей, и который означает политическое малодушие, поскольку он ставится тактикой целого класса.

С начала февраля положение в Вене стало настолько напряженным, что, когда на улице лопалась шина, прохожие испуганно останавливались. Даже самые нерешительные заговорили о близости конца. Рабочие-дружинники грозились: «Если они не хотят, мы сами откопаем оружие». Вожди социал-демократической партии продолжали колебаться.

Правительство, то не колебалось: оно явно не верило в сопротивление рабочих. Вице-канцлер Фей дышал бодрым воздухом казарм. Не смущаясь, он заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Молодчики из геймвера, распивая в кабаках молодое вино, лихо ухмылялись: они предвидели веселый набег на рабочие кварталы. В ответ они ждали традиционных формул: «Мы протестуем против нарушения конституции, и мы подчиняемся исключительно насилию». Они думали, что перед ними не рабочий класс, но десяток-другой муниципальных чиновников.

Министр социального обеспечения Шмиц объявил, что с государственных заводов будут уволены все рабочие, состоящие в профсоюзах. На их место станут члены «Патриотического фронта». Рабочие настаивали на всеобщей забастовке. Вожди все еще медлили. На что они надеялись? Может быть, на новый транспорт оружия? Нет, их интересовали различные «уклоны» в христианско-социальной партии. Они продолжали жить в мире парламентской арифметики, голосований и резолюций. Самым важным событием этих последних перед развязкой дней они считали присоединение нескольких «левых» гласных их христианско-социальной партии к резолюции социал-демократов. А в казармах солдаты уже чистили пулеметы и геймверовцы кокетливо говорили своим красоткам: «На этой неделе у нас будет много работы — мы перестреляем всю красную сволочь...»



Пока вожди партии изучали различные оттенки христианско-социальной партии, полицейские ломали двери, буравили стены, спускались в подвалы и рыскали по чердакам: они искали оружие. Иногда они нападали на несколько винтовок, но складов оружия они так и не нашли. Геймверовцы окончательно успокоились — они решили, что «вооруженная оборона» может быть отнесена к образцам парламентского красноречья.

Рабочим удалось спасти винтовки и пулеметы. Зато в эти дни они потеряли три четверти своих вождей. Одного за другим полиция арестовывала начальников боевых дружин и председателей завкомов. Эти аресты как бы обезглавили австрийский пролетариат. Социал-демократы и профсоюзы воспитали в рабочих чувство механической дисциплины. Каждый ждал приказов, готовый повиноваться, но редко кто решался встать на место арестованного и что-то предпринимать на свой риск. Во время империалистической войны так называемая «железная дисциплина» помогала немцам дружно идти на приступ, но, отправляясь в разведку и потеряв своего фельдфебеля, десять огромных пруссаков пасовали перед одним французским солдатиком.

Аресты рабочих продолжались в течение всей недели, предшествовавшей развязке. Каждый новый день обезглавливал какой-нибудь другой округ. Встречаясь, рабочие недоуменно спрашивали друг друга: «Почему же они медлят? Если полиция схватит нашего Карла, ребята не будут знать, что им делать...» Партия молчала. На следующий день полиция арестовывала того же Карла. Это был бой — еще без ружей, и всякий день нес рабочим новое поражение.

Рабочие в Вене, в Линце, в Штейере, в других рабочих центрах требовали решительных шагов. Вожди социал-демократии, ссылаясь на осеннее постановление расширенного пленума ЦК, продолжали призывать к спокойствию. В субботу 11 февраля вице-канцлер Фей выпустил правительственное сообщение о раскрытии «марксистско-большевистского заговора». Всем стало ясно, что «рейхстаг горит» и что правительство приступает к открытому террору. В субботу сотрудники «Арbeiterzeitung», прощаясь, говорили друг другу: «Вот мы и сделали последний номер...»

Рабочие ждали, что в воскресенье будет отдан приказ о вооружении. Но вожди решили снова выжидать. Теперь они

выжидали свидания канцлера Дольфуса с областными представителями. Они ждали спасения не от рабочих винтовок, но от государственной мудрости того человека, которого венские остроумцы, в отличие от Меттерниха, прозвали «Миллиметтернихом».

В воскресенье социал-демократы выпустили листок: они мирно полемизировали с вице-канцлером Феем. Они доказывали не то рабочим, не то самому вице-канцлеру, что они весьма далеки от каких бы то ни было «заговоров».

## Линц начинает

Рабочие в Линце открыто возмущались «трусостью Вены», и в Линце нашлись решительные люди. Секретарь партийного комитета Берначек отправил в Вену письмо. Он сообщал, что пять ответственных товарищей, учитывая как политическую ситуацию, так и настроения рабочих, решили дать правительству отпор. Берначек сообщил, что если в понедельник полиция попробует нагрянуть на рабочий дом «Шифф», где замуровано оружие, рабочие объявят мобилизацию дружинников. Трудно сказать, как копия письма Берначека попала в руки полиции. Правительство уверяет, что эта копия была найдена полицией в комнате Берначека. Возможно, что Берначек, будучи, как и все австрийские социал-демократы, несведущим в конспирации, действительно сохранил у себя копию важного документа. Так или иначе, оригинал письма дошел в воскресенье до Вены.

Вожди в Вене перепугались: тот час «вооруженной обороны», о котором они столько говорили, наступил. Письмо из Линца было сигнальной ракетой. В ответ следовало вооружить рабочих. Но среди вождей было немало миролюбивых бюрократов, готовых заранее выкинуть белый флаг. На собраниях головки шли долгие споры. Вожди решили призвать линцских товарищей к дисциплине: ведь вожди ждали результатов свидания Дольфуса с областными представителями.

Вена предлагала снова отложить «вооруженную оборону». Телеграмма оказалась на столе вице-канцлера Фея, и, в отличие от вождей социал-демократии, вице-канцлер решил не ждать.

Правительство теперь торопилось с развязкой. Полиция доносила, что большинство вождей задержано. Геймверовцы наседали на Фея: они соскучились по веселой работе. Выстрелы парижских фашистов прозвучали в их сердцах как охотничий рожок: «Ату». В ресторане «Келергоф» несколько солидных патриотов пили «за победу», они пили не «асти», но французское шампанское: они умели отделять полезное от приятного. Вице-канцлер и князь Штаремберг не раз уже напоминали «маленькому канцлеру» о том, что г-н Муссолини любит только энергичных людей. «Маленький канцлер», задумываясь, принимал позу небезызвестного корсиканца. Он думал о величии своего поста и о жарких молитвах римского папы. Вице-канцлер был куда трезвее. Его интересовали не позы генерала Галифе, но политическая благонадежность артиллерийских полков. Известие о падении левого министерства во Франции геймверовцы встретили с глубоким удовлетворением: они давно подозревали г-на Поля Бонкура в скрытом «марксизме». Ржали в нетерпении кони кавалеристов. По Рингу прогуливались воинственные молодчики. Вице-канцлер отдавал последние распоряжения.

## Понедельник

В понедельник утром в Вене было холодно и сыро. Вскоре пошел сильный дождь. Как всегда, рабочие спешили на работу, а возле городских касс стояли длинные очереди безработных, дожидавшихся пособия. Это было обычное городское утро. Женщины несли хлеб и молоко. Только изредка пробегали по улицам полицейские в штатском: они явно были чем-то озабочены, но никто их не расспрашивал о государственных тайнах. Будничный день начинался.

В Линце тем временем шел бой. Все развернулось, как предвидели и правительство и рабочие. Тридцать полицейских явились в рабочий дом «Шифф». Их впустили. Потом дом окружили рабочие-дружинники, и они обезоружили полицейских. Тогда на подмогу полиции прибыли войска с пулеметами. Началась осада рабочего дома.

В предместье Вены — Флоридсдорфе — рабочие с утра волновались. Они хотели объявить забастовку протеста: полиция

накануне арестовала одного из завкомов Флоридсдорфа. Этот район считался боевым: в нем живет до восьмидесяти тысяч рабочих. Забастовка во Флоридсдорфе началась стихийно. Рабочие оставляли мастерские. Они требовали оружия.

Слухи о боях в Линце разнеслись по Вене. События шли куда быстрее, нежели мысли вождей социал-демократии. Собрание головки решило наконец-то объявить всеобщую забастовку, но флоридсдорфские рабочие успели опередить это постановление. Вожди социал-демократической партии уступали место вождям восстания. Вместо огромного партийного аппарата, который остановился куда быстрее, нежели машины иных заводов, оказались десятки маленьких и не связанных друг с другом штабов. Партия, кичившаяся количеством избирательных бюллетеней, оказалась непригодной для вооруженного боя. С этой минуты ее вожди пошли различными дорогами. Одни из них показали себя героями, другие — прекраснодушными обывателями, третьи — изменниками.

Никто больше не вспоминал о социал-демократических лозунгах. По приказанию партии рабочие должны были защищать конституцию и демократию. Но не ради сомнительной радости умирать с голоду перед избирательными урнами австрийские рабочие взялись за оружие. Вожди так называемой «рабочей партии» наивно думали, что можно послать десятки тысяч пролетариев под пулеметный огонь ради «левого» правительства, которое призвало бы себе на подмогу иностранные штыки. Но рабочие боролись за свое дело и за свою жизнь. Они не успели записать программы восстания: их руки были заняты другим. Но и они и правительство хорошо знали, что бой идет за рабочую диктатуру. Так давно уже вылинявшее и замаранное серо-розовое знамя социалистов на улицах Вены снова стало красным: его окрасила рабочая кровь.

В десять утра начальники районов кинулись к телефонным аппаратам. По проводам пронеслась короткая весть: «Карл заболел», это было условленным паролем, и это означало: «всеобщая забастовка объявлена». Впопыхах полиция арестовывала всех, кого только могла. Войска оцепили центр города. Улицы наполнились полицейскими в походных касках, вооруженными геймверовцами и подозрительными субъектами из «Патриотического фронта». Полиция останавливала прохожих, пропуская только «хорошо одетых». Доступ рабочим в центральные районы был закрыт. Правительство спешно организо-

вало «техническую помощь» из патриотических инженеров и профессиональных штрейкбрехеров.

Не привыкшие к подпольной работе руководители восстания отдавали свои приказы по телефону, а на центральной станции уже дежурили опытные полицейские. Многие из руководителей последнюю ночь провели не у себя дома, но утром они забежали домой «на минутку» — один, чтобы захватить документы, другой, чтобы узнать, не арестовали ли его жену. Полиция караулила возле домов, и одного за другим хватала вожаков. Главный штаб повстанцев в течение нескольких часов находился рядом с квартирой крупного сыщика и только случайно не был захвачен.

Около одиннадцати утра районные начальники начали выкапывать оружие и раздавать его рабочим.

На улицах Линца уже валялись трупы. Рабочие швыряли в солдат ручные гранаты. Бой шел с переменным успехом. Число повстанцев росло. На место убитых приходили подростки: «Дайте и нам оружие!» Тогда командующий правительственными войсками приказал пустить в ход артиллерию.

В Вене еще было тихо. Солдаты обматывали центральные улицы колючей проволокой. Вице-канцлер объезжал «позиции».

Многие из главарей в одиннадцать утра еще не знали, принято ли постановление о всеобщей забастовке. Около одиннадцати часов Л. получил известия о линцских событиях. Он тотчас же пошел к начальнику района: «В Линце сорок убитых. Надо начинать». Начинать надо было с электрической станции, и Л. побежал туда. Когда он вошел в первую мастерскую, один из членов завкома его спросил: «Насчет забастовки — правда?» Л. крикнул: «Выпускайте пар из котлов». Потом Л. пришел к директору станции г-ну Цицфелю. Л. сказал: «Объявлена всеобщая забастовка. Станция должна тотчас же кончить работу». Вместо ответа г-н Цицфель кинулся к телефону: он хотел вызвать соседние казармы. Телефон не работал. Тогда г-н Цицфель сказал: «Я применю вооруженную силу». Л. ответил: «А я вам разможу череп!»

Один из крупных служащих, некто К., член социал-демократической партии и человек вдоволь трусливый, крикнул Л.: «Брось! Все равно ничего из этого не выйдет...» Л. ответил: «Должно выйти». Спустившись вниз, Л. увидел, что пар еще не выпущен. Он сам взялся за работу. На подмогу пришли

рабочие. Пар был выпущен. В электрическом отделении турбины были быстро повреждены. Отпуск тока прекратился. Часы показывали без пяти двенадцать.

Несколько минут спустя полиция окружила станцию, разыскивая Л. Но Л. успел скрыться. Благодаря умелому вредительству работа электрической станции была прекращена почти на сутки. Это было первым и, может быть, единственным серьезным успехом рабочих.

Трамваи неожиданно остановились. Никто еще не знал толком, что это означает. Одни говорили: «Сейчас поедем... тока нет... меняют машину...» Другие встревоженно шушукались: «Уж не забастовка ли?..» Вагоновожатые продолжали сидеть на своих местах. Один из них, бородатый и грустный человек, вздыхал: «И зачем это они бастуют? Все равно против штыков ничего не поделаешь...» Другой только угрюмо усмехнулся. Дама в нарядной шубке спросила его: «Не знаете ли вы, в чем дело?» Он ответил: «Дело в том, что — довольно! Не хотим больше так жить!..»

Работа на заводах сразу остановилась вследствие отсутствия тока. Дело решили не возжи социал-демократической партии, да и не решимость широких масс, но отвага Л. и нескольких рабочих электрической станции.

Позакрывались магазины. Опустели улицы. В главном штабе повстанцев лихорадочно ждали вестей. Но телефон не работал, а один район был отрезан от другого военными cordонами. Взобравшись на наблюдательный пункт, один из вожаков принес первое печальное известие: «Железные дороги работают!»

Железнодорожники спасли правительство. Они дали ему возможность перебросить войска из города в город и быстро подавить восстание в Линце, в Штейере, в Бурке. Железнодорожники были обескуражены мартовским разгромом. Среди них было много опытных штрейкбрехеров и заслуженных предателей.

Вслед за железнодорожниками забастовку сорвали и печатники. Эти не были ни сторонниками христианско-социальной партии, ни членами «Патриотического фронта». Все они состояли в социал-демократическом профсоюзе. Но печатники были, в свою очередь, подавлены недавним поражением: два месяца перед тем они бастовали, протестуя против гонений на рабочую печать. Эта забастовка кончилась неудачей. Печат-

ники теперь вдвойне дорожили «куском хлеба». Они знали к тому же, что этот кусок, не в пример хлебу других рабочих, помазан маслом: они были наиболее обеспеченными из рабочих. Разумеется, в душе они сочувствовали повстанцам, но спокойно стояли у линотипов и ротационок. Они набирали газеты, полные клеветы на повстанцев: «красные убийцы... красные преступники... красная сволочь...» Еще раз они показали рабочим всего мира, что для победы мало и высокой грамотности, и профсоюзных билетов, и прочитанных книжек, и красивых слов. Для победы ко всему этому необходим еще героизм, а героизма у них не нашлось. Героизм нашелся у тех двадцати тысяч рабочих Вены, которые в понедельник разбрелись по улицам рабочих кварталов, неуклюже ворочая тяжелые винтовки.

Восстание австрийских рабочих нельзя назвать «провалом». Оно закончилось поражением, но это поражение в борьбе, и за ним должна последовать конечная победа. Всеобщая забастовка, однако, была доподлинным провалом. Историк установит, каковы были причины этого неуспеха. Бесспорно, огромную роль сыграла безработица и страх за миску похлебки для ребят. Кто знает, не легче ли было пойти под пули, нежели «мирно забастовать», зная, что на самом деле это означает голодную смерть? Правительство, в свою очередь, грозило штыками. Осадное положение было направлено прежде всего против забастовщиков. «Кто не будет работать, того за решетку». В тумане дождливого и серого дня уже мерещились первые виселицы.

Однако немало мужества хранилось в сердцах венских рабочих. В Флоридсдорфе, за исключением железнодорожников, забастовали поголовно все рабочие. В полдень к газовому заводу подкатил автомобиль с полицейскими. «Если через десять минут рабочие не станут на работу, каждый десятый будет предан полемому суду». Рабочие в ответ тотчас же вооружились и начали занимать Флоридсдорф.

Вяло начатая забастовка быстро перешла в восстание, полное решимости и героизма. Во многих районах рабочие не могли вооружиться. В одном из наиболее важных округов, вследствие многочисленных арестов, рабочие так и не разыскали хорошо припрятанное оружие. В 15-м округе восстание сорвал начальник района Корбель. Этот Корбель незадолго до событий получил от партии семь тысяч шиллингов на покупку оружия. Оружия он не доставил, заявив, что груз конфискован полицией.

Расследовать это дело было нелегко, и Корбель оставался районным начальником. 12 февраля с утра он обходил кафе, где собрались рабочие, указывая полиции на вожakov.

Вот Корбель встречает одного из руководителей восстания Ч. Ч. несколько удивлен: «Мне говорили, будто тебя вчера схватили...» Корбель улыбается: «Что же, вчера схватили, а сегодня выпустили...» Корбель уходит из кафе. Через минуту в кафе входит полицейский. Ч. удаётся убежать через кухню. Однако он все еще не догадывается о связи между исчезновением Корбеля и появлением полицейского. Корбель продолжает пользоваться доверием товарищей.

Повстанцы должны были прежде всего занять рабочие кварталы, а потом повести наступление на центр города. Но многие районы вовсе не выступили, и флаги повстанцев оставались неприкрытыми. С самого начала они вынуждены были перейти к обороне своих позиций.

Во Флоридсдорфе у повстанцев было сорок пулеметов и свыше трех тысяч винтовок. Они заняли полицейские гауптвахты и разоружили полицейских. Рабочие не расстреляли ни одного из своих противников. Они и не взяли заложников. Они ограничились тем, что заперли разоруженных полицейских, и те вскоре показали рабочим, как фашисты понимают благодарность и великодушие.

В 10-м округе четыреста рабочих забаррикадировались в Доме Герты. На них направили пулеметный огонь. Из Дома Гете вышли отряды повстанцев — они пробовали установить связь с 20-м округом. Во 2-м округе повстанцы успешно наступали. Они дошли до Гюртеля. В девять вечера против них был послан пехотный полк. Повстанцы отступили в боевом порядке. В 12-м округе весь день шли уличные бои. Повстанцы отбили нападение на Дом Реймана. К вечеру им пришлось очистить эту позицию, и они укрепились в Доме Либкнехта.

В Доме Карла Маркса у повстанцев не было пулеметов. Стоя в одном из окон, четверо молодых рабочих с винтовками отражали пулеметную атаку. Подземными ходами был доставлен в дом пулемет.

Во Флоридсдорфе рабочие-коммунисты, получив оружие, засыпали гранатами отряд полиции. Они заняли одну из наиболее важных артерий района. На проводах они повесили красный флаг с серпом и молотом. Под флагом лежал убитый мальчик: его подстрелили полицейские.



Штаб повстанцев послал вестовых на мотоциклетах в различные провинциальные города. К ночи два вестовых вернулись. Они рассказали, что в Линце все еще дерутся, что Брук в руках рабочих и что начальник Винер-Нейштадта, струсив, отказался раздать своим дружинникам оружие.

Под утро стало известно, в Штейере рабочие убили директора заводов «Штейерверке». Они вооружились и заняли весь город. Вождь геймверовцев князь Штаремберг выступил на Штейер. Городишко, известный туристам как живописный уголок, а статистикам как место, дающее наиболее высокие цифры безработицы, смертности на почве истощения и самоубийства, был облюбован геймверовцами для образцовой карательной экспедиции.

В Бруке повстанцами командовал Коломан Валлиш. Это имя одни произносили с надеждой, другие с ненавистью. Валлиш был каменщиком. Он родился в Венгрии, в поселке швабских колонистов. В дни Венгерской советской республики он стойко боролся с врагами. Потом он убежал от белых в Штирию. Он начал организовывать рабочих. Благодаря близости югославской границы в Бруке было много пришлых рабочих, и это позволяло предпринимателям драть с людей восемь шкур. Рабочие получали по два шиллинга в день. Они жили впроголодь. Под руководством Коломана Валлиша рабочие провели несколько стачек. Он стал вождем целого округа. В бурные дни 1927 года он вооружил рабочих и осуществил пролетарскую диктатуру. Как только до Штирии дошла весть о линцских боях, Валлиш отправился из Грицуа в Брук. Рабочие заняли город. Жандармы забаррикадировались в казармах. В ночь с понедельника на вторник повстанцы штурмовали казармы. Правительство отправило против Валлиша 9-й батальон стрелков.

В Вене канонада не замолкала всю ночь. На улицах Мейдлинга шли бои. Женщины подносили повстанцам патроны и хлеб. Ночь была холодная, и повстанцы мерзли. Коченели пальцы на железе винтовок.

Флоридсдорф был в руках повстанцев. Командиры расставили повсюду заставы. Повстанцы спали по два часа. С утра предполагалось наступление на мост.

Ночью к повстанцам 10-го округа пробрался подросток-геймверовец. Рабочие навели винтовки. Мальчик крикнул: «Стойте!» Он поднял вверх руки. Потом он сказал: «Убейте меня! Я предатель. Я пошел в геймвер. Они обещали — кормить и сапоги...

Я два года перед тем голодал... Теперь мне приказали стрелять в вас. Но этого я не могу. Лучше убейте меня!» Среди повстанцев редко можно было встретить рабочих старше тридцати лет: это было восстание молодых. Но в отряде, на который напал злосчастный «геймверовец», находился старый седоусый столляр В. Выслушав парнишку, он выругался, потом усмехнулся и ласково потрепал «геймверовца» по плечу. «Ну, чего там... Винтовка у тебя есть. А в кого стрелять — это ты сам знаешь...»

Цокали пулеметы, и по-человечески, нервически, раздельно, вскриками перебивали редкую тишину ружейные выстрелы. Ночь казалась невыносимо долгой. Потом стал просачиваться грязный рассвет второго дня.

## Вторник

Второй день начался с тяжелого испытания: повстанцы увидели вокруг себя равнодушие и трусость. Они брели с винтовками по улицам. Навстречу шли их собратья по классу: железнодорожники, печатники, кондуктора трамваев.

«Куда ты?» — окликал приятеля повстанец. Тот нарочито громко от стыда отвечал: «Куда? Известно куда — на работу». В Доме Гете трамвайные служащие ругали повстанцев: «Иза вас нельзя выбратся, а теперь шестой час — пора на работу...» С раннего утра возле касс выстроились обычные очереди безработных. Измученные, деморализованные, приниженные долгим голодом, они предпочитали подачку борьбе. Конечно, все они — и рабочие, которые торопились на заводы, и безработные, которые ждали пособий, — сочувствовали повстанцам. Но в это утро повстанцы почувствовали себя если не преданными, то одинокими. Казалось, ничто не отделяет их от других рабочих: они были членами тех же профсоюзов и той же бесформенной, рыхлой, всеобъемлющей социал-демократической партии. Но между авангардом рабочего класса, который бился насмерть, и между разрозненной, безоружной, ничем не одушевляемой армией в это утро легло нечто новое: одни хотели во что бы то ни стало жить, другие были готовы умереть.

Во вторник сказался провал забастовки. Восстание не может быть поголовным: винтовки заряжает не только политическая

сознательность, но и личное мужество. В вооруженной борьбе приняли участие до двадцати тысяч венских рабочих. Из них семь или восемь тысяч дрались до последнего патрона. Было бы наивно думать, что за оружие возьмется сотни тысяч. Но эти сотни тысяч могли стать надежным тылом. Они могли, скрестив руки, остановить жизнь города. Однако социал-демократы не сумели пробудить в рабочих революционную совесть. Их вожди не раз говорили: «Наши дружины превосходятно организованы, и они снабжены оружием. В случае нападения фашистов дружинники отстоят рабочих». Вожди не ошиблись в одном: в мужестве боевых дружин — это был авангард австрийского пролетариата. Дружинниками становились наиболее революционные и наиболее смелые рабочие, те, что в других странах становятся коммунистами. Но рабочая масса соблюдала «дружественный нейтралитет». Для многих рабочих восстание было поединком между правительством и дружинниками. Они говорили о геймверовцах: «звери», они говорили о дружинниках: «молодцы», но, говоря это, они спокойно шли на работу.

В понедельник всемогущий канцлер Австрии был принужден оттиснуть прокламацию на ротаторе: у него не было ни одной печатни. Во вторник вышли все буржуазные газеты. Они умело сочетали клевету с ложью. Они говорили, что повстанцы — это воры и погромщики. Они сообщали, что вся Австрия стоит за Дольфуса, только несколько сотен безумцев еще пробует сопротивляться. Кроме газет, в руках правительства была радиостанция. Рабочие не знали о том, что происходит даже в соседнем квартале. Руководителям восстания не удалось выпустить ни одного бюллетеня. Осажденные повстанцы жадно прислушивались к рыку громкоговорителя. Канцлер наихристианской Австрии показал, что значит иезуитская выучка. Радиостанция во вторник сообщила, что вожди социал-демократов убежали в Прагу. Полиция тем временем разыскивала их среди венских повстанцев. Радиостанция сообщала, что Брук и Штейер заняты геймвером. Рабочие в Бруке понимали, что сведения насчет Брука лживы: город еще находился в их руках. Но с тревогой они думали: «Может быть, Штейер действительно пал?» Рабочие Штейера спрашивали друг друга: «Неужели Брук сдался?» Так ложь и клевета разъедали стены, выстоявшие под артиллерийским огнем.

Во вторник жаркие бои шли за Дом Реймана и за Дом Маттеоти. Предатель Корбель заманил рабочих в ловушку: он предложил им войти в здание школы. Часть дружинников последовала его совету. Школа была тотчас же окружена солдатами. Вожди восстания все еще не догадывались о роли Корбеля, и предатель присылал им реляции, полные благородного негодования: «В 13-м округе рабочие сдрейфили, они побросали оружие через стену кладбища Оттакринг». Вице-канцлер предложил Корбелю до поры до времени гореть революционным огнем, и Корбель страдал над неудачами повстанцев.

После полудня начался ожесточенный бой в 16-м округе. Правительственные войска под напором рабочих сдали позиции. Вице-канцлер приказал подвезти гаубицы.

В разных местах города загрохотали пушки: это обстреливали жилые и густо заселенные дома. В погребах, в чуланах, в темных коридорчиках прятались те, кто не сражался: старики, женщины, дети. Кричали ребята, и женщины не знали, чем их утешить.

Ночью Дом Карла Маркса избежала страшная весть: в одной из квартир осколком снаряда убиты женщина и грудной младенец.

Вице-канцлера никак не интересовали ни женщины, ни грудные младенцы. Он явственно нервничал. Пехотные полки требовали подкреплений. Дипломаты посылали в Париж и в Лондон длинные телеграммы. Повстанцы не сдавались на милость геймвера. Надо было тотчас же покончить с мятежом. Канцлер предлагал хитроумную «амнистию». Генералы настаивали на тяжелых орудиях. Вице-канцлер, как человек боевой, выбрал пушки. Впрочем, снаряды он перемежал листовками, которые сбрасывали самолеты. На листовках значилось: «Братья рабочие, опомнитесь!» На снарядах не имелось никакого упоминания о «братстве».

Город в недоумении прислушивался к канонаде. Ходили самые вздорные слухи. Говорили, будто бы геймверовцы сражаются с немцами. Говорили также, что к Вене подходят чехословацкие полки. Никто не мог подумать, что это артиллерия громит жилые дома.

Один из английских корреспондентов запросил представителей власти, правда ли, что войска подвергают обстрелу целые кварталы Вены. Корреспондента успокоили: «Под обстрел

взяты исключительно рабочие кварталы, в которых не имеется ни памятников старины, ни художественных ценностей. Что касается мирного населения, то мы предложили повстанцам эвакуировать женщин и детей. В домах остались исключительно вооруженные марксисты».

Молоденький офицер П. спросил своего начальника: «Может быть, предложить им вывести женщин и детей?» Начальник в сердцах крикнул: «Ни в коем случае! Женщины и дети заставят их скорее сдаться». Помолчав, он добавил: «По существу, это даже гуманней — это ускорит конец кровопролития...»

Господин Дольфус мог теперь сказать своим иностранным покровителям: «Вот видите — мы не болтуны. Мы действительно энергичные люди».

В час дня сдался Дом Реймана. Часть его защитников скрылась. Другие были захвачены полицией. Дом Маттеоти требовал срочной помощи.

В 12-м округе на повстанцев напали два автомобиля с флагами Красного Креста. Повстанцы их подпустили к себе. Тогда мнимые санитары открыли огонь. Повстанцам удалось захватить один из этих автомобилей. В одиннадцать часов утра против повстанцев был пущен бронепоезд. Начался пулеметный бой. Женщины перевязывали раненых, и раненые оставались на позициях. В пять часов дня повстанцы попытались прорваться к водокачке, чтобы установить связь с 10-м округом.

В 13-м округе рабочие защищали Дом Оттакринг. Артиллерия разрушила фасад дома. Рабочие не сдавались. Все окрестные улицы были взяты войсками под пулеметный огонь, чтобы отрезать повстанцам отступление. На улицах возле Дома Оттакринг валялись трупы: женщина с хлебом, мальчик лет восьми, бородатый старичок. Поздно ночью, израсходовав всю амуницию, повстанцы выкинули белый флаг. Большинство было схвачено солдатами. Некоторым удалось скрыться: они ушли под землю.

В Париже в июньские дни 48-го года сточные канавы спасли жизнь не одного инсургента. Темный извилистый город под обычным городом, под домами, банками и театрами, в трагические часы становится последним убежищем людей, на которых охотятся, как на дикое зверье. Канализация Вены помогла некоторым защитникам Дома Оттакринг уйти от

смерти. По темным канавам смельчаки подносили защитникам Дома Карла Маркса провиант и амуницию.

Когда весь надземный город оказался в руках правительственных войск, внизу еще прятались последние повстанцы. Полиция как-то услышала подозрительный шум, доходивший из-под земли. Тотчас же несколько полицейских спустились вниз. Тогда в темноте раздались выстрелы. Под землей люди бежали один за другим и в последней схватке душили друг друга.

Флоридсдорф еще держался. Рабочие пытались даже наступать. Они заняли Сад-город. В полдень воинские части повели атаку на пожарное депо. Пожарными командовал самый молодой из повстанческих командиров — Георг Вейзель. Пожарные боролись до последней возможности. Наконец солдаты ворвались в депо. Они взяли в плен Вейзеля и с ним шестьдесят пожарных. Несколько пленных было убито ружейными прикладами и штыками.

Падение пожарного депо было тяжелым ударом: фронт оказался прорванным. Повстанцам пришлось перейти к обороне. В течение нескольких часов артиллерия закидывала тяжелыми снарядами Шлингергоф. Но гаубицы оказались бессильными перед мужеством рабочих. Тогда солдаты погнали женщин и детей к осажденному дому: они знали, что рабочие не смогут стрелять в свои семьи. Была страшная минута, когда повстанец Г., стоявший у пулемета, закричал: «Стойте! Негодяи!.. Ведь это наши жены...» Так вице-канцлер Фей показал, что такое прогресс: перед его подвигами кажутся ребяческими забавами дела Кавеньяка или Галифе. Шлингергоф был очищен от повстанцев.

Днем рабочим удалось приспособить несколько грузовиков, которые обычно употребляются для перевозки мусора. Это были «танки» дружинников. Против них войска выпустили бронированные автомобили.

В Доме Карла Маркса осколок снаряда повредил газовые трубы. Газ стал распространяться по всему корпусу. Повстанцы задыхались. Они, однако, продолжали отстреливаться. Два правительственных пулемета, поставленных на возвышенности Гоген Варте, обстреливали окна дома. Говорят, будто один из этих пулеметов находился в саду прекрасной виллы, где живет известный писатель, эстет и католик, Франц Верфель. В этой топографической случайности скрыто немало жестокой

иронии. Наверху, в Гоген Варте, жили не только Ротшильды, но и поэты. Внизу, в Доме Карла Маркса, жили рабочие. Поэты писали о красоте. Рабочие работали и голодали. Потом настал день, когда пришли солдаты. Солдаты никогда не слышали ни о Карле Марксе, ни о Франце Верффеле. Они только выполняли приказы своих начальников. Они поставили в саду поэта хороший пулемет и начали убивать рабочих.

Повстанцы угрюмо щерились: враг был теперь недосыгаем. Осмотрев позиции, вице-канцлер приказал перейти в наступление. Операцией руководил его ближайший помощник майор Вадель. Вице-канцлер был убежден, что повстанцы обескуражены. Но на предложение капитулировать ответили пулеметы. Майор Вадель был тяжело ранен. Повстанцы отбили атаку.

Дом Маттеоти прислал вестового в штаб: «Больше не можем держаться. Пришлите подкрепление». Штаб отдал приказ повстанцам, которые держались в Доме Герты, пробраться к Дому Маттеоти. Но вестового тяжело ранили по дороге, и он не добрался до Дома Герты.

В штабе повстанцев царил полная растерянность: первоначальный план наступления был оставлен еще в понедельник. Теперь у вождей не было никакого плана. Отдельные группы рабочих наступали или отступали по указаниям своих непосредственных начальников. Главный штаб находился в районе, занятом правительственными войсками, и он не мог сноситься с повстанцами. Многие из районных руководителей выказали малодушие или грубость. Начальник Мейдлинга отказался раздать рабочим оружие: «Я не хочу посылать людей на убой...» Начальник Флетцерштейга, вооружив рабочих, не захотел пойти на соединение с другими районами. Тогда рабочие побросали ненужное оружие.

К вечеру второго дня силы повстанцев начали ослабевать. Никто больше не сомневался в том, что битва проиграна. Но никто из повстанцев не думал о капитуляции. Один молодой рабочий в Доме Герты сказал товарищам: «Восстание подходит к концу. Но революция только-только начинается. Значит, мы должны драться до последней пули».

Несмотря на ряд одержанных побед, правительство переживало трудные минуты. Командиры отдельных воинских частей доносили, что солдаты измучены и требуют смены. Приходилось все время кидать в бой новые батальоны. Геймверовцы оказались трусами. Они держались в тылу, выполняя только

«специальные» поручения: обыскивали дома, добивали раненых, глумились над пленными. Правительство обращалось к рабочим с воззваниями, полными лицемерного великодушия. Оно сулило «прощение обманутым». Оно прикидывалось другом рабочих. «Подумайте о том, что стало с вашими братьями в Германии. Национал-социалисты отнимут у вас ваши права». Чтобы прельстить рабочих, у г-на Дольфуса нашелся все-го-навсего один довод: он клялся в своих листовках, что Геринг страшнее Фея. Но рабочие не были склонны разбираться в душевных оттенках различных палачей. Ненависть к германским фашистам не могла им продиктовать любви к своему доморожденному фашизму. Тогда правительство выдвинуло свой главный козырь: социал-демократ Корбель, агент австрийской охранки, скинул маску. Он явился к государственному секретарю Карвинскому со следующим красноречивым заявлением: «Я, нижеподписавшийся, Эдуард Корбель, районный начальник дружин, заявляю, что я выхожу из социал-демократической партии ввиду преступного поведения ее вождей. Я отдаю приказ дружинникам 6-го, 7-го, 13-го, 15-го и 16-го округов, которые подчинены мне, немедленно сложить оружие». Социал-демократы в свое время выдали Корбелю семь тысяч шиллингов на покупку оружия. Мы не знаем, каков был гонорар, выплаченный г-ном Карвинским Корбелю за его лирическое произведение. Несмотря на французские займы, дела австрийского казначейства обстоят довольно плохо, и надо полагать, что Корбель оказался сговорчивым.

Заявление предателя тотчас же было передано радиостанцией, напечатано в десятках тысяч экземпляров и разбросано по городу. Однако вряд ли нашлись и сотни рабочих, которые вняли совету этого бесхитростного провокатора. Выбор был сделан еще в понедельник: среди повстанцев были те, которых больше не пугала смерть.

Предатели, разумеется, нашлись, но они не могли сложить оружие: никогда в жизни они не держали винтовки. Это были не рабочие, но социал-демократические чиновники, испугавшиеся за насиженные места. Вожди социал-демократов провинции Каринтия, торопясь не опоздать и перебивая друг друга, повторили благородные слова Эдуарда Корбеля.

Повстанцы продолжали держаться. Среди них было много безработных. Вожди австрийской социал-демократии не раз отмахивались от безработных. Они уверяли, что эти люди демора-



лизованы и не способны на борьбу. Конечно, среди безработных Вены нашлось немало малодушных, тех, что под пулями стояли в хвостах, дожидаясь выдачи пособий. Но разве не было таких же малодушных среди рабочих, которым удалось избежать тяжелого клейма безработицы? Тысячи безработных сражались в Вене, и, может быть, те жестокие уроки, которые им дало капиталистическое общество, эти годы голода, нищеты и отчаяния помогли коченеющим пальцам все еще не выпускать винтовки.

Осыпав рабочих предательскими листовками, вице-канцлер снова взялся за пушки. Он приказал пустить в ход 150-миллиметровые орудия. Когда восстание было подавлено, правительство пригласило иностранных журналистов осмотреть оружие, отобранное у повстанцев. Им не показали того оружия, которое было пущено в ход против рабочих. Об этом можно пожалеть: я вижу любезные улыбки французских журналистов, которые смотрят на 150-миллиметровые орудия. Как известно, по мирному договору Австрия не имеет права обладать тяжелой артиллерией. Впрочем, поскольку эти пушки стреляли по рабочим, они оправдали свое назначение, и далекие от педантизма французские журналисты не захотели бы обидеть г-на Фея чересчур щекотливыми вопросами.

Вечером повстанцы еще держались в нескольких домах, и правительство громило эти дома тяжелыми орудиями. Вице-канцлер стрелял из пушек в детей. Как форты, он бомбардировал спальни и кухни. Даже в 1934 году, когда буржуазия давно позабыла о своем ханжеском гуманизме, вице-канцлер счел нужным оправдаться если не перед венскими католиками, то хотя бы перед парижскими радикалами. Правительство прибегло к наивной и глупой выдумке: оно заявило, что дома рабочих были построены как крепости, «особым способом бетонированы» и снабжены «стратегически важными балконами». Это походило на бред, и это, однако, было напечатано во всех серьезных газетах мира. Буржуазные архитекторы, которые строили в свое время дома рабочих и которые не хотели потерять других клиентов, отнюдь не пролетарского происхождения, выступили с протестом. Впрочем, этот протест был опубликован только через неделю после подавления восстания, когда так называемое «общественное мнение» Европы уже перестало интересоваться вопросом об артиллерийском обстреле обыкновенных жилых домов.

В домах расстреливали свои последние патроны измученные повстанцы. Сорок восемь часов без сна. Сорок восемь часов без еды. Забинтованные наспех раны. Кровь. Трупы. Трупы женщин и детей. Ночь и настойчивый грубый грохот артиллерии. Борьба заканчивалась. Начиналась вторая эпопея: гибели. Нельзя было дольше помышлять о чудодейственном спасении. Что защищали эти отважные люди? Развалины? Свою пролетарскую честь? Давно забытые лозунги? Или мерещившуюся им где-то впереди победоносную революцию?..

Есть нечто роковое в этом образе рабочих, которые защищают от дальнобойных орудий тонкие стенки домов. В течение пятнадцати лет социал-демократы говорили рабочим об «обороне». Одной рукой они зарывали в землю пулеметы, другую руку они протягивали «маленькому канцлеру». Это не было хитрой стратегией. Это было только малодушием. Призывая рабочих к обороне, они думали, что дело закончится еще одной демонстрацией. Дело закончилось пробитыми стенами Дома Карла Маркса, пожарищем Флоридсдорфа и героями, стреляющими из винтовок в пушки.

## Среда

Природа отражала события с запозданием. В среду утром над Австрией пронеслась буря. В горах она заносила снегом последних повстанцев. В Вене она трепала волосы убитых женщин и белые лоскутья на домах. Человеческая буря тем временем спала. Только изредка еще раздавались орудийные залпы. Они напоминали жителям Вены, что несколько тысяч человек не захотели припасть к стопам великодушного канцлера.

В центре города возобновилась привычная жизнь, на два дня прерванная негодованием рабочих. Открылись ювелирные магазины и бары. В кафе вчерашние либералы восхваляли храбрость Вены и благородство Рима. Любители оперетки с тревогой спрашивали: «Когда же наконец откроют театры?» Красавицы с воистину любвеобильными глазами вздыхали: «Хорошо, если их всех перевешают!» Еврейские банкиры, не доверяя христианским чувствам геймверовцев, благоразумно отсиживались у себя дома. Но они искренне радовались победам г-на

Фея: Австрия расправилась с рабочими, не потревожив при этом «порядочных людей».

Р.— ответственный сотрудник газеты «Нейе фрейе пресе» и непримиримый радикал,— придя в редакцию, воскликнул: «Ну и дела! Эти рабочие сошли с ума. Говорят, что в одной Вене тысяча убитых. Черт знает что! На Гогенбергштрассе валяется... Кстати, ты знаешь, я встретил сейчас Бетти. Какие у этой девчонки ножки!» Приятель растерянно поглядел на журналиста. Но тот не смутился. Он ответил словами песенки: «Вена остается Веной» — и начал строчить очередную статью о зверствах рабочих. Да, их Вена оставалась их Веной!

Рабочие, которые утром вышли на работу, проходили мимо трупов. Подстреленные во время уличных боев, валялись повстанцы или прохожие. В некоторых местах полицейские вытаскивали трупы из домов и кинули их на мостовую: для острстки. Возле Дома Гете лежали два трупа молодых рабочих. Над ними полицейские надписали: «Вот что делают с вами ваши вожагч».

Всю ночь со вторника на среду войска обстреливали Индейский дом. Там больше не было ни одного повстанца. Но вице-канцлер, командовавший войсками, не хотел рисковать. Он предпочитал разрушить этот дом, где находились только несчастные семьи рабочих. Утром какой-то храбрый старичок, решив пожертвовать собой, чтобы спасти еще уцелевших людей от смерти, выбежал к солдатам. Он махал полотенцем, привязанным к швабре. Тогда победоносные войска наконец-то решились вступить в дом. Вице-канцлер, удостоившийся во время войны высшего знака отличия — ордена Марии-Терезы, немало гордился этой исключительной победой. Его подчиненные внесли лестное предложение. «Отныне этот дом будет называться Домом Фея». Вице-канцлер поблагодарил и согласился.

Артиллерия все утро продолжала обстреливать Дом Карла Маркса. Повстанцы начали отступать. Возле одного из входов во двор двенадцать рабочих прикрывали отступление. Они сами вызвались на это, желая спасти своих товарищей. Их было двенадцать — и все двенадцать были убиты. Дом был занят войсками. Три часа спустя отряд повстанцев вышиб солдат из дома. Войска, получив подкрепление, ворвались во двор. Повстанцы еще отстреливались. Нигде в городе не было таких

ожесточенных боев. На лестницах рабочие отбивались от солдат прикладами. Солдаты штыками приканчивали раненых. Они подымались по лестницам, и, вместо ступенек, под их ногами были тела рабочих.

В 12-м округе триста повстанцев сражались с солдатами. Бой шел на товарном вокзале, и вагоны служили прикрытием. П., раненный в живот, свалился. Товарищи хотели его подобрать. Тогда П. закричал: «Черт бы вас побрал! Стреляйте! Не все ли равно, где умирать...» Бой длился три часа. Наконец силы повстанцев иссякли, и они отступили.

Дом Гете еще держался. Тяжелые орудия были расставлены на берегу Дуная. В доме оставалось свыше тысячи жильцов, и среди них было много детей. Они прятались в погребах. Некоторые в отчаянии пытались выбежать из дома. Но в монастыре, который расположен напротив Дома Гете, сидели геймверовцы и с равным усердием стреляли и в повстанцев, и в женщин, и в детей. Над домом кружились полицейские самолеты, облегчая артиллеристам прицел. В семь утра войска послали повстанцам ультиматум: сдать в течение одного часа. Повстанцы ответили отказом. С двух часов пополудни до шести вечера длился ураганный огонь. От снарядов начался пожар. Носились по коридорам обезумевшие женщины. Один из повстанцев, увидев раненого ребенка, сорвал с себя рубашку и вывесил белый флаг. Потом он что-то крикнул — среди грохота никто не слышал его слов — и выбросился из окошка.

Дольше всех держался Флоридсдорф. Повстанцы были измучены. Многие из них ничего не ели с понедельника. У безработных не было денег, но они не ворвались ни в одну лавчонку, ни в одну булочную. Отряд, в котором находилось пятьдесят безработных, купил в складчину шесть хлебов. Эти шесть хлебов должны были накормить пятьдесят человек. Резкий, холодный ветер пробирался сквозь худые пальтишки.

В девять часов утра был очищен Северный вокзал. Повстанцы занимали Сад-город. Артиллерия начала громить и жечь домишки рабочих. Тогда повстанцы, не желая лишать крова своих братьев, ушли из Сад-города. Они теперь находились в Едлезе. Артиллерия продолжала свое дело. Падали стены, и горели лачуги.

Около пятисот повстанцев держались на газовом заводе. Войска прислали ультиматум: «Если в течение двадцати минут

мятежники не сдадутся, завод будет обстрелян артиллерией». Взрыв на газовом заводе означал гибель всех окрестных домов. Рабочий Д. сказал: «Мы сами решили умереть. Но надо подумать о других...» Повстанцы решили очистить завод. Начальник отдал последний приказ: «Кто хочет пробиваться с оружием в руках, пусть следует за мной. Но предупреждаю — это верная гибель. Остальные пусть бросят оружие — спасайся, кто может!»

На завод ворвались полицейские. Они били рабочих прикладами. Шесть человек были прикончены неподалеку от завода.

Полицейские обыскивали дома Флоридсдорфа. Они ломали скудную мебель. Они глумились над запуганными женщинами. Мужчин они уводили с собой, крича: «Мы проучим этих красных мерзавцев!»

Особенное рвение проявили те полицейские, которых рабочие обезоружили в первый день восстания. Они как бы мстили повстанцам за их великодушие. Они разыскивали «зачинщиков», и, увидев рабочего Ш., который накануне спас им жизнь, три полицейских нагнулись на него и, повалив наземь, начали сапогами бить по лицу.

Рабочий П. взял в руки деревянную лошадку: это была игрушка его трехлетнего сына. Он сам не понимал, почему он это делает. Он вышел на улицу с игрушкой, и деревянная лошадка спасла его. Солдаты в изумлении посмотрели на человека, который шел среди развалин и трупов с деревянной лошадкой в руках, и они его пропустили.

В одном из домов слесарь М. продолжал отстреливаться. В комнате было несколько винтовок, оставленных повстанцами. М. стоял у окна и стрелял. Вдруг он тихо вскрикнул и упал на пол. Его жена, которая пряталась в коридоре, вбежала с воплями. Полицейские начали ломать забаррикадированную дверь. Тогда три сына слесаря схватили винтовки и начали стрелять. Старшему было шестнадцать лет, младшему десять. Полиция дала несколько залпов по окну. Когда дверь была наконец-то взломана, в комнате валялись тела. Слесарь и два его сына были убиты, жена и третий сын тяжело ранены. Об этом маленьком происшествии во Флоридсдорфе можно написать большую книгу. Можно также рассказать об этом коротко и жестко: десятилетний Карл, который еще любил дешевые леденцы и детские проказы, умер, как умерли сотни и сотни рабочих Вены.

Семьдесят повстанцев решили попытаться с оружием в руках дотйти до чехословацкой границы. За ними гнались полицейские автомобили. Несколько раз в пути начинался бой. У повстанцев не было ни хлеба, ни воды. Они ели снег. Многие не выдерживали и падали. Полицейские приканчивали свалившихся. Наступила ночь. Рабочие шли наугад, не зная, что перед ними. Потом рассвело. Они шли дальше. Свалилось еще десять или двадцать человек. Над ними летал полицейский самолет. В них стреляли сзади, спереди, слева и справа. Они останавливались и одеревеневшими от холода пальцами хватались за курки. Наступила вторая ночь. Позади их путь был помечен трупами. Вдруг в темноте они увидели вокзальный фонарь. Они навели винтовки и хотели стрелять. Из темноты раздался голос. Человек говорил на чужом языке: это был чешский часовой. Они прошли свыше восьмидесяти километров. Вначале их было семьдесят человек. Сорок семь дошли. Остальные погибли.

Чехи разоружили дружинников, и наутро к ним приехал корреспондент пражской газеты. Просто и сухо они рассказали ему о пяти днях. Корреспондент воскликнул: «Это героизм!» Рабочие ответили: «Мы сражались, как другие». Корреспондент спросил: «Что же вы собираетесь делать теперь?» Сорок семь повстанцев ответили: «Мы хотели бы добраться до Советского Союза».

## Первая виселица

Вице-канцлер не знал ни отдыха, ни покоя. Он победил рабочих. Но его ждали новые труды: он должен был отомстить «красным негодьям». Еще гремели пушки в Флоридсдорфе, а во дворе суда уже сколачивали виселицу. Палач Вены был отослан в Линц. Пришлось нанять нового, — разумеется, приверженца «Патриотического фронта». Зато о судьях не приходилось беспокоиться: судей в Вене хватало.

Первым судили безработного Мюнихрайтера. Во время боя возле Дома Реймана он был ранен в руку и в бедро. Пуля расщепила ему кость, и он свалился, потеряв сознание. Его подобрали

полицейские. Они его кинули в темную камеру. Иногда он приходил в себя и кричал от боли. Это было в понедельник. Вице-канцлер не хотел медлить, и в среду Мюнихрайтера на носилках потащили в суд. Адвокат попробовал было заикнуться о тяжелых ранах подсудимого. Председатель ответил, что препятствием к судебному разбирательству может служить тяжелая болезнь подсудимого, но никак не тяжелые раны. Полицейский врач признал, что Мюнихрайтер «способен предстать перед судом». Врач, разумеется, был прав. Мюнихрайтер не мог стоять на ногах. Он не мог шелохнуться. Но у него еще была шея, и, следовательно, его можно было повесить. Судьи торжественно расселись по местам. Председатель сказал: «Подсудимый, встаньте!» Мюнихрайтер ничего не ответил, и председатель сделал вид, что он не заметил поведения подсудимого. Из раны Мюнихрайтера продолжала сочиться кровь. Может быть, запах крови и дошел до судей, до адвокатов, до развязных писак, которые представляли здесь «свободную прессу», но он никак не смутил их. Они ведь знали, зачем они собрались сюда. Мюнихрайтер тихо промолвил — он не мог сказать громче, у него не было сил: «Я сделал то, что мог. Я боролся. Я готов умереть за дело рабочего класса». Тогда председатель раздраженно махнул рукой и прочел приговор: «Присуждается к смертной казни через повешение». Он пошептался с секретарем. Может быть, он спросил секретаря, готова ли виселица? Потом он объявил, что Мюнихрайтер будет повешен ровно через три часа, и, сказав это, он важно удалился.

Мюнихрайтеру было сорок пять лет. Это был невысокий худой человек. Его лицо хранило следы многолетних лишений. Он на себе испытал, что такое безработица. Он состоял в подпольной левой «оппозиции» социал-демократов, и районные вожди не то в шутку, не то с опаской звали его «большевиком». Когда его притащили к виселице, собравшись с силами, он крикнул: «Скоро вам крышка! Да здравствует рабочая власть!» На следующий день репортеры написали в своих газетах: «Слов нет, этот убийца умер храбро, но перед смертью он все же оскорбил присутствовавших грубой марксистской бранью».

Как вороны, почуя поживу, слетелись в Вену представители буржуазных газет всего мира. Они прилежно заносили правительственные басни на телеграфные бланки. Особенное усердие проявили французы. Они забыли даже о том, что г-н Дольфус

изменил парижским банкирам ради римского солдата. Они помнили только о широте и любезности своих австрийских хозяев. Кто знает, сколько франков, полученных в свое время г-ном Дольфусом, вернулось в Париж? Здесь был и верный друг румынской сигуранцы г-н Жео Лондон, и писатели братья Таро, которые, прославив сначала Хорти, а потом Гитлера, поспешили прославить маленького Дольфуса. Журналисты слали телеграммы в Париж, в Рим, в Лондон. Они сообщали о «домах-крепостях», о рабочих, которые грабят магазины, о повстанцах, которые прячутся за спинами женщин.

Вот вся эта веселая братия сидит в бюро прессы. Им сообщают о первом смертном приговоре. Аккуратный англичанин смотрит на часы и говорит: «Я позвоню вам ровно через три часа, чтобы проверить, действительно ли он повешен».

## Эпопея Брука

В Бруке тысяча повстанцев защищала холм над городом. Правительственная артиллерия находилась на горе рядом с часовней. Валлиш решил ударить войскам в тыл. Шестьсот человек остались на холме, а четыреста, под предводительством Валлиша, отправились в путь по горам. Они тащили на себе пулеметы и патроны. У них не было провианта. Они поднялись на высоту тысячи четырехсот метров. Они шли по глубокому снегу, завязая в нем и падая. Рядом с Валлишем шла его жена. Они шли, не останавливаясь, восемь часов. Против них были посланы солдаты на лыжах. Повстанцы отбили атаку. Началась снежная метель. Была ночь, а повстанцы все шли и шли.

В ночь со среды на четверг к ним пришел вестовой от семисот рабочих. Он рассказал, что сопротивление сломлено и что рабочие расходятся по домам. Он сообщил также, что в Вене все кончено. Тогда Валлиш сказал своим дружинникам: «Спасайтесь и вы. Если вас поймают со мной, вам будет плохо». Он простился с товарищами и ушел. С ним пошла его жена.

Правительство объявило награду в пять тысяч шиллингов за голову Валлиша. Это была толика тех франков, которые дали г-ну Дольфусу французские радикал-социалисты. Щед-



рость австрийского правительства объяснялась славой, которой был окружен Валлиш во всей Штирии. О нем говорили не как о партийном чиновнике, но как о бесстрашном защитнике всех угнетенных. Это походило на старые песни о благородных разбойниках, которые мстили богатым за горе бедных.

Валлиш хотел пробраться до границы Югославии. Товарищи достали автомобиль. Но напелся человек, которого прельстили пять тысяч шиллингов. Это был железнодорожный служащий. Кто в Штирии не знал Коломана Валлиша?.. И, опознав беглеца, доноситель блаженно улыбнулся: он уже видел связку кредиток. Он побежал к телефону и вызвал жандармов.

Когда Валлиша судили, здание суда походило на крепость: судьи явно трусили. Они поставили возле ворот не только пулеметы, но даже пушки. Валлиша привезли закованного в цепи. Очевидцы рассказывают, что на суде он мало говорил. Он только внимательно глядел на судей, и судьи отворачивались. «Последнее слово принадлежит вам», — сказал председатель. Валлиш посмотрел на него в упор и сказал: «Я боролся за дело рабочих. Вы меня поймали. Значит, вы должны меня повесить. Я знаю, что меня ждет, и нечего об этом разговаривать. Но знаете ли вы, что вас ждет, когда наконец-то победят рабочие?..»

Приговор должен был быть приведен в исполнение через три часа. Это были тяжелые часы и для судей, и для жандармов, и для палача. Кто знает, почему они так боялись этого закованного в цепи человека? Его поволокли к виселице в цепях. Он умер стойко и просто.

Железнодорожный служащий, слюнявя пальцы, считал ассигнации. Он сказал своему приятелю: «Я выиграл несколько шиллингов — вроде как лотерея».

Во всех городах и поселках Штирии рабочие говорили друг другу: «Они повесили Валлиша», — и в том, как они произносили это слово «они», была разгадка той дрожи, которая пробирала судей, жандармов и палача. Услышав разговор двух рабочих на станции, железнодорожный служащий побелел от страха. Он зарыл деньги в палисаднике. Он не спал несколько ночей. Потом? Потом пришел рабочий и застрелил предателя. Это было ровно через десять дней после казни Коломана Валлиша.

## Когда буржуазия побеждает

В четверг бои кончились. Прохожие поспешили украсить себя красно-белыми значками «Патриотического фронта». Это было далеко не излишней предусмотрительностью: полицейские хватали «подозрительных» людей, отводили их в участок и там избивали. Изредка раздавались выстрелы. Но трупы были убраны с мостовых, и правительство заявило, что через два дня откроются все театры.

Венцы шепотом повторяли страшные цифры. Никто не знал в точности, сколько человек убито. Вице-канцлер, преисполненный авторской скромностью, заявил, что представитель законной власти убили всего-навсего двести человек. Но этому не поверили даже французские журналисты. Считалось благоразумным на соответствующие вопросы отвечать скорбной улыбкой. Кое-кто, однако, проговаривался. Заведующий анатомическим театром признался, что через его заведение прошло не менее шестисот трупов. Врач одного из госпиталей упомянул об одиннадцати ребятах, скончавшихся от ран. Сторож еврейского кладбища рассказал, что в течение двух дней рабочие вырыли семьдесят могил. Хоронили далеко не всех убитых. Многие из обывателей видели, как полиция скидывала трупы в Дунай и в канавы. Ни жены, ни матери, ни дети убитых не знали, что стало с телами их близких. Одни говорили, что их держат в погребках мертвецкой. Другие уверяли, что трупы тайком зарыты в общую могилу. Вице-канцлер хотел мстить даже мертвым.

Несколько огромных помещений были отведены для содержания арестованных. Однако места в них не хватало. Три тысячи рабочих и служащих были загнаны в казармы. Среди них было много женщин. Арестованных морили голодом. Время от времени их методично избивали.

Одни из геймверовцев выворачивали челюсти, другие предпочитали ломать ребра. Истязали арестованных не только трусливые герои князя Штаремберга. Полицейские считали себя победителями: они рисковали своей шкурой, они хотели теперь воспользоваться законной наградой. Это было соревнование истязателей.

В тюремный госпиталь полицейские привезли тяжело раненого рабочего по имени Коль. В его карманах нашли патроны.

Тюремный врач угрюмо сказал: «Коек не хватает...» Полицейские поняли и здесь же прикончили раненого.

Одна высокопоставленная дама разыскивала своего племянника, который пропал в дни уличных боев. Она объезжала различные места, где находились арестованные. В Мессепаласте ей предложили сквозь верхнее окошечко осмотреть подвал: может быть, она опознает своего племянника. Дама подошла к оконцу и зашаталась. Предупредительные полицейские усадили ее на скамью и принесли стакан воды. Она вскоре открыла глаза, посмотрела на полицейских и сказала: «Почему у них на лице кровь?» Полицейские ничего не ответили.

Арестованные простояли несколько дней: не было места, чтобы лечь. Один рабочий от побоев лишился рассудка. Когда его выпустили, он молчал. Он зашел в чужой дом, поднялся по лестнице на пятый этаж, а оттуда прыгнул вниз. У рабочего З. после побоев вытек глаз. Надо ли удивляться, что кардинал Иннитцер с утра до ночи молился за здоровье христолюбивого вице-канцлера?..

Для соблюдения законности некоторых не забивали насмерть, но вешали. Судьи, однако, старались ничем не отличаться от полицейских: они тоже «отводили душу». Вот судят рабочих, которые защищали Дом Реймана. Распухшие от побоев лица, закрывшиеся глаза, кровоподтеки. Один из подсудимых заявляет председателю: «Я, да и все наши были избиты и изувечены». Председатель суда г-н Байер говорит: «Я надеюсь, что каждый удар попал в цель».

Палач не знал устали. Один за другим следовали смертные приговоры. Подсудимые не каялись и не просили милости. Сапожник Шварц, один из защитников Дома Гете, слушающая речь прокурора, улыбался. Председатель сказал Шварцу: «Почему вы смеетесь? Ведь речь идет о вашей голове». Шварц ответил председателю: «Вот поэтому я и смеюсь — у меня ведь всегонавсего одна голова...»

Когда судили начальника пожарной дружины Георга Вейзеля, председатель суда, желая показать, что и он способен на человеческие чувства, сказал английскому журналисту: «Этот Вейзель действительно герой...» Сказав это, председатель удовлетворенно усмехнулся: он знал, что палач уже подбирает для героя веревку покрепче.

Вейзель был инженером. Как и Мюнхрайтер, он состоял в «левой оппозиции» социал-демократической партии. Он

поддерживал связь с рабочими-коммунистами. Он не был ни митинговым оратором, ни теоретиком. Это был скромный и тихий человек, переживший тяжелое детство. Он учился на крохи, и с ранних лет он узнал нужду. Никто из товарищей не догадывался, что в застенчивом инженере живет душа героя. На суде он думал об одном: как бы спасти пожарных. Вейзель показал, что он насильно заставил пожарных сражаться. «Я грозил им револьвером, если они не будут стрелять». Это был не подсудимый, но защитник. О себе он не думал: он хорошо знал, что его ждет. Он только сказал, что верит в правоту своего дела и в победу социализма. Он отстоял своих товарищей: им дали долгосрочные каторжные работы. Его же выдали палачу.

Одних подсудимых судьи приговаривали к виселице, других к каторге. Они поняли свое назначение и не оправдали ни одного человека. В законах старой Австрии немало иезуитской жестокости. Читая приговор, судья напоминал присужденному к вечной каторге, что всякий раз в годовщину совершенного им «преступления» или, говоря иначе, в годовщину восстания его будут сажать в темный карцер на хлеб и на воду.

Французским радикалам и английским гуманистам стало несколько не по себе: виселица в той самой Австрии, которая, по отзывам европейской печати, является оплотом «свободы и независимости», становилась неудобной деталью. Посланники сделали г-ну Дольфусу дружественные представления. Г-н Дольфус публично обещал больше не вешать повстанцев. Это было опубликовано во всех газетах. Два дня спустя палач в Линце накинул петлю на шею очередного рабочего. Г-н Дольфус, однако, разъяснил, что этот рабочий повешен не за участие в восстании, но за убийство, так как он «стрелял в полицейских». Французские радикалы и английские гуманисты облегченно вздохнули.

Правитель Венгрии г-н Хорти с нескрываемым восторгом читал телеграммы из Вены. Они его молодили. Невольно вспоминались те незабываемые дни, когда венгерские магнаты сводили свои счета с рабочими. Г-н Хорти отправил вице-канцлеру Фею высший знак отличия. Это было, разумеется, глубоко дипломатическим актом, подчеркивающим возможность тесного объединения двух государств. Это было также свидетельством профессиональной солидарности.

Председатель венского «Общества покровительства животным» г-н Купка открыл годовичное собрание. На этом собрании было постановлено выпустить серию открыток под названием «пляска смерти». Открытки должны открыть кампанию протеста против боя быков и других видов дурного обращения с животными. Пожалев несчастных быков, которые понапрасну гибнут в Кастилии, собрание постановило выбрать милосердного вице-канцлера Фей почетным председателем общества.

Сорока девяти усмирителям устроили торжественные похороны. Посольства спустили флаги, и газеты вышли в траурной кайме. Представители правительства произнесли трогательные речи. Вице-канцлер Фей поблагодарил всех, кто «воспрепятствовал утверждению в центре Европы советской диктатуры». Это относилось и к мертвым жандармам, и к благополучно работающим палачам, и к мудрым итальянцам, которые помогали «маленькому канцлеру» с помощью гаубиц, блиндированных поездов, самолетов и броневиков одержать победу над австрийскими рабочими.

«Союз домовладельцев» решил отпраздновать победу над рабочими: он постановил разукрасить все дома национальными флагами.

Ребята графа Штаремберга резвились в ночных кабаках. Одно только смущало их: у них не было рубашек. Не следует это понимать буквально, — рубашки у них, разумеется, были, даже хорошего качества: буржуазия умеет оплачивать мелкие услуги. Но у геймверовцев не было цветных рубашек, а без них порядочным фашистам стыдно теперь показаться на люди. Черный, коричневый, даже голубой цвета были уже разобраны. Белощвейки Вены принялись шить второпях тысячи зеленых рубашек.

Главный раввин Австрии г-н Фейхтванг приказал банкирам Моисеева закона, во-первых, поблагодарить господ бога за ниспосланную им победу над рабочими, во-вторых — выписать несколько крупных чеков для семейств «павших героев».

Знаменитый актер Макс Палленберг заявил, что он вполне счастлив: «Это странно, но я счастлив». Макс Палленберг репетировал роль «Последнего венца», который, пренебрегая прозой жизни, наслаждается «мечтами».

Возле разрушенных домов останавливались прекрасные автомобили, и любопытные дамы, никогда дотоле не бывавшие

в рабочих кварталах, обозревали развалины. Дамочки были сердобольными, и они искренне жалели полицейских: «Поглядите, из этих крепостей марксисты стреляли в народ!..»

Автоматические часы показывали: без пяти минут двенадцать. Часы остановились в понедельник, их еще не успели исправить. Впрочем, беспечные дамы не были склонны оценить всю иронию циферблата.

Каждый день кончали с собой семьи погибших рабочих. Отравились газом мать и четверо детей во Флоридсдорфе. Повесилась жена убитого токаря в Майдлинге. В Линце рабочий, которого должны были арестовать, бросился под поезд.

Правительство не только разгромило профсоюзы и кооперативы: в списке организаций, представляющих опасность для государства, значилось также: «Клуб рабочих футболистов», «Рабочий шахматный кружок», «Рабочее певческое объединение» и даже «Союз владельцев маленьких садиков и кролиководов».

Вице-канцлер указал на необходимость очистить дома, построенные городским управлением, от «марксистских элементов». Было решено вселить в рабочие дома из геймвера и штрейкбрехеров из «Патриотического фронта».

В воскресенье, 18 февраля, когда венская буржуазия успела уже позабыть о пережитых ею тревогах, когда декреты об осадном положении и о виселицах уступили место театральным афишам — «Балу в Савое», «Мы хотим мечтать» и «Девушке с темпераментом», — возле Дома Реймана к отряду геймверовцев подошли несколько рабочих. Раздались выстрелы. Один геймверовец свалился на землю. Это было последним отголоском февральских дней.

«В банке Австрия!»

«Маленький канцлер» может торжествовать. Он получил от французов деньги, а от итальянцев пушки. Он припугнул еврейских банкиров присоединением к Германии. Знать и генералов он соблазнил возможностью реставрации: двуглавый орел должен был восстать из венского пепелища. «Маленький канцлер» знал, что наемная солдатчина ему не изменит. Он одержал победу, и не его вина, если эта победа окажется кратковременной.

Для вешателей г-н Дольфус чересчур «либерален». Он ведь в былое время хотел идти на мировую с «марксистами». Вешатели предпочитают г-на Фейя. Генералы хотят императора Отто. Что касается кулаков и храбрых фельдфебелей, то они жаждут присоединения к Германии.

Слово «Австрия» по-прежнему не сходит с газетных столбцов: это, однако, не игрок, это карта. Карте не полагается ни говорить, ни тем паче действовать. Она должна лежать на столе, и ей предоставляется только одна свобода: переходить из рук в руки. После победы Дольфуса над рабочими Австрия окончательно перестала существовать как страна, — она превратилась в абстрактный плацдарм, в некое новое «Сараево». Война, которая, как переселяющиеся души легенды, долго слонялась по миру, теперь, кажется, твердо облюбовала эту злосчастную землю.

Германские фашисты уже расправились и с еврейскими дантистами, и с негодными им пасторами, и с либеральными режиссерами. Им больше нечего делать в своей стране. Они ведь не могут ни строить, ни работать, ни учиться. Они должны петь военные песни и бить стекла. Они знают, что вне этой военной суматохи они покажутся второразрядными клоунами. Но как найти применение для миллионов рук, которые чешутся уж не первый год? Со всех сторон — хорошо охраняемые границы. Воевать они еще не могут. Ждать они уже не хотят. Тогда?.. Тогда остается Австрия.

Они искренне радовались, пока «Миллиметтерних» расстреливал рабочих. Опытные демагоги, они сразу оценили все преимущества подобной операции: черную работу выполнили другие. Они смогут прийти в страну, уже очищенную от «марксизма», не как вешатели, но как «освободители». Они учитывали ненависть рабочих к Дольфусу, и они считали, что партия выиграна.

Среди вождей геймвера было немало сторонников присоединения к «третьей империи». Шли переговоры. Германские журналисты возмущались «кровожадностью Дольфуса». Германские дипломаты улыбались вице-канцлеру и князю Штарембергу. Все шло как по-писаному, и вождь австрийской партии национал-социалистов уже готовился к переезду из Мюнхена в Вену.

Однако другой игрок не дремал. Черные рубашки могли трогательно брататься с коричневыми, пока разговор шел о высо-

кой идеологии: о касторке или о концлагерях, о Липарских островах или о застенках Геринга. Когда перед неразлучными друзьями оказался лакомый кусок, они сразу позабыли о «духовном братстве». Они начали осыпать друг друга бранью.

Несколько месяцев тому назад газеты сообщали о намерении фашистов организовать свой «интернационал». Мы знаем немало диковинных объединений. Мы знаем, насколько сильна профессиональная этика, которая связывает членов различных воровских союзов. Можно объединить нищих, карточных шулеров, проституток: они поделят между собой «сферы влияния». Но нельзя создать интернационал фашистов. Единственный пафос фашизма — это мечта о «великой империи» или, выражаясь проще, жажда урвать кусок у соседа. Два фашизма рядом — это война. Украд у рабочих слова «революция» или «социализм», они думали попользоваться еще одним словом — «интернационал». Они не понимали, что рабочие различных стран действительно связаны друг с другом одним горем и одной борьбой. Чем же закончился их фашистский «интернационал»? Несколькими экскурсиями в Мюнхен и в Рим, а вскоре после этого австрийским раздором.

Погладив по головке «маленького канцлера», Италия решила, что ее час настал. Если германцы окажутся в Северном Тироле, то они, чего доброго, вспомнят и о Южном — там прекрасный климат, и притом там немало людей, которые до сих пор, хотя бы шепотом, говорят по-немецки. Так был выдвинут проект воссоздания Австро-Венгрии. Против него восстали и Малая Антанта и Франция. Чехи и сербы стали поговаривать о мобилизации. Германские фашисты неожиданно оказались яростными республиканцами. Слово «Габсбурги» приводило их в негодование. Рим учел положение и, взяв карту назад, решил выжидать. Тогда снова стали разрываться на улицах австрийских городов привезенные из Берлина пегарды.

Французы и чехи понимали, что они оказались ни с чем. Они хотели было примазаться к игре, но их отстранили. Тогда они начали гадать: какой игрок опасней? Все думали, что они исполнят марш Радецкого. Но они справедливо опасаются игрока с жесткими подстриженными усиками. Следовательно, они почти согласны на присоединение Австрии к Германии: они хотят расорить двух игроков.



Так они блефуют и передергивают карты: партия все еще длитя. Крупье кричит: «В банке Австрия!» Где-то на самом деле существует страна, называемая «Австрией», и в ней живут живые люди, в ней живут рабочие, раздавленные, порабощенные, несчастные. Они не знают, что их труд и кровь — это только карта на игральном сукне великих держав.

## Начало новой главы

Гражданская война в Австрии не кончилась. Рабочие проиграли только первую битву. У них было много отваги, но у них не было ни настоящей боевой организации, ни опытных вождей, ни политической мудрости, ни стратегического плана. Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они согласны были на капитуляцию. Они хотели сохранить не оружие, но погоны: право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как это сделали их германские собратья, либо защищаться.

Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись. Когда они взялись за оружие, всем стало ясно, что они способны только на партийные регистрации или на парламентские голосования. Они не решились взорвать железнодорожные мосты, хотя у них был динамит. Они не реквизировали провиант для повстанцев. Они не заняли ни одной типографии. Зная наперед кровожадность своих противников, они не взяли заложников. Это были не только штатские на поле брани, это были присяжные миролюбцы, толстовцы, вегетарианцы в роли бомбометателей и фельдмаршалов. Каждый из социал-демократов, принявший участие в восстании, спас свою личную честь. Все скопом они никак не спасли чести своей партии. Смелчаки Флоридсдорфа, которые добрались до чехословацкой границы, были членами социал-демократической партии. Они заявили о своем желании уехать в Советский Союз. Три дня в пороховом дыму не прошли даром. Пушки Фея и растерянность социал-демократических вождей сделали то, чего не могли сделать никакие книги. Путь австрийским рабочим был указан.

Кровь повстанцев не пролилась даром. Для рабочих всего мира февральские дни в Австрии — это начало новой главы. Когда германский пролетариат, обессиленный и долголетним голодом, и частыми разрозненными вспышками, и низким предательством различных Лебе, без боя очистил позиции, рабочий мир пережил тяжелую минуту. Фашисты повсюду наступали. Они чувствовали себя господами положения. Они не верили в отпор. Рабочие нуждались в высоком примере, в эпопее мужества, в романтике борьбы, в напоминании о том, что рабочие умеют и драться один против десяти, и штурмовать вражеские позиции, и умирать, как умерла Коммуна, и побеждать, как победила Москва. Двенадцать рабочих в Доме Карла Маркса погибли, прикрывая собой отступление. Много и много сотен австрийских рабочих погибло, но своей смертью они открыли возможность наступления.

Инженер Георг Вейзель, вождь пожарных Флоридсдорфа, когда его подвели к виселице, воскликнул: «Да здравствует революция! Да здравствует Советский Союз!»

**Статъи**





## Откровенный разговор

У меня в Москве не было квартиры, и жил я в гостинице. Как-то вечером ко мне в комнату пришел официант и, весело ухмыляясь, сказал:

— Чаю вам завтра не будет. И вообще ничего вам завтра не будет...

Я ласково поглядел на него и возможно сердечней ответил:

— Спасибо!

Я боялся его раздражить — с чудаками и маньяками лучше всего быть сугубо вежливым: бедняга, наверно, заболел. Я спокойно лег спать. Но утро, как ему и подобает, оказалось мудрее вечера: утром я понял, что если кто-нибудь душевно и заболел, то никак не официант. Чаю мне не дали. Стало очевидным, что в доме происходит нечто катастрофическое. Я выглянул из комнаты и сразу успокоился: ну как же я раньше не догадался — в гостинице киносъемка! Экран великая вещь, от него многие теряют голову. Кто знает, может быть, мой официант — это никому не ведомый Чаплин?..

Я начал медленно спускаться по лестнице, изучая бутафорию и фигурантов. На каждой ступеньке стояли два горшочка преглухих цветочков. Такие же цветочки обрамляли и путь в ресторан. Над горшочками высились фигуранты. Здесь были горничные в опереточных чепчиках, они наклоняли голову то направо, то налево. Здесь были древнерусские половецкие, тщательно заимствованные из «Мертвых душ». Эти были выражены в зеленые рубашки. Они стояли неподвижно, как на часах. Время от времени раздавалась команда. Я теперь твердо знал, что «Межрабпом» решил заснять еще один исторический фильм. Одно смущало меня: я никак не мог разыскать ни камеры, ни оператора. Робко спросил я: «Что это?» Мне ответили: «Репетиция». Тогда еще тише, чтобы не нарушить молитвенной тишины, я шепнул:

— Но кто же? Эйзенштейн? Довженко? Пудовкин?..

Гражданин сурово оглядел меня и ответил:

— Интуристы... Через час придут...

Через час действительно прибыли иностранные туристы. Они увидели горшочки с цветочками на каждой ступеньке, зеленорубашечных коридорных, которые низко кланялись приезжим,

горничных в наколках, перепуганно шуршавших лифами, и много другого, столь же показательного для жизни нашей страны. Их провели в большой зал, там красовались солонки с пегушками, плохие иконы работы суздальских богомазов, бирюльки в виде богатырей и богатыри в виде бирюлек. После эстетических эмоций иностранцев решили покормить. В ресторане еще ниже зеленорубашечных коридорных склонялись белорубашечные официанты. Гостей потчевали не только телесной пищей, но и духовной: все время музыканты исполняли «На простор речной волны...». Эту «волну» туристы уже хорошо знали по белогвардейским шашлычным Парижа, Берлина и Лондона, где сиятельные князья в бегах аристократически выключивают чаевые; и, слушая знакомую мелодию, интуристы могли спокойно рассуждать о том, что так называемая «славянская душа» — это и есть ширпотреб шестой части света.

Проходя по коридору, я столкнулся с одним из приезжих. Я слишком хорошо знаю эти лица. Я прочел в его глазах вежливую усмешку. Он, наверное, был вполне удовлетворен обедом. Но все же он думал о суете сует. Он спрашивал себя — стоило ли покрывать тысячи и тысячи километров, стоило ли взволнованно ожидать видения нового мира, чтобы после всего упасть на нелепую пародию европейского шантана?..

Мне хотелось подойти к нему и любезно сказать:

— Дорогой турист, я много ездил по свету, и я знаю по себе, как трудно понять чужую жизнь. Я хочу вам сказать одно: не думайте, что вы приехали в Советский Союз. Нет, вы еще не видели нашей страны. Вы видели только одну гостиницу, которой заведуют наивные люди, не знающие разницы между комфортом и шантаном, между гостеприимством и услужливостью. Это маленькая дорожная неприятность, дурная сказка — и только.

Я не подошел к интуристу — я побоялся, что он и меня примет за какого-нибудь статиста из несостоявшейся постановки — за богатыря с солонки, за гоголевского полового или, в лучшем случае, за Стеньку Разина. Однако по-человечески мне жаль этого человека. Я хочу написать то, чего я ему не сказал. Может быть, эти строки дойдут если не до него, то до его собратьев.

Мосье Дюран из Перпиньяна, мистер Дэвис из Ливерпуля, герр Шульд из Цюриха, не поддайтесь столь легкому искушению — не судите нашу страну по маленькой скверной сказке. У нас есть много прекрасных сказок, и, кажется, мало будет тысячи и одной ночи, чтобы их пересказать. Кроме пяти адми-

нистраторов гостиницы и кроме пятидесяти невольных фигурантов, имеются у нас сто пятьдесят миллионов, которые работают, думают, борются и живут. Вы видели на вашем веку немало кабаков, челяди и дребедени. Но в нашей стране вы можете увидеть то, чего вы еще никогда не видели. Не смотрите на меня с усмешкой. Я ведь полжизни прожил в вашем мире. Я не собираюсь вас ошеломить ни образцовыми электрическими станциями, ни превосходными домнами, ни Метростроем. Я знаю, что именно вы видели и чего вы никогда не видали. Будь я вашим гидом, я показал бы вам людей, которые строят вот эти станции, домны и метро, и я знаю, что здесь бы вы замерли в глубоком изумлении, ибо вы видели водопад Ниагары, бойни Чикаго, Вестминстерское аббатство, развалины Помпеи, огни парижских бульваров, — слов нет, вам в жизни повезло, вы многое видели, но вы не видели одного: наших новых людей.

Ваши бюро путешествий устроены лучше: мы работаем над этим пять лет, а вы полтора. Вы знаете, что показывать иностранным туристам. Мосье Дюран, вы видели в Париже автокары с английскими туристами, и вам хорошо известен их маршрут. Они не попадут, заблудившись, в рабочие кварталы. Англичане так и не узнают, что такое Бельвилль, Меньильмонтань или Вильянкур. Опытный гид покажет им Венеру Милосскую, химеры Нотр-Дам и сады Версаля. Когда они передохнут после дневных трудов, к гостинице подъедет новый автокар с надписью: «Париж ночью». Этот автокар не остановится у одного из мостов Сены, и туристы не увидят горемык, которые, скорчившись, спят под мостом. Нет, гид повезет интуристов на Монмартр, где много ложной мишуры и наемного веселья. А вы, мистер Дэвис, разве вы не знаете, что показывают французам гиды «Кука и сына»? Когда, будучи в Лондоне, я сказал, что хочу поехать в Манчестер, мои английские друзья изумились — в Манчестере интуристы не ездят, в Манчестере идет холодный дождь, черный от сажи, и под этим дождем бродят безработные, не зная, куда им деться. Туристы ездят в Виндзор или на озера. Они осматривают Британский музей, и они любят часы возле королевского дворца. В Испании их отвозят в Аранхуэс или в Альгамбру. Они не знают, что сотни тысяч испанских батраков, изголодавшись, крадут барские желуди и что каждый день гвардейцы, в пляпах из оперы «Кармен», убивают живых людей, которые поют отнюдь не арию тореадора, но «Интернационал».

Да, в ваших странах, граждане интуристы, приезжим показывают прекрасные вещи: дворцы, музеи, церкви и развалины, все, что создано двести, триста или пятьсот лет назад. Честные туристы становятся поневоле археологами. Вы показываете также отменные пейзажи, неповторимую и тончайшую красоту Иль-де-Франса, яркую зелень Уэллса, скалы Бретани, снежные хребты Пиренеев. Наконец, снисходя к человеческой слабости, вы включаете в программу для туристов мюнхенские пивные, винные погреба Хереса, буафорские кабачки площади Тертр. Вы показываете ваше великое прошлое, те древние камни Европы, о которых с благоговением думают наши комсомольцы в Магнитке или в Кузбассе, те древние камни, которые созданы вашими дедами и теперь принадлежат уже не одной нации, но всему мыслящему миру. Вы показываете также величие природы, гармонию холмов, дикость океана: это было, есть и будет. Вы показываете, наконец, несколько принаряженных кварталов: Кюрфюрстендам, Пикадилли, Елисейские поля. В окнах модных магазинов стоят восковые манекены, и они призрачно улыбаются восковыми улыбками. На них написано: «Лето 1934 года». Но летом 1934 года в ваших городах люди разучились улыбаться. Они хмуро смотрят на манекены, и с парадных улиц они сворачивают в сторону, где сторожат их нужда и заботы, где цепенеют хвосты безработных, где угрюмо резвятся шайки фашистов. Вы не показываете туристам вашего настоящего, и вы трижды правы: во имя Бальзака отвернемся от романов Декобра, во имя Гете забудем о Бальдуре фон Ширахе, во имя Робеспьера и Сен-Жюста промолчим о Стависском, во имя тех, которые строили и трудились, не скажем ничего о тех, которые теперь ломают машины, убивают племенных коров и жгут плодовые сады, возвращенные и взлелеянные опытом многих поколений.

Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, я не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка», только потому, что налево стоит очередь. Я не побоялся бы показать вам и очередь — у нас теперь все хотят всего. Ваши магазины завалены товарами, но в ваших магазинах пусто: люди смотрят на товары и идут дальше.

В нашей стране еще вдоволь нужды, косности и невежества: мы ведь только-только начинаем жить. Мою книгу я назвал «День второй», это еще не седьмой день, когда в сотворенном



мире можно отдыхать и вкушать прекрасные плоды. Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам окончательно освободиться от того жестокого наследства, которое нам оставила история.

Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились. У нас имеются бюрократы, способные во имя бумажки извести товарища. Я видел мать, которая провела четыре ночи над трупом своего ребенка: ребенок умер в санатории до того, как его успели прописать, и фанатики бумагопроизводства не хотели выдавать свидетельства о смерти. На пятый день эти крючкотворцы решили прописать мертвого. Это очень скверная сказка. В Горьком я видел бараки рабочих, где семейные все еще спят на койках без перегородок — вперемежку молодые жены, дети, старики. Это жестокая сказка,— вы видите, я не скрыл ее: я знаю, что через несколько лет молодые будут слушать эту сказку с недоверием, как с недоверием теперь слушают молодые рассказы о прекрасном и невыносимом 1920 годе. В Воронеже я видал десятки домов для рабочих, они только что отстроены, и они похожи на самые мрачные казармы. Я видал людей, которых тупые чиновники выгоняли из вокзала под проливной дождь. Я видел столовки, зловонные, как ад, озелененные грязными бумажными цветами.

Я видел много плохого, и я не собираюсь скрыть это от вас. Герр Шульц из Цюриха, наша страна не один швейцарский штат, да и не Швейцария — это в точном значении шестая часть света. Нелегко ее вымыть и подмести. Нелегко обучить наших людей вежливости и вниманию к своим товарищам. Они уже знают, что социализм строится для счастья человека, но еще не все из них поняли, что социализм — это дело сегодняшнего дня, что надо разгрузить людей от ненужных забот, что надо избавить их от излишних трудностей, что надо наполнить нашу страну смехом, радостью, песнями и цветами. Вы можете брезгливо морщиться, граждане интуристы, проходя мимо грязной столовки, вы можете усмехаться, глядя, как одна исходящая способна загубить человека, вы можете даже не верить нам, когда мы говорим, что мы справимся с этим в два или в три года. Я знаю быт ваших стран, и я не страшусь сопоставления.

У вас высокая материальная культура, но вы делаете теперь все, чтобы ее разрушить. У нас, например, не хватает бумаги.

Чтобы достать книгу, люди караулят часами возле книжного магазина или, высунув язык, бегают по городу: они хотят читать, и они не могут достать книги. Тиражи в двести тысяч не насыщают страну. Наши книги еще плохо выглядят: серая бумага, дурная краска, уродливые переплеты. Далеко им до тех прекрасных книг, которые печатались в типографиях Лейпцига. Но с каждым днем наши книги становятся лучше, и с каждым днем растут их тиражи. А в Лейпциге?.. В Лейпциге, как и в прочих городах высококультурной Германии, люди стояли часами не для того, чтобы получить книгу, но для того, чтобы попасть на дивное зрелище, чтобы своими глазами увидеть, как другие люди жгут книги. Возле Воронежа я видел колхозников, они с гордостью показывали мне прекрасные высокие подсолнечники, похожие на тропический лес. Они гордились тем, что впервые они научились выращивать вот этикие подсолнечники. Разумеется, подсолнух — не кофе. Но чем гордитесь вы, сеньор Педро Родригес из Рио-де-Жанейро? Может быть, тем, что вы образцово скидываете в море тонны и тонны кофейных зерен?..

Наши вузовцы до сих пор не всегда могут похвастаться глубиной своих познаний, но поглядите, они учатся день и ночь. У нас пастухи становятся инженерами. Мистер Дэвис, в вашей стране я видел много инженеров, которые стали пастухами.

Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите мне припомнить несколько прекрасных сказок. Вам все кажется фантастическим в нашей стране. Я — русский, но многое удивляет и меня. Ради этого, право же, стоит проделать тысячи километров. С грустью я думаю о моих парижских друзьях, которые живут, так и не зная, что жизнь может быть полной подобных небывлиц.

В Воронежской области случайно попал я в колхозный дом отдыха. Граждане интуристы, туда не возят ни иностранцев, ни советских гостей. О существовании этого дома отдыха знают только обитатели села Хохол. Возле дома отдыха я увидел красномордую девку, пышущую здоровьем, с ногами, которым, пожалуй, позавидовал бы молодой слон. Она спросила меня:

— Не знаешь, где здесь отдыхают?

Я изумился: зачем такой отдыхать?

Гордо она ответила мне, что у нее столько-то трудней и путевка. Час спустя я увидал ее в парке. На ней уже было спортивное платье. Она гуляла босиком по аллее и ухмылялась. Потом ее учили играть в волейбол. Дом отдыха состоял из двух избенок, перенесенных сюда самими колхозниками. На крыльце

визжал патефон, а возле патефона сидел бородатый колхозник, классический русский крестьянин, — так некогда гримировались актеры Малого театра, играя «Власть тьмы». По преданию, он должен был чесать затылок и перепуганно коситься на «барские затей». Но он в восторге слушал патефон, и в восторге он глядел на новую жизнь: это не было театром, нет, это было его жизнью. Потом он встал, потянулся и сказал:

— Чайку, что ли, попить с медом?..

Он попил чаю. Он посидел на скамейке и поговорил о колхозных гусях. Он погулял в парке. Он жил один: он отдыхал. Это было просто и непостижимо, как самая сказочная из всех сказок. Разве мог он когда-нибудь подумать, что настанет день — и его повезут в какой-то дом отдыха, что там будут столовая с котлетами, цветники и машинка, дарящая песни?.. Ему шестьдесят лет, и вот в шестьдесят лет он изумляется миру, как ребенок. Граждане интуристы, разве вам не хочется посмотреть на этот дом отдыха? Вы расскажете о нем, вернувшись в Перпиньян и в Ливерпуль, и ваши соотечественники изумленно переспросят:

— Дом отдыха для крестьян?.. Может быть, вы слутали?.. Или, может быть, это устроено нарочно для интуристов?

И вы сможете спокойно ответить:

— Нет, для интуристов устроена только пошлая гостиница. А в этот дом отдыха мы попали случайно, он устроен крестьянами для крестьян.

В другом колхозе я видел горшечников, которые обжигали горшки.

Один из них сказал мне:

— Мы, значит, постановили вроде как трубы сделать для канализации. Чтобы как в городе, значит, для чистоты, и чтобы вода шла с шумом...

Так колхозники в глухом селе решили сделать у себя то, чего лишена столица Греции Афины.

Может быть, предмет кажется вам низменным? Вы предпочитаете поэзию? Откровенно говоря, для меня этот рассказ о трубах звучал как стихи. Но я готов поговорить с вами и о поэзии.

Я ехал на советском теплоходе из Лондона в Ленинград. Со мною ехал французский писатель Андре Мальро. Он разговаривал с командой.

Я увидел, как внимательно французский писатель приглядывался к команде, и я обрадовался: хорошо, когда люди видят

наиву прекрасные сказки! Потом Андре Мальро приехал в Москву. Он побывал на заводах. Рабочие говорили с ним о Стендале и о Маяковском, о Пушкине и о Бальзаке. Один комсомолец с завода «Шарикоподшипник» спросил его о поэзии Поля Валери. Мосье Дюран, вы окончили Сорбонну, но что вы знаете о вашем поэте Валери?

Комсомолки в штанах, классические девчата Метростроя, которые наизусть повторяют стихи Пастернака о «сестре моей жизни», — скажите, разве это не сказка?..

В нашей стране понят, возвеличен и оправдан человеческий труд. Ради одного этого стоило пережить трудные годы, многое потерять и многое выстрадать. Вы учите в старой книге, что труд — проклятье. У нас немало прописных моралистов, и порой у нас трудно даже поцеловаться без лозунга, но наша мораль создана жизнью: мы знаем, что труд — это счастье. Я видел бригаду землекопов. Это были татары. Вначале они отставали от русских. Тогда они решили показать, как они могут работать. Они вставали ночью и тихонько, как воры, выползали из барака: они шли на работу. Они боялись, что кто-нибудь помешает им рыть ночью землю, и свое прекрасное дело они совершали, как преступление, — тайком. Граждане интуристы, пожалуй, увидев этих людей, вы молча снимете шляпы.

Недавно я встретил помощника начальника одного из наших крупнейших строительств. До революции он был рабочим. Он знал царские тюрьмы. Ему пятьдесят лет, и он сутулится от жизненной нагрузки. После революции он занимал многие командные посты. Говоря вашим языком, он был начальником большого департамента, генералом и товарищем министра. Этот человек в возрасте сорока трех лет поступил в высшую техническую школу вместе со своим сыном. Ему не хватало знаний, и он решил эти знания добыть. Он учился несколько лет. Мосье Дюран, вы с трудом теперь прочитываете книжку, вы-то поймете, что значит в сорок три года сестя за учебу! Сыну было куда легче, но отец не хотел отстать от сына, и он не отстал. Он сказал мне о своих школьных годах:

— Как будто с глаз катаракту сняли...

Он работает день и ночь. Иногда у него бывают сердечные припадки. Врач сказал, чтобы он пил меньше чаю. Но он знает, что дело не в чае, — дело в костылях, без костылей нельзя класть рельсы, а костылей слишком мало. Я видел лицо этого человека, когда на путь клали рельсы, оно было освещено улыбкой,

стыдливой и нежной,— так смотрит мать на новорожденного. Граждане интуристы, жизнь этого человека, может быть, самая прекрасная из всех сказок, которые я знаю, но, верьте мне, этот человек не одинок: у нас много таких людей, старых и молодых, они учатся сверх сил, они работают до изнеможения, а в свободные минуты они читают романы или стихи, они нянчат своих ребят, и они влюбляются в девушек, они умирают мудро и просто, зная, зачем была прожита жизнь на земле.

Я показал бы вам этого седоусого школьника, комсомольцев Кузнецкстроя, шорцев и казахов, которые изучают медицину и для которых скелет дивен, как самый красивый цветок. Может быть, вы и увидите некоторых из этих людей. Они находятся в стороне от горшочков и от коридорных. Ради них к нам будут вскоре приезжать десятки и сотни тысяч иностранцев. Мы многому научились, мы научимся и тому, как разговаривать с людьми, которые живут иной жизнью, нежели наша. Мы будем спокойно и равнодушно показывать чужим людям наши города, наши колхозы, наших людей. К нам будут приезжать, чтобы смотреть, учиться и отдыхать. Да, у нас будут спасаться от жестокой неразберихи мира денег и, как водами, лечиться нашей волей к жизни, нашим весельем, нашей молодостью. Мы будем встречать друзей или сторонних наблюдателей с тем гостеприимством, которое издавна присуще всем народам, населяющим нашу страну.

Если же попытаются прийти к нам другие иностранцы, решив в военном бреду, будто наша страна похожа на гостиницу, описанную мною выше, что же, тогда они узнают еще одну сказку. Этой сказкой гордимся мы все, это сказка о людях, которые находятся теперь на границах нашей великой страны, о молодых людях, которые тоже любят песни, стихи и девушек, которые умеют хорошо повиноваться, храня при этом свое человеческое достоинство, которые спаяны истинным чувством товарищества, которые так же не похожи на прежних солдат, как не похожи живые люди на заводную игрушку,— это сказка о Красной Армии.

## Пляска смерти

Экран. Гоночные автомобили. То и дело, подпрыгивая, как насекомые, они падают набок. Санитары с носилками. Рев толпы. Мелькают пятна света, больно глазам. Потом скачки официантов с подносами. Потом бега модисток с картонками. Борзые, задыхаясь, несутся за электрическим зайцем. Гул самолетов. На одном из них — череп. Это не символ, это фабричная марка. Милостивые государи и милостивые государыни, здесь кончаются развлечения. Ползут астматические танки. Цепью бегут по раскаленным камням Африки пастухи Умбрии и рыбаки Лигурии. Эскадрилья «Отчаявшихся», та, что с черепом, скидывает бомбы. Какой-то господин позади меня вскрикивает: «Долой Англию!» У него короткие усы, а в петлице все тот же череп. Рядом — влюбленные. Они пришли сюда в поисках сострадательной темноты. Они целуются печально и поспешно. Вот-вот вспыхнет свет, вот-вот эти птицы с черепом прилетят сюда и скинут на землю короткую, портативную, банальную смерть. Скорее любите! Модистки, мчитесь с вашими картонками. Это бег сумасшедших, цифры бирж, мяуканье снарядов, автобусы, серая рябь газет, последние гонки, где финиш один — смерть.

Я закрыл глаза: я больше не могу глядеть ни на официантов, ни на бомбардировщики. Хриплый бас провинциального трагика: «Вперед, пролетарская и фашистская Италия!» Ложь, как густой туман, дыхание тысячи усталых людей, горе. Так вот зачем маленький Беппо, лудильщик из Ареццо, умер возле Адуи! Нерон вздыхал: «Гибнет великий актер!» Тогда еще не было кинематографа...

Открываю глаза. Огромные шары. Что-то уродливое, бесформенное, гнусное ползет на них, и шары расступаются. Слизкая масса растет. Хочется встать и крикнуть: почему в этот сиротливый вечер вы мучаете людей? Почему после танков на немецком «Празднике жатвы», после черепов, речей Муссолини, после кровавой дребедени вы еще показываете какой-то доисторический бой? Сон тифозного? Воспоминания? Издевка? Равнодушный диктор поясняет: «Микроб сонной болезни. Он поглощает кровавые шарики. Апатия. Наступает смерть. Программа закончена. Спокойной ночи».

Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых, полуистлевших листах газет останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и темно-изумрудной зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос. Что они сделают с Европой?..

Поезд, теплый и взволнованный, как будто он живой, несется через страны. Если будущему историку понадобится эта справка, не забудем и о ней: в ту осень стояли удивительно ясные дни. Наперекор календарю в садах вторично зацвели вишни. Яркая трава сердобольно покрывала нищету земли. Дожди падали с веселым грохотом, как детские слезы, и тотчас снова показывалось солнце. Будто в мае, шумели грозы, и, облитые горячими зарницами, девушки Шампани собирали мутные грозди на полях, где двадцать лет назад люди, умирая, просили глоток воды.

Вся Европа кажется одним садом: столько труда положено на каждый клочок земли, на каждый палисадник, на каждую грядку, такой любовью помечены и горы угля под Шарлеруа, и яблони Нормандии, и рурские домы, и турбины среди всклопоченных вод Пьемонта.

Жестока и страшна повесть этих камней! Трудно вчуже любоваться арками Рима, набережными Темзы, Эскуриалом или версальскими садами: это история насилья, лжи, суеверий и разбоя. Но это также история высокого творчества. Мы с детства любили несчастный, великий, полумертвый материк.

Во сне мы бродили по улицам Парижа, запутанным и непонятным, по этим венозным сосудам мира, где каждый дом нам казался датой.

Мы пугались и радовались, когда, как бледные, едва расцветшие гравюры, проходили перед нами видения Англии: ее бессердечные ростовщики, ее поэты, ее лицемеры, ее туманы, ее смех. Где-то в черной коробке, среди сутяг Грайзина, подогретого эля, тумачков и чопорной конституции, резвился и плакал наш сверстник, наш друг, наш товарищ — бедняга Оливер Твист.

Как взволнованно и сосредоточенно мы глядели на Германию, на эту печень Европы! Говоря, что «немец выдумал луну», мы думали не только об исправных электротехниках: и никогда удивительный ритм Эссена не мешал нам расслышать шелест еще не срубленных лип. Мы помнили и небольшой дом в Трире — там родился Маркс, чистокровные держиморды превратили

его в участок, и другой дом на тихой улице Веймара, где фанатики тьмы теперь чествуют человека, перед смертью крикнувшего: «Света!» Мы помнили и леса Гарца — усмехаясь до слез, до задыхания, до немоты, «неариец» Гейне там беседовал с предполагаемой родиной.

Будто имя любимой, мы повторяли: «Италия». Мы любили эту страну не как туристы, падкие на развалины, но как современники, как дети, как живые. Мы любили ее не только потому, что некогда в ней жил Леонардо, мы любили ее и потому, что каждый каменщик Пьемонта или Сицилии знал, что такое человеческое достоинство. Я думаю сейчас о Гоголе, который задышался среди мертвых душ, среди двойных Ноздревых и Плюшкиных — тех, что рыскали по российским губерниям, и тех, что ютились в его душе. В Италии Гоголь учился не только свободе — дыханию. Я думаю также о Герцене: на один час он вышел из своего одиночества — это было среди римской толпы в веселый день революции. Мне повезло: я знал живую Италию. Я помню радушие тосканских крестьян, Народный дом в Сьенне, горных забастовщиков, вино, горячее как кровь, и всю щедрость итальянской крови.

В одной из старых церквей Лукки изображена пляска смерти. Среди холмов Тосканы, осыпанных медью виноградников, руном овец, черными, как южная ночь, кипарисами, резвится скелет в берете: это смерть. Наивный живописец написал под фреской:

Вы работали, смеялись, жили.

Теперь пляшите со мной.

Вы говорили, что завтра — счастье.

Я отвечаю: завтра — ничто.

О, разумеется, за шесть веков смерть многому научилась. На скелет она напялила рубашку: черную, коричневую или синюю. Она согласна взамен колоколов на джаз, на пушки, даже на речи. Не смущаясь, она рычит в микрофон: «Вперед, пролетарская Италия!» Так открывается бал в пустынях Эфиопии. Где же будут танцевать под следующий выходной — на полях Литвы или на берегах Рейна?

Трехлетние еще имели право звать: «Мама!» В пять лет их заставляли, подняв руку вверх, вопить: «Маре нострум!» — «Средиземное море наше!» Сотни тысяч людей, угрюмо щерясь, подхватывали: «Море наше! Ницца наша! Африка наша!»



Они не мечтали о счастье, и они не хотели справедливости. Во сне они рвали на клочья карту Европы, как истерическая дама — кружевной платок. Свои бедняки ограблены. Что же остается, если не грабить соседских? Теперь пятилетние мальчуганы подросли. Их поставили к пулеметам. Они кричат каждый свое. Они кричат одно и то же:

- Мемель наш! Страсбург наш! Брно наш!
- Братислава наша! Кошицы наши! Банат наш!
- Острава наша! Гомель наш! Киев наш!
- Великая Германия до Средиземного моря!
- Великая Италия до черепов среди африканской пустыни!

Все меньше и меньше кровавых шариков. Нет той норы, куда можно было бы укрыться. Люди озираются по сторонам. Когда-то они мечтали о великом будущем. Теперь, как спичку на ветру, они стараются оградить свою куцую жизнь. Здесь можно было бы припомнить стихи Гейне, но ведь и они под запретом. Тогда как рассказать о простом человеческом горе? Это было в Дрездене, и ему было двадцать четыре года, а ей двадцать два. Здесь были и паузы, и то задыхание, когда кажется — останавливается жизнь, и луна, разумеется луна, та самая, которая, по старому русскому размышлению, изготовлена немцами. Кто-то кричал: «Мемель наш! Эйпен наш! Шлезвиг наш!» Но они рассеянно прислушивались к голосу истории: они слушали, как бьются в грудной клетке два бедных комка, мускулы, червы игральной колоды, да еще как стучит по стеклу дождь, подыскивая, чем бы заменить сожженный томик Гейне. Что было потом? «История» постучалась в дверь: при проверке оказалось, что дедушка у него «неариец». Его провели по улицам с плакатом на груди: «Я грязное существо». Коричневая свора улюлюкала. Дождь стучал по стеклу: она стояла у окна. Она все видела. Слабой рукой она схватилась за веревку.

Мир человека, высокий и сложный, они заменили опытным скотоводством. Хозяйским глазом они смотрят на бицепсы производителей и на широкие зады производительниц. Они жгут книги, и благоговейно они измеряют органы размножения: ведь «Мемель наш», «Савойя наша», «Киев наш» — надо много ног, много рук, много человеческого мяса. Я не хочу оскорблять четвероногих. В Берлине имеется прекрасный зоопарк, может быть, туда ходят последние гуманисты Германии, чтобы поглядеть на веселые игры обезьян, на добродушие слона, на сердечность медвежонка.

Фашистский литератор Анджело Турацци недавно рассказал, как его страна готовится к победе. Герои уже отбыли на фронт, но герои нуждаются в неге, и вербовщики теперь набирают женщин. Турацци успокаивает: на фронте будет вдоволь женщин — сотни публичных домов. Чернорубашечники не теряют времени: в Риме они закупают местных девушек, в Марселе французенок. Один из вербовщиков сообщил французскому журналисту г-ну Лебеку: «Особенно приходится налегать на арабок и негритянок — только они там выдерживают. Белые женщины, проработав три-четыре дня, выбывают из строя: дизентерия, лихорадка. Если война затянется, можно будет хорошо заработать, это ведь крупное дело — поставлять амуницию...»

«Амуниция» — это женщины, черные и белые, неаполитанки и французенки. Их покупают за гроши: теперь кризис. Их грузят, как туши, на пароходы. Их отсылают в Африку. Их считают по головам. Когда, не выдержав «борьбы за великую латинскую культуру», они умирают, вербовщики шлют новую партию.

На Парижском конгрессе писателей мы много говорили о защите культуры. Нам ответил сам канцлер Германии: «Большевистствующие писатели — это убийцы культуры. Тщетно современные Геростраты тщатся сжечь все культурные ценности. Верноподданные Гитлера тем временем тащили на костер очередную воз книг, и ответ пожарища освещал горделивое лицо «защитника культуры». Канцлер продолжал: «Камни Рима остались, но что осталось от тех, которые хотели разрушить Рим?» Верноподданные в ответ бодро рычали: они гордились тем, что их предки были чистокровными варварами, которые с рыком и гиком разрушили Рим. А Гитлер все говорил и говорил: о красоте, о поэзии, о вдохновении. Еще один человек повторял слова Нерона: «Гибнет великий актер!» Впрочем, рубить головы топором можно, и не зная начатков всемирной истории. Что касается смерти, то ей надоело ходить по миру нагишом. Она берет в костюмерной вчера военный мундир Фридриха Великого, сегодня изысканный костюм покровителя искусств Лоренцо Великолепного. Она заказала себе фуражку, усы и бальные туфельки — кто же не знает, что она танцорка?

Я боюсь думать о той Европе, которую я люблю. Я знаю ее холмы — так знаешь тело близкого тебе существа, ее огромные столицы и цветущие тупики, ее поэтов и ее будни. Я проезжаю по улицам Вены — вот в этом доме рабочие, умирая, еще

защищали человеческое достоинство. Следы снарядов, ночь, нищета. Я вспоминаю Испанию — там я учился братству и ненависти. Кто-то говорит мне: «Помните Гонсалеса? Вы его видели в Хересе. Они его убили». Я, кажется, еще хожу, как маньяк, по прямым улицам Берлина. Угрюмый Норден, оскаленные окна голодных домов, молчание, шаги штурмовиков. На этой улице в маленькой пивной собирались рабочие. У них не было денег на пиво. Они стояли у стен. Они ждали боя. Их взяли врасплох. Высокого Гайнца расстреляли «при попытке к бегству». Анпу пытали в гестапо. Да, я должен это запомнить! Я ничего не смею забыть. Я знал страны, теперь это кладбища. Говорят, что какие-то чудаки еще ездят во Флоренцию, чтобы любоваться картинами Боттичелли. А итальянские тюрьмы?.. В них сидят люди, замечательные люди, и вот я, человек, который живет искусством, как землепашец живет землей, как металлист живет сталью, я думаю, что судьба каждого из этих людей дороже всех картин мира. В Варшаве есть тюрьма Павиак. В Варшаве живет поэт Броневский. Когда я проезжаю через Варшаву, я робко спрашиваю: «Он там?..» Я больше не хочу говорить об этом: у меня нет для этого слов — солдаты в пустыне, женщины, которыми торгуют, герои, которых тащат на плаху, военные крики, позы мегаломанов, развалины рабочих домов, голод, стыд, унижение...

Рабочий митинг в Париже — я зашел сюда случайно, спасаясь от мыслей, от воспоминаний, от чересчур темной ночи. Таких митингов много — каждый вечер. Тесно, душно, несколько тысяч людей жадно слушают оратора. Я гляжу на лица — здесь можно прочесть летопись труда, бедности и горя парижских окраин. У каждого из этих людей своя судьба. Все они устали за день — они поднялись на рассвете. Этот человек работает у Ситроена. Та женщина весь день стирала белье — она не может разогнуть спины. Сколько на свете больших и малых горестей: болезней — бронхит, ревматизм, «жена лежит второй месяц»; горестей сердца — «говорила, что любит, но у меня нет работы, она пошла с другим»; забот докучливых, как осенние мухи, — «надо Жаку купить ботинки, а нет денег», «вчера закрыли газ», «завтра — платить за квартиру». Тела, искалеченные поколениями нужды, ранние морщины, воспаленные глаза. Они стоят рядом, они друг друга не знают, никто не скажет соседу о своей беде. Но вот они всполошились, они бьют руками, они кричат, они, как в сказке, помолодели — огромная воля рас-

ширила зрачки, сжала пальцы в кулак, сделала стариков подростками, превратила этот темный зал в весеннюю бурю, когда ветер рвет лед и обещает миру дожди, охапку цветов, счастье. Что же приключилось с этими людьми? Два коротких слова: «Свобода Тельману!» Смерть изумленно замирает в дверях, где чернеют каски гвардейцев, — здесь нет для нее места, здесь живые люди, они встали, они клянутся, что будут защищать жизнь.

Мужество — наша тяжелая и нежная добродетель. Я выхожу, набравшись снова сил, чтобы жить. Я видел людей, которые не хотят, чтобы итальянские солдаты умирали в Африке, которые от всего сердца приветствуют далеких черных людей, сражающихся за свою свободу, которые, затаив дыхание, следят за судьбой Тельмана, которые способны забыть о своей нужде, о своем горе для других, для братьев, для будущего.

Ворота Негорелого. Я помню другие ворота — это было двадцать семь лет назад — меня выпустили из Бутырской тюрьмы. Я был мальчишкой, я стоял у ворот и не знал, что делать. Был летний день, громко громыхали пролетки, кричали дети, и еще я помню воробьев, этих московских «гаменов», смешливых и непочтительных: они бранились на серой мостовой среди внезапных солнечных пятен. Я стоял и недоверчиво улыбался: я еще не верил жизни. Сейчас мне хочется взять за руку рослого красноармейца — почувствовать, что эта рука тепла, и топтать ногами — ведь это настоящая земля! Бывает, проснешься после жестокого сна, и не сразу верится, что страшное померещилось во сне, хочется открыть окно, проверить свежесть утра, громко крикнуть и самому прислушаться к своему голосу, взять в руку какую-нибудь вещьцу. — коробок спичек или часы. Надо до конца почувствовать, что это — взаправду, что здесь мужество стало трудом — заводами, полями, поэзией, что есть в мире страна, где не торгуют девушками и не жгут стихов, где живет и растет, как «живая вода» детских сказок, как глоток воздуха в шахте, как весенняя оттепель, — надежда мира: Красная Армия.

## Свобода или смерть!

В жизни народов, в жизни каждого человека бывают суровые часы. Нужно уметь глядеть правде в глаза. Над нашей родиной нависла опасность. Гитлер несет нам унижение, ярмо, жизнь на четвереньках.

Они идут на нас — дикари СС, померанские помещики, офицеры с моноклями, фельдфебели, разбухшие от пива, палачи, которые пытаются по последнему слову техники, спесивые чужеземцы; они хотят обратить наш народ в быдло, в холопов, в машину.

Они хотят нас онемечить, заставить забыть Пушкина и Шевченко. Они хотят расставить в наших городах держиморд, которые будут орать по-немецки на перекрестках. Они хотят выстроить в шеренги белорусов и армян, таджиков и грузин и гаркнуть: «Айн-цвай!»

Презренный Гитлер назвал Льва Толстого «ублюдком». Они хотят сжечь книги Толстого и Горького. Они хотят, чтобы улицы в наших городах были названы именами бандитов — «проспект Геринга» и «переулок Геббельса».

Они хотят по сто раз в день напоминать нам, что мы «низшая раса», что мы должны молиться на их поганных «фонов» — фон Клейстов и фон Риббентропов.

Они хотят поселить на нашей земле своих колонистов, раздать наши нивы и сады Шмидтам и Мюллерам. Колхозники должны стать батраками у немецких помещиков. Они уже разработали план колонизации нашей черноземной полосы.

Они хотят, чтобы наши рабочие работали на них. Герр Феглер уже заявил, что его «штальфереин» возьмет русскую руду. Они сидят в бомбоубежищах, над которыми кружат английские бомбардировщики, и обсуждают, кто получит акции Магнитогорска, кто акции Юзовки. Они мечтают о немецком тресте, который будет эксплуатировать нефтяные промыслы Баку.

Они хотят, чтобы наша интеллигенция исчезла. Они пошлют учителей на полевые работы, инженеров — мостить им дороги, врачей — ухаживать за их свиньями. Они говорят, что у них хватит своей, немецкой интеллигенции на всю Европу.

Они хотят, чтобы мы жили для них и на них, чтобы мы разговаривали шепотом, чтобы мы дышали по указке.

Советские люди дорожат культурой. Для них книги, картины, песни — это воздух, которым они дышат. Свободен доступ в наши школы. У нас знание — для всех, как солнце для всех. Мы гордимся Толстым. Мы лелеем наших детей — это Пушкины и Толстые завтрашнего дня.

Много веков России. Мы дорожим ее историей, ее культурой, ее славой. Двадцать три года Советскому государству. Мы дорожим его молодостью, его воздухом — воздухом братства и свободы. Сверстники Октября — летчики, танкисты, пехотинцы — дышат героикой нашей великой революции, пафосом красногвардейцев и партизан.

Мы знаем, что все теперь поставлено на карту: наша свобода, наша жизнь, наше будущее. Мы защищаем право свободно дышать. Мы защищаем мир и счастье наших детей.

Никогда, никогда, никогда советские люди не станут рабами! Женщины говорят бойцам: «Защитите нас от позора!» Дети просят: «Отвоюйте нам свободную жизнь!» Русские березы и украинские вишеники шелестят ветвями: «Мы не хотим зеленеть для насильников!» И бойцы Красной Армии идут на смертный бой с одним чувством — свобода или смерть!

*5 июля 1941*

## В суровый час

Настал час простых чувств и простых слов. Гитлер бросил в бой все свои силы. Он не считает потерь. Он торопится. Немецкие танки давят немецких раненых. Враг прорвался к Орлу. Враг грозит каждому из нас.

Мы знаем, что враг силен. Это — сила машины. Он навалился на нас своим железным брюхом. Мы не тешим себя иллюзиями. Но мы знаем также, что враг изнурен, что он измучен двадцатью пятью месяцами войны, что в его тылу голод, что в его дивизиях брешь, что в его сердце тревога. Мы знаем, почему он торопится: он не может ждать.

Он в страхе смотрит на океан: оттуда идет снаряжение для нас и для Англии. Он в страхе смотрит на Америку: дымятся трубы заводов. Он в страхе смотрит на календарь: зима на носу. Он не хочет зимовать в наших лесах. Немцы, взятые в последние дни, говорят: «Нам сказали, что если мы дойдем до Москвы, нас отпустят по домам». Их ведут на смерть, соблазняя миром. Им говорили прежде: «Вперед! Я вам обещаю хлеб и сало». Теперь им говорят: «Вперед! Если вас не убьют, я обещаю вам жизнь».

Мы должны выстоять. Сейчас решается судьба России. Судьба всей нашей страны. Судьба каждого из нас. Судьба наших детей.

Гитлер как-то сказал Раушнингу: «Мне все равно, кто правит Россией — цари или большевики. Русские остаются нашими врагами». Да, эти разбойники не думают об идеях, о программах. Для них Россия — колония, страна сырья, непопечатый край, питомник рабов, которые должны работать на немцев.

Они хотят уничтожить Россию, разбить ее на «протектораты», на «генерал-губернаторства», которыми будут заведовать пруссаки или баварцы. «Из России можно нашинковать двадцать немецких гау», — писала их газета «Франкфуртер дейтунг».

В этот суровый час Красная Армия защищает нашу родину. Если немцы победят, не быть России.

Они не могут победить. Велика наша страна. Еще необъятней наше сердце. Оно многое вмещает. Оно пережило столько горя, столько радости, русское сердце! Мы выстоим: мы крепче сердцем. Мы знаем, за что воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы знаем, за что стоим: за Россию, за родину.

*20 октября 1941*



## Испытание

Ветер гасит слабый огонь. Ветер разжигает большой костер. Испытание не давит русского сопротивления. Испытание его разожжет. Мы не отворачиваемся от карты: мы видим Украину, захваченную врагом, немцев под Москвой, немцев под Ростовом. За этими словами скрыта страшная беда: сотни разоренных городов, миллионы поработанных людей. Немцы обсуждают, под каким именем включить Украину в Германию. Вшивый Антонеску гарцует по улицам Одессы. Как это вытерпеть? А бомбы вбиваются в нашу гордость, в нашу любовь — Москву...

И вот сжимаются сердца. Глаза блестят от гнева. Растет сопротивление. По-прежнему геройски держится Ленинград. Защитники Москвы изумляют мир своей доблестью. В тылу готовится мощная армия. Киевские, харьковские, днепропетровские заводы работают среди полей Заволжья и Урала. Машины стали беженками. Наспех расставили станки. В тесноте работают рабочие: делают самолеты, автоматическое оружие, моторы. Враг в Донбассе. Но у нас Кузнецк, Караганда. Враг захватил Кривой Рог. Но у нас Магнитка, у нас мощные заводы Урала. У нас еще много земли, много нив, много станков.

Наши враги вынуждены признать отвагу бойцов и командиров Красной Армии. Почему же мы отступали? Почему отдали немцам цветущие области, дорогие нам города? На том или ином участке фронта у врага оказывалось численное превосходство. У нас народу вдвое больше, чем у немцев, но у немцев больше моторов — они могут легче маневрировать.

Пятнадцать лет тому назад мы начали строить заводы. Наша промышленность — молодая. Пятнадцать лет тому назад в Германии уже была сильная военная промышленность. Гитлер построил сотни новых военных заводов. Гитлер захватил Европу. Теперь на немцев работают заводы Франции, Чехии, Бельгии. У немцев оказалось больше моторизованных частей, и они врезались в сердце нашей страны.

Однако каждый день наши летчики и артиллеристы уничтожают сотни немецких моторов и танков. Однако каждый

день по трем океанам плывут к нам из Америки, из Великобритании сотни новых моторов. Гитлер это знает. Он торопится. Мы должны помнить: каждая отбитая атака, каждый выигранный день приближает нас к тому часу, когда мы будем сильнее немцев. Выстоять — вот наш долг.

Наши юноши привыкли к чересчур легкой жизни. Широко раскрывались перед ними двери школ. У нас не человек искал работу, работа искала человека. И многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не то время. Теперь каждый должен взять на свои плечи всю тяжесть ответственности. Во вражеском окружении, в разведке, в строю каждый обязан думать, решать, действовать. Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой. Тебе дана высокая честь — защитить родину. Ты не ребенок — ты муж. На тебя с доверием смотрит страна. Не уклоняйся от ответственности. Не уклоняйся от инициативы. У тебя есть оружие — винтовка, у тебя есть другое оружие — голова. Фашисты — это автоматы. Ты — человек. Не забывай об этом ни на минуту.

Русский любит свободу. Никогда не заставят русских маршировать, как гусей. Но свобода — это не беспорядок. Трудно было приучить москвичей переходить улицу по гвоздям. На войне ничего нет страшнее беспорядка. Противотанковые рвы — хорошее дело. Но есть рвы поглубже: это железная дисциплина. Она не пропустит врага вперед.

Враг напал на нас исподтишка. Страшной была та короткая июньская ночь, и дорого она нам обошлась. Мы должны истребить беспечность. Быть всегда начеку. Нет спокойного участка. Враг может ударить внезапно. Нет мирного тыла. Враг может совершить налет, сбросить десант, прорваться вглубь. Проверь любой путь. Проверь любое слово. У врага хорошая разведка. У него опытные шпионы. Стой и молчи. Молчание — это оружие. Иногда оно стоит выигранного сражения.

Голодные, жадные немцы рвутся дальше. Их соблазняют магазины и квартиры Москвы. Они хотят зимовать в домах с центральным отоплением. Они хотят есть котлеты. Их нужно остановить. Их нужно хорошенько проморозить. Их нужно продержать в русских лесах на немецкой колбасе из гороха. Этот режим для них полезен — к весне они поумнеют.

Английские легчики каждый день крушат немецкие города. Народы Европы готовятся к восстанию. Русские, украинцы,

белорусы в захваченных врагом областях не складывают оружия. Друзья, мы должны выстоять! Мы должны отбиться. Когда малодушный скажет: «Лишь бы жить»,— ответь ему: у нас нет выбора. Если фашисты победят, они нас обратят в рабство, а потом убьют. Убьют голодом, каторжной работой, унижением. Чтобы выжить, нам нужно победить. Если честный патриот хочет спасти родину, он должен победить. Если малодушный хочет спасти свою шкуру, он тоже должен победить. Другого выхода нет.

Россию много раз терзали чужеземные захватчики. Никто никогда Россию не завоевывал. Не быть Гитлеру, этому тирольскому шпику, хозяином России! Мертвые встанут. Леса возмутятся. Реки проглотят врага. Мужайтесь, друзья! Идет месяц испытаний, ноябрь. Идет за ним вслед грозная зима. Утром мы скажем: еще одна ночь выиграна. Вечером мы скажем: еще один день отбит у врага. Мы должны спасти Россию, и мы ее спасем.

*4 ноября 1941*

## Весна в январе

Сначала я считал брошенные немцами машины, потом запутался. Их были сотни. Нагло и жалко глядели на восток морды пушек. Как пойманные слоны, послушно плелись немецкие танки. Я вспомнил слова берлинской сводки: «Мы добровольно укоротили фронт...» Чудаки, они укорачивают костюм вместе с мясом. «Укорачивают» и мимоходом теряют танки.

Наше наступление с каждым днем крепчает. Об этом говорят немецкие могилы. Вначале видишь индивидуальные кресты с тщательно нарисованной свастикой, с затейливыми надписями. Этих хоронили еще на досуге. Их зарывали на площадях городов, в скверах, в деревнях возле школы или больницы. Немцы хотели, чтобы даже их мертвые тревожили сон наших детей. Мы проехали двадцать — тридцать километров. Пошли простые березовые кресты. Этих хоронили второпях и оптом: «Здесь погребено 18 немецких солдат», «Здесь погребен лейтенант Эрих Шредер и 11 солдат». За Малоярославцем нет и крестов. Этих не похоронили. Они валяются возле дороги. Из-под снега торчат то рука, то голова. Замерзший немец стоит у березы, рука поднята, — кажется, что, мертвый, он еще хочет кого-то убить. А рядом лежит другой, заслонил рукой лицо.

На березовом кресте рука русского написала: «Шли в Москву, попали в могилу».

Дух наступления, как ветер, несет вперед наши части. Бойцы идут по целине, а снега-то, снега!.. Ничто их не останавливает. Позавчера была метель, снег слепил. Наступали.

Вчера было солнце и тридцать градусов мороза, дух захватывало. Наступали.

Я разговорился с одним бойцом. Он чуть прихрамывал. Оказалось, что три дня тому назад осколок мины его ранил в колено. Хотели отослать в госпиталь. Боец запротестовал: «Не пойду! С июня я отходил. А теперь чтобы без меня?..» Мороз его веселил. Он только находил, что мороз «легонький» — «покрепчал бы, как у нас», — это сибиряк.

Генерал-майор Голубев сказал мне: «Немцы наступали отсюда, дошли до Нары. Что же, мы прошли тот же путь в два

раза скорее, чем они. Мы наступаем, а потерь у них куда больше, чем у нас».

Переменилась наша армия. Выросла не только материальная часть, выросли и люди. Бойцы возмужали, будто они прожили за полгода длинную жизнь. Обогатился опыт каждого. Боец, колхозник из Заволжья, говорит: «Я теперь это дело раскусил — как фрицев бить». И смеется генерал Голубев: «Я две военных академии прошел. Война — третья и самая главная...»

Немцы упорно обороняют узлы сопротивления. Они хотят измотать нас. Но мы не расшибаем голову об стену: мы обходим узлы сопротивления. Немцы много месяцев говорили о мешках, обхватах, клиньях, клещах. Теперь они барахтаются в нашей мешке, они задыхаются в наших обхватах, они корчатся, пронзенные нашими клиньями, и они умирают, сдавленные нашими клещами.

В яркий, ослепительный день января на дороге наступления я думаю о пионерах победы. Победу мы начали строить не 6 декабря, но 22 июня. Победу строили герои, не пропущившие немцев, истреблявшие еще свежие германские дивизии, взрывавшие мосты, выходившие из вражеского окружения, пережившие горечь отступления, позволившие нашей стране выковать новое оружие и поднять на ноги новые части.

На фронте чувствуешь, какой любовью окружена Красная Армия, — для нее работает и дышит огромная страна. Если много стало у нас автоматов, это значит, что ночей не спят рабочие Урала. Если ест боец жирные щи, это значит, сибирские колхозницы помнят о фронте. «Мало у нас было минометов, теперь хорошо...» Откуда эти минометы? Завод, что в ста километрах отсюда, давно эвакуировали. Но остались старики-пенсионеры, остались устаревшие станки, осталось немного сырья. Остальное сделали русская смекалка и русская преданность. Хорошие минометы. Хорошо они бьют немцев. Старые рабочие маленького русского городка могут спокойно спать. А vareжки чудесные у курносого, веселого минометчика. Vareжки связала какая-то Маша в городе Аткарске, прислала к празднику. Фамилии своей не написала — «Маша», и все. Может теперь спокойно спать русская девушка Маша.

Ведут пленных. Лейтенант, ефрейтор, солдаты. Дрожат, хнычут. У одного левая нога в кожаном башмаке, правая в эрзац-валенке. Оказывается, правую ногу он отморозил. Ефрейтор мне поясняет: «Легко обмороженные в госпитали не

отсылаются». Да и не отошлешь — у половины немецких солдат ноги отморожены. На головах пилотки. Летом они их носили лихарски. Теперь стараются засунуть под пилотку уши. Из носу течет, он не вытирает — рука замерзла. А когда привели в избу, все стали чесаться. Лейтенант пахнул одеколоном, вылил, наверно, на себя утром целую бутылочку. Он приподнял свитер, чтобы сподручней было чесаться, и один из наших бойцов крикнул: «Ты погляди: не вошь — медведь! Никогда я такой не видел...» Глядят на пленных бойцы с отвращением: «Эх, немчура...»; «Вшивые фрицы...»

Ефрейтор был во Франции. Он вступил с передовыми немецкими частями в преданный Париж. Смешно подумать — может быть, я его видел в Париже? Изменился, голубчик! Спесь с них наши посбивали.

Вчера из лесу вышли четыре немца: волков выгнал мороз. От деревни осталась одна изба — другие немцы сожгли. Немцы поскреблись в дверь. Старая колхозница сплонула: «Кто жег? Ты, немец. Иди на мороз, грейся...»

Дощечка осталась: «Село Покровское». А села нет. Село сожгли немцы. Что видишь по дороге на запад? От изб остались трубы да скворечники на деревьях. Отступая, немцы посылали особые отряды «факельщиков» — жгли города и деревни.

Когда не успевали сжечь все, жгли самое хорошее. Жгли со вкусом. В Малоярославце эти культуртрегеры показали себя вовсю: сожгли две школы-десятилетки, детские ясли, больницу и городскую библиотеку с книгами.

Вот их трупы. А рядом бутылки из-под французского шампанского, норвежские консервы, болгарские папиросы. Страшно подумать, что эти жалкие люди — господа сегодняшней Европы... Часть «господ», впрочем, уже не будет пить шампанского: лежит в промерзшей земле.

В селе Белоусово остался нетронутым ужин. Бутылки они откущорили, а пригубить не успели. В селе Балабаново штабные офицеры спали. Выбежали в подштаниках — и торжественно, в шелковых французских кальсонах, погибли от русского штыка.

Женщины, когда видят наших, плачут. Это — слезы радости, оттепель после страшной зимы. Два или три месяца они молчали. Сухими, жесткими глазами глядели на немецких палачей. Боялись перекинуться коротким словом, жалобой, вздохом. И вот отошло, прорвалось. И кажется в этот студёный день, что и впрямь на дворе весна, весна русского народа в середине русской зимы.

Страшны рассказы крестьян о черных неделях фашистского ига. Страшны не только зверства — страшен облик врага. «Показывает мне, что окурок в печку кидает, и задается: «Культур. Культур». А он, простите, при мне, при женщине, в избе оправлялся. Холодно, вот и не выходит»; «Грязные они. Ноги вымыл, утерся, а потом морду — тем же полотенцем»; «Один ест, а другой сидит за столом и вшей бьет. Глядеть противно»; «Он свое грязное белье в ведро положил. Я ему говорю — ведро чистое, а он смеется. Опоганили они нас»; «Все украли, паразиты! Детские вещи взяли. Даже трубу самоварную и ту унесли»; «Хвастали, что у них страна богатая. Нашел у моей сестры катушку ниток, а у меня кусок мыла. Мыло не душистое, простое. Все равно, обрадовался, посылку сделал — домой подарок мыло да нитки»; «Говорят мне: стирай наше белье, а мыла не дают, показывают — стирай кулаками»; «Не дашь ему сразу — ружье приставляет».

«Опоганили нас» — хорошие слова. В них все возмущение нашего народа перед грязью не только телесной, но и душевной этих гансов и фрицев. Они слыли культурными. Теперь все увидели, что такое их «культура» — похабные открытки и пьянки. Они слыли чистоплотными — теперь все увидели вшивых паршивцев, с чесоткой, которые устраивали в чистой избе нужник.

Когда их выгоняют, в уцелевших избах три дня моют пол кипятком, скребут, чистят. «Что дверь раскрыла, бабушка?» — спросил я. Старуха ответила: «Ихний дух выветриваю. Прокоптили дом, провоняли, ироды».

Крестьянка с хорошим русским лицом, с лицом Марфы-посадницы, рассказала мне: «Боялись они идти на фронт. Один плакал. Говорит мне: «Матка, помолись за меня», — и на икону жажет. Я и вправду помолилась: «Чтобы тебя, окаянного, убили».

Добрый был русский народ. Это всякий знает. Умел он жалеть, умел снисходить. Фашисты совершили чудо: выжгли они из русского сердца жалость, родили смертную ненависть. Старики и те хотят одного: «Всех их перебить». Некоторые из них три месяца тому назад еще были слепыми и глухими. Один встретил наших с куренком, кланяется, говорит: «Дураков вы принимаете? Дурак я. Шли немцы, а я думал — мне что? Мы люди маленькие. А они внучку мою угнали. Так и не знаю, где она. Корову зарезали. С меня валенки сняли, видишь, в чем хожу. Курицу одну я от них упрятал. Как услышал, что уходят, — затопил печь, старуха для вас зажарила».

Спасибо, что пришли...» Стоит и плачет. А в душе у этого семидесятилетнего деда — та же ненависть, что у всех нас.

Дом старика не сожгли — не успели. Много домов спасли красноармейцы от огня. За Малоярославцем наши наступали быстро, и немцы, откатываясь, не успевали выполнять приказ — все уничтожать. В одном селе «факельщики» уже выгнали всех из домов, а тут услышали пулеметную очередь и убежали. Деревня уцелела. В другом селе подожгли один дом, потом показались наши лыжники — немцы удрали. А пожар наши погасили. Не только дома спасли бойцы — жизни. Я видел приговоренных к расстрелу — их не успели расстрелять. Тащили девушку с собой — испугались, бросили. Каждый красноармеец может написать своим: «Я спас от огня русский дом. В этом доме теперь живут русские. Будут там расти дети. Вспомнят и про нас. Я спас от веревки русского человека. Его вели к виселице. Но мы подросли». Не только родину спасает боец, он спасает еще такое-то село — Лукьяновку, или Петровское, или Выселки. Он спасает такого-то человека — пастуха Федю, лесничего Кривцова, учительницу Марию Владимировну. И каждого бойца благословляют теперь в освобожденных домах спасенные люди.

По скрипучему снегу едут в санях крестьяне, торопятся — скорей бы повидать свой дом. Еще недавно они шли на восток, суровые и скорбные. Теперь, улыбаясь и жмурясь от яркого, залитого солнцем снега, они идут на запад.

Их обгоняют бойцы. Они тоже торопятся: выбить врага из Медыни. Этот город рядом. Его обошли. Его сжали. Завтра заплачут от радости люди и камни еще одного освобожденного города.

Пусть в Малоярославце люди радуются — сегодня снова начала работать электростанция, и в домах светло. Пусть в Боровске вставляют в рамы стекла — люди наконец-то отогреются. Пусть в Ильинском колхозники выветривают и чистят загаженные немцами дома. Все это позади. Красная Армия идет вперед, и она смотрит вперед. Она думает не о Малоярославце, не о Боровске. Она думает о Вязьме, о Смоленске. Перед ней люди, которых нужно спасти от смерти, — русские люди. И по пояс в снегу, не зная усталости, идут вперед любимцы России.



## Сердце человека

Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел первые петли французского летчика Пегу. Старшие говорили: «Гордись — человек летает, как птица!» Много лет спустя я увидел «юнкерсов» над Мадридом, над Парижем, над Москвой...

Во время Великой французской революции ученый Филипп Лебон изобрел мотор внутреннего сгорания. Он говорил: «Граждане, вы увидите самодвигающуюся колесницу, и она будет источником человеческого благоденствия, она сблизит народы». Полтораста лет спустя немецкие танки раздавили своими гусеницами правнуков Филиппа Лебона.

Машина может быть добром и злом. В конце восемнадцатого века передовые умы человечества провозгласили торжество человеческого начала. В их благородные речи вмесался гул первых станков. В руках бездушных и слепых себялюбцев машины стали орудием угнетения, и в середине прошлого столетия простодушные ткачи воевали против машин. Это было заблуждением. Машину не стоит ни наказывать, ни восхвалять: машина делает то, что ей приказывает человек.

Научный социализм воспринял высокие традиции гуманистов, он провозгласил торжество человеческого начала: не человек ради машины, машина ради человека. В рабочих кружках России пионеры революции повторяли прекрасные слова: «Человек — это звучит гордо». Социализм победил в бедной и отсталой стране. Руководители нашего молодого государства понимали значение машин: они должны помочь человеку стать человеком. Когда люди руками дробили камень, ковали железо и копали землю, они не могли приобщиться к глубине культуры и многообразию жизни. Мы строили заводы, чтобы дети могли играть в детские игры, чтобы юноши могли изучать математику и наслаждаться Пушкиным или Шекспиром, чтобы сложность мысли и тонкость чувствований стали достоянием каждого.

Леонардо да Винчи, бесспорно, приветствовал бы летчиков, которые спасли челюскинцев. Он признал бы своих последова-

телей в Чкалове, Громево или Слепневе. Наши самолеты победили океан, приобщили к миру Арктику. Они несли спасение роженице в пустыне, больному ребенку в тундре. Они приблизили Владивосток к Минску. Они приблизили человека к счастью.

Слова Филиппа Лебона нашли свое подтверждение на наших полях, некогда орошенных скорбным потом пахаря. Соху сменил трактор, и с трактористами наша деревня стала зеленым городом. Разве могли измученные страдой дореволюционные крестьяне читать романы, устраивать спектакли и растить в избах будущих академиков?

Машина в нашем государстве была подчинена человеку. Гитлеровцы подчинили человека машине. Жадность рурских магнатов и палка прусского фельдфебеля сошлись на одном: человек не должен думать, человек должен работать и повиноваться. Все в гитлеровской Германии регламентировано: творчество и любовь, зачатъя и увечья.

Гитлер обратил машину в орудие уничтожения. Люди глядели на небо с гордостью. Гитлер решил: они будут глядеть на небо с ужасом. Люди с радостью думали: мы поедем в автомобиле за город. Гитлер решил: услышав звук мотора, люди будут бежать без оглядки. Вся промышленность Германии была посвящена танкам и бомбардировщикам. Молодые немцы выросли в богомольном трепете перед смертоносными машинами. Немецкие генералы говорили своим солдатам: «Противника раскрошат бомбардировщики. Перед вами пойдут танки,— они проложат путь».

Мы делали и самолеты и танки, но мы никогда не говорили нашим юношам, что машина может заменить человека. Мы говорили: машина помогает храброму и страшит труса.

Настало время проверки. Вначале немцы как бы торжествовали. Их танки исколесили всю Европу. Гусеницы раздавили Францию и оставили борозды на полях древней Эллады. «Юнкерсы» искалечили, казалось бы, неприступный Лондон. И немцы послали свои машины на Россию — к горам Кавказа, к рекам Сибири. Здесь-то приключилась заминка: машины не сломили воли человека. Есть в войне много горя, много разрушений, война — не дорога прогресса, война — страшное испытание. Но есть в войне и нечто высокое: она дает людям мудрость. Эта война принесла человечеству великий урок: реванш человека.

Сердце бойца гитлеровцы пытались подменить мотором, солдатскую выдержку — броней. Отечественная война доказала торжество человеческого духа.

Как можно остановить танк? Ответят: меткой наводкой, хорошим бронебойным ружьем. Все это так, но прежде всего, чтобы остановить танк, нужна отвага. Человек должен подпустить близко к себе железное чудовище, не растеряться, не убежать, не открыть огонь до времени. Один боец хорошо сказал: «Гитлер о храбрость спотыкается». Гитлер не споткнулся о линию Мажино, стоившую двадцать лет труда и миллиарды, он споткнулся о храбрость двадцати восьми панфиловцев.

Когда человек убегает от танка, танк растет, становится великаном, злым гением, который настигает и давит малодушного. Когда человек принимает бой, танк — это только машина, а человек — это царь природы.

Недавно батарея старшего лейтенанта Быкова отбила танковую атаку. Огибая березовую рощу, пятьдесят танков на двигались на наши боевые порядки. «Не пропустить!» — была команда Быкова. Когда машины подошли на восемьдесят метров, артиллеристы открыли огонь. «Так их!» — кричал в азарте боя Быков. Раненный, он оставался на посту. На поле боя чернели остатки двадцати шести немецких танков. Сколько над ними трудились рабы Гитлера! По замыслу немцев, эти танки должны были дойти до Индии. Они погибли у березовой рощи. И все могли видеть, что это не всесильные волшебники, не боги, но металл, подвластный воле человека, железо, лом.

Десять краснофлотцев противотанковыми ружьями уничтожили двадцать три танка. Моряк Тимохин сжег шесть танков. Эпическая оборона Севастополя была торжеством человеческой отваги. Небольшой гарнизон, без аэродромов, почти без танков, двадцать пять дней отражал атаки четырнадцати вражеских дивизий и мощной техники, которую немцы сконцентрировали на маленьком отрезке земли. История скажет, что защита Севастополя была победой советского оружия: севастопольцы дали двадцать пять дней родине, двадцать пять дней победе.

Гитлер торопится. Его голодные рабы зарятся на черноземные поля Средней России. Немецкие танки снова ринулись вперед. Их должно остановить наше мужество. Бойцы вспомнят сожженные немецкие танки у Ельца, у Калинина, у Рос-

това, и бойцы остановят танковые дивизии Гитлера. Что для этого нужно? Большое сердце и священные слова солдатской присяги: «Умрем, но врага не пропустим!»

Немецкие танки долго представлялись удавом, перед которым цепенела Европа. Теперь им преграждают путь люди. Конечно, у нас превосходные противотанковые орудия. Конечно, наши бойцы справедливо зовут бронебойное ружье Симонова «золотым ружьем». Конечно, наши КВ уничтожают сотни и сотни вражеских машин. Но как забыть о гранате в руке бесстрашного бойца или о бутылке с горючим орловского партизана? Что может быть проще такой бутылки? А немецкие танкисты страшатся ее не меньше снаряда. Дело в руке, которая сжимает бутылку, в руке лейтенанта Быкова, в руке краснофлотца Тимохина, — это рука смелого человека. Человек придумал мотор, и человек может уничтожить мотор: побеждает сердце.

7 июля 1942

Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворожков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно созревающие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне. А многие деревья обломаны осколками мин. Железо выело воронки. Вместо деревни — трубы. Да и лица не те: кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, как в русском пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить, — бескрайный, лиричный, едва очерченный. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня. В глазах суровость и уверенность. Обветренные, обгоревшие, обстрелянные солдаты.

Иногда вечером, когда первые зеленые ракеты прорезают небо, когда замолкает дневная канонада и еще не вступает в свои права ночная, фронтовик смутно припоминает прошлое. На минуту ему кажется, что где-то в тылу продолжается жизнь, которая была его жизнью. Он видит залитую огнями Москву. В окнах под лампами люди ужинают, смеются, читают увлекательные романы, дети готовят уроки, девушки прихорашиваются — сегодня ведь танцы... Уж не фейерверк ли в Парке культуры? И сразу фронтовик вспоминает: война! Она и в Москве: черны улицы, как ослепшие глаза — окна домов... Девушки на лесных заготовках. Музыканты стали саперами или мнометчиками. Дети на Урале. Проектор вливается в черное небо. Если ты, как в сказке, пролетишь над страной, ты повсюду увидишь войну. Ты увидишь сожженные немцами города. Ты увидишь заводы в бараках, заводы, которые перешагнули тысячи километров. Ты увидишь девушек, изучавших литературу или игравших на пианино, которые с ожесточением отливают снаряды. Загляни в глаза одной, в полутемном холодном цеху, и ты увидишь в этих глазах нечто родное: она тоже на войне. Ты увидишь женщин Ленинграда в Узбекистане. Ты увидишь детей Полтавщины в Сибири. Ты услышишь,

как старая мать вздыхает: «Два месяца нет писем...» Ты услышишь, как трехлетний малыш упрямо трет кулачком сонные глаза и спрашивает: «Где папа?..» Ты увидишь много горя и много упорства. Воюет не только фронт, воюет вся страна. Она отрывает от сна кусочек ночи, она отрывает от рта кусок хлеба, она не веселится и не благоденствует, она живет, сжав зубы, как ты в блиндаже, покрывшись ночью, пившись в землю. Как ты, она воюет.

Мы очень много потеряли, и нет человека, который не думал бы о наших потерях. Большое горе всегда стыдливо. Молодая женщина, которая в былое время жаловалась на мелкие неурядицы, теперь молчит. Молча она перевязывает раненых. Бойцы, за которыми она ухаживала, знают одно: ее не нужно спрашивать про мужа. Мы потеряли много прекрасных людей, самоотверженных, умных и честных. Эти потери горше всего: их не возместить. Мы отстроим разрушенные города, они будут лучше прежних. Но невозвратима потеря вдохновенного юноши, который еще ничего не построил — ни дома, ни своего гнезда, но который, кажется, мог бы построить целый город.

Мы потеряли изумительные плотины, заводы, в которые вложили душу. Мы потеряли древности Новгорода. Эти реликвии России, эти камни, как бы теплые от любви поколений, простояли века. Их разрушили кощунственные руки фашистов.

Мы нелегко создавали жизнь. Зачастую нам не хватало ни умения, ни времени. Но эта шершавая, необтесанная жизнь была нашей. Она напоминала черновик прекрасной поэмы, весь испещренный пометками. У нас путалось в ногах темное прошлое. Нас часто знобило — от самоупоения до самоуничтожения. Мы были первыми разведчиками человечества, мы пробивали путь, мы шли дремучим лесом. Когда мы строили ясли, с запада доносились дурные вести: там изготовляли те бомбардировщики, которые в одну ночь убивают сотни детей. Звериное дыхание фашизма доходило до нас, и мы говорили женам: «Проходишь зиму в старом платье», — мы должны были делать истребители. Мы знали, что детям нужны игрушки, как птице крылья. Но разве могут дети играть, когда на земле живут гитлеровцы! Мы делали мало игрушек, мы делали танки. За десять лет до войны проклятый фашизм вмешивался в нашу жизнь. И все же мы строили города, школы, дома отдыха, театры.

В муках рождает женщина. Медленно растет плодовое дерево. Четверть века для человека — это полжизни. Четверть века для истории — это короткий час. Накануне войны мы увидели в наших садах первые плоды. Тогда на нас напали немцы. В один час эсэсовцы уничтожили дома, поселки, города, которые мы строили годы, отказывая себе во всем ради будущего, как мать отказывает себе во всем ради ребенка. Мы знаем, сколько мы потеряли. Это знают и немцы: они увидели наших бойцов, воодушевленных такой ненавистью, таким гневом, что перед ними отступали танки.

Мы часто думаем о наших потерях. Мы можем теперь сказать о том, что мы приобрели на этой войне. Мать не замечает, как растет ребенок. Вот он вырос, а для матери он мальчуган. Несказанно вырос наш народ за шестнадцать месяцев. Не узнать порой молодого друга, вернувшегося с фронта. Не узнать и народа: другой народ. Говорили, что думать нужно в тишине и покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в книгохранилищах или в студенческих комнатах над горой рукописей. Не похожи темные блиндажи на университет. Шумно на фронте, шумно и беспокойно. Но кто сейчас расскажет о том, как люди думают на переднем крае? Они думают напряженно, настойчиво, лихорадочно. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают о том, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители.

Чудодейственно, как лес в сказке, растут люди на войне. Они живут рядом со смертью, они знакомы с ней, как с соседкой, и они стали мудрыми. Они преодолели страх, а это поднимает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и презренное, черное и белое. Война — большое испытание и для народов и для людей. Многие на войне передумано, перестроено, переоценено.

В основу нашей жизни четверть века тому назад мы положили слово «товарищ». Это слово ко многому обязывает. Легко его сказать, трудно за него ответить. В понятии «гражданин» есть точность и сухость, это — арифметическая справка о сумме прав и обязанностей. Слово «товарищ» требует душевного горения. Впервые для миллионов и миллионов оно

раскрылось во всей глубине на фронте. Оно стало конкретным, теплым, вязким, как кровь.

На войне мы увидели до конца силу человеческой дружбы. Сколько подвигов родило это замечательное чувство! Рядом с тобой, в одной батарее, в одном взводе — дорогой друг. Если его ранят, ты его оторвешь от смерти. Если его убьют, ты не забудешь его и не простишь врагу. До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Не то после боев. Говорили прежде: «Съесть вместе пуд соли». Но что соль рядом с кровью? Что годы по сравнению с одной ночью в Сталинграде? С какой радостью боец возвращается в свою часть: он вернулся домой. Он спрашивает о каждом товарище, о каждом друге.

Дружба народов была нашим государственным принципом, она стала чувством каждого отдельного человека. В одной роте и русские, и казахи, и украинцы, и белорусы, и грузины. Мы увидели, что, говоря на разных языках, мы одно чувствуем, про одно думаем. С волнением слушают сибиряки чудесные украинские песни, и рассказ о белых ночах Архангельска доходит до сердца черноглазого сына Армении. Мы были объединены сначала историей, потом высоким началом равенства. Теперь мы объединены ночами в окопах, и нет цемента крепче.

Что легко дается, то не ценится. Только теперь наша привязанность к родине стала плотной, тяжелой, неодолимой. Ради родины люди жертвуют самым дорогим. Они и прежде были патриотами, но теперь они задумались над своими чувствами, и эти чувства стали глубже. Прежде они искали внешнего объяснения для своей любви. К чужеземному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любишь не за то или за это, а за то, что она — родина. Так скромное деревцо становится более прекрасным, нежели все рощи эдема. Можно видеть свои недостатки: от этого родину не разлюбишь, от этого только захочешь исправиться, возысить себя и страну.

На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами кремля в Новгороде? Мы увидели, что нашей молодое государство строилось не



на пустом месте. Стойкость Ленинграда нас восхищает, его страдания требуют мести. Мы увидели дело Петра, построившего дивный город. Мы поняли, что без Петра не было бы Пушкина и что без Петербурга не было бы путиловцев, которые в темную осеннюю ночь открыли путь к новой эре.

Столкнувшись с варварством фашизма, мы почувствовали все то ценное и большое, что было добыто народами России четверть века тому назад. У нас сын пастуха читал Гегеля. Как он должен смотреть на немецкого «философа», который превратил философию в справочник по скотоводству? С каким омерзением мы слушаем рассказы немецких пленных, которые нам рассказывают, что у них «социализм» и что они приспособили для работы вместо лошадей поляков или французов!

Мы ценили героизм испанского народа, но многим из нас трудно было понять, что полуграмотный испанский крестьянин культурнее берлинского профессора. Теперь это поняли все. Мы увидели гитлеровцев, которые ведут дневники, у которых дома пишущие машинки и патефоны, которые по внешнему виду напоминают цивилизованных европейцев и которые оскорбили бы нравственное чувство любого обитателя Сандвичевых островов. Нас не обманут больше внешние признаки культуры. Мы теперь знаем, что важно не только количество и внешнее качество печатных изданий, но и содержание печатаемого, что города Германии с чистыми улицами, с хорошо оборудованными больницами, с просторными школами являются заповедниками грубого и отвратительного варварства. Конечно, мы не отрицаем значения материальной культуры, но мы теперь увидели, что без духовного богатства такая культура быстро вырождается в одичание.

Зрелость каждого фронтовика сделала нас сильными. Мы потеряли большие пространства. Второе лето принесло нам много горя. И мы все же можем сказать, что теперь мы сильнее, чем 22 июня 1941 года,— сильнее сознанием, разумом, сердцем. Когда мы пели «Если завтра война», мы многого не понимали. Мы очистились от беспечности, от самообольщения, от косности. Мы еще не добились победы, но мы созрели для нее.

Мы порой думаем, как трудно будет залечить раны, отстроить разрушенные города, наладить мирную жизнь. Это мысли о потерянном. Вспомним о приобретенном и скажем себе, что

человек, который вернется с фронта, стоит десяти довоенных. По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину, внутреннюю свободу.

Прекрасно будет первое утро после победы. Мы узнаем, что мать спокойно спала. Письмоносец снова станет деталью жизни. Жена обнимет героя. Замолкнут сирены. Вечером вспыхнут яркие фонари и на улице Горького и на Невском. Наш флаг взвьется над многострадальным Киевом. Может быть, в тот день будет идти дождь или падать снег, но мы увидим солнце и синее небо. Россия, первая остановившая захватчиков, с высоко поднятой головой, сильная, но мирная, гордая, но не спесивая, снимет с плеча винтовку и скажет: «Теперь — жить».

*10 ноября 1942*

## Душа России

Два года тому назад я писал: «Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы отплатим им — до конца, чтобы дети их детей суеверно дрожали при одном имени «Киев». Мы освободим Киев. Вражеская кровь смое вражеский след. Как птица древних феникс, Киев восстанет из пепла».

Шли долгие и горькие месяцы. Немцы двигались в глубь России. Они дошли до Нальчика, до Сталинграда. Военные обозреватели различных стран гадали, куда пойдут завоеватели: на Ирак или на Индию. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене подал заявление о предоставлении ему санаториев Боржома. Кассельские курсы готовили зондерфюреров для Башкирии. В финансовых отделах немецких газет указывалось, что «азовские заводы Ф. Круппа» к 1945 году станут на ноги и оспрашивают держателей акций. Великая гражданская скорбь камнем лежала в те дни на груди каждого из нас. Среди салютов победы мы не забываем пережитого, мы и не забудем его: оно для нас и горе, и мудрость, и ключ духовной бодрости.

Ночами носятся над миром волны радио — длинные, средние, короткие. Они давно отвыкли от щебета мирных дней. В них клеток, в них всё те же слова: контратаки, узлы сопротивления, рокадные дороги, переправы. Теперь на сорока языках они говорят об одном: немцы отступают. Военные обозреватели больше не вспоминают про Ирак. Они смотрят на Днестр, на Буг, на Двину. Зондерфюреры, обученные для устраниения башкир, включены в маршевые батальоны. Мариупольские акции стали ничего не стоящими бумажками. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене, обезумев, кричит своей жене: «Ты увидишь — они придут сюда...» По южной степи мечутся немецкие дивизии. Феникс-Киев восстал из пепла. Гитлер пытался утешить немцев: «Враги более чем в тысяче километров от границ Германии». Он плохо считает: куда меньше от Витебска до Восточной Пруссии. Гитлер кричит: «Мои нервы выдержат». Но дело идет к перекладине, и шея Гитлера не выдержит.

Как все это случилось, спрашивает изумленный мир. Мы были в самой гуще событий, мы жили от сводки до сводки, мы

сражались и работали, нам некогда было размышлять. Мы знаем теперь, как была окружена Шестая германская армия. Мы знаем, чем кончилось наступление немцев на Курск. Мы знаем, что мы гоним недавних завоевателей. Но и мы не задумывались над тем, как все это случилось. Мы знаем, что мы выплыли. Мы знаем, что перед нами зеленый берег победы. Но попытаемся на минуту отойти в сторону, взглянуть на себя глазами истории.

Мы часто говорим и пишем об ослаблении немецкой армии. Мы знаем, что у Гитлера иссякают резервы, что воздушные бомбардировки разрушают его тыл, что два года жестоких боев в России надломили его пехоту. Мы знаем также, что не было подлинных идеалов у армии мешочников и куроедов, что одна дисциплина не может в трудные минуты заменить душевного горения, что немецкий солдат внутренне ослаб и созрел для гибели. Но разве в одних немцах дело? Подумаем о другом: о взросшей силе нашей армии.

Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описание, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют ее позднейшие исследователи. Вероятно, историк, правильно оценив все значение переправы через Днепр, представит эту переправу иной: он невольно приведет ее в порядок. Он приоденет бойцов, побреет утомленных переходами сержантов, смахнет пыль с гимнастеров офицеров. Он вряд ли увидит людей у костра, которые смутно думают о своих родных избах и которые говорят, что повар заладил кашу и что хорошо бы испечь картошку. Потомки меньше всего себе представят, что именно эти люди без понтонов ринулись на правый берег одной из самых широких рек Европы. Что касается участников войны, эти знают, как выглядит война. Они знают, что четыреста километров с боями — не парад. Они знают, что воюют не только роты, батальоны, полки, но и люди с раздельной биографией, теплой, как клубок шерсти, что каждый боец привязан к родине своей особой нитью. Но участникам войны нелегко осознать историческое значение происходящего: с них хватит и высоких волнений сегодняшнего дня.

Иностранцы часто рассуждают, почему наше государство устояло в трагические дни сорок первого и сорок второго. Все знают теперь, как сильна была германская армия, как тщательно готовилась Германия к своим разбойным походам. Судьба

Франции с ее боевыми традициями, с неоспоримым мужеством ее свободолюбивого и воинственного народа у всех в памяти. Гитлер покорил Европу. Я не говорю об английских островах. Но мы не были отделены от Германии морем, не было у нас и гор. Мы задержали захватчика своей грудью, и вот иностранцы спорят: в чем разгадка? Одни говорят: в природе русского мужества, в традиционной выносливости русского солдата, в величине и естественных богатствах России, в том, что России никто никогда не завоевывал. Другие возражают: изменились времена. Штык, даже русский, бессилён против «тигров». В эпоху моторов одно пространство не может спасти народ. Они говорят: если Россия выстояла, то в этом заслуга ее структуры, особенного патриотизма ее народов, кровной заинтересованности каждого гражданина в судьбе государства. Они прибавляют к слову «Россия» другое слово: «советская».

Правы и те и другие. В первые годы после Октября революция казалась нам всепоглощающей, часто она заслоняла историю. Во время войны встало прошлое, оно соединилось с настоящим и будущим. Мы до конца поняли органическую связь России и Октябрьской революции. Мы поняли, что революция дважды спасла Россию: в 1917 году и в 1941. Не будь революции, Россия могла бы потерять свою государственную независимость, изменить своей исторической миссии. Но Октябрьская революция не случайно родилась в России. Она вытекала из всех чаяний русского народа. Ее значение перерастает государственные границы, и ее недаром называют самым большим событием двадцатого века, но корни ее уходят в русскую историю, и нельзя оторвать ее от русского характера, даже от русского пейзажа.

Бойцы у костра, на правом берегу Днепра, конечно, сыновья русских солдат давнего времени. Они сохранили и любовь к родной земле, и отвагу, и смекалку, и выносливость дедов. Но есть в них нечто новое, рожденное революцией: они не только солдаты, они граждане.

Передо мной секретное донесение командира Судетской дивизии генерал-лейтенанта Деттлинга. Записка озаглавлена: «Настроение местного населения». Вот что пишет немецкий генерал: «Подавляющее большинство населения не верит в победу немцев... В некоторых населенных пунктах отмечались попытки многих жителей установить контакт с оставшимися приверженцами советского строя... Молодежь обоего пола, полу-

чившая образование, настроена почти исключительно просоветски. Она недоверчиво относится к нашей пропаганде. Эти молодые люди с семилетним и выше образованием ставят после докладов вопросы, позволяющие заключить об их высоком умственном уровне. Обычно для маскировки они прикидываются простачками. Воздействовать на них чрезвычайно трудно. Они читают еще сохранившуюся советскую литературу. Эта молодежь сильней всего любит Россию и опасается, что Германия превратит их родину в немецкую колонию... Молодые люди чувствуют себя с начала немецкой оккупации лишенными будущего. Они всегда указывают, что в Советском Союзе молодежи было очень хорошо, так как для нее делалось все возможное и ей было обеспечено большое будущее».

Вряд ли генерал-лейтенант Деттлинг составил бы такую записку в 1916 году. Был и прежде патриотизм. Была и прежде отвага. Но юноши и девушки, крестьяне Смоленской губернии, во времена царя, во времена сословий и каст, не могли мечтать о «большом будущем». Партизан двенадцатого года один наполеоновский офицер назвал «смутным духом русской земли». Не разум — сердце подсказало крепостным той эпохи верный путь, и они пошли с вилами на захватчиков. Их подвиги оправданы историей, внуки тех крепостных стали хозяевами величайшей в мире державы. Но героев «Молодой гвардии» вел не инстинкт, а светлый разум. Они смотрели сверху на немецких офицеров. Олег Кошевой знал, что он представитель высокого человеческого общества, который борется с вооруженными скотами. Такова роль Октября.

Советский Союз защищается не только как огромное государство, он защищается, как истинная демократия: войну ведет народ, для которого держава — это собственный двор. Я видал немало немецких генералов. Я думаю, что их можно распознать даже в бане: это порода, как порода заводчик Крупш или помещик из Восточной Пруссии. Таких генералов разводят, они раса среди арийской расы. Кто же их бьет? Под Киевом генерал-лейтенанта Деттлинга разбил генерал-лейтенант Черняховский. Ему тридцать шесть лет. Сын железнодорожного служащего из Умани, он с детства грыз науку, как камень. Это человек большой культуры, его выделяют ум, знания, талант, а не порода. Он один из многих генералов свободного и демократического государства. Я вспоминаю боевых полковников, которые в начале войны были лейтенантами, учителей, агрономов,

механиков, на груди которых я видел суворовские ордена. Мы можем сказать, что германскую армию теперь гонит армия, обогащенная боевым опытом, руководимая умелыми офицерами, и мы можем также сказать, что немцев гонит народ, который двадцать шесть лет тому назад взял в свои руки вожжи державы.

Все знают, что одним из объяснений наших побед остается необычайная работа военной промышленности. Вспомним о трудностях. Сталинград, Харьков, Днепропетровск, Воронеж, Ростов, Донбасс были заняты врагом. Заводы возникали среди пустырей. Степи Восточной России — это не Детройт. Наши рабочие вынесли все лишения, недоедали, недосыпали, но они дали армии танки, самолеты, оружие. Заводы родились вчера, но не вчера родились рабочие: это люди, созданные Советским государством, это не рабы Крупна, это творцы, и творческий дух помог им в страшные месяцы.

Почему армянин Петросян, пойманный немцами, обливаясь кровью, нашел в себе силы, чтобы перебить палачей и дойти до своих? Что помогло грузину Гахокидзе уничтожить врагов на последнем клочке севастопольской земли? Отчего узбек Каюм Рахманов не пожалел своей жизни, защищая Ленинград? Отчего погиб еврей Паперник на подступах к Москве? Был Октябрь. В его очистительной буре родилась новая Россия, мать для всех народов. Вчерашние «иностранцы» стали гражданами, строителями государства, и когда на их родину напали немцы, они пошли в бой, разноязычные, разноликие, с единым чувством в сердце.

Я не хочу сказать, что до войны мы достигли всего. В одной хасидской легенде мудреца спрашивают: «Каков рай?» И мудрец отвечает: «Каждый человек создает свой рай». Четверть века для истории — короткий час. Мы многого не успели сделать. В нашем обществе были не только наши лучшие замыслы, но и наши недостатки. В годы войны мы многое меняли на ходу. Мы увидели, что нам часто не хватает дисциплины, организации, личной инициативы, чувства ответственности. Мы поняли, что наши дети нуждаются в более крепких основах морали, что нужно в них глубже воспитывать человеческое достоинство, патриотизм, верность, рыцарские чувства, уважение к старости и заботу о слабых. Но, поняв наши недочеты, мы в огне испытаний увидели, сколь высока была наша жизнь, построенная на равенстве и труде. Война не только разорила

нашу страну, она закалила и душевно возвысила людей. Вернувшись к мирному труду, они не забудут о передуманном и перечувствованном. Они внесут в будни мудрость и героизм военных лет. Они помогут создать тот рай, который будет выражением мыслей и чувствований много испытавшего советского народа.

Нам облегчит труд и жизнь историческая перспектива, которая стала теперь достоянием каждого. Не отказываясь от идеалов будущего, мы научились черпать силы в прошлом. Мы осознали всё значение наследства, оставленного нам предками. Мы не хотим ни отрицать огульно прошлое, ни принимать его, как нечто непогрешимое. Мы учимся на военном гении Суворова, но не на государственном самодурстве Павла. Немецкие фашисты любят говорить о традициях. Но что они взяли из прошлого немецкого народа? Свободолюбие Шиллера? Разум Гете? Нет. Пытки нюрнбергских палачей, суеверные рассказы алхимиков, зверства диких германцев и муштру фельдфебелей Фридриха. Каждый народ берет в своем прошлом то, что соответствует его духовному уровню, его жизни, его идеалам. Для нас прошлое — это Пушкин, а не Бенкендорф, Кутузов, а не Аракчеев, декабристы, а не Салтычиха, Плеханов и Горький, а не Пуришкевич и охотнорядцы. Октябрьская революция помогла нам осознать историю России, сделать из далекого прошлого источник вдохновения.

Победы Красной Армии позволяют нам уже различить в смутном предрассветном тумане тот великий праздник Победы, о котором в самые тяжелые часы нам сказал глава нашего государства.

Каким будет мир после войны? Эта мысль теперь уже приходит к нам в редкие минуты передышки между битвами, переходами и военными трудами. Фашисты принесли столько зла нам и всей Европе, столько разрушений, столько страданий, что иногда сердце охватывает беспросветная скорбь. Мы видим, что сожжены школы, ясли, музеи, просторные светлые дома, с трудом построенные нашим поколением. Мы видим, как коровы заменили похищенные немцами тракторы. Мы видим, как попораны дорогие нам идеалы братства, человеческого достоинства, свободы. Мы видим письма рабынь из Германии, фотографии немецких изуверств, одичание, затемнение века. Воображение легко продолжает картину: зона пустыни захватывает Париж, виноградники Греции, нарядные села Дании, заводы



Бельгии — всю Европу. Повсюду тот же пепел, в который вырядилась земля, бурьян, прозванный нашими крестьянами «немецким посевом», пытки, унижение человека, попрание разума, справедливости, гуманности. Как сможет восстать земля из мертвых? И порой малодушие закрадывается в сердце: не откинуто ли человечество варварством фашизма далеко назад?

Я не хочу ничего приукрашивать. Я знаю, как трудно будет восстановить и разрушенные города, и душевное равновесие людей, проведших годы под властью изуверов. И все же я бодро смотрю в будущее: правда побеждает на поле боя, она победит и на лесах человеческого строительства. Мы научились еще сильнее ценить свободу — после деспотии гитлеровцев, после гестапо, «бургомистров», доносов и всего попрания человеческого начала, принесенного немцами. Есть только одни пределы у свободы: свобода другого и счастье родины. В самоограничении война — залог того, что свобода восторжествует.

Мы поняли магическую силу труда, недаром мы им клялись в наших самых заветных клятвах. Труд свободного гражданина не проклятье, не иго, это высокое творчество. Нелегко будет поднять из небытия города и села, но люди, которые не жалели своей крови, чтобы защитить родину, не пожалеют и пота. Я видел в сожженных немцами деревнях стариков, которые помогали солдаткам отстраивать хаты. Здесь порука нашего грядущего счастья. Мы сумеем пристыдить себялюбие: ему не место рядом с могилами героев.

Казалось, испепелены идеи братства, но нет, они восстанут с новой силой. Я осмеливаюсь это говорить в дни, когда немецкие полчища творят свое черное дело. Немцы провозгласили себя «народом господ». В ответ поднялось национальное достоинство всех народов мира. Оно должно не погубить идею братства, а оживить ее, дать ей плоть. Своими преступлениями немцы выключили себя из семьи народов. Их ждет суровое возмездие. Мы знаем, что не единицы, а миллионы повинны в совершенных германской армией злодеяниях. Мы не будем сентиментальными с гитлеровцами, мы не станем учить гадов лобызать птичек. Но в наших страданиях мы увидели страдания других народов. Сибиряк понимает горе Греции, украинец знает, что переживает Франция, белорусскому крестьянину близки муки норвежского рыбака. Идея братства стала телесной,

оощутимей. Красная Армия в глазах всех народов стала армией свободы. О ее подвигах с надеждой говорят и в порабощенной Франции, и в далекой Америке. Отразив удары хищной Германии, она спасла не только свободу нашей родины, она спасла свободу мира. В этом залог торжества идей братства и гуманности, и мне видится вдалеке мир, просветленный горем, в котором воссияет добро. Наш народ показал свои воинские добродетели, и теперь все народы знают, что Советский Союз, его армия несут измученному миру мир. Мы говорим об этом среди пепелищ Украины и Белоруссии, с израненным сердцем: кто не потерял брата, сына, друга? Мы говорим это, приподнятые сознанием нашей силы и нашей правды.

*11 ноября 1943*

## Судьба поколений

В Америке много пишут о будущем. У нас нет времени для дебатов и проектов: мы воюем. Но порой и мы задумываемся: как будет выглядеть мир после победы?

Конечно, о том же думают люди и под крышами Парижа, и в лесах Польши. Измученная Европа пытается разгадать неясные контуры нового дня.

Как бы ни были различны пути народов, есть нечто объединяющее всех честных людей: ненависть к фашизму. Оглядываясь назад, на кладбища первой мировой войны, на двадцать лет хрупкого мира, который был для одних тревожным сном, для других — лихорадочной подготовкой к нападению, на ультиматумы, на иприт, на пепел Герники, люди спрашивают себя: очистит ли буря мир от миазмов фашизма? В наши дни решается судьба поколений. Чем будет вторая половина XX века: эпохой зреющих колосьев или эпохой выжженной земли?

В 1916 году я был во французском городе Аррасе; его тогда уничтожила немецкая артиллерия. Это был старинный город с прекрасными архитектурными памятниками. После войны французы начали отстраивать Аррас. Конечно, никто не мог воссоздать погибших древностей; вырос новый город, его отстроили как раз накануне войны. В июле 1940 года я увидел развалины нового Арраса. Не только французы, весь мир с тревогой думает: неужели победа не принесет мира? Неужели третий Аррас ждет судьба первого и второго?

На правом берегу Днепра я подобрал пачку немецких писем; одно мне показалось интересным; вот что писал лейтенант Роберт Грейзер своему приятелю:

«Когда мне становится грустно, я поддерживаю себя мыслями о будущем. Приходится часто выслушивать различные мнения о причинах наших неудач: одни сводят все к критике военных операций, другие считают, что были ошибки в сроках. Во всяком случае, немецкий народ показал свою силу. Не нужно впадать в отчаяние. Если нам суждено погибнуть, наши дети сделают то, о чем мы мечтали, и 1965 год станет годом Великой Германии».

Итак, немецкие офицеры тоже думают о будущем. Предвидя военное поражение, они мечтают о подготовке новых завоевательных войн.

От зоркости, стойкости, душевной силы народа зависит судьба века: судьба колоса, судьба детей, судьба Европы. Мало вырвать из рук фашизма оружие — он выкует другое. Нужно уничтожить фашизм.

Мы видим вокруг себя развалины, пепелища, рвы, где зарыты казенные дети, слезы матерей. Их видят плененные народы Европы. Один американский журналист сказал мне: «У нас не любят читать о немецких зверствах». Этого никто не любит, хотя читать легче, чем видеть своими глазами. Остается задуматься: почему, казалось бы, мирные приказчики, колбасники и пивовары стали палачами, почему они закапывают в могилу живых детей и гордятся «газовыми автомобилями»?

Дело не в немецкой крови: кровь у немцев такая же, как у всех смертных. Дело в формировке общества и человека. Германия Гогенцоллернов была заражена теми идеями, которые впоследствии нашли свое завершение в фашизме. Немцы и в те годы кричали, что они выше других народов, и тогда они уверяли, что славяне должны служить удобрием для германцев. Фраза о «клочке бумаги», произнесенная над поруганной Бельгией, звучит как прелюдия ко многим «историческим» и истерическим выступлениям фюрера. «Для русских хороши виселицы», — говорили генералы кайзера, предвкушая труды Коха и Лозе. В 1893 году, то есть за сорок лет до воцарения Гитлера, немецкий профессор Карл Иенч выпустил книгу, озаглавленную «Ни коммунизма, ни капитализма», в которой он предлагал разрешить социальный вопрос путем завоевания и колонизации России. В 1916 году, вместе с французскими полками, я вошел в город Шони, накануне покинутый немцами. Шони славился грушами. Плодовые сады казались неповрежденными; но, подойдя ближе, мы увидели, что все стволы подпилены. Двадцать семь лет спустя, в украинском городе Глухове, я увидел яблони, срубленные отступавшими гитлеровцами. Те же идеи, те же поступки. Германия кайзера, Гинденбурга, Людендорфа была образцовым предфашистским государством.

Фашизм придумал для оправдания разбоя «расовую теорию». Он установил «национальную иерархию»: одни народы созданы для господства, другие — для рабства. Германия и до Гитлера была охвачена самообожествлением. Муссолини уверял

своих, неоднократно битых чернорубашечников в том, что они наследники Юлия Цезаря и поэтому вправе завладеть Корсикой, Тунисом, Мальтой, Албанией, Афинами.

Фашисты ненавидят прогресс, предрассудки они снабдили лженаучной терминологией. Они дошли до «арийской физики» и «арийской тригонометрии». В фашистском обществе уничтожены все моральные нормы. Фашистский «сверхчеловек» презирает любовь, братство, добро, сострадание. Гитлеровские литераторы теперь любят ссылаться на Ницше; это «ницшеанство» Смердякова, твердо усвоившего, что «все позволено». Не удивительно, что одним из святителей гитлеризма числится сутенер Хорст Вессель, что отряды СА родились в пивнушках Александерплаца, давно облюбованных преступным миром, что в любой области, будь то дипломатия, юриспруденция или экономика, гитлеровцы применяют приемы гангстеров.

Внимательный наблюдатель мог обнаружить микробы фашизма задолго до воцарения Гитлера. Я уже говорил о том, что германская военщина была одним из предтеч фашизма. В свое время добрые французские буржуа обхохотывались, читая, как чернорубашечники поят касторкой итальянских рабочих. Эти буржуа не подозревали, что налеты на итальянские Народные дома кончатся налетом на французскую Савойю. Вспомним набеги на славянские города молодчиков, набранных металоманом д'Аннунцио. Это было в те времена, когда о фашизме знали только приятели будущего дуче и когда Гитлер еще выполнял обязанности мелкого шпика.

Предыстория фашизма нас занимает не только потому, что мы любим историю, — мы не хотим, чтобы годы затемнения повторялись. У фашизма были предтечи, но у него не должно быть последышей. Стоит посадить на место фашиста полуфашиста, как через пять или десять лет настоящий фашист сменит своего заместителя и заместителя.

Недавно исполнилось два десятилетия «юбилея»: 6 февраля 1934 года в Париже разразился мятеж фашистов; шесть дней спустя австрийские реакционеры начали обстреливать рабочие дома Вены. Предтечи фашизма были стыдливы: в Париже они ссылались на растление нравов и на масонов, в Вене — на муниципальные беспорядки и на марксизм. Именно тогда были предрешены судьбы и Франции и Австрии. Дольфус раскрыл перед Гитлером ворота окрвавленной Австрии. Французские

фашисты, штурмуя палату депутатов, подготовили тот черный день, когда над этим зданием взвился флаг со свастикой.

Некоторые истины медленно доходят до сознания далеких наблюдателей. Нападение итало-германских агрессоров на Испанскую республику было воспринято многими «демократами» как внутреннее дело Испании. Никто из них не увидел в маленьком испанском генерале большого предателя, предтечу кисллингов и лавалей. Напротив, иные «демократы» склонны были предпочесть генерала депутатам кортесов. Когда началась мировая война, Франко стал выполнять поручения своих хозяев. Однако англичане и американцы щадили иберийского гаулейтера. Была создана своеобразная концепция: Франко — это не фаланга, а фаланга — это не фашисты. Генерал слушал и работал, работал, конечно, на Гитлера.

Фашисты любят псевдонимы: «народная» партия Дорио, «рексисты», словацкие «гвардисты». Некоторые фашисты отрицают свою фашистскую сущность, даже выступают с лицемерными обличениями фашизма. Мы узнаем фашистов не по ярлычкам, но по их сердечным влечениям. Будучи яркими врагами прогресса, фашисты всех стран — естественные друзья гитлеровской Германии и естественные враги Советского Союза.

Фашисты различных стран видят в Гитлере оплот и спасение. Во имя фюрера французские или хорватские фашисты предадут свою родину. До войны все фашисты и полуфашисты Европы не сводили глаз с фюрера и дуче: они мечтали о затемнении Европы. Француз Марсель Деа (он тогда именовал себя неосоциалистом) в дни Мюнхена напал на Чехословакию и приветствовал сговор Польши с Германией; стоило Гитлеру напасть на Польшу, как Марсель Деа охладел к Варшаве. Что же защищал этот французский неосоциалист? Германию Гитлера. Говоря о причинах поражения Франции, многие забывают про роль французских фашистов и полуфашистов, которые в 1939 году куда больше боялись победы Франции, нежели разгрома.

К сожалению, в довоенной Европе не было нового Золя, который запечатлел бы образ рядового фашиста. Мы помним молодых людей, маршировавших по улицам европейских столиц. Они обожали форму: черные, коричневые, синие, голубые, зеленые рубашки. Они начинали свою общественную деятельность с избиений прохожих и с погромов. Они ничего не читали, кроме жалких фашистских листков, и они гордились своим невежеством. В часы духовного напряжения они смотрели детективные

фильмы или посещали матчи бокса. Они резали лезвиями бритвы ноги лошадей. Они кичились своими бицепсами и бессовестностью. Они выкрикивали различные лозунги, даже не задумываясь над их смыслом; так, например, бельгийские фашисты кричали: «Рекс победит», причем редко кто из них знал, что «рекс» по-латински — «король», и уже никто не знал, о каком короле идет речь; французские фашисты во время нападения Италии на абиссинцев вопили: «Долой санкции!», и опять-таки тщетно было их спрашивать, о каких санкциях они говорят и почему французы заинтересованы в присоединении Эфиопии к Италии; итальянские фашисты, включая детей дошкольного возраста, орали: «Средиземное море наше!»; испанские фашисты узнавали друг друга по возгласу: «Испания, вверх!» Все фашисты считали своим священным долгом повторять: «Долой демократию!»; «Убьем евреев!»; «Смерть большевикам!» Это было начальной школой «бургомистров» и палачей «нового порядка». Отсюда пошли и мародеры «Голубой дивизии», и гауптштурмфюрер Леон Дегрелль, и все ландскнехты Гитлера.

Бытописатель мог бы также нарисовать портрет полуфашиста довоенной эпохи. Этот не участвовал в уличных скандалах и не кричал до хрипоты на демонстрациях. Полуфашист прикидывался образованным, даже мыслящим. Он говорил о фашистах: «Эти молодые люди иногда забывают о чувстве меры, но в них есть искренность. Они любят свою родину. Притом они ненавидят демократов, масонов, вольнодумцев, рабочих, евреев, большевиков и прочих врагов порядка». Полуфашист думал, что он пожарный, а фашисты — насос с водой; на самом деле фашисты были поджигателями, а полуфашист — только бидоном с горючим.

Обо всем этом время вспомнить теперь, когда народы уже начинают различать зарю победы. Все знают, с какой легкостью распространяются микробы. Эпидемии не признают границ. Фашизм в той или иной стране — это угроза не только гражданам зараженного государства: это угроза соседним народам, всему человечеству. Фашизм — это война. На земле много места для разных языков и разных верований; но не может мирный и свободный человек ужиться с фашистом. Легализация фашизма, явного или закамуфлированного, — это легализация преступлений.

Мы видим, как фашисты или полуфашисты пытаются помешать благородным усилиям союзных наций. Разве не порази-

тельно, что английский политический деятель мистер Нокс публично назвал «пагубным агрессором» тот народ, который своей кровью помог тому же мистеру Ноксу избежать немецкого концлагеря? Разве не кажется зловещей фантастикой деятельность мистера Макговерна, который в Лондоне защищает союзников Гитлера от союзника Англии? Разве не изумительны статьи в нью-йоркской «Дейли ньюс», в многочисленных газетах Херста, в некоторых английских еженедельниках, посвященные осуждению России и оплакиванию бедных гитлеровских сирот?! Все в русских возмущает этих господ. Когда Красная Армия отступала, они кричали: «Нечего помогать обреченным!» Теперь, когда Красная Армия наступает, они кричат: «Это угроза Европе!» Когда московские куранты исполняли «Интернационал», эти газеты протестовали: «Опасные интернационалисты!» Ознакомившись с новым гимном нашего государства, те же газеты завопили: «Опасные националисты!» В декабре они возмутились «русским централизмом»; в январе они ополчились на «советскую децентрализацию». Что означают эти любовные признания фашистам и эта клевета на Советский Союз? Одно: микробы не нуждаются ни в визах, ни в пароходах, ни в клиперах.

Русские солдаты, английские моряки, американские летчики, партизаны Югославии и Франции, погибшие в боях против фашизма, не могут участвовать в спорах о будущем. Они умерли, думая, что отдают свою жизнь за освобождение земли от страшного зла. Осмелятся ли живые предать павших героев?

Мы знаем, что если немцы уже готовятся к 1965 году, то они подготовились и к более близкой дате — к поражению Гитлера. Магнаты Рура и генералы рейхсвера попытаются, скинув за борт фюрера, спасти фашистское государство, которое на время прикинется полуфашистским. Специалисты по эрзацам уже подготовили эрзац-очищение.

Когда я гляжу на ребенка, на крохотное деревцо, на комок глины, я думаю: неужели мы, пережившие две страшные войны, узнавшие всю бесчеловечную сущность фашизма, не спасем наших детей от такой же судьбы? Наша армия, наш народ показали на войне зрелость, мужество, душевную силу. Мы выиграем войну. Мы должны выиграть и мир.

*Март 1944*



Народы понимают, что на полях Украины, Белоруссии, Эстонии решается судьба человечества: 1944 год определит климат второй половины XX века.

Бывали побежденные, у которых учились победители. Не таков фашизм, все в нем отвратительно и бесчеловечно. Он, и поверженный, может остаться угрозой, как огромный труп, распространяющий миазмы.

На захватчика Наполеона поднялись народы: ему не покорились гордые испанцы; он узнал, что значит оскорбить Россию. Кто вздумает сравнить бесноватого фюрера с блистательным корсиканцем? Я говорю не только о личных качествах, но и о том отсвете, который освещал солдат Бонапарта: это был отсвет Французской революции, обезображенной и поруганной, но еще живой. Молодые русские офицеры, прогнавшие захватчиков, увидели в Париже развалины Бастилии и начали мечтать о разрушении «Бастилии» в России. Испанец Риго, сражавшийся против французов, вдохновился идеями девяносто третьего года. Наполеоновские войны для Европы были не только горем: буря разнесла семена свободы.

Что стоит за спиной гитлеровской армии? Не «Декларация прав человека и гражданина», но «Майн кампф» — этот апофеоз человеконенавистничества, корыстные расчеты рурских магнатов, давняя мечта немецкой военщины о господстве над миром, мятеж мещан против истории, костры, на которых пылали книги, погромы, невежество, злоба. «Национал-социализм» (таков немецкий псевдоним фашизма) — это национальное и социальное рабство, это — слияние классового эгоизма с племенным самообожествлением, это — отрицание разума, поношение красоты, попрание справедливости. Перед развалинами городов, перед пеплом и кровью вспомним о первопричине: о сущности фашизма.

Идеологи фашизма поносят XIX век, говоря: «Это был век бесплодного разума». Фашизм страшится мысли, познания, Прикрываясь псевдонаучной терминологией, гитлеровцы заменили науку суевериями. Они раздали своим шаманам ученые степени. Что такое «расовая теория», как не суеверие, которое должно оправдать разбой? Сложный феномен национальной

культуры фашисты пытаются определить формой черепа, составом крови, размером подбородка, мастью. С такой меркой трудно подойти даже к «Каштанке»... Гуманизм отброшен во имя племенного скотоводства.

Фашизм установил некую «иерархию» народов: на вершине лестницы, по мнению самодовольных и невежественных бюргеров, пребывают немцы, под ними — «нордические народы», под ними итальянцы, испанцы, французы, англосаксы, а внизу — славяне. Гитлеровцев не смущает ни то, что Греция справедливо именуется колыбелью европейской культуры, ни то, что религия, которую хотя бы официально исповедуют немцы, родилась в Иудее, ни то, что человечество озаряют творения Данте, Сервантеса, Шекспира, Мольера, Толстого.

Другие нации, зараженные фашизмом, провозгласили тот же отвратительный принцип национального неравенства. Муссолини, ссылаясь на Юлия Цезаря, клялся, что итальянцы выше всех. Венгры уверяют, что они породистее румын, а румыны отвечают, что их кровь чище мадьярской; причем те и другие с равным усердием уничтожают попавших под их иго славян. Национальная «иерархия» придумана для оправдания захватов, порабощения, массовых казней.

В мусорной яме истории фашисты нашли антисемитизм. Перед тем как напасть на другие страны, гитлеровцы начали в Германии убивать евреев: это было учебными занятиями народоубийц. Они сожгли книги Спинозы, Маркса, Гейне, ссылаясь на мистическую зловредность еврейской крови. Они доходили до «переработки» Евангелия. В захваченных ими странах и областях гитлеровцы убили миллионы евреев, не щадя ни престарелых, ни новорожденных; не было в истории столь методически осуществленного злодеяния. Оно вытекает из природы фашизма. Когда человек начинает говорить о том, что сосед ниже его, потому что он еврей, негр, метис или цыган, эти слова пахнут кровью. Фашизм начинается с предрассудков и кончается преступлениями.

Гитлеровцы заявили, что они оградят немцев от «тлетворного воздействия интернациональной культуры». Однако в мире мысли и красоты нет таможен. Различные национальные культуры — это не изолированные явления, а ветви единого дерева. Те же идеи облетали все страны Европы, будь то гуманизм, вольтерьянство, романтизм. Гегель, Фурье, Сен-Симон, Маркс волновали молодежь всех государств, предместья всех столиц. XIX век прошел под знаком Французской революции, как

XX век вдохновляется образом Ленина. Возьмем искусство Испании — в нем можно найти и пришедшую с севера готику, и мудехар — этот вклад арабов, и гномическую поэзию евреев, и блеск итальянского Возрождения; при всем этом испанские литература, архитектура, живопись поражают нас своей особой национальной силой. Возьмем поэзию Пушкина, — разве не увлекался он и французскими классиками и Байроном? А ведь Пушкин — идеальное воплощение русского гения. Культурная автаркия равносильна культурному оскудению.

Фашисты любят говорить о своей мнимой молодости; они повторяют эпитет «новое»: «новый порядок», «новая Европа». На самом деле они ненавидят будущее; прогресс их страшит. Ошибочно принимать их и за консерваторов: твердя о традициях, они отвергают прошлое. Футурист Маринетти, шут шута Муссолини, давно требовал уничтожения древностей Рима, предвосхищая труды немецких «факельщиков». Тем временем немецкие единомышленники Маринетти уничтожали современное искусство, выкидывали из музеев полотна Ренуара и Матисса, жгли книги Дарвина и Эйнштейна, строили дома, похожие на бастионы средневековья, кричали о Валгалле и устраивали дуэли на молотах. Фашизм не за будущее и не за прошлое, — он внеисторичен, как он аморален и бесчеловечен.

Смешно причислять эсэсовских палачей к ницшеанцам; но идеологи фашизма приспособили слова Ницше о сверхчеловеке для своей бесчеловечной деятельности. Гитлеровец считает, что он выше всех, что любовь, братство, сострадание принижают «сверхчеловека»; ему все позволено — были бы кулаки. Отсюда недалеко до рвов, заполненных расстрелянными детьми, до мрачных героев харьковского процесса.

Фашизм сделал аморальность моралью и человека и государства. Фашизм отрицает свободу творчества, критическую мысль, национальное и душевное многообразие. В «глайхшальтунг», в нивелировке легко разглядеть муштру прусской военщины, дополненную бессовестностью гитлеровцев. Немецкие солдаты и офицеры гордятся своей моральной безответственностью; они повторяют: «За нас думает фюрер». Отказ от собственных мыслей в их устах звучит как достижение. Здесь исчезает последняя грань, отделяющая человека от животного, и фашистское общество уподобляется стаду взбесившихся баранов.

Родившись в Италии, фашизм окреп и вырос на груди Германии, давно стремившейся к завоеванию мира. Фельдфебель

Квачке нуждался в «расовой теории», как в стопке шнапса. Легкие успехи, одержанные Гитлером благодаря слепоте и беспечности многих государственных деятелей Европы, придали фашизму дерзости. Напрасно представители Советского государства предупреждали народы Европы о смертельной опасности, — ни Герника, ни Мюнхен не разбудили спящих. Летом 1941 года многим на свете казалось, что мир стоит перед катаклизмом. Героическая борьба России, победы Красной Армии, высокая непримиримость советских граждан спасли человечество от величайшей катастрофы. Теперь всем ясно, что Красная Армия, вместе с войсками союзников, разгромит гитлеровскую Германию. Именно поэтому во всей остроте встает вопрос о политически-моральном разгроме фашизма.

Наивно было бы предположить, что фашистами являются только те, кто себя ими называет. Мы знаем, что даже гитлеровцы предпочли наименование, в котором присутствуют слова «национальный» и «социализм». В Испании фашисты называют себя «фалангистами». Во Франции — «народной партией», в Словакии — «гвардистами». Финский министр Таннер, один из учеников Гитлера, показавший в Петрозаводске, что он хорошо усвоил уроки своего учителя, является лидером партии, которая именуется «социал-демократами». Фашизм может отпускаться в растворах разной насыщенности; он может ходить в форменных рубашках различной окраски: в коричневых, черных или голубых; он может рядиться в гражданское платье, — он остается фашизмом.

Недавно исполнилось десять лет со дня фашистского мятежа в Париже. Дата 6 февраля 1934 года тесно связана с другой датой — 14 июня 1940 года, когда войска Гитлера вошли в обезоруженный Париж. Шесть лет фашистской и полуфашистской лжи, как ржа, разъели душу Франции.

Так называемые «квислинги», вся нечисть, которая выползает из щелей разгромленных стран, эти жуки-могильщики, родились задолго до того, как они стали «бургомистрами» и «старостами» Европы. Марсель Деа был фашистом и в то время, когда он называл себя неосоциалистом. Французский писатель Жионо, проповедник пацифизма, стал апологетом немецкой военщины. Аморальность фашизма позволила тому или иному расторопному дельцу, проделав пируэт, занять место в лакейской Гитлера.

Нужно ли говорить о том, что пируэт в другую сторону и попытка найти других, более надежных хозяев не меняют фашист-

ской сущности перебежчиков? Напрасно генерал Франко пытается изобразить себя нейтральным. Тщетно Перуйтон и Пюше утверждают, что они в Виши руководствовались интересами Франции. Зная Лавалья, я убежден, что он уже разучивает трогательные романсы для заморских любителей такой музыки.

Мы видим, как здоровые чувства народов борются против заразы. Представители подлинной Франции, приехав из Парижа в Алжир, потребовали суда над загримированными фашистами. Гневно прозвучали в Бари речи всех честных итальянцев, направленные против великосветского маскарада. Югославский народ отвернулся от полуфашиста Михайловича. Поляки, которые помнят пепел Варшавы, ненавидят фашизм. Речь идет не об оттенках политических программ, не о канонах, не о границах, не о моральной чистоте. Не для того сыновья Советского Союза, партизаны Югославии, франтиреры Франции, патриоты Чехословакии, Норвегии, Польши, Греции проливают свою кровь, чтобы место явных фашистов заняли тайные.

Многие немецкие офицеры в частных беседах, в письмах говорят о 1960 или о 1965 годе: еще не кончена эта война, а они, предвидя разгром Третьего рейха, уже мечтают о реванше. Немецкая военщина и магнаты Рура легче предадут фюрера, нежели свою мечту о мировом господстве; в нужную минуту они попытаются сменить вывески, флаги, фразеологию, чтобы сохранить когти и клыки. Мало обезоружить армию Гитлера, необходимо выжечь из тела Германии опухоль самообожествления. Кровь фашиста похожа на кровь любого человека, но в эту кровь проникла зараза. В очищении Германии от фашизма заинтересованы не только ближайшие соседи этого государства — мы, чехи или французы, но и американские фермеры. Если мы хотим спасти наших детей от новой войны, если мы хотим, чтобы вторая половина XX века была человечней и благотворней первой, мы должны уничтожить не только фашистскую армию, но и фашистскую школу, фашистские суеверия, фашистские нравы. Мы должны уничтожить эрзац-фашистов, как бы они себя ни называли. В Германии существуют люди, готовые прийти на смену Гитлеру, чтобы своими мундирами, сюртуками или рясами прикрыть кузницы Крушпа. Шахт ничем не лучше Функа, Папен — это тот же Риббентроп. Штрассер мог бы быть комендантом Минска или Лилля; находясь в Америке, он, естественно, выступает против Гитлера; но он старается при этом отстоять будущее воинственной Германии. Чтобы спасти фашист-

скую Германию от подлинного разгрома, генералы и промышленники рейха пойдут на любой маскарад, на эрзац-покаяние, на эрзац-миролюбие, даже на инсценировку анархического путча.

Честности и чистоты жаждет мир. Эти строки написаны не государственным деятелем, но писателем; область моей работы — человеческая душа. Я знаю, как опасен для юных душ трупный яд фашизма. Суеверия распространяются быстрее, нежели познания, и легче вырастить гангстера, чем воспитать культурного, благородного человека. Лекарство нужно изобрести, изготовить, переслать, а микробы не нуждаются ни в лицензиях, ни в пароходах. Английские газеты описывали погромные выходки последователей Мосли. Недавно власти в Соединенных Штатах были вынуждены запретить пересылку по почте периодических изданий, восхваляющих расовую ненависть; такие издания, следовательно, продолжают печататься. Газеты Херста то оплакивают судьбу Германии, то прославляют Франко, Петена и Маннергейма, то возмущаются борьбой патриотов Югославии и Франции, то негодуют — как смеет Красная Армия так поспешно бить гитлеровцев? В Италии американские солдаты сражаются за освобождение мира от гитлеризма, а в Америке находятся люди, которые берут под защиту Германию и нападают на союзников США. Чем это объяснить, как не страшной заразой? Ведь эпидемия фашизма родилась не вчера. Люди, отравленные фашистскими идеями — национальной «иерархией», расовой нетерпимостью, мракобесием, представляют угрозу и для своих сограждан, и для всего мира. Человечнее уничтожить яд, нежели возлагать надежды на противоядие.

Красная Армия громит войска фашизма. Нужно полагать, что вскоре к ней присоединятся армии союзников. Хочется верить, что свободолюбивые народы разгромят и политическую основу фашистских государств. Долг советской интеллигенции, долг всех представителей мыслящего человечества — уничтожить моральную сущность фашизма. Да не заразит мертвец ни одной живой души! Мы должны изобличать все пережитки фашизма, чем бы они ни прикрывались. Мы должны противопоставить им высокие духовные ценности, созданные веками прогресса и укрепленные опытом молодого советского общества. Мы не можем допустить, чтобы фашизм остался, как ил, на дне сердца, — этого не потерпит совесть.

*Март 1944*

Казалось бы, теперь не до слов: спор решает металл. Но никогда слабый человеческий голос не звучал с такой силой, как на поле боя, среди нестерпимого грохота. Люди, живые люди, пришли от Волги к Серету. В этом победа человека над бездушной машиной фашизма. В этом и оправдание слова.

Я хочу сейчас сказать не о тех томах, которые мы знаем с детства. Их бессмертье доказано годами. Над ними не властны все «факельщики» мира. Я хочу сказать о хрупком газетном листе, которому положено жить один день,— о его торжестве, о силе слова неотстоявшегося, которое похоже на дыхание, легкое облачко в морозный день.

В годы мира газета — это часть жизни, ее подробность; газету читают вечером, она поучает и развлекает. В годы войны газета — личное письмо, от которого зависит судьба каждого.

Фронту может присниться тыл, но тылу не приснится фронт: тыл не видит войны. И миллионы людей жадно ищут в газетах статью, помеченную: «От военного корреспондента». Они хотят найти подтекст к скупым словам сводок. Да и фронтовик хочет взглянуть на себя, понять характер этой войны, причину успеха или неуспеха, природу врага, его нискождение, подъем нашей армии. Военные корреспонденты — это глаза страны, и это скромные люди, капитаны, майоры или подполковники, которые делают с армией все трудности походной жизни.

Военный корреспондент во время операции — на КП. Кончен бой, другие отдыхают, а военный корреспондент при тусклом свете копилки в блиндаже или в хате пишет статью. Ему приходится думать и о стиле боя, и о стиле письма. Он едет ночью в непролазной грязи, вытаскивая «эмку». Он проталкивает свою статью по проводу, как проталкивают вагоны на узловой станции. Порой оказывается, что передача запоздала, что описание штурма города Н. устарело, так как уже взят город М... Какой неблагодарный труд и какая неприметная отвага!

Я знаю, что военному корреспонденту часто не хватает перспективы: он в гуще боя. Как солдат, он видит только такой-то участок, таких-то людей. Весной 1944 года читатель пресыщен

эпизодами, он жаждет обобщений, эмоциональных выводов, мысли. Но вспомним первый год войны. Тогда всего нужнее было слово, и слово себя оправдало. Евгений Петров. Он знал, что значило взять Медынь и Юхнов, возвращаясь из Севастополя, и его имя чистейшего человека, веселого писателя и смелого солдата осталось связанным с севастопольской эпопеей. Борис Горбатов писал тогда романтично, приподнято и в то же время искренне. Мы увидели горе Юга и человека, который стоял на смерти. Север ожил в очерках Константина Симонова. Север был как бы символом неуступчивости и непримиримости. В дни обороны Москвы народ зачитывался очерками Евгения Кригера. Нужно съесть с войной пуд соли, чтобы разгадать войну, а соленая у войны соль... Василий Гроссман просидел в Сталинграде все время, пока длилась беспримерная оборона этого города; и он сумел показать скромных людей, которые стали героями, подвиги, близкие древним мифам и неотделимые от сердечной чистоты, простоты вчерашних учителей, рабочих, инженеров, агрономов, крестьян.

Когда военный корреспондент — писатель, прозаик или поэт, он невольно думает не о самом событии, но о его участниках. Корреспондент «Красной звезды» Олендер страстно любил поэзию. Я помню, как в приднепровском селе он читал мне стихи... Это был человек с большой военной культурой. Он видел в войне творчество, он прислушивался к дерзаниям, рутину он ненавидел и в поэзии и в тактике. Он был фанатичным тружеником. Его статьи, подписанные псевдонимом полковника Донского, помогли многим молодым командирам разобраться в наступлении. Без малого три года проработал, точнее, провоевал Олендер, прошел с армией от Сталинграда до Западной Украины и погиб, как солдат, от пули.

Лев Иш былмирнейшим газетным работником: он правил статьи других. Однажды ночью ему принесли корреспонденцию из Ельни, это было осенью сорок первого. В очерке Иш увидел свое имя: корреспондент рассказывал, как немцы зверски убили отца Иша. Он не мог больше править статьи; он потребовал, чтобы его послали на фронт. Он хорошо писал; но на фронте он мечтал о другом: о судьбе солдата. Он оказался в осажденном Севастополе; за десять дней до смерти он писал другу: «Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» Лев Иш и до того ходил в разведку. Настали трагические дни. На мысу последние герои Сева-



стополя еще сражались. Среди них был Лев Иш; он погиб с винтовкой в руках.

Писатель Гайдар был великаном с детской душой. Окруженный немцами, он ушел к партизанам. Он погиб с партизанами и погребен на берегу Днепра. О нем писали его боевые друзья: «Это был человек беспримерной храбрости...» Писатель Крымов, оказавшись в окружении, боролся до последнего часа. Его письмо жене сохранил украинский крестьянин. Письмо, написанное осенью 1941 года, полно верой в победу, и есть на этом листке, кроме слов, кровь писателя-воина.

Бесстрашно работал фотокорреспондент Калашников. Скромный и смелый человек, он погиб недавно у Севастополя. Он всегда рвался вперед не ради славы,— он хотел, чтобы народ видел героюку войны.

Далеко от Москвы до степей Молдавии, до болот Полесья. Когда московские газеты приходят на передний край, они кажутся журналами, у них нет больше ни первой полосы, ни четвертой,— новости уже известны фронту: там своя печать. Под артогнем майор пишет передовую. Ночью при свете коптилки капитан составляет заметку о бое, который только что кончился. По радио принимают сводку, телеграммы. Утром газеты «За родину», или «На разгром врага», или «Сын отечества» прочитают все бойцы. Они узнают, что произошло на огромном фронте от Баренцева моря до Румынии; они узнают также, что бойцы гвардии майора такого-то заняли Безымянную высоту и что сержант такой-то при этом уничтожил девять немцев; они узнают о воздушных бомбардировках Германии, о возрождении Донбасса, о борьбе солдат Тито. Они увидят портрет любимца роты и стихи, написанные известным поэтом, а может быть, мечтательной связисткой.

Я привез в одну армейскую газету американского журналиста Стоу. Он побывал на пяти войнах, изъездил весь свет. Он стоял очарованный перед девушкой-наборщицей. Стоу видел линотипы и ротационные машины газет с многомиллионным тиражом, но он сказал мне: «Это самая изумительная газета мира...» Может быть, он почувствовал, что за бледной, серой краской скрыта кровь?..

Я видел, как делали газеты на фронте, как набирали под обстрелом и корректировали полосу, когда наверху кружил другой «корректор» — «рама»... Журналисты пишут в морозных землянках, на болотной кочке, пишут стоя и лежа. Пишут —

как воюют. Такой печати не было и нет ни в одной армии мира; и если наши журналисты гордятся Красной Армией, то наши воины вправе гордиться фронтовыми журналистами.

Есть среди фронтовой печати и большие газеты, не уступающие столичным, есть и крохотные листки. В осажденном Ленинграде выходила фронтовая газета на прекрасной бумаге, с фотографиями, с рисунками, с превосходным литературным материалом. Разве это не чудо? И разве не чудо, что, когда дивизия наступает от Днепра до Карпат, за ней поспевает ее газета?

Во фронтовой печати пишут и знакомые стране журналисты, и новички. Почти три года в одной из таких газет работает Долматовский. Как не напомнить о журналисте Борвенко, Герое Советского Союза? Он умеет писать. Он умеет не только писать. И настал час, когда он предпочел автомат. Напрасно редакция отзывала его: «Задание выполнено». Он знал, что есть и другое задание,— он освобождал Крым.

Передо мной маленькая дивизионная газета «За победу». Заголовок «Будни поваров». А под ним: «Повар Сус на недолгое время оторвался от поварской работы. Уничтожив за день четырех немцев, он снова вернулся к своему делу...» Пожалуй, читатель решит, что это наивность редактора,— какие же тут «будни повара»? Но на войне другой климат. Бывает, что и писатель берет автомат и что повар забывает о каше. Война — это жизнь, но трудно вместить войну в жизнь,— она переходит через все грани.

Замечательный французский журналист и писатель Жюль Валлес сказал: «Достаточно описать Галифе, чтобы его убить». Если мне возразят, что фашистов не пробьешь словом, я отвечу, что фашистов убивают железом, но это железо связано со словом. Не абстрактный ветер истории раздувает гнев в сердце солдата, а слабое человеческое дыхание. Говоря о чистоте и мужестве, журналист, даже самый беспомощный, становится пророком, который углем жжет сердца. В дни сверхмощных танков и многотонных бомб я все же верю в тебя, кусочек дерева с металлическим острием — перо, в тебя — человеческое слово!

## Весна в октябре

Есть памятники, которые напоминают о зле. Поэт Барбье сказал о Вандомской колонне: «Матери не смотрят на эту бронзу». Может быть, лицо матери, ребенка которой спасла Красная Армия, будь то белоруска, или сербская крестьянка, или женщина заполярного Киркенеса, — лучший памятник историческому событию, потрясшему мир двадцать семь лет тому назад.

Многие тогда не поняли России, измученной, окровавленной, но сильной духом; они сочли родильную горячку за агонию, приняли за бред слова, полные пророческого смысла. Когда теперь нас спрашивают, как сможем мы восстановить разрушенные немцами города, мы вправе ответить: труднее было построить Советское государство. На западе и на востоке, на юге и на севере не утихала война; голод и холод душили людей, а за ними шел сыпняк; зарастала травой колея, ржавели поломанные паровозы; по стране бродили беспризорные; улицы Москвы, с огромными сугробами, ходили на пустыню, и маленькая электрическая лампочка казалась ослепительным маяком. Как некогда солдаты Вальми, первые красноармейцы, плохо вооруженные, голодные, разутые, одерживали за победой победу. На субботниках воля людей заменяла уголь. Как на приступ крепости, ринулись на азы науки дети землепашцев и пастухов.

Фрегат Колумба не совершал каботажного плавания. Извилист и труден был путь советского корабля. Годы не ходили друг на друга. Было больше надежд, чем воспоминаний, больше пота садовника, чем сока спелых плодов, — мы ведь не жили на проценты с прошлого. Неодобрительно поглядывали на нас иные обитатели давно обжитых домов; они брюзжали, что мы строим не по правилам, или в ужасе говорили, что котлованы нашихстроек — это подкопы под чужое жилье. Те, что добрее, отсылали нас в детскую, те, что позлее, копили для нас смиренные рубашки. Нас не смущали ни гримасы эстетов, ни бомбы диверсантов: мы отстояли свое.

Может быть, в тех старых, хорошо надышанных домах, где проживали люди, презиравшие нас за грубость и за бедность, царило счастье? О, разумеется, там было много коверкота и много фаянса, но счастья там не было. Для Запада годы между

двумя войнами были эпохой томления, мрачных предчувствий, лихорадочной погони за минутными развлечениями. Еще не успели догореть площадки, зажженные в честь мира, как начались репетиции новой войны. Труды дипломатов были прерваны трудами налетчиков. Вскоре мы услышали новое слово: «фашизм».

Наши юноши одолевали арифметику и машиностроение, диалектику и версификацию. В русских деревнях торжественно открывали ясли. Кочевники увидели строителей Турксиба. А по улицам немецких городов уже бродили убийцы; Гитлер уже прославлял арийскую бестию; из яйца выполз паук-крестовик, чтобы поймать в свою паутину и «твердолобых» и мягкотелых. Те немцы, которые потом сожгли города Европы, еще ходили в детских штанишках; дипломаты, похожие на окаменелости, еще толковали о репарациях прошлой войны, а в роскошных кабинетах Тиссена или Феглера, а в накуренных «биргалле» Мюнхена или Берлина уже готовились к новым походам.

Запад тогда переживал мучительный кризис; сдавали на лом станки, уничтожали молочных коров и, желая удержать цены на пшеницу, портили ее, примешивали к зерну эозин. Гитлер закричал: «Я нашел для немцев работу» — он уже помышлял о пуске душегубок, о колоссальных «фабриках смерти»; усмехаясь, глядел он, как подмешивали к зерну безвредную красную краску, он знал, что вскоре подмешает к немецким розанчикам и рогаликам настоящую человеческую кровь.

Кончился скрытый период болезни. Стены европейских городов покрылись омерзительной сыщью: призывами к убийствам и знаками свастики. Деньги Тиссена и Феглера не пропали зря: в Берлине вспыхнули факелы будущих «факельщиков». Носители «нового порядка» жгли стихи Гейне; малолетние «сверхчеловеки» гонялись за престарелыми евреями. Люди, проживавшие в старых почтенных домах, ласково журили людоеда, который только-только оттачивал нож. Те же почтенные люди горячо аплодировали последователям людоеда: в Вене Дольфус из пушек стрелял по рабочим домам, в Астурии Хиль Роблес бомбил безоружных горняков, в Париже Ля Рок жег автобусы и убивал женщин.

Мы в те годы обливались потом. Кто видел Кузнецк или Магнитку в пору строительства, знает, что это была настоящая война, сотворение мира. Люди верили, что они придают плоть идее. Деревцо росло. Дети переходили из класса в класс. На

пустырях возникали новые города. Хорошели Киев и Воронеж, Новосибирск и Сталинград. Пшеница двинулась на север. Отрок Осетии узнал теорию относительности, и внуки Платона Каратаева поняли душевные муки Андрея Болконского. На один короткий час челюскинцы отвлекли внимание мира от жестоких замыслов «наци», от аферы Стависского, от «черных пятниц».

Может быть, мы тогда не знали, какая пустыня отделяет нас от обетованной земли; может быть, мы тогда не думали, что строки, написанные чернилами, придется скрепить своей кровью; но мы и тогда понимали, что фашизм покушается на самое ценное — на человека.

Когда итальянские чернорубашечники напали на беззащитную Абиссинию, мы возмутились. А ведь не кам грозили выкоремыши дуче: пожирая Эфиопию, они рычали: «Мальту! Корсику! Ниццу!»

Драма протекала далеко от нас, но мы поняли, что черная тень повисла над всеми колыбелями мира. Тем временем на Западе улыбались кровавому дуче, и, побранив его для приличия в Женеве, дружески с ним чокались в Риме. Удав понял, что кролики не кусаются. Началась страшная испанская война. Я видел, как три года испанский народ пытался отстоять свою свободу от захватчиков: против него воевали и немецкая авиация, и чернорубашечники. Дома Парижа и Лондона еще дышали уютом, на них еще не падали бомбы; и многие обитатели тех домов лицемерно говорили, будто Франко — этот предтеча всех квислингов — представляет Испанию. Юристы, гордые своими познаниями, доказывали, что когда убийца режет чужого ребенка, судьи должны играть в покер или в бридж. Я вспоминаю детские трупы на узеньких улицах Барселоны. Я присутствовал на допросе убийцы: это был летчик германской армии, лейтенант Курт Кетнер. Он нагло рассказывал о планах своего фюрера. Происходило это в барселонской цитадели, и тотчас после допроса к убийце подошел иностранец, назвавший себя представителем Женевы; он не спросил Курта Кетнера, почему тот убил девятнадцать испанских детей; он интересовался другим: дают ли убийце к утреннему кофе достаточно сахара.

Неизвестно, уцелел ли при воздушных бомбардировках тот дом в Мюнхене, где было подписано отречение от Европы. Его стоило бы сохранить в назидание потомству. Газета «Пари суар» после Мюнхена объявила подписку: поднести Чемберлену, «обеспечившему мир на целое поколение», домик в живописном

месте. Теперь французы посадили редактора «Пари суар» в острог, как вульгарного изменника. Дома многих жертвователей разгромлены немцами, а «живописные места» Англии узнали, что значила ветка сливы с меткой «мэйд ин Джермени». Не о мире мечтали «умиротворители» — о войне, но о войне за тридцать земель; они восторженно щебетали: «Гитлеру нужна Украина». Они заснули с мечтой о бомбардировке Баку. Их разбудили сирены.

Мы знали, что такое фашизм; мы пели: «Если завтра война»; и все же июньское воскресное утро потрясло нас своей трагической неожиданностью. Только глушцы могут говорить, что наше государство не было подготовлено к отпору. Но как ни готовься, у нападающего всегда преимущество. Человек может знать, что в городе завелись бандиты, он может запастись хорошим револьвером, он может обладать зорким глазом и крепкими нервами, но он не может жить одним — ожиданием нападения: ведь это — мирный человек, он работает, он — врач, или инженер, или токарь; он идет на работу или с работы, он думает о книгах или о детях; и вот в эту минуту раздается выстрел. Так начались страшные дни 1941 года.

Никогда ни одно государство не подвергалось такому испытанию, как молодая Советская Республика. Враг захватил нашу житницу, нашу кочегарку; враг дошел до Кавказа. Треть населения попала под сапог захватчика. Как мы выстояли в такой беде? Наивно объяснять все ошибками германского командования: ведь то же самое командование казалось безошибочным во Фландрии и в Греции. Мы выстояли, потому что наши люди оказались душевно крепче и выше захватчиков, а не будь Октября, не было бы и этих людей. Если спросят, где истоки нашей победы, мы скажем: не только у Сталинграда или у Москвы — дальше — на площади Зимнего дворца, где Революция встретилась с Россией.

Давно ли в сводках Информбюро стояли названия подмосковных дач, пригородов Ленинграда? Теперь диктор называет наименования, не привычные для русского уха. Мы не в Калмыкии, мы в Восточной Пруссии, вместо Можайского направления теперь Будапештское. Красная Армия освобождает Польшу и Югославию, Чехословакию и Норвегию. Наш народ скромен; несвойственно ему кичиться своими делами. Воюет сейчас сержант Павлов; он даже не напомнил о том, чтобы ему дали медаль за оборону Сталинграда; а мир хорошо помнит, что

такое Дом Павлова. Мир хорошо помнит, чем он обязан России. Одно дело воевать, когда ты три года готовишься к наступлению, когда у тебя в глубочайшем тылу сотни миллионов рабочих рук, необозримые нивы, огромные заводы, когда есть время подумать о каждой пуговке на солдатской шинели. Не так воевали мы: на нас обрушились лучшие бронечасты Германии; наши эвакуированные заводы расположились на пустырях; женщины заменили мужей и у станка и в поле. Три года мы воевали в Европе одни. Мы превратили победителей Дюнкерка в тех фрицев, которые галопом пронеслись от Тулона до Эльзаса и от Нанта до Голландии. Велика радость жнеца; а мы были пахарями победы. Вот почему Красную Армию приветствуют, как Освободительницу, и Парижский Совет Сопротивления, и король Норвегии, и рыбаки Греции, и епископы Англии. Пусть для многих еще недавно мы были падчерицей Европы, пусть одни глядели на нас свысока, другие искоса, третьи исподлобья; теперь полны признательности просветленные взгляды; и на всех языках мы читаем те же многозначительные слова: «Советская Россия спасла Европу и мир».

Мы не одни теперь в борьбе, и, узнав поближе наших друзей, мы научились их ценить. Наши летчики гордятся своими английскими и американскими товарищами, которые наносят врагу суровые удары. Наши пехотинцы уважают англичан, выдержавших в Голландии тяжелые бои. Вся наша армия горда победами союзников на Западе, и весть о падении Аахена мы приняли радостно, как нашу победу. Нужно ли говорить о том, как близко мы принимаем к сердцу радости и горе наших товарищей по оружию: солдат Тито, партизан Словакии, поляков, французов, норвежцев. Когда восстал Париж, вся Россия возрадовалась. Освобождаемые — это не красавицы из легенд, это живые народы; они не ждут кротко освободителей, вместе с нами они сражаются против своих угнетателей. Одни чувства теперь вяжут Советский Союз и мир: добить фашизм.

Да, есть одна страна, где нас не ждут, где люди бледнеют, услышав вдали шаги Красной Армии. Пуще всего страшатся немцы нашего вторжения; не потому, что наши солдаты по природе злее других; даже не потому, что у каждого из наших солдат есть свои личные счета с захватчиками; немцы особенно страшатся прихода Красной Армии, потому что мы едины в наших помыслах, потому что среди нас нет лицемеров и адвокатов дьявола, потому что мы идем к ним, как суровые судьи,

как зрелые мужи, понимающие свою ответственность перед грядущими поколениями, потому что мы твердо решили покончить со злом раз и навсегда.

Я спросил недавно одного летчика из части «Нормандия», отличившегося в боях над Восточной Пруссией, почему он и его товарищи предпочитают сражаться на Восточном фронте; и француз мне ответил: «Меня не интересуют парады, меня интересует суд».

Все народы смотрят на Москву с великой надеждой не только потому, что мы хорошо сражаемся, но и потому, что за нашей спиной нет черных теней «умиротворителей». Мы слишком любим мир, чтобы пощадить Германию. Мы слишком верим в братство народов, чтобы оставить на земле фашистов. За три года мы видали столько подлинных слез, что не растрогать нас никакими эрзац-рыданиями. Мы научились разгадывать военную маскировку врага; нас не обманет и его гражданская маскировка. Не для того мы выиграем войну, чтобы проиграть мир.

Мы знаем, что фашисты, убежав из Франции в Испанию, нашли там применение; может быть, среди них находится и мой старый знакомый, Курт Кетнер... Мы знаем, что в союзных странах возмущенно встретили фотографии, показывавшие упитанных гитлеровцев, поглощающих американские консервы. Мы знаем, что в разных странах, еще недавно бывших вассалами Гитлера, мучители, отдышавшись после первого страха, примеряют венчики великомучеников. Мы знаем, что есть на свете люди, которые, как и в 1939 году, пуще всего боятся своего народа. Однако теперь иные времена. Красная Армия показала свою силу. Народы Америки, Англии и Франции излечились от многих иллюзий. Они скажут вместе с нами, что нельзя оставить чуму в одном переулке или в одной квартире: чума — зараза. Они скажут вместе с нами, что искупление это не парикмахерская, где брюнетов перекрашивают в блондинов, а фашистов в демократов. Они скажут вместе с нами, что если есть в мире страна, где люди, приветствуя друг друга, поднимают вверх руку, то это руки захватчиков и это страна агрессии. Свободолюбивые народы вместе с нами скажут, что если есть в мире школы, куда не пускают негра, или еврея, или славянина, потому что он негр, еврей или славянин, то из таких школ могут выйти не гуманисты, а народоубийцы. Когда Персей убил Медузу, у нее остались сестры — духи зла. Мы не хотим оставить духовных племянников фюрера или дуче. По-разному жи-



вут народы, разное над ними небо, разные у них порядки. Мы радуемся и мощи Соединенных Штатов, и независимости Люксембурга. Но там, где живут люди, нельзя оставлять людоедов, даже таких, которые посятятся между двумя сытными трапезами.

Красная Армия воистину Освободительница: она не ищет чужой земли, никому она не навязывает своей воли. Она идет на Запад с одной мыслью, с одним чувством: избавить мир от фашистского зла. Она способна на этот подвиг, потому что двадцать семь лет тому назад наш народ понял, что такое братство.

Осенью 1917 года наш народ переживал душевную смуту. Малодушным тогда казалось, что Россия распадется. И вот холодным, неприветным днем поздней осени огромная надежда родилась в мире: Октябрьская революция. Ее значение теперь поняли все; не только наш народ, но и другие, не только старые друзья, но и бывшие недоброжелатели: Советская Россия выручила человечество; и вторично мы видим наперекор календарю весну в октябре.

*1944*

## Люди хотят жить

Двадцать четвертого ноября 1950 года генерал Макартур сказал своим солдатам, что рождество они будут встречать у себя дома. Неделю спустя, охваченные ужасом, солдаты Макартура бежали к морю. Многим не удалось спастись. Они лежали под чужим небом, с остекленевшими глазами, как лежали солдаты Гитлера среди подмосковных снегов.

Генерал Макартур не стрелял, не бежал, не падал на землю, не трясся от холода и от страха. Это полубог; недаром запуганные японские денщики звали его «сыном солнца». Что ему судьба Джона или Джека, который никогда не вернется домой? Солдаты умирают, он, «сын солнца», остается.

Когда «сыну солнца» было пять лет, его отец, генерал Артур Макартур, выстрелив в индейца, сказал: «Всегда стреляй первый». Этот завет генерал Дуглас Макартур пронес через всю свою жизнь: жить для него — это значит нападать.

В Корее американцы долго стреляли не только первыми, но и последними — в безоружных. Такая война отвечала принципам Макартура, и его сводки были полны вдохновения. Когда генералу доложили, что американцы сбросили на город Анчжу девяносто шесть тонн бомб, начиненных напалмом, и что города Анчжу больше не существует, Макартур ответил: «Я вполне удовлетворен вашей превосходной работой». В городе Начжин было сорок тысяч жителей; на этот город американцы сбросили сорок тысяч бомб, после чего генерал Макартур написал: «Благодаря нашим успешным действиям город Начжин стерт с лица земли».

Корею когда-то называли «Страной Утренней Свежести». Огонь и ночь принесли ей люди Макартура. Я приведу несколько показаний — не корейцев, не китайцев, не советских людей, не коммунистов, нет, самих американцев и их союзников.

«В Сеуле, который стал теперь адом, разыгрываются потрясающие сцены. Среди пожарищ мечутся мужчины, женщины, дети; некоторые из них прячутся в брошенных домах, другие лежат на улицах. Особенно трагично зрелище раненых

детей, которые часто умирают на мостовой без всякой помощи» («Юнайтед пресс», 24 сентября).

«Сверху столица Северной Кореи предстает как город, где царит смерть. Действительно, это больше не город, это злое видение небытия, призрак. Теперь шесть часов пополудни. Мы летим на высоте тысячи двухсот метров. Никакого признака жизни, улицы мертвы, весь Пхеньян — труп на двух берегах реки. Повсюду разрушения и молчание» (Г-н Бойле, «Ассошиэйтед пресс»).

«Располагая теми средствами, которые в наших руках, очень просто стереть с лица земли такой город, как Чхончжин. Но это должно быть ужасно для тех 190 тысяч людей, которые в нем жили. Что касается наших молодых артиллеристов, то для них это только точная стрельба в мишень» («Юнайтед пресс», 16 октября).

«Город Синьйчжу насчитывал 140 тысяч жителей. Наши летчики работали энергично: не считая фугасных бомб, они сбросили 85 тысяч зажигательных бомб. Пламя необычайной высоты взвилось к небу. В штабе генерала Макартура нам сказали, что это, пожалуй, самая удачная работа за все время кампании и что города Синьйчжу больше не существует» («Вашингтон пост», 8 ноября).

«Я видел, как избивали насмерть людей, задержанных по доносам... Тюрьмы Сеула переполнены. Я видел шестьдесят человек в камере, размер которой четыре метра на три. В другой такой же камере было пятьдесят четыре женщины и двенадцать младенцев... При мне расстреляли двадцать пять мужчин и двух женщин. Они так и не знали, почему их убивают... Я видел женщину, у которой руки были связаны на груди, а на спине у нее кричал годовалый ребенок» (английская газета «Дейли миррор», 6 ноября).

«Мне трудно описать ужасные условия, в которых содержат триста тысяч голодных людей в Долине ужаса... Это напоминает ад Данте. Вопли голодных и полное равнодушие американцев» (г-н Шарль Фарвел, корреспондент французской газеты «Монд»).

«Среди заключенных 1200 женщин, притом четверть из них с маленькими детьми... Идет мужчина, голова его опущена, руки связаны за спиной; за ним идет привязанная к нему жена, также со связанными руками, на спине у нее младенец» («Нью-Йорк таймс», 28 октября).

Мы пережили нашествие пацистов. Мы помним эсэсовцев, которые жгли города. Мы помним гестаповцев, которые загоняли гвозди под ногти. В те страшные годы ни один человек на земле не мог уснуть спокойно — совесть терзала всех, люди спрашивали себя, будет ли положен предел попранию человека. Когда я читаю о злодеяниях в Корее, мне стыдно перед близкими, перед друзьями, перед чистыми и хорошими людьми, которые погибли у Сталинграда, у Ржева, во Франции, повсюду, где в те годы гибли люди; они погибли за то, чтобы никогда больше не было таких нестерпимых дел; мне страшно, — страшен не Макартур с его бомбами, страшно, что он существует, что он не одинок, что у него есть покровители и наперсники.

Мы знаем, что принесла война Корею. Выслушаем снова американцев, пусть они расскажут, что принесла война американским дельцам. Экономист Роджер Бибсон говорит в «Нью-Йорк таймс»: «Не будь корейских событий, которые оживили бизнес и повысили занятость, кризис был бы неминуем». «Юнайтед пресс» сообщает, что за три месяца корейской войны торговый оборот в Соединенных Штатах сильно возрос. Трест Дюпона повысил свои доходы со ста тридцати пяти миллионов долларов до двухсот восемнадцати миллионов. В «Дейли ньюс» некто Бэрл пишет: «С начала полицейских операций в Корее магазины переполнены, повсюду предпраздничная суета. Никто больше не жалуется, все довольны, и, возвратившись домой, наши славные парни, которые наводят в Корее порядок, увидят у себя дома много нового: отец приобрел машину последнего выпуска, жена другого обзавелась милой мебелью для спальни, словом, жизнь похорошела». «Дейли ньюс», конечно, преувеличивает: если дельцы Америки на войне богатеют, то народ разоряется. Об этом говорят не советские экономисты, об этом говорит г-н Гувер. Магазины переполнены потому, что обыватели боятся исчезновения товаров. Это не предпраздничная сутолока, это предвоенный ажиотаж. Обыватель покупает все, что может, тащит домой шкаф или кастрюлю. У него еще есть дом, не сожженный напалмом, и в этом доме теперь действительно появились новое кресло или новая вазочка. Что касается дельцов, то они не успевают подсчитывать доходы, их супруги не успевают тратить деньги. Они пишут в финансовых отделах своих га-

зет: «Вторая половина года вполне оправдала надежды деловых кругов Америки» («Нью-Йорк геральд трибюн»).

Господин Давид Сарнов — председатель правления «Радиокорпорейшн оф Америка», по званию он бригадный генерал. Это крупный бизнесмен, он зарабатывал в жизни на всем — на электрических аппаратах и на улыбке голливудской «звезды» Бэби Дэнисл, на акциях «Дженераль электрик» и на «плане Юнга». Теперь он хочет заработать на телевизорах: он решил для оживления программы передавать картины боев.

Я прошу каждого читателя задуматься, представить себе картину мертвых городов Кореи, женщину, идущую на казнь с грудным младенцем, дивиденды Дюпона, новую мебель в домике жены офицера и г-на Давида Сарнова, который предлагает подавать американским зрителям сенсационный спектакль — кровь, смерть, войну. Я прошу каждого советского читателя и, если эти строки будут переведены, каждого французского, английского, любого другого читателя, подумав, сказать: можно ли этих людей назвать людьми?

Бегство и смерть солдат-интервентов не были показаны американским семьям ни за завтраком, ни за ужином. Никто не рассказал в американских газетах, какую рождественскую елку приготовил своим парням «сын солнца».

Узнав о разгроме своих войск, Макартур не смутился. Он сказал: «Мы должны начать новую войну». Это похоже на бред, однако это правда: видя, что американцы проигрывают войну против маленькой Кореи, генерал Макартур предложил начать войну против большого Китая. Он знает свое: жить — это значит нападать. В 1935 году американский сенатор Джеральд Най сказал: «Генерал Макартур любит войну, как хищники любят мясо». Корея может гореть, солдаты могут умирать — «сыну солнца» нужна человечина.

Безумного человека, которого в любом другом обществе давно бы изолировали, тотчас поддержали крупнейшие деятели государства, дельцы, потерявшие голову от жадности, маньяки, возомнившие себя полубогами, перепуганные параноики.

Выступил король маклеров, суперспекулянт, президент биржи «Нью-Йорк кэрб эксчейндж» г-н Траслоу. Он зарабатывает на нефти и на каучуке, на олове и на пшенице, на поте и на слезах. Он зарабатывает также на крови корейцев, но он боится, что в Корею не хватит крови для всей его

жадности. 18 декабря он объявил: «Мы не можем жить спокойно, пока не уничтожим Россию».

Я хочу сейчас сказать о другом: о жизни. Есть жизнь обыкновенного американского юноши, который ходит в университет, или сидит за конторкой банка, или работает у фрезерки. Он любит футбол, любит кино, он краснеет, встречая светловолосую Дженни, он мечтает через три года купить машину и поехать во Флориду, — может быть, с той же Дженни. У него есть своя жизнь. Нельзя ни смеяться над ней, ни ей грозить. Его жизнь — это его жизнь. Была жизнь у молодого человека в Корее, он учился или работал, он жил не так, как юноша Нью-Йорка, ему нравилась девушка, непохожая на Дженни, он что-то читал, о чем-то думал, были и у него свои мечты. Кто посмел его убить? Кто посмел сказать, что нужно снарядами, бомбами, напалмом, завтра атомными бомбами «поправить» чужую жизнь, обращая страну в пепел, а живых людей — в трупы? У каждого народа, как у каждого человека, свой характер, свои пристрастия, свои достоинства и слабости. Мы можем находить мечты юноши из Филадельфии навивными или ограниченными, но никогда мы не хотели и не хотим ему зла. Как же примириться с тем, что ежедневно, ежечасно потерявшие голову бессовестные и бессердечные люди призывают к новой войне? Как примириться с тем, что они предлагают обратить весь мир в пустыню, подобную Корее? Можно ли привыкнуть к мысли, что во главе большого государства стоят дельцы, которые действительно любят войну, как хищники любят мясо?

Мне хочется сказать всем этим политикам и спекулянтам, сенаторам и дельцам: опомнитесь! Если вы хотите зарабатывать, есть более спокойные товары. Торгуйте холодильниками или подтяжками, не тянитесь к крови. Говоря вашим языком, я скажу, что жизнь убийцы не дорого стоит, ее не согласится застраховать никакое страховое общество. Если вы одержимы гневом или страхом, если вы не можете совладать с собой, не выступайте с речами, не пишите статей, лечитесь. Лучше устроить консилиум хороших невропатологов, чем говорить безумные вещи на очередной пресс-конференции. Пора понять, что нельзя грозить народам, как будто народы — это музыкальный критик, которому один из ваших джентльменов недавно отправил письмо, вряд ли достойное цивилизованного человека. На вас лежит ответственность не только за ваш биз-

нес, вас выбрали, вам доверили судьбы страны. Я знаю, что вы — дельцы, вас не трогает плач матери на берегу Ялу. Но подумайте о детях Нью-Йорка. Перестаньте грозить смертью, — люди хотят жить, и люди больше не могут слушать вой хищников.

Я думаю о моей стране, о моем народе, который я люблю больше всех, потому что это мой народ, о народах других стран, тех, что я знаю, и незнакомых мне, я думаю и об Америке. Есть у меня повсюду личные друзья, их сотни, и есть друзья, которых сотни миллионов, обыкновенные люди, необыкновенные, как всякий человек, люди с разными волосами, разными мыслями, разной жизнью, ставшие теперь близкими друг другу, потому что все они не хотят отдать жизнь на растерзание хищникам. Странники мира, мы крепко взяли за руки — от Пхеньяна до Парижа, от Сибири до Чили, мы поклялись отстоять мир.

*Декабрь 1950*

## Открытое письмо писателям Запада

Недавно закончилась Третья сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Участники этой сессии обратились с призывом «ко всем честным людям, которые, независимо от характера их взглядов на причины создавшегося сейчас напряженного международного положения, ощущают тревогу по этому поводу и серьезно желают восстановления мирных отношений между народами».

Участники сессии подписали обращение и предложили всем честным людям поставить под ним свои подписи. Я напоминаю текст этого обращения:

«Мы требуем безусловно запретить атомное оружие, как оружие устрашения и массового уничтожения людей, и установить строгий международный контроль за исполнением этого решения. Мы будем считать военным преступником правительство, которое первое применит атомное оружие против какой-либо страны. Мы призываем всех людей доброй воли во всем мире подписаться под этим воззванием».

Многие писатели Запада уже подписались под этими словами. Я обращаюсь к тем, которые колеблются, которым нашептывают, что за воззванием сторонников мира скрыта политическая интрига, которых уверяют, будто голубка мира напоминает пресловутого троянского коня.

Почему я обращаюсь к писателям? Прежде всего потому, что я писатель. Я знаю, что писатель понимает значение своей подписи, он понимает, что его слушают и к нему прислушиваются миллионы читателей, он не только видит, он и предвидит, он не только описывает, он и предписывает, на его плечах лежит огромная ответственность.

Писатель, который пишет книгу, ответствен за все книги, написанные до него, за книгохранилища всего мира, за великие ценности прошлого. Писатель, который описывает простую человеческую любовь, ответствен за всех возлюбленных мира, за все колыбели, за все сады. Писатель, который говорит с людьми, ответствен за всех людей. Может ли теперь



писатель промолчать, затаиться, предать ребенка, человеческое счастье, древние камни, судьбу культуры?

Я обращаюсь к писателям потому, что за каждой подписью писателя последуют подписи его читателей. Мне могут сказать, что никакие подписи не способны предотвратить войну, не способны защитить людей от бомб и супербомб. Такою возражения мне кажутся неправильными и недостойными писателей. Давно миновали те времена, когда войны вели обособленные касты. Я не думаю, чтоб теперь можно было бы воевать против воли народов, против воли простых людей. Подписи под обращением, осуждающим атомное оружие,— это не только листы бумаги с перечнем имен американцев и русских, англичан и французов, итальянцев и поляков, китайцев и индийцев. Подписи означают решение, волю, обет миллионов и миллионов людей. Мы знаем, что различные совещания дипломатов не привели ни к какому решению (я сейчас не стану подчеркивать, по чьей вине). Мы видим, что угроза применения атомного оружия против неповинных людей с каждым днем возрастает. Мы видим, что над человеческой культурой нависла еще невиданная опасность.

Древние римляне уверяли, что музы молчат, когда говорит оружие. Музы теперь должны поднять свой голос, они должны говорить для того, чтобы не заговорило оружие.

Я обращаюсь к тем писателям Запада, которые видят жизнь не так, как мы, которые часто по-другому чувствуют и по-другому думают. Я обращаюсь ко всем честным писателям Запада, к социалистам и к индивидуалистам, к реалистам и к мистикам, к ревнителям прошлого и к новаторам. Я не предлагаю им присоединиться к моим социальным, политическим или эстетическим взглядам. Я не предлагаю им выступить за одну политическую партию против других или за одно государство против другого. Я не предлагаю им осудить то или иное правительство за его внутреннюю или внешнюю политику. Я предлагаю им нечто другое, для них приемлемое: я предлагаю им выступить против атомного оружия, против бомб и супербомб, угрожающих всем людям; я предлагаю им присоединиться к требованию сторонников мира о безоговорочном запрете атомного оружия и контроле над выполнением этого запрета; я предлагаю им осудить то правительство, которое первым осмелится сбросить атомную бомбу на жителей какой-либо страны.

В обращении, принятом Третьей сессией Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, нет ни камуфляжа, ни хитрости, ни пристрастного подхода. «Секрет», связанный с изготовлением атомного оружия, давно не является монополией какого-либо одного государства. Требуя запрещения атомного оружия, мы требуем его запрещения во всех государствах, где оно изготовляется или может начать изготовляться. Мы не призываем осудить правительство той или иной страны, мы призываем осудить правительство, которое посмеет первым прибегнуть к оружию массового уничтожения людей. Это не приговор, это предупреждение. Подписав воззвание, мы обратились ко всем людям доброй воли. Я думаю, что тот, кто выступит против нашего требования о запрете атомного оружия, тем самым выдаст свои преступные замыслы. Я думаю, что тот, кто не захочет назвать преступниками людей, которые посмеют применить это оружие, тем самым обнаружит свои бесчеловечные намерения.

Я приглашаю вас, писатели Запада, присоединиться к нашему беспристрастному обращению, продиктованному гуманизмом и тревогой за цивилизацию.

Я думаю сейчас о некоторых писателях Запада, которые не могут сочувствовать планам массового истребления людей, но которые до сих пор, насколько я знаю, не выступили против атомного оружия. Я позволю себе обратиться к каждому из них, считая, что эти личные обращения еще более уточнят сущность моего призыва.

Я обращаюсь к вам, Эрнест Хемингуэй. Вы знаете, как я ценю ваш дар, об этом я писал. Почти все ваши книги переведены на русский язык и хорошо известны советским читателям. Но я сейчас обращаюсь к вам не только потому, что вы писатель, которого я люблю. Я встречался с вами в осажденном Мадриде, когда преступники безнаказанно убивали бомбами испанских детей. Вы тогда справедливо возмущались кучкой людей, которые принесли неслыханное горе мирному испанскому народу. Я помню и другое: когда итальянские фашисты напали на Эфиопию, вы выступили со статьей, полной негодования. Вы любили итальянский народ, но вы знали, что правители Италии, напавшие на Эфиопию, совершили тяжкое преступление. Вы знали также, что за Аддис-Абебой последует Мадрид, а за Мадридом — Париж и Лондон. Много нас теперь разъединяет, но я не хочу с вами спорить.

Я обращаюсь к писателю Эрнесту Хемингуэю, пережившему трагедию Мадрида: можете ли вы молчать, когда бесчеловечные люди не скрывают своего намерения сбросить атомные бомбы или супербомбы на мирные города, на женщин, на детей, на стариков? Ваша подпись не может не стоять под требованием полного и безоговорочного запрета атомного оружия.

Я обращаюсь к вам, Роже Мартен дю Гар. Я долго хранил ваше прекрасное письмо, в котором вы осуждали вражду и говорили добрые слова о моем миролюбивом народе. Мне пришлось это письмо сжечь — в Париже, когда в город вошли фашистские захватчики. Вы, наверное, знаете, что ваша эпопея «Семья Тибо» хорошо знакома нашим читателям. Все ваше творчество отмечено гуманизмом, любовью к простым людям, и это позволяет мне обратиться к вам. Я позволю себе напомнить вам, что наш общий друг Жан-Ришар Блок много раз говорил об «ответственности таланта». Он говорил, что, когда миру грозят величайшие бедствия, писатель не вправе спрятаться, отвечая: «Это меня не касается». Вы до сих пор не сказали, что вы думаете о повисшей над человечеством угрозе. Мне кажется, что вы должны присоединиться к требованию о запрете атомного оружия: это требование не какой-либо одной партии, это требование человеческой совести.

Я обращаюсь к вам, Джон Б. Пристли. Мы с вами не знакомы, но вы любезно сопроводили английский перевод моих статей военного времени вашим предисловием. В этом предисловии вы говорили, что цените писателя, выступившего против военных преступников. Не думаете ли вы, Джон Б. Пристли, что писателям необходимо выступить против военных преступников до того, как ими совершено преступление, и тем самым попытаться это преступление предотвратить? Несколькими годами назад вы были в Москве, вы, наверное, успели заметить, что вас хорошо знают наши читатели и театральные зрители. Когда я вернулся из Парижа после Конгресса сторонников мира, советские люди меня спрашивали, участвовали ли вы в наших работах. Я не знал, как объяснить им ваше отсутствие. В Париже мне сказали, что вы отказались приехать на конгресс потому, что вы устали, и потому, что не верите в успех подобных совещаний. Я тоже устал, Джон Б. Пристли, я устал от многого: от той войны, которую я описал в книге, украшенной вашим предисловием, и от той войны, которую готовят теперь люди, думающие

о своих частных интересах. Я вполне согласен с вами: приятнее писать романы или пьесы, нежели выступать на конгрессах или на конференциях. Но я не могу уклониться от ответственности перед моими читателями, и хотя я тоже устал, я обращаюсь к вам. Конечно, я не могу вам поручиться, что ваше обращение остановит злоумышленников, но я вам ручаюсь, что, если вы не выступите против атомного оружия и не поставите вашей подписи под нашим воззванием, вам не простят этого ваши читатели — ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке.

Я обращаюсь к вам, Эрскин Колдуэлл. Вы были в Советском Союзе, когда нацисты напали на нас. Вероятно, вы помните, как мы случайно оказались в одном бомбоубежище: преступники тогда бомбили Москву. Вы хорошо рассказывали, смеялись, и летняя ночь прошла незаметно. Но вы не только смеялись тогда, вы негодовали. Вспоминая это, я обращаюсь к вам: вы должны подписать наше обращение. Вы много и хорошо писали о горе простых людей Америки. Неужели вы не выступите, чтобы оградить этих людей от самой страшной беды? Я отнюдь не требую, чтобы вы разделили мою точку зрения на происходящие мировые события; я не юноша и понимаю, что ни открытыми, ни закрытыми письмами нельзя переубедить писателя, его переубеждает только жизнь. Но я хочу другого: осудите людей, помышляющих об уничтожении мирных городов. Если у вас остались добрые воспоминания о Москве, защищавшейся против фашистов, вы можете вспомнить Москву. Но это отнюдь не обязательно. Зато для вас обязательно подумать о судьбе американских городов и американских детей. По-моему, вы должны подписать наше обращение.

Я обращаюсь к вам, Андре Шамсон. Нас связывает давняя дружба. Вы были в осажденном, окровавленном Мадриде. Вы человек глубоко мирный и ненавидите войну, но когда преступники захватили вашу страну, вы примкнули к Сопротивлению, вы воевали. Под нашим обращением стоят подписи французских писателей разных взглядов: рядом с Арагоном стоит подпись Мартен Шоффье. Можете ли вы не подписать этого обращения? Наши читатели знают ваши романы о жизни крестьян любимой вами горной области Севенн, ваш «Кладзь чудес», показывающий беды, пережитые Францией от фашистов. Я убежден, что судьбы ваших героев вам дороже,

чем некоторым дипломатам или некоторым политикам. Вы любите искусство и много сделали, чтобы спасти замечательные памятники прошлого. Недавно некоторые газеты, выходящие в другой части света, напечатали статьи: «Что останется от Парижа после того, как на него упадет супербомба». Из этих статей явствовало, что от Парижа не останется ничего, что погибнут и Лувр, и собор Парижской богородицы, и Национальная библиотека, и музей Пати-Пале, директором которого вы состоите. Я сейчас не стану разбирать, сколько правды и сколько бахвальства в таких статьях. Допустим, что преступники могут разрушить Париж. Но вы знаете, как и я, что построить его они не могут: для этого нужны века труда, творческий гений народа. Я убежден, что вы выступите против людей, прославляющих бомбы и супербомбы. Вы захотите отстоять мир, спасти древние камни Парижа и детвору Севенн, вы подпишете воззвание.

Я обращаюсь к вам, Джон Стейнбек. Вы говорили мне, что нужно развеять предвоенный туман. Вы побывали недавно в нашей стране, и вы написали книгу о вашей поездке. В этой книге вы говорите, что вам не понравилась советская пьеса, изображающая американцев, которые изготавливают предвоенный туман. Это ваше дело. Я мог бы вам ответить, что мне не понравилась ваша книга о поездке в Советский Союз: она показала мне несколько поверхностной и легковесной, я ждал другого от автора романов «Люди и мыши» и «Гроздь гнева», которые кажутся мне глубокими и значительными. Но я не намерен сейчас заниматься критикой книг или пьес. Вы заметили (и вы об этом написали), что советский народ не хочет войны. Я полагаю, что американский народ также не хочет войны. Именно поэтому я приглашаю вас выступить против кучки людей, строящих свое благосостояние на опасной и преступной игре с атомными бомбами. Я надеюсь, что вы не уклонитесь от вашего долга.

Я обращаюсь к вам, Альберто Моравиа. Вы написали хорошую книгу «Безразличные», вы показали в ней, как и в других ваших книгах, что вам далеко не безразличны судьбы простых людей Италии. Мы с вами о многом спорили в Риме. Но мы никогда не спорили об одном: о том, что необходимо предотвратить войну. Если я правильно понял ваши книги, если я правильно понял вас, вы обязательно поставите свою

подпись под воззванием, направленным против атомного оружия.

Я назвал немногих, но я обращаюсь к многим: ко всем вам, честные писатели Запада, каких бы вы взглядов ни придерживались. В час величайшей опасности для всех людей, для всех народов, для всей культуры вы не можете дольше молчать. Наше воззвание подписывают каменщики и сталевары, ткачи и виноделы, фермеры и учителя, инженеры и агрономы. Не пропустите часа: писатель должен опережать других. Голос людей, которых называют «человеческой совестью», должен прозвучать особенно громко, особенно отчетливо. Мне может не нравиться многое из того, что вы пишете. Вы можете критиковать или отвергать книги советских авторов. Однако и вам и нам нужен мир: он нужен всем народам, он нужен искусству. Я хочу сохранить веру в человечность лучших писателей Запада. Эту веру разделяют многие читатели, и вы не должны их обмануть. Вы должны выступить с простыми, спокойными и строгими словами: запрет атомного оружия, предупреждение тем, кто замышляет убийство миллионов безвинных людей, мир всем материкам, всем городам и всем детям!

*Апрель 1950*

## Совість народів

В давніе времена, когда люди боялись нечистой силы, они верили, что черги и ведьмы собираются на шабаш глубокой ночью. Фантазеры прошлого уверяли, что злые духи особенно безобразничают в последние часы ночи, перед рассветом. Это сказка, но в каждой сказке есть правда: чем ближе заря, тем свирепее и безумнее те силы, которым мила непроглядная ночь.

Для нас прошедший год — еще наше живое и теплое вчера. Нам трудно взглянуть на него со стороны: слишком свежи в памяти большие события и мелкие волнения, наши горести и радости. Но вот и этот год у нас отобрала история. Мы можем призадуматься: что скажут впоследствии люди, листая хронику наших лет, полных тревоги и надежды, когда дойдут они до цифры «1954»?

Много противоречивых чувств и переживаний принес минувший год человечеству. Если поддаться минутному впечатлению, если вспомнить только телеграммы последних декабрьских дней, можно сказать, что снова грозовые тучи обложили небо, что опять заголосили, казалось притихшие, шаманы войны, что простому человеку труднее стало загадывать на будущее. А это не так: год, который мы только что проводили, показал народам их силу. Если дурные вести сменялись хорошими, а хорошие дурными, если с непривычной даже для них свирепостью заговорили о войне различные фельдмаршалы, канцлеры, адмиралы, сенаторы, то это не потому, что темнее стала ночь, а потому, что уже виден вдалеке край этой ночи.

Разумеется, историк не скажет, что в 1954 году сторонники мира покончили с силами войны, но он отметит, что в этом году чаши весов дрогнули и совесть народов одержала первые большие победы над теми, кто не хочет расстаться с мечтой о новом кровопролитии.

Наши современники, немало испытавшие, только недавно пережившие годы фашистского изуверства, казалось бы ко всему привыкшие, все же возмутились, когда бессовестные дельцы послали свои бомбардировщики против крохотной

Гватемалы. Но можно спросить: чего добились сторонники политики силы? Они завоевали страну, едва насчитывающую четыре миллиона жителей, и потеряли остатки доверия ста шестидесяти миллионов, населяющих страны Латинской Америки. Да, все поднимаются против сеятелей войны: горняки Чили и пастухи Аргентины, студенты Мексики и батраки Бразилии, — о том свидетельствует не только завещание президента Варгаса, о том свидетельствуют ежедневные волнения, забастовки, митинги, пули наемных шерифов и кровь невинных — от Антильских островов до снегов Патагонии.

Сеятели войны немало потрудились и в Азии. В американской печати то и дело появлялись возмутительные и глупые призывы «забросать Китай атомными бомбами». Участились провокационные налеты на величайшую страну Азии. Коммивояжеры смерти не могли пожаловаться на безработицу: они носились из Турции в Пакистан, из Таиланда на Филиппины. Различными договорами, напоминающими то вербовку в средневековые ландскнехтов, то закупку гоголевским героем мертвых душ, сторонники политики силы показали, что они все еще надеются посеять в Азии братоубийственную войну.

Но остается повторить: чего они достигли? Против них возстала совесть народов. Против сеятелей войны объединились Китай и Бирма, Индия и Индонезия. Их поддержали другие народы Азиатского континента. Все громче звучит гневный голос японского народа. На кого же рассчитывают те американцы, которые все еще хотят раздуть пожар войны? Может быть, на битых королей, на сановников Бао Дая, на мистера Чан Кай-ши, на Ли Сын Мана?

Тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год многое изменил в мире. Народы не забудут великой победы, которую они одержали в Женеве. Индо-китайская война длилась очень долго. Против нее протестовали все народы. Французские патриоты неоднократно подвергались преследованиям за одно пожелание положить конец жестокой и несправедливой войне, которая велась от имени Франции, и за интересы, далекие от интересов этой страны. Еще за несколько недель до соглашения, заключенного в Женеве, американские дипломаты бодро толковали о «расширении», об «углублении» индо-китайской войны. К круглому столу они пришли нехотя, упираясь, они пытались уйти и сорвать переговоры: им претило соглашение, они понимали, что народы запомнят почин и потребуют но-



вых переговоров. Народы все же поставили на своем. Пушки замолкли. Запасы неизрасходованного напалма остались на американских складах. Призывы пустить в ход атомное оружие на несколько месяцев застряли в глотке гадких шарлатанов.

Мечтая раздуть новую мировую войну, сторонники политики силы сосредоточили свое внимание на Европе, еще не отстроившей своих сожженных городов, еще не оплакавшей в меру своих мертвых. Прикрываясь высокими фразами о «федерации», о «культурной общности», о «новых формах сверхнационального государства», сеятели войны пытались превратить древние государства Европы в призывные участки Пентагона. «Европейское оборонительное сообщество», однако, приказало долго жить. Американские дипломаты утерлись, но не образумились. Они решили сервировать то же кровавое блюдо, но под другим соусом. Что их занимает? Конечно, не споры о мнимой «федерации», не преамбулы или параграфы различных законопроектов, им важно одно: выстроить германские дивизии и двинуть их в бой. Они хотят выдать генералам вермахта, запятнавшим себя множеством злодеяний, убийцам миллионов женщин и детей, вандалам, уничтожавшим Ковентри, Роттердам, Новгород, Тур, палачам Освенцима, Майданека, Лидице, Орадура, Бабьего Яра и других лобных мест Европы, не только танки или орудия, но и термоядерное оружие, о котором не смел мечтать Адольф Гитлер.

И еще раз следует спросить: чего они добились? Совесть народов Европы потрясена. Французский народ заставил сначала свой парламент отклонить законопроект о вооружении Западной Германии. Никто не сможет стереть дату 24 декабря. Неужели есть слепцы, которые думают, что, уломав или запугав двадцать семь депутатов, они смогут выдать новое спорное для блюстителей закона и бесспорно недобросовестное для простого народа голосование за волю нации? Неужели они не понимают, что французский народ никогда не допустит осуществления тех договоров, которые грозят ему смертью? Во всех странах Западной Европы растет негодование. Можно ли, обладая минимальной честностью, утверждать, что английский народ ратифицировал Парижские соглашения, когда в парламенте за эту ратификацию высказалось меньшинство депутатов, а если многие депутаты воздержались, когда на голосование был поставлен вопрос — быть или не быть Англии, то не

воздерживался и не воздержится английский народ. Да и в самой Западной Германии социал-демократы, получившие на последних выборах больше голосов, чем какая-либо другая партия, открыто заявляют, что немецкий народ не допустит осуществления той сделки, которая означает сначала раздел страны, а потом ужаснейшую междуусобную войну. Вопрос о восстановлении зловещего вермахта не может решиться в парламентских буфетах, и тот, кто осмелится выдать какому-нибудь Кессельрингу или другому военному преступнику атомное оружие, рано или поздно ответит за это перед судом своего народа.

В начале «холодной войны», которая уже принесла немало бед человечеству, ее зачинщики любили потрясать атомной бомбой. Они думали тогда запугать своими заклинаниями непослушливых граждан неугодных им стран. Как известно, это им удалось, но в самой Америке сильно возросло потребление валериановых капель и других медикаментов, которые прописывают врачи чересчур впечатлительным людям. Казалось бы, теперь, когда сеятели войны хорошо знают, что страны, которым они грозили атомным оружием, вынуждены были обзавестись тем же оружием, чтобы иметь возможность парировать удар, глупо грозить и шантажировать.

Однако в 1954 году вновь усилились разговоры сеятелей войны о подготовке к атомному нападению. Недавно бывший американский дипломат Буллит предложил, недолго раздумывая, «уничтожить промышленные центры Советского Союза». На это можно было бы не обращать внимания, поскольку Буллит никогда не отличался чувством ответственности. Можно было бы, пожалуй, отнести воинственные выкрики фельд-маршала Монтгомери к проявлениям душевной неуравновешенности. Но нельзя пройти мимо решений, принятых сессией Совета НАТО, о подготовке к атомной войне. Бельгийский министр Спаак достаточно откровенно раскрыл суть этих решений: «Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано».

Пытаясь одурачить некоторых наивных людей, зачинщики войны уверяют, будто, накопив достаточное количество атомных и водородных бомб, американцы и англичане смогут начать переговоры с Советским Союзом. Английский депутат Бивен сказал по поводу таких заверений: «Сейчас все признают, что на первых же стадиях атомной и водородной вой-

ны Великобритании будет уничтожена». Этого никто не отрицает.

...А ведь именно на это оружие вы собираетесь опираться в переговорах. Фактически вы говорите русским: «Если вы, русские, не сдадитесь, мы совершим самоубийство».

Слова Бивена понятны всем простым людям. Игра с термоядерными бомбами зашла слишком далеко. Никто больше не верит в миролюбивые присказки сеятелей войны, которые предлагают когда-нибудь, где-нибудь и в чем-нибудь ограничить атомную войну. Простые люди требуют немедленного запрещения этого оружия, оскорбляющего совесть народов. Не забыты ужасы Хиросимы. Все знают, что произошло после испытания американской водородной бомбы на атолле Эниветок — радиоактивные яды, мучительная смерть неповинных японских рыбаков.

Простые люди говорят: мы устали от благих обещаний, от разговоров, в которых мы ничего не понимаем, от крючкотворства и волокиты дипломатических канцелярий. Мы хотим спасти мир от бомб, от радиоактивных ядов, от гибели. Если вы не хотите подумать о судьбе народов, подумайте хотя бы о судьбе своих детей. Если вы не способны испытать тревогу за судьбу человечества, за его цивилизацию, позаботьтесь о себе: ежели вы начнете атомную войну, вам не удастся спрятаться ни на полюсе, ни в стратосфере, ни под вершинами Кордильеров — вас повсюду разыщут смертоносные атомы, а если вы и уцелеете, то другие уцелевшие будут вас судить страшным судом. С такими вещами, как водородная бомба, господа, не шутят!

Величайшее открытие века, плод работы благородных умов должен быть обращен на облегчение жизни, а не на упрощение смерти. Как ни сильна ваша бомба, народы сильнее — это они порождают великих ученых, они добывают уран, они работают на заводах, — решите дело не вы, а они, простые люди всего мира.

Тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год принес народам большую победу — Женевское соглашение. Эта победа мира испугала и обозлила сеятелей войны. Они необдуманно размахнулись. Но народы удержат руки безумцев. Слово теперь принадлежит народам: они могут добиться, чтобы 1955 год стал годом поворота, годом начала новой эры — мира.

Советский народ занят большим и добрым делом. Мы не навидим войну, и пусть знает каждый человек, где бы он ни жил, что, если он хочет мира и крепко стоит за мир, есть у него много сильных и верных друзей — все советские люди. Мы никогда не примем угроз сеятелей войны за голос народов. Каждый народ хочет жить по-своему, каждый дорожит своими традициями, своими обычаями, своей землей. Но всем народам ненавистна война, и мы знаем, что совесть народов никогда не допустит второго пришествия кровавого вермахта. Мы знаем, что совесть народов добьется уничтожения атомного оружия. Мы знаем, что совесть народов отстоит мир. И от всего сердца мы желаем народам, близким и далеким, большим и малым, хорошего, мирного, счастливого года.

*Январь 1955*

## Раздумья о безумии

Редакция «Правды» сказала мне, что хочет посвятить номер вопросам мира и что я могу поделиться с читателями моими мыслями, как писатель. Мне кажется, это — хорошая инициатива. Обычно газеты просят у писателей рассказы или стихи; иногда помещают короткие отклики на выдающиеся события; и сама исключительность таких событий, а также отведенное для откликов место придают выступлениям литераторов характер деклараций.

Пожалуй, некоторые спросят, способен ли писатель, касаясь острых проблем внутренней или международной жизни, сказать нечто отличное от того, что уже было освещено на других полосах газеты. Может быть, он начнет литературным языком пересказывать хорошо известные истины?

Мне думается, что писатель может и должен сказать читателям нечто новое не потому, что он иначе расценивает события, а потому, что смотрит на них с другого наблюдательного пункта, видит не только общее, но и частное, не только политический или экономический облик исторических поворотов, но и то, что происходит в сознании, в сердце отдельных людей, которых зря называли «винтиками», они ведь выносят на своих плечах историю и ее создают.

Позволю себе пояснить сказанное примером, связанным с личным опытом, и прошу прощения за нескромность; делаю я это отнюдь не потому, что придаю большое значение моей литературной работе, а только потому, что человек лучше всего знает то, чем он сам занят.

Говоря о мире, писатель не может перейти на язык дипломатов. Писатель понимает свою ответственность за любого читателя, читавшего или не читавшего его книги, за судьбу каждого ребенка и за судьбы доставшейся нам в наследство культуры всего человечества. Мои мысли продиктованы не очередной нотой, а именно этим чувством ответственности, и я надеюсь, что они дойдут до моих читателей, как советских, так и зарубежных.

Формы человеческого общества меняются; их меняют народы после того, как великие ученые сделали свои открытия,

после того, как открытия изменили образ жизни, а философы и писатели поделились с людьми соответствующими выводами. Вспомним, как выглядела Европа в 1765 году, когда Уатт изобрел паровой двигатель. Никто не представлял себе государства без императора, короля или царя; а родословная была куда важнее и денег и талантов. Монархи давно стали редкостью, музейными экспонатами немногих стран; родословные не котируются ни на одной бирже. За два века успел подняться и приблизиться к закату тот класс, который всем обязан не столько Вольтеру или Монтескье, сколько Уатту. Когда я был мальчишкой, мне говорили, что главная сила — деньги, что без конкуренции не может быть прогресса. И вот в течение одной человеческой жизни мир изменился: в ряде государств, больших или малых, уничтожена частная собственность на орудия производства, а в нашей стране выросло и даже поседело поколение, знающее фабрикантов, банкиров, купцов только понаслышке. Четверть века назад английскому или французскому школьнику колонии казались такими же естественными, как судоходные реки или ископаемые богатства. А теперь мы видим, как рушатся последние колонны колониальных империй.

Я напоминаю о вещах общеизвестных потому, что существует, даже процветает институт, обреченный историей, а именно различные армии. Некоторые люди, по своему складу консервативные, даже если они слышат сверхпередовыми, говорят, что, пока существует капитализм, войны были и будут, а разоружение — это мечта прекраснодушных людей или покер дипломатов, которые, начиная с Гаагской конференции в 1899 году, между двумя войнами любят поговорить о том, что мир выглядел бы куда привлекательнее без пушек и бомб.

Почему разоружение стало необходимым для всего человечества, почему теперь оно диктуется не гуманизмом передовых умов, а здравым смыслом любого себялюбца? Да потому, что открытия современной физики сделали ядерную войну не только невыгодной, но и невозможной для каждого здравомыслящего человека. Пока могли быть победители и побежденные и пока победители обогащались захваченными территориями, сырьем, рынками, контрибуциями, разоружение оставалось прекрасной утопией. Все теперь изменилось. Альберт Эйнштейн и Фредерик Жолио-Кюри говорили мне, какие терзания они испытывали от мысли, что их научные работы были использованы для создания ядерного оружия. Этим оружием в полной мере,

даже сверхполной, обладают два лагеря, которые можно назвать противостоящими один другому. На Западе иногда называют третью мировую войну (а от мысли о ней еще не все отказались) «крестовым походом свободного мира». Но крестоносцы, отправляясь в поход против тех, кого считали нечестивцами, знали, что одни из них погибнут, а другие вернутся, что их семьи, их страны уцелеют, даже если им не удастся поставить крест на место полумесяца. Теперь же любой человек, любое государство, которые вздумали бы начать атомную войну, погибли бы вместе с теми, кого они хотят уничтожить.

Подготовка войны, которую никто не решится объявить, стала анахронизмом, бессмыслицей, не только разорительной, но и опасной. Медицина шагает вперед, продолжительность жизни возрастает, и вдруг среди белого дня разводят бактерии неслыханной чумы, стараются вызвать рак у всего человечества.

Говорят, что всеобщее разоружение неосуществимо, потому что, несмотря на контроль, одна сторона может обмануть другую. Именно так пишут многие газеты Запада, об этом говорят радиокомментаторы, миллионы людей, не разбирающихся в сложном вопросе, обмануты этими скептическими рассуждениями.

Три месяца назад в Риме собралась конференция «Круглого стола». Представители советской общественности обсуждали с видными политическими деятелями Запада различные проблемы, в первую очередь проблему разоружения. Среди нас был Жюль Мок, который в течение многих лет представлял Францию на всех конференциях и во всех комиссиях, посвященных разоружению. Он знает этот вопрос досконально; если его разбудить, он и не очнувшись ответит, кто и когда сделал такое-то предложение, как можно проверить тот или иной этап разоружения. Трудно его заподозрить в том, что он отстаивает советскую точку зрения, напротив, он долго отстаивал точку зрения различных французских правительств Четвертой республики, потом генерала де Голля. И вот Жюль Мок ясно, блистательно, с цифрами в руках доказал присутствовавшим, что сокрытие вооружения даже при недостаточном, несовершенном контроле может коснуться только незначительной части оружия и что гонка вооружений куда опаснее, нежели такого рода обман. Если это знает Жюль Мок, то это хорошо известно и всем союзникам по Атлантическому пакту. Почему же разоружение

все еще остается предметом благородных деклараций и мелких пререканий о процедуре? В арсеналах мира имеется достаточно ядерного оружия для того, чтобы уничтожить, отравить целые континенты, а продолжается гонка вооружений, как будто, вопреки русской поговорке, каждому человеку нужно обеспечить не одну смерть, а по меньшей мере десять. Это ли не безумие?

Я никогда не имел случая беседовать с президентом Кеннеди, но я встречал его политических друзей, сотрудников, я прочитал различные заявления, сделанные им за последние недели. У меня создалось впечатление, что он достаточно осведомлен, чтобы не относиться серьезно к комфортабельным бомбоубежищам, рекламы которых я видел в американском еженедельнике, и достаточно трезв, чтобы не внять голосу исступленных фанатиков, открыто предлагающих пожертвовать третьей частью населения Америки для мнимого спасения от мнимой опасности. Но, по моему скромному предположению, президенту приходится считаться и с некоторыми сверхдельцами, которые гонка вооружений на руку, и с некоторыми генералами, которые считают, что военному прожить без войны — это все равно что агроному прожить без поля или кондитеру без теста.

На меня произвело сильное впечатление письмо генерала Эдвина Уокера, адресованное американскому сенату. Этот генерал полгода назад командовал 24-й американской дивизией, находящейся в Западной Германии. Он принимал участие в корейской войне, потом был советником генерального штаба на Тайване, а в Германии он проявил такое рвение, что новая американская администрация решила его перевести на менее заметное место — в район Тихого океана. Будучи отнюдь не тихим, генерал взбунтовался, подал в отставку и обратился к сенату с жалобой на президента Кеннеди.

Эдвин Уокер пишет: «На поле битвы никакое сосуществование немислимо... Наша цель — не мир, а свобода... Мы должны договориться друг с другом и с нашими союзниками: коммунизм — это враг... Война объявлена. Каждый человек — солдат. Вспомним слова одного из командиров флота, который сказал своим подчиненным: «Мы в окружении. Мы должны их уничтожить всех до последнего».

Генерал пишет как душевнобольной. Скажут — он в отставке. Но, во-первых, он в отставке потому, что вышел из себя и решил хлопнуть дверью, во-вторых, в армии немало генералов,



рассуждающих как он, в-третьих, среди некоторых союзников Америки порой высказываются мнения, очень похожие на бред Уокера, причем исходят они от людей ответственных, и отставка им не грозит.

Что может сделать такой Уокер? Он не один; вместе со своими единомышленниками, покровителями, республиканскими сенаторами, восхищенными его посланием, некоторыми финансовыми магнатами он тормозит начало переговоров о разоружении. Что может сделать двойник генерала Уокера, командующий крупным войсковым соединением в Западной Германии? Да такой может без президента, без писем к сенаторам шито-крыто спровоцировать ядерную войну в самом центре Европы, где накопилось вдоволь горючего материала. Спички труднее изъять из обращения, чем пороховые склады, и пока не будет начато разоружение, никто не может быть спокоен — ни в Германии, ни в нашей стране, ни в Америке.

Вот уже полгода, как политические деятели и генералы Атлантического блока говорят о возможности войны и уверяют при этом, что угроза исходит от Советского Союза. Я хочу спокойно ответить на беспокойные разговоры. Как мы узнали из письма генерала Уокера, американский Национальный совет безопасности в 1958 году объявил о «мобилизации гражданских, дипломатических и военных служб в рамках холодной войны». С тех пор в Соединенных Штатах изменилось правительство; но даже буйного генерала Уокера новая администрация хотела только перевести с одного поста на другой. Мы не услышали четкого отречения от политики предшествующих лет.

А на XXII съезде КПСС различные противники мирного сосуществования подверглись очень суровой критике. Каждый честный человек должен признать, что у нас нет и не может быть ни Уокера, ни тех влиятельных кругов, которые его поддерживают.

Необходимо без промедления начать переговоры о разоружении и не затеять еще раз многолетнюю праздную дискуссию, а говорить по-деловому, постараться быстрее договориться.

Думаю, что необходимо отказаться от всяких атомных испытаний — надземных, подземных, подводных и других. Да как я могу думать иначе? Я ненавижу ядерное оружие, считаю его черным пятном на совести века. Атомные взрывы отравляют не только атмосферу, но и сознание. Дьявольская гонка атомного

вооружения растет. Профессор Бернал в своем недавнем обращении выразил мысли и чувства миллионов людей, и я с ним согласен не только потому, что я — член Всемирного Совета Мира, но потому, что я — советский человек, который всегда выступал против атомного вооружения и испытаний ядерного оружия.

Что называют «угрозой войны» некоторые представители Запада? Предложение заключить мирный договор с двумя германскими государствами. Это звучит парадоксально, но это именно так. Благодаря соглашениям между государствами, сражавшимися против Гитлера, Германия оказалась разделенной; в двух ее частях были проведены различные экономические мероприятия, разные вводились законы, детей учили по-разному. Создались два государства, непохожие одно на другое, хотя оба они прежде входили в одну империю. Соединить их механически невозможно; следовательно, нужно признать факт их существования. Какие доводы выдвигаются против этого? Говорят, что правительство ФРГ — «настоящее», потому что оно «создано свободными выборами при существовании различных партий». Однако это фетишизм: разве Гитлер не пришел к власти с помощью свободных выборов?

По соглашению между союзниками в Германии не должна была быть предоставлена свобода никаким фашистским организациям. А в Западной Германии открыто существуют союзы бывших эсэсовцев, там запрещено движение сторонников мира, хотя в него входили люди различных политических убеждений.

Западные политики говорят, что им не по душе ГДР. Но мне, например, не по душе ФРГ. Туристом я туда ни за что не поехал бы; мысль о том, что я могу встретить бывшего эсэсовца из Освенцима, помешала бы мне любоваться красотами Рейна. Но разве можно оттого, что государство не нравится, отрицать его существование, предлагать воевать, то есть уничтожать других и себя только для того, чтобы сказать «нет»?

Мирный договор с двумя германскими государствами означает признание существующих границ. На карте границы — тонкие ниточки, но из-за таких ниточек в прошлом гибли миллионы людей. В Западной Германии не смолкают требования пересмотра границ, и пропаганду реванша облегчает отсутствие мирного договора.

Мы слишком много горя узнали от немецкой военщины и одного хотим, чтобы это больше не повторилось. Об этом помнят

все — вдовы, сироты, инвалиды, весь наш народ. Есть вещи, которые грех забыть.

А насчет статута Западного Берлина и его свободных связей со всем миром очень легко договориться. Без запальчивости и без генерала Уокера...

Я читал статью одного французского журналиста, который убеждал читателей своей газеты, что «нельзя пойти на уступки русским», «это было бы новым Мюнхеном». В моей книге воспоминаний я теперь как раз описываю Испанию и конец тридцатых годов; взял старые газеты, да и без газет многое слишком хорошо помню. Добропорядочный и слабохарактерный Блюм выдал Испанскую республику фашистам и тем самым помог разгрому Франции. В Мюнхене Чемберлен и Даладьё отвалили Гитлеру кусок Чехословакии и тем самым способствовали дальнейшим агрессиям. Почему они так поступали? Они боялись коммунизма больше, чем Гитлера. Теперь политику Мюнхена продолжают те французы, которые ставят на возрождение военной мощи Германии. Еще живы вдовы расстрелянных героев Сопротивления, среди которых были и коммунисты, и социалисты, и сторонники генерала де Голля, а во Францию приезжают генералы, служившие в гитлеровском рейхсвере. Больно подумать, но даже Орадур, Ковентри, пепел Освенцима некоторых людей ничему не научили.

Советский Союз не ищет никаких территориальных приобретений, не стремится нанести урон престижу своих бывших союзников. Пускай в Западном Берлине, в кафе и пивных Курфюрстендама отставные оберштурмфюреры проклинают коммунизм, никто их не жаждет перевоспитывать. Дело не в них, да и не в покушении на права западных держав. Мы вместе воевали, нужно вместе поставить точку.

В письме генерала Уокера имеются нехорошие слова: говоря о солдатах, находившихся под его командованием, он поясняет: «Они должны научиться убивать и уничтожать». Вот с этим время покончить.

В сентябре я был в Лондоне на совещании различных миролюбивых движений; там были и сторонники Кеннеди, и английские лейбористы, и пастор из Западной Германии — словом, люди, непохожие друг на друга; все они признали, что советское предложение о мирном договоре способствует не войне, а миру. Я видел огромные народные демонстрации в Лондоне: против атомного вооружения, против взрывов, за переговоры

о германской проблеме. Я знаю, что в Америке, в других странах, входящих в Атлантический блок, движение за мир растет. Думаю, что все миролюбивые организации поддержат пожелания, выраженные профессором Берналом: прекратить атомные испытания, приступить к деловому плану всеобщего разоружения, начать мирные переговоры о германской проблеме.

В книге, над которой я теперь работаю, я признаюсь, что меня не раз в жизни поддерживали гордые слова французского философа XVII века Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Увы, во второй половине XX века приходится напомнить, что эти слова правильны и перевернутые: для того, чтобы мыслить, нужно существовать. Для того, чтобы культура продолжала расти — по-разному в разных странах, нужно спасти от атомной смерти детей — философов, космонавтов, садоводов, архитекторов XXI века. Сейчас еще не поздно развеять безумие. Прибегая к словарю генерала Уокера, скажу: еще не поздно демобилизовать все гражданские, дипломатические и военные службы. Нужно воспитывать детей в духе солидарности, учить их не «убивать и уничтожать», а быть людьми, дружить, работать, строить, созидать.

Может быть, все это мысли даже не писателя, а обыкновенного человека, прожившего длинную и неспокойную жизнь.

# Комментарии



В «Хронику наших дней» («Советский писатель», М. 1935) вошли произведения, написанные Эренбургом с 1928 по 1932 год. Первая книга этого цикла — «10 л. с.» — опубликована в 1929 году в журнале «Красная новь» (№№ 9, 10), роман «Единый фронт» — в 1930 в издательстве «Петрополис», «Фабрика снов» — в 1931 («Красная новь», №№ 5—8), очерк «Хлеб наш насущный» — в 1933 году (М., «Советский писатель»).

«Хроника наших дней» — итог пристального изучения механизма капиталистической экономики и политики. «Я захотел, — вспоминает Эренбург, — поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготавливать изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей»<sup>1</sup>.

Работу над «Хроникой» Эренбург начал накануне кризиса. Вопреки убежденности буржуазных кругов Запада в устойчивости процветания, еще в первой книге «Хроники» («10 л. с.») прозвучала мысль о неотвратимости экономической катастрофы. (В декабре 1928 года президент Кулидж писал о прощальном послании конгрессу: «Страна может с удовлетворением взирать на настоящее и с оптимизмом — на будущее»<sup>2</sup>. Но уже в октябре 1929 года в США произошел биржевой крах, возвестивший наступление мирового кризиса капитализма.)

Документальная основа событий воспроизведена в «Хронике» с большой точностью — писатель изучал статистику производства, финансовые обзоры, экономические отчеты, протоколы судебных заседаний, беседовал с предпринимателями и финансистами.

Хотя Эренбург стремился «не отступать от сырого материала»<sup>3</sup>, книга не стала простым объективистским отчетом (сам Эренбург отмечает, что его наблюдения «смонтированы отнюдь не беспристрастно»). Достоверность «Хроники» достигается не столько следованием факту, сколько воспроизведением картины в целом.

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь. Книга третья и четвертая, «Советский писатель», М. 1963, стр. 224.

<sup>2</sup> Всемирная история, т. IX, Изд-во социально-экономической литературы, М. 1962, стр. 173.

<sup>3</sup> «Красная новь», 1929, № 9, стр. 7.

Логика развития событий и писательская интуиция помогли Эренбургу увидеть неустойчивость, казалось бы, незыблемых столпов общества. Реакция Крегера и Бати на «Хронику» подчеркнула точность оценки.

Пресса рекламировала безупречную честность Крегера, необычайную энергию Деттердинга, филантропические наклонности Истмена, называла Батю «благодетелем человечества». В «Хронике» открылась закулисная сторона их деятельности — Крегер оказался аферистом, Деттердинг не гнушался самыми грязными сделками, на предприятиях Истмена, несмотря на все его «благодейния», не прекращались забастовки, Батя безжалостно эксплуатировал своих рабочих. Закономерности, определяющие поведение этих людей, Эренбург ищет не в их индивидуальных особенностях, а в абсурдности и бесчеловечности самого строя.

Каждое из произведений, вошедших в «Хронику наших дней», имеет самостоятельное значение, но именно в единстве они дают развернутое представление о политической и экономической жизни Европы конца 20-х — начала 30-х годов.

Книга «10 л. с.» показывает, как в буржуазном мире человек становится рабом тех самых технических достижений, которые должны были раскрепостить его. Одна из важнейших ее тем — духовное порабощение, стирание человеческой личности. Критик М. Лифшиц отметил умение писателя передать «атмосферу всеобщего отупения, автоматизма, внутренней пустоты, какой-то «выморочный» дух, царящий над всей буржуазной цивилизацией последних десятилетий»<sup>1</sup>.

«Фабрика снов» посвящена проблемам кино, которые давно интересовали Эренбурга. (В 1927 году вышла его брошюра «Материализация фантастики»; тогда же немецкая кинофирма «Уфа» экранизировала его роман «Любовь Жанны Ней».)

«Фабрика снов» воспроизводит историю превращения одного из самых замечательных изобретений человечества в предмет спекуляции.

«Хлеб наш насущный» — памфлет, написанный в самый разгар кризиса; направлен против тех, кто уничтожает хлеб, в то время как миллионы людей умирают от голода. Эренбург приводит чудовищные факты, его сопоставления звучат как приговор.

«Хроника наших дней», свидетельствующая о большой социальной чуткости писателя, утверждала один из принципов творческой деятельности Эренбурга: правомерность использования в художественном произведении материалов истории, политики, экономики. В напряженный

---

<sup>1</sup> «Литературное обозрение», 1936, № 6, стр. 16.



эмоциональный строй книги органически вплетаются газетные сообщения, биржевые котировки, статистические данные. Наравне со словом, цифра становится в руках писателя орудием разоблачения. (Одна из глав «10 л. с.» построена на противопоставлении цифр, которыми Ситроен любит ошеломлять своих сограждан, — «в наших машинах 46 000 лошадиных сил... мы способны выпускать 1000 машин в день...» — иной статистике: на заводе Ситроена в течение месяца — 12 000 автомобилей, 18 000 000 чистого дохода, 34 оторванных пальца.) Документальные и беллетристические элементы здесь неразрывно связаны и образуют единое художественное целое. Герои книги — реально существующие люди. Однако Эренбург синтезирует жизненный материал, дает свое истолкование событий, в отдельных случаях позволяет себе «известную перегруппировку деталей и концентрацию как лиц, так и происшествий»<sup>1</sup>, домысливает те стороны жизни своих героев, которые он не мог знать как свидетель, но знает как художник. Своеобразный монтаж действительности и вымысла обусловил необычность жанра. По определению самого Эренбурга, «Хроника наших дней» — это «беллетризованная экономика».

Непосредственно предшествовавшая «Дню второму», книга была важным этапом в творческом развитии писателя. Проблема взаимосвязанности единичного человеческого существования с судьбами мира волновала Эренбурга и раньше. Однако в «Хронике наших дней» «место замкнутых личных связей, способных охватить ограниченное количество людей, непосредственно окружающих каждого отдельного человека, заняли связи общественные; место биологического родства людей заняло родство социальное»<sup>2</sup>.

Эти изменения в мировоззрении писателя по-новому определили и его гражданскую позицию — «Хроника наших дней» родилась из потребности активного воздействия на жизнь.

«Хроника наших дней» в 1957 году переведена на японский язык. Книга «10 л. с.» в 1930 году вышла на французском, немецком, испанском и чешском языках, в 1931 — на болгарском, датском и шведском, в 1933 — на польском и испанском (Чили), в 1935 — на венгерском, в 1956 — на испанском (Аргентина), в 1948 — на голландском, в 1960 — на немецком и чешском. «Фабрика снов» в 1931 году переведена на немецкий язык, в 1932 — на испанский, в 1933 — на польский, в 1939 —

---

<sup>1</sup> «Красная новь», 1929, кн. 9, стр. 7.

<sup>2</sup> Г. Белая, Романы И. Эренбурга 40-х годов «Падение Парижа» и «Буря» (К вопросу о формах современного романа), Мин. просвещения РСФСР, МГПИ имени Ленина, М. 1962, стр. 9.

на французский, в 1941 — на испанский (Аргентина), в 1960 — на португальский; на японском и хорватском книга вышла без дат. Роман «Единый фронт» вышел в 1931 году на французском, немецком и шведском языках, в 1932 — на польском и словацком; «Хлеб наш насущный» переведен на немецкий язык в 1929 году, на голландский — в 1933, 1934, 1949, на испанский (Чили) — в 1933, на шведский — в 1934, на датский — в 1934, 1950.

## Виза времени

Очерки, составившие книгу «Виза времени», написаны Эренбургом преимущественно в 20-е годы. Первый из них, посвященный Германии, был закончен в 1923 году и опубликован тогда же в 9-й книге журнала «Россия»; последний, написанный в 1931 году, вошел во второе, расширенное издание «Визы времени». В 1928 году некоторые из этих очерков были включены в сборник «Белый уголь или слезы Вертера» («Прибой», Л. 1928). В 1931 году очерки Эренбурга вышли отдельным изданием («Виза времени», ГИХЛ, М.—Л.). Очерки «Англия», вошедшие во второе издание «Визы времени», публиковались до этого отдельной книгой («Федерация», М. 1931).

В 20-е годы Эренбург побывал в большинстве европейских стран — Германии, Англии, Чехословакии, Польше, Швеции, Норвегии, Дании, Италии, Греции, Испании (Францию он знает многие годы). Знакомясь с этими странами, писатель стремился постичь их национальное своеобразие, особенности политической жизни, культуры, истории, религии. «Виза времени» подытоживала впечатления писателя за целое десятилетие, в течение которого назревали события, подготовившие вторую мировую войну.

В Берлин Эренбург приехал осенью 1921 года. Измученная войной и жестоким репарационным режимом, Германия только что пережила революционный подъем, и, несмотря на последовавшую затем полосу террора и реакции, в стране вновь назревала революционная ситуация.

Эренбург, как и многие в те годы, связывал с Германией надежды на возможность решительных перемен в судьбах Европы. В «Письмах другу» (1922) он писал: «Слушать сердце Европы можно только в Берлине».

Однако его настораживала и атмосфера истеричности, царящая в среде мелкого бюргерства, откуда выходят «мрачные романтики», мечтающие о реванше, и патологичность некоторых форм немецкого искусства

тех лет — садистские сценарии кинематографа, «симфонии крови» в живописи, аналогичные мотивы в поэзии. (Разумеется, Эренбург понимает, что этим не исчерпывается искусство Германии: со многими выдающимися представителями немецкой литературы и живописи он хорошо знаком; живя в Берлине, встречается с Альфредом Дёблином, Леонгардом Франком, Георгом Гроссом.)

Глубокая привязанность к европейской культуре, к ее гуманистическим традициям обостряет чутье писателя, поэтому первые признаки надвигающейся катастрофы он улавливает очень рано. Уже в 1924 году он бьет тревогу: слишком быстро забыты ужасы Соммы и Вердена, милитаризм и шовинизм вновь поднимают голову в Европе («Гляжу сейчас в окно, маршируют немецкие бойскауты. Они поют «Германия превыше всего»<sup>1</sup>).

По мере того как Эренбургу становится ясней, по какому пути идет Германия, меняется и самый характер его очерков — проблемы культуры, этики, национальной психологии уступают место остреешим социальным и политическим проблемам.

В последних очерках о Германии («Берлин. Январь 1931 года», «Октябрь 1931 года») Эренбург отмечает, что коммунисты оказались единственной силой, способной противостоять фашизму.

Если очерки о Германии построены как последовательный ряд зарисовок в разные отрезки времени, то заметки о других странах даны либо как итог давних размышлений (Франция), либо как результат непосредственного знакомства со страной (Словакия, Север, Англия).

Эренбург стремится увидеть не «официальную версию» той или иной страны, а ее подлинное лицо. С этой точки зрения особенно характерны очерки, посвященные Англии, куда Эренбург приехал в 1930 году, в разгар экономического кризиса.

«Английский вариант» капитализма еще раз поразил писателя столь хорошо известной ему по Парижу и Берлину несовместимостью двух миров. Главы, посвященные правящему классу Англии, написаны остро-сатирично, они звучат как памфлет. Писатель высмеивает культ давно окостеневших условностей и невыблемых традиций, которым «джентльмены» отдают предпочтение перед насущными интересами своей страны, мелочность политических страстей в парламенте.

Франции в «Визе времени» отведено сравнительно немного места (в первых изданиях три очерка — о Париже, Бретани и французской провинции; в томе представлен последний из них).

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Лик войны, «Пучина», М. 1924, стр. 3.

В контрасте с хронической послевоенной неустойчивостью Германии воспринимается удручающее спокойствие и мертвящий застой французской провинции. Любовь к стране, которую Эренбург так хорошо знает, не помешала ему дать уничтожающую картину нравов ее провинциальной буржуазии.

Очерки, посвященные Швеции, Норвегии, Словакии, написаны в несколько иной тональности. Здесь больше всего сказалось поэтическое начало, которое в сочетании со строгой фактографичностью создает своеобразный колорит «Визы времени». Мужество и благородство народов Севера, бескорыстие словацких крестьян, их умение сохранить человеческое достоинство, несмотря на безысходную нужду, Эренбург противопоставляет нивелирующему влиянию капитализма.

Значение «Визы времени» не исчерпывается богатством фактического материала, который отчасти утратил свою актуальность. Очерки Эренбурга — не социологические трактаты и не этнографические исследования. Это раздумья по поводу увиденного, художественное осмысление тех сторон жизни, которые не могут быть поняты одним изучением политической и экономической структуры общества.

Многое менялось в облике Европы 20-х годов, и писатель упорно искал ответа на вопрос, какие этические и эстетические нормы, понятия, идеи, сложившиеся в прошлом, «могут быть завизированы временем» (отсюда название книги) и какие из них безнадежно устарели.

Этот подход определил свободную манеру, сочетающую интеллектуализм, проничность и лиризм (в известной степени родственную гейневским «Путевым картинам»), в которой написана «Виза времени».

Желание Эренбурга уловить атмосферу жизни той или иной страны, неповторимость национальных форм ее общественного бытия встречало полное непонимание со стороны многих критиков 30-х годов, квалифицировавших «второй план» «Визы времени», как мистику, идеализм (Ф. Раскольников, например, упрекал Эренбурга в стремлении «разгадать метафизическую «душу» каждой нации») <sup>1</sup>.

Главное обвинение, предъявленное Эренбургу критикой, заключалось в том, что он игнорирует вопрос о рабочем движении и роли коммунистических партий. Действительно, эти проблемы не были центральными в очерках Эренбурга, но все же они не раз привлекали к себе внимание писателя.

В то же время отмечалось, что Эренбург подвергает беспощадной критике противоречия капиталистической системы, что он разоблачает

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Виза времени, ГИХЛ, М.—Л. 1931, стр. 5—6.

«классовый эгоизм законодателей», пристрастие судей, фальшивость прессы<sup>1</sup>.

В отличие от тех, кто принимал в книге Эренбурга лишь критику капитализма, литературовед Миллер-Будницкая, вопреки очевидности, утверждала, что «Виза времени» говорит о «притуплении сатиры Эренбурга против капиталистического строя», что писатель «окружает ореолом мученичества лондонскую буржуазию» и что сам он не кто иной, как представитель буржуазии, и поэтому ощущает «историческую обреченность, неизбежность гибели своего класса»<sup>2</sup>. А. Селивановский писал, что в «Визе времени» Эренбург перестает быть даже «поверхностным критиком капитализма и становится обеими ногами на почву буржуазных теорий», что писатель болен «социальной катарактой»<sup>3</sup>.

Отмечая лишь достоинства формы (афористичность стиля, блестящее владение иронией), критика 30-х годов не давала объективного анализа книги.

Можно не соглашаться с Эренбургом в отдельных оценках, можно спорить с некоторыми его определениями, но нельзя не признать, что «Виза времени» воссоздавала картину Европы 20-х — начала 30-х годов, реализованную в глубоко индивидуальной художественной форме.

Книга в 1929 году переведена на немецкий язык.

## Испания

Эренбург впервые увидел Испанию осенью 1931 года. С декабря 1931 по январь 1932 года он работал над книгой об Испании, которая тогда же вышла на испанском языке под названием «Испания — республика трудящихся». На русском языке она публиковалась вначале в журнале «Красная новь» (1932, №№ 1—3), затем вышла отдельной книгой («Испания», «Федерация», М. 1932).

Испания давно привлекала к себе писателя, который хорошо знал по европейским собраниям живопись Веласкеса, Сурбарана, Греко, Гойи, в годы первой мировой войны изучил испанский язык и работал над переводами из «Романсеро», поэм Гонсало де Берсео, Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо, в произведениях которых Эренбург находит общие черты, присущие национальному гению Испании.

---

<sup>1</sup> «Красная новь», 1932, № 3, стр. 188; «Литературная учеба», 1934, № 10, стр. 78, 80.

<sup>2</sup> «Ленинград», 1932, № 1, стр. 75—76.

<sup>3</sup> «Литературная газета», 1931, 30 августа, № 47.

Эренбург приехал в Испанию вскоре после свержения монархии. Однако установление республиканского строя не повлекло за собой действительно революционных изменений в государстве. Испанская буржуазия, добившись политической власти, перешла в наступление против народа. Эренбурга, писателя Советской страны, в «республике трудящихся всех классов», как официально именовалась тогда Испания, всюду сопровождали полицейские.

В Испании книга Эренбурга (само название которой звучало ironically) вызвала злобные нападки со стороны тех, против кого она была направлена. Газета «La Libertad», например, требовала привлечь писателя к ответственности, конфисковать его книгу и препятствовать распространению ее за границей.

Совсем по-другому реагировала на книгу Эренбурга газета «Тиегга». Она писала: «Эренбург объехал Испанию 4—5 месяцев тому назад. Книга его, горькая, но правдивая, полная справедливого гнева против нашей паразитической и ленивой буржуазии, является плодом его путешествия. Сам автор принадлежит к числу редчайших путешественников, которые приезжают в Испанию не как туристы, находящие в нашей нищете лишь любопытное зрелище, нет, для них мы — братья и товарищи из одной страны без границ — мировой страны труда. Его книга, к своей чести, многих возмутила, но гнев их только подчеркивает точность рассказа». Газета утверждала, что «подлинный испанский народ (а не тот, что сидит в министерствах, банках, казино или на парламентских скамьях) должен быть благодарен писателю за его книгу»<sup>1</sup>.

Вслед за редакционной заметкой «Тиегга» поместила «Письмо одного республиканца знаменитому русскому писателю Эренбургу» и ответ Эренбурга на это письмо. Анонимный корреспондент упрекал писателя в презрительном отношении к испанскому народу и к тем прогрессивным начинаниям, которые якобы осуществляет новое правительство.

Эренбург возражал «республиканцу», что ни одна из правительственных мер не может хоть сколько-нибудь изменить положение народа, что даже ничтожные уступки были вырваны путем длительных стачек и что самое понятие «народ» они воспринимают по-разному. «Все дело в том, — писал Эренбург, — что я называю народом рабочих и крестьян, а вы, вероятно, чиновников и адвокатов. А их я, конечно, изображаю бездельниками, невеждами, зачастую жестокими. Да, это упрек, но упрек не народу, а классу»<sup>2</sup>.

Лучшим доказательством действительности книги Эренбурга было письмо от крестьян деревни Риваделаго, которые сообщали автору, что, прочи-

<sup>1</sup> «Интернациональная литература», 1933, № 1, стр. 110.

<sup>2</sup> Там же, стр. 114.

тав его книгу, решили бороться за свои права и добились успеха. Книгу об Испании, близкую по манере к «Визе времени», отличает особенная взволнованность,— уже с первой встречи Эренбург полюбил эту страну и ее народ, «суровый, храбрый и нежный». «Испания» заставила советского читателя по-новому увидеть страну, которая вскоре приковала к себе внимание всего мира. Книга получила высокую оценку в советской критике<sup>1</sup>.

Испания 1931 года оставила у писателя ощущение, что события в стране только начинают разворачиваться. Забастовки и волнения, а затем революционное выступление горняков Астурии утвердили его в этой мысли. В 1934 году, в послесловии к новому изданию книги «Испания», он писал: «То, что было в Астурии,— это не бунт, даже не восстание, это только один из эпизодов испанской революции»<sup>2</sup>.

Когда вспыхнул фашистский мятеж и началась гражданская война, Эренбург одним из первых, среди лучших представителей интеллигенции всего мира, приехал в Испанию и пробыл там (с небольшими перерывами) до последних дней героического сопротивления испанского народа. Все эти годы, бессменный корреспондент «Известий», он ездит по фронтам с типографией и кинопередвижкой, выступает на митингах, собирает материалы о зверствах фашистов, принимает горячее участие в организации II Международного конгресса писателей. Его имя, как и имя Кольцова, было хорошо известно в Испании. «Кольцова и Эренбурга знают все,— вспоминает О. Савич,— и знают давно. Не удивительно, что, когда председатель называет их, вспыхивают бурные аплодисменты»<sup>3</sup>. Одна из центурий в Барселоне носила имя Ильи Эренбурга. За участие в борьбе испанского народа писатель был награжден орденом Красной Звезды.

Литературная деятельность Эренбурга этого периода не ограничивается статьями, очерками и корреспонденциями. Он опубликовал роман «Что человеку надо», книгу стихов, два фотоальбома — «УНР» и «No rasagan», перевод книги Пабло Неруды «Испания в сердце».

В том включен текст первой части фотоальбома — «УНР» (ОГИЗ—ИЗОГИЗ, 1937) и очерки из сборника «Испанский закал» (Государственное издательство «Художественная литература», М. 1938).

Материалы фотоальбома «УНР» рассказывают об астурийской эпопее, «черном двухлетии» и завершаются победой Народного фронта —

---

<sup>1</sup> См., например, «Звезда», 1933, № 7, стр. 208; «Художественная литература», 1933, № 1, стр. 9.

<sup>2</sup> И. Эренбург, Испания, Гослитиздат, М. 1935, стр. 146.

<sup>3</sup> О. Савич, Два года в Испании. 1937—1939, «Советский писатель», М. 1961, стр. 66.

это своего рода мост от событий, описанных в книге «Испания», к гражданской войне 1936—1938 годов.

Очерки из книги «Испанский закал» посвящены периоду войны (большая их часть относится ко времени наступления под Гвадалахой). Первоначально они публиковались в 1937 году в газете «Известия» («Сапожник Грегора Сальваторе» — 16 марта, № 65; «Укрощение неукротимых» — 20 марта, № 68; «На поле битвы» — 27 марта, № 74; «В Бриуэге» — 30 марта, № 77; «Вирхен де ла Кабеса» — 4 мая, № 104).

О роли, которую сыграла в жизни писателя Испания, он говорит: «Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», нашел нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании»<sup>1</sup>.

Книга «Испания» в 1932 году переведена на испанский и немецкий языки, в 1935 — на болгарский, в 1936 — на французский. Очерки об Испании в 1936 году переведены на французский, в 1937 — на испанский, немецкий, голландский языки.

## Гражданская война в Австрии

Очерки «Гражданская война в Австрии» написаны Эренбургом в 1934 году в Брно, тогда же опубликованы в №№ 56, 58, 61, 63 (6, 9, 12, 15 марта) газеты «Известия», затем вышли отдельной книгой («Советский писатель», М. 1934).

Приехав в Вену сразу после антифашистской демонстрации 12 февраля 1934 года в Париже, Эренбург надеялся стать свидетелем выступления австрийского пролетариата. Но восстание уже было подавлено, геймверовцы хозяйничали на улицах Вены, шла кровавая расправа над участниками боев. Эренбург едет в Братиславу, в Брно, встречается с шувбундовцами, которые пробилась к чехословацкой границе, знакомится с документами, вывезенными из Австрии, видится с одним из руководителей шувбунда Юлиусом Дейчем.

Очерки Эренбурга, точные, скупые, явившиеся репортажем непосредственно с места действия, помогали понять, почему хорошо организованный австрийский пролетариат так быстро потерял все свои завоевания и оказался столь же разобщенным, как немецкий. Они разоблачали лживые измышления буржуазной прессы о рабочих, якобы виновных в

---

<sup>1</sup> Илья Эренбург, Люди, годы, жизнь. Книга третья и четвертая, «Советский писатель», М. 1963, стр. 593.



кровапролитии, и были неоспоримым свидетельством взаимосвязанности европейских событий: австрийская трагедия вставала как еще одно звено в цепи общего фашистского сговора.

Очерки переведены в 1934 году на французский, английский, немецкий, венгерский, чешский, словацкий, идиш (Варшава) и шведский языки.

## Статьи

Публицистическая и журналистская деятельность Эренбурга многие годы идет параллельно с его работой романиста и поэта. С 1932 года он корреспондент «Известий», в годы Великой Отечественной войны сотни статей Эренбурга печатаются в «Красной звезде», «Правде», «Известиях» и многих других газетах.

Публицистика Эренбурга 30-х годов, составившая два сборника — «Затянувшаяся развязка» (1934) и «Границы ночи» (1936), при всем разнообразии проблем, служит одной цели — разоблачению фашизма.

Наибольшей силы слово Эренбурга достигло в дни Великой Отечественной войны. Оно было обращено к чувству и к разуму, будило ненависть к врагу, было требовательным и страстным. По определению одного из критиков, Эренбург «взял с первого дня войны такой разбег, что нужно было обладать почти фанатическим упорством, особым «нервным фондом», чтобы не сорваться, не устать, не потерять ритма»<sup>1</sup>.

Материалом для военных статей Эренбурга был огромный личный опыт писателя и разнообразнейший фактический материал, который он неустанно собирал, — дневники, письма немецких солдат и офицеров, приказы командования, показания пленных, выдержки из немецкой прессы и т. п. О редком умении Эренбурга заставить факты говорить Жан-Ришар Блок писал: «Эренбург располагает факты с кажущейся невинностью. Но это кажущаяся невинность химика, которая приводит во взаимодействие вещества, взрывающиеся при соприкосновении»<sup>2</sup>.

Работа Эренбурга в годы войны получила широкое признание. Его книгами награждали лучших бойцов, его статьи читали перед боем. В одном батальоне партизанской дивизии, рассказывает Николай Тихонов, был издан приказ: «Разрешается раскуривать привезенные газеты, за исключением статей Эренбурга»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> «Знамя», 1942, № 11, стр. 196. Мацкин, «Писатель в строю».

<sup>2</sup> Pja Ehrenbourg, Cent Lettres, Paris, «Hier et aujourd'hui», 1945, p. 7.

<sup>3</sup> «Большевик», 1944, № 3—4, стр. 32.

В многочисленных статьях у нас и за рубежом, посвященных публицистике Эренбурга, подчеркивается, что значение его газетных очерков не исчерпывается преходящими интересами дня, что по глубине мысли и силе художественного воплощения они могут быть приравнены к лучшим образцам русской публицистики<sup>1</sup>. Джон Пристли противопоставлял страстность военных статей Эренбурга «официально-дрезентльменски гладкой традиции» английской публицистики, которая «не способна выразить дух сражающегося народа»<sup>2</sup>.

Василий Гроссман отмечал, что Эренбург-публицист сумел стать «глашатаем тех скромных, простых людей в выпцветших от ветра и дождя гимнастерках и пилотках, которые прошли через все испытания, сохранив богатство своего не грубеющего в боях сердца, своей человеческой души, своего разума, верности правде и свету»<sup>3</sup>.

В послевоенные годы перо Эренбурга продолжает служить делу борьбы с милитаризмом и мракобесием.

Статья «Откровенный разговор» опубликована в «Известиях» 26 июля 1934 года, № 172; «Пляска смерти» (1935) — в сборнике «Границы ночи». В «Красной звезде» публиковались статьи: «Свобода или смерть» — 5 июля 1941 года, № 156; «В суровый час» — 10 октября 1941, № 239; «Испытание» — 4 ноября 1941, № 260; «Свет в блиндаже» — 10 ноября 1942, № 264; «Весна в январе» — 14 января 1942, № 11; «Душа России» — 11 ноября 1943, № 266; «Сердце человека» — 7 июля 1942, № 157; «Вена в октябре» — 5 ноября 1944, № 264. В «Правде»: «Сила слова» — 6 мая 1944, № 109; «Совесть народов» — 3 января 1955, № 3; «Раздумья о безумии» — 3 декабря 1961, № 338. В «Литературной газете»: «Открытое письмо писателям Запада» — 5 апреля 1950, № 28; «Люди хотят жить» — 31 декабря 1950, № 127. Статья «Очищение» вошла в сборник «Война» (Гослитиздат, М. 1944). Статья «Судьба поколений» опубликована в журнале «Война и рабочий класс», 1944, № 6.

Статьи Эренбурга 30-х годов в 1934 году переведены на французский и чешский языки, в 1946 — на испанский (Буэнос-Айрес).

Статьи периода Отечественной войны переведены: на польский — 1942 год (Москва) и 1948 (Варшава), на испанский — 1943 (Мексика), предисловие Пабло Неруды; 1942, 1943, 1945 (Аргентина); на шведский — 1942, 1945, 1946, на португальский — 1942, 1943, 1944, 1946, на

---

<sup>1</sup> Подробно о публицистике Эренбурга см. в книге А. Рубашкина «Публицистика Ильи Эренбурга против войны и фашизма», «Советский писатель», М.—Л. 1965.

<sup>2</sup> Pja Ehrenbourg, Russia at War, London, Hamich Hamilton, 1943, p. IX.

<sup>3</sup> «Литература и искусство», 1944, 6 мая, № 19.

датский — 1943 (нелегальное издание), 1945, на французский — 1943, 1944 (Москва), 1945 (предисловие Жан-Ришара Блока), 1946, на английский — 1943 (предисловие Пристли), 1944 (Нью-Йорк), 1944 (Вашингтон), 1945, 1949, на венгерский — 1943 (Москва), 1945, на сербский — 1943, 1944, 1945 (нелегальные издания), на итальянский — 1944, на китайский — 1942, 1943, 1954, румынский — 1945, болгарский — 1945, албанский — 1945, чешский — 1946, греческий — 1954, немецкий — без указания даты, японский — 1954.

Послевоенные статьи Эренбурга переведены: на венгерский язык — в 1946, 1947, 1951, 1953, 1954 годы, на болгарский — 1946, 1950, чешский — 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953, 1957, 1960, на английский — 1950 (Лондон), 1954 (Бомбей), на французский — 1947, 1950, 1952, итальянский — 1964, испанский — 1947 (Мексика), 1963 (Гавана), румынский — 1950, 1955, польский — 1950, албанский — 1951, словацкий — 1951, немецкий — 1946 (Вена), 1947 (Берлин), 1952, японский — 1952, 1954, 1957, шведский — 1953, китайский — 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1959, норвежский — 1953, бенгальский — 1955, вьетнамский — 1960, хинди — 1958, фарси — 1950, 1951, 1952, индонезийский (телугу) — 1954.

# Содержание

## ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

10 л. с.

Рождение автомобиля . . . . .	7
Автомобиль . . . . .	20
Шины . . . . .	51
Бензин . . . . .	70
Биржевая мелодрама . . . . .	91
Фабрика снов	
Кино . . . . .	111
Киноаппараты . . . . .	179
Кинопленка . . . . .	195
Спички . . . . .	207
Обувь . . . . .	225
Хлеб наш насущный . . . . .	233

## ВИЗА ВРЕМЕНИ

Письма другу . . . . .	283
Пять лет спустя . . . . .	303
Двойная жизнь . . . . .	330
Германия . . . . .	337
В центре Франции . . . . .	358
Кутна Гора . . . . .	368
1928 в Словакии . . . . .	373
Север . . . . .	390
Англия . . . . .	444

## ИСПАНИЯ

Испания. 1931—1932 . . . . .	481
Испания. Весна 1936 . . . . .	580
Испания. 1937 . . . . .	587

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АВСТРИИ . . . . .	601
---------------------------------------	-----

## СТАТЬИ

Откровенный разговор . . . . .	639
Пляска смерти . . . . .	648

Свобода или смерть! . . . . .	655
В суровый час . . . . .	657
Испытание . . . . .	659
Весна в январе . . . . .	662
Сердце человека . . . . .	667
Свет в блиндаже . . . . .	671
Душа России . . . . .	677
Судьба поколений . . . . .	685
Очищение . . . . .	691
Сила слова . . . . .	697
Весна в октябре . . . . .	701
Люди хотят жить . . . . .	708
Открытое письмо писателям Запада . . . . .	714
Совесть народов . . . . .	721
Раздумья о безумии . . . . .	727
Комментарии . . . . .	735

*Илья Григорьевич*

**Э Р Е Н Б У Р Г**

**Т о м 7**

**Редактор**

*И. Чеховская*

**Художественный редактор**

*Ю. Васильев*

**Технический редактор**

*Ж. Примак*

**Корректор**

*М. Доценко*

Сдано в набор 19/IV 1966 г.  
Подписано в печать 7/VII 1966 г.  
A10076. Бумага № 1. Формат 60 ×  
×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 47 печ. л. = 43,51 усл. печ.  
л. 40,1 уч.-изд. л. Тираж 200 000.  
Заказ 364. Цена 1 р. 25 к.

Издательство

**«Художественная литература»**

**Москва, Б-66, Ново-Васманная, 19**

**Первая Образцовая типография**

**имени А. А. Жданова**

**Главполиграфпрома**

**Комитета по печати при**

**Совете Министров СССР**

**Москва, Ж-54, Валовая, 28.**

